

Владимир ДУДИНЦЕВ







ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Серия «Популярная библиотека» формируется
на основе изучения читательского спроса
социологами Института книги НПО ВКП.
Основана в 1987 году

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

Владимир ДУДИНЦЕВ

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИЖНАЯ ПАЛАТА» 1988

ББК 84Р7
Д813

Дудинцев В. Д.

Д813 Белые одежды. — М.: «Книжная палата», 1988.— 688 с.

ISBN 5—7000—0006—7.

Новый роман В. Дудинцева «Белые одежды» рассказывает о людях, не отступившихся от своих убеждений в трудный период жизни нашего общества. Время действия книги — пятидесятые годы, главные герои — прогрессивные советские ученые-генетики, ведущие борьбу с бюрократами и приспособленцами от науки, которых впоследствии стали называть лысенковцами по имени их руководителя академика Т. Д. Лысенко.

Д $\frac{4702010201-009}{008(01)-88}$ Без объявл. ББК 84Р7

ISBN 5 — 7000 — 0006 — 7

© Состав, художественное оформление.
Издательство «Книжная палата», 1988

ГЕНЕТИКА СОВЕСТИ

В середине шестидесятых в повести «Отблеск костра» Юрий Трифонов так сформулировал главную задачу своей книги: «Основная идея — написать правду, какой бы жестокой и страшной она ни была. Правда ведь пригодится — когда-нибудь...». Какими важными и своевременными кажутся сегодня слова писателя. Ведь верим, что это «когда-нибудь...» наступило. Многие скажут: «Ну сколько можно о „правде“? С каждой трибуны, с каждой газетной полосы... Никого уже ею не удивишь. Ни „жестокой“, ни „страшной“...». И все же... Все же та правда, которая подчас с такой легкостью самобичевания произносится сегодня,— о нашем дне. Гораздо тяжелее говорить правду о прошлом. Почему так? Может быть, потому, что в современности мы все свои, все наши победы и просчеты в конце концов на совести одного исторического поколения. Современность как бы дает нам шанс что-то наверстать, что-то исправить. Прошлое такого шанса не дает. Его приговор всегда суров, ибо не подлежит пересмотру. В «Отблеске костра» Трифонов имел в виду именно эту «историческую» правду, правду прошлого. И уж коли мы сегодня без лукавства говорим о гласности, то со всей прямотой встает вопрос о нашем отношении к недавнему прошлому, вернее к тем его явлениям, которые долгое время были своеобразными «зонами умалчивания». Почти одновременно в литературе и искусстве появился ряд произведений, пытающихся осмыслить то время, вынести из исторического анализа уроки, настоятельно необходимые нам сегодня.

В их ряду и роман В. Дудинцева «Белые одежды». Вот что рассказал писатель о своем новом романе, отвечая на вопросы корреспондента «Советской культуры» **Н. Загальской**.

— Хотелось бы узнать, что лично Вас, Владимир Дмитриевич, побудило обратиться к одному из самых драматичных эпизодов в истории отечественной биологии? Нужен ли сегодня показ некоторых неприглядных сторон нашего недавнего прошлого?

— Иные говорят, что прошлое, не получившее должного анализа в наши дни, будет цепляться за спины и не давать покоя. Я с этим согласен и считаю, что тем людям, которых коробит вид саднящих ран, нужно наконец отважиться и взглянуть на них, а не брезгливо опускать глаза. Прошлое — не старый хлам, который раз в сто лет вытряхивают из сундуков с единственной целью — посмотреть, на что сгодится. Оно заключает в себе очень многое, в том числе и следы пережитых тяжелых болезней, повторение которых было бы нежелательно. Обращаясь к истории, мы вырабатываем в обществе социальный иммунитет к таким болезням.

Когда в стране действовала карточная система, по талону можно было купить хлеб на день или два вперед. А за вчерашний день двойную порцию получить было нельзя. С критикой дело обстоит иначе. Если ты не «отоварил» вчера свой талон на критику, то завтра получишь двойную порцию, за месяц не отоварился — «съешь» месячный паек. А если откажешься «съесть»,— все равно в конце весь «паек» будет твой — недостатки, вовремя не устраненные критикой, приведут к катастрофе. Критика, как и хлеб, нужна тебе же — для здоровья.

Но я обратился к недавнему прошлому вовсе не из потребности покритиковать «те» времена. Они, времена, были для меня, человека, стремящегося стать серьезным художником, великой страницей истории. Если бы «недавнего» времени не было и жизнь соответствовала бы тем картинам, которые были написаны представителями «лакировки» действительности в искусстве, мы бы не смогли увидеть истинную высоту, на которую способен подняться человек. Я убежден, что только в по-настоящему суровых условиях проявляются наши лучшие и худшие стороны. Мне кажется, что в обществе, где «не доносятся жизни проклятья в этот сад за высокой стеной», я и писателем не стал бы.

— Владимир Дмитриевич, читатели хорошо знают Вашу книгу «Не хлебом единым». Недавно исполнилось тридцать лет первой журнальной публикации романа. И хотя дата эта позади, мне хотелось бы вернуться к разговору о нем. Ведь многие темы, важные для правильного понимания нового романа, берут истоки, как мне кажется, оттуда... Как получилось, что именно изобретатель стал главным героем «Не хлебом единым»?

— В послевоенные годы я работал в «Комсомолке» разъездным очеркистом и часто получал задания написать о различных изобретателях. Как бы специализировался на этой теме. Со многими изобретателями был знаком. Это были люди страстные, увлеченные, глубоко даровитые, полные внутреннего огня, готовые все поставить на карту ради научной истины. Перед моими глазами проходило много суровых судеб. От изобретателей я заразился ненавистью к определенному кругу людей в науке — к бюрократам, завистникам, демагогам, невеждам — и большим сочувствием и уважением к настоящим и честным ученым. Я вошел в некоторые инже-

нерные и научно-технические общества, где специалисты занимались своими изобретениями. Приходилось «пробивать» новинки, то есть ходить в министерства, организовывать экспертизы, писать в газету статьи... Постепенно изобретатели, увидев во мне единомышленника, стали приносить свои досье — документы, письма в различные инстанции. Так начал накапливаться богатейший материал...

— *Судя по отзывам современников, роман, напечатанный в 1956 году в «Новом мире», вызвал целую бурю дискуссий и споров. В чем сегодня, «из исторического далека», Вам видится причина его тогдашнего бурного успеха?*

— Герои книги — изобретатели и ученые — оказались той группой людей, на которой особенно была заметна печать закономерностей того времени. Главный герой моего романа был узнаваем, и потому рассказ о его судьбе воспринимался читателями 50-х годов как антология судеб многих талантливых современников. Когда страсти вокруг романа немного улеглись, я даже подумал, что никогда ничего больше не напишу — жизнь вряд ли даст второй такой богатый материал. А возвращаться к газетному методу писания, когда строчишь «в номер», я уже не мог.

— *Какие закономерности «того времени» Вы имеете в виду?*

— Закономерность, в общем-то, одна. Природа отторгает от своего организма инородные тела. Если мы, скажем, начинаем строить заводы на реках и сбрасывать в них ядовитые жидкости, природа, естественно, отвечает нам, ухудшая качество самой нашей жизни,— уменьшается сток рек, мрет рыба, гибнут леса, начинается эрозия почвы, падают урожаи хлеба.

Подобные явления я наблюдал, сталкиваясь с проблемами изобретателей. В обществе поселилась тяжелая болезнь — я имею в виду культ личности. Уверен: мы могли до огромных высот подняться, если бы не жил в организме нашего общества такой опасный недуг. Мы избежали бы многих страшных заблуждений, непоправимых ошибок, на исторической памяти нашего народа не было бы тысяч искалеченных судеб.

Как же реагировала на эту болезнь общественная природа? Разбуханием бюрократического аппарата со всеми вытекающими отсюда последствиями. К сожалению, у нас изобретатель всегда один-единственный в поле воин. Он идет по ведомственной цепочке, которой его новшество сильно осложняет жизнь. Одновременно он ищет единомышленников. И находит. Одним из них оказался когда-то я, писатель. И глядя на эту цепочку, понимаешь, что не просто так неудачно сложилась судьба моего изобретателя, но действуют общие закономерности, система.

Те же закономерности действовали и в биологии.

Вскоре после появления романа «Не хлебом единым» я стал замечать, что ко мне потянулись многие ученые.

Они ждали от меня помощи в своих бедах. Это были классические генетики, пострадавшие от бывшего в то время президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) академика Лысенко, который навесил на генетику ярлык «лженауки», «реакционного учения», «антинародного направления»... А единственно правильным в биологии признавал так называемое мичуринское направление — на самом деле вульгарную интерпретацию учения Мичурина. До печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 года генетики еще хоть как-то могли работать, а после разгрома хромосомной теории на сессии вынуждены были уйти в сторону.

— Заблуждение в науке еще не означает невежества ученого.

Тихо Браге, не веря Копернику, создал свою модель Вселенной, в центр которой поместил Землю. Он был честным ученым и до конца жизни, неистовый в своем заблуждении, спорил с гелиоцентрической системой мира. Но шутовской колпак на Коперника надел не он, а невежда.

Яна Гуса погубило неверие в него людей. Но вязанку хвороста в костер, уже опаливший его ноги, подбросили все те же услужливые невежды.

Невежда, в сущности, во все времена один и не обязательно он одет в платье инквизитора. Его легко опознать — он агрессивен и подозрителен. Он не приемлет чужих точек зрения, любой альтернативы своим воззрениям. Это из его лексикона слова — «запретить», «разгромить», «разоблачить»...

И такие слова произносили с высоких трибун ученые мужи, почетные академики. Они собрались на сессию для того, чтобы «обсудить положение в биологической науке», а «обсуждение» свелось к открытому разгрому классической генетики и отречению некоторых ученых-генетиков от своих научных убеждений. Демагогия тогда часто одерживала победу над научной трезвостью, объективностью, истиной. Но сегодня хотелось бы назвать имена тех ученых, кто в этой сложной обстановке сохранил достоинство, верность себе, своим научным воззрениям.

— Мне повезло — я общался с крупными специалистами, пострадавшими от Лысенко. Это были высокоодаренные люди с универсальной культурой, настоящие патриоты, подлинные ученые. Началось все с Владимира Павловича Эфроимсона, доктора наук, автора многих фундаментальных трудов по генетике. Его сокрушительные, но малоизвестные работы против Лысенко были опубликованы в 1956 году в Бюллетене Московского общества испытателей природы. В то время за свои научные взгляды Эфроимсон сильно пострадал. Встреча с Владимиром Павловичем открыла мне путь ко многим ученым: я познакомился с академиком Н. А. Майсуряном и его женой — доктором биологических наук

А. И. Атабековой, с академиком Б. Л. Астауровым, членом-корреспондентом АН СССР И. А. Рапопортом, доктором биологических наук В. В. Сахаровым и Н. А. Лебедевой, которая в жизни сделала то же, что в романе «Белые одежды» Стригалев. Всем им я обязан тем, что книга увидела свет.

— Главный герой Вашего нового романа Федор Иванович много размышляет над взаимоотношениями добра и зла. Жизнь мучает его. Он пытается бороться с вечной непобедимостью зла и в конце концов вырабатывает принципы для того, чтобы получить моральное право действовать против него. Этот нравственный стержень романа тоже сложился из Ваших наблюдений за судьбами ученых-генетиков?

— Не совсем так. Тема возникла раньше. И опять-таки в связи с «Не хлебом единым». Уж коли у нас с Вами зашел разговор об этом, я хотел бы рассказать об одном эпизоде. Он хотя и известен многим, но некоторыми неправильно истолковывается. Дело в том, что после публикации романа в «Новом мире» на Симонова, бывшего в то время главным редактором журнала, обрушились наши литературные чиновники.

Но Симонов сумел выработать такую линию поведения, которая меня, автора романа, так переполошившего бюрократов, в то время не просто смущала, но и обижала. Получалось, что он чуть ли не отказывался от меня и моего творения. И только позже я понял мудрость Симонова (уж кто-кто, а он знал тяжесть чиновничьих кулаков). Ведь в конце концов он сделал главное — опубликовал роман, все остальное уже не столь важно. И тогда я понял: если Симонов опять станет главным редактором, то новую книгу я понесу именно ему.

У ракеты, которая запустила спутник на орбиту, два выхода: или сгореть, или пройти сквозь плотные слои атмосферы, раскрыть парашют и благополучно приземлиться. А атмосфера у нас плотная.

Тогда-то впервые я понял, что человек добра, который чувствует, что он призван бороться за какую-то высшую истину, должен проститься с сентиментальностью. Он должен вырабатывать тактические принципы борьбы и быть готовым к тяжелым моральным потерям.

Представьте, добро преследует зло, гонится за злом, а на дороге газон. Зло бросается через газон напрямик, а добро остановилось — ни за что не наступит на газон, хотя там даже таблички нет «Ходить запрещается!». Оно все равно такое добропорядочное, это добро, настолько связано нравственными принципами, моралью, что побежит вокруг газона, крича злу: «Остановись!». Зло, конечно, убежит. А если так — значит, нужны совершенно новые методы борьбы.

А уже потом биологи дали мне прекрасные иллюстрации. Расскажу о некоторых.

...Однажды в редакцию ботанического журнала входит ученая — одна из клана лысенковцев и приносит статью. В ней она превозносит президента ВАСХНИЛ до не-

бес, пишет: «Лысенко — это Сталин в биологической науке». Сейчас же, прочитав это, зашумели некоторые члены редколлегии, обрадовались — говорят, надо немедленно печатать. Они знали, Сталин не любил, когда кого-нибудь еще называли Сталиным, и такая статья могла, наконец, подорвать мощь Лысенко. Но другие члены редколлегии возмутились: «Ни в коем случае! Такими методами мы никогда не боролись». И вернули статью, предупредив автора об ошибке. Вот как поступало добро.

Лысенковцы же черт знает что творили с этими добропорядочными профессорами, с этими живыми классиками. Один из главных «научных» тезисов Лысенко был тот, что есть виды, которые «диалектически», «скачкообразно» порождают другие виды. Таким видом является и кукушка. «Кто видел,— задавал он вопрос на заседании Академии наук сидящим в бархатных шапочках академикам,— как кукушка несет яйца?» Никто не видел. «Хорошо, тогда я вам скажу. Она яиц не несет. А откуда берутся кукушата?» Опять все в недоумении. «Кукушат выводит пеночка. Пеночка несет яичко, из которого в результате единства противоположностей, скачкообразно (тут он произносил набор псевдодиалектических терминов) выводится кукушонок»... Как пеночка порождает кукушку, так же, по Лысенко, одно дерево может породить другое. Иллюстрацию этому тезису нашел один из лысенковцев. Он обнаружил граб, из которого росла лещина — лесной орех. Забили во все колокола — сенсация! И во всевозможные учебники пошла фотография этого граба. А генетики, которые объединились вокруг ботанического журнала во главе с его редактором академиком В. Н. Сукачевым, в это «открытие» не поверили. Они послали своего корреспондента на Кавказ. Тот раскрыл эту «загадку» природы. Оказалось, что в стволе у граба была развилка. Рядом же, в тени, росла длинная лещина, которая согнулась под своей тяжестью и легла прямо в развилку. Мимо проходил лесник, увидел это и произвел прививку. Прошло время, лещина привилась и начала расти на теле граба. Тогда лесник обрезал родной стволик лещины и получилось, будто она растет прямо из «тела» граба.

Вскоре такой разоблачающий лысенковскую теорию материал появился в ботаническом журнале. А вслед за ним целый ряд подобных статей. И результат: вся редколлегия журнала во главе с академиком Сукачевым была снята за «травлю» академика Лысенко. Вот как действовало зло. И потому оно всегда побеждало, что добро не умело вести себя в стане врагов и постоянно себя выдавало. А этого делать было нельзя.

— Но можно ли человеку добра долго скрывать свои истинные убеждения, вилять, притворяться? Ведь рано или поздно возникнет ситуация, которая потребует от него либо измены, предательства, либо вынудит раскрыть себя — по крайней мере, потребует ясной, честной по-

зиции. Не безнравственно ли вести двойную жизнь? Нет ли в такой позиции оправдания беспринципности?

— Сомнения в правомерности наших действий мешают делу — они не устраняют само зло, а устраняют с фронта борьбы еще одного солдата, который мог бы воевать.

Как, например, работала в свое время Нина Александровна Лебедева? Она заявила, что является сторонницей Лысенко, и благодаря этому получила допуск в лаборатории и оранжереи. Но каждый вечер, возвратившись домой, закрывалась от всех и ставила опыты по классической генетике.

Жизнь, которая приобретает все большие скорости, напряжение, приближает добро и зло к решающим схваткам между собой. И в этих схватках добро должно побеждать. Но это ему удастся лишь в том случае, если оно всегда будет превосходить противника.

В романе я привожу целый ряд критериев, с помощью которых человек может проверить самого себя, годится ли он для тактических действий, о которых мы говорили. Так что окончательный и исчерпывающий ответ ищите в романе.

— Владимир Дмитриевич, мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, напрямую связанном с проблемами нравственности. Может ли человек искупить всей своей безупречной, честной жизнью один-единственный грех, совершенный в прошлом? Можно ли убить в себе память о беде, которую единожды ты причинил другому человеку? Герой Вашего романа Федор Иванович один только раз предал талантливого исследователя. Да и то в детстве. Да и предал ли? Это был «честный пионерский донос». Но всю жизнь он пытается избавиться от комплекса вины... В общем-то, вечная тема искусства — искупление греха, расплата человека за совершенные неблаговидные поступки. Но мне кажется, в эпоху, когда человек часто был вынужден идти на компромиссы, когда он был беззащитен перед лицом обстоятельств (о чем Вы сами и говорили), суд памяти, совести не должен быть уж так суров...

— Да, у суда есть целая шкала смягчающих приговор обстоятельств. Суд может проявить снисхождение, скажем, к тому, кто совершил преступление в невменяемом состоянии. Особенности времени, несомненно, тоже одно из таких смягчающих обстоятельств. Но оно является смягчающим лишь для бесстрастного суда или для посторонних глаз. А для того, кто виноват, смягчающих обстоятельств не существует. Совестливый человек все равно будет нести свой грех до гроба. В том и состоит высшая мудрость и справедливость природы, что она придумала механизм совести. Может быть, я слишком самонадеянно пытаюсь разрешить вопрос и за злого человека. Как решают эту проблему люди зла? Что они чувствуют? Что в них происходит? Не знаю. Но мне кажется, что совесть — это такой совершенный, безотказный механизм, что он срабатывает и в злом, безнравственном

человеке. Разве вы не замечаете, что у скверных людей особая, специфическая внешность? Что с ними делается, какая сила лепит эти лица?..

— Видите ли Вы приметы лысенковщины в нашей сегодняшней жизни?

— К сожалению, иногда еще вижу. Во-первых, есть остаточные явления, говорящие о том, что само лысенковское заблуждение полностью не изжито. В некоторых учебных заведениях я до сих пор встречаюсь с рецидивами «переделки» пшеницы из яровой в озимую и обратно. Это или шарлатанство, или искреннее невежество. Во-вторых, лысенковщина сама по себе есть частный случай безнравственной практики «силового» отстаивания своей точки зрения. Лысенко лишь одним из первых удостоился чести озаглавить своим именем это отвратительное явление в науке, которое нам еще предстоит изживать. Да и не только в науке. А задумайтесь, что стоит порой за авторитетом в искусстве? Я имею в виду дутый авторитет. Мы до сих пор живем в плену «заслуг» многих художников, чьи действительные заслуги ничтожны. Мы развращаем этим снисхождением самих себя. Боимся сказать правду иному «голому королю». А ведь согласно тому, что диктуют нам демократические основы нашего общества, один из главных принципов жизни — гласность, а значит, свобода выражения различных точек зрения и свобода отстаивания своих взглядов. Главным судьей в любом споре должен быть аргумент. А нажим, использование власти, различных связей — все это еще, увы, встречается.

Важно, чтобы заблуждения, ошибки отдельных лиц, облеченных властью, не выросли до уровня проблем всего общества, не стали узаконенным явлением, как это было в случае с Лысенко. И я верю, что процесс демократизации нашей жизни, который начался, сделает недопустимым повторение подобных заблуждений прошлого.

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

РОМАН

Сии, облеченные в белые одежды, —
кто они и откуда пришли?

Откровение Иоанна Богослова.

Н. А. и А. А. Лебедевым

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

I

Стоял тихий сентябрь. Воскресное утро, может быть, последнее ласковое утро уходящего лета, тихо, как младенец, играло солнечными пятнами и тенями. Громадный институтский парк дремал, раскинувшись на двух холмах, которые здесь назывались Малой Швейцарией. Он был весь разбит поперечными и продольными аллеями на правильные прямоугольные клетки. С одной стороны в конце каждой поперечной аллеи светилась пустота, там угадывался провал, и оттуда, из легкой дымки, иногда доносился низкий рев парохода. Там была река. С противоположной стороны вдалеке среди зелени мелькали розовые стены корпусов Сельскохозяйственного института.

Вдоль главной — Продольной — аллеи, которая шла почти по краю провала, сидели на решетчатых скамьях студенты с книгами. Уже начался учебный год. Далеко внизу между деревьями прыгал волейбольный мяч, время от времени аллею пересекал бегун в синем обтягивающем трико или в трусах — студент или жилистый профессор.

По этой чисто подметенной аллее между двумя рядами старых лип брел в это утро и поглядывал по сторонам человек в клетчатой, ржавого цвета ковбойке с подвернутыми рукавами и в светло-серых тонких брюках. Был он лет тридцати, невысокий, узкий в поясе, шел, сложив руки за спиной. Широкое, но худощавое лицо его с довольно заметным внимательным носом было подвижно, русая бровь иногда поднималась с изгибом — и это говорило о привычке постоянно размышлять, свойственной некоторым ученым. Была в его лице особенность: резко выделенный желобок на верхней губе переходил и на нижнюю и заканчивался

глубокой кривой ямкой на подбородке — получалось, что нижняя часть лица как бы перечеркнута этой отчетливой вертикалью. Шаги этого задумчивого человека были неторопливы, и тем не менее он догнал и оставил за собой двух странных пожилых бегунов — мужчину и женщину, обтянутых синими шерстяными трико, и в белых кедах. Пара эта бежала трусцой, то есть топталась почти на месте. У мужчины розовый пробор проходил сразу же над ухом, жидкие желтовато-седые волосы прикрывали плешь. Старость цепко держала его в когтях. У женщины спортивный костюм выдавал непропорционально распределенную полноту: все ушло в верхнюю часть широкого, без перехвата, корпуса, в широкие плечи. От нее веяло волей и слегка глупостью.

Они вели беседу. Когда человек в ковбойке, узнав мужчину и поджав локоть, с почтительным поклоном огибал их, бегун посмотрел на него, полуочнувшись, и продолжал свою речь:

— Он фиксирует по Навашину. Двенадцати часов достаточно... Ему нужно быстро — тысячи гибридов, и все проверь...

Женщина сказала:

— На его микротоме можно получить срез на толщину клетки. Хорошо хромосомы считать. На помойке подобрал нами же списанные части, отремонтировал сам — и пожалуйста... Мог и ты ведь...

— Не так просто. Все в микрометрическом винте. Он заказывал винт в Москве у какого-то мастера...

И человек в ковбойке сразу понял, о чем они говорили. Это были цитологи — специалисты по исследованию растительных клеток. От их разговора чуть-чуть потянуло и вейсманизмом-морганизмом, который месяц назад был торжественно осужден на августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Шевельнув бровью, человек в ковбойке быстро оглянулся на бегунов, легко поклонился мужчине и опять не был замечен.

Потом он долго шел по аллее, размышляя о своих делах, которых было много. Аллея вывела его на лысый бугор, к его вершине, где была вкопана в землю простая лавка, и человек сел на нее — лицом к горящему внизу под солнцем разливу реки, к синим бугристым далям за рекой: там синела Большая Швейцария.

Этот человек имел отношение к науке о растениях и знал много разных вещей. Знал, например, что есть такое понятие: спящая почка. У яблони ее не видно, но садовник умелой обрезкой дерева может заставить ее пробудиться, и тогда на гладком месте вдруг выстреливает новый побег. Старый знакомый человека в ковбойке селекционер-садовод Василий Степанович Цвях, любитель затейливо мыслить, однажды сказал ему, что и у человека бывает что-то похожее на это явление. Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты — подлец или герой. А все потому, что твоя жизнь так складывается — не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода — вперед или назад. Но может и послать. Человек в ковбойке никогда не пробовал примерить эту мысль к себе, но поговорить с хорошим собеседником на тему о спящих в нас загадках был готов всегда.

А между тем, ему предстояло увериться, что именно в эти дни он делал свой первый шаг в ту среду, которую имел в виду садовод, — в условия, благоприятные для пробуждения какого-то спящего качества. Может быть, он даже чувствовал тугое увеличение проснувшегося ростка, но не отдавал себе в том отчета — еще не осмыслил явления — оно бежало впереди осваивающей мысли. В те самые минуты, когда человек, сидящий на лавке, обдумывал свои дела, спящая почка уже тронулась в рост, и он уже двигался к своей железной трубе, которая в этом городе ждала его, чтобы определить, кто он — ищущий истину отчаянный смельчак или трус, прячущий под себя свои жалкие пожитки. Удивительно, что это была настоящая огромная железная труба и ей, кроме прямого дела по ее специальности, была уготована другая — историческая служба.

Шаги и голоса в аллее заставили человека в ковбойке обернуться. Это была все та же пара синих бегунов — они уже не трусили рысцой, а шли, и это получалось у них значительно быстрее. Поднявшись на бугор, они сели на ту же лавку.

— Вот так,— сказал мужчина, вытирая платком лоб и шею.— Так что ты все увидишь сама. И притом в недалеком и хорошо обозримом будущем.

— Боишься?— вполголоса спросила женщина.

— Трясусь, как балалайка.

— Тебе-то ничего не будет...

— Я полагаю, что твоя *эйфория* безосновательна,— пригвоздил он ее с неповторимым кряхтеньем, тоном сноба. — Последнее слово не за тобой, а за их преосвященством. А их преосвященство не любят еретиков,— тут бегун очень весело посмотрел на незнакомца в ковбойке. Тот, дружелюбно улыбнувшись, в третий раз чуть заметно поклонился, и с этого момента бегун стал говорить только для него. — Ты помнишь, каков был Торквемада? — сказал он женщине, глядя на ее молодого соседа. — Ну, Торквемада, великий испанский инквизитор. А помнишь, чем он отличался? Религиозным энтузиазмом, богословской начитанностью...

— Ну, ты тут на своем коне. Кроме тебя, конечно, никто этого не знает, и никто не читал энциклопедию,— сказала женщина, взглянув на незнакомого соседа.

— Напрасно *персифлируешь*. Великая мастерица персифляции, — сказал бегун уже прямо мужчине в ковбойке. Тот улыбнулся и развел руками:

— Я не знаю этого слова.

— Лесть, искусно маскирующая насмешку. Насмешку я не замечаю, а лесть принимаю. Торквемаду я упомянул здесь не напрасно. Я имею в виду не того Торквемаду, который устраивал в Испании знаменитые костры инквизиции, а другого — того, которого я здесь учил до войны цитологии, у которого принимал зачет, и который стал теперь первосвященником и приедет, видимо, завтра, в заведение, где я работаю. И будет учинять в нем великий трус. Этот Торквемада, хоть и новичок в своем деле, но, по отзывам знающих людей, стоит того, испанского. Он тоже фанатик и начитан, великий богослов в своем деле, и под его влиянием находятся кардиналы...

— Видите ли, для справедливости сравнения надо сказать, что Торквемада испанский ничего себе не брал, в отличие от других инквизиторов, и был суровейший аскет, — заметил человек в ковбойке. — Постился он по-настоящему...

— Бедным еретикам от этого не было легче, — сказала женщина.

— Никак не легче, — согласился синий бегун. — У Дарвина есть такое соображение: в Испании несколько столетий каждый человек, способный мыслить, попадал на костер. Отсюда пошел упадок мысли в стране.

Я думаю, что и диктатура Франко появилась не без причииной связи с историческими обстоятельствами. Так что ннкакой *детумесценции* нам ждать ие приходится.

— Простите...

— Я хочу сказать, страсти будут не затухать, а разгораться. Лев и кроткая лань, которые до этого кое-как терпелн друг друга...

— Надеюсь, я беседую со львом? — уважительным тоиом спросил иезнакомец в ковбойке.

— Вот видите, и вам ие чужда перснфляция! Нет, иет! Какой же я лев... Вообще, львов я давно ие видел... Словом, приготовимся к допросам и пыткам.

— Даже к пыткам?..

— Ну, разумеется, Железной девы там ие будет. Но, зиаете, мы живем сегодня, по крайней мере, мы, бнологи, как собачки у Павлова. Правда, в иашем экспериметe устаиовка несколько отличается. От каждого учеиого отходит резниовая трубка, по которой прнтекают соки, питаиие. Все трубкн сходятся в определеииом центре. Некий академик может нажать, скажем, мою трубку, и готово — я захирел и бряк кверху лапкамн. Коиечно, сразу не иажмет. Но уменьшит сечеиие, это бывает. А еще чаще — ласково к ией прикосиется, иажмет слегка и отпустит. Я тут же закрнчу: ие буду! Каюсь!

Жеищина уже дергала бегуиа за рукав, уже оба подиялись, чтобы идти, а тот все ие мог остаиовиться:

— Наш Торквемада будет перебирать эти трубкн, ласково их касаться, а люди будут трепетать. Чем это ие Железная дева?

Тут оии раскланялись, пара отошла на иесколько шагов, сииий бегуи еще раз поклоиился, н оии затрусили по аллее.

Человек в ковбойке иекоторое время с растерянной улыбкой смотрел им вслед и даже повторил вполголоса:

— Торквемада...

Потом ои взглянул на часы — было чуть больше десяти — и поднялся. Куда пойти? Впереди был целый день. Ои медлеиио побрел по аллее — так, чтобы ие догиать сииих бегуиов, которые трусили вдали. «Железная дева», — подумал он, покачав головой, и представил себе это средиевековое орудие пытки, иечто

вроде железного — в человеческий рост — футляра для скрипки, усаженного внутри гвоздями. Тут повеяло ветерком и, обогнав его, пронесся длинными скачками еще один бегун — худенький, невысокий, с прижатыми локтями. Он был в нитяном тренировочном костюме, тоже синем, но поблекшем от стирок. На спине темнело пятно пота. Его фигура быстро уменьшалась, и по этому можно было судить о скорости. Слегка сбочив на одну сторону — бывает такая кавалерийская посадка — бегун пересек аллею и рухнул в провал, сбежал по страшной крутизне на самое дно, где взлетал волейбольный мяч, и его фигура замелькала среди сосен, поднимаясь на другой склон, запрыгала ритмично, словно ее дергали на нитке. Человек в ковбойке долго смотрел ему вслед. Он узнал бегуна — когда-то слушал его лекции по генетике в этом самом институте. Это был академик Посошков. Семь лет назад — в первый год войны — он женился на своей молоденькой аспирантке. Ему тогда было шестьдесят лет. В институте ходила легенда: будто в загсе, куда он, принарядившись, привел невесту, регистраторша, подняв на них глаза, прыснула, не удержав смеха. «Разница большая?»— спросил он. «Ага»,— ответила та, красная. «Ну так смотрите»,— сказал академик. Он коротко взмахнул руками и прыгнул на ее стол — утвердил свои лакированные туфли точно по обе стороны чернильницы. Выждав паузу, он опять взмахнул руками и, не оборачиваясь, изящно спрыгнул со стола назад, попал точно на то место, где стоял раньше. «Я бы хотел, дорогая, чтобы еще кто-нибудь из приходящих сюда женихов смог проделать эту штуку». Глядя на ритмично прыгающее среди далеких сосен голубое пятнышко, бывший ученик академика чувствовал, что начинает верить в эту легенду. «Сложный человек Светозар Алексеевич»,— подумал он, вздыхая и хмурясь. Академик Посошков когда-то в тридцатых годах был одним из известных менделистов, сторонником того учения в биологии, на котором и гитлеровский режим ухитрился построить свои расистские бредни. Конечно, никто не считал академика расистом. Если было бы иначе, ему бы несдобровать. Но все же о нем поговаривали с угрозой те, кто любит нажимать на педали и готов пустить в ход словечко «враг». А куда денешься? Этот менделизм-морганизм (иные добавляли еще к

этим словам и «вейсманизм») содержит ведь тезисы, которые можно использовать. И использовали! Кто же может в двадцатом веке толковать о каком-то наследственном веществе! Чушь какая-то! Все же академик вовремя отрекся от заблуждений и читал студентам свой пересмотренный курс, убедительно ругая монаха Менделя, правда, немного громогласно. Академик Лысенко — вождь мичуринской науки — никак не мог простить ему старые грехи — видно, за то, что Посошков был уж очень матерый менделист. И еще потому, что после своей перестройки и отречений он как-то быстро угас, отошел от боевой науки. Но каяться не забывал. В последний раз на августовской сессии прямо-таки кричал с трибуны. Обещал поддерживать авторитет академика Лысенко, президента агробиологов. Извинился и перед другим корифеем — академиком Рядно. Преподавал он новую — мичуринскую — биологию толково, и из его слушателей вышло много хороших ребят, убежденных противников всякой схоластики. Видимо, отрекся по-настоящему. Но отрекся ли в самой глубине души? Хотелось бы верить ему. Впрочем, сообщали, что вслед за отречением он разогнал половину обеих кафедр генетики, почти всю проблемную лабораторию. Вот и посмотрим, дорогой Учитель, как ты их разогнал...

Так думал, глядя вслед неутомимому старику, человек в ковбойке. А далекое голубое пятнышко все прыгало между соснами, поднимаясь выше и выше. Бывший ученик академика не знал еще, сколько драм и живых страстей бегут на этих тонких ногах...

«Небось, и он считает, что я Торквемада, — не очень весело подумал человек в ковбойке.— А может быть, он как раз и родил это хорошенькое сравнение. Тем более надо к нему зайти, проведать учителя. Да кроме того, он еще и проректор. Через час он наверняка будет уже дома».

Он не спеша зашагал по аллее, свернул к розовевшему вдали институтскому корпусу. «По отзывам знающих людей,— вдруг вспомнил он слова синего бегуна, беседовавшего с ним,— нажмет и отпустит!— вспомнил и тряхнул головой в сторону и вниз, и даже оскалился от стыда.— Значит, заметили во мне эту ласковость инквизитора! В чем же она выражается? Откуда взялась?»

Он шел и не замечал никого — ни тех, кого обго-

нял, ни тех, кто настигал его, несясь спортивной рысью. Он уже шагал по асфальту, в полосе усиленного движения. Мимо него пролетали на невиданных самодельных роликах лыжники с палками, тренирующиеся и летом, катились навстречу коляски с младенцами. Два человека узнали его и поклонились, но он не заметил их.

— Федор Иванович! Федя Дежкин! — позвал кто-то над самым его ухом, и он очнулся. Мягкий лысоватый блондин из рыжих — бывают такие прозрачные гребешки — шел рядом, плечо к плечу, с ним и приветливо улыбался, разведя руки, словно для объятий. «Вот у кого ласковость!» — подумал Федор Иванович, узнав в соседе полковника госбезопасности Свешникова. Забытая привычка сама растянула худые щеки Федора Ивановича, и был момент, когда оба собеседника стали вдруг похожими друг на друга.

— А-а! Михаил Порфирьевич! Сколько лет, сколько зим! Небось, уже генерал?

— Не-ет, все еще полковник. Это ваш брат — сегодня окончил вуз, а завтра, смотришь, уже кандидат, уже ревизует своих профессоров. Я слышал, вы приехали вейсманистов-морганистов шерстить?

— Начальство поручило...

— Ну как, бытие все еще не определяет сознания? Вы по-прежнему настаиваете?

— Уже не настаиваю, Михаил Порфирьевич. Стал старше, умнее. Но вам могу признаться: да, думаю я по-прежнему так, как думал. А вы по-прежнему меня не понимаете.

— До сих пор! Отрицаете значение бытия!

— Простите. Я отлично сознаю, что являюсь результатом множества предшествующих процессов. Если бы не было моего бытия, не было бы и моего сознания. Но я против плоского заучивания классических формул. Против механических представлений. Результат воздействия бытия на меня будет зависеть и от моей личности. Меня нельзя сбрасывать со счета, я не молекула воды. Можно ли яснее сказать? Я настаиваю вот на чем: на воздействие бытия я отреагирую самым неожиданным для многих образом.

— Посмотреть бы!

— А что — мы ведь еще поживем. Еще увидимся. Согласитесь, что августовская сессия академии была клас-

сическим фактором общественного бытия. Так вот: один академик на ней признал свои ошибки и полностью покаялся. Пал на колени перед нашим законодателем. Другой морганист, доктор наук, каялся с оговорками. А некий профессор на весь зал закричал: «Обскуранты!» — и был выведен на улицу. Видите, они не по-вашему, а всяк по-своему проявили свою суть в равных условиях.

— Но бытие может устроить вам серьезный экзамен.

— Михаил Порфирьевич, бытие своей манерой ставить нам такие пестрые и сложные задачи предполагает разные реакции. Оно само утверждает, что все мы — разные. На его экзамен я отреагирую самым неожиданным образом. Так, что само бытие удивится.

— Вы только этого с другими не развивайте. Со мной можно. А с другими не стоит.

— Не могу. Развиваю с каждым, кто любит поговорить.

— Ваш опыт должен бы вас научить...

— А что? Вы имеете в виду дядика Борика? Что-нибудь натворил?

— Нет, Борис Николаевич, слава богу, в порядке, он даже стал кандидатом наук. Но ведь это не чья-нибудь, а ваша неосторожность навлекла на него неприятности. И в судьбе его остался, так сказать, шрам... Так что хоть с этой стороны сделайте выводы. Вы где остановились — в квартире для приезжающих?

— Да,— несколько растерянно, механически ответил Федор Иванович.

— Давайте не избегайте меня. Надо нам как-нибудь, как семь лет назад, обстоятельно поговорить. О свободе воли, о добре и зле... Я уже соскучился по нашим беседам.

— Да, конечно... Понимаю...

Они простились, как и раньше прощались, чувствуя непонятное замешательство, и полковник в штатском костюме табачного цвета пошел вперед ускоренной, озабоченной походкой. Складки на спине задвигались крест-накрест, заюлил узенький зад — самое узкое место в фигуре полковника. И, как восемь лет назад, голова Свешникова опять показалась настороженному Федору Ивановичу кастрюлей с двумя оттопыренными врозь и вверх ручками.

А с дядиком Бориком вот что получилось. Еще до

войны, когда Федор Иванович учился здесь, у него завелся друг — этот самый Борис Николаевич Порай, преподаватель с факультета механизации. У Федора Ивановича всю жизнь были друзья на десять-пятнадцать лет старше его. И всю жизнь Федор Иванович любил философские беседы. Получилось так, что студент заразил преподавателя этой самой мыслью о великой самостоятельности нашего сознания, о сложной, непрямой подвластности нашей личности формирующим воздействиям со стороны бытия. Дядик Борик с улыбкой стал звать Федю не иначе, как Учителем, устроил среди преподавателей дискуссию. И вдруг его пригласили в так называемый шестьдесят второй дом и оставили там. Студент Дежкин немедленно отнес в этот дом свое заявление, разъясняя всю суть дела и справедливо беря ответственность на себя. Он искал следователя, а попал к какому-то начальнику — к полковнику Свешникову. Заявление приняли, со студентом побеседовали и отпустили. И с тех пор полковник стал здороваться с ним на улице, норовил упрочить знакомство. Дядик Борик все-таки посидел у них месяца три.

Но откуда этот Михаил Порфирьевич, пусть он даже полковник госбезопасности, откуда он узнал о том, что кандидат наук Дежкин приехал «шерстить вейсманистов-морганистов»? Ведь всего лишь четыре дня назад Федор Иванович сам еще не знал, для чего его вызывает академик Рядно! Кто принес сюда известие? Все те же «знающие люди»?

Четыре дня назад утром он пил свой холостяцкий чай в своей холостяцкой московской комнате, полутемной от близости другого дома, когда сосед по многокомнатной коммунальной квартире позвал его к телефону.

— Сынок? — это был хриплый носовой тенор Кассиана Дамиановича Рядно. За этот голос один недруг академика, тоже академик, сказал о нем: «хрипун, удавленник, фагот». И это был действительно тот носоглоточный деревянный голос, который бывает слышен иногда в симфоническом оркестре.

— Сынок? — спросил академик. — Ты что делаешь? Чаек пьешь? Значится, так: допивай спокойно чаек — и ко мне. Не торопись, я там буду через час. Давай пей чаек..,

Кассиан Дамианович появился в приемной точно через час. Снял белый пыльник и, не глядя, ткнул куда-то в сторону от себя — его сейчас же приняла секретарша и унесла вешать в шкаф. Высокий, очень худой академик, колеблясь всем крепким телом, как лось, прошел к себе в кабинет и по пути сделал Федору Ивановичу властным пальцем знак — иди за мной.

Весь кабинет был увешан и уставлен выращенными академиком чудесами. В углах стояли снопы озимой пшеницы, которую народный академик, как его называли газеты, переделал в яровую, и яровой, получившей свойства озимой. В дальнем углу скромно топорщился снопик с огромными колосьями ветвистой пшеницы, на которую возлагал особые надежды Трофим Денисович Лысенко и которая, как известно, не удалась. С этой пшеницей работал и академик Рядно, и тоже безуспешно. На стенах кабинета висели отформованные из папье-маше и раскрашенные желтые помидоры — копии полученных на одном кусте с красными путем прививки. Висели большие фотографии в рамках: знаменитый кавказский граб, на котором вырос лесной орех — лещина, и сосна из Прибалтики, породившая ветку ели. На специальной полочке, в центре стены, лежали крупные розовые клубни картофеля — знаменитый «Майский цветок», сверхранний и морозостойкий сорт, полученный ученым путем прививок и воспитания в сложных погодных условиях.

Федор Иванович оглядел все фотографии и отвел глаза. С некоторого времени им овладели сомнения. Насчет граба, породившего лещину, он твердо знал, что никакого порождения тут нет, что это простая прививка, шалость лесника. Он все не отваживался поговорить об этом с академиком. Но «Майский цветок» всегда прогонял его сомнения. Это был настоящий новый сорт, чудо селекции.

Академик не спеша причесал прямые серые волосы, начесал их вперед. Потом наложил на лоб ладонь с растопыренными пальцами. Быстро и резко повернув ладонь на невидимой оси, Кассиан Дамианович отнял руку — там теперь красовалась челка, которая приняла форму завихряющейся туманности. Об этой челке недруг-академик давным-давно, лет тридцать назад, тоже сказал свое слово: эта туманность предвещает рождение сверхновой звезды. И не ошибся.

Академик Рядно, крякнув, уселся за свой стол. Тут же секретарша внесла стакан горячего чаю в подстаканнике. Академик бросил в стакан большую таблетку, молча долго мешал ложечкой. Потом отхлебнул, пробуя свое лекарство и стуча при этом золотыми мостами. Как будто конь шевелил во рту стальной мундштук.

— Хочешь прокатиться? — спросил он вдруг, отставляя стакан.— Давай, сынок, собирайся. Правда, ты недавно был в командировке, но ничего. Время горячее, нам надо ездить. А потом будем отдыхать.— Тут он отхлебнул чаю, постучал зубами и отставил стакан.— Время очень горячее. Поедешь, сам увидишь. Да и видел уже. Происходит борьба идей. Идеалисты, мракобесы идут в наступление. Там, куда ты поедешь, а ты поедешь в город, где учился,— там, сынок, давно сложилось целое *кубло* вейсманистов-морганистов. После сессии, которая больно трахнула по их теориям и по ним самим, они заняли оборону. Но они знают, сволочи, куда направить удар. Они замахнулись на завтрашний день науки — на нашу смену, на молодые умы. Отравляют...

Наступило молчание. У академика были крупные, вылезающие вперед желтоватые зубы, и он время от времени натягивал на них непослушную верхнюю губу. Он недовольно смотрел в окно — прищурясь, глядел в глаза врагу.

— Там есть профессор — ух, Федя, старая, битая крыса. А второй — академик. Твой учитель, между прочим. Он, конечно, клялся, плакал на сессии... Кричал... Ему теперь ничего не остается, кроме мертвой обороны. Как и тому, профессору. Только первый сам лезет, ты только подставь, он сам сядет на вилы. А академик — тот сложнее. В драку не лезет. Лекции перестроил, читает нашу науку. Пусть читает. А что он думает — сегодня мы можем пока оставить его мысли в покое. Пока. Пусть себе думает. Может, если еще одного воспитает мне такого, как ты, может, и простим. Ради этих двух я тебя не послал бы. У меня, сынок, есть сведения, что там действует подпольное *кубло*. Молодежь — студенты, аспиранты... А возглавляет их — есть там такой Троллейбус. Дошло до меня. Запомни — Троллейбус. Это не фамилия, а просто студенты прозвали. Фамилия выскочила из головы. Ну, да ты уз-

наешь. Их компанию ты вряд ли сумеешь накрыть... А вот Троллейбуса — этого мне поймай. Интересно, что это за фрухт. Посмотреть бы. Он, конечно, тоже надел маску. Говорят, привнвки делает — по нашей дороге вроде пошел. Как его разоблачить — ты там на месте подумай. До бесед с ннм не очень сннсходи. Знаешь, как Одиссей... Уши воском залепи и действуй.

Тут академнк, ласково сощурнв глаза, весь подался к Федору Ивановичу:

— Что с тобой сынок? Твой вид мне не нравнтся. Совсем не похож на Гектора, которого Андромаха снаряжает в бой. Не прнболел? Или, может, выпнл вчера? Бывает же и такое... А?

Федор Иванович, действительно, был бледен и вял, и настроенне у него было такое, что хоть бросайся в ноги к шефу с покаянием: иссяк родннк веры! Вчера почти до полуночи он, может быть, в пятый илн шестой уже раз чнтал кннжку Добржанского «Основы наследственности», которую прятал на дне своего чемодана. Странно — знакóм с книжкой лет семь, но почему-то лншь вчера простые рассуждения, которые академнк Рядно так весело высменвал, — этн простые рассуждення вдруг нспугалн Федора Ивановича, н он, вытирая вспотевший лоб, впервые сказал себе: это все надо проверить.

— Так что? Едем илн не едем? — спроснл академик. — Я могу послать н Саула. Уже чуть было не послал. Он в двух городах уже побывал, рвется в третий, ему драку только подавай. И личные интересы у него там есть. Амурные. Я просто подумал: сынок пусть поедет. Тут такой случай, что тонкость нужна. Интеллнгентность. Пусть, думаю, посмотрит, поглядит, где молоко наукн сосал. Где двойкн хватал.

Услышав имя Саула Брузжака, Федор Иванович тут же решнл все:

— Поеду, Касснан Дамиановнч. Погляжу, где двойки хватал.

И академик Рядно, еще раз посмотрев на него, протянул ему журнал:

— Возьмн вот в дорогу, посмотри. Там есть две статьи — Ходеряхина н Краснова. Это наши ребята. Они тебя ждут. Познакомишься. У них есть бесспорные достижения. Только помни — там встретишь

и тонких казуистов. Умеют приспособить эксперимент к целям метафизики. Помнишь, что у Киплинга говорит закон джунглей? Сначала ударь, потом подавай голос.

Он умолк и стал смотреть с лаской на Федора Ивановича. Потом достал из кармана большой клетчатый платок — собрался протереть лежавшие на столе очки. Протянул руку к очкам, но в этот момент из платка просыпалась на стол земля. Академик развеселился:

— Хух-х! От черт! Это ж я так и не вытряхнул платок! Понимаешь, вчера на лекции достаю платок и оттуда вот так — земля! Это я по делянкам лазил и вот — набрался... Любит старика земля, а? Так и лезет везде.

Растроганно качал головой, смахивая землю на пол. Потом положил палец на край стола.

— С тобой поедет Вася Цвях. Ты знаешь, он мужик боевой, выдержанный, член партии. Ты помоги ему написать доклад. А он тебе поможет. Давай, сынок, собирай чемодан.

К сожалению, академик так и не вспомнил фамилию того, кто возглавляет подпольное «кубло». «Ладно, — подумал Федор Иванович. — От меня не скроется этот Троллейбус».

И отправился в путь. И перед ним полетела весть, пущенная «знающими людьми»:

— Едет Торквемада. Начитанный, цепкий, ласковый Торквемада.

Погуляв по парку, побывав внизу около реки и обойдя все переулки между трехэтажными институтскими зданиями и службами, Федор Иванович взглянул на часы и отправился на ту улицу, что ограничивала опытные поля института. Громадное хозяйство было обнесено проволочной сеткой на столбах, и против этой ограды, среди высоких сосен, стояли, прячась друг от друга, одинаковые кирпичные домики с мансардами. Здесь жили профессора и преподаватели. Он сразу нашел дом академика Посошкова, открыл калитку и, пройдя между кустами роз, позвонил у дубовой двери. Открыла молодая, довольно рослая, почти белая блондинка, с двумя толстыми короткими косами, которые упруго торчали врозь, и с глазами, как

бы испачканными черной ваксой. У нее были очень нежные голые руки с цыпками на локтях. «Она», — подумал Федор Иванович. Его провели в большую комнату, увешанную картинами. На видном месте висел портрет молодой работницы в красной косынке на фоне кирпичных заводских зданий и красных знамен. Федор Иванович сразу узнал работу Петрова-Водкина. Под портретом на низком столике лежало несколько книг, и среди них вызывающе красовалось крамольное сочинение: Т. Морган, «Структурные основы наследственности» с синим библиотечным штампом наискось: «Не выдавать». Застыв, Федор Иванович невольно расширил глаза. Тут же спохватившись, он отвернулся и встретил внимательный взгляд блондинки, которая сразу опустила густо осмоленные ресницы.

Раздались четкие, быстрые удары бегущих ног по скрипучим ступеням. В этой комнате, оказывается, была лестница, ведущая на мансарду. Вздрагивая прижатыми локтями, вниз сбежал академик Посошков — все в том же выцветшем тренировочном костюме.

— Да? — сказал он, не узнавая гостя. И тут же просиял: — Эге, кто к нам приехал! Кто к нам приехал! Федя Дежкин! Кандидат наук Федор Иванович Дежкин! Здравствуй, дружок... — Он мягко посмотрел на жену, и она вышла. — Садись, Феденька. Можешь не рассказывать, все знаю. Приехал немножко потрясти вейсманистов-морганистов. Правильно. Наконец-то Кассиан Дамианович взялся и за нас... У нас тут говорят, что ты у него правая рука. Ему бы еще и левую такую...

«Тогда бы вейсманисты-морганисты запищали», — хотел с обидой закончить его мысль Федор Иванович. Но ничего не сказал, только, чуть покраснев, уставился на академика. Тот не уступил — закинувшись в кресле назад, стал как-то сверху рассматривать своего бывшего ученика черными, как маслины, мягко горящими глазами. У него было очень худое, с зеленоватыми ямами на щеках, почти коричневое лицо и коротко подстриженные серые усы.

— Время, Феденька, время, — сказал он. — Все-таки семь лет. За семь лет, говорят, все вещества в организме проходят обмен. Замещаются...

— Количественно, — возразил Федор Иванович.— Но не качественно.

Академик, видно, принял эти слова за намек на его вейсманистско-морганистское прошлое — дескать, горбатого могила исправит. Шире раскрыл готовые к драке глаза.

— Если вы действительно считали меня когда-то добрым человеком, если не ошибались, — Федор Иванович сказал это со страстью, — то таким я и уйду в могилу. Человека нельзя сделать ни плохим, ни хорошим.

— А как же исправляют...

— Светозар Алексеевич, не исправляют, а обуздывают. Усмиряют. Для кого существует аппарат насилия? Для тех, кого нельзя исправить.

— Да... — академик вскочил с кресла и быстро прошелся по комнате. Еще раз посмотрел на Федора Ивановича: — Узнаю тебя, Федя. Это ты.

Вошла женщина. Они встретились глазами — академик и она, и Светозар Алексеевич, встав, склонив седины, сделал приглашающее движение:

— Чудеса! Самовар уже вскипел. Давай к столу.

Поднимаясь, Федор Иванович нечаянно взглянул на столик с книгами. «Т. Морган» уже был прикрыт мичуринским журналом «Агробиология», где академик Рядно был одним из самых главных сотрудников.

Открывая стеклянную дверь, академик обнял Федора Ивановича.

— В бога еще не уверовал?

— В бога нет. Но кое-что открыл. Для себя. Ключ вроде как открыл. Чтоб руководить своими поступками и разбираться в поступках других.

— Ого!.. Очень интересно, — Светозар Алексеевич взглянул на него сбоку. — Давай-ка садись, бери пример с Андрюши Посошкова.

За белым квадратным столом, красиво и по правилам накрытым для четырех человек, уже сидел белоголовый мальчик в холщовом матросском костюмчике и водил ложечкой в тарелке с оранжевой смесью: там был накрошен хлеб и залит жидким яйцом. Увидев гостя, мальчик встал и поздоровался, прямо взглянув ему в глаза.

— Вот видишь, здесь севрюга, — сказал академик, когда все сели. — Ты давай, давай, для тебя поставлено. Вот здесь — холодная телятина, прекрасно зажарена. Заметь — желе. Из нее натекло. А моя мате-

рия, — тут он снял тарелку с поставленной около него стеклянной банки, там был творог. — Моя материя вступила в стадию решающей борьбы за сохранение своего уровня организации...

— Но вы же молодой! Вы же тянете на сорок пять лет!

— Тяну? Может быть, может быть... В школе мне объяснили закон сохранения энергии. И я всю жизнь старался эту энергию экономно расходовать...

«Не из соображений ли экономии ты уклонился от борьбы?» — подумал Федор Иванович.

— А как же ваши кроссы? — спросил он.

— Экономия — это уход от ненужных, бессмысленных драк, — сказал академик, как бы прочитав мысль гостя. — А кроссы — это борьба с энтропией. Лень, сон, покой — все это способствует энтропии, распаду, нашему переходу в пыль. Чтобы противостоять, приходится расходовать энергию! Так оно и получается — между двумя огнями. С одной стороны, экономия, с другой — расход. Ты давай, обязательно вместе с куском захватывай побольше желе. Вот этот кусочек возьми — прекрасная вещь! — вдруг сказал он и горящими глазами проследил, чтобы был взят этот кусочек и чтобы на него был положен дрожащий ломтик желе. — Ну, как?

— М-м-м! — благодарно промычал Федор Иванович с набитым ртом.

— А мне уже нельзя... Бери еще кусок. Бери, бери, — сказал академик, кладя себе творог. — Да ты, видимо, прав, — он прямо и с вопросом взглянул в глаза. — Доброго человека не заставишь быть плохим.

— Страх наказания и нравственное чувство — разные вещи, — сказал Федор Иванович, разрезая телятину и совсем не замечая, с каким особенным вниманием вдруг стал его слушать академик. — Страх — это область физиологии. А трусость — область нравственности...

На это академик вопросительно промычал сквозь творог. И еще выразительнее посмотрел.

— Трусость — это не просто страх. Это страх, удерживающий от благородного, доброго поступка. Трусость отличается от страха. Мотоциклист не боится разбиться насмерть. Носится как угорелый. А на собрании проголосовать, как требует совесть, — рука не

подымается. Труслив. Хороший человек преодолевает в себе чувство страха, физиологию. Но если угроза очень страшная, такое может быть... Хороший человек, и тот может дрогнуть. Это уже будет не трусость, а катастрофа. Но это не изменит его нравственное лицо. Человек остается тем, кем он был до своей погибели. И будет искать искупления... Я, конечно, имею в виду сверхугрозу, превосходящую наши силы.

— Я не согласна с вами, — сказала вдруг блондинка. — Все равно это будет трусость. И никакого оправдания...

— Не согласны? — спокойно сказал Федор Иванович, задумчиво взглянув на нее. — А если у вас кто-нибудь отберет вашего ребенка...

— Верно, верно, Федя! Молодец! — с необъяснимой энергией одобрил его академик, которого эти вещи сильно занимали. Он не почувствовал, что свою адвокатскую тираду Федор Иванович произнес специально для него и для его жены. Сам же «адвокат» смотрел на дело иначе. Он не простил бы себе такой катастрофы.

— Серьезные вещи говоришь, Федя, — сказал Светозар Алексеевич. — Я думаю так: у человека, задумавшего кончить жизнь самоубийством, должен исчезнуть физиологический, как ты говоришь, страх. И трусость, подчиняющая его всякой палке, всякому кнуту. Но нравственное чувство будет продолжать повелевать. Он получает свободу от всего, кроме своей совести. И будет стремиться искупить вину. Меня, Федя, часто заставляет задуматься фигура Гамлета. Когда он узнал, что ранен отравленной шпагой, с него как бы свалились все оковы, связывающие доброго человека на этой земле. Он перестал быть подданным короля, стал гражданином Вселенной. Из него мгновенно испарилось все, что зависит от внешнего бытия...

Тут пришла очередь Федора Ивановича прислушаться. Для него это был новый аргумент, и он всей душой потянулся к интересной беседе. Но блондинка со звоном бросила нож на тарелку.

— Перестань! Даже страшно становится, когда он о Гамлете своем начинает. Как будто с жизнью прощается. Неужели нельзя о чем-нибудь еще!

— Да-а... — Светозар Алексеевич затуманился и притих. — У... у такого человека очень интересное правовое положение.

— Разрешите вам налить чаю, — сердито сказала блондинка Федору Ивановичу.

— Простите меня, пожалуйста, как вас зовут?

— Ольга Сергеевна.

Волосы у нее были прямые и белые, как строганая сосновая доска, и две ее толстые короткие косы попрежнему пружинисто торчали врозь, как две плетеных булки. Она подала Федору Ивановичу чашку белой рукой с большим фиолетовым камнем на пальце. Принимая от нее чай, Федор Иванович почувствовал странную тишину в комнате и взглянул на академика. Светозар Алексеевич спал, уронив усталую голову. Слюна стеклянной струйкой скатилась на грудь, скользнула по выцветшему трико. Ольга Сергеевна поднесла палец к губам.

Через полминуты старик открыл глаза и некоторое время сидел так, приходя в себя. Вдруг совсем очнулся и пристально посмотрел на Федора Ивановича, на жену — заметили ли. Нет, никто не заметил. Гость положил себе еще кусок телятины. Ольга Сергеевна заглядывала в маленький электрический самовар. Мальчик пил свой чай, опустив глаза.

Успокоившись, старик положил за худую щеку ложку творогу.

— Ключ! — сказал он, шевеля усами, и задумчиво вытаращился на ложку. — Интересные вещи, Федя, говоришь. Ты что, уже проверил действие?

— Нет еще. Но в руке, похоже, держу.

— Да-а... Ты у нас сможешь его проверить. — Во взгляде академика опять появилась изучающая пристальность. Он немного боялся Федора Ивановича, и его клонило все к тому же — к цели приезда его ученика. И Ольга Сергеевна поглядывала на гостя с заметной тревогой. — Тебе, Федя, в твоем нынешнем положении этот ключ будет просто необходим, я так думаю, — сказал академик, помолчав. — Только не появится у тебя излишняя уверенность в правоте? Ключ ведь можно применять и при неправильной основе. В основе ты уверен?

— Мы с вами, Светозар Алексеевич, что вы, что я, одинаково в ней, в нашей научной основе, уверены, — краснея, сказал Федор Иванович. — Уж если учитель так уверен, куда деваться его прилежному воспитаннику...

Академик закинулся на стуле, как он уже делал один раз, посмотрел на гостя как бы сверху.

— Ты, Федя, твердой рукой подвел меня к вопросу, на который надо отвечать стоя. Тем более, что вы — член комиссии. — Он не заметил, как перешел с гостем на «вы». — Вот, слушайте: я полностью осознал вред, который могут причинить науке мои...

«Заблуждения или трусливые колебания?» — Федор Иванович ясно прочитал этот вопрос в быстром и вызывающем взгляде Ольги Сергеевны, брошенном на мужа.

— ...Заблуждения — твердо отчеканил Светозар Алексеевич. — И я честно, не раз заявлял об этом с трибуны.

Попробуй, поговори с чутким человеком. Никто не смог бы осторожнее коснуться больного места в душе академика, чем это было сделано. Притом сам ведь полез вперед со своей болячкой. Но, оказывается, и так касаться нельзя. Тем более, при даме. Федор Иванович побагровел.

— А что я говорил! — мягко сказал он. — Я же говорил! Хорошего человека... Даже в экстремальных условиях... Сделать плохим нельзя. Нельзя!

Они, конечно, тут же и помирились, и оба, затуманившись, обсудили феноменальную способность человека объясняться с себе подобными на тончайшем уровне.

— Конечно, другого такого ювелира, как я или как ты, не было и не будет. Ни во времени, ни в пространстве, — сказал Светозар Алексеевич. — Чудеса!

Спросить академика о Троллейбусе Федор Иванович остерегся. Тихий голос шепнул ему издалека: помолчи об этом.

Часа через два Федор Иванович быстро шел по одной из аллей парка, направляясь домой, то есть к одному из розовых зданий института, где ждала его комната в квартире для приезжих. Вдруг его внимание остановила редкостная фигура — осанистый и вельможный бородач, стоявший на перекрестке аллей. Чесучовые серебристо-желтые брюки, чесучовый балахончик с рукавами до локтей, алюминиевые туфли на женских каблуках, кремовая фуражечка с капитанской кокардой. Фигура у него была довольно статная,

но с чрезмерным прогибом в талии — прогиб этот повторял линию тяжелого отвислого живота. Бородач за чем-то с интересом следил.

— Иннокентий! — крикнул Федор Иванович. Он узнал местного поэта Кондакова.

Поэт показал счастливую, похожую на подсолнух рожу.

— Ты? Какими судьбами к нам?

И они пошли вместе по аллее, оживленно и громко беседуя. Федор Иванович вскоре заметил, что громкая речь поэта — притворство, что их разговор совсем Кондакова не интересует, что он взволнован чем-то. Потом поэт сделал рукой знак: «Минуточку!» — и, заработав локтями, виляя, ускорил шаг. Вот, в чем дело — впереди шла молодая женщина. Поэт что-то негромко сказал ей. Она не ответила. Он ускорил шаг и еще что-то сказал. Она ответила с небрежным полуповоротом головы. Поэт догнал ее и забежал с одной стороны и с другой. Бедняжка споткнулась, он тут же поддержал ее под локоток. Быстро переменил шаг и засеменил с нею в ногу, отставив зад. В конце аллеи женщина остановилась и долго говорила ему что-то педагогическое. Потом пошла дальше, а он остался стоять, поникший, — правда, ненадолго. Ликующий подсолнух его физиономии опять развернулся навстречу Федору Ивановичу.

— На охоту вышел? — спросил тот.

— Как ты догадался? — поэт показал все свои кукурузные зубы.

— Так у тебя же, наверно, есть...

— Про запас. Природа не терпит остановок. Послушай, как тебе понравится это, — он замычал, вспоминая какие-то строки, и, загоревшись, стал декламировать, успевая поглядывать и по сторонам:

Вот какой я — патлатый,
Синь в глазах да вода,
На рубахе заплаты,
Но зато — борода!

Пусть не вышел в герои
В малом деле своем, —
Душу тонко настрою,
Как радист на прием.

И ворвется в сознанье,
И навек покорит
Шум и звон созиданья,
Обновления ритм.

Басом тянут заводы
Новый утренний гимн,
Великаны выходят
Из рабочих глубин.

Все серьезны и строги
И известно про них,
Что в фундамент эпохи
Ими вложен гранит.

А в полях, где сторицей
Возвращается вклад,
Где ветвистой пшеницы
Наливается злак,

Та же слышится поступь,
Тот же шаг узнаю,
И огнем беспокойство
Входит в душу мою:

Где же мой чудо-молот?
Где алмазный мой плуг,
Чтобы слава, как сполох,
Разлетелась вокруг?

И, задумавшись остро,
Думой лоб бороздя,
Выплываю на остров,
Слышу голос вождя.

Он спокоен и властен,
Он — мечта и расчет.
Ненашедшему счастья
Озаренье несет:

Нет, не только гигантам
Класть основу для стен!
Нет людей без талантов,
И понять надо всем,

Что и винтик безвестный
В нужном деле велик,
Что и тихая песня
Глубь сердец шевелит.

— Ну, и как? — поэт взял Федора Ивановича под руку.

Тот знал, что надо говорить поэтам об их стихах.

— Здорово, Кеша. Особенно это: «На рубахе заплаты, но зато — борода». Твой портрет!

— Ты что, острить?

— Да нет, ничего ты не понял. Ведь ты же не одежду описываешь, а характер, характер!

— Ну ладно, с этой поправкой принимаю. Еще что-нибудь скажи.

— Ты имеешь в виду речь Сталина, где он про маленьких людей? Очень здорово. Очень хорошо: «великаны выходят из рабочих глубин».

— Молодец. Еще скажи. Хорошо критикуешь.

— «Алмазный плуг» — ты это, по-моему, у Клюева стибрил. У него есть такое: «плуг алмазный стерегут»...

— Еще что? — Кондаков отпустил локоть Федора Ивановича.

— Еще про ветвистую пшеницу. Пишешь, о чем не знаешь. Про нее рано ты сказал. Злак еще не наливается. Она ведь не пошла у нашего академика. Могут тебе на это указать...

— Самый худший порок в человеке — зависть, — сказал Кондаков.

— При чем же здесь...

— Федя, не надо. Не надо завидовать. Стихи уже засланы в набор.

Поэт, не прощаясь, резко повернулся и зашагал по аллее, и вид его говорил, что оскорбление может быть смыто только кровью.

Кондаков умел оставлять в собеседнике неопределенный тоскливый балласт. Все еще чувствуя в душе эту тоску, Федор Иванович вошел в комнату, которая в этом городе была отведена под жилье для приезжей комиссии.

II

На следующий день, в понедельник утром, в уставленном высоченными тяжелыми шкафами кабинете кафедры генетики и селекции сидели, раскинувшись в креслах и на стульях, завкафедрой профессор Хейфец — с белым измятым лицом и жгучими восточными глазами, проректор академик Посошков, заведующий проблемной лабораторией доцент Стригалев и два цитолога — супруги Вонлярлярские. В самом темном месте кабинета все время бежало вверх фиолетово-голубое пламя спиртовки — хорошенькая девушка в очках, научный сотрудник Лена Блажко, варила в большой колбе кофе, разливала по пробиркам, похожим на вытянутые вверх стаканчики, и с изящными полупоклонами, как гейша, подавала собеседникам. Над столом профессора висел большой портрет Менделя. Монах в черной сутане с узким белым воротничком спокойно смотрел сквозь очки, скрестив руки на груди, держал какую-то книжку, заложив в нее палец. Рядом висел в такой же — дубовой — раме портрет Моргана. Старик с бородкой выглядывал из-за бинокулярного микроскопа, сдвинув очки на кончик носа, скептически смотрел на кого-то. На кого? На яркий цветной портрет Трофима Денисовича Лысенко, который разместился в большой раме напротив. Академик рассматривал в лупу колос ветвистой пшеницы «Тритикум тургидум». По слухам, он ходил с этой пшеницей к самому Сталину. Он будто бы обещал приспособить ее для наших полей, и это должно было дать пятикратное увеличение урожая. Пшеничка-то не пошла, а менделисты-морганисты не пропустили случая, высказались: мол, это

дали о себе знать законы генетики, против которых боролся Лысенко, не очень удачно присоединив к своему знамени и имя Мичурина. Эта-то пшеница, похоже, и заставила ученого американца выглянуть из-за микроскопа, собрать на лбу несколько морщин.

В кабинете были уже сказаны первые слова о начавшейся на факультете ревизии, теперь наступила пауза, все задумались, прихлебывали кофе.

— У вас все в порядке — в ваших записях? — спросил профессор Хейфец, ложась локтями на свой широченный стол, разворачиваясь всем корпусом к Стригалеву. — Имейте в виду, вы сильно под боем.

— Я все проверил еще раз, — сказал Стригалев — обугленный худощавый брюнет с длинными нитями седины в непричесанных лохмах. Он был по-летнему в белой рубахе с засученными рукавами. — Дайте мне, Леночка, кофейку, — он протянул к Лене плоскую, длинную, волосатую руку.

И Лена, не взглянув, ответила красивым тонким жестом: сейчас, одну минуту вы получите свой отменный, прекрасный кофе. И уже подавала с наклоном головы полную пробирку.

— Я боялся, что пришлют этого... карликового самца, — проговорил с улыбкой академик.

Карликовым самцом здесь называли часто приезжавшего в институт Саула Брузжака, «левую руку» академика Рядно, за его маленький рост и всем известную скандальную связь со студенткой — рослой, тяжелого сложения девицей.

— Эта Шамкова, она, по-моему, уже аспирант. Саул ее двигает, — сообщила Вонлярлярская.

— Она у меня, — пробормотал, хмурясь, Стригалев. — Не знаю, что из нее получится.

— Дивны божии дела! — проговорил профессор.— Известно, что у некоторых пауков, где замечена карликовость самцов, самки пожирают своих супругов... По миновении надобности...

— Ну, Саула не очень-то сожрешь, — заметил академик.

— То, что Рядно прислал этого Дежкина, надо еще осмыслить, — проговорил профессор.

— Он был у меня вчера, — сказал Светозар Алексеевич. — Он далеко не дурачок. Довольно тонок и правильно реагирует... Очень хорошо улыбается. Гово-

рит, открыл ключ к пониманию добра и зла. Правда, развивать не стал...

— *Эритис сикут дии, сциентес бонум эт малюм,* — сказал, кряхтя, Вонлярлярский.

— Переведите, пожалуйста, — попросила Лена.

— Станете яко боги — будете ведать добро и зло.

— Это змий сказал, надо не забывать, если даже говоришь о человеке, который открыл ключ к пониманию добра и зла, — слабо улыбнулся Стригалев, показав стальные зубы. — А вы-то, Стефан Игнатьевич, что это вы парадную форму надели? Новый костюм, бантик...

— Оделся в чистое, — сказал Вонлярлярский. — По морскому правилу.

— Чтоб идти ко дну? — спросил профессор Хейфец, и все жиденько засмеялись.

— Паникеры, — баском сказала Вонлярлярская.

— Я не закончил, — проговорил академик Посошков. — Он не дурачок, но в правоте уверен железно.

— Если не дурак — значит, у него есть какая-то сложная собственная концепция лысенковской галиматьи, — профессор покачал головой. — Значит, он раб этой доктрины. Приехал к нам помочь... Излечить от заблуждения, вернуть в лоно...

— С христианской любовью, без кровопролития, спасительным, все исцеляющим огнем, — сказал Вонлярлярский.

— Каяться не буду, — тихо проревел профессор. — Санбенито не надену.

— И зря, — заметил академик, мягко сверкнув глазами. — Сейчас не пятнадцатый век.

— Как понять? — профессор обернулся к нему.

И тут все затихли. В дверь негромко стучали. Раздались четыре мерных удара. Лена взглянула на профессора, тот кивнул, и она повернула в массивной двери тяжелый старинный ключ. Вошел Федор Иванович Дежкин — явно с каким-то важным делом.

— Легок на помине, — сказал он, оглядывая всех.— Поклон уважаемой конференции. Простите, я должен сделать заявление. Можно? Вы не приглашали на это заседание ни меня, ни моего старшего коллегу Василия Степановича Цвяха. Тем не менее, мы против своей воли оказались среди вас, хотя и без права голоса. У вас здесь перегородка... Фанерная, по-моему...

А мы там бумаги листаем, уже часа полтора. Я уполномочен сказать вам, что у нас нет дурных намерений, что пользоваться вашими промахами мы не хотим.

— Давайте представимся, — сказал академик Посошков, поднимаясь из своего кресла, изящный, как юноша, в своем темно-брусничном костюме. — Это профессор Натан Михайлович Хейфец. Это кандидат Федор Иванович Дежкин, в прошлом наш студент. Это наш завлаб — генетик и селекционер Иван Ильич Стригалев, доцент, доктор наук...

Громоздкий и худой, как дикарь, Стригалев распрямился, словно выбираясь из клетки, и показал стальные зубы, и что-то толкнуло Федора Ивановича. Он уже видел когда-то давно такое измятое лицо и стальные зубы у одного геолога...

— Иван Ильич, — сказал Стригалев. — Доктор, только не утвержденный.

— Это Леночка Блажко, кандидат...

— Тоже не утвержденный, — отозвалась Лена с улыбкой и полупоклоном.

— А это наши цитологи...

И сразу поднялся навстречу новому человеку чистенький старичок с пестрым бантом на шее — вчерашний синий бегун.

— Торквемада... — шепнул ему Федор Иванович.

— Ваше преосвященство... — чуть слышно пробормотал бегун с еле заметным поклоном, как бы приложившись к руке Федора Ивановича. Тут же он выпрямился и громко назвал себя: — Вонлярлярский, Стефан Игнатьевич. Как это я мог не узнать своего студента!

— Леночка, кофе гостю, — сказал академик.

А Леночка уже несла полную пробирку, и жесты ее, как иероглифы, которые Федор Иванович сразу прочитал, говорили: хоть вы и ревизор, я вас нисколько не боюсь и даже полна любопытства.

— Такая у нас кофейная посуда, — сказал академик.

— Я примерно догадываюсь, что это за посуда, — Федор Иванович принял от Лены кофе, еле сдержав ухмылку. — Она у вас, конечно, носит ритуальный характер...

Как раз в это время маленькая искорка плавно опускалась перед ним и, наконец, села ему на мизинец.

Это была мушка-дрозофила — знаменитый объект изучения у морганистов. Она несколько раз раскрыла крылышки и сложила, пробежала вправо, пробежала влево и исчезла.

— Кажется, дрозофила меланогастер, — сказал Федор Иванович. — Правда, я не очень в этом...

— Фруктовая мушка, могла запросто с улицы прилететь, сейчас лето, — небрежно заметил Стригалев.

— Мне показалось... у нее были красные глаза, — возразил с улыбкой Федор Иванович. — Я читал Добржанского.

— Составим акт? — угрожающе-устало сказал профессор Хейфец.

— Уж и акт! Однако у мушки был такой же вызывающий вид. Она заодно с вами!

— Вся природа заодно с нами, — сказал профессор. Он уже лез на вилы.

Академик подошел к нему, положил руку на плечо.

— Натан Михайлович, не забывайте, вы лежите в обороне.

— Кто лежит в обороне? — раздался зычный голос от двери. Там стояла невысокая тяжеловесная женщина с тройным блинчатым подбородком, как бы в тройном ожерелье, да еще с двумя нитками красных крупных бус. — Это вы в обороне? Федор Иваныч! Дай-ка, посмотрю, чем они тебя поят. Это же пробирка, в которой формальные генетики разводят своих мух! Ничего, пей, этим нас не проймешь! Так кто лежит в обороне?

— Анна Богумиловна, теперь, когда вы пришли, уж, наверно, мы зароемся все в землю, — сказал профессор Хейфец.

— Федор Иваныч! Светозар Алексеевич! Какая же это оборона! Зачем они повесили портрет нашего президента с ветвистой пшеницей, когда знают, что у академика с нею неприятности?

— А вот зачем, — ответил профессор. — Открыто критиковать вас нельзя. Так пусть ваши собственные позы, слова и дела будут вам критикой. Не хватает еще, чтобы мы за вас думали, как оберечь вас от позора.

Федор Иванович покраснел.

— Неужели вы так твердо уверены в своем?

— Да нет, свое-то мы знаем пока очень слабо. Мы

хорошо, прекрасно знаем ваше. Оно было актуально двести лет назад. Когда смотрели не в микроскоп, а в линзу Левенгука.

— Тогда и мне придется высказать свою точку зрения. Мне кажется, что ваша наука идет на ощупь от факта к факту, как бурят землю геологи. Все глубже и глубже. Вам кажется, что скважина идет прямо, а ее повело куда-то в сторону. В какую сторону повело, повело ли вообще — не знаете. Знай бурите, думаете, что прямо.

— Ну, сейчас так не бурят.

— Вы как раз так и бурите. Наставляете звено за звеном и последовательно бурите. А мы...

— Диалектически? Скачкообразно?

— Натан Михайлович! Запрещенный прием!

— А ваш художественный образ?

— Это я в пылу. А в общем-то я даже могу вам показать все наше расписание ревизии наперед. Завтра, например, я приду к Ивану Ильичу, буду смотреть его журнал и работы. Вам остаются сутки на подготовку. Если бы наши отношения строились не на товарищеских началах, я бы этого не сказал. Это я к тому, что нам с вами надо оставить эти взаимные подковырки.

— Что же касается нашей науки, — забасила Анна Богумиловна, — она совсем на других основах... Мы перекидываем мосты. Опираемся на диалектику, которая является наукой универсальной и дает нам законы движения всего сущего в материальном мире. Мы строим по имеющимся точкам фигуру и находим те точки, которые еще не известны. Они могут быть очень далеко впереди. Практики получат пшеницу...

— Анна Богумиловна, ветвистую, — как бы умирая, пролепетал профессор.

— Пшеницу, — поддержал ее Федор Иванович. — А ваша наука будет заполнять частные пробелы. Как в каркасном доме — уже сделана крыша, а проемы еще заполняются кирпичом.

— Ваш академик нас лучше назвал — трофейной командой.

Профессор теперь устало полулежал, навалившись на свой стол. Когда зашла речь о диалектике, он сразу поник, утратил интерес к спору. Светозар Алексеевич, закинувшись назад, словно любовался своим

бывшим учеником и перебирал сухими пальцами на подлокотнике.

— Ваше преосвященство, дайте знамение, — негромко, но все же внятно сказал Вонлярлярский, и лицо его, похожее на увядший, подсыхающий плод, осклабилось. Он перешел черту, и это задело Федора Ивановича.

— Знамение получите, получите. В надлежащее...— он тут же почувствовал, что сказал что-то очень двусмысленное и скверное. Запнувшись, он покраснел и отчетливо заявил: — Все, что я сейчас здесь наговорил — глупость, плод запальчивости. Все слова беру назад и прошу у всех прощения. И еще одну пробирку кофе.

Сказав это, он просяще улыбнулся. И все вокруг примолкли, увидев, как вдруг необыкновенно похорошело его лицо. Оно не было гладким, даже производило впечатление жесткой суровости. Может быть, поэтому нечастые его улыбки радовали собеседника, как долгожданные просветы, паузы для отдыха. Ему не раз говорили об этом свойстве его улыбки, и, боясь как бы она не стала чарующей и фальшивой, боясь начать пользоваться этим своим несчастным даром, он совсем почти не улыбался, держал себя под контролем.

— Конечно, такая полемика мало помогает выяснению истины, — сказал смущенно Вонлярлярский, оглянувшись на Анну Богумиловну. — А если посмотреть на нашу работу с позиции *контенанса,* все в этой комнате — последовательные в своей основе мичуринцы.

Короткий смешок подбросил профессора, полулежавшего на столе. Натан Михайлович радостно посмотрел на украшенный сложным пробором затылок Вонлярлярского.

— Кроме меня, — раздельно проговорил он. — Такой контенанс меня не устраивает.

— Пойдем отсюда, — заколыхалась Анна Богумиловна, таща Дежкина к двери. Он оглядывался, разводил руками. — Пойдем, пойдем! Надо работать, они заморят тебя своим контенансом. Ты же обещал смотреть мою пшеницу! Я же — Побияхо, Анна Богумиловна, ты забыл меня?

И пришлось комиссии идти в ее комнатку на втором этаже, уставленную снопами, пахнущую, как овин

после сбора урожая. Василий Степанович Цвях — седой, весь мускулистый, твердый, больно стиснул в коридоре руку Федора Ивановича.

— Молодец. Я все слышал. С ходу между глаз им врезал!

Но чего-то не договорил. Посмотрел, пожевал губами и сам себя пресек.

А в кабинете долго стояла остывающая тишина. Потом профессор Хейфец, устало охнув, вышел из-за стола, головой вперед протопал к двери. Были слышны его шаги в коридоре — он заглянул в соседнюю комнату, отгороженную фанерой. Вернувшись, запер дверь.

— Он, по-моему, порядочный человек. В первый раз встречаю у лысенковцев. Светозар Алексеевич, что может делать у них такой лыцарь? Диву даюсь...

— Он еще студентом такой был, — сказал академик.

— Мне он тоже нравится, — проговорил Стригалев.

— В том-то и беда, — продолжал профессор. — Мне он кажется страшно опасным. Такие вот святые монахи и были главными сжигателями. И винить нельзя — святые побуждения!

— Это верно, монах, — вздохнул Вонлярлярский.— Доминиканский монах, подпоясанный веревкой. Вместо веревки — ковбойка...

— Нашу бы Леночку прикомандировать, — сказал профессор. — Чтобы пококетничала с ним. Чтоб узнала, когда нам, как говорится, собирать сухари...

— Ну уж вам-то и сухари... — бросил с места Стригалев.

— А вы, Иван Ильич, готовьтесь. У вас ведь есть еще ночь.

— А что готовиться. У меня прививки. Все делаю, как велит корифей. И результаты те же...

Все засмеялись.

— Конечно, развязать ему язычок — это было бы хорошо, — сказал профессор, и все посмотрели на Лену.

Она, склонив набок голову, грела колбу с кофе. «Да, я слышу, слышу»,— говорила ее поза.

Часа в четыре дня Федор Иванович и его «главный» — Василий Степанович Цвях, сильно уставшие от своей контрольной деятельности, подходили к двух-

этажиому, такому же розовому, как и остальиые, кирпичному зданию. Здесь жили работники института, а иа первом этаже среди стен метровой толщины членам комиссии была отведена сводчатая келья. Ревизоры из Москвы прошли между домами и многочисленными сараями к сильно осевшему в землю камеииому крыльцу. Около крыльца, иа земле, стоял кубический каркас из плаиок, обтянутый проволочной сеткой. Там, сбившись в кучу, о чем-то азартно хлопотали десятка два грязио-белых цыплят. Над клеткой склонилась уборщица тетя Поля.

— Что делают, что делают, шпана окаянная! — запричитала оиа, увидев своих гостей. — Ну, прямо как люди!

— Что случилось? — спросил Василий Степаиович как старший в комиссии.

— А вот, посмотри сам, что делают. От роду два месяца, а уже кровь им живая нужиа. Ну прямо как люди. Кыш-ш!

Стая разлетелась по клетке, хлопая крыльями, и Федор Иванович увидел блюдце и около него увядшего цыпленка с окровавленной головой.

— Гребешок у иего клюют. Сейчас вот заберу этого — так иового ведь найдут! Безобидиая, изывается, птица...

— Действительио, — удивился Цвях. Впрочем, его заботили более важные вещи, и, остаиовившись иа крыльце, он вдруг сказал: — Хоть оиа и доктор иаук, эта Побияхо, а в пшеницу ее я не верю. Что-то быстро очеиь она переделала свою яровую в озимую.

— Но пшеница хороша, — заметил Федор Иванович.

В комнате Цвях, тряхиув одной и второй ногами, ловко сбросил ботиики и с удовольствием растянулся на своей койке. Федор Иванович раскрыл перед ним свой огромный потертый портфель, полиый длиииых папирос, и разъяснил, что ои сам иабивает гильзы, потому что любит особую смесь табака, туда входят некоторые известные ему травы, в том числе и *мелилотус оффициналис*. Узнав, что это обыкновениый донник, Цвях сказал:

— Я предпочитаю «Прибой». Но попробую.

Они оба задымили. Федор Иванович, прежде чем лечь, подошел к телефону — его привлек обрывок бу-

маги с крупными каракулями: «Туманова ишо позвонить».

Минут через сорок телефон зазвонил. Низкий, полный женский голос, торжествуя, пропел:

— Это ты, пропащий? Паралик тебя расшиби! Приехал еще позавчера, и носу...

— Антонина Проко-офьевна! — закричал Федор Иванович, приседая от радости. — Антонина Прокофьевна!

— Постригся, говорят, в монахи, получил звание кандидата, такие перемены, а чтоб старым друзьям ручку...

— Антонина Прокофьевна!

— ...ручку чтоб, всю в перстнях, пахнущую сандаловым деревом, без очереди протянуть для поцелуя старым друзьям...

— Я сегодня же...

— Почему я тебе и звоню. Сегодня в моей хате сборище. Чуешь? В семь! Будет хорошая компания, приходи. В семь, не забудь. Лучше, если придешь в полшестого. Чтоб мы могли поговорить.

— Только я не один...

— Знаю. Товарищу Цвяху скажи, чтоб тоже приходил. В семь. А сам в полшестого. Будет и дядик Борик. Посидим втроем...

Это звонила Туманова, в прошлом артистка оперетты. Когда-то она начала было выходить в знаменитости, но непредвиденные обстоятельства изменили всю ее жизнь, и теперь почти пятнадцать лет она лежала с параличом обеих ног, зарабатывая статьями в газетах и журналах.

— Идем сегодня в интересное место, — сказал Федор Иванович своему товарищу.

К половине шестого он, побродив по городским улицам, застроенным двух- и трехэтажными старинными домами, вступил в кварталы Соцгорода с его одинаковыми пятиэтажными зданиями, сложенными из серого силикатного кирпича. Он нашел нужный дом, поднялся на третий этаж и у темной двери нажал кнопку звонка. Из-за сетки, закрывающей круглый зев в двери, раздался знакомый поющий радиоголос:

— Это ты-и-и?

— Это я, — сказал он.

Последовал железный щелчок, и дверь отошла. Он

шагнул в коридор. Две старухи молча застыли у входа на кухню, как два темных куста с опущенными ветвями. Он пересек узкую комнату и, миновав никелированное кресло на велосипедных колесах, вошел в квадратную, светлую. Зеленый волнистый попугайчик тут же, порхнув, сел к нему на плечо.

Туманова полулежала на высокой кровати черного дерева среди нескольких больших подушек. Хорошо расчесанные старухами черные, как бы дымящиеся волосы тремя черными реками разбегались по розовым и белым с кружевами подушечным холмам. На белом, утратившем упругость, мучнистом лице, на дерзкоалых губах постоянно жила насмешка над судьбой. В коричневатых тенях укрывались, приветливо сияли черные глаза.

Федор Иванович поцеловал ее в щеку и в висок. Наклоняясь, он увидел в ее волосах знакомую платиновую веточку ландыша с бриллиантовыми крупными продолговатыми цветками. Когда-то цветков было восемь, и все бриллианты были разных оттенков. Баснословная драгоценность подтаяла за эти семь лет — осталось только пять бриллиантовых цветков — белый, фиолетовый, розовый, зеленоватый и желтый. На месте остальных висели пустые платиновые чашечки.

— Куда же три алмаза дела? — спросил Федор Иванович нарочно грубым тоном. — Там же был и черный...

— Бы-ыл, бы-ыл! — ответила она таким же грубоватым тоном курящей фронтовички. — Целая исто-рия! Мой мужик-то, душа из него вон... Изменщик оказался... Жени-ился!

Есть у некоторых врачей манера говорить с больными — громкий голос, бодрый тон, шутки. Мол, ничего страшного не случилось. А тут больная, да еще сильно обиженная разговаривала со здоровым человеком таким же докторским веселым тоном, чтобы, чего доброго, не вздумали ее жалеть...

— Женился, паразит! Мужичья природа. Она завсегда свое возьмет! А уж кого облюбовал, ты бы посмотрел. В серьгах... Так я ему свадебный подарок. Машину купила. Мужичье и есть мужичье, машину любят больше, чем жену! Ну раз так — получи... Два камушка ушло. А потом родилась кроха, еще один продала. Крохе на зубок, хи-хи!..

— Ты мне про него раньше не говорила.
— А что было говорить? Был счастливый брак.
— Он здешний?
— Здешний. Каждый день в окно могу любоваться, как на работу идет.
— Тоже Туманов?
— Не-е, я не стала брать его фамилие, — она любила такой стиль разговора. — Потому как фамилие его мне не занравилось. Самодельное. И вообще, он был порядочный мерзавец.
— А что же ты...
— Такая вот была. Как розовая глина мягка под любящей рукой. Мне нельзя было делать аборт, потому как у меня после трамвайной катастрофы... Я говорила тебе? Ведь пятнадцать лет назад я угодила, меня угораздило, Федяка, в настоящую катастрофу. У-у! С жертвами! После нее-то и началось — ногу нет-нет да и приволокну. А он вот так руку мне на коленку кладет: делай, душенька, аборт, я тебе и доктора нашел... После доктора этого и не встала больше. Самец он, это верно, хоть куда. Сейчас, правда, пожух.
Они замолчали. Волнистый попугайчик хлопотал на плече у Федора Ивановича, кланялся, шептал какието слова.
— Вот так, Феденька, я и лежу. До сих пор. Сколько мы не виделись? Семь лет? Иногда бабушки сажают меня вон в ту мансарду, как ее дядик Борик назвал. И мы катаемся по комнатам. Иногда и на балкон выезжаем. Я тут стала, Феденька, со скуки вейсманизм-морганизм изучать. Распроклятого Томаса Моргана достала.
— Не страшно?
— А что бояться? С меня, с инвалиды безногой, что возьмешь? Посадить захочешь — так надо же ухэживать! Я и так уже сижу... И Лысенку вашего тоже штудирую. «Клетки мяса», «клетки сала». Мне кажется, ваши враги ближе к существу. Смотри, не напори ерунды...
— Где же ты Моргана добыла?
— Это я буду отвечать на страшном суде. А тебе, Федяка, если и скажу, то когда-нибудь потом. Когда будешь без юридических полномочий.
Тут в комнате повис райский звук — будто ударили карандашом по хрустальной посудине. Туманова

сунула руку под подушку. Рука у нее была полная, красивая... Вытащила микрофон на шнуре.

— Дядик Борик? — пропела она. — О-о! Вы даже вдво-ем! Стефан Игнатьевич! Милости просим, тут вас ждут.

Оба вошли, разгоряченные спором, и за ними, как тень, Вонлярлярская. Стефан Игнатьевич поцеловал ручку Тумановой и, запустив палец за бантик на шее, покрутив гладко причесанной лысоватой головой, не разгибаясь — снизу — пустил своему оппоненту шпильку:

— Может быть, где-нибудь зарыт под землей платиновый эталон добра? Что такое добро? Что такое зло? Дайте сначала *дефиницию!*

— Мы с вами сейчас будем спорить, а Учитель выставит нам отметку, — сказал высоченный Борис Николаевич, с плутоватым и добрым, длинным, как у борзой, лицом. При этом он радостно кивал, здороваясь с Федором Ивановичем, ловя его руку. Он снял свою инженерскую фуражку с кокардой и бережно положил ее на полку с книгами. — Пока мы шли, Федор Иванович, я вспомнил ваше историческое доказательство и уложил его на лопатки. Вот этого. Только ему мало оказалось. Видать, ничего не понял. Давай ему дефиницию. Вот ответьте, Стефан Игнатьевич, нужно спасать тонущего?

— Нужно. Ну и что? — старенький Вонлярлярский со вздохом облегчения упал на стул. Уселся и дядик Борик, перекинул ногу через колено, и Федору Ивановичу показалось, что одна нога инженера дважды, как тряпка, оплелась вокруг другой.

— А может быть, не нужно? — дядик Борик обнажил беззубые десны.

— Ближе к делу! Ну и что?

— А почему нужно?

— Не знаю.

— Вот когда вы мне дадите дефиницию, почему нужно спасать, я вам дам вашу дефиницию — что такое добро.

— Почему, можно и раньше дать, — спокойно сказал Федор Иванович. — Только нужно — как яблоню выкапывают — подходить к стволу, начиная с самых тонких корешков. Вот скажите — вы признаете, что страдание абсолютно?

— С этим, пожалуй, согласиться можно,— Вонлярлярский наклонил голову, будто пробуя что-то на вкус. — Да, я согласен.

— Можно мне? — капризничая, вмешалась Туманова. — Феденька, а если мне нравится, чтоб болело?

— Тогда это не будет страданием! Это будет наслаждением! Ты не путай — причины страдания — да, могут быть разными. Но само страдание есть страдание. Оно не может нравиться.

— Я с вами согласен. И даже чувствую, куда вы хотите нас привести.

— Чувствуете, но не то, Стефан Игнатьевич. Вот на вас падает кирпич и причиняет страдание. Что это?

— Зло...

— Вот и неверно. Разве камень может быть злым? Разве в Библии не сказано — не обижайся на камень, о который ты споткнулся? Камень, гвоздь в ботинке — это безразличные обстоятельства, причиняющие вам страдание. И только. А вот если я желаю причинить вам муку и бросаю в вас камень. Как суд назовет этот поступок? Зло-на-меренным! Значит, зло — это качество моего намерения, если я хочу причинить вам страдание. Вот вам дефиниция.

— А если я, намереваясь причинить страдание, хочу через это страдание излечить человека? — спросила Туманова.

— Ну, хитра! Все зависит именно от того, чего ты на самом деле хочешь: излечить или причинить страдание. Чего ты действительно хочешь, таково и твое намерение. Может, ты злая и хочешь, чтоб я страдал, а разговоры о лечении — маскировка.

— Феденька, я все поняла.

Борис Николаевич, как ученик, поднял руку.

— А если я хочу вам, Стефан Игнатьевич, доставить приятность — понимаете? То качество такого моего намерения — добро. — Тут он слегка поклонился сначала Тумановой, а потом, подчеркнуто,— Вонлярлярскому. — Та же самая дефиниция, но со знаком плюс.

— Дядик Борик у нас отличник. Ему — пять с плюсом, — положил Федор Иванович резолюцию. — Но я, товарищи, не устаю удивляться, откуда эти разговоры об относительности? Ведь доброта и злоба иногда потребляются в чистом виде! Когда мне говорят

доброе слово, не дающее ничего полезного для моего кошелька, я ничего не получаю! Ничего, кроме ощущения счастья! То же и со злом. Поймаешь взгляд, адресованный тебе, полный ненависти, и страдаешь. И так было три тысячи лет назад...

— Самый настоящий диспут! — воскликнула Антонина Прокофьевна. — Ты сейчас это все придумал?

— Семь лет носил. Нет, больше. Лет пятнадцать. С тех пор как сотворил свое первое дело, причинившее хорошему человеку серьезное страдание.

Опять в комнате повис поющий звук.

— Леночка! — радостно, но все же по-докторски воскликнула Антонина Прокофьевна. — Давай, дава-ай! Скорей к нам! Охо-хо! Гость повалил!

Вошла Лена Блажко. На ней было сине-черное с мелким белым горошком платье. Вязаную кофту она уже сняла и держала в руке. Потом повернулась и бросила ее на спинку кровати. При этом свободном повороте она будто разделилась на две части — настолько тонким оказался перехват. «Если обнять, — подумал Федор Иванович, — обязательно коснешься пальцами своей груди, круг замкнется».

А она, как бы в ответ, повернулась к нему и посмотрела очень строго сквозь большие очки.

— Здравствуйте, — сказал Федор Иванович, смутившись.

— Здравствуйте, — ответил высоко над ним мужской голос.

Оказывается, сейчас же за нею вошел Стригалев. Он был на этот раз в малиновом свитере, глухо охватывающем тонкую кадыкастую шею. А седоватые вихры так и не причесал с утра.

— О чем гутарили? — спросил он, навалившись плечом на косяк двери.

— Разговор, Ванюша, был интересный, — сказала Туманова. — Жаль, тебя не было. О добре и зле. Кстати, Феденька, у тебя ведь было еще историческое доказательство. Давай-ка его нам!

— Он доказывает, что добро и зло безвариантны, — задумчиво проговорил Воляртлярский.

— Но ведь это верно! — воскликнула Туманова чуть громче, чем надо. — Если спас человека — почему спасший ходит кандибобером? Он открыл в себе нечто! Даже если нельзя никому рассказать — все равно!

— Мне кажется, — осторожно заметил Вонлярлярский, — он ходит, как вы сказали, кандибобером, потому что в доброте есть элемент эгоизма. Добрым поступком человек прежде всего удовлетворяет свою потребность в специфическом, остром наслаждении...

— Не то, — сказал Федор Иванович, почему-то темнея лицом. — Добро — страдание. Иногда трудно переносимое.

Все умолкли, Вонлярлярский легонько хихикнул. Стригалев округлил глаза и выразительно повернул голову, словно наставил ухо.

— Потому что добрый порыв чувствуешь главным образом тогда, когда видишь чужое страдание. Или предчувствуешь. И рвешься помочь. А почему рвешься? Да потому, что чужое страдание невыносимо. Невозможно смотреть. Когда мне в медсанбате сестра перевязывала рану, знаете, какое лицо у нее было... Такая была написана боль... Вот примерно так. А приятное ощущение возникает уже потом, когда все сделано. Когда спас и сам не утонул. Тут уж и кандибобером пройдешься! Так что никакого эгоизма в добрых делах нет, Стефан Игнатьевич. Если есть, это не добрые дела.

После некоторого общего молчания Туманова захлопала в ладоши, сверкая перстнями, и объявила:

— Ладно, хватит страданий! Ты, Феденька, идешь на кухню, там бабушки дадут тебе самовар. А остальные мальчики выдвинут на середину стол.

Самовар был из красной меди, весь в вертикальных желобках, он сверкал и шумел. Ручка крана была как петушиный гребень, вся медно-кружевная, особенная, чтобы открыть кран, ее надо было не повернуть, а опустить вниз. Федор Иванович принес самовар и утвердил на столе, который уже накрыли скатертью. Лена ставила стаканы и блюдца. Сев в сторонке, Федор Иванович иногда хмуро посматривал на нее. Он приметил, что у нее красивые темные, но не черные волосы, гладко начесаны на уши и заплетены сзади в хитрый лапоток. Карие глаза опять посмотрели на него в упор через очки. Еще приметил он ее широкие честные брови. «Она, должно быть, на редкость чистая душой, что ни подумает — сразу выдает движением», — такая мысль вдруг пришла ему в голову. Заметил он и чувственную пухлинку маленького розового

рта. Но тут же увидел бритвенное движение губ и переносицы, отвергающее плоть. И подумал: «Ишь, какая...»

— Что-то стаканы трескаются, — сказал дядик Борик. И за столом он был выше всех на голову. — Давайте, Леиочка, налейте мне, а я загадаю, пустят меия за границу иа коигресс или иет.

Все весело зашумели.

— Сейчас все полезут гадать, — Стригалев покачал головой. — Давайте, Леночка, наливайте мне тоже. Загадаю: утвердят мие докторскую степеиь?

В тишиие запела струя кипятка. Стаканы не лопались.

— Не утвердят, — сказал Стригалев.

— Паразиты, — поддержала его Туманова.

— А вы будете гадать? — спросила Леиа Федора Иваиовича.

— Я ие верю в судьбу. Еще одио разочароваиие...

— А во что вы верите?

— Ни во что ие верю. Впрочем, нзлейте, загадаю одну штуку. В виде исключеиия.

— И что вы загадали? — спросил Воилярлярский.

— Тайиа.

«Если лопнет стакаи, то, что мне кажется, — правда, и я на ией женюсь», — загадал Федор Иванович.

— Я тоже загадала иа этот стакан, — сказала Лена и опустила кружевиой гребеиь краиа. Заклокотал, заиграл в стакаие кипяток.

Все молчали. Подождав — может быть, лопнет, — Леиа, иаконец, подвииула стакаи на блюдце Федору Иваиовичу и торжествующе улыбиулась — словно знала все. Ои шевельиул бровью и, иесколько разочароваииый, приият свой чай.

— Нальем теперь мие, — сказала Туманова.

Тут-то и раздался выстрел. Кому-то повезло с гаданием. Федор Иваиович огляделся по сторонам, ища счастливца, и вдруг взвыл от ожога — это его собствеииый стакаи лопнул, кипяток вытек иа блюдце и промочил его брюки. Стакаи целиком отделился от доиышка.

— Ничего себе, цеиа! — шипел от боли счастливый Федор Иваиович. — Заглянул, называется, в будущее!

Леиа смотрела на него строго. «Что-то подозрительное ты загадал», — говорило ее лицо.

«Неужели и я так говорю лицом и глазами, и она читает!» — подумал Федор Иванович.

— Федя, у тебя обязательно сбудется, — сказала Туманова. — Это тебе говорит квалифицированная гадалка. Но приготовься. Будет страдание.

— Так как же у вас все-таки обстоит с верой? — спросил Стригалев, глядя в свой стакан.

— Есть, Иван Ильич, три вида отношения к будущему и к настоящему, — с такой же серьезностью сказал Федор Иванович, выставляя вперед три пальца.— Первое — знание,— он загнул первый палец,— основывается на достаточных и достоверных данных. Второе — надежда. Основывается тоже на достоверных данных. Но недостаточных. Наконец, третье, что нас сейчас интересует — вера. Это отношение, которое основывается на данных недостаточных и недостоверных. Вера по своему смыслу исключает себя.

Сказав это, он нечаянно взглянул в сторону Вонлярлярского. Тот пристально изучал его. И тут же, немного запоздав, опустил глаза. Чтобы не смущать его, Федор Иванович отвернулся и встретил серьезный, несколько угрюмый взгляд Стригалева. И этот опустил задрожавшие веки. «Они все боятся меня», — подумал Федор Иванович и отвел глаза. И прямо наткнулся на строгий, внимательный взгляд Лены сквозь очки. Похоже, весь этот вечер Туманова устроила по их заказу — чтоб они «на нейтральной почве» могли присмотреться к Торквемаде. И дядик Борик потому сел рядом и даже иногда приобнимал его — он знал все и хотел поддержать Учителя.

Опять прозвучал хрустальный сигнал.

Это был Василий Степанович Цвях в своем командировочном темном и несвежем костюме, красиолицый, мускулистый и седой. Он появился в двери и окинул общество доброжелательным взглядом. Увидел Туманову, пронес свои желтоватые седины к ней, представился и, кланяясь, попятился к двери.

— Извиняюсь, — сказал он, вежливо дернувшись. — Я прервал вашу беседу.

— Вась-илий Степанович! — пропела Туманова баском. — С вашим участием она потечет еще веселей! Вот кого мы сейчас спросим. Вы не слышали нашего спора. Как вы считаете, Василий Степанович, может быть в добре заключено страдание?

— В добре? Вполне. Это была самая любимая тема моего отца. Я запомнил с его слов несколько цитаток. Одна как раз сюда подходит. «Сии, облеченные в белые одежды,— кто они и откуда пришли?»— Тут Цвях поднял палец.— «Они пришли от великой скорби».

— Ого! — почти испуганно сказал Стригалев. — Это он сам сочинял такие вещи?

— Такие вещи не сочиняют, — сказал Василий Степанович с чувством спокойного превосходства. — Их берут из жизни, записывают... И текст сразу становится классическим трудом. Это Иоанн Богослов, был такой мыслитель. Ваш вопрос занимал людей еще тыщу лет назад.

Наступило долгое молчание.

— Василий Степанович... — осторожно проговорила Лена. — Мы тут гадали. Хотите погадать?

— Никогда не гадаю. Даже в шутку.

— Не верите в судьбу, а? — хитро подсказала Туманова.

— Вообще ни во что, — был скромный ответ с потупленными глазами. Федор Иванович удивленно на него посмотрел.

— Позвольте, но когда-нибудь вы верили? Кому-нибудь... — осведомился Вонлярлярский, трясясь от старости и изумления.

— Когда-то... Когда совсем не думал. Тут или думай, или верь... Но, товарищи, у каждого накапливается опыт. И у меня, значит, это самое...

— Еще один неверящий! — Туманова захлопала в ладоши. — И вы с нами поделитесь?

— А что делиться, дело простое,— Василий Степанович прошел к столу, уселся и хозяйским движением руки попросил себе чаю. Лена ответила чуть заметным наклоном головы.

— Я могу позволить себе верить только на основе личного опыта, — сказал Цвях, принимая от нее стакан. — Личного опыта, который, к примеру, говорит: «Дед Тимофей всегда верно предсказывает погоду». Здесь я доверяюсь своему опыту и получается уже не вера — а почитай что знание. А когда говорить про погоду берется неизвестный мне человек, тут я могу только притвориться для вежливости. Стало быть, никакой веры. Никаких призраков.

— Простите, простите... — послышался голос Вон-

лярлярского. Эти мысли для него были новы, и он странным образом крутил головой, чтобы они улеглись как надо.— Простите,— сказал он,— как же я могу жить в семье, если «никакой веры»?

— А зачем верить? Ты ведь знаешь, что они тебя не обманут. Простите, я хотел сказать, вы знаете. Так это же лучше, чем говорить им: «Я допускаю, что вы меня не обманете, я верю вам». Особенно, если с затяжечкой такой скажу. Нет! Я знаю вас! И безо всяких там колебаний, без веры отдаю вам все свое. *Беритя!*— Иногда у Василия Степановича прорывался деревенский акцент.

— И в коммунизм нельзя верить, а можно только знать?— не отставал Вонлярлярский, округлив глаза, крутя головой. Федор Иванович посмотрел на него с укоризной.

— Не можно, а нужно знать,— ответил Цвях.— Этим он и отличается от религии.

— В общем, да, конечно... А вы-то много знаете?

— Если честно сказать, очень мало. Не имею достаточных данных.

— Вот видите... А говорите, верить нельзя. Как же без веры?

— Очень просто. То есть, вернее, сложно. Ищу данные и буду искать, пока не найду.

— И тут данные! Вы не сговорились с Федором Ивановичем?— спросил изумленный Вонлярлярский.

— А чего сговариваться? К этому все придем. Зачем мне верить, что «а» есть «а», если я знаю это. Зачем мне верить, что «а» есть «б», когда я знаю, что это не так. Правда, современная мудрость говорит... Ну, пусть докажет. Верить — это значит передать свой суверенитет. Можно матери. Можно другу. Можно — испытанному авторитету. Испытанному. И все — до определенной точки. Я верю матери, но знаю, что она недостаточно образованна. И когда она говорит об эпилептическом припадке: «Возьми за мизинный палец, подержи и все пройдет»,— я мягко, чтобы не обиделась, обхожу ее совет. И никому я не поверю, кто мне скажет: «Возьми за мизинный палец». Даже если это будет говорить самый что ни на есть... Я вычеркиваю начисто всякую веру и отлично, товарищи, обхожусь одним знанием. А так как я знаю, что его у меня маловато,— тем более.

— То есть как? — изумился Вонлярлярский.

— А так. Не суюсь!

— Феденька, а почему это ты ни во что не веришь, можно узнать?

— Я? Тот же путь. Бывают встречи, столкновения... И налагают печать на всю жизнь.

— На тебе так много печатей? Видно, бедокурил в юности, так я понимаю?

— А кто в юности не бедокурил? — добродушно заметил Цвях.— Все бедокурят.

— Федяка, ты что-нибудь нам... Случай какой-нибудь из опыта...

— Расскажу,— и Федор Иванович посмотрел на Лену: — Пожалуйста, мне стаканчик чаю.

— Может, мужчины хотят водочки?— предложила Туманова. — Могу дать.

— Не-е,— Цвях отвел водку рукой.— С водкой так не поговоришь. Самовар! Наливайте полный самовар! Да чаю еще *заваритя!*

Получив свой чай, Федор Иванович помешал в стакане ложечкой.

— Только это будет не та, не первая история, где добро и зло. Ту историю я пока поберегу. А вот некоторую сказку... Про черную собаку...— тут он страшно на всех посмотрел и добавил: — ...с перебитой ногой. Черная такая была, аккуратная собачоночка. Она была не виновата, что родилась с красивой блестящей черной шерстью. Как будто черным лаком облитая... Не была она виновата и в том, что люди именно черный цвет назвали цветом проклятия и несчастья. И тайной всякой пагубы. Не серый и не желтый какой-нибудь, а черный.

Он не спеша, чувствуя, что все заинтересовались и забыли о своем другом интересе к нему, отпил полстакана чаю.

— Вот так... Было это в Сибири, в тридцатом, кажется, году. Мне было двенадцать, и родители устроили меня на лето в деревню, к знакомому крестьянину...

— Не мешай!— гаркнул Вонлярлярский на жену, сбросил ее руку со своего плеча и уставился на Федора Ивановича.

— Ну, понятное дело, единоличник. Изба, амбар, рига. Спали мы с хозяйским сыном в амбаре на ларе. Хозяин, помню, все говорил о нечистой силе. Не спите

в амбаре, говорит, она, в основном, шебаршит там, где икон нет — в амбаре да в овине. Ходил я с ними и в поле помогать. Весело работали. Весело и дрались с соседней деревней по праздникам. Да... Дрались-то дрались, а вот ведьму гнать объединились. Обе деревни. Сама ведьма жила в нашей деревне, на краю. Учительницей когда-то была. Все ее боялись. Хозяин говорил: ведьма как ведьма, очень просто. Чувствуете? Он так верил, что это казалось знанием! Ведьма она и есть. Как ночь — перекинется собакой черной и бегает по огородам, вынюхивает, значит. А корова потом молока не дает. И не ест ничего. Не залюбила ведьма нас,— это хозяин говорит,— не подвез я ей дров. Некогда было, да и с ведьмой связываться кто захочет? Все ему, хозяину, было ясно... Вот и отправились две деревни и мы всей семьей. Родители, дочка — пятый класс, сын из техникума, шестнадцатилетний, и я, ваш покорный слуга. Чистим оба зубы «хлородонтом», а в нечистую силу верим! Под утро вернулись с победой. Черную собаку подняли на огородах, погнали. Наш Толя бросил удачно палку, перебил ей переднюю ногу. На трех ускакала. А на следующий день ведьма вышла из своей избы, мы глядь — а у нее рука замотана тряпкой. И на перевязи... А потом — через несколько дней— ведьма исчезла куда-то. Изба так и осталась пустая. Никто не селился. Думаю, учительница вышла специально — попугать дураков, посмеяться. Руку я сам видел. Ну, а Толю я встречаю лет через восемь — он уже в этом районе пост занимал. В партии уже был. Я ему говорю: «А помнишь, Толя, как ты ведьме руку перебил?». Как он смутился, как заелозил! «Во-он, что вспомнил. Глупость то была, детство, нечего и вспоминать». А сам оглядывается — разговор при публике был. Я думаю, у многих людей в жизни была такая встреча с черной собакой. Не только у отсталых крестьян. Гонят — и верят, что гонят ведьму...

— Собака и образованных навещает, — сказала Туманова.— Только тут собака породистая. Черненькая такая болоночка...

— Именно,— подтвердил Цвях. — Тут даже дело не в образовании, а в вытаращенных глазах. Бывает, образованный, а глаза вытаращит раньше, чем подумает. Я помню, в тридцатых годах прямо полосами находила на людей дурь. Безумие такое. Вдруг начинают выис-

кивать фашистский знак, будто бы ловко замаскированный в простенькой и ясной картинке спичечного коробка. Ищут — и у всех вытаращенные глаза. И оргвыводы, понятно, для несчастного художника. Или на обложке школьной тетрадки вдруг высмотрят руку, протянутую к советскому гербу — чтоб сорвать. И пошло — шепот на закрытых собраниях, отбирают у ребятишек тетрадки. В огонь! Знаний мало, вот и кажется всякое. Верят! В разную чертовщину...

— Вроде вейсманизма-морганизма,—подсказал Стригалев.

У гостей повеселели глаза. Но Цвях этого не заметил.

— Напомни им сейчас, кто остался жив, про тетрадки, про спичечный коробок. «Что-о? — закричат. — Еще что вздумал — в старье копаться!»

— Я все же до конца не удовлетворен,— возразил обиженный голос Вонлярлярского.— Что же тогда нам делать с этими прекрасными стихами: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»?

— Там сказано, Стефан Игнатьевич, во-первых, «если». Если мир дороги найти не сумеет,— возразила Туманова.— А мир отыщет ее в конце концов. Я, во всяком случае, верю...

— Не верю, а надеюсь,— поправил ее Цвях. — А золотой сон — что? Одни будут спать, а другие — шарить у них по карманам. Где вера, там больше всего спешат от верящего что-нибудь получить. Авансом. Деньгами. Или подсунуть бумажку какую-нибудь подписать. Нет, сна не нужно. Только знание.

Когда гости начали расходиться, Туманова подозвала Федора Ивановича, потянула его к себе, зашептала.

— Дай сюда ухо. Как тебе моя компания? Как тебе эта девочка? Не правда ли, хороша? У нее и жених подходящий, скажу я тебе.

— Кто?

— А вот стоял. Стригалев, ты с ним уже знаком. Они вместе работают над картошкой. У него есть кличка, студенты прозвали. Троллейбус, хи-хи-и! Ты их уж не трогай, когда начнешь свою ревизию. Хватит с него, он ведь уже сидел. За это самое — за Менделя — Моргана. И твой брат, к тому же, фронтовик. Ладно?

Поэтому, прощаясь с Леной, Федор Иванович был сух и даже невежливым образом продолжал разговор

с Цвяхом, показывая, что очень увлечен. Это у него получилось само собой — он не смог бы иначе скрыть свое неожиданное страдание. Она же, держа его руку и слегка пожимая, не отрывала глаз от его лица. Но пришлось все же оторвать, и, надев кофту, она поспешила к двери, за которой на лестничной площадке ее ждал этот угрюмый Троллейбус.

Даже тот, кто хорошо знает этот город, попав на его улицы вечером, каждый раз примечает некую особенность. Если днем город с его преобладающими двухэтажными домами дореволюционной постройки кажется однообразным и сонным, то с наступлением темноты он как бы оживает. Пестрота человеческих судеб, скрывающаяся днем в этих одинаковых грязно-желтоватых стенах, за одинаковыми окнами, отчетливо выступает, как будто ночью-то здесь и начинается настоящая жизнь. Вот яркий, как звезда, свет. Как окно больничной операционной. Вот фисташковый — будуар русалки. Вот желтое окно — как стакан слабого чая. Вот — стакан вина. А вот искусственный дневной свет, мертвенный, как в морге. Здесь прячется от суда читающих газеты современников упорный идеалист-кибернетик. Или вейсманист-морганист кует свои вымыслы, идущие на пользу врагам человечества. Из тех, кто смотрел на этот город только днем, никто, конечно, не мог подумать, что здесь может родиться и даже прогреметь знаменитое групповое дело с участием профессоров и студентов.

Федор Иванович и его «главный» — Цвях медленно брели по тускло освещенным улицам, углубленно курили и молчали. И на них произвело впечатление живое разнообразие смеющихся и подмигивающих окон. Они прошли добрую половину пути, когда Василий Степанович вдруг сказал:

— Чем больше читаю, Федя, тем больше вокруг дремучего леса. Словно как поднимаюсь вверх над тайгой, и нет ей конца. А там, внизу, на чистой полянке, было все так ясно! Вот мы говорим, ругаем, насмехаемся, а она возьмет да и подтвердится.

— Кто?

— Кого ругаем. Лженаука...

Они прошли в молчании несколько шагов. Вдруг Василий Степанович остановился.

— Хошь, признаюсь, Федя? У нас за деревней, где я родился, в поле был холм. Вроде кургана. А на нем каменный крест. В двадцатых годах молодежь наша деревенская собралась — накинули на этот крест веревку и сдернули его, сволокли куда-то. Теперь он лежит, даже не знай где. И я участвовал — всю жизнь, считай, этим подвигом гордился. А вот теперь маленько из истории узнал. Батый по этим местам проходил, татары. А в курганах-то этих русские кости. Наших защитников. Крест-то был, Федя, к делу поставлен. Видишь, чем я гордился всю жизнь!

Они опять двинулись дальше. Цвях развел руками:

— Куда деваться! Переучиваться? Делать все наоборот и понимать наоборот? А будет ли толк? Стоит ли вносить этот хаос в башку, когда для дела нужна максимальная ясность?

— Вносишь все-таки не хаос, а ясность...

— Так раньше тоже считали — уж куда ясней. И новую ясность ведь пересматривать придется, черт ее...

— А не вносить ясность — еще больше будет хаоса. Тогда надо, в вашем-то случае, историю перемарывать. Вычеркивать заслуги людей, страдания, кровь... В нормальной человеческой душе всегда должны оставаться хоть несколько процентов ее объема — для сомнений. Это чтоб не было потом хаоса...

Спать ложились, не зажигая света. Разуваясь, Цвях кряхтел.

— Да-а-а... Вот ты ревизовать приехал. Ре-ви-зовать! Значит, у тебя этих процентов сомнения нет? Чего молчишь?

Василий Степанович затих, дожидаясь ответа. Но не дождался.

— Ты хорошо сегодня утром выступал,— проговорил он, почесываясь. — Это правда, наша наука другая. Ей свойствен наступательный характер,— Цвях, видно, убедил себя в чем-то и успокоился. — Ни к чему ей эти несколько процентов в душе. Пятая колонна сомнений. Мы опираемся на надежный фундамент. Потому и в разговоре с ними, это верно, ты умеешь взять нужный тон. Убеждаешь...

— А вот про кукушку — вы это уже слыхали, Василий Степанович? Что она вовсе не несет яиц, а просто скачкообразно возникает как новый вид в яйце другой птицы... Определенного вида... В результате условий пи-

тания... На какой же это фундамент может опираться?

— Слышал, слышал. Да, это высказывание и меня, пожалуй, озадачило. Ну да... Но ведь и Иосиф Виссарионович нашего академика не одернул. А уж Иосифу Виссарионовичу не откажешь в знании диалектики.

Сосед затих, Федор Иванович начал согреваться под одеялом. Он уже представил себе Елену Владимировну, как она ходит среди людей — чистая, слегка приветливо кланяясь каждому, с кем встретится глазами... Вдруг ему показалось, что в комнате кто-то шепотом позвал: «Вася, Вася, Вася...» Вздрогнув, он широко открыл глаза и, поняв, в чем дело, рассмеялся. Это Василий Степанович в раздумье чесал волосатую грудь. Потом совместил этот звук с обширным вздохом.

— Галстук не снял. Думаю, что мешает? Надо же, рубаху снял, а галстук остался. Тоже когда-то был черной собакой. Отрекались ведь от него...

Он опять почесал грудь.

— Думаешь, я не повышаю уровень? Знаешь, чем больше повышаешь, тем больше сомнений родится. Вот наследственное вещество. Мы его так легко ругаем. Во всех учебниках. А в чем же еще наследственность, как не в веществе? — Цвях возвысил голос, даже со слезой.— В святом, что ли, духе? Третьего-то места ведь нет!

III

Вот все говорят: интеллигенция! — громко провозгласила тетя Поля, войдя со щеткой и ведром в комнату, где легким утренним сном спали члены комиссии.

— Опять разоряешься, Прасковья? — спросонок пробурчал Василий Степанович.

— Да еще поэт! — тетя Поля прыснула и покачала головой.— Сундучок... Хотела выкинуть. Пора, думаю, пятьдесят ему лет, если не боле. Весь растрескался, крышка болтается. Кинула за сарай. Так этот, бородатый, в женских туфлях тут крутится. Как Золушка. Сначала кругами ходил. Я думаю, что такое, не студентку ли где присмотрел. Потом хвать сундучок — да ловко как! — и засеменил, засеменил... Беда с вами, с интеллигентными!

— Выдумывай. На что ему сундучок?

— Он знает, на что. Пригодится. Вас сегодня когда ждать?

— Сегодня мы уходим в учхоз. До вечера...

Они пришли в учебное хозяйство к девяти. Пройдя ворота, Федор Иванович увидел поле, разбитое на множество делянок. Среди делянок двигались фигуры — студенты и пожилые преподаватели с раскрытыми журналами. По вспаханному краю поля в сопровождении группы студентов ехал гусеничный трактор, волоча какую-то сложную систему из колес и рычагов. Вдали стояли две ажурные оранжереи. Туда и направилась комиссия.

— Наверно, все собрались сейчас там и смотрят на нас из-за стекол,— сказал Цвях.— Ждут.

— Могло бы быть и наоборот,— заметил Федор Иванович.— Могли бы они нас проверять.

— Это ты верно. Если бы ихняя взяла...

Сегодня был первый основной день ревизии — проверка работ в натуре, первый решающий день. Федор Иванович где-то в глубинах своего «я» чувствовал боль — там уже зародилась туманная и болезненная симпатия к Стригалеву — может быть, из-за того, что Троллейбус не только сталью зубов и не только повадками был похож на одного геолога, которого уже не было в живых и по отношению к которому в душе Федора Ивановича осталась кровоточащая царапина неискупленной вины. Ведь Троллейбус к тому же и «сидел»...

Новая рана назревала, уже начинала чувствоваться — ведь Федор Иванович «рыл яму» не под кого-нибудь, а именно под того, кто был женихом Лены. Прямо как кроткий царь-псалмопевец Давид, который возжелал Вирсавию и потому послал ее мужа Урию в самое пекло войны, чтобы там его убили. «Удивительно, — невесело подумал Федор Иванович,— что ни случится в жизни, какая ни сложится ситуация — ищи в Библии ее вариант. И найдешь!»

Они вошли в боковую дверцу и оказались в теплой застойной атмосфере оранжереи. Действительно, у выхода собрались человек восемь, и среди них — Стригалев в сером халате, как бы наброшенном на крест. Последовали рукопожатия, несколько шуток были выпущены на волю. Как весенние мухи, они не взлетели, а проползли слегка и замерли, дожидаясь тепла. Вежливый смех только усилил напряженность. Федор Ива-

нович сразу определил нескольких «своих», то есть четких приверженцев так называемого мичуринского направления. Они предлагали начать с них и весело листали журналы, готовясь демонстрировать свои достижения.

— Ну что ж,— сказал Федор Иванович и сам почувствовал, что глаза его нервно бегают, ищут кого-то и не находят. Лены здесь не было. Хотя нет, — и она была здесь, стояла позади Стригалева. Но, увидев Лену, он потерял уверенность — ему нельзя было теперь смотреть в эту сторону.

— Пожалуйста, начнем. Чьи это работы? — хрипло проговорил он, подходя к стеллажу, на котором плотно, один к другому стояли глиняные горшки с темнозелеными картофельными кустами. Федор Иванович сразу определил, что это прививки — здесь занимались влиянием подвоя на привой и обратно — по методу академика Рядно.

— Это мои работы,— сказал пожилой бледный человек с угольными бровями и черными, глубоко забитыми, как гвозди, печальными глазами.— Моя фамилия Ходеряхин. Кандидат наук Ходеряхин. Здесь представлены несколько видов дикого картофеля, а также культурные сорта «Эпикур», «Вольтман», «Ранняя роза»...

Он долго, как экскурсовод перед группой провинциалов, приехавших в ботанический сад, показывал культурные и дикие растения. Кусты имели хороший вид. Темные плотные листы блестели.

— Азота многовато кладете, — сказал Федор Иванович.

— Для опытов по вегетативному взаимодействию это не мешает,— парировал Ходеряхин и продолжал свой пространный доклад.

Федор Иванович, склонив голову, слушал и все плотнее сжимал губы.

— Простите, я вам помогу, — прервал он, наконец, Ходеряхина.— Вы, товарищ... пишете вот здесь, в московском журнале, о достигнутых вами результатах. «Сорт «Эпикур», — это ваши слова,— будучи привит на сорт «Фитофтороустойчивый», приобретает ветвистость куста, листья утрачивают свою рассеченность... — и так далее.— ...Листья сорта «Ранняя роза» при прививке на «Солянум Демиссум» становятся похожими на листья этого дикаря» — и тэ дэ...

Он сам слышал, когда читал, посылая эту еще в пути заготовленную торпеду в несчастного Ходеряхина, что собственный его голос стал голосом ласкового и неподкупного Торквемады. И не мог ничего с собой поделать.

— Пожалуйста, товарищ Ходеряхин, покажите нам эти работы, — попросил он.

Ходеряхин, с мукой глядя ему в глаза, выставил вперед горшки с картофельными кустами.

— Правильно, это «Эпикур»,— сказал Федор Иванович.— А где же утрата рассеченности у долей листа? Вот здесь, в статье, вы даете фотографии, иллюстрирующие изменение рассеченности. Вы, конечно, знаете, что у всякого сорта картофеля рассеченность листьев меняется в зависимости от положения на стебле. У листьев, взятых в середине стебля, она наибольшая и уменьшается к вершине и основанию. Правильно я говорю? Почему же вы,— Федор Иванович сильно покраснел. Он убивал Ходеряхина и одновременно страдал за него,— почему, спрашиваю я, если вам надо показать повышенную рассеченность, вы фотографируете средний лист, а если хотите нам подчеркнуть малую, берете лист у основания или у вершины, где вам удобнее? Ведь это называется, знаете, как? Подгонка данных эксперимента под теорию!

Муху было бы слышно, если бы она пролетела в оранжерее.

— Кассиан Дамианович смотрел эту работу,—сказал Ходеряхин. Глубоко вздохнул и затаился.

— Еще вы пишете вот здесь, в журнале: «Синеклубневый «Фитофтороустойчивый», привитый на розовоклубневый сорт «Ранняя роза», меняет окраску клубней подвоя. В одном кусте находим белые, слабо-фиолетовой окраски, бледно-розовые, бледно-фиолетовые...». Дайте, пожалуйста, мне эти клубни. Та-ак. Этот клубень отложите, он потемнел от света. А эти, бледные,— держа в дрожащей руке картофелину, Федор Иванович уставился в лицо Ходеряхина. — Ведь это же «готика»! Вы слышали такое слово? Это же вирусная болезнь, при ней, как сказано в учебниках, клубни удлиняются, число глазков увеличивается, а окраска бледнеет... Это и есть ваш результат прививки?

— Это и есть... — шепнул Ходеряхин, как бы повеселев,— упрямо и со злобой.

— Негусто... Боюсь, что нам придется давать еще одну статью о ваших экспериментах. Вы пишете, Василий Степанович? Пожалуйста, пишите. Это важно.

На очереди стояли несколько аспирантов Ходеряхина — каждый около своих растений. Подобравшись, как для битвы, уже не видя ничего, кроме очередного горшка с картофельным кустом и очередного прячущего тревогу лица, Федор Иванович проходил от одного стеллажа к другому и уже не столько проверял, сколько учил молодых людей.

— А вы не пробовали вырезать глазки из клубней цилиндрическим сверлом для пробок? — слышался его уже спокойный, мягкий голос.— Попробуйте, это очень удобно, и привой точно входит в вырез на клубне подвоя.

— Никаких мало-мальски достойных внимания результатов,— вполголоса сказал он Цвяху. Кто-то все-таки услышал — шепот порхнул среди людей, стоявших поодаль.

— Здесь уже мои растения, — пропел у него над ухом чей-то снисходительный тенор.— Кандидат наук Краснов.

— Знакомая фамилия,— сказал Федор Иванович, задержав взгляд на тонком и извилистом носе вежливо склонившегося к нему лысоватого спортсмена со значком.— Я читал в журнале вашу статью, товарищ Краснов...

— Мною... нами было замечено,— начал докладывать спортсмен и, выпрямившись, развернул тяжелые плечи, но привычная сутулость опять стянула их, пригнула книзу,— ...было замечено, что сорта «Лорх» и «Вольтман», которые росли по соседству с местным сортом «Желтушка» — через дорогу... опылились пыльцой последнего, которая подействовала и на клубни обоих сортов... Последние стали в большинстве похожи на клубни сорта «Желтушка»...

— Это я все читал в вашей статье,— сказал Федор Иванович и умолк, медленно краснея. Помолчав, спросил: — То есть, вы хотите доказать, что если мать блондинка, а отец брюнет, то не только их дитя будет черноволосым, но и у матери глаза и волосы должны в ходе беременности почернеть... Таких случаев наука еще не знает. Следующей весной вы, наверно, повторите ваш эксперимент?

— Зачем? — оскорбленно, но сдержанно передернул тонкими девичьими бровями Краснов.— Я уже другой запланировал.

— А известно ли вам, товарищ Краснов, что картофель не перекрестное, а самоопыляющееся растение? Вы же вуз кончали! Пыльце вашей «Желтушки» здесь нечего делать. Это вы представляете себе? Да она и не перелетит через дорогу!

Краснов, странно улыбаясь маленьким ротиком, глядел в сторону. Федор Иванович, окинув его фигуру быстрым взглядом, невольно задержался на громадном красно-фиолетовом кулаке, который двигался внизу, как самостоятельное живое существо. «Что он там делает?» — подумал Федор Иванович и сразу увидел стиснутый в кулаке теннисный мяч. «Ага, он тренирует кулак», — осенила догадка. Шевельнув бровью, он покачал головой.

— Товарищ Краснов! Я вижу, вы не согласны. Но вы должны это знать — картофель не ветроопыляемое растение. У него пыльца не как у злаков, не может летать. Она тяжелая, как крахмал. И устройство пыльников — они никогда не раскрываются полностью. Там есть такая маленькая по́ра — и через нее пыльца просыпается по мере созревания, прямо на собственное рыльце. Понаблюдайте, насекомые не посещают цветков картофеля — там нечего брать. И не потому, что пыльца какая-нибудь невкусная. Я сам, еще студентом... Останется, бывало, в пробирке лишняя пыльца картошки — высыпа́л ее на прилетную доску в улье. Пчелы мигом всю подбирали! Поняли? То, что вы говорите, физически невозможно: тяжелая пыльца, если не прилипнет к рыльцу, отвесно падает на землю. Слава богу, очень рад, что не могу назвать ваш опыт каким-нибудь таким словом... Здесь, к счастью, просто полное незнание того, с чем имеешь дело. Ох, ох, товарищи... Что это — два часа? Нет, на сегодня я уже мертвец...

— Продолжим завтра? — сказал Цвях.

— Вот именно, — странно мигая одним глазом, шевеля гибкой бровью, Федор Иванович пошел из оранжереи. Цвях еле поспевал за ним.

— Уж больно ты их... Без снисхождения. Касьяну не понравится. Что это с тобой?

— Но почему он напечатал их статьи в своем жур-

нале! — Федор Иванович остановился. — Почему Касьяи их иапечатал!

— Ладио, Федя, хватит правду искать. Пошли в столовую.

В столовой Федор Иваиович сел за какой-то стол, чем-то закусывал, что-то брал ложкой из тарелки и все смотрел куда-то сквозь стеиы. Он ие видел, что через стол от иего прошли и сели Стригалев с Елеиой Владимировиой и иесколько аспирантов. Лена что-то крикнула, и Цвях ответил, а он только оглянулся на иих, ничего не поиимая.

— Произвели оии, одиако, иа тебя впечатлеиие, — заметил Цвях, прииимаясь за лапшевиик.

Пообедав, оии сели на лавку около столовой и закурили.

— Что будем сейчас делать? — спросил Цвях.

— Я прогуляюсь часок.

— А я по старой испытаииой привычке пойду лягу поспать. Лапша человека вяжеть, ои набухиеть и спать ляжеть.

И как только Цвях скрылся за воротами учхоза, из столовой быстро вышла Елеиа Владимировиа. Федор Иваиович в это время подобрал около лавки лежавшего иа спине красивого жука-скрипуна. Его облепили муравьи и уже раскидывали умишками, как бы иачать его заживо жрать. Федор Иванович старательио обдул муравьев. А думал о Стригалеве. «Хорошо, что отложили на завтра», — думал ои, рассматривая жука. Это был большой узкий жук с живыми чериыми глазами, с длиииыми усами, похожий на иителлигентного дореволюциоииого авиатора в чериом жилете из блестящего шелка, застегнутом доверху. А сюртук иа нем был темио-серый, в мелкую светлую крапинку.

— Можио около вас сесть? — спросила Елена Владимировиа, садясь. — Что вы тут делаете? Ого, кто у вас!

— Вот видите, жук... Скрипун.

Налюбовавшись, Федор Иванович осторожно посадил жука на землю, и «авиатор» бросился наутек, взмахивая ногами, как тростью, и ие теряя осанки.

— Как вам иаши геиетики и селекционеры?

— Выше всяких похвал. Чудеса!

— Какие у вас планы иа сегодия? — оиа нагнулась и пальцем провела на земле дугу.

Он вопросительно посмотрел.

— Вы не слышали вопроса? — спросила она.

— Я ответил пантомимой.

— А вы словами ответьте. И по существу.

— Сейчас я пойду куда-нибудь. Только природе страданья незримые духа дано врачевать.

— Давайте врачевать вместе. Я покажу вам наши поля.

— Давайте, — сказал Федор Иванович ленивым голосом.

Она взглянула на него удивленно.

— Может, подождем Ивана Ильича? — спросил он.

— Иван Ильич уже ушел, — она еще холодней посмотрела на него сбоку, начиная розоветь.

— Тогда пойдемте, — он решительно поднялся.

И они долго шли молча куда-то вдоль какой-то канавы. Лицо Елены Владимировны постепенно заливала лихорадочная пунцовость.

— Слушайте, — сказала она, решившись и отойдя от него вбок шага на два. — Вы сегодня не похожи на себя, на вчерашнего. Вонлярлярский сказал бы, что у вас пропала коммуникабельность. Давайте, как пассажиры дальнего поезда, как случайные пассажиры, попутчики... Вы не знаете меня, я вас. Вы ведь уедете.

— А отвечать кто будет за разговор? Тот, кто задает вопросы?

— Да... Вы уедете — и разговора не было!

— Ну, пожалуйста. Задавайте вопросы.

— Где ваша коммуникабельность?

— Я катапультировался.

— Что это означает? — все так же лихорадочно, но весело она посмотрела на него.

— Нажимаю на кнопку, и меня выстреливает. Потом раскрывается парашют, и я мягко приземляюсь в другом мире, где и слыхом не слыхали о каких-то моих... неполадках на борту.

— А самолет?

— А самолет летит дальше.

— И разбивается?

— Мне с земли не видно. А потом там еще есть первый пилот. А я и не летчик. Дилетант без диплома.

— А если первого пилота нет? Самолет ведь может разбиться. Дилетанту без диплома и поднимать его в воздух нельзя было. Это государственная собственность.

— А я и не поднимал. Как я в самолете оказался — сам не знаю. Вижу, экипаж укомплектован. Перегрузка. Вот и нажал поскорей... Что — я неправ?

— А кто вам сказал про экипаж? — с раздражением спросила Елена Владимировна.

— Вчера одному товарищу... Диспетчеру... показалось, что я проявляю дилетантский интерес к авиации...

— Ах, вот!.. Теперь все ясно. Вечно она меня замуж выдает! Нет никакого пилота, поняли? И никто вас не вызовет на дуэль, так что давайте разговаривать и катапульту не трогать.

— Дайте честное слово, — сурово потребовал Федор Иванович.

— Ну, даю. Честное слово.

— Хорошо. С чего же мы начнем?

Она начала искать что-то на краю канавы. Потом наклонилась и сорвала какой-то жиденький стебель с яркими желтыми цветками.

— Природа сейчас излечит нам все страдания незримые. Что это такое? Я в первый раз вижу.

— Это? — Федор Иванович взял стебель, свел брови. — Это, действительно, нечасто встретишь. Потентилла торментилла, вот что это. Калган. Слышали такое название?

— Ого! — она почти с ужасом на него посмотрела.— Ничего себе... Я бы ни за что не определила. Потентилла — как дальше?

— Торментилла. Калган, или, еще его называют, лапчатка. А вот я сейчас... Сейчас я вам... — поискав в траве, он сорвал что-то.— Что это?

— Плантаго! — торжествуя, сказала Елена Владимировна.

— А какой плантаго? Подорожников много. Майор, минор, медиа...

— Ну, это, конечно, не минор...

— Майор. Плантаго майор. Видите, черешок длинный и желобком.

— Хорошо. Федор Иванович, а почему страдания незримые? — она заглянула ему в лицо.

— Разве вы ничего не видели?

— По-моему, торжество справедливости должно вызывать прилив...

— Но это так неожиданно, это торжество... Я вам

прямо скажу: такие дураки мне еще не попадались. Да еще среди «своих».

— Ну, у наших с Иваном Ильичом ребят такого вы не найдете. Если мы и будем вас надувать, то по крупному счету. По рыцарскому.

Они остановились. Он посмотрел ей в глаза. Она не отвела взгляда.

— Имейте в виду, я буду глубоко копать, — сказал он.

— Ну и что? Вот вы копаете и устанавливаете, что я морганистка, льющая воду на мельницу...

— А это я и так знаю. Я читал вашу диссертацию. По-моему, о преодолении нескрещиваемости... Там есть спорные места... Так что ваше лицо мне ясно. — Посмотрев ей в лицо, он улыбнулся. Она так и подалась к его улыбке. Но он ничего не заметил и не понял возникшей паузы. — Как вы учите студентов, мы знаем,— продолжал он. — Цвях сидел в вашей группе. Говорит, товарищ Блажко учит студентов правильно.

— Но я чувствую, Федор Иванович, по вашей хватке, кому-то из нас придется сушить сухари. А? Это не мои слова. У нас на кафедре об этом шепчутся многие.

— Лично я выгнал бы этих двоих... И больше никого. Пока...

— Вы сейчас сказали рискованную вещь. Я вижу, вы мне верите.

— Нет. Не верю. Но знаю, что вы меня не продадите. И потому отдаю вам все мое. Беритя!

Они оба засмеялись, и обоим стало хорошо.

— Откуда же у вас взялось это знание? Сколько мы знакомы? Два дня!

— Я вам сейчас изложу мою завиральную теорию. У нас, Елена Владимировна, в сознании всегда звучит отдаленный голос. Наряду с голосами наших мыслей. И наряду с инстинктами. Мысли гремят, а он чуть слышен. Я всегда стараюсь его выделить среди прочих шумов и очень считаюсь с ним. По-моему, тут обстоит так: ни один человек не может скрыть свою суть полностью. Скрывается то, что может быть схвачено поверхностным вниманием. А голос — отражение наших бессознательных контактов с той сутью, которой никому не скрыть. Хотя бы потому, что эту суть сам человек в себе не может почувствовать. Животные, на мой взгляд, руководятся больше всего отдаленным голосом, он у

них более развит и не заглушается никаким стуком сложных умственных деталей. Поэтому животные не лгут.

— Возможно, что все так и есть, — Елена Владимировна тронула его руку. — Голос правильно шепнул вам, что я не выдам.

Федор Иванович слегка смутился от этого избытка взаимной откровенности, и потому кинулся к природе — шагнул в траву и стал искать что-нибудь редкостное.

— Вот, — сказал он. — Вот. Что это?

— Щавель! — взяв у него красный стебелек с острыми листками, Елена Владимировна пожевала его. — Самый настоящий «Румекс».

— Не спешите с ответом, товарищ Блажко. Род «Румекс» состоит из нескольких видов. И все щавели. Вы жуете... Что вы жуете?

— «Румекс ацетозелла»,— сказала она и пошла вперед, торжествуя и покачивая головой вправо и влево.

Действительно, природа сразу поставила все на место, погасила все неловкости.

Они давно уже вышли через калитку из пределов учхоза и теперь брели по каким-то межам среди каких-то пашен к чернеющему институтскому парку, заходили ему в тыл. Елена Владимировна шла впереди, иногда оборачиваясь к нему и предлагая очередную ботаническую загадку, и он, роняя удивляющие ее безошибочные ответы, любовался ею, ее особенной женской мощью, которая так и заявляла о себе. Это была маленькая веселая недоступная крепость. Лишь взглянув на эту девушку в очках, мужчина должен был отступить, угадав в ее натуре требования, соответствовать которым в состоянии далеко не всякий. Она все время двигалась в чуть заметном танце, в безоблачной меняющейся игре, и ее пальцы и все прекрасные узости фигуры в сером подпоясанном халатике непрерывно писали тексты, читать которые дано не каждому. Он еще вчера, с первых же минут навсегда отказался говорить ей безответственные приятности, которые, как и цветы, принято подносить женщинам. Строжайшее предупреждение на этот счет прочитал он в ее сдвинутых черных бровях. В них и была вся сила. И сегодня эти брови хоть и разошлись, но все время были готовы к жестокой расправе.

Обойдя с тылу почти половину парка, они перешли по мосту из бревен овраг с бегущим по его дну ручьем,

притоком громадной реки, что иезримо присутствовала, укрывшнсь за парком. Начались первые шестиэтажиые дома города из серого кирпича.

— Дальше меия, пожалуйста, не провожайте, — вдруг сказала Елена Владимировна.

Взглянув на ее строгие бровн, ои, конечио, н ие подумал показать ей свое удивление. Он тут же скомкал все свои пожитки и даже отступил иа полшага.

— Я, собствеиио, и не...

Но Елена Владимировна объяснила:

— У меня гора дел. Надо сходнть в магазины. А потом я иду к Тумановой. Сегодня я варю ей борщ.

«Вот этого бы не следовало ей говорить, — почему-то шепнул ему отдаленный голос. — Никто не требовал от иее таких уточиеиий».

— Превесьма... — сказал полушутливо и, как иа шарнире, повериулся было, чтобы идти. Но оиа стояла с протянутой рукой. «Все еще катапультируетесь?» — говорило ее лнцо.

Ои пожал ей руку. «Я ведь катапультировался еще вчера, — ответила его изогиутая бровь. — Сейчас я стою иа твердой земле, вдали от всяческих летательиых аппаратов».

И ои пошел, ие оглядываясь, к парку, туда, где розовели вдалеке стеиы иститутских здаиий.

Ои вошел в комиату для приезжих и увидел там своего «главиого». Василий Степанович сидел иа койке и закусывал. Перед иим иа стуле была расстелеиа газета, иа ией ои расположил свареииые еще дома крутые яйца, растерзаииую селедку, измятые в чемодаие домашние пирожки. Тут же лежала книга Энгельса «Диалектика природы».

— Давай, подсаживайся, Федор Иваиович, — сказал ои. — Поможешь дошибать припасы, а то завонязются. Москва сейчас будет звоиить. Докладывать буду Касьяну про иаши успехи.

Федор Иваиович подсел и взял пирожок.

— Понимаешь, Федя, — Цвях ел, эиергичио двигая всем лицом. — Поиимаешь, смотрел я на тебя сегодня. Здорово ты зиаешь свое дело. Здорово, ничего не скажешь. Правда, иногда ловлю себя: чем же коичится такая иаша ревизия? Я бы одии всех бы подряд одоб-

рил. И Ходеряхина этого, и Краснова. Здорово ты их накрыл. Как они до сих пор держались? У меня, конечно, знания не то, что у тебя. Я практик. Доктора мне дали за результаты. Мне дед мой и отец — они были любители-селекционеры — столько оставили материалу, столько всего наоставляли, что мне и делов было — только осваивай да выдавай подготовленные почти за сто лет сорта. Две яблони у меня уже давно районированы. А ведь и это далеко не все. Ну, а научное обоснование — тебе-то покаюсь — академик Рядно и Саул мне приделали. Саул этот, ох, и языкатый, сволочь, не дай бог к нему под горячую руку попасть. Ни одного живого места не оставит.

Задребезжал телефон. Цвях схватил трубку и, вытирая рот, покраснев, вступил в переговоры с Москвой.

— Ай?.. Да-да! Заказывал. Повторитя, барышня... Ай? Академик Рядно? Касьян Демьянович?

— Я тебе говорил, — как комар, запищал в трубке ответный голос, и Цвях чуть отвел ее от уха, чтоб слышал Федор Иванович. — Какой я тебе Касьян? Кассиан Дамианович. Ну-ка, повтори...

— Кассиан...

— Я ж тебе говорил! — академик загоготал весело. — Хоть я и народный, а имена у меня византийские. Императорские. Вот так, Вася. Ну, докладывай, как там наш молодой...

— Ой, не говорите, Кассиан Дамианович! Молодой, да ранний. Чешет так, что пыль и перья... С первой встречи, как даст... Нотацию им провел, мозги на место поставил. Ну, а сегодня работы смотрели. Нет, нет, формальных генетиков пока не трогали. Тут же с наскоку не возьмешь — надо присмотреться. Но Федя нанюхает, он крепко берет. Дело зна... Ай? Двоих наших пришлось... Окоротили. Чистая фальсификация. Да они и сами понимают, растерялись. Оглоблей хотели в рот заехать, думают, пройдет... Ходеряхин и Краснов...

— Странно, — пропищала трубка. — Ну да... Они согласились?

— Тут соглашайся не соглашайся, Кассиан Дамианович... Знаешь, когда за руку схватят, а в руке-то краденый кошелек...

— Ну, ладно. Только расстроил... Хотя, материалы

все равно поступят ко мне. Посмотрим. Ну а как вейсманистов, еще не щипали?

— Завтра с утра.

— Ну, давай...

Цвях положил трубку. И сразу же телефон опять зазвонил.

— Кого еще черт несет, — недовольно проговорил Василий Степанович и поднес трубку к уху. — Алло!

— Меня! — отозвался вкрадчивый, но звонкий голос. — Меня несет черт, Василий Степанович! Как там Федяка, на месте?

— Здравствуйте, Антонина Прокофьевна! — Федор Иванович перехватил у него трубку. — На месте, на месте!

— Здравствуй, Федяка. Это я тебе решила позвонить. Думаю, дай-ка передам ему, что про него в институте дамы говорят. Хочешь знать? Там есть такая Шамкова. Анжелка. Аспирантка. Она тебя приметила и говорит другим кафедральным дамам: «Вот этот, который приехал нас проверять. Заметили, какой он корректный, обходительный, какая выдержка, такт. Ну, настоящий педант!».

Федор Иванович рассмеялся было, но что-то перехватило ему горло. И он, выждав для приличия паузу, спросил легким голосом:

— Ну как, хороший борщ вам сварила Елена Владимировна?

— Не то слово. За уши не оттянешь. Вот только что кончила обедать. Ты знаешь, когда он постоит суточки, настоится — ложку проглотишь!

— Вот и дали бы постоять!..

— Сколько же ему стоять? Вчера ведь варила...

— Та-ак... А что варила сегодня?

— Сегодня ей нечего у меня делать. Ты что, шпионишь за нею? Федяк!

Федор Иванович не мог прийти в себя от разочарования. Стоял с трубкой у уха и гладил себе голову.

— Ты куда запропал?

— Да не запропал, тут стою...

— Слушай-ка, есть хорошая идея: пригласи ее в кино! Ты очень строгий ревизор? Можно тебе?

— А что?

— Только молчок, хорошо? Ей нужно с тобой поговорить. Они там, бедняги, что-то предчувствуют...

— О сухарях, что ли? Уже поговорили.

— Да? Какой же ты молодец у меня! Я ей так и сказала: не бойся, его надо прямо спросить, он темнить не будет, это не в его натуре.

— Да-а... — сказал Федор Иванович. — Да-а... В общем, все так и должно быть...

Положив трубку, Федор Иванович опустился на койку рядом с «главным».

— Ты что? — спросил тот, глядя на него с подозрением.

— Да так как-то, Василий Степанович. Катапультироваться надо...

На следующий день к девяти часам они подошли к оранжереям. Они вошли в ту же дверь, что и вчера, окунулись в теплынь, и так же встретила их настороженная группа человек в восемь, и среди них, как всегда, несколько угрюмый Стригалев, совсем плоский в своем халате, и Елена Владимировна, устремившая на Федора Ивановича сияющий лаской взгляд. Все поздоровались, и, как вчера, завязался непринужденный, полный напряжения разговор.

— У ректора, вернее, у Раечки, секретарши, книжечка интересная лежит, — негромко и между прочим обронил Стригалев. — Я думал, железнодорожное расписание...

Федор Иванович посмотрел на часы. Надо было начинать.

— Раскрыл, — продолжал Стригалев, — внутри тоже как расписание поездов — столбцы. Вроде со станциями и полустанками. А потом смотрю: батюшки-светы! Это фамилии! И знаете, что оказалось? Нет, не угадаете. Приказ министра Кафтанова об увольнении профессоров и преподавателей, как там сказано, «активно боровшихся против мичуринской науки».

Федор Иванович опустил голову.

— Ваш институт тоже упомянут?

— У нас же еще ревизия не кончилась, — вставил статный Краснов, слегка выпятив фарфоровые глаза наглеца. — Данные про нас еще не поступили.

Все сразу смолкли от его бестактности. Федор Иванович покраснел.

— Тебе-то, товарищ Краснов, ничто не грозит, —

сказал Цвях. — Ты же мичуринскую науку вон как поддерживаешь...

«Ну, мой „главный"! Ну, штучка!» — повеселев, подумал Федор Иванович.

Так поговорив, все прошли в глубь оранжереи. Здесь, на стеллажах, стояли горшки и ящики с разными растениями, и он сразу узнал высокий ветвистый стебель красавки с несколькими колокольчатыми фиолетово-розовыми цветками.

— Чей это ящик? — спросил Федор Иванович, сразу заинтересовавшись.

— Это мое творчество, — снисходительно к самому себе сказал Стригалев. — И дальше все мое, Елены Владимировны Блажко и аспирантов.

— А что у вас здесь делает «Атропа белладонна»? — Федор Иванович не отходил от красавки, он сразу почуял интересный эксперимент.

— Она же пасленовая. Я привил ее на картофеле. Видите, как пошла! Все картофельные листья оборваны, но, представьте себе, завязались картофельные клубни! Разрешаю подкопать...

— Очень интересно! — сказал Федор Иванович и, отложив в сторону свой блокнот, запустил руку в мягкую теплую землю. Пальцы его сразу же уперлись в большой твердый клубень.

— Очень интересно! — сказал он, отряхивая пальцы. — Прививка сделана до завязывания клубней?

— До завязывания. Мы ищем подходы к отдаленному...

— Да, я сразу понял, — Федор Иванович поспешно кивнул и встретился взглядом со Стригалевым. — Надо собрать клубни и проверить на алкалоиды, на атропин. Надо все точки ставить до конца, — сказал он со значением.

«Рискованно работаешь, — подумал он, поглядывая на Стригалева. — Атропина в клубнях может не оказаться, и это будет хорошая дубина у вас в руках. Против нашего... Против мичуринского направления...»

Ему не хотелось бить этого человека, так неосторожно подставившего себя под удар. «А имею я право бить за это? — вдруг спросил он себя. — Ведь это должны были проделать мы, прежде чем громогласно заявлять...» Он то и дело принимался изучать Стригалева с растущим болезненным интересом. Лицо Ивана Ильи-

ча было подернуто болезненной желтизной худосочия, кое-где были заметны фиолетовые пятна заживших чирьев — как потухшие вулканы, а один — около кадыка — похоже, действовал, был залеплен марлевым кружком.

Стригалев продолжал докладывать:

— Очень эффективен метод предварительного воспитания обоих родителей на одних и тех же подвоях...

Услышав знакомое слово «воспитание», мичуринец Цвях закивал головой.

— Мы взяли взрослые, уже цветущие растения томатов — сорт «Бизон». На один из них прививались молодые сеянцы картошки культурных сортов, а на другие — сеянцы дикарей. Когда зацвели — скрещивали дикие привои с культурными. Процент удачи скрещиваний доходил до ста... Здесь, вы видите, дикарь завязал ягоды. Видимо, томат расшатывает наследственную основу...

Цвях опять кивнул несколько раз. «Расшатывание», «наследственная основа» — это было хорошо знакомо ему.

На языке Федора Ивановича вертелся убийственный вопрос: первый эксперимент отрицает связь между подвоем и привоем, а второй подтверждает — как понять? «Не будем вдаваться в такие тонкости», — сказал он себе. Все двинулись дальше вдоль стеллажа, останавливаясь около каждого нового ящика или горшка. Комиссия в молчании осмотрела стебли табака и петунии, привитые на картофеле. Федор Иванович не стал подкапывать, он знал уже: и там были клубни. Здесь под мичуринской маской зрел хороший «финичек» для академика Рядно. Правда, все зависит от того, как подать. Но подавай не подавай, а дело сделано чисто, сама природа говорит в их пользу.

— И тут уже ягоды завязались, — рассеянно сказал Федор Иванович, остановившись перед какой-то очередной прививкой.

— Это Сашины работы, — заметил Стригалев. Высокий, он говорил как будто под самым коньком оранжереи. — Давай, Саша, докладывай.

Из группы аспирантов выступил красивый юноша, почти отрок, с узким лицом и прямыми соломенного цвета волосами, словно бы причесанный старинным деревянным гребнем.

— Здесь мы прививали картофель иа чериый паслен и на дурман, — сказал он, поднимая иа Федора Ивановича смелые серые глаза. — С той же целью — расшатываиие иаследственной осиовы. Прививки, помоему, хорошо удались...

— Это иаш Саша Жуков, — заметил Стригалев, кладя ему руку иа плечо. — Наш активист. Студент четвертого курса. Папа у иего знаменитый сталевар. Ударник.

— Где же это ты, сынок, так иабазурился прививать? — спросил Цвях.

Все заулыбались.

— У Иваиа Ильича иабазурился, — ответил Саша.

— Хорошо бы исследовать эти ягоды иа гиосциамин, — сказал Федор Иванович. — Ведь у дурмана все части содержат этот алкалоид. По иашей теории, ои должен быть и в этих ягодах...

Саша оглянулся иа Стригалева.

— Ну, раз теория... — сказал тот, встретившись взглядом с московским ревизором, от которого иичего не скрыть.

«Не зря Касьян к иему прицепился», — подумал Федор Иваиович. Сильно обеспокоеииый, он осматривал выставлеииые перед иим растеиия, читая по иим всю потайную и хитроумиую тактику не сдавшегося борца. И только кивал, одобряя хорошо, чисто выполиеииые прививки и как бы ие замечая подвоха. Один только раз ои как бы проснулся, услышав знакомую фамилию.

— Шамкова, — прозвучал около него глубокий, крадущийся голос. Потом протяжиый вздох. — Аижела... — Как будто с иим знакомились на таицах.

— Пожалуйста, что у вас? — кратко сказал ои, бросив иа иее мгновенный острый взгляд.

Оиа была крупная, с малеиькой головой, туго обтянутой желто-белыми волосами, красный перстень горел иа иежиейших пальцах с бледиым маникюром. «Как же ты копаешься в земле?» — подумал Федор Иваиович. Он бегло осмотрел какие-то выращенные ею гибриды, отметил в блокиоте, что работа дельная, бьет в ту же точку, что и остальные, и перешел дальше.

Здесь, выставив, как иа рыике, плоды своей работы, стояла Елеиа Владимировна — в халатике и в очках.

— Что *продаетя?* — спросил Цвях, подходя.

— Пожалуйста, — сказала оиа с легким поклоном

и подвинула вперед несколько горшков. — Продаем картошку. Вот дикари «Солянум пунэ», «Солянум гибберулезум» и «Солянум Шиккии». Все привиты на томаты, у всех завязались ягоды от пыльцы культурных сортов.

— Интересный товар, — сказал Цвях.

— Ну, как с катапультой? — спросила она, прямо взглянув на Федора Ивановича.

Он отвечал с прохладным и проницательным взглядом тициановского Христа, которому фарисей предложил динарий:

— Катапульта — хорошее средство для выхода из аварийной ситуации.

— Он вчера говорил мне это слово, — сказал Цвях.

— Он всем его говорит, — заметила она.

— Сами прививаете? — спросил Федор Иванович.

— Вот этими инструментами, — она показала маленькие, почти детские руки с корявыми ноготками земледельца. Федор Иванович вспомнил руки Анжелы Шамковой. Да, природа не зря трудилась, создавая руки, и целью ее был не только хватательный инструмент, но и сигнализатор, — как сказал бы технарь.

— Чистая работа, — сказал он, оглядывая привитые кусты. И вдруг запнулся. — А что вот эт-то такое? — почти рванувшись вперед, он озабоченно указал на стоящий поодаль горшок со странным одиноким стеблем. Стебель был одет несколькими ярусами крупных листьев и был похож на этажерку. — Я что-то не узнаю... Это картошка?

— Это мой «Солянум Контумакс», — раздался над его головой голос Стригалева. — Я поставил его подальше от комиссии, но разве от вас что-нибудь скроешь...

— От него? — с восторгом сказал Цвях. — От него ничего не скроешь!

— Видите ли, — Стригалев вышел вперед. — Я никак не могу преодолеть его стерильность по отношению к культурным сортам... Не завязывает ягод.

— Какой-то странный «Контумакс»,— сказал Федор Иванович.— Я же знаю этот вид. У вашего весь габитус крупнее. Чем вы его кормили?

— Хорошо накормишь, он и вырастет, — примирительно вставил беспечный Цвях.

— Вообще-то вы замахнулись, — недоверчиво проговорил Федор Иванович. — До сих пор, по-моему, ни-

кому еще не удавалось получить ягоды от такого скрещивания. Одно время иностранные журналы, — он обернулся к Цвяху, — были полны сообщений о попытках ввести этого дикаря в скрещивание. Потом все затихло, и мировая наука подняла руки вверх. И отступились. По-моему, все — я правильно говорю? — это уже был вопрос к Стригалеву.

— Вообще-то так и есть, — пробормотал Иван Ильич, глядя в сторону. — Но вот мы... Советская наука в нашем лице надеется все же найти...

— Этот эксперимент... Такая попытка — и в такой скромной тени...

Спохватившись, повинуясь отдаленному голосу, Федор Иванович умолк. Отвернулся, оставил это странное растение в покое. Пора было заканчивать затянувшийся осмотр.

— Елена Владимировна, Иван Ильич, — сказал он, оглянувшись, как будто посмотрел — нет ли посторонних. — Возраст ваших растений месяца четыре, а то и пять. Когда у нас кончилась сессия академии? Двадцать дней назад. Я должен с удовлетворением... Хотя и не без удивления... отметить, — он не удержался и широко улыбнулся, — должен отметить, что ваша перестройка в верном направлении началась за полгода до того, как на сессии прозвучал призыв к перестройке. Это делает вам честь, но не всем может быть понятно. Теоретические позиции ваши многим ясны. Готовясь к этой ревизии, я пролистал некоторые журналы... Помоему, еще за месяц до сессии Иван Ильич выступал...

Цвях в восторге больно толкнул его в бок: давай жми! Стригалев молчал. Елена Владимировна, порозовев, смотрела в упор. Аспиранты оцепенели, ждали удара.

«Играешь, ласково прикасаешься к питающим трубкам», — Федор Иванович вдруг вспомнил разговор с Вонлярлярским.

— В общем, будем считать, что проверка ваших работ дала положительные результаты. — И став совсем непроницаемым, он повернулся к выходу.

«Что со мной случилось? — думал он, идя между стеллажами. — Будь это месяц назад, я бы вцепился и начал разматывать клубок...»

Они обедали за тем же столом.

— Крепко берешь, — сказал ему Цвях. — Я прямо

помер от страха, когда ты их за глотку взял. В общем, ты правильно сделал, что отпустил. Ребята-то хорошие...

А когда вышли к лавке покурить, там уже сидели Стригалев и Елена Владимировна.

— Ну как, сварили вчера борщ? — спросил Федор Иванович, прямо взглянув ей в лицо.

— Еще какой! Из прекрасной говядины и свежих овощей. На три дня.

— Надо зайти завтра к ней, пообедать...

— Я пошел, — сказал Стригалев, поднимаясь.

— И я с тобой,— поднялся и Цвях.— Пусть молодые побеседуют...

IV

Они ушли, не оглядываясь. И тогда поднялась Елена Владимировна, прошлась, остановилась и носком туфли описала вокруг себя нерешительную кривую.

— Ну, что? Займемся ботаникой?

— Не знаю, поможет ли мне сегодня природа,— но он все же встал.

Они прошли в молчании до калитки, и когда миновали ее и перед ними открылись поля, она, плотно сжав губы, вопросительно посмотрела на него.

— Я обижен, огорчен и не знаю, как выйти из этого состояния,— сказал он.

Елена Владимировна молчала.

— Менее чем за сутки вы обманули меня три раза,— он благосклонно и холодно смотрел на нее.

Она только ниже опустила голову.

— Вчера,— продолжал он,— вы вовсе не прогуляться пошли со мной, а на разведку относительно сухарей. Боюсь, что и сегодня у вас есть боевое задание...

— Есть и сегодня,— сказала она, тряхнув головой от смущения.— Но я и без задания пошла бы...

— Относительно этого задания. Вы все хотите узнать о том, как комиссия отнеслась к этим вашим, шитым белыми нитками мичуринским работам. Ну, во-первых, они все-таки похожи на хорошие мичуринские работы. Во-вторых, все это вполне можно принять за рвение: вы стремитесь ответить делом на призыв сессии. Цвях так и понял. А в-третьих, вы знаете, что я догадался, что дело обстоит совсем не так... Но я не

брошусь, подобно гончему псу, по горячим следам. Мне не нравятся эти приказы министра Кафтанова. Я считаю их ударом по науке. Если бы была подлинная дискуссия без ласкового перебирания в руках у начальства наших питательных трубок... Вы знаете, о каких трубках я говорю?

Она кивнула.

— ...я, может, и полез бы в таком случае, при таких условиях, копаться поглубже в ваших прививках. Но я уже сильно обжегся лет семнадцать назад на поисках правды. А искал с закрытыми глазами... Теперь я тоже ищу. Но все время поглядываю на компас.

Высказав это, Федор Иванович остановился и так же холодно и благосклонно посмотрел на нее.

— Так что боевое задание ваше мы можем считать выполненным. Вы мне теперь можете сказать: не провожайте меня дальше, я иду жарить для Тумановой котлеты де-воляй. Я не пойду дальше, пока вы мне не скажете, почему вы в ответ на мою откровенность, в которой вы не сомневались, три раза — три раза! — солгали мне.

— Ну что ж, скажу, — ответила Елена Владимировна и, нагнувшись, на ходу сорвала травинку. — У меня, дорогой Федор Иванович, тоже есть своя завиральная идея. Я тоже не раз в жизни обжигалась, и предчувствую, что самое большое пламя впереди. У нас так много подлости... В прошлом году ехала в трамвае и потеряла билет. Билет стоит пятнадцать копеек. Казалось бы, возьми молча рубль штрафу и все. Так нет — все помешались на воспитании. Ваш академик воспитывает картошку, а эти — взрослых людей. Воспитывают на каждом шагу. Контролеры — молодые, все студенты, поймали меня и увели к себе в какую-то каморку. Допрашивали, фотографировали — и все с идиотской радостью, как будто счастливы, что я им попалась и что им разрешили меня терзать. Никаких доводов, никаких просьб о пощаде не слышали. А потом развесили свои «Не проходите мимо» по всему городу и в трамваях, и там я висела с пьяницами и хулиганами, в качестве «злостного зайца». Как вашу черную собачку гоняли. И билет ведь нашла потом, пошла к ним. Их начальник — тоже студент, в прыщах весь — только смеялся: «Во-от чепуха какая!». У нас в институте тоже есть свои любители воспитывать,— голос Елены Вла-

димировны начал дрожать.— Один раз я опоздала минуты на три. И вдруг через неделю смотрю — висит «Не проходите мимо», и там я. Фотография: вся растрепанная, вот с такими глазами бегу на работу. У нас есть такой Лылов, профсоюзный деятель. Вот он забирается на чердак или за угол прячется и фотографирует того, кто опоздает, кто на пять минут раньше уйдет — и в свою газету. Разумеется, когда мы остаемся после работы на три часа заканчивать эксперимент, этого он не видит. Когда вместо кино идем в выходной на овощную базу, в ледяное хранилище налегке идем картошку гнилую перебирать — это ему не интересно. И вообще грустно, Федор Иванович...

Елена Владимировна даже взяла его за рукав ковбойки, и они долго шли в молчании.

— Во-от... А уж случаев посерьезнее сколько было. Когда мою правду и против меня же... «У вас дома есть мухи-дрозофилы», «У вас есть книга Моргана», «Вы были там-то», «Вы сказали то-то». И так далее, Федор Иванович. И тэ дэ... И я вижу — никакой защиты! Ник-какой! Сплошное непонимание. «Так ведь у тебя, Ленка, действительно дрозофилы дома. Хочешь, пойдем к тебе домой и укажем тебе их, они у тебя в шкафу! Я бы на твоем месте их в кипяток...» Это подруга говорит. Верная. И тогда я придумала: если Людмила пользовалась шапкой-невидимкой, от Черномора бегала, то почему я не могу! Надо на всякий случай все время врать. Не просто скрывать что-то, а врать, говорить то, чего не было, выдумывать на себя всякую напраслину. Это чтоб не дать этим странным людям подлинных фактов. Чтоб отучить от охоты на человека. Им страшно хочется повеселиться на чей-нибудь счет. Пожалуйста, веселитесь! Иду, скажем, по приказу начальства в город — тут же заявляю в лаборатории: «Девочки, я побежала в магазин». Лылов, конечно, строчит уже в свою газету. Корреспондентка уже сообщила. А потом, когда вывесит, я говорю: давай-ка, Лылов, снимай свой пасквиль и переписывай. Надо проверять информацию. И алиби ему в нос. Все смеются. А он злится — такая выверенная машина и дает перебои!

Она крепче схватила его за рукав.

— А потом, вы же знаете, кто я. Я — агент мирового империализма, я — ведьма. Я ночью превращаюсь в

черную собаку. Сейчас я перестроилась, преподаю, что велит ваш Рядио. Но разве можно перестроить сознание? Ведь я все-таки немножко ученый, мне подавай факт. Картошку разрежь и капни йодом — сразу посинеет. Капай хоть здесь, хоть в Америке — все равно. И я уж если видела это, меня не заставишь думать, что не синеет, а краснеет. Говорить вот заставил ваш академик. А думаю-то я так, как оно на самом деле. И если я говорю, как велят, это чистое вранье. Обдуманное — чтобы спасти настоящую науку, спасти товарищей. Вы ведь тоже были мне враг. Впереди вас бежит молва: неподкупный, глазастый, глубокий, непонятный... Что еще? Ложноскромный, беспощадный. Еще страшней Саула. Если хотите знать, мне вчера было очень страшно начинать с вами разговор. А сегодня я чуть не умерла... Правда, отдаленный голос мне сразу начал шептать другое...

— Не рановато ли вы, Елена Владимировна, открыли мне свое... свое внутреннее лицо?

— Ладно уж. Берите.

И они оба засмеялись, и им стало легко. Лена уже держала его под руку.

— Между нами кровь, — вдруг сказал он. — Мы с вами принадлежим к двум враждующим семьям. Монтекки и Капулетти.

Она ничего не сказала, взяла его крепче, и долго они шли в ногу по каким-то межам, ничего не говоря, целиком во власти отдаленного голоса.

— Расскажите, как вы обожглись семнадцать лет назад, — попросила она, не отпуская его руки.

— Просто так не расскажешь, — неуверенно, с раздумьем заговорил Федор Иванович.— Понимаете, бывают обиды, когда хочется дать сдачи, ответно насолить. Но это проходит навсегда. Я не представляю себе, как это — всю жизнь помнить оскорбление. Не умею даже руки не подавать скверному человеку. Здороваюсь! Но понимаю, что иной на моем месте и не подал бы... Могут быть люди с вечной жаждой отомстить. Я эту жажду понимаю... К чему это я? Ах да, вот к чему: оказывается, может быть такая же вечная жажда, но противоположная. Нечто, связывающее душу, отнимающее свободу. Ощущение такое, будто мертвый — истлел ведь давно — тот, кого нет... Присутствует незримо и ждет с болью удовлетворения. А как удовлетворишь, если

его нет? Отдаешь должок вместо него другим, отдаешь без конца. А это вот самое ие убывает...

— Вы что — кого-нибудь убили?

— Соучаствовал...

— Так это же семнадцать лет иазад было... Сколько вам сейчас?

— Тридцать один.

— Вам было четыриадцать?

— Даже тринадцать. Но для ответствениости, для чувства личной вины это ннчего не зиачнт. История иачалась еще раньше — когда мие еще было двенадцать лет. После лета, когда гнали черную собаку. У иас в классе рядом с доской висел плакат: «Пионер всегда говорит правду, он дорожит честью своего отряда». И был рисунок, объясняющнй, как именно я должен говорить эту правду. Нарисована была школьная парта и за нею —двое мальчишек вроде меия, какой я тогда был. Одни сидит, совершенно скоифуженный, потому что иацарапал на новеиькой парте свое имя — «Толя», и попался. А другой, чистенький и строгнй, в красиом галстуке, встал, поднял руку — просит слова. Брови сдвинул. И указывает на своего товарища. Вот так, говорит плакат, настоящнй пионер должеи себя вести. Поинмаете? И я все думал тогда, изо дня в день глядя на этот плакат, как бы это получше мне сказать эту правду. И все не находилось случая. Ябедиичать на товарища за то, что имя на парте нацарапал, я ие иаходил в себе духа. Да и мелко это мне казалось. Я хотел по большому счету. И ждал своего часа. Да... И час пришел.

Он подвел Елеиу Владимировну к страшному месту рассказа, умолк и посмотрел на иее. Нет, рука ее не ослабла, не опустилась, держалась за иего.

— Вот так... Дело-то было в Сибири. Один раз весной к иам в класс пришел молодой геолог. Пареиь лет двадцати восьми... Но уже со стальиыми зубами. И держал перед нами речь. Мол, так и так, открыл я в вашем районе месторождение никеля. А никель — это же оборона, это же танки, самолеты... Мне иужны, говорит, помощники, иадежные ребята, иа все лето. Будем жить в палатках и работать, рыть шурфы до октября. Местные власти, мол, проявляют патриотизм, ассигиовали средства, отпустили продукты, дали лошадь с телегой, инструменты. Ну и набралось иас, помощии-

ков, человек десять. Я — самый младший. И выехали. На месте уже он осторожно так нам открывает, что послан был сюда вовсе не никель открывать, а для прозаического подсчета уже известных запасов естественной краски охры. А уж на никель он сам нечаянно набрел. И загорелся. А в журнале приходилось рытье шурфов на охру показывать. Средства все израсходовал, охру не подсчитал, сильно погорел, рабочих не на что содержать, вот и кинулся к местным властям. Спасибо, люди хорошие попались, поняли. Так что и теперь приходится в журнале рытье шурфов на охру показывать. А насчет никеля нужно молчать. Местные организации в курсе, все загорелись, но все и молчат. Вся операция — сплошная тайна. А почему тайна — вот почему. У них в науке было вроде как у нас сейчас в биологии. То есть что говорит глава направления, никелевый бог, — то и истина. Если геологическая обстановка обнаружена такая или такая, здесь можно искать никель. А если другая какая обстановка — искать бесполезно. И даже вредно. А если ты все же что-то открыл и ищешь не там, где можно, то есть тратишь государственные средства, никелевому богу не нравится, и на тебя падает подозрение. Тогда, как впрочем и сейчас, часто было слышно такое суровое словцо — «враг народа». Этот случай, Елена Владимировна, открывает глаза на значение таких вот богов в обществе. Такой бог может стать бревном, лежащим на пути прогресса. Когда-а еще оно сгниет! Один человек, самый что ни на есть гений, никогда не исчерпает всех тайн природы. Вот в таких условиях принялись мы за работу. Привыкли к лопате, загорели. Тишина в степи. Один раз выглянул я утром из палатки и увидел среди уже выцветшей степной растительности ушастую такую лисичку. Песочного цвета. Держит в зубах птичку со свисающим крылом. И на меня смотрит. Как закон вечности. Показала мне свои глаза — как жестяные — и исчезла. Как моментальное фото. Как видение. И я в тот самый миг постиг вечность некоторых отношений внутри животного мира и среди людей той породы, что еще не перешагнула, так сказать, рубеж развития. Есть, есть этот рубеж. Проходит в народе. Делит нас всех... Один кошку ногой подденет, а другой задумывается, как быть, если на его стуле Мурка сидит, а ему надо сесть... Осталась эта лисичка в памяти, как знак... И вот мы рабо-

таем, уже он в пробирке никелевый осадок нашел. В чемоданчике у него была такая лаборатория. А к августу трава еще больше выгорела, тишина стала еще глуше. А мы роем. И слышим — самолет тарахтит. У-два. К нам летит. Ревизор прилетел, как вот я к вам. Кто-то донес, бога никелевого испугал. Мы все толкуем ревизору, как нам наш геолог сказал. Иначе говоря, врем. Но проверяющий был хоть молодой, а дотошный. Что-то унюхал. Писал, писал, потом улетел. А через месяц глядим — опять самолетики летят. Теперь два. На этот раз прилетел молодой военный — с наганом и портфелем. Отобрал у нас одну палатку и вызывает по одному на допрос. Старшие ребята все меня предупреждали: смотри же, Федька, говори все, как раньше. И вот он меня вызвал. Сначала все в глаза мне молча смотрел, анатомию моих мыслей делал. Потом прочувствованно так заговорил. Ты пионер? Ты же знаешь, как Владимир Ильич требует от всех говорить правду? А если не говорить правду нам, среди своих, как же мы будем бороться с врагами? Как будем завоевания Октября защищать? И я, конечно, все ему рассказал, с блестящими глазами — и про охру, и про никель. Старался до мелочей все припомнить. Он меня похваливает. Молодец, говорит, не спеши, все по порядку давай. А через час, смотрю, все ребята, как в воду опущенные. И на меня не глядят. А геолог сказал мне: «Ничего, ничего, Федя»,— и по плечу похлопал. А потом его подсадили в самолет, и все,— я его больше не видел. И с тех пор я стал как тибетский монах. Там такие монахи есть — ходят и веничком перед собой метут. Чтобы какого-нибудь жучка жизни не лишить. Она великая вещь — жизнь. Вот и я все время мету, с ужасом мету перед собой и, знаете, плохо получается. Плохо мету. Уж такой стал осторожный, каждый шаг выверяю... Совсем уйти от дел? В деревню пастухом? Так и там кого-нибудь заденешь. И обязательно хорошего человека... Но решение я принял и продержался добрый десяток лет, никому свет дневной не закрыл. А тут — уже на четвертом курсе — безобидно так поспорил. О бытии и сознании. Но задел какую-то нитку, и дядик Борик...

— Я знаю эту историю. Я считаю, что здесь вы совсем не виноваты. Вины вашей здесь нет.

— Но причинная связь есть. И следствие. За границу-

то его не пускают. И вы знаете, после размышлений я пришел к чему? Что главная причина — необоснованная уверенность в стопроцентной правоте. Почему старуха на костер под ноги Яну Гусу принесла вязанку хворосту? Потому что была уверена без достаточного основания. Я права, я чиста, а он дружит с сатаной.

— Ну, а с дядиком Бориком — у кого была такая уверенность? Не у вас же?

— Я думаю, у того товарища, который довел до сведения...

— А никель, скажите... Никель нашли?

— Нашли никель. В то же лето. Он старших ребят всему успел научить, и они все делали, как надо, и к зиме получили богатый осадок. С ним и поехали — сначала в Новосибирск, а потом — в Москву. Теперь там комбинат стоит...

Елена Владимировна что-то хотела ему сказать, но только посмотрела и глубоко вздохнула.

— Вот и получается: держат старые грехи постоянно меня за шиворот. Как только предстоит какой ответственный шаг, только и думаешь о тибетском веничке. А какие безвыходные бывают положения! Посылает меня шеф на эту ревизию. Я сразу на вороте чувствую удерживающую руку. Только успел подумать: откажусь, а Касьян словно прочитал мысль: «Что, сынок, не хочется ехать? Смотри, я могу и Саула послать». И он послал бы к вам Саула! Он бы послал. Уж лучше поеду я!

В этот момент они переходили овраг с ручьем по деревянному мосту. Федор Иванович, очнувшись, остановился.

— Здесь у нас погранзастава...

Она сильно тряхнула его руку.

— Ну-ка, хватит... Ведь, кажется, все ясно. Слышите? Хватит вам...

И повлекла его дальше, и они вступили на улицу, состоящую почти сплошь из одинаковых серых кирпичных домов. И она казалась им лучше всех улиц на свете.

— Хотите, пойдем ко мне, — сказала Лена. — Вот сюда свернем. Я покажу вас бабушке.

Они подошли к первой городской площади и должны были свернуть в арку большого восьмиэтажного до́ма. Но прежде чем войти под нее, Федор Иванович

увидел красный спасательный круг, висящий на балконе четвертого этажа.

— Вон, смотрите... Круг! — сказал он.

— Это здесь живет поэт.

— Не Кеша ли Кондаков?

— Почему вы его Кешей? Вы его знаете?

— Я с ним давно знаком. Еще со студенческих лет. Он тогда жил в Заречье.

— Как вы его находите?

— Не могу сразу так — оценку...

— Странно... Кого ни спросишь, все так отвечают. У вас, оказывается, много знакомых в нашем городе. Больше, чем в Москве, а?

Они прошли под аркой и оказались среди нескольких по-городскому плотно согнанных в один двор семиэтажных зданий, похожих на казармы. В одном из этих одинаковых домов, на четвертом этаже, и жила в двухкомнатной квартире Елена Владимировна со своей седой маленькой бабушкой.

Они добрых два часа пили чай, сидя за большим столом вокруг старинного, отлитого из олова и посеребренного чайника, качающегося в ажурной оловянной и посеребренной подставке. Говорили всяческую чепуху и смеялись. Иногда Федор Иванович ловил на себе изучающий взгляд бабушки и думал: «Когда уйду, они будут говорить обо мне»,— и от этого ему становилось еще легче и веселей.

А когда с чаем было покончено, Елена Владимировна поманила его в другую комнату. Здесь была чистенькая постель под бледным пикейным покрывалом, а у стены стояли два темных шкафа. Елена Владимировна, взяв его сзади за оба локтя, начала подталкивать к одному из них. Подвела и вдруг раскрыла дверцы. Яркий желто-голубоватый свет хлынул оттуда со всех полок. В шкафу в картонных подставках стояли десятки пробирок — из таких два дня назад Федор Иванович пил кофе в кабинете профессора Хейфеца. Они искрились и переливались, как огни в хрустальной люстре. Каждая пробирка была заткнута ваткой, и во всех кипела жизнь — там летали, скакали и сталкивались маленькие, как просяные зернышки, мушки. Дрозофилы.

«Касьян был прав, — растерянно подумал Федор Иванович, — у них здесь самое настоящее *кубло,* и я его прохлопал. Но с какой стати я должен забираться

с ревизией в частную квартиру, под черепную коробку этих людей? Пусть разводят своих дрозофил, если хотят...»

Но был краткий миг — он, должно быть, шарахнулся от этих дрозофил, как Мартин Лютер, увидевший за окном своей кельи дьявола... Лихорадочное веселье вдруг овладело Еленой Владимировной.

— Все-таки устояли! Я думала, броситесь бежать. Можно подойти еще ближе. Теперь поняли, откуда тогда, у Хейфеца в кабинете, появилась дрозофила? Вот они! Прославленные в докладах академиков и даже государственных деятелей мушки! Видите, в разных пробирках разные мушки. Мутации. Когда привыкните к этому зрелищу, подумайте вот над чем. Я хочу вам подарить одну такую пробирочку с мушками, чтобы вы у себя дома провели с ними эксперимент. Хоть вы и придерживаетесь других взглядов... Придерживаетесь вы других взглядов?— она заглянула ему в лицо. — Хоть вы и твердый единомышленник академика Рядно... Вы единомышленник академика Рядно?

— Не по всем пунктам...

— Тем более. Вам ведь надо знать, на чем строит свои домыслы семейство Капулетти. Опыт продлится двадцать пять дней.

— Я же уеду...

— Ах, да... Я почему-то была уверена, что вы никуда не уедете и останетесь здесь навсегда. Ну все равно. Увезете с собой, и будет вам память о нашем... Об этой ревизии.

И она, выбрав в шкафу две пробирки, капнула на каждую ватку, сидящую в горловине, из плоского флакона. Остро запахло эфиром. Все население пробирок мгновенно уснуло. Высыпав мушек на две бумажки, Елена Владимировна спичкой отсчитала десять мушек и ссыпала в пустую пробирку.

— Видите, какие у них бесхитростные мордашки. Не умеют притворяться,— сказала она, заткнув пробирку ватой, глядя на нее и хорошея. — За это их и не любят.

— Пожалуй, надо взять,— проговорил он.— Я давно подумывал...

— Пять красноглазых — самки, пять бескрылых — самцы. Это будет чистый эксперимент, исключающий всякую возможность подтасовки во имя святой идеи,—

она засунула пробирку в карман его ковбойки.— Кормить не надо — на дне пробирки кисель.

И он унес этих мушек к себе и, смущенно оглянувшись на Цвяха, поставил пробирку в стакан на подоконнике и закрыл бумажкой — так, чтобы глядя из комнаты, нельзя было понять, что в ней находится.

Вечером, когда зажглись огни, Федор Иванович вышел из дома прогуляться и подумать обо всем, что произошло за день. Остановившись на крыльце, он увидел около соседнего корпуса, под фонарем, красный свитер Стригалева. Иван Ильич стоял в позе отчаянного раздумья, будто искал выход из тупика. Вдруг подбоченился и крепко захватил в горсть нижнюю часть лица. Тени от фонаря делали впадины на его лице еще более глубокими, голодными. Что-то не давалось ему — какое-то решение. Сделав рукой вопросительное движение, пожав плечами, он все же решил что-то и зашагал — сюда, к Федору Ивановичу. И тот, приветливо улыбаясь, двинулся навстречу. Стригалев пересек его взгляд, но не замедлил шага. Пошел, понесся куда-то, уставив глаза вверх, как будто привязанный взглядом к невидимому проводу, протянутому над ним. Федор Иванович долго глядел ему вслед, пока его фигура, в последний раз мелькнув под фонарями, не исчезла в темноте. Теперь, наконец, стало ясно, почему студенты прозвали этого человека Троллейбусом. «Такое прозвище надо заработать»,— подумал он. Это было прозвище мыслителя, человека, захваченного идеей.

Весь следующий день они писали докладную записку. Получалась, в общем, благополучная картина. Все бывшие представители формальной генетики, за исключением заведующего кафедрой генетики и селекции профессора Хейфеца Н. М., перестроились и на деле доказывают верность осознанным ими принципам передовой мичуринской науки, провозглашенным на августовской сессии академии. Профессор же Хейфец Н. М. занимает странную позицию, открыто заявляя о своем несогласии с основами мичуринской науки, и на занятиях со студентами, излагая им курс, допускает оговорки, из которых студенты должны сделать вывод, что курс неверен и навязан для преподавания принудительно. В докладную записку внесли и рекомендацию —

укрепить кафедру двумя-тремя специалистами, доказавшими свою верность истинной науке.

— Касьян укрепит, — приговаривал Цвях, вписывая этот пункт. — Касьян, Федя, так укрепит, что... как он говорит, *засмеешься на кутни...*

— Это что же такое, Василий Степанович?

— Спрашиваешь, что такое? — нежным голосом отозвался Цвях, дописывая пункт. — С Касьяном общаешься и не знаешь! А это, Федя, вот что: заплачешь так, что будут видны все самые дальние зубы. Ты еще не плакал так? А между тем, попробуй, не запиши. Если он, дурак, сам в петлю лезет.

— А если записать помягче?

— Так этот же дурак узнает, что мягко записали, и напишет протест: ничего подобного, я в корне и решительно отвергаю вашу лженауку! Уж я-то повидал этих решительных морских свинок. Пусть все кругом летит к чертям, а риза моя все равно пребудет в ослепительной первозданной чистоте. С таким лучше не связываться. Никого надуть не даст.

Покончив с отчетом, перешли к докладу, читать который должен будет Цвях на общем собрании факультета. Василий Степанович разложил на койке и стульях стенограмму августовской сессии и журналы со статьями академиков Лысенко и Рядно и довольно ловко принялся монтировать общую часть. У него уже были заложены бумажками и даже пронумерованы самые энергичные места в речах участников сессии.

«Товарищи! — написал он в начале. — Как сказал наш академик-президент Трофим Денисович Лысенко, — история биологии — это арена идеологической борьбы. Два мира, — учит он, — это две идеологии в биологии. Столкновение материалистического и идеалистического мировоззрений в биологической науке имело место на протяжении всей истории. Особенно же резко эти направления определились в эпоху борьбы двух миров».

Переписав еще несколько сильных абзацев из доклада академика Лысенко, Цвях сказал:

— Смотри, что он говорит: «Новое действенное направление в биологии, вернее, новая, советская биология, агробиология встречена в штыки представителями реакционной зарубежной биологии, а также рядом ученых нашей страны». Чувствуешь, как он подводит ба-

зу? — и покачал головой. — А нам что остается? Приходится писать. Это же доклад!

И он застрочил, почти лежа грудью на листе и старательно выводя слова, завязывая на буквах «у» и «д» замысловатые бантики.

«Менделисты-морганисты, вслед за Вейсманом, утверждают, — написал он, — что в хромосомах существует некое особое „наследственное вещество"...».

Тут он остановился.

— Вот видишь, Лысенко против вещества. А в чем сидит наследственность, он не говорит! Видишь — обходит вопрос. Смотри: «Наследственность есть эффект концентрированных воздействий условий внешней среды»! А ты попробуй, возьми этот эффект в руки! Посмотри его в микроскоп! Я давно, Федя, над этим думаю. Знаний только мало. Приходится писать, что он пишет. А то бы я сразился...

Часам к двум ночи был готов и доклад. Укладываясь спать, Цвях никак не мог успокоиться.

— Что это он все «живое» да «неживое» говорит. Здесь никакой точности нет. Такие формулировки позволяют городить, что хочешь. Это философы так говорят. А естествоиспытатель... По-моему, если хочешь знать, между живым и неживым не может быть никакой границы. Идешь дорогой химии — пробирки там, реторты, идешь, и дорога еще не кончилась, глядь, а молекула уже шевелится...

Утром, попив чаю, они вышли на улицу. До трех часов дня, когда должно было начаться собрание факультета, оставалось еще много времени. Беседуя, они побрели парком, той тропой, что вела к полям, к мосту через овраг. Они были одинакового роста, и можно было подумать, что это беседуют отец, приехавший из провинции, и его просвещенный сын. Цвях неторопливо говорил и картинно «аргументировал» обеими руками, а Федор Иванович слушал, опустив голову, уронив на лоб русые пряди.

— Я все думаю,— между прочим сказал Василий Степанович, когда они уже шли полем. — Все, понимаешь, прикидываю, нужно ли тебе выступать. Я ведь кое-что вижу. Я вижу, что тебе все это нелегко делать. С первого дня заметил. И понимаю тебя, Федя. Так, может, я один? Все равно, так и этак, мне на трибуну лезть, доклад на мне. А тебе-то зачем все это? Сиди себе в

зале и слушай, как я буду им про живое и неживое вправлять. Мне все равно, у меня на плечах и без того грузу достаточно. На том свете большой предстоит мне разговор... Да и в науке. Я еще только чуть приоткрываю глаза, еще только сквозь щели что-то чуть брезжит. Может, так и не открою совсем, глаза-то. Опоздал. Потому и спрос с меня какой? А ты уже ученый, направление формируешь. Был бы я тебе отцом, я бы тебе сказал: не лезь. Не лезь, Федя...

— Спасибо, Василий Степанович.

— Вот и ладно, вот и хорошо. Так и уговорились.

Когда они подошли к мосту, Цвях вдруг остановился и, ударив кулаком в ладонь, тряхнув головой, сказал:

— Гуляй дальше сам. Пойду домой, полистаю доклад, материалы. Надо, Федя, ко всему быть готовым...

И быстренько заковылял назад. А Федор Иванович перешел по мосту овраг и зашагал по тротуару вдоль строя серых кирпичных домов, и перед ним возник прозрачный образ Елены Владимировны, состоящий только из тех ее особенностей, которые запали в его душу и незаметно, но постоянно напоминали о себе. Что за невиданный цветок вдруг расцвел в этом городе, что за судьба такая вдруг привела Федора Ивановича сюда, чтобы его увидеть!

Он шел и видел ее, читал слова, которые она писала движениями рук, полуповоротами и полупоклонами, пожатием плеч. И халатик ее серенький, узко перехваченный, с буквами «Е. В. Б.» на кармашке тоже возник перед ним. Рука Федора Ивановича нечаянно согнулась в кольцо, пальцы коснулись груди — да, так оно и получится, если...

Он прошел в арку — как раз под красным спасательным кругом — и обошел ее дом, стараясь угадать, где же ее окно. Потом через ту же арку он вернулся на улицу и с блуждающей улыбкой побрел дальше, ничего не замечая, пока не оказался на большой центральной площади. Здесь были сплошь старинные купеческие дома с колоннами, и только с одной стороны, из-за сквера с темно-бронзовой фигурой Ленина поднималось современное четырех- или пятиэтажное здание, состоящее из гранитных — до самой крыши — колонн и таких же высоких стеклянных плоскостей. Здесь помещались горком партии и горисполком. Подойдя поближе, Федор Иванович увидел в скверике длинный

красный щит на постаменте, заключенный в раму бронзового цвета, окруженный фанерными красными знаменами. На нем висели десятка два больших фотографий — портреты ударников производства. Он прошел вдоль щита, рассматривая с невольным уважением лица этих знаменитых людей и читая фамилии. «Перхушкова Лидия Алексеевна, прядильщица, — читал он, — Туликов Иван Сергеевич, слесарь автобазы. Жуков Александр Александрович, сталевар...»

«Ага, — подумал Федор Иванович, — это он. Этого Саши Жукова отец».

Он постоял перед портретом, изучая усатое и бровастое, сердитое лицо, кепку и темные очки над козырьком.

«Сын тоже Александром назван. Семейная линия,— подумал он. — А сын взял и в биологи пошел. Кто-то его сманил туда. Кто? Не Троллейбус ли?»

И, слегка затуманившись, он побрел из сквера, свернул на длинный бульвар, с лавками под сенью лип. Он шел по бульвару, пока его не вывел из легкого тумана какой-то желтоватый блеск, возникший впереди.

Это был поэт в своем балахончике из золотистой чесучи. Он стоял посреди бульвара, неподалеку от пивного ларька и, подбоченясь, в позе трубящего Роланда, пил из бутылки пиво. Медлительно отпив несколько глотков, он уронил руку с бутылкой на выставленное брюхо и застыл, отдыхая. Потом, переведя дух и поразмыслив, он снова выпрямился, поднял бутылку и тут увидел Федора Ивановича. Одним пальцем руки, держащей бутылку, требовательно подозвал.

— Что тебе, Кеша?

— Погоди, не видишь, я занят.

Федор Иванович невольно ухмыльнулся — он знал эту манеру Кондакова.

Допив, поэт поставил бутылку на скамью, вытер двумя пальцами бороду и усы, взял Федора Ивановича под руку и, дыша в лицо пивом, сказал:

— Вот, послушай. Новое.

Дымчатым бабьим голосом, подвывая, он начал читать:

Три с гривою да пять рогатых,
В овине сохнет урожай.
За этот сказочный достаток
Отца сослали за Можай.

А ты, его сынок-надежа,
Проклятье шлешь отцу вдогон,
Родную сбрасываешь кожу,
За новью пыжишься бегом.
Был Бревешков, а стал Красновым,
Был Прохором, теперь ты — Ким.
И спряталась твоя основа
За оформлением таким, —
Чтоб мы и думать не посмели,
Что ты — новейший мироед,
Когда увидим в личном деле
Краснова глянцевый портрет.

— Ну, как? Чувствуешь, что это за вещь?

— Чувствую. Серьезная вещь...

— Да? — Кондаков недоверчиво посмотрел на Федора Ивановича.

— Да, Кеша. Вещь хорошая и серьезная. Ты реагирующий мужик.

— Ты находишь? — сказал поэт польщенно. — Ну, пойдем, пройдемся. Скажи еще что-нибудь.

— Зачем у нашей старухи сундучок спер? Хоть бы пятерку ей.

Кондаков остановился, как будто в него выстрелили дробью. Потом опомнился, его рожа, окаймленная рыжеватыми с проседью лепестками, расплылась.

— Фу, напугал... Разве это ее? Она видела?

— А как же. Ходит и костит твое честное имя...

— Что же ты не остановил? На, дай ей два рубля. И от себя еще добавь. Скажи, чтоб перестала.

— Барахло ходишь по улицам собираешь...

— Барахло? Знаешь, какое это барахло? Этот сундучок у ней весь внутри оклеен газетами. Тридцатый год. И там объявления, Федя... Какие объявления! Слышишь? «Порываю связь с отцом как кулацким элементом». «Рву все отношения с родителями, сеющими религиозный дурман в сознание трудящихся». «Меняю фамилию и имя». И берут имена: Октябрь, Май, Ким, Револа... Так и повеяло, знаешь. Ночь не спал.

— Покажешь?

— Его уже нет. Одному человеку отдал.

— Жаль...

— Просил человек. У него там кто-то оказался. Из своих. Ты бы разве не отдал?

— По-моему, ты правильно отразил суть... Может, и правда, кто-нибудь делал это в экстазе. Потому что в этих отречениях от родителей есть что-то. Какой-то обряд. Люди более развитые, образованные спросили бы — а к чему эти жертвы вообще?

— Погоди, Федя. Погоди, запишу... — у поэта в руках уже были ручка и пачка сигарет. — Давай, давай...

— К чему, говорю, эти обряды делу революции? Родители — они ведь сами по себе. Раньше, например, полагалось носить крест. Тут есть, Кеша, что-то от человеческого жертвоприношения... Не каждый из этих был в исступлении... Не все пылали, ты прав. Иные трезво предавали, чтоб спасти себя, а иные — чтоб и взлететь...

— Ты думаешь? Ну, ну. Продолжай...

Федор Иванович с грустью посмотрел на его исписанную сигаретную пачку.

— Такая публикация не есть доказательство революционного образа мыслей. Наоборот! Этим утверждается: думай, что хочешь, но только про себя. Сделай эту подлость и обрежешь концы. Газета пойдет в архив под надежный замок, ключ — в надежных руках — и весь твой век тебе будет уже не до старомодных кулацких настроений. Вот если сейчас кто-нибудь из них жив и ему показать сундучок с газетой, умело показать... Так иной, пожалуй, и в петлю полезет...

— Продолжай! Почему ты не пишешь стихов!

— Да, Кеша... Кто требует предать родного отца,— не рассчитывай на чью-нибудь верность.

— Говори, говори...

— Нет. Больше говорить об этом не хочется.

— Ну еще немного. Пойдем ко мне, накормлю тебя хорошим завтраком. Мясо! Мясо, Федя! Мясо и лук! Вот тут, совсем рядом. Вон он, дом. Видишь, спасательный круг? Говори еще...

— Исчерпался, — Федор Иванович с интересом посмотрел на него. — Ну ладно, завтракать так завтракать. Пошли.

Иннокентий Кондаков отпер плоским ключом широкую дверь на четвертом этаже, обитую стеганой черной искусственной кожей, сияющую бронзовыми кнопками. Они вошли в темную каморку. Здесь, как в харчевне, сильно пахло недавно жарившимся мясом. Кондаков включил свет и сейчас же начал раздеваться.

Балахончик, сорочку и чесучовые брюки он повесил в стеиной шкаф, туда же поставил алюминиевые туфли на женских каблуках. Из шкафа грубо выволок махровый малиновый халат и, накинув, завязав под животом пояс с кистями, предстал — золотисто-волосатый, с вылезшим из халата напряженным пузом. В золотой чаще нагло зиял воронкообразный пуп.

— Красавец! — воскликиул Федор Иванович. — Гольбейн!

— Что это такое, Федя?

— Художник был. Короля английского иарисовал, похожего на тебя.

— Спасибо, дорогой.

— Этот король переменнл шесть жен.

— Да ну! Это точио — я. Спасибо, удружил. Пойдем на кухню.

Как только они вошли туда, множество тараканов кругами забегало по полу и по стенам, и через мгиовеине все куда-то скрылись. Поэт достал из духовки лоснящуюся сковороду с четырьмя кусками мяса, сидящими в высокой подстилке из жареного лука. Понюхал н подмигнул. Каждый кусок был величииой с большой мужской кулак.

— Это ты все для себя? — изумился Федор Иванович.

— Мне надо есть мясо. Вечером ко мне придет дама.

— Серьезно относишься к делу...

Поэт кончил любоваться своей сковородкой. — Подогреем? — спросил, сверкиув сумасшедшими светлымн глазами. И ответил: — Подогреем-с!

Пыхнул огонь в духовке, Коидаков задвинул туда сковороду. Федор Иванович в это время рассматривал приклееннoe над столом цветное фото обнаженной женщины, вырезанное из иностранного журнала.

Поэт дернул гостя за рукав. Они прошли маленькую переднюю и комнату с плотио завешенным окном, в которой на столе среди высохших винных луж стояла лампа без абажура, на полу темнели десятка полтора бутылок, а на стенах висели афиши с крупными буквами: «Иннокентий Кондаков». В другой комнате была видна низкая старинная кровать — квадратный дубовый ящик с темными спинками, на которых поблескивали вырезанные тела длинноволосых волоокиx дев, летающих среди роз и жар-птиц. Две несвежие подуш-

ки, огромное стеганое одеяло, простыни — все стояло комом. Поэт снял закрывающий окно лист фанеры, потянув за шнур, впустил дневной свет, и стали видны грязный паркет, пыль и окурки по углам, грязные разводы и надписи на стенах. «Дурачок!» — было написано на самом видном месте губной помадой. И в этой комнате висели афиши с той же крупно напечатанной фамилией и несколько фотографий — везде поэт Кондаков, освещенный с трех сторон, в раздумье или в дружеском оскале.

— Здесь я вдохновляюсь, — сказал он, указывая на свое ложе.

— Вижу, вижу. Тебя навещают... — заметил Федор Иванович. — Небось, увидят обстановочку и сейчас же наутек.

— Ты не знаешь женщин, Федя. Они, как увидят это, прямо звереют. Женщину надо знать. Окинет взглядом все это — тараканов, бутылки, грязь — сначала начинает дико хохотать. Потом бросится на меня с кулачками — колотить. И, наконец, обессилев, падает... вот сюда, — он оскалился. — Одна ко мне ходит, ты бы посмотрел. Такая, брат, тихоня, такой младенчик, такая тонкость, куда там! А наступает миг — сатана!

— Хвастун! — сказал Федор Иванович, все еще оглядывая комнату. Его жизнь шла другими дорогами, таких людей и такой обстановки он не видел.

— Пошли! — принюхавшись, поэт вдруг бросился в кухню.

Федор Иванович уселся за стол, Иннокентий поставил на какую-то книгу горячую сковороду, дал гостю грязную вилку и измазанный в жире нож с расколотой деревянной ручкой.

— Вот тебе хлеб, — он положил на стол два остроконечных батона, — вот запивка, все вино выпили вчера, — выставил две бутылки молока. — Не отставай! — И, разрезав на сковороде один кусок, сунул в пасть первую порцию.

— Погоди, надо же вилки помыть! И стол...

— Можешь и пол помыть. Разрешаю, — мотнув головой наотмашь, поэт зубами оторвал часть батона, отправил в рот вторую порцию мяса и подал вслед хороший ком лука.

Вымыв вилку и нож, Федор Иванович принялся разрабатывать свой сектор сковороды.

— Чего молчишь? Зря тебя кормлю? — пробормотал поэт, жуя.

Но гостю было не до речей. Рядом со сковородой из щели между столом и стеиой вылезли, ощупывая воздух, чьи-то чудовищные усы. Федор Иваиович замахнулся, хотел пугиуть разведчика, ио Иинокеитий остановил его.

— Не трогай, это Ксаверий.

Обмакиув кусочек батона в жир, ои положил его около шевелившихся усов. Сейчас же Ксаверий вылез и уткнулся в хлеб. Это был чериый таракаи длииой в спичечный коробок.

— Видишь, жрет. Мы с ним давно знакомы. У нас совпадают взгляды на миогие вещи.

Из щели выбежал таракан помеиьше и суиулся к хлебу. Ксаверий махиул пятой или шестой ногой, таракан опрокииулся вверх брюхом и замер, прикинувшись мертвым. Потом мгновеиио перевернулся и исчез в щели.

— Борются за власть, — весело осклабился Иннокентий, обмакивая в жир второй кусочек батоиа. — На, ешь, дурачок,— ои подложил кусочек к самой щели.— Люблю за храбрость!

Отпив из бутылки иесколько глотков, он прииялся разрезать второй кусок. Первого уже не было.

— Нравится тебе эта девочка? — спросил Коидаков, жуя, и глядя на фото над столом.

— Н-ие могу сказать. Оиа снимается голая и не красиеет, ие прячет лица. Нормальиая жеищииа в такой ситуации сгорит от стыда. Как мие кажется, Кеша, без любви иельзя бросить на иаготу даже косой взгляд. Любящему можио. Любовь очищает взгляд...

— Ка-ак ты сказал? Постой, запишу... Да-а... А почему эта не сгорает? Смотрит прямо в глаза...

— Это бесстыдница. Оиа ведь за деньги... И у иее, коиечио, есть маскировочное рассуждеиие. Но это ие меияет дела.

— А стыд иагого мужчииы?

— Только перед жеищииой. В этом стыде есть береженье ее стыдливости.

— А в раю? Оба ведь были голые...

— Что рай, что любовь, Кеша...

— Как, как ты говоришь? Повтори... Давай еще кусок разделим пополам. И батоиа ты почти ие ел!

— Мне хватит, я уже готов.

— Ну, как знаешь. Получается три — один в мою пользу. А как ты смотришь на такое мое наблюдение. Ты правильно говоришь, ко мне ходят... Я заметил, что это дело любит накат. Бросать на полдороге нельзя. Надо запираться с нею на неделю. И чтоб мешок с продуктами висел на балконе и был полон. Эта, о которой говорил, к сожалению, так не может. Поэтому и наблюдение мое, о котором скажу сейчас, на ней проверить не смог. Сегодня придет. Я хочу сказать тебе вот о чем. Это же черт знает что — чем определяется этот недельный срок! Не пойму! Входим сюда нежными влюбленными, а выходим, глядя в разные стороны. Ненавидим, чуть не деремся. Получается, что все — в голоде или в сытости тела. Я сыт — и сейчас же лезут мысли: зачем я с нею связался, с этой дурой? Какого черта привел ее да еще на неделю! Теряю время! И что в ней нашел хорошего? Нос — как будто перочинным ножом оструган, с трех сторон. Тьфу! Словом, разлука без печали. А проходит еще неделя — и я начинаю ее искать. А она ищет меня. И она теперь для меня — необыкновенное существо. Откуда красноречие, откуда стихи! Искры из меня так и сыплются. Красавица! Богиня! Ангел! Этот вот объект, Федя, очень удобен для наблюдений над самим собой. Я давно замечаю — у человека все так: что к его пользе — все правильно. А что ко вреду или к докуке, что мешает — неправильно. И сразу появляются убедительные аргументы. Для самого себя. Ты не замечал?

— Я что-то похожее наблюдал. Только не на этих... объектах. — Федор Иванович замялся, подыскивая слова. — Понимаешь, ты сейчас мне привел еще одно доказательство. Что чувство правоты не всегда совпадает с истинным положением вещей. Что оно часто совпадает с чувством ожидания пользы... Для самого себя. Кто владеет собой, Кеша, в таком тонком деле, тот мудрец.

— Спасибо, Федя. Пей молоко.

— Я вовсе не о тебе. Насчет того, владеешь ли ты, у меня данных нет.

Все было съедено и выпито. Кондаков заметно отяжелел, умолк и нахмурился. В молчании они вышли из кухни в переднюю. Федор Иванович повернул было в комнату, но поэт молча стал у него на пути, почесывая

голую волосатую грудь. Помолчав и еще больше потемнев лицом, он сказал, наконец:

— Ну ладно, иди, Федя. Иди, мне надо отдохнуть.

И даже подтолкнул его к двери.

V

В два часа Федор Иванович достал из шкафа своего «сэра Пэрси» — любимый спортивный пиджачок с накладными карманами. Пиджачок был цвета обжигающего овощного рагу с хорошо поджаренным лучком, прожилками помидоров и частыми крапинками молотого перца. Надев мелкокрапчатую сорочку с коричнево-красным галстуком и «сэра Пэрси», Федор Иванович сразу стал похож на самоуверенного боксера в полусреднем весе. Остроносое лицо его с вертикальной чертой в нижней части и глубокой, кривой, как запятая, ямкой на подбородке приобрело жесткое выражение — он шел на поле боя, хотя уверенности сейчас было в нем значительно меньше, чем три дня назад.

Приготовился и Цвях — он уже успел выгладить свой темный, командировочный костюм и теперь, облачившись, затянув галстук и причесавшись на пробор, стал похож на седого крестьянина, собравшегося в церковь.

Они вышли торжественной парой из дома и по единственной улице институтского городка двинулись к некоей отдаленной точке. Справа и слева от них из разных концов городка шли люди — все к этой точке. Там, в розовом трехэтажном корпусе, был актовый зал.

— Касьян сегодня звонил, — проговорил Цвях. — Что-то напели ему. Что — не говорит, но слышно было — недоволен. Прошляпили, говорит. А что прошляпили, так я и не разобрал.

Федор Иванович не сказал ничего, только выразительно чуть повернул голову.

— Смотри-ка, сколько народу валит. Со всех трех факультетов, — проговорил Цвях после долгого молчания.

И еще сказал, когда прошли половину пути:

— У зоологов дней двадцать назад нашли дрозофилиста. Поскорей выгнали, и теперь у них тишина...

Когда по длинному коридору подошли к входу в зал, Цвях остановился.

— Ну, давай. Я иду в президиум.

Федор Иванович вошел в гудящий зал. Почти все места были заняты, но он все же нашел кресло в двадцатых рядах и, усевшись, стал наблюдать. Прежде всего, он увидел над пустой сценой красное полотнище с знакомой ему надписью белыми буквами: «Наша агробиологическая наука, развитая в трудах Тимирязева, Мичурина, Вильямса и Лысенко, является самой передовой сельскохозяйственной наукой в мире!». Он не раз слышал эти слова на августовской сессии. Потом он увидел впереди — рядов через десять — белую шею Елены Владимировны, чуть прикрытую сверху лапотком, сплетенным из ее темных, почти черных кос. Рядом с нею вихрастый Стригалев в своем красном свитере что-то говорил, опустив голову. Справа, слева и сзади Федора Ивановича сидели незнакомые люди, все возбужденные, все были знакомы друг с другом, и все, блестя глазами, что-то говорили.

— Массовые психозы хорошо удаются, когда они кому-нибудь выгодны, — сказал сзади старик спокойным металлическим басом. — И я просматриваю за такими психозами не «шахсей-вахсей», а личную выгоду участников. Хотя, да, есть, есть толпа и есть в ней старушки... Подносящие вязанку хвороста в костер, где сжигают еретика.

— Нет, все-таки есть движение, — чуть слышно возразил еще более дряхлый — клиросный — тенор. — После того как прочитаешь про римские казни, на которые посмотреть стекались тысячи... И даже матроны с грудными детьми. Да... Окна покупали, чтобы посмотреть... Украшали первый день карнавала казнью, и толпа одобряла это своим присутствием... После всего этого мы сделали прогресс. Полезно прочитать...

— Особенно перед таким собранием... Вы уверены, что здесь никто не купил бы окно?

И тут Федор Иванович увидел прямо впереди себя Вонлярлярского. Он был очень взволнован, все время запускал палец за воротничок, и лысоватая, мокро причесанная голова его вертелась, как жилистый кулак в манжете. Федор Иванович хотел поздороваться с его бело-розовым затылком, по которому — от уха — шел пробор, но в это время на сцене началось шествие членов президиума. Один за другим они показывались из-за серого полотнища и, медленно поворачиваясь тяже-

лыми корпусами вправо и влево, растянутой цепью протекли за стол. Декан, ректор, еще два декана, еще несколько сановитых полных мужчин, женщина... И Цвях был среди них — так же медленно поворачиваясь, просеменил, уселся и как бы опустил лоб на глаза. Потом по сцене легко прошагал академик Посошков, мгновенно оказался на председательском месте — прямой, изящный, в черном костюме с малиново-перламутровой бабочкой, сильно его молодившей. Запел графин под его массивным обручальным кольцом, академик выразительно молчал, требуя внимания.

— Товарищи! — провозгласил он. — Мы все, деятели многочисленных ветвей советской биологической науки, празднуем в эти дни выдающуюся победу мичуринского направления, возглавляемого Трофимом Денисовичем Лысенко, победу над реакционно-идеалистическим направлением, основателями которого являются реакционеры — Мендель, Морган, Вейсман. Многим из нас эта победа далась нелегко. Годами господствующие заблуждения врастают в душу, освобождение от них не обходится без тяжелых ран...

— Знаем, знаем, — сказал басистый старик сзади Федора Ивановича. — Хватит красиво каяться...

Произнеся еще несколько торжественных фраз и выбранив еще раз вейсманистов-морганистов, академик открыл собрание и предоставил слово для доклада ректору Петру Леонидовичу Варичеву. Тот поднялся и понес тяжелый живот к трибуне.

— Кашалот, — пробасил сзади старик, как будто легко трогал самую низкую струну контрабаса. — Когда только получил пост, был как Керубино. А сегодня встретил у входа — что за физиономия! Как кормовая свекла!..

— Пиво и закуски уведут его на тот свет, — прошелестел второй старик.

— А вы видели Кафтанова? Вот у кого геометрия! Изодиаметрическая фигура!

— Наш туда же, хе-хе. По его стопам...

Ректор показался над трибуной, разложил бумаги.

— Товарищи! — глуховатым голосом начал он, глядя в текст. — История биологии — это арена идеологической борьбы. Это слова нашего выдающегося президента Трофима Денисовича Лысенко. Два мира — это две идеологии в биологии. На протяжении всей исто-

рни биологической науки сталкивались на этом поле материалистическое и идеалистическое мировоззрения...

Федор Иванович радостно поднял брови: похоже, что ректор составлял свой доклад таким же методом, как и они с Цвяхом. И по тем же источникам.

Василий Степанович в президиуме оторопело смотрел на докладчика, тер затылок.

— Неспроста новая советская биология была встречена в штыки представителями реакционной зарубежной науки,— читал Варичев, упираясь обеими руками в трибуну.— А также и рядом ученых в нашей стране...

В президиуме Цвях быстро листал свой доклад и решительными движениями поспешно вычеркивал что-то.

— Менделисты-морганисты вслед за Вейсманом утверждают, — набрав скорость, читал Варичев, — что в хромосомах существует некое особое «наследственное вещество». Мы же вслед за нашими выдающимися лидерами академиком Лысенко и академиком Рядно утверждаем, что наследственность есть эффект концентрированного воздействия условий внешней среды...

И потек знакомый всем доклад, который в разных вариантах все уже читали в газетах и слушали по радио. В зале начал нарастать легкий шумок, везде затеплились беседы. Но они сразу смолкли, когда в голосе докладчика появилась особая угроза, и стало ясно, что он переходит к домашним делам.

— ...И даже в нашем институте нашлись, с позволения сказать, ученые, избравшие ареной борьбы против научной истины девственное сознание советских студентов. Я не буду называть здесь тех, кто нашел в себе мужество и вовремя порвал со своими многолетними заблуждениями, — здесь докладчик все же взглянул в сторону президиума. — Поможем им залечивать их раны...

Веселый шум пролетел по залу. «Кто же это смеется?» — подумал Федор Иванович, оглядываясь. Все вокруг улыбались, один лишь Вонлярлярский нервно подергивался и крутил головой.

— Изгоняя из нашей науки менделизм-морганизм-вейсманизм,— повысил голос Варичев,— мы тем самым изгоняем случайности из биологической науки. Наука — враг случайностей. Нам не по пути с теми, кто, используя ядовитый колхицин, устраивает гадания на кофей-

ной гуще, плодя уродцев и возлагая на них несбыточные надежды. Мы без сожаления расстались уже с двумя такими гадателями, и это, по-видимому, не все. Профессор Хейфец, я обращаюсь персонально к вам. До сих пор мы только терпеливо слушали ваши поношения в адрес советской науки и были либеральными свидетелями ваших фарисейских заигрываний с нашей сменой — студентами и аспирантами. Вы и ваши скрытые коллеги должны, наконец, понять, что наступает предел и этому терпению, и этому либерализму. Выбирайте сами, что вам по душе — присоединиться к победоносному шествию советских ученых, возглавляемому нашими маститыми знаменосцами, и вместе с нами творить будущее или же, будучи отброшенными на задворки истории, оказаться на свалке вместе с такими приятными соседями, как Мендель, Морган и Вейсман.

Вспыхнули резкие, как стрельба, аплодисменты, стали громче, плотнее. Когда зал утих, Варичев выкрикнул здравицу в честь самой передовой агробиологической науки, развитой в трудах Мичурина, Вильямса, Лысенко. Овация вспыхнула с новой силой, и он, собрав свои бумаги, покинул трибуну.

Следующим оратором был Цвях. Он пространно расхвалил доклад ректора, его чеканные формулировки.

— Богатство новых мыслей, высказанных на сессии академии, побуждает и многие годы будет побуждать нас обращаться к стенограмме сессии как к руководящему документу,— заявил он.— В такие исторические дни два добросовестно подготовленных доклада, посвященные одному и тому же вопросу, обязательно окажутся во многом схожими. Общий источник порождает сходство формулировок. Поэтому я опускаю вступительную часть моего содоклада, поскольку она почти дословно повторяет, к моему... я даже не скажу сожалению...

Общий смех зала покрыл эти слова. И сам Цвях улыбнулся плутовато, налег на трибуну, посматривая в зал, выжидая. Потом поднял руку, мгновенно успокоил всех и, став строгим, начал читать знакомый Федору Ивановичу текст с обстоятельным анализом учебной и научной работы факультета и проблемной лаборатории. Уклон был отчетливо выражен — комиссия настойчиво обращала внимание всех профессоров и преподавателей на замеченные то тут, то там следы

пережитой недавно вейсманнстско-морганнстской болезни, рекомендовала изжить эти остатки в ближайшее время. Все же комиссия вынуждена была отметить воинственную позицию профессора Хейфеца, его открытое неприятие курса, провозглашенного сессией.

— Хотя еще не решен вопрос, что лучше — открытая позиция неприятия или замаскированная ложная перестройка, — сказал Цвях многозначительно. — Маска всегда была и остается тактическим приемом и в то же время верным знаком продуманного и закоренелого упорства со стороны всякой антинаучности...

Эти слова его потонули в страшном грохоте аплодисментов.

— Открытость неприятия и прямота, — продолжал Цвях, выждав паузу,— встречаются в обиходе честных ученых и позволяют еще надеяться, что человек способен честно предпринять... приложить...— фраза оказалась слишком сложной, ее в тексте не было, и Цвях запутался. — Приложить усилия, направленные на осознание... Изжитие ошибки, и я уверен, что найдутся среди нас... что есть много доброжелательных и талантливых ученых, которые смогут... путем творческого обмена... помочь осознать...

«Он хочет протянуть ему руку...»— подумал Федор Иванович.

Когда председатель комиссии покинул трибуну, в зале поднялся шум — ожили все бесчисленные группы собеседников. Академик Посошков долго звонил своим золотым кольцом по графину и вдруг произнес:

— Товарищ Ходеряхин!

На трибуне показался знакомый Федору Ивановичу человек с бледно-желтоватым лицом и черными печально горящими глазами. Разложив свои бумаги, он начал читать, как показалось Федору Ивановичу, ту свою статью из журнала, по поводу которой у них в учхозе был неприятный разговор.

— Эту работу,— закончил он,— смотрел Кассиан Дамианович. И одобрил.

Ходеряхин знал, что московский ревизор сидит в зале, и отвечал ему.

— Я тут читал Шопенгаура... Шопенгау-эра, — продолжал он, запустив желтые пальцы в черные волосы и откинув их назад. По залу прокатилась веселая волна.— Критически, критически читал,— поправился он.

Зал так и грохнул. Послышались хлопки. Председатель коснулся кольцом графина.

— У этого реакционного философа есть в одном месте... — продолжал Ходеряхин. — По-моему, подходяще. Кто хорошо мыслит, хорошо и излагает. Это его слова. Я думаю, что мы можем и так сказать: кто темно излагает, тот темно и мыслит. И еще он говорит: непонятное сродни неосмысленному. Я к чему это? Сидел я как-то среди них. Среди вейсманистов-морганистов. Нет, не в качестве разделяющего, уж тут можете не сомневаться — в качестве любопытствующего и ничего не понимающего. По-моему, они сами не все понимают, что говорят. Кроссинговер... Реципрокность... Аллель... Так и сыплют. Я думаю, ясная мысль нашла бы для своего выхода попроще слова. Вот академик Кассиан Дамианович Рядно. Когда говорит — все ясно. И подтверждение — не таблица, не муха без крыльев, а матушка-картошка! «Майский цветок»! Как Чапаев — на картошке доказывает! Или наша Анна Богумиловна — на семинарах говорит просто, ясно, любо послушать. И пшеничку кладет на стол, скоро сдаст в сортоиспытание... Тут я, товарищи, позволю себе еще одну цитатку...

— Опять реакционная философия? — весело спросил из президиума Варичев.

— Петр Леонидович, вы угадали. Она. Но мы это оружие повернем против самих реакционеров. Вот, что он пишет, Шопенгауэр: «Если умственные произведения высшего рода большей частью получают признание только перед судом потомства,— это он говорит, философ, — то совершенно обратный жребий уготован некоторым известным блистательным заблуждениям, которые... Которые появляются во всеоружии с виду таких солидных доводов и отстаиваются с таким умением и знанием, что приобретают славу и значение у современников...» — Ходеряхин поднял палец. — Таковы некоторые ложные теории... ошибочные приговоры... опровержения... При этом не следует приходить ни в азарт, ни в уныние, но помнить! — он еще выше воздел палец.— Что люди отстанут от этого и нуждаются только во времени и опыте, чтобы собственными средствами распознать то, что острый глаз видит с первого раза...

Ходеряхин почувствовал подозрительную тишину в зале и остановился. Посмотрев на президиум, где Вари-

чев, как-то страино развесив губы, барабанил пальцами по столу, он отложил целую страиицу в своей длиииой цитате и закончил:

— Вот так, товарищи! Еще такое он говорит: в худшем случае ложное распространяется... как в теории, так и в практике... и обольщение и обман, сделавшись дерзкими вследствие успеха, заходят так далеко, что почти неизбежио иаступает разоблачение. Нелепость растет все выше и выше, пока, иаконец, не примет таких размеров, что ее распознает самый близорукий глаз...

Тут оратора прервали чьи-то бешеиые хлопки в углу первого ряда.

— Браво, браво, товарищ Ходеряхии! — пискляво выкрикиул кто-то.

Федор Иванович привстал. Аплодировал Ходеряхиму покрасиевший от иатуги профессор Хейфец. Воилярлярский с ужасом смотрел в его сторону.

— Как говорит мой внук, одии — иоль! — сквозь растущий шум прозвенел бас сзади.— Один — иоль в пользу Менделя!

— Товарищи болельщики! Вы ие на футболе, — вмешался сзади же запальчивый голос.

Графин непрерывио звеиел. Когда страсти улеглись, послышался голос академика Посошкова:

— Товарищ Хейфец! Натан Михайлович! Пожалуйста, к порядку... Товарищ Ходеряхин! По-моему, достаточно философии. Мы все восхищены...

— У меня все,— сказал Ходеряхии и с грустиой улыбкой сошел со сцеиы, и, прежде чем сесть иа свое место в первом ряду, пожал руки нескольким друзьям, словио принимая поздравления.

— Да, товарищи, да! Давайте ие отвлекаться от главиого! — раздался со всех сторон из динамиков зычиый жеиский голос. На трибуие плавала и колыхалась Аниа Богумиловна Побияхо, колыхались все ее подбородки, наплывающие на объемистую грудь, прыгали на груди красные бусы.— Давайте вернемся в русло, проложенное для иас исторической сессией. Известио, что менделисты-моргаиисты отрицают влияиие условий выращивания на изменеиие сортовых качеств. Мутагены, колхицин, реитгеиовские лучи, то, что уродует оргаиизмы, — вот их арсенал. В противовес этому ложному и вредному для производства методу Трофим Деиисович,

Кассиан Дамианович разработали диаметрально противоположный принцип и показали на практике его действенность. Лично я в своей многолетней работе...

Она развернула тетрадку и стала читать подробный доклад о переделке пшениц — озимых в яровые и яровых в озимые. Как бы засыпающий ее голос постепенно стал тонуть в общем слитном шуме.

— Ф-фу, — жара, — простонал кто-то. — Хоть бы окна открыли.

Федор Иванович оглядел зал и вдруг увидел впереди слева молодую женщину со знакомыми белыми, как сосновая доска, волосами, с толстыми косами, которые на этот раз были соединены на затылке в пухлый калач. Женщина застыла, низко потупившись, и шум зала, как начинающаяся метель, словно засыпал ее снегом. Пристально поглядев на нее, Федор Иванович перевел взгляд на академика Посошкова, — тот сидел в президиуме около графина — тоже с опущенной головой. Сегодня он почему-то померк, стал бесцветным — таким академика Федор Иванович еще не видел...

— Именно поэтому, — вдруг отчетливее и громче загрохотал в динамиках голос Побияхо, — именно поэтому я не могу не высказать здесь своего удивления по поводу позиции, занятой Натаном Михайловичем. Мне непонятна его подчеркнутая оппозиция по отношению к нам, его коллегам, к советской науке, непонятна его поза и действия, напоминающие действия известного крыловского персонажа по отношению к питающему его дубу...

Федор Иванович потемнел лицом, нахмурился — он болезненно переживал всякую бестактность. Еще тяжелее ударил его гром аплодисментов — как будто несколько поездов проносились над ним по железной эстакаде. Он опустил голову и уже не слышал окончания речи. Зазвенел графин.

— Натан Михайлович Хейфец! — объявил председатель.

И сразу зал затих. Профессор Хейфец, бледный, с белыми, как сияние, волосами, в длинной болотного цвета кофте домашней вязки, слегка согнувшись, спешил к сцене — головой вперед. Суетясь, он взошел на трибуну и цепко охватил ее края беспокойными пальцами. Долго молчал, приходил в исступление.

— Ругаете! — крикнул внезапно, и голос его будто

поскользнулся и упал. — За что? Разве не у вас всех на глазах я с утра до ночи пропадаю — то в лаборатории, то в библиотеке, то на кафедре? Разве вы не видите, что для меня ничто не существует, кроме любимой науки и истины?

— Демагогия! — крикнул кто-то по-соседству с Вонлярлярским. Тот так и шарахнулся в сторону.

— Вас, как вы выразились, *ругают* за идеализм, — послышался улыбающийся голос Варичева. — За то, что вы романтик-идеалист и не хотите прислушаться к голосу общественности.

— Ничего подобного! Я не романтик и самый строгий материалист. У меня все — расчет, достоверность. Подержать в руках, увидеть в микроскоп, проверить химическим реактивом. А вот вы — идеалисты и романтики. У вас все — завтра. Ничего в руках у вас не подержишь. Вы против вещества — против вещества!!! И гордо заявляете об этом. Подумать только — коммунисты и против вещества! У вас в природе происходит непорочное зачатие. По-вашему, если перед овцой я, как библейский Иаков, положу пестрый предмет, она родит пестрых ягнят... Почему я хлопал Ходеряхину? Вы, Петр Леонидович, сохраните на двадцать лет текст вашего сегодняшнего выступления. Сохраните. Через двадцать лет мы вам напомним! Увидите, как меняются точки зрения по мере накопления людьми опыта и знаний. Вдумайтесь — вы все говорите о передаче по наследству благоприобретенных качеств. То, что говорил Ламарк. Но клетка ведь не может сама себе заказывать свои изменения. Химия и физика это доказали намертво. Вы подождите шуметь, вы сначала постигните это — на это нужно время...

— А вы знакомы со статьей в «Сайенсе»? — опять вмешался голос Варичева. — Там Джеффри высказал обоснованное сомнение в правоте хромосомной теории...

— Читал я, читал эту статью. Да, там высказано. Не доказательство, но обоснованное сомнение. Но ведь познание — бесконечно! Настоящая наука не претендует — как претендуете вы! — на стопроцентное конечное знание! И поэтому публикует все новое, что найдет, в том числе и свои сомнения. Мы не боимся тех, кто только и ждет, чтобы ударить в подставленный нами бок. У ищущих истину ударять в подставленный бок не принято. А кто бьет — не ищет истины. Ну и что!

Может быть, и в плазме есть структуры, связанные с наследственностью. Может быть, откроем! Но то, что уже твердо установлено, — от этого мы не откажемся никогда! Сколько бы ни сыпалось брани! Хотя, я понимаю, сегодня мы не найдем правды до самой Камчатки...

— Товарищ Хейфец, — сказал Варичев. — Не то говорите. Признать вас правым будет неправота. И такой неправоты, это верно, вам не найти, до самой Камчатки.

Одобрительные аплодисменты стайкой пролетели по залу.

— Но выступление свое вы все-таки сохраните, — сказал Хейфец. — А сейчас я хочу вернуть Анне Богумиловне ее художественный образ, позаимствованный ею у дедушки Крылова. Сначала — анекдот из жизни. Достоверный. Сидят вместе два наших мичуринца. Один говорит: «Что делать?» Другой: «А что?» Первый: «У Стригалева на двух растениях ягоды завязались». Второй: «Вот сволочь!»

Зал вздохнул и весело загудел. Послышались редкие хлопки.

— А теперь к делу. Анна Богумиловна! Мне помнится, лет десять назад, перед войной вы ездили в Москву с моей запиской в известный вам институт. Отвезли мешочек семян пшеницы. И вам эти семена там облучили. Гамма-лучами. В институте это зарегистрировано. Еще, помню, вы сказали: «Чем черт не шутит». Вы высеяли облученные семена в учхозе, и выросло много всяких, как вы говорите, уродцев. Но два растения вы сразу заприметили, вы все же селекционер. И вот из них-то и пошли те сорта, которыми сегодня вы по праву гордитесь. Мы с цитологами следили за судьбой этих растений, такое настоящий ученый никогда не упустит. Вместе со Стефаном Игнатьевичем смотрели в микроскоп. Но дуб, который дал вам эти желуди, подрывать, Анна Богумиловна, не годится. Это недостойно...

Голова Вонлярлярского еще страшнее завертелась, как только он услышал слова «вместе со Стефаном Игнатьевичем». А руки сами по себе стали ощупывать костюм, он достал блокнот и судорожно принялся писать в нем. Потом оторвал листок и передал кому-то впереди себя. И белая бумажка, прыгая из ряда в ряд, побежала в президиум.

— ...В науке должна быть уверенность в избранном пути, — тем временем завершил длинную назидательную реплику Варичев.

— Очень торжественно говорите! — возразил Хейфец. — А ведь Колумб не Америку открывать собирался, а Индию. Был уверен в избранном пути. А попал в Америку! А вы говорите, уверенность. Настоящий ученый, если будет заранее знать ответ, не станет и заниматься этим делом! Какая может быть уверенность, если исследуется белое пятно! Простите, ваши слова отражают не научное мышление, а бытовое. Здесь не уверенность, а пытливость нужна! И честность! И устойчивое добродушие! Вы получили аргумент — извольте его обработать, если вы ученый. А не топать. А в общем, все это пустое, — махнув рукой, Хейфец сошел с трибуны и так же, головой вперед, ни на кого не глядя, прошел на свое место.

Наступила пауза. В президиуме читали бумажку Вонлярлярского. Наклонялись друг к другу, шептались. Потом академик Посошков встал.

— Товарищ Вонлярлярский! Стефан Игнатьевич, пожалуйста!

Выбравшись из ряда, Вонлярлярский пошел по проходу решительным шагом, опустив одно плечо и отмахивая одной рукой. Взойдя на трибуну, он пошатнулся, круто повернул голову к президиуму.

— Товарищи! Да, я — упомянутый здесь цитолог. Но по характеру работы это более к морфологии... Не русло, а берег потока. Если кто-нибудь рассчитывал, что я, будучи вот так, за шиворот втянут... рассчитывал на невольную поддержку... Или что я, в худшем случае, ограничусь *резиньяцией*... Я просил бы некоторых выступающих не тащить цитологов в свои запутанные дела и остерегаться... в расчете на поддержку... От всяческих бесполезных *эвфуизмов*...

По залу пролетел шорох смеха.

— Хоть мое дело изучать то, что лежит на предметном столике микроскопа, но все же и меня, видимо, отчасти могла коснуться эта тяжкая болезнь... Не настолько, конечно, лишь косвенно...

— Так тебя же никто и не тянул на трибуну! — отчетливо прозвучал в зале низкий голос. Вонлярлярский замер с открытым ртом.

— Тем не менее, — продолжал он, несколько раз

дериувшись, — должен признать со всей прямотой... иногда поддавшись общему тону, царившему... хотя бы...

Тряся и крутя головой, Вонлярлярский погибал на трибуне.

— В особенности, Натана Михайловича, который... Которого я... Которого я никогда не понимал... Когда в стенах кабинета вы говорите подобное... в ограниченном кругу сочувствующих...

«Он доносит! — подумал Федор Иванович. — Это его личная манера доносить!»

— ...Зная, что это мировоззрение стало оружием...

— При чем здесь мировоззрение! — вмешался тот же отрезвляющий голос из зала. Прозвенел графин.

— ...оружием в руках наших врагов... Я не понимаю, Натан Михайлович, и считаю своим долгом... хоть и беспартийный... не по пути... считаю долгом порвать...

Он развел руками, обмяк, сошел с трибуны, на ступеньках чуть не грохнулся в зал и с вытаращенными глазами побрел по проходу. Он трясся, как балалайка, — Федор Иванович вспомнил его слова. Толкнув кого-то, Вонлярлярский втиснулся в свой ряд, упал в кресло и крутнул головой.

И все это время в зале стояла тишина. Все смотрели на него, проводили до места. Потом послышался голос председателя:

— Объявляю перерыв.

Достав свою длинную папиросу, Федор Иванович отправился искать место для курения. В коридоре стоял легкий ропот, уже теснилась, роилась толпа. Кружки беседующих мгновенно замолкали, когда он проталкивался мимо, и все собеседники внимательно осматривали его. В одном из уступов сводчатого коридора Федор Иванович увидел одинокого, оглушенного Хейфеца. Никто не подходил к нему. Федора Ивановича сейчас же что-то укололо, и он подошел с протянутой рукой.

— Поверженного врага подними и облобызай, — насмешливо сказал ему профессор и отвернулся. Руки он не подал.

Чувствуя неловкость, Федор Иванович постоял некоторое время, потом слегка поклонился сутулой спине Хейфеца и отошел. Находясь, как бы в тумане, он шел все же к выходу, чтобы на крыльце, под ветерком затянуться, наконец, облегчающим душу дымом. Что-то беспокоило его, и, оглянувшись, он, наконец, понял,

что рядом, вплотную кто-то идет и, со страстью припадая к нему, что-то горячо лепечет.

Это был Вонлярлярский. Глядя глазами навыкате наискось под ноги Федору Ивановичу, он говорил:

— ...Много развелось у нас таких гордых интеллигентов... которые через каждые три шага сплевывают направо и налево, идя по улице. Если так все будут выгонять сами себя... А знаете, что это такое? Гордыня бесовская, вот что! Люди погублены, сам горю, зато сколь чист! Гер-рой! Ринальдо какое!.. А вы помните, я говорил о трубке? Если я сижу на такой трубке!! И если система трубок такова, что я не могу переключиться на другую! Другой такой трубки нет, которую можно было бы... проклятому вейсманисту-морганисту... Здесь не до *амплификаций!* Сиди поэтому и молчи. И старайся, чтобы никто не заметил твое тремоло. И я не вижу никакой альтернативы...

— Товарищ Шамкова! — провозгласил академик Посошков, оглядев исподлобья всех и звякнул графином. Зал постепенно затихал, Вонлярлярский уже сидел на своем месте и был неподвижен. Далеко впереди Елена Владимировна и ее высокий вихрастый сосед о чем-то переговаривались. Стригалев наклонил к ней голову и что-то доказывал. Потом наклонился ниже и отхлебнул из белой бутылочки. А по проходу быстро, мелко шагала и балансировала плечами высокая крупная девица, тяжеловатая в нижней части, с маленькой головой, обтянутой желто-белыми волосами, и с большими красными серьгами. Эти серьги делали ее похожей на белую курицу. Все знали о ее отношениях с Саулом и с интересом смотрели ей вслед.

Показавшись на трибуне, она, будто прислушиваясь, посмотрела в зал, повернула голову к президиуму, потом опять посмотрела в зал. Она была похожа на курицу, услышавшую шорох в кустах.

— Два дня назад комиссия проверяла наши работы в учхозе, — спокойно начала она читать с листка. — Товарищи остались, в общем, довольны нашими опытами по вегетативному сближению скрещиваемых растений. Прививки наши понравились, и, конечно, было приятно услышать из уст такого специалиста, как Федор Иванович Дежкин, высокую оценку. Однако от

зоркого глаза проверяющего не укрылось одно обстоятельство, и, хоть это не получило дальнейшего развития, он выразительно дал всем нам знать, что обстоятельство замечено. Белыми нитками шито. И вызывает недоумение и тревогу...

Ползучая теплота подошла к горлу Федора Ивановича, поднялась к голове, подступила к ушам, к корням волос. «Неужели опять это! — подумал он, ослабляя галстук на шее. — Опять я! Опять моя правда заслонила свет хорошему человеку! Неужели повторение!»

— Федору Ивановичу показалось странным, что все наши прекрасные прививки сделаны нами по крайней мере за четыре месяца до того, как на сессии академии прозвучал призыв ко всем нам сплотиться вокруг знамени мичуринской биологии, поднятого нашими выдающимися лидерами Трофимом Денисовичем и Кассианом Дамиановичем. А я скажу, что не за четыре месяца, а за полгода — в феврале мы уже сажали наши подвои в горшки. Что же, товарищи бывшие апробированные вейсманисты-морганисты, которым аттестационная комиссия не утвердила степеней, — выходит, вы загодя, задолго до сессии начали вашу перестройку? Это, конечно, сделало бы вам честь. Но тогда почему вы, уже запланировав свои прививки, ориентировав на них еще осенью своих сотрудников и аспирантов, почему вы не отзываете свои диссертации, публикуете статьи совсем другого содержания? Ну да, статья пролежала в редакции почти год,— тогда почему вы не выступаете с принципиальным заявлением, хотя бы устным? Забывчивость? Мягкость характера? Не приобрели еще мичуринской боевитости?

Она замолчала, глубоко вздохнув, набирая силы. Зала словно не было, — такая стояла тишина. Елена Владимировна сидела вдали неподвижная, прямая. Стригалев тоже замер, скрестив руки на груди, словно обнимал сам себя.

— Нет, товарищи, — тихо сказала Шамкова. — Никакой забывчивости нет. И характер — дай бог каждому. И боевитость такая, что ого-го. Дело все гораздо проще и печальнее. И печальнее! Все эти красивые и хорошо исполненные прививки — сплошной обман, самая настоящая виртуозная фальшивка, почуять которую может только человек с тонкой интуицией, такой, как Федор Иванович Дежкин. С помощью этой фальшивки обма-

нывают общественность, государство, партию и, в конечном счете — самих себя. Привиты у них не просто дикари, товарищи. Полиплоиды! Колхицинирование проводится дома, на подоконнике — откуда-то ведь достали импортный колхицин! Откуда, спрашивается? Мы, по-моему, это зелье не импортируем... А потом полученного уродца приносят в институт. Рос на собственном корне, будет расти и на подвое! А мы будем тем временем скрещивать полиплоид с культурным сортом, искать философский камень, занимать дефицитную площадь, расходовать государственные средства! Как вы понимаете, я не щажу и себя. Будучи аспиранткой Ивана Ильича Стригалева, видя все это, видя двойную бухгалтерию, которую вел мой руководитель... А он уже год назад чувствовал, что идут черные для вейсманизма-морганизма времена, и завел два журнала. Два!

Восклицания у нее тоже получались тихими.

— Один мичуринский, фальшивый, другой — зашифрованный, формально-генетический. В фальшивом пишет: изменение числа хромосом под влиянием прививки. А изменяет-то кол-хи-цином!

— А получалось? — коварно спросил кто-то в зале. Раздался смех, кто-то захлопал.

— Не в том дело, что получалось, а в том, что велись фальшивые записи, — спокойно сказала Шамкова. — И я должна была довести все это до сведения общественности — и не сделала этого вовремя...

Она спокойно высказала все это и спокойно смотрела в зал, отдыхая.

— У вас все, Анжела Даниловна? — хмурясь, спросил председатель.

— Нет, не все, — она взглянула в свою бумагу. Тихо продолжала: — Меня удивляет, товарищи, — в наше время, когда вся страна включилась в великую битву за перестройку научных основ нашего сельского хозяйства, в такие дни занимать позицию, которая выгодна... которой будут рукоплескать за рубежом... И при том ладно уж сам... Но студентов, Сашу Жукова в это дело вовлекать, сбивать с толку! Комсомол старается формировать крепкие моральные устои, мировоззренческую убежденность... И вдруг так спокойно губить, коверкать молодому, совсем мальчику, жизнь. Я никогда не могла понять... Такой не знающий жалости эгоизм...

Она сошла с трибуны под страшный грохот и рев

зала. Чуть слышно зазвонил графин. Сразу же поднялись в разных местах несколько рук.

— Товарищи! Товарищи, заявок с мест не принимаем, подавайте записки! — крикнул председатель.

— Сейчас начнется, — довольно громко сказал за спиной Федора Ивановича басистый старик.

И действительно, началось. Какие-то люди — добровольцы — один за другим спешили на трнбуну, тряся головой, требовали самых суровых, решительных мер.

— Товарищи! — кричала какая-то пожилая женщина с красными волосамн. — Вообразите, что было бы, если бы победили не мы, а фашнсты. Они бы всех нас, мнчурннцев, всех до одного перевешалн! А этого-то закоренелого... Вейсманиста-морганиста... Поставщнка аргументов для их расистскнх бредней...

— Христиан — львам! — вдруг внятно сказал кто-то в зале.

— Вы исторнк, вот скажите, — вполголоса баснл сзади старик.— Вы не заметнлн — отчего бы это: как забрасывать кого камнями или омывать кому слезами ногн — всегда впередн женщины... Не задумывались, отчего это?

Минут через двадцать, в теченне которых на трнбуне сменилось человек шесть или семь и сквозь жаркий туман и грохот слышалнсь их напряженные голоса, в президиуме поднялся Варичев.

— Товарищи! — сказал он под звон председательского графнна. — Товарнщи...Я хорошо понимаю вашн протесты. Я думаю, нстина в нашем споре с вейсманистамн-морганистами уже более чем ясна. Голос научной общественности — с ним нельзя не счнтаться... Хотелось бы услышать, как относятся к нему те... Иван Ильич, — сказал он миролюбиво. — Мы хотели бы послушать... Аудитория ждет от вас...

Шум быстро стал опадать. Далеко впереди Елена Владимировна чуть заметно пожала руку Стрнгалева. Он опять отхлебнул из белой бутылочки и встал — очень худой, взъерошенный, как будто спал, не раздеваясь, и его поднялн. Угрюмо оглянулся на зал и стал выбираться из ряда. Не спеша пошел по проходу, не спеша поднялся на трнбуну, почти налег на нее локтями, стал смотреть куда-то в потолок, ожидая тншнны.

— Да, было, было два журнала. Два, — заговорил он тихим, как бы недовольным голосом и еще сильнее

налег на трибуну, все так же глядя вверх.— В общем, что получается... Свобода не для всякого слова — часто я такое слышу. Враг тоже хотел бы протащить свою пропаганду, поэтому не подпускать его к трибуне. Что— не так? А я — враг. С точки зрения советской науки, стоящей на правильных позициях. Это сегодня каждому ясно. Кому даем трибуну? Кому даем средства, зеленый свет? Мичуринской науке в лице академиков Лысенко и Рядно. Конечно, не в лице Мичурина. Еще не известно, что бы старик Мичурин сказал. А кто, скажите мне, — тут он в первый раз пристально посмотрел в зал.— Кто определит, на правильных ли позициях стоят наши академики? Да сам же Кассиан Дамианович и скажет. А враг, то есть я, говорит, что он неправ, что если по академику Рядно все делать, отстанем на полвека. И начнем голодать. А коллектив — объективный критерий — кричит на это: предупреждаю в последний раз! Делай так, как требует академик Рядно. Я обращаюсь к начальству. А оно ничего не понимает и враждебно. Его тоже наши академики ведут под обе ручки, с бережением. А в конечном итоге ответственность за науку и, стало быть, практику, лежит на ком? На начальстве? Как бы не так — начальство скажет: меня обманули. Слишком часто говорили эти слова: «диалектически», «скачкообразно» — и я поверило. Поскольку специального образования не имею. И не на коллективе ответственность будет лежать. Он скажет: я заблуждался, меня обкурили этим... веселящим газом. Ответственность будет на том, кто все понимает, на кого газ не действует, на ком противогаз. На мне, на мне лежит ответственность. И меня надо будет судить, если я поддамся и не сумею ничего... Для чего тогда меня учили в советской школе? В таких условиях и приходится...

— И все же вы заблуждаетесь, — округлив глаза, перебил его из президиума ректор.

— Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать заблуждаться.

— Мы ее нажмем! — крикнул кто-то в зале.

— Вы отрицаете внешнюю среду, — мягко, отечески сказал Варичев.

— Никакой настоящий ученый не станет отрицать или утверждать то, что ему не известно с достоверностью. Мне достоверно известно...

— Вы все время смотрите куда-то в потолок, — так же мягко, с улыбкой перебил его ректор. — Вы кому говорите?

— Богу, богу... — с такой же улыбкой, показав стальные зубы, ответил Стригалев. И Федор Иванович заметил — в аудитории сразу потеплело. Но не надолго.

— Так я говорю: мне достоверно известно первое — чуть больше чем полупроцентный раствор колхицина дает удвоение числа хромосом у картофельного растения. Сам сотни раз удваивал. И знаю, как это делается и почему. Видел в микроскоп и держал в руках. Второе: это удвоение дает огранизмы, во многом отличающиеся от исходных. Третье: эти новые растения, если они до эксперимента были привезенными из Мексики дикарями, теперь, приобретя новые качества, вступают в скрещивание с «Солянум туберозум», с картошкой! То есть открываются новые пути для селекции. Так что же — мне отказаться от этого?

— Вы уродуете природу! — отчаянно закричал кто-то в зале.

Стригалев посмотрел в сторону крикуна и грустно покачал головой.

— Голос невежды. Дело в том, что все наши эксперименты это лишь повторение того, что в природе происходит миллионы лет. А вот ваше «не ждать милости, взять» — вот оно больше похоже на насилие. Только природу силой не больно возьмешь. Вот и я. Уступить силе мог бы. Но не уступлю. А убедиться — это не в моих силах. И вам пока не удается убедить...

— Почему? — сказал Варичев. — Среди нас есть товарищи, которых мы убедили... Они нашли в себе мужество...

— Ну, такого мужества я в себе не нахожу.

Стригалев помолчал немного, как бы ожидая новых вопросов.

— Крестьянина, крестьянина вы забыли! — закричал кто-то в дальнем углу зала. — Что он скажет о вашем колхицине?

— Крестьянин это не ученый, а практик, — тихо сказал Стригалев. — Практика это память о привычной последовательности явлений. Посадил зерно — должно прорасти. И действительно, растет. Это не наука, а память о причинных связях. Ученого характеризует знание основ процесса. Два года назад товарищ Ходе-

ряхин во время отпуска где-то на своей родине в поле нашел колосья голозерного ячменя. Привез, высеял на делянке, получил урожай и говорит: я вывел новый сорт! Даже академик его поздравил. А это оказался всего-навсего широко распространенный китайский ячмень «Целесте». Он даже этого не знал! Товарищ Ходеряхин был здесь типичным практиком-крестьянином, но не ученым. Крестьянин может вырастить хороший урожай, но это не дает ему права называться ученым.

— А по-т шему, плохой урожай — это наука? — закричали из зала. — А хороший — значит, практика?

— Я высказал вам свою точку зрения, — сказал Стригалев, не замечая криков. — Никем серьезно не опровергнутую точку зрения.

Еще постоял на трибуне, поглядел в зал, оглянулся на президиум и не спеша сошел вниз.

Зал ровно шумел. В разных его концах шли дискуссии. В президиуме Цвях, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, пристально слушал и время от времени ставил перед собой вертикально свой карандаш. Посошков — опытный председатель — не звонил в свой графин, давал всем выговориться. Потом поднес палец с золотым кольцом к графину. И тут впереди Федора Ивановича у самой сцены раздался дребезжащий голос профессора Хейфеца:

— Прошу слова для заявления!

— Неужели каяться пойдет? — сказал кто-то сзади.

— Думаете, осознал? — спросил басистый старик.

— Не знаю... Но вид у него решительный.

Хейфец уже стоял на трибуне, торжественный, откинувшийся назад.

— Я хочу сделать следующее заявление, — задребезжал его голос в странной тишине. — Я не выступил с ним раньше из ложной сентиментальности — не поворачивался язык. Я не допускал мысли, что такие методы возможны... Слушая ваш, Петр Леонидович, доклад, я ожидал: вот-вот он назовет фамилию Ивана Ильича Стригалева. Вы не назвали, и я подумал: ну, великодушен наш... Я проникся уважением! И решил в свою очередь промолчать о том, что знал. А теперь заявляю, что я согласен с вами: нам действительно не по пути! Вчера, товарищи, двое из сидящих здесь в зале слышали и записали следующую беседу товарищей Варичева и Побияхо с Анжелой Шамковой. Они зашли в эту

комнату... ну, эту, где фанерка. Чего не натворишь второпях. А за фанеркой, в моем кабинете — пока в моем, — эти два товарища нечаянно оказались. И вот что они услышали и записали. Слушайте! Варичев: товарищ Шамкова, ты знаешь, что твой руководитель формальный генетик? Она: нет. Он: а мы знаем. Придется тебе выступить на собрании. Она: с какой это стати? Он: а с такой: мы все знаем, вас во время ревизии Дежкин Федор Иванович уличил. Так что ты не запирайся, нам все известно. Не выступишь, так вылетишь из аспирантуры. Руководителя снимем, теперь это ясно, вылетишь и ты. А выступишь — получишь новую тему и нового руководителя. Замечаете, каков стиль! «Ты» — как с карманником в отделении милиции! Ну и после этого Шамкова, подумав, рассказала им все, что вы слышали. Потом Петр Леонидович вышел, и Побияхо одна домолачивала Шамкову. Тут уж товарищи и меня позвали послушать. Вы, Анна Богумиловна, сказали: «Милочка, ух, как я быстро сделаю тебя кандидатом!»

— Товарищ Хейфец, не сгущайте краски! — загремел из президиума Варичев. — Такой разговор был, но совсем в другой тональности.

— Хорошо! Не время доказывать. Но вы же сделали вид, что ничего не знаете! Должны были сразу честно сказать, внести в доклад! А то как новость сенсационную подали! Накаляете страсти.

— Мы молчали, чтоб дать возможность самому Ивану Ильичу...

— Вот, вот! Значит, вы его, как волка, в засаде подстерегали! Организованно!

— А ваша маскировка — это не прием? — закричал кто-то из зала.

— Мы в обороне. Это тактика.

— А мы — в наступлении! — сказал Варичев, поднимаясь. — Вы прислушайтесь к залу, товарищ Хейфец! Прислушайтесь! Коллектив не на вашей стороне.

— Как же я могу прислушиваться к коллективу, когда он весь обкурен парами догмы и, надышавшись, бредет, как во тьме, не видя пропастей и давя ногами невиновных!.. Когда он отдышится от этого газа...

— Товарищ Хейфец! Товарищ Хейфец!.. — это председатель, звеня графином, подал голос.

— ...Когда он опомнится, тогда я отдамся на его суд. А сегодня лучшим коллективным деянием, деяни-

ем ради общества, ради всех, будет отделение от такого коллектива...

— Товарищ Хейфец! Я принимаю ваше устное заявление, — ледяным голосом протрубил Варичев. — И налагаю устную же резолюцию. Вы больше не член нашего коллектива. Можете...

— Мне здесь и делать нечего! — Хейфец отмахнулся рукой, спускаясь в зал. — Сделали из биологии *филофосию!* Сплошные обскуранты!

— Позор! — отчаянно закричал кто-то в зале.

— Ничего, буду сам ковыряться! — выкрикивал Хейфец, идя по проходу. — Заведу огород под кроватью! Хватитесь еще, хватитесь!

Хлопнула тяжелая дверь...

В глубоких сумерках Федор Иванович и его «главный» возвращались к себе в комнату для приезжающих. Федор Иванович молча углубленно курил, как-то внезапно ослабев. Во-первых, потрясло то, что у Стригалева, кроме стальных зубов, лагерного прошлого и какого-то общего сходства с никелевым геологом, оказались еще два журнала, двойная бухгалтерия. И он, Федор Иванович, опять приложил руку к тому, чтобы отравить жизнь такому человеку. И он уже чувствовал, что человек этот прав.

А во-вторых, он только что видел: Елена Владимировна и Стригалев быстро прошли, почти пробежали мимо и скрылись в потемневшем парке. Елена Владимировна держала его под руку, заглядывала ему в лицо. «Да, — думал Федор Иванович, — он, конечно, лучше меня, если честно признаться. Что — я? Опять «нечаянно» человеку ножищу подставил! И с какой это стати, какое я имею право, приехав со стороны, вмешиваться в их давно сложившиеся устойчивые отношения, судя по всему, очень серьезные».

Цвях размяк по-своему. Глядя себе под ноги, размышлял вслух:

— Всегда, Федя, я не перестаю удивляться, наблюдая движение стай. Например, рыбьих мальков. Это же черт те что! Вот идут все параллельным курсом. Потом вдруг хлоп! — как по команде, все направо. Или налево... Так, вместе, маневрируя, и подрастают, потом вместе попадают в одну сеть, а там и в одну бочку... Что за закон?

«Неужели и здесь я, верный своей планиде, сунусь и разрушу — теперь целых две судьбы?» — думал Федор Иванович.

— Да, Федя, — Цвях вздохнул. — По-моему, мы с тобой гнали сегодня еще одну собачечку. А? Такое не забудешь...

«Нет, нет, ни в коем случае не сунусь! Бежать надо, бежать! Хватит с меня разрушенных судеб», — думал Федор Иванович, в то же время кивая Цвяху.

— Когда я был маленьким, — Цвях заулыбался. — Мать, бывало, пироги печет, и у нее остается: или тесто, или начинка. Если тесто — булочку испечет, накрутничек. Если начинка — котлетку. Я так думаю, Федя, Вонлярлярский — как такая вот булочка.

— Без начинки, — согласился Федор Иванович. — Но сколько их в булочной...

— Но добровольцы-то каковы! Как рванулись топтать! А глаза видел? Загадка века.

— Загадка веков, — сказал Федор Иванович. — Загадка всей человеческой популяции.

— Все же мир до конца не познаваем, — вдруг сказал Цвях. — Знаешь, я сейчас беседовал с одним из этих добровольцев. Молодой. Пока о вейсманизме шло — таращился. Потом я спрашиваю: «У вас, наверно, есть мама?» — «А как же!» — и уже мягкий. «И вы ее любите?» — «Кто же не любит свою мать?» — «Как тебя зовут, сынок?» — «Слава», — и вытер лоб, смотрит на меня ясными, добрыми такими глазами. Совсем другая система! Правда, в его взгляде проглядывался такой жучок... Он почувствовал, что я неспроста интересуюсь. В общем, загадочка!

Они помолчали некоторое время.

— И я спрашиваю себя, — продолжал Цвях. — В джунглях Амазонки висит на лиане вниз головой такое странное существо с зеленой шерстью, с круглыми глазами. О чем оно думает? Как? О чем думает собака? О чем и как думал головастый дурачок Гоша у нас в деревне? О чем думает этот доброволец? О чем в действительности, для себя, думает Варичев? Наверняка же не о том, что говорит! Нет, никогда не узнать. Башка раскалывается! Вот я — кто я такой? Наверно, прав Стригалев — обыкновенный я крестьянин. Причинные связи, последовательность фактов запомнил и делаю все, как эта связь велит. Посадил зерно — смотрю, рас-

тет. Лезет, понимаешь... Но они — если знают столько, сколько я, куда они суются? Почему так орут? Я, например, очень серьезно слушал этих... Хорошо ведь аргументируют. А те не понимают! А, Федя? Я тебе честно признаюсь, хочешь? Я до этого дня никогда не слышал их аргументов. Только наши... Думаю послезавтра удрать отсюда к чертям. Вернусь к своим яблоням, это дело мне знакомое, простое, проще их вопросов. Дело свое мы тут сделали, а наблюдать со связанными руками всю их заваруху нет сил. Прав, прав ты был, когда у Тумановой... Добро это страдание. Сидел я в этом президиуме и чувствовал: становлюсь все добрее. Еще немного, и заеду кому-нибудь по роже. Давай, Федя, послезавтра утречком на поезд, а?

«Вот! — подумал Федор Иванович. — Это и есть выход. Уеду!»

С грустью, но решительно он простился со своей мечтой. И даже замедлил шаг от внезапной слабости. Глубоко вздохнул.

— Ты что, Федя? Чего охаешь?

— Да так...

— Не переживай. Я сам тогда чуть не подпрыгнул, когда ты... От восхищения. Это же само собой получается — радость по поводу своей проницательности. На научный восторг похоже, когда откроешь явление. Тут человек делается как полоумный. Ты же себя сам и остановил. Я все видел — ты опомнился. Вот только чуть поздновато. Не нами сказано: слово не воробей...

Федор Иванович молчал. Усиленно дымил папиросой.

— С этой биологической наукой сегодня все стали следователями, — ворчал Цвях. — Смотрят друг на друга, норовят с хвоста зайти. Конечно, в таких условиях держи ухо востро. Брякнешь что не так — и нет человека.

Сами того не замечая, они постепенно нагоняли шеренгу студенток. Девушки спорили о чем-то, то и дело останавливались, бросали растопыренные пальцы одна другой в лицо. Когда Федор Иванович и Цвях подошли к ним вплотную, студентки опять остановились. «Гнать, гнать его надо из комсомола!» — услышал Федор Иванович одно и то же, несколько раз повторяемое на разные голоса. С клюющими движениями головой.

— Кого это вы так, девушки? — Цвях, широко улыбаясь, остановился перед ними.

— Вы были на собрании? — спросила одна, и из мрака выступила ее юная красота, одухотворенная спором.

— Оттуда идем...

— Значит, слышали все! — наперебой сердито защебетали они. — А как же! Он же вейсманист-морганист! Вчера мы с ним поспорили...

— Это что, ваш товарищ?

— Сашка Жуков? Какой он товарищ! Товарищ!.. У Стригалева днем и ночью торчал. Все знал и молчал...

— А-а... — вдруг прокаркал в темноте некий узенький человечек, подошедший сзади. — Тогда правильно! Мало ему, дрянь такая! Исключить его! Посадить! Расстрелять! — удаляясь, каркал он с тончайшей издевкой.

— Вот видите! — сказал Цвях, постепенно переходя к нотации. — Вот так необдуманно покричите на улице и получится как донос. Глядишь, и из института человека исключат...

— И правильно сделают! — крикнула красивая и поджала губы. — Мы с ним не разговариваем!

Почти бегом Федор Иванович и Цвях бросились от них наутек.

— Ну цыплятки! — крякал и качал головой Цвях. — Совсем как у тети Поли! Клюют...

— Я их не могу осуждать, — негромко сказал Федор Иванович. — Сам в детстве клевал...

— Да, ты прав, прав. Юность — страшная вещь. Даже когда за правое дело бросается в огонь, она и тут бывает страшна, потому как не понимает же, не понимает ни черта! А рука уже тяжелая, как у большого. Я-то был тогда совсем ведь молодым, когда на крест веревку...

Они надолго замолчали. Потом Цвях развел руки, словно обнимал надвигающуюся ночь, и глубоко втянул в себя воздух.

— Прямо на глазах потемнело. А чувствуешь, Федя, какой воздух? Ночь любви! Погуляем напоследок?

Федор Иванович послушно подчинился, и они свернули в парк.

— Брось курить в такой вечер, — сказал Цвях и, выхватив у него изо рта папиросу, бросил. — Дыши и мечтай. Знаешь, о чем? О прекрасной женщине.

Они брели между деревьями, почти впотьмах. Иногда мимо них в теплом мраке скользили, неслышно уклоиялись в сторону темные человеческие фигуры, сгустки тайиы, все по двое — одна тень высокая, другая поииже. И Федор Иваиович каждый раз угрюмо всматривался в них, прислушивался к тихим голосам.

Утром в субботу оии, разбросав на койках свои вещи, складывали их в чемоданы.

— Никак вчерашний денек из головы не идет, — говорил Василий Степанович. — Я так думаю, Федя, у всех, кто там был вчера, проснулось это самое... Помнишь, говорил я тебе про спящую почку. Про героев и подлецов. По-моему, у всех.

— И в вас?

— Шевелится, Федя. Так что едем в самое время. Подальше от соблазна.

Федор Иванович вспомнил о своем неокончеином эксперимеите. Пробирка с десятью мушками и мутнорозовым киселем иа дие по-прежнему стояла на подоконнике в стакане, спрятанная от постороннего глаза. У мушек кипела жизнь. На граинце с кнселем у самого диа уже были приклеены к стеклу словно бы комочки маииой крупы — яйца мушек.

— Выпустить надо их... — проговорил задумчиво Федор Иванович.

— Зачем было тогда огород городить? — сказал Цвях сзади него. — Ты сам говорил — ясность надо виосить. Возьмем с собой в Москву. Если тебе не интересно — я возьму.

После завтрака, выйдя из столовой, они разошлись. Цвях отправился в ректорат — отмечать командировочные удостовереиия, а Федор Иванович, полиый надежд, как охотинк, углубился в парк, прошелся к учхозу. Но того, о ком ои думал, встретить в парке иа пути к корпусам ие удалось. И в учхозе в этот день не было практикумов. В иистнтуте шли заиятия, понятное дело, все были там, в аудиториях.

В два часа дня они, пообедав, завалилнсь на койки. Федор Иванович лег, чтобы наедине с самнм собой потосковать, но замечательно заснул и проспал часов до пяти. Просиувшись и сев иа койке, он покачал головой, удивляясь самому себе. Потом вскочил и отправился к

Борису Николаевичу Пораю — попрощаться. Дорога к дядику Борику шла сначала парком, потом полем, затем, перейдя по мосту через ручей, он оказался на знакомой улице, дошел до первой площади и некоторое время постоял под аркой большого дома — как раз под балконом поэта Кондакова, под его спасательным кругом. Он внимательно осмотрел знакомое семиэтажное здание, но окон Елены Владимировны так и не нашел.

Дядик Борик жил в стороне от новой, застроенной серыми кирпичными домами улицы. В его переулочке были сплошь деревянные оштукатуренные домики с мезонинчиками — сплошная старина, царские времена. Федор Иванович прошел через двор, взошел по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и позвонил у высокой старинной двери. Открыла маленькая желтолицая жена Порая. Она сразу узнала Федора Ивановича и пропела:

— Давненько, давненько! А у нашего дядика Борика сегодня опять день механизатора. Борис! — с досадой крикнула в глубь квартиры. — Ничего не слышит. Проснись, к тебе гости! Учитель пришел!

— Я попрощаться... — сказал Федор Иванович, проходя в большую комнату с двумя сосновыми стойками в центре, подпирающими потолок. По сторонам громоздилась всевозможная старинная мебель, а между стойками во главе длинного стола в старинном кресле с «ушами» восседал дядик Борик — поставив локти на стол, подперев обеими руками голову, запустив два пальца в рот и закусив их деснами — в позе глубочайшего раздумья. Тяжелые веки были опущены на глаза, жирные нечесаные пряди свалились на лоб. Перед ним стояла сковорода, на ней было несколько котлет и вилка с надетым куском. На две трети отпитая бутылка водки и граненый стакан с остатками на дне выдавали весь смысл «дня механизатора», и без того давно знакомый Федору Ивановичу.

— Проснись, кандидат наук! — женщина сильно потрясла его за плечо. — Пришли к тебе! Федор Иванович, Учитель пришел!

— Цыц! — чуть шевельнул он толстыми губами. Углубившись в себя, он дышал с нутряным озабоченным сопеньем. Потом веки медленно поднялись. Он поднес руку к бутылке, приглашающе ткнул пальцем. Осмысленный взор с лукавым вопросом остановился на госте.

— Нет, нет, я не буду, — поспешно сказал Федор Иванович.

— Не все такие, как ты, — подхватила женщина.

— Цыц!.. Переевшая мне мозги... — ползучим голосом пробормотал дядик Борик, перемежая слова сопеньем. — Это я вместо энергичного термина. Хорошего термина, который ей не нравится, — он усмехнулся. — Да, Учитель, у дядика Борика сегодня... Сегодня у него день механизатора. Досрочный. Если вы хотите разделить...

— Спасибо, дядик Борик, спасибо... Почему досрочный?

— Есть причина... Приходите дня через три. Сейчас я беседую с вечностью. Вам, трезвому, в нашем обществе места нет. Приходите, дядик Борик хотел вам что-то... Запамятовал...

— Я же уезжаю.

— В Москву? Ну что ж, с богом... Счастливого пути. Приезжайте...

И веки тяжело опустились.

Идя назад, Федор Иванович все же посматривал по сторонам, что-то, тихонько догорая, все еще напоминало о себе туповатой болью. В комнату приезжающих он вступил с очистившейся душой, перешедшей на новый путь. Да, эта поездка была для него серьезным испытанием, научила многому, произвела хорошенький массаж.

Цвях ждал его, сидя на своей койке.

— Касьян сейчас звонил. Придется мне одному ехать в Москву.

— Что такое?

— Тебе велит оставаться. Я ему за тебя ответил, что ты как раз об этом думал...

— Меня бы следовало спросить, — сказал Федор Иванович угрюмо. — Я уеду вместе с вами. Что смотрите? Уеду, уеду...

— Не уедешь, Федя. Тут, знаешь, сейчас что начнется? Не уедешь. Остаешься на месяц исполняющим обязанности, осторожненько поможешь кому-нибудь. Ретивых маленько придержишь. Надо, надо остаться, я дал ему твое согласие. А то ведь Саула пошлет... Они здесь очень будут рады...

— Ну как же вы все-таки! — Федор Иванович сел — прямо рухнул на свою койку, хлопнул рукой по колену.

И сейчас же почувствовал, что все эти движения фальшивы. Замер на койке, прислушиваясь к самому себе, улавливая отдаленный голос. Этот голос уже не раз подталкивал его к какому-то решению. В переводе на человеческую речь это звучало примерно так: неужели ты мог бы удрать оттуда, где по твоей вине обрушилась чья-то судьба? Ведь если бы ты не развернул все свои перья, красуясь перед Еленой Владимировной, не разошелся вовсю там, в оранжерее, все могло бы быть иначе. И этот Стригалев — он ведь прямо копия того геолога, искавшего никель...

— Он еще сегодня позвонит, — сказал Цвях.

Телефон зазвонил, когда в комнате совсем стемнело — было видно только синее окно. Федор Иванович снял трубку и сразу услышал веселое гусиное гагаканье академика Рядно.

— Я тебе почему звоню. Ну, во-первых, сынок, я доволен твоей работой. Ты выполнил сложное и ответственное задание. Справился. Проявил такт, правильно зацепил и наших. Так им, дуракам. Объективность прежде всего! И этого, Троллейбуса, вывел на чистую воду — это ж у них фельдмаршал был! И сам в стороне остался — чтоб не думали, что академику Рядно нужны жертвы. Я ж знал, кого послать! Саул на такие тонкости не способен. В общем, ставлю тебе пять, сынок. Пять с плюсом. И Варичев доволен. Теперь слушай во-вторых. Понимаешь, начатое дело нужно доводить до конца. То, что сделано — это только начало. Ты, конечно, и здесь мне вот так нужен, с твоим талантом, — он умолк на время. — Однако и там... Нужно еще насаждать и укреплять. Там сейчас начнут вейсманистские талмуды жечь — не бойся, это сделают без тебя, я сказал Варичеву. С такими вещами ты не станешь мараться, я ж знаю тебя, сынок. Ты мне учебный процесс на новые рельсы переведи. Учебники, методику — все это пришлют. Я прослежу. И проблемную лабораторию... Там пока ничего не трогай, так все оставь. Я тут для тебя новую проблему готовлю. На старом сусле, но с новыми дрожжами. Пока этого хватит. Идейка будет — упадешь, как узнаешь. Но это — после поговорим...

— Яас-сно, — сказал Федор Иванович.

— Энтузиазма не чую, Федя...

— Какой тут энтузиазм, когда кругом...

— Борьба идей, сынок. Закаляйся.

VI

Рано утром в воскресенье за окном раздался сигнал институтского автобуса. Федор Иванович подхватил чемодан своего товарища и вслед за Цвяхом вышел на крыльцо.

— Ну, — бодренько сказал Василий Степанович. — Втравил я тебя в это дело, теперь держись.

Крепко пожали друг другу руки, и Цвях укатил.

И остался Федор Иванович один. Воскресенье тянулось очень медленно. Вдобавок еще начал накрапывать, а потом и всерьез разошелся мелкий осенний дождь. Федор Иванович почти весь день пролежал на своей койке, глядя в старинный сводчатый потолок.

В понедельник с утра он был в ректорате. Там секретарша Раечка дала ему прочитать приказ, где значилось, что кандидат биологических наук Дежкин Федор Иванович «сего числа и до особого распоряжения» назначается исполняющим обязанности заведующего кафедрой генетики и селекции с одновременным исполнением обязанностей заведующего проблемной лабораторией. Поставив под этим приказом простенькую подпись, Федор Иванович ушел в «свой» корпус.

Все преподаватели уже сидели в той комнате, что была рядом с кабинетом заведующего кафедрой. Ходеряхин тонко и грустно улыбался, Краснов вежливо глядел в пол. Анна Богумиловна издала веселый рык:

— Вот и наш зав!

Здесь же сидел за столом и профессор Хейфец. Встав, он тронул Федора Ивановича за локоть и тихо, почтительно попросил:

— Вы позволите мне взять портреты?

— Пожалуйста, — так же тихо ответил Федор Иванович. — Я еще не принимал у вас кафедру.

— А что там принимать... — старик посмотрел с древней, библейской тоской. И Федор Иванович ответно коснулся его руки.

— Пожалуйста, берите все, что вам надо. И я бы хотел, чтобы вы не навсегда...

— Что будем делать с иконостасом? — громко гаркнула Побияхо. — Может, отнесем эти портреты на хоздвор?

— А что на хоздворе?

— Федор Иванович, вы еще не знаете? — Тихонько

прогудел около него Хейфец. — Там уже с семи утра костер... Жгут книги. Пожилая бездарь и молодая глупость жгут классические учебники.

— Портреты отдадим Натану Михайловичу, — сказал отчетливо Федор Иванович.

— Портрет академика Лысенко надо заменить, — заметила Побияхо.

— Что толку? — сказал ей с улыбкой Хейфец.

— Замену поручим вам, Анна Богумиловна, — Федор Иванович устремил на нее мягкий непроницаемый взгляд.

— А мне что делать? — подал голос Стригалев. Он тоже был здесь, сидел в углу.

— Как, что? Я вижу, вы в пиджаке и с галстуком. У вас сегодня, по-моему, лекция. Значит, вам идти в зал.

Тут он заметил Елену Владимировну. Все это время она пристально смотрела на него, но он был занят разговором с другими. Теперь заметил и на миг остановил на ней свой мягкий прохладный тициановский взгляд, который можно было прочитать примерно так: «Надеюсь, мы покончили, наконец, со всеми боевыми заданиями. Слава богу. Теперь на основании приказа ректора мы можем перейти к спокойным деловым отношениям».

— Я считаю, что все должно идти, как шло, — сказал он. — Правда, с некоторыми поправками, смысл которых, я полагаю, всем ясен.

Что-то вздрогнуло в нем, и больше он на Елену Владимировну не смотрел. Он знал, что недостатков у него хоть отбавляй — он и неказист, и рост маловат, и слишком открыт, и наивен, и хорошо умеет попадать впросак, а она вон какая — ее совсем не видно. Нет, хватит! И он захлопнул все ставни.

Она, конечно, все это прочитала, похолодела и, гневно сведя честные четкие брови, стала смотреть в окно.

Стригалев поднялся, взял свою тоненькую кожаную папку и вышел. Комната постепенно пустела. Федор Иванович тронул кофту профессора Хейфеца.

— Натан Михайлович, пойдемте, я помогу вам снимать портреты.

Старик, посапывая, послушно поплелся за ним. В кабинете Федор Иванович поставил под портрет Менделя стол, сняв с него спиртовку, на которой неделю

назад Леночка варила кофе. На столе утвердил стул — и вот портрет уже стоит на полу, и поникший Натан Михайлович рукавом кофты стирает паутину с тяжелой дубовой рамы.

Когда был снят со своего места Морган, послышался неуверенный стук, дверь кабинета приоткрылась и показался хмурый Стригалев.

— Вы не пошли? — Федор Иванович спрыгнул со стола.

— А вы посмотрите, что там делается...

Федор Иванович не стал ничего спрашивать. Похлопал в ладоши, отряхивая пыль, и, не оглядываясь, устремился в коридор быстрым, строгим шагом.

Обе половинки дверей Малой лекционной аудитории были распахнуты. На скамьях, амфитеатром уходящих к потолку, группы студентов замерли, и было видно, что появление строгого и решительного нового зава кафедрой прервало горячие споры. Все повернули головы к входу. Самая большая группа собралась внизу, на помосте, где была кафедра и стол для демонстрации экспериментов. Здесь же стояла Анжела Шамкова. Ее белый палец с бледным ногтем как бы писал нервные завитушки на листе бумаги, лежавшем на столе.

Федор Иванович подошел.

— Нет, ты подпишешь, — говорила Шамкова сильно покрасневшему молоденькому студенту. — Лекции он читал неинтересные. И мичуринское учение у него получалось с подкладочкой, с обманом. Он же вейсманист-морганист! Его все равно уже...

Студент с ужасом оглянулся, увидел Федора Ивановича и еще больше покраснел.

— Что здесь? — громко спросил Федор Иванович, чтоб спасти беднягу от наседавшей на него Шамковой. Взял со стола листок. Студент сразу же, показав товарищам круглые повеселевшие глаза, шагнул в сторону.

— Мы, студенты факультета генетики и селекции растений, просим ректорат избавить нас, — чеканя каждое слово, громко прочитал Федор Иванович, становясь непроницаемым. — ...Избавить нас от обязательного слушания лекций И. И. Стригалева, который, как выяснилось...

На лицо Федора Ивановича легла жесткая тень официальности, губы стали тоньше.

— Почему я ничего не знаю об этом? Анжела Даниловна! Я все-таки здесь...
— Это согласовано, Федор Иванович...
— Вы же сами сказали — его все равно... И притом, уже. Зачем же еще этот дополнительный... ритуал?
— Федор Иванович! — Шамкова вздохнула с досадой. — Это письмо обсуждено парткомом и комсомольской организацией. Будет завтра напечатано в нашей...
— Д-да? Тогда конечно. Хотя, в общем, странно. Ну, и как дело идет?
— Есть не подписавшие. Некогда было провести работу...
— Ну-ка, что тут... Ого, собрали все-таки! По-моему, человек тридцать есть. А говорите, некогда. А это что? Анжела Даниловна! — Он остановился, посмотрел на нее с удивлением. — Что же это вы, вожак, и не подписались под этим историческим документом? А? Страшно? Напечатают в газете?..
Шамкова начала розоветь, опустила глаза.
— Любопытно... — он понизил голос. — Испугались? Знаете, как Библия определяет фарисеев? Возлагают на людей бремена тяжелые и неудобоносимые... Сами же пальцем не двинут...
Шамкова вспыхнула, оглянулась на студентов.
— Я же не... Я все-таки в аспирантуре...
— Вы прежде всего тот, кто зовет. Кто, как вы говорите, проводит работу.
Она с нетерпеливой досадой, громко вздохнув, схватила ручку.
— Впереди, впереди, — сказал Федор Иванович, холодно глядя на нее. — Впереди всех. Вот так. Теперь вы получили право проводить... вашу работу.
Окинув ее быстрым взглядом, Федор Иванович повернулся и вышел.
В глубине коридора, ближе к кабинету кафедры, ждал его Стригалев, прислонившись к стене.
— Да, вам, Иван Ильич, лучше туда не идти. Дело гиблое. Отцы и дети...
Стригалев чего-то ждал. Он смотрел и как бы протягивал руки — ждал помощи.
— Дверью не вздумайте хлопнуть, — сказал ему Федор Иванович. — Вы попали под бой. Отчасти и по моей, Иван Ильич, вине. Я постараюсь свою долю вам возместить.

«Это большая доля, и я все возмещу», — хотел он еще сказать, но вовремя одернул себя, смолчал. Такие вещи не говорят. Просто возмещают.

— Вам сейчас нельзя делать ошибок. Эмоций не нужно. Хорошенько обдумывайте каждый шаг, всю линию.

— Линия давно обдумана — угрожающе, но и доверительно пробубнил Стригалев. Морщась, он потянул за шнурок, достал из-за пазухи белую бутылочку. — Линия единственная. — Он отхлебнул. — И я думаю, что меня хватит...

— Что это у вас?..

— Сливки. У меня же язва...

— Ах, вот что...

— Затесалась, черт ее... — Стригалев улыбнулся, блеснув стальными зубами.

Они постояли молча. Федор Иванович жал ему руку, задерживал, не хотел выпускать. И Стригалев не отнимал руки, как будто хватался за последний шанс.

«Иван Ильич! — так и рвалась из Федора Ивановича горячая клятва, и он удерживал ее. Я возмещу. Не как смогу, а как должно!..»

Как быстро делаются некоторые дела! Через два дня утром до начала занятий во всех залах, кабинетах и лабораториях читали свежую маленькую газетку — многотиражку института. «Сорную траву с поля вон!» — прочитал Федор Иванович на второй странице крупный заголовок. Это было то самое, позавчерашнее. И подпись Шамковой стояла на первом месте... «А-а, мерзость, все-таки побоялась вымарать себя из списка», — удовлетворенно подумал Федор Иванович.

В то же утро, зайдя в ректорат, он перелистал лежавшую на столе секретарши книжечку. Это был еще один приказ министра Кафтанова. Книжка действительно была похожа на железнодорожное расписание. «Хейфеца Натана Михайловича», — прочитал он на последней странице. Перевернул несколько страниц назад и увидел: «Стригалева Ивана Ильича». Задумался, медленно краснея. «Неужели каждому, кто в этих списках, устраивали такой римский театр?» Тут же, взяв себя в руки, спросил:

— Когда это поступило?

— Из Москвы? Еще в четверг, по-моему, — спокойно, мимоходом бросила Раечка, занимаясь своими бумагами. — А от Петра Леонидовича сегодня утром.

— Значит, приказ был у него?

Секретарша пожала плечами.

«Задержал!» — он все же выстоял необходимые секунды показного равнодушия. Не ахнул, только опущенные веки дрогнули. Никак он не мог привыкнуть к таким открытиям. Молча положил приказ и вышел. «Четыре дня держал! Специально! — он качал головой, бредя по коридору. — Чтоб через массы провести! Чтоб они, а не Касьян... Касьяну это понравится...»

В полдень в кабинет заведующего кафедрой — теперь временный кабинет Федора Ивановича — вошел, постучавшись, уже знакомый высокий и жирноватый атлет со спортивной гибкостью в талии. Федор Иванович поднял на него от своих бумаг внимательные глаза. У этого Краснова были маленькие, как у античного борца, губки — твердым цветочком, лицо широкое, с желваками и жировыми шишечками. Ему следовало по замыслу природы быть тощим, поэтому нос его остался тонким и извилисто-остроконечным, а тонкие, почти бумажные уши были окружены припухлостью, сидели как в воронках. Лоб был маленький и сухой, в светлых волнистых волосах сильно просвечивала розовость будущей лысины. По правильности волн, косо набегающих одна за другой, Федор Иванович заподозрил завивку.

— Разрешите? — сказал Краснов и, придвинув стул, сел перед Федором Ивановичем. На груди его четырехкарманной куртки из мягкого синего вельвета был приколот альпинистский значок: снежная вершина Эльбруса на фоне голубого неба, а на переднем плане — ледоруб. Разведя широкие плечи, он полез в нагрудный карман и один за другим выложил на стол шесть маленьких бумажных пакетов. И замолчал загадочно, тиская в руке теннисный мяч.

— Что это? — спросил Федор Иванович, наблюдая этого человека. Отдаленный голос высылал из глубины предупреждающий гуман, тихие наплывы неприязни.

— Семена, — Краснов уставил на него голубоватые девичьи глаза. — Стригалев в ящике оставил. Его полиплоиды.

— На что они нам?

— Все-таки выбрать можно что-то. Погибнет ведь материал.

— Так уродцы же. Воображаемые ценности. А бить только для того, чтоб ударить...

— Уродцы-то уродцы, — сказал Краснов и замялся. — Но я бы высеял. Что-то вырастет. Вон Богумиловна высеяла после облучения гамма-лучами... Наверняка будет сильно расшатанная основа... Если подвергнуть воспитанию, отобрать... Они, вейсманисты, сами могут не понимать...

Он подбрасывал маскировочку, хорошо подготовился. «Сказал бы: украдем, используем на паях», — подумал Федор Иванович, любуясь Красновым. И Краснов улыбнулся, приняв его кривую улыбку за признак взаимного понимания.

— Украдем? — Федор Иванович улыбнулся шире. Краснов потупился. — А если автор придет требовать?

— Если б было нужно, не разбрасывал бы по ящикам.

— Но мы не знаем, что это! Здесь какие-то цифры, буквы...

— Федор Иванович! Для чего работаем? Для цифр и букв? Для конечного ведь результата работаем! Оно само покажет. Если что есть.

— Л-ладно... — Федор Иванович смахнул все пакеты в ящик стола. — Я посмотрю.

И не отрывал взгляда от жировых подушечек, от значка. Из темного омута, который Варичев назвал коллективом, вынырнула еще одна сложная и опасная сущность...

— У меня в юности был хороший друг, добрейшая душа, — сказал Федор Иванович, глядя в ящик стола, шевеля пальцами пакеты. — Мы с ним всегда понимали друг друга. Бывало скажешь: слушай, Бревешков... А он уже знает, что я ему хочу...

По ту сторону стола все замерло. «Не поднимай глаз!» — закричал кто-то в душе Федора Ивановича. И, как в сказке Гоголя, он не устоял против нечистой силы, медленно поднял глаза, и ложка смертельного холода влилась в его душу из направленных на него нежных девичьих глаз Краснова. Но такие вещи не способны были умертвить Федора Ивановича. Металл в нем затвердел, было мгновение, когда Краснов получил ответную стрелу, это уже была вторая.

— Скажите, вас знакомили с личными делами ваших будущих сотрудников? — спросил очень спокойно альпинист.

— Нет, с такими вещами меня еще не знакомили. Я ведь временно исполняю... — Тут Федор Иванович улыбнулся и, уйдя в прошлое, размякнув, покачал головой.— Хороший был товарищ. Гена Бревешков...

— Говорите, Гена?

— А что, вы его знали?

— Знал одного Бревешкова. Только с другим именем.

Краснов, видимо, почувствовал облегчение. Поднялся, в нерешительности покусывал губку.

— Посмотрите, Федор Иванович. Высеем в ящики. Может, что-нибудь...

И так же нерешительно, неопределенно вышел и прикрыл дверь.

«Хорошо действует», — подумал Федор Иванович. Он сейчас проверял действие своего *ключа.* Он давно уже знал, что зло в человеке осознает себя. «Тяжело так жить, осознавая, — подумал он. — Все время приходится гримасничать, подбирать выражение лица».

Он посидел некоторое время в одиночестве, двигая русой бровью, размышляя. «Нет, это существует! — подумал он, уже в который раз получив подтверждение. — Существует! Какая-то сила, от которой, видимо, никогда не избавиться тому, кем она овладела... Ну как, каким образом сделать этого Бревешкова добрым, чтобы не зарился на чужое, даже уступал свое? Нет, не сделать никому... Можно только связать, запереть в клетку. Или припугнуть... И отлично ведь знает, что плохо, а что хорошо. Чем замаскировался — конечно, добрым намерением! „Погибнет материал, спасать надо!", „Для конечного результата работаем!" Нет, существует это самое. Что-то».

В коридоре уже с минуту кто-то странно натужно пыхтел. Послышался оскорбленный, профессорский голос Вонлярлярского:

— Это самоуправство! — выкрикнул он надтреснутым козлетоном. — Все равно, хоть и нет инвентаризационного значка... И вы не смеете, я все равно не отдам! — и он опять запыхтел.

Федор Иванович вылетел за дверь. Посреди коридора сцепились Вонлярлярский и Елена Владимировна, что-то дергали, тащили друг у друга из рук. Вспотев-

ший Стефан Игнатьевич в белой сорочке, заправленной в кремовые брюки, и с бантиком на шее, крепко обнимал обеими руками черный прибор, похожий на пишущую машинку. Между его жилистыми и цепкими, желтыми с синевой руками скользили белые девичьи руки. Елена Владимировна решительно встряхивала старика, таскала его по коридору, отнимая у него прибор. Вокруг них бегала, вскидывая руки, но не решаясь налететь, Вонлярлярская.

— Ого! — смеясь, воскликнул Федор Иванович. — Помощь подоспела вовремя!

Все остановились. Каждый был уверен, что помощь пришла к нему.

— Этот микротом — Ивана Ильича! — сказала Елена Владимировна, переводя дыхание. — Они хотят забрать...

— Микроскопы и микротомы — имущество цитологической лаборатории! — Вонлярлярский выкатил глаза.

— Он сам его собрал, из деталей... Хотел унести домой... Просил... Это нечестно, Стефан Игнатьевич, человека и так...

— Зря, совершенно зря, Елена Владимировна, связываетесь с таким делом. Это же государственное имущество! Не понимаю, как вы собирались его выносить? Тайком? В такие дни...

— Никакого обмана, — наливаясь угрозой, забухала низким голосом Вонлярлярская. — Ни прямого, ни косвенного никогда и ни при каких обстоятельствах я не совершала и не позволю при мне... — и гордо отошла боком.

— Я, во всяком случае, патриот института. И к такому делу не прикоснусь даже в форме уступки вам...

Оба супруга поглядывали на Федора Ивановича. Они таким способом доносили ему на Елену Владимировну.

— Я вас не понял, — сказал Федор Иванович. И пока оба супруга мялись, набирая разгон для более точного доноса, он добавил: — Стефан Игнатьевич! Ведь вы сами, когда бежали с супругой по парку — помните? — и когда я вас догнал, как раз говорили об этом микротоме. Что вы говорили? Что он списанный, подобран на свалке, что Иван Ильич заказывал точить винт в Москве.

Вонлярлярские посмотрели друг на друга.

— Ну? Ведь было это? Словом, я ничего не вижу, не слышу и не говорю. А микротом вы с Еленой Владимировной отнесите ко мне в кабннет. Я сам посмотрю и решу...

— Пусть несет сама. Она вон какая. Коня на ходу остановит...

— Дайте, тогда я сам. — И Федор Иванович, отобрав у них тяжелый микротом, смеясь и качая головой, понес его себе.

Елена Владимировна вошла за ним следом. Федор Иванович, поставив прибор на столе, подвнгал кареткой, покрутил винт и поднял на нее глаза.

— Федор Иванович, это микротом Иваиа Ильича...

— Я знаю, — ответил он.

— Вы позволите вынестн? Надо как-то пропуск...

— Никаких пропусков, я вынесу сам — Федор Ивановнч сказал это негромко. — Принесите мне сумку или большой портфель. Вечером вы подойдете к этому окну. Тут клумба... И я вам подам. А потом выйду. И отнесем хозяину.

— А эти, незапятнанные? Онн же шум поднимут...

— О чем? Какой может быть шум о том, чего не было? Ведь вещь ннгде не значится!

И опять пришел теплый душистый вечер. К концу дня Елена Владимнровна принесла чей-то огромный брезентовый портфель с кожанымн кантами, и Федор Иванович уложил в него прибор. Когда стемнело, он уселся у окна, не зажнгая света. В открытое окно тянуло иочной, чуть пересушенной ароматной прохладой парка. Вдали скользили какие-то тенн, исчезали в наплывающей тьме.

— Прнзадумались?.. — раздался около него тихнй низкий голос Елены Владнмнровны. Она была у самого подоконника, как мальчишка, вскарабкалась на цоколь. Федор Иванович передал ей портфель н бесшумным гибким шагом заговорщика выскользнул на улицу, обежал вокруг корпуса.

Ее светло-серая теиь ждала в сторонке. Елена Владнмировна была в своем халатике. Федор Иванович взял у нее портфель, и они молча быстро зашагалн к парку. Когда окунулнсь в черный дым ночи, уже окутавшей парк, Елена Владимировна взяла его под руку.

— Можно? Это я чтоб вы не потерялись. Не страшно вам?

— А почему должно быть...

— Вы разве не чувствуете, что на всех налетела какая-то...

— Ну, не на всех же она налетела.

— На хоздворе все еще жгут... Кто сжигает, все как-то молчат. Хейфец сказал: пламя того самого химического состава, что и пятьсот лет назад...

— Значит, не совсем того состава, раз не пляшут, а молчат.

— Федор Иванович, знаете, что скажу? Вы слишком афишируете свое отношение... Свою объективность. Вы — наш последний шанс. Вас нам надо беречь. Все и так уже знают, что одежды у вас белые. Их надо иногда в шкаф...

— В шкаф никак нельзя.

— Так накиньте сверху что-нибудь.

— По вашей завиральной теории?

— Ага...

— А не боитесь, что, когда придет время снять это что-нибудь, белых одежд там и не будет.

— В отношении вас не боюсь. Ведь вы же сами говорили нам про добро. И про зло. Вы сами сказали, что это качество намерений. А Вонлярлярский выразился: без-вари-антно. А вы еще добавили: его нельзя ни привить, ни отнять.

— Я тогда не все еще сказал, Елена Владимировна. Качество намерений — оно то возникнет, то пропадет. Оно только когда возникают намерения. А самое первое, постоянное — такая в некоторых сидит сила. Только нельзя путать: это не гнев вспыльчивого, нервного человека. Вон наша тетя Поля, уборщица. Знаете, что сказала? Говорит, если кошка к тебе в кастрюлю забралась, и ты бьешь ее со сладостью, не можешь ты быть ни начальником, ни судьей. Но это — нервы, болезнь, это еще не зло. Зло кошку не бьет, а спокойно ее в мешок... Мы его можем чувствовать в себе, у кого есть. У кого его достаточно много. А вот понять, дать определение — никак не ухватишь. В нас много чего есть, чего сами не видим. А зло чувствуется, Елена Владимировна...

— Надо будет прислушаться...

Они пошли медленнее.

— Я вам помогу прислушаться. Вообразите такое: в печати появляется сенсационная статья. Ученые разных стран, не сговариваясь, открыли, что самая страшная болезнь века... Скажем, рак... возбуждается в человеке разрушительными эмоциями определенного толка. Эмоциями зла, умыслами причинить кому-нибудь страдание, отравить жизнь, подсидеть, обобрать... Вот Вонлярлярские, они ведь тихонько хотели обобрать Ивана Ильича. Небось, и обсудили все заранее между собой.

— Они давно на этот микротом посматривали...

— В общем, эти эмоции существуют, видимо, у всех. Но у одних чуть-чуть, и человек, осознав, краснеет. А у других определяют лицо, личность. Вот и представьте себе, что появилась такая статья, и по этой статье рак — регулирующая мера со стороны природы. Против угрожающего роста влияния тихих людей зла. Особенно сейчас, когда с религиями покончено. Почему, пишет эта — воображаемая — статья, почему совпадает рост заболеваний раком с убылью религий? Религии удерживали нас — страхом наказания. А сейчас, мол, другой фактор включился. Кто гибнет от рака? — задались ученые. И статистика показала: люди зла. Я не утверждаю, это я такой заход построил. Чтоб удобнее было, как вы говорите, прислушиваться к себе. Допустим, такая появилась статья, и факты ее, имена подписавших ученых — заставляют задуматься. Вопрос уже к вам. Как вы думаете, Елена Владимировна, прочитав это, не станут те, кто хочет жить, ловить себя на дурных, злых намерениях, подавлять их в себе — и притом без промаха? Не случайный гнев, не раздражение от усталости, а настоящую силу зла в себе начнут давить! И будут устанавливать в себе эту напасть с величайшей точностью! Без всякой аппаратуры!

— Я иногда чувствую что-то похожее, — сказала Елена Владимировна задумчиво. — Впрочем, чувствую или нет? В общем, чужого микротома я не желала никогда. Уж вам-то призналась бы. Нет, не желала. А если я что-нибудь по своей завиральной теории... Я не чувствую ничего, кроме веселья, что мне удалось надуть злого человека. Но вы правы, Вонлярлярские метили на микротом. И им не было жаль Ивана Ильича...

— Я так много над этим думал, что мне хочется иной раз сесть и написать книгу. Я назвал бы ее —

«Очки для близорукого добра». Есть у Соловьева «Оправдание добра». Но я не понимаю этого заголовка. Добро в оправдании не нуждается. Его не обвиняют, а бьют, над ним издеваются, к чему оно само, правда, иногда дает повод. Вот добро гонится за злом, совершившим преступление. На пути газон с надписью: «ходить по траве воспрещено». Зло, не задумываясь, бросается через газон. А добро, даже не читая, пускается в обход: нельзя мять траву. И упускает преступника. Добро, Елена Владимировна, сегодня для многих звучит как трусость, вялость, нерешительность, подлое уклонение от обязывающих шагов. Но конечно, все далеко не так. Далеко, далеко не так. Это все — путаница, накрученная тихим злом, чтоб легче было действовать. И ее надо распутать, путаницу.

— Подождите. А если добро бросится через газон и ошибется?

— Мне лучше пострадать от ошибки доброго человека, чем от безошибочного коварства. Настоящий-то добрый осудит, а потом и маяться будет, страдать. Пересмотрит приговор пять раз.

— А вы ведь смыкаетесь с моей завиральной теорией! Хотите, расскажу, как я недавно применила ее на практике?

Парк начал светлеть, в лицо пахнуло теплым осенним полевым духом. Они вышли на простор, как в громадный, тихо и ровно гудящий цех.

— Как сверчки сегодня распелись, — сказала Елена Владимировна. — Может, это у них последняя ночь... Вы не боитесь, что это последняя ночь?

— Я вас не понимаю, — Федор Иванович прижал локтем ее руку.

— Ладно, я сейчас доскажу, мне хочется. Полгода назад я получила пакет. И в этом пакете письмо, а в нем такие важные слова. Высшая аттестационная комиссия извещает, что я лишена кандидатской степени. Ввиду ложности посылок, слабого фундамента, недостаточной разработки, шаткости базы и так далее. Через две недели еще пакет — Иван Ильич получает. И его лишают докторской степени. Такие же доводы. Оба мы получаем, каждый — в свой день рождения! Сволочи — они могут и врать и пакостить. Им все можно! И рак их не берет! Я поехала однажды в Москву и думаю — зайду-ка я в этот ВАК! Захожу. Туда, где хранятся

диссертационные дела. Две старушки эти дела хранят. Я начальственным тоном: «Дайте мне папку с таким-то делом». Старушка топ-то́п-топ, и смотрю — несет мое дело! Я сразу ищу мотив лишения: как ученица такого-то и таких-то вейсманистов-морганистов, преданных проклятию. Успела сделать выписку. Теперь, говорю, давайте дело Стригалева. Топ-топ-топ — принесли и эту папку. Только пристроилась листать, пришло начальство и меня выгнали. Так что вот... Я нарушила норму.

Они некоторое время шли молча.

— Вот мы говорили с вами... Как же не врать? — Во тьме он увидел, как блеснули ее очки — Елена Владимировна заглянула ему в лицо. — Как же не врать, Федор Иванович! Это же особого рода вранье! Я же оберегаю дело! Если откроют — они все уничтожат и примутся за людей. Я даже не чувствую, что вру...

— В вашем вранье нет кривды. Хорошее слово — кривда.

— Вы думаете, я одна так? У вас, в роде Монтекки, тоже ничего не поймешь. Два года назад — как раз у меня в плане стояло: «Полиплоидия». Еще открыто стояло... И приезжает от вас один доктор. От вашего Касьяна. Я — аспирантка у Посошкова, он мне поручил сравнение прививок и полиплоидов на картофеле. Господи, тогда еще можно было сравнивать! У меня как раз были получены первые удачные результаты с колхицином. Посошков говорит: «Покажите ваши картошки москвичу». Приходит этот доктор ко мне на участок — смотреть. Я говорю, какие растения где. Доктор: «Да, у вас интересные прививки». Я: «Это же полиплоиды, а не прививки!» Он даже повернулся к растениям спиной: «У вас легкая рука, никогда не видел такого срастания подвоя с привоем». Три раза я заикалась и три раза он повторял свое. Подруга потом мне говорит: «Какой-то прямо ненормальный!» А Посошков вечером разъяснил: «Сейчас, детка, такие времена приближаются. Он вам не доверяет». Вот оно как... Еще два года назад!

Они шли, а в стороне от тропки тянулось что-то темное, похожее на плотный забор. Тропа постепенно подводила их туда, все ближе.

— Вот сюда, — сказала Елена Владимировна и потащила Федора Ивановича к этой прогнутой над зем-

лей, дышащей теплом темноте. — Сюда идемте, здесь проход. Разрыв...

— Что это?

— Труба. Железиая труба.

— Труба, говорнте?.. — Федор Ивановнч протянул руку, коснулся теплой, покатой поверхиостн.— Труба. . — повторнл ои.

— Оии тут проводят что-то. Для воды, наверно, — тихо сказала Елеиа Владимнровиа. — Недавно привезли.

Они вошлн в шнрокий разрыв между коицами труб. Федор Иванович нащупал край. Труба была шнрокая — доставала почтн до плеч.

— Вот и железная труба... Знаете, Елена Владнмировиа, Цвях мне как-то говорнл, что многнх из нас ждет своя железиая труба. Попадешь в иее — выхода только два: вперед нли назад. Компромнссных решений иет...

Ои поставил иогу в темную пустоту, в теплый поющий туннель. Наклоиившнсь, сунул туда голову. Хотел крикнуть что-то дерзкое, но почему-то голос подвел его, сорвался.

— Эй, судьба! — негромко сказал он и ударнл кулаком по округлой стенке.

— Бу-бу-бу! — ответнл, вибрнруя, растревоженый железный хор, н хотя Федор Иваиовнч был начитаиным и ученым человеком, способиым глядеть в глаза вещам, что-то вроде страха задержало его дыхание.

— Вы очень страшио это сказали, — шепиула около иего Елена Владимировна. — Ну-ка, пустите, я тоже хочу крикнуть. — Она оказалась около него в трубе. — Подвнньтесь же, нам здесь обоим места хватит.— Она почти не прнгнбалась, даже прошла вглубь н там хихикнула.— Чувствуете, как странно я сказала? Нам обонм места хватит! Какая аллегория! Не думаете вы, что нас обонх ждет такая труба? Общая — на двонх...

— Елеиа Владимировна, мне это иногда так и кажется. Я чувствую, что обстоятельства тащат меня имеино сюда. Сам Касьян толкает. Я ведь сегодня должеи был уже четвертый деиь быть в Москве. Уже и комаиднровку отметил.

— А как же иаши мушки?

— Обсуждался вопрос. Выпустить их или взять с собой.

— И вы...

— Я предлагал выпустить. Цвях хотел увезти в Москву. Теперь вопрос снят.

— Вот видите, как вы легко... Не закончив эксперимента. Родителей-то пора удалить из пробирки. Не забыли?

— Уже удалил...

— Смотрите. У вас должно получиться менделевское — один к трем.

Они опять медленно шли в ногу по белеющей тропе. Елена Владимировна неуверенно держала его под руку.

— Вот здесь,— вдруг негромко сказала она,—здесь мы с вами расстанемся. — И засмеялась. — Идите дальше сам.

Близко, прямо перед ними желто и мирно светилось небольшое окно деревенского дома.

— Тропа приведет вас к калитке. Справа будет кнопка. Нажмите, и он вас впустит.

— А вы не боитесь идти так домой? Или еще куда...

— Нет, мне близко. И не говорите, что это я проводила вас.

— Я больше не задаю вам вопросов. Я уже привык к таким вашим... поворотам.

— Может быть, когда-нибудь и объясню... Может быть, и скоро. Может быть, и совсем никогда...— она говорила с задумчивыми паузами.— Не пришло еще время. Как вы говорите, нет достоверных и достаточных...

И Федор Иванович сквозь мрак почувствовал — она, говоря это, поворачивалась на одной ноге, писала в пространстве какие-то свои знаки. Был бы день — можно было бы прочитать.

— Объясню когда-нибудь, — сказала она, ударяя кулачком по его руке.

— Идите, больше ничего не буду спрашивать. Если что — орите погромче...

Она, смеясь, провела рукой по всей его руке — от плеча до пальцев. И исчезла.

А он, постояв, послушав ночь, сделал пять твердых шагов к желтому окну и нажал кнопку. Почти сразу над ним загорелась электрическая лампочка. Что-то деревянно стукнуло в глубине двора, послышались шаги.

— Вот кто пожаловал! — раздался за калиткой приветливый, почти радостный гудящий голос. Калитка, скрипнув, отошла.

— Я тут принес вам... — заговорил Федор Иванович, проходя во двор.— Принес вот. Отбили с Еленой Владимировной у Вонлярлярских... Микротом ваш.

Он прошел вслед за вихрастым высоким хозяином в сени, а потом и в ярко освещенную горницу. Здесь под самодельным абажуром из ватмана висела мощная лампочка почти белого каления. Под нею на столе поблескивал латунными деталями микроскоп, произведенный в прошлом веке где-нибудь в Германии. Около микроскопа в длинном ящичке зеленели края предметных стекол с препаратами, рядом лежала раскрытая тетрадка. Стригалев молча достал из портфеля свой микротом и с жадной поспешностью унес его за печь. Когда вернулся, на столе возле микроскопа его ждали шесть пакетиков с семенами, разложенные в ряд Федором Ивановичем.

— Это что еще? Тоже вы принесли?

— Один мой... соратник у вас украл. Говорит, если бы были вам нужны, вы бы не разбрасывали их по ящикам своего стола...

Стригалев поднял толстые брови, наставил ухо. Ждал объяснений.

— Говорит, у вас, вейсманистов-морганистов, все равно пропадет. А мы, может, что-нибудь и отберем.

— Для академика вашего? — сказал Стригалев и замолчал, переводя ставший диковатым взгляд с одного предмета на другой.— Знаете, что? Вы возьмите-ка эти семена... Отнесите к себе и пустите в дело. Как будто мне и не показывали.

— Не понимаю... Вы, наверно, не так поняли, что я говорил.

— Да нет, все понял. Унесите их. Чтоб этот ваш... соратник не догадался, что вы их мне. Пусть лежат в шкафу. Я знаю все про эти семена. В марте высеете. А человека мы тихонько перетащим к себе. Человек загорелся. Пусть получает свой краденый результат. Онто будет знать, как гибрид получен.

— Это же ваш...

— У меня их... — Иван Ильич махнул рукой на картотечный шкафик под стеной. — Хватит на три института. Человек дороже.

И они замолчали. Как бы вспомнив что-то, Стригалев вдруг опять уставил на гостя диковатый, отчаянно-веселый взгляд.

— Вы в микроскоп когда-нибудь смотрели?

Во взгляде Федора Ивановича появилась холодная благосклонность.

— В такой, как этот, нет.

— Давайте посмотрим в этот. У меня как раз есть хорошие препараты. Для вас специально подобрал.

— Вы знали, что я иду к вам?

— Знал, конечно. Даже ждал. Взгляните, взгляните...

Федор Иванович подсел к столу, склонился над микроскопом. Сначала в окуляре перед ним все было мутно, плавала какая-то мыльная вода, пронзенная ярким светом. Он повернул винт, и из яркого тумана выплыл к нему неровный кружок с черными чаинками, сгруппированными в центре.

— Я вижу... Здесь, по-моему, хромосомы... Хорошо окрашен препарат.

— Узнал-таки, — прогудел Стригалев.

— Тут так хорошо видно, что их можно сосчитать. Которая подковкой, которая с перехватом. Шесть, семь...

— Не трудитесь. Всех сорок восемь...

Стригалев куда-то гнул, что-то затеял. Федор Иванович оглянулся на него, задержался на миг и опять припал к окуляру.

— Чайку-то хотите?

— Чайку отчего не выпить. А что это за объект?

— Какой еще у меня может быть объект? Картошка. «Солянум туберозум». Теперь посмотрите это...

Стригалев цепкими длинными пальцами выхватил из-под объектива стеклышко и поставил другое. Федор Иванович опять увидел в окуляре пронзенную ярким светом клетку. Только в хромосомах произошла чуть заметная перемена. Они были здесь чуть меньше.

— Вроде хромосомы слегка похудели. Что это?

— Ага, заметили разницу... Это та же картошка, только препарат сделан при температуре плюс один градус. Это граница. Если понизить еще на градус, начнут распадаться.

— Понимаю...

— Нет, еще ничего не понимаете. Вот сюда теперь смотрите.

Иван Ильич опять мгновенно сменил стеклышко. И Федор Иванович увидел такую же клетку, только хромосомы здесь были похожи на мелкую охотничью дробь.

— Ого! Такого еще не видел. Что с ними случилось? — спросил он, загораясь новым интересом.

— Это другой объект. «Солянум веррукозум», дикарь. При той же температуре в один градус. Видите, хромосомы здесь сжались до шариков... Когда я их в холодильник. А были ведь как и те, первые. Теперь главный номер.

Стригалев щелкнул новым стеклышком. Опять ярко засияла клетка. И в центре Федор Иванович увидел хромосомы. Такие же, как у обычной картошки — подковки и палочки с перехватом. Но среди них теперь были разбросаны и круглые дробинки.

— А это какой объект?

— Посмотрите. Там наклеечка на стекле.

Федор Иванович мгновенно нашел эту наклеечку. И прочитал: «„Майский цветок“,+1°».

— Все загадки задаете... Почему здесь такая смесь?

— Вы что — никогда «Майский цветок» не изучали? Я думал, что его всесторонне и в обязательном порядке...

— Я вообще к микроскопу давно...

— Хоть помните, сколько в нем хромосом?

— Ну уж... Сорок восемь, как у всех картошек.

— Смотрите-ка, а правая рука академика что-то знает!

— Ладно, ладно. Почему здесь такая странная смесь?

— «Майский цветок» — сверхособый гибрид. Об этом ваш Касьян, его автор, еще не слышал. Этого я ему не сказал. Увидитесь — спросите. Видите — шарики? Это хромосомы папы. А папа — дикарь, «Солянум веррукозум», которого вы сейчас смотрели, перед этим...

— Но ведь этот дикарь не скрещивается!

— Ничего еще не понял! — зазвенел над ухом Федора Ивановича отчаянный крик Стригалева. И одновременно ударил его и сотряс страшный разряд догадки. Федор Иванович обеими руками отодвинул микроскоп. Повернулся, взъерошенный.

— Погодите отодвигать. Сейчас я еще стеклышко...

— Хватнт стеклышек. Разговарнвать пора. Вы что хотнте сказать...

— Ннчего не хочу, вы самн скажете.

— Выходнт, «Цветок» — гнбрнд с этим дикарем?

— Правнльно. А днкарь не скрещивается. Только еслн сделать нз него немыслнмый для вашей кухнн полнплоид. Вот я его н сделал. Колхицином, колхнцином! А этот узнал...

— Кто?

— Вот этот, — Стрнгалев зажал нос двумя пальцамн н продудел: — Кассиан Дамиановнч!

— Так он у вас этот полиплонд...

— Еслн бы только! — Стригалев засмеялся, поморщнлся, н выбежал за печь. — Еслн бы только! — не то кричал он, не то плакал за печью, что-то глотая, наверно, свон сливкн нз бутылочки. — Если бы только, Федор Ива-ановнч! — Он появнлся, вытнрая рукой губы. — У вашего бога рукн не такне, чтобы картошку даже с готовым полиплондом скрестнть. Народный академнк получнл от меня готовый сорт!

Федор Иванович положнл на предметный столнк микроскопа препарат «Майского цветка» н приннк к окуляру, крутя винт.

— Почему я сейчас не капнтулнрую? — настойчнво гудел над ннм Стригалев. — Почему, как Посошков, не отрекаюсь от святынн? Вы же вндите, я устал, болею, я бы так охотно сложнл ручки. Черт с вамн, пусть будет как вы хотите, все, что у меня получено, сделано по Лысенке да по Касьяну Рядно. Но, во-первых, это же касается не только меня. Это нх уснлнт, и тогда они примутся за монх товарнщей. Помните, как онн нашего... Академнка нашего в саратовскую тюрьму? Они пощады не знают. А во-вторых, если бы я н перевернулся вверх пуговкамн... Ведь вы же вндите, я уже однн раз это сделал! Я же отдал нм лучшую свою работу! Я страшно усилил их!

Да, «Майский цветок», сорт, который прославнл академнка Рядно, попал в учебннкн н газеты, — это была огромная снла. Федор Ивановнч, меняя препараты, рассматривал клетку этого сорта н клетку днкаря.

— Это была цена, которую я заплатнл за три года относительно спокойной работы. Пришел с войны, кинулся на любнмое дело... Я пошел на это, потому что «Цветок» у меня был промежуточным достнженнем, ес-

ли можно так сказать. Правда, я не должен был нападать на их знамя, и я долго придерживался... Он сказал: «Слушай, Троллейбус... Ладно, хватит тебе... Давай, поговорим. Дай мне, браток, вот эту картошку, я давно завидую на нее...» И оскалился вот так. Как енот.

Тут на лице Стригалева проглянула и исчезла улыбка академика Рядно.

— Он ее, конечно, «доводил». «Воспитывал»... А сорт-то был готовый. Касьян уговорных четырех лет не выдержал — через два приехал. Дай опять. Я дал. Но у него не пошло — руки не те. Озлился. Вас ориентировали на Троллейбуса?

— Да, — шепнул Федор Иванович. — Он так говорил: какого-то Троллейбуса. Я подумал, что он с вами совсем не знаком.

— Вот то-то. Незнаком... Раз уж Троллейбуса перестал знать, теперь и вверх брюхом перевернусь — не поможет. Волей судьбы я вышел на передний край. Придется мне, Федор Иванович, идти избранной дорогой. До конца.

Он замолчал, сидел, отдыхая. Федор Иванович развернулся на стуле к хозяину, и они долго смотрели друг другу в глаза и время от времени кивком показывали: вот так-то...

— «Майский цветок», Федор Иванович, — результат торговой сделки и моего мягкосердечия. Моей наивности. Касьян наобещал правительству, а выполнить не мог. Кинулся ко мне. Я сильно тогда выручил его. В чем моя ошибка и беда. А то бы он погорел. Он говорил: «Прикрою от Трофима». И верно, прикрыл. Но что это все значит? Я вас спрашиваю, что?

Федор Иванович убито кивнул. Он уже понимал, что это значит.

—Значит, Рядно знал, знал! Знал цену себе и своей науке. Знал цену и нашей. Он, Федор Иванович, вредитель! По тридцатым годам чистый враг народа! А он в президиумах! В газетах!

Стригалев вышел за печь и принес алюминиевый чайник.

— А теперь опять у них прорыв... Да плюс к этому разведка донесла, что я, Троллейбус, готовлю новый сорт. Превосходящий «Майский цветок». Им ведь будет худо, а? Вот и решили начать с ревизии, прислали кого поумнее, да потоньше. И письмо организовали. А

детки — подписали. Пришьют теперь что-нибудь, и хорошо пришьют. Портных сколько угодно...

Он опять ушел за печь. Принес коробку кускового сахара и печенье. Остановился у стола — высокий, почти касаясь головой закопченного деревянного потолка.

— Теперь моя лаборатория здесь. Лаборатория и крепость. Дом продам, куплю ворота, буду запираться... Слава богу, дом купить вовремя догадался. Хороший дом, — при этом он легонько ударил кулаком по матице низкого потолка. — Послужи, послужи, частная собственность, делу социализма... Как социалистическая служит... отращиванию загривка товарища Варичева...

Он поставил два тонких стакана в мельхиоровые витиеватые подстаканники и стал наливать в них кипяток.

— Сейчас загадаем,— сказал он, наклоняя чайник над своим стаканом. — Загадаем так: если лопнет, значит, женюсь в эту зиму. И вас на свадьбу. Не лопнет, сволочь. Нарочно ведь лью свежий кипяток.

Стакан почти неслышно треснул, и кипяток черной дымящейся змеей скользнул по столу, свинцово задолбил об пол.

— И-их-ма! Треснул! — горько тряхнув нечесанными лохмами, Стригалев вынул осколки из подстаканника. Ясно улыбнулся. — Гаданье, Федор Иванович! Кофейная гуща! Проворонил я свои сроки. Так и не успел жениться. Сплошные неудачи. Правда, для ученого, может быть, и удачи были. Но на личном фронте — сплошной прорыв. А сейчас как присмотрю среди дочерей человеческих жену — и язык тут же забываю, где у меня находится. Ничего не могу сказать. Наверно, чудаком слыву. А может, сухарем... Попал в желоб и качусь. И не выйти. Вы, я слыхал, тоже холостяк?

Они пили чай и молчали. Слышно было только постукивание стальных зубов о край стакана. Федор Иванович со страхом ждал ясности, которая ему была нужна, как воздух. Эта ясность приближалась.

— Может быть, что и выйдет — одна тут появилась. Осветила... Собственно, была давно, но мы все официально с ней... А тут после этой парилки, где меня... Как-то сразу все прояснилось. Такой момент... Сама осторожненько дала понять.

Они замолчали. Стригалев ковырял ногтем клеенку

на столе и иаклоиял лохматую голову то к одиому плечу, то к другому. У него была потребность исповедаться.

— Простая такая девушка... Но такую простоту, как у нее, Федор Иванович, иадо уметь иосить... А я два года ничего не видел. Все хромосомы да колхицин.

И опять наступила тишина. Стригалев вдруг усмехнулся — иад самим собой.

— Знаете,— как открыли ржавый замок. Физически почувствовал. Там, в замке, такие есть сувальды, самая секретиая часть. Вот они и сдвинулись с места, и замок вроде отперся. Скрипу было!— и он доверчиво улыбнулся Федору Ивановичу.— Сдвинулись, и, должно быть, выглянуло что-то. Сразу у нас и контакт завязался...

Федор Иванович все это время жадно пил чай, пил, как живую воду, опустив глаза к своему стакану. Весь был напряжен, боялся взглянуть Стригалеву в лицо. «Как это я сразу так увлекся, повернл?— думал он.— Ведь и Туманова предупреждала, да и видио было по всему...»

— Я ведь тоже чуть ие стал образцовым мичуринцем,— сказал вдруг Иван Ильич.— В молодости тоже на него молился.

— На кого?

— На кого?— Стригалев опять сжал себе нос пальцами и загагакал: — Вот иа этого на самого.

Федор Иванович засмеялся.

— Чем же он вас очаровал?

— А чем вас?

— Ну — я! У меня был путь...

— Так и у меня был тот же путь! Страшные тридцатые годы. И странные! Одни отрекались от родителей, другие культивировали свой крестьянский, местный говор, свое неумение говорить... Все тот же был извечный маскарад. «А под маской было звездио, улыбалась чья-то повесть...» Я, как и вы, был тогда мальчишкой. Постарше, конечно, школу уже кончил. Отзывчиво реагировал на все, что относилось к воспетому, к советскому, коммунистическому. Особое было отношение ко всему, что шло из народа, от рабочих и крестьян. Интеллигенция — так, второй сорт, гниль. «Хлипкий интеллихэнт, скептик с дрожащими коленями»,— это ведь слова Касьяна. Сильно дрожат у вас колени? По-моему, у такого ие больно задрожат.

— Вы что имеете в виду?

— Только хорошее, Федор Иванович. Я вас понял с самого начала. Мы с вами во многом схожи.

Федор Иванович чуть заметно кивнул. Он как-то без слов вспомнил те свои времена, когда он ждал звездного часа, присягал правде и знанию, а шел куда-то в противоположную сторону.

— В общем, я был пареньком, хорошо подготовленным к восторгам. Науки еще не было. Наука была впереди. Ее обещали. Мы все верили: наука будет. Она придет из народа. Новая наука! И вот он появился, как Онегин перед Татьяной. «Вот он!» Я тогда еще не понимал великого значения косоворотки, пахнущих дегтем сапог, подшитых валенок и тому подобных примет простого человека. Это сегодня я знаю твердо, что если человек, придя в современную науку, слишком долго — десятки лет — не может овладеть грамотой и правильным русским произношением,— этот человек или страшная бездарь, или сволочь, притворщик, нарочно культивирующий свою пролетарскую простоту. С целью всех обобрать.

Федор Иванович вспомнил Цвяха и его иногда прорывающийся акцент. «Хороший мужик,— подумал он.— Но немного играет на своем „берітя"».

— Тогда я не понимал. Я молился на косоворотку и сапоги. И сам их носил. Галстук? Ни-ни-ни!

— Да, да,— поддакнул Федор Иванович.— Я тоже. Меня поразила в академике Рядно и ужасно привлекла его народная непосредственность, прямота. Такая самородность, неподражаемое своеобразие, возросшее, я бы сказал, на крестьянской ниве, на земле...

— Вот-вот! И был тогда академичек один, сейчас его уже нет. Уж он-то, можно сказать, революцию сам делал. Не от пустого кармана шел к Октябрю, не от стремления что-то от этого получить, а наоборот. Он был из семьи крупного ученого. Обеспеченная семья. Шел от желания свое отдать другим. Что ни говорите, я таких, кто не берет, а отдает, не думая о своем будущем, уважаю. Академик этот шел от идеальных побуждений. Бантик, бантик красный по праздникам всегда носил. Все забыли уже надевать, а он все носил. И вот, дорвался — нашел самородок, полностью соответствующий идеалу. Стал нянчиться с ним, с этим, в валенках-то. С нашим Касьяном. С восторгом человека из наро-

да повел в алтарь. А кукушонок рос не по дням, а по часам. И папочку своим крюком на заднице — швырь из гнезда. У кукушат такой крюк есть — выбрасывать из гнезда конкурентов. Тот и упал. Высоко падал. Спохватился и к товарищу Сталину. А наш у Сталина уже чай пьет. Вприкусочку. Но тогда я всей этой истории еще не знал. Влюбился в него по уши. А он же еще и говорить мастак! С переливами! Да все словом революционным бьет. И держится за Красное знамя. Как в Риме Древнем хватались за рога жертвенника. Схватился — и его пальцем не тронь. Сам держится, а другим ухватиться не дает. Говорит: не примазывайся! Тут и Саул при нем появился. Подсказчик. При Сауле он и начал кидаться словечками: «отрицание отрицания», «скачкообразно», «единство противоположностей». И обещания правительству. В два года дам новый сорт! Засыплю страну хлебом! Залью молоком! И все о земле-матушке. Любил научные сессии выносить в поле, чтоб профессора прямо на земле сидели... На этих конях и въехал в доверие. Но я уже к критике перешел. Сначала о том, как любовь кончилась. Она быстро прогорела. Сильная любовь не терпит обмана. Был я в одной аудитории, слушал Касьяна. Он тогда еще не был Кассиан. Конечно, вышел в сапогах, в косоворотке, глаза играют, зубы, как гармонь,— прямо тракторист. Ну, прослушали мы весь его репертуар. Народу битком, овации. А назавтра мне повезло, увидел его случайно на одной даче. Костюм, отрыжка прошлого — галстук. Умел, оказывается, и галстук завязать. Зубы свои спрятал. И речь, речь! Совсем другая речь! И вдруг узнаю, что никакой он не бедняк был, отец у него был «грамотный зажиточный крестьянин», имел паровую молотилку. Для меня, Федор Иванович, это было первое научное открытие. Я увидел, что человек сам может создавать в себе «народный тип». Так что он сам помог... И ведь эта «мужиковатость» на людях в нем не убывает. Растет с каждым годом. По-моему, он стал большим филологом-фольклористом. Как Даль.

— А я вот задержался,— сказал Федор Иванович.— Я почти до сегодняшнего дня... Если бы анализировал — давно увидел бы истину. В том-то и дело, Иван Ильич. Не анализировал. Не приучен был к анализу. Вера, вера! Не анализировал, а теперь вижу — подгонял результаты под концепцию. Десять лет подгонки! Помню слу-

чан, когда не получалось и из-под неуклюжей конструкции выглядывали белые нитки. Истина. Так я пугался! Не советское выглядывало, не наше. Чуждое, монах Мендель.

— И впадал в политический уклон!

— Впадал!

— Кто своими руками не делал расщепление «три к одному», тому легко было впадать...

— И я впадал. И еще больше громоздил, дикость на дикость. А когда получалось — вроде бы опыт в концепцию укладывался — тут поражался.

— Значит, неверие все-таки сидело...

— Сидело, Иван Ильич. Чувствовал, что под поверхностью совсем другая рыба ходит. Еще как сидело! Но я его давил. Как у одного французского писателя в рассказе, читал я. Там к священнику привели слепого и попросили исцелить. «Ты известен набожностью — возложи руки и помолись погорячей,— мать просит,— может, и исцелится». Упирался, упирался, а потом все-таки возложил и начал молиться. Никогда так горячо не молился. И слепой открыл глаза. «Вижу!» — говорит. А священник чуть с ума не сошел — не может быть! Невероятно! И бежать от сана. Отрекся. Неверие замучило — никогда, оказывается, не верил!

— Федор Иванович!— Стригалев положил на его руку свою сухую волосатую кисть.— Вы очень к месту это рассказали. В самую точку. В науке есть знающие ученые и есть такие вот священники. Неверящие, но делающие вид. По-моему, вы и сейчас...

Федор Иванович энергично закивал, замахал, почти закрывая ему рот рукой. И они долго, чуть слышно, радостно смеялись.

— Я теперь только начинаю становиться ученым,— сказал Федор Иванович, сделав унылую гримасу.— На са-амую первую ступеньку становлюсь. Где написано: никакой веры!

Когда он собрался уходить, Стригалев вынес ему из-за печки книжку. Знакомое название и чернильный штамп «не выдавать».

— Хотите заглянуть?

— Она у меня есть.

— Ага... Я предвижу, что вам, ставшему на эту первую ступеньку... не очень легко будет на вашей кафедре...

— Я не собираюсь начать службу задорным провозглашением с кафедры аксиом. Как Хейфец провозглашал. Пять минут яркой вспышки — и дымок. Последний... Что пользы?

— Не вспыхнете — будут думать, что вы инструмент Касьяна. Многие и так уже...

— Это хорошо. Я не обидчив.

Стригалев покосился глубоким бычьим глазом и промолчал.

— Иван Ильич! Что толку в бряцаниях и клятвах?

— Ну да, конечно...— просопел Стригалев. Он все еще изучал Федора Ивановича.

— Принес вам машину — вот и хорошо. А там посмотрим. Мы беседуем, достигаем внутреннего совершенства, но дело-то не в этом. Касьян, наверно, сейчас пьет свой чаек...

— Ну да, ну да... Спасибо. Заходите.

Домой Федор Иванович шел, не замечая своего движения. Механика его тела самостоятельно и точно следовала изгибам чуть белеющей тропки. Он не видел во мраке ничего от своей земной формы, не видел своих рук, и сам себе казался в эти минуты сущностью, освобожденной от внешней оболочки и способной летать. В этом сгустке энергии, скользящем сквозь теплую душистую тьму, происходил хоть и резкий, но хорошо подготовленный решающий поворот. Федор Иванович давно предчувствовал его и боялся, а встретил сейчас с радостью. Долгие годы в его душе копились достаточные и достоверные данные, пока не наступила эта ночь последних открытий. Мгновенно исчезли все оттенки симпатии к добродушному и покладистому старику, который иногда, совсем недавно, казался ему отцом. И сущность этого старика сейчас же подступила к нему из тьмы и полетела рядом, противно глотая чай и постукивая золотыми *кутнями*, как конь постукивает стальным мундштуком. А с другой стороны подошла, увязалась, не отводя хмурого взора, другая сущность — лохматый, уверенный в чем-то своем и настойчивый Стригалев. А вдали еще кто-то летел, неотступный, ожидающий своего. И Федор Иванович летел вместе с ними, все острее чувствуя кровоточащую царапину долга — старого и нового. Пока вдали не забрезжил желтоватый огонек и не приблизился, став лампочкой перед входом в жилище приезжающих. Когда эта ясность

вступила в сознание, образ старика отстал и исчез. И остальные двое остались где-то позади. Федор Иванович услышал свои шаги на каменном крыльце и, твердо, с удовольствием топая, новым человеком вошел в коридор.

В комнате, которую теперь занимал он один, Федор Иванович зажег настольную лампу и, взяв с окна, поставил к ней литровый химический стакан, суживающийся кверху и заткнутый комом ваты. И уселся перед ним, наблюдая. Дней пять назад он выпустил из пробирки всех своих мушек. На дне остался кисель, в нем кишели проворные белые червячки. Кисель с личинками он вытряхнул на дно этого стакана и заткнул его ватой. Сегодня стакан был населен новыми мушками. Это пошло уже первое поколение — эф-один, как говорят генетики. Женственные самки, возбужденно приподнимая крылышки, бегали по стенкам стакана, показывали и убирали яйцеклад, привлекая поджарых самцов. Те цепенели неподвижно в разных концах стакана, припав грудью к стеклу и приподняв тощий зад — как сверхсовременные истребители на старте. То один, то другой, вдруг молниеносно прыгнув, оседлывал самку. Только что вышедшие из куколок длинные бледнозеленые и прозрачные девственницы словно заснули около киселя, полные идеалистических бредней. Не постигнув еще своего предназначения, они и не помышляли о том, что завтра, изменив цвет и укоротившись, будут бегать, взмахивая крылышками и выставляя яйцеклад. И все это было — жизнь, но жизнь малая — без героев и негодяев, которые делают ее богаче, отклоняют от механической животной программы.

Все мушки первого поколения были с крылышками. Бескрылость исчезла, и это уже было первым подтверждением правоты того, что писал в своей книге Добржанский, что открыл монах Мендель. И, глядя на мушек, Федор Иванович уже чувствовал, что классическое соотношение «один к трем» во втором поколении обязательно получится.

VII

Последующая неделя в жизни Федора Ивановича и в делах факультета не принесла ничего примечательного. Волна, поднятая августовской сессией акаде-

мии, кипя, прикатила в город и бухнула в стены Сельскохозяйственного института, подняв целую тучу медленно оседающих брызг. Потом отхлынула, опять поднялась, на ней опять закипел гребешок страстей множества заинтересованных личностей — подлецов и героев — и все это, нарастая, покатило в другие города. А здесь, среди разрушений, потекли тихие будни. Костер на хоздворе погас, и три дня лаборантки ходили туда с ведрами за золой для удобрения — пока не подчистили все. Из Москвы был прислан новый доцент и сразу же начал бойко читать курс лекций по мичуринской генетике, усердно костя при этом вейсманистов-морганистов, как проводников буржуазной идеологии в биологии. И Федор Иванович, который так боялся необходимости читать лекции на этой кафедре, вздохнул. «Я, сынок, решил не загружать тебя лекциями,— сказал по телефону академик Рядно, не спускавший глаз с Федора Ивановича и знавший все. — Ты давай, готовься к делу, которое я на тебя возложу. Наследство Троллейбуса пока не разбазаривай, все возьми на учет. Все мне расшифруй, что он там... закодировал. Что не кончили из своей менделевской галиматьи, пусть кончают, не мешай. Пусть вся эта братия спокойно работает. Пока. Я тут пробиваю одну идею, и ты займешь достойное место в этом плане».

И Федор Иванович сразу же собрал всех, кого он проверял во время ревизии, и серьезным тоном предложил сохранить все растения, независимо от целей и надежд, связанных с их появлением на свет. В том числе и «наследство» Ивана Ильича. Продолжать тщательные записи, собирать семена и клубни, довести до конца все исследования в соответствии с планами, в том числе и с планами, признанными порочными.

Во время этого совещания он старался не замечать спокойного, вникающего и несколько удивленного взгляда через очки, направленного на него из дальнего угла. Больше посматривал на Краснова, который мял в пальцах теннисный мяч.

Когда все разошлись, Федор Иванович вспомнил нечто, прошел в комнату Ходеряхина и Краснова. Альпинист отсутствовал, и, подсев к его столу, Федор Иванович в ожидании рассеянно поглядывал на бумажки, положенные под стекло. Там были выписки из справочника по картофелю, вырезка из газеты с футбольной таб-

лицей и страница, на которой можно было прочитать следующие строки, напечатанные на машинке:

«б. Напрячь мышцы брюшного пресса и ослабить — 30 раз.

в. Сжать до предела ягодичные мышцы и ослабить — 30 раз.

г. Втянуть до предела прямую кишку и отпустить — 30 раз».

Рассмеявшись, Федор Иванович поскорее встал из-за стола — он щадил стыдливость Краснова. А тут как раз спортсмен и вошел.

— Я к вам, — сказал Федор Иванович, гася улыбку и выкладывая на стол шесть пакетиков. Понизив голос почти до шепота, он добавил: — Я согласен, не следует разбрасываться такими вещами. И академик не рекомендует...

— Не имеем права! — подхватил Краснов и, усевшись за стол, смахнул в ящик все пакетики.

— Вас, кажется, зовут Ким? — вдруг спросил Федор Иванович, задумчиво глядя на него.

— Ким Савельевич.

— Ким Савельевич! Я исхожу из того, что там случайно может оказаться и ценный материал...

— Пусть даже один случай на миллион — мы не можем сбрасывать со счета.

Федор Иванович приостановился. Его ключ действовал безошибочно. Зло, отлично знающее свою суть, как всегда маскировалось добрыми намерениями. Он изучал Краснова некоторое время, но тот ничего не заметил. Хотя нет, что-то почувствовал:

— Вы покраснели, Федор Иванович. Не беспокойтесь, я их сейчас же положу в хорошее местечко и заведу специальный журнал.

— На всякий случай, если бы он пришел за ними...

— Отошлите его ко мне. Вам незачем связываться. Скажите, я говорил вам о каких-то пакетиках. А я найду, что сказать.

— Да нет. Я ему уже сказал... прямо сказал, что мы нашли...

— Ну, тогда-а...— протянул Краснов разочарованно.— Тогда что ж...

— Ничего страшного! Мы с ним условились, что семена останутся на нашей кафедре, в лаборатории. Это я вам на всякий случай, чтобы вы знали. Если придет-

ся говорить. Мы их высеем, в порядке проверки. Нам ведь не все нужно, что взойдет...

— Так, пожалуй, будет еще лучше! Я буду у вас самым исполнительным лаборантом.

— Значит, вы сделаете все, как говорили. Будем вместе наблюдать.

— Я уверен, мы достигнем результатов. При таком единстве взглядов...

— Похожем на соучастие, — вставил Федор Иванович, хихикнув.

Краснов пожал плечами.

— Ничего похожего! Казниться из-за таких пустяков... Если я правильно понял... По-моему, не стоит.

Он совсем не замечал, что его исследуют.

— Интересно,— сказал Федор Иванович задумчиво.— Люди, у которых дурная болезнь... Скрывают они друг от друга в диспансере свои язвы?

— Этот объект не стоит такого глубокого анализа,— сказал Краснов. И вдруг смутился. Что-то дошло. — А кто в наше время без какой-нибудь язвы?

— Это верно, — сказал Федор Иванович, глядя на него, не сводя глаз.— Это вер-рно.

— Именно, Федор Иванович! Люди это люди!

— Вглубь лучше не заглядывать,— подбросил ему Федор Иванович опору.

— Именно!— весело заревел Краснов и, став ниже ростом, разогретый хорошо проведенным важным разговором, поднялся его провожать, вышел в коридор.

«Надо отучиться краснеть», — подумал Федор Иванович.

...В розоватой лужице киселя на дне химического стакана опять завелись энергичные и ловкие белые червячки. Кисель бурлил и кипел от множества пронизывающих его жизней. Несколько коричневых куколок приклеились к стенке стакана и замерли. Однажды на рассвете Федор Иванович вынес стакан на улицу и опять выпустил всех мушек. Теперь в стеклянном конусе, заткнутом ватой, окончательно созревал факт, такой же неоспоримый, как превращение капли йода на картошке в синюю кляксу.

Еще через семь или восемь дней, утром, собираясь в институт, Федор Иванович заметил в стакане движение. Там уже кружились и прыгали пять или шесть мушек — второе поколение. А на дне среди бледно-зеленых дев-

ственниц беспокойно бегали два бескрылых существа: пробежка — скачок, пробежка — скачок... Они пытались взлететь.

«Надо сказать ей»,— подумал Федор Иванович. Он понимал, что там все решено, и вмешиваться в чужие отношения на правах третьего лица — дело безнадежное и даже не совсем достойное. Но ему хотелось услышать ее голос, обращенный к нему. «Я ничем себя не выдам, буду спокоен и безразличен. Все-таки речь идет о направлении в науке. Это будет вполне приличный, легальный повод».

Придя в институт пораньше, он сел в своем кабинете у окна и, чувствуя частые, сильные удары сердца, как будто выпил несколько чашек крепкого кофе, минут двадцать следил за асфальтовой дорожкой, ведущей к входу. Прошли, беседуя, Анна Богумиловна и Анжела. Прошел с портфелем новый — московский — доцент. С теннисным мячом в руке прошел Краснов, издалека похожий на громоздкого, чуть сутулого первобытного человека, ищущего коренья. И вот показалась она — в знакомой вязаной кофточке, маленькая, полная тайн. Почти пробежала, о чем-то мечтая, влекомая какой-то манящей целью. И Федор Иванович, загремев стулом, оставив распахнутой дверь, вылетел в коридор и там сразу принял независимый вид. Опустив голову, как бы размышляя о чем-то, он прошел половину коридора, и тут Елена Владимировна из-за угла налетела на него, толкнула обеими руками.

— Простите!— засмеялась виновато, а душа ее, ставшая чужой и небрежно-рассеянной, уже летела куда-то дальше.

— Я тоже виноват, — сказал он, умеренно улыбнувшись и уступая ей дорогу. Она так и ринулась бежать. Посмотрев ей вслед, он как бы вспомнил:

— Да, Елена Владимировна! У меня уже пошло третье поколение! Сегодня утром смотрю...

Она быстро обернулась.

— Тсс! — прошептала гневно. Вся сила у нее была в сдвинутых, не принимающих никакого компромисса бровях. Потом подошла совсем близко.

— С ума сошли! — низко прогудела. — Гаркает на весь институт. Вы же скрытый вейсманист! — и умолкла, глядя по сторонам. На чистом лбу был виден прекрасный гнев. Этот чистый лоб умел командовать.

Потом она успокоилась и посмотрела со вспыхнувшим интересом. Интерес был не к нему, а к науке.

— Скоро будем считать. Завтра я возьму флакончик с эфиром и приду... Нет, лучше подождем еще денек. Где мы будем считать — у вас или у меня?

— Может, у меня удобнее?..— неуверенно спросил он.

— Хорошо. Значит, послезавтра. После работы ждите.

До назначенной встречи надо было ждать больше двух суток. До вечера Федор Иванович кое-как дотянул. Потом на него накатила тоска. В комнате для приезжающих было одиноко, и он позвонил Тумановой.

— Алло! — ответил ее полный гибкий голос.— Это ты-и? Ну, если тебе скучно, так приходи. Мне тоже скучно. Давай вместе выпьем вина.

— Какое вино ты пьешь?

— Я пью водочку. Без дураков. Бери пол-литра православной, не ошибешься.

Конечно, не только тоска и одиночество толкнули его на этот телефонный звонок. Идя к Тумановой со свертком в руке, он все отчетливее чувствовал, что там для него прояснится еще одна забавная и важная вещь. Впрочем, и без того уже почти ясная.

Антонина Прокофьевна ожидала его в своей постели, обложенная расшитыми подушками, и по этим подушкам и кружевам ступенями струились ее черные волосы. Ветка ландыша была на месте, но желтого алмаза не было. Поцеловав хозяйку в щечку, он поднял глаза и увидел над нею на стене литографию в рамке. Там был изображен обнаженный человек, привязанный к дереву и поднявший полные слез глаза к небу. Из тела торчали стрелы. Казнь происходила на городской площади, на фоне пятиэтажных домов с арками.

— Я что-то не видел у тебя эту картину, — сказал он.

— У нее такое свойство. Кого это не касается, тот не видит. Пропускает. А теперь, видно, коснулось тебя, Федяка. Это святой Себастьян, тебе следует знать. Он был начальник телохранителей у императора Диоклетиана. Самый близкий человек. Царь-то был страшный гонитель христиан, но народа боялся. А полковник лейб-гвардии оказался тайным христианином, да еще

и пропагандистом. Он сделал христианами и крестил около полутора тысяч придворных и солдат. Вот за это, когда дело открылось, когда какая-то сволочь донесла, Диоклетиан и велел привязать его к дереву и расстрелять тысячью стрел. Он тут и нарисован... Тициан тоже писал на этот сюжет.

— А это чье?

— Антонелло да Мессина такой. Моя любимая картина. Всех современников и всех потомков, и нас с тобой нарисовал. В самое нутро людей заглянул.

Федор Иванович вытянулся, чтобы получше рассмотреть картину.

— А ты сними. Разрешаю,— сказала Туманова. Только давай сначала выпьем. Раз затеяли это дело.

Во время их беседы две старухи в черном успели неслышно расположить на столе около кровати граненые стопки и закуску. Федор Иванович вышиб из бутылки белую пробку.

— По первой?

— Давай, Федяка. Давно хотела выпить с тобой. Только бабушкам сначала налей.

Обе старушки, стесняясь, подставили рюмки, и Федор Иванович налил. Когда бабушки ушли, Туманова чокнулась с гостем и медленно выпила, а выпив, тяжело посмотрела ему в глаза, и он понял, что она заливала в себе какую-то боль, и залить не удалось.

— Хорошо пить с человеком, который понимает не только прямую речь,— сказала Туманова.— Ты сними картинку-то. Сейчас самое время ее рассматривать. Давай посмотрим вместе. Вот видишь, на переднем плане человек. Умирает. Не зря умирает, а за идею. А все равно тяжело. А сзади — те, для кого он шел на опасное дело. На балконах горожанки вывесили ковры. Друг на дружку не смотрят, красуются. Женщина стоит с младенцем, погрузилась в свое материнство. Ну — ей разрешается. Пьяница на мостовой грохнулся и спит. Вдали, посмотри, два философа прогуливаются в мантиях. Беседуют. Солнце ходит вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Возможно ли самозарождение мышей в кувшине с грязным бельем и зернами пшеницы? Ничего еще не доказали, а в мантию уже влезли. А вот тут, справа, два военных. Беседуют о том, как провели вчера ночь. «Канальство, — один говорит. — В пух проигрался, туды его... Но выпивка была знатная. Еле до-

рогу нашел в казарму». И другой что-то серьезно толкует. А тут человек умирает, в самом центре площади. И все, видишь, ухитряются этого не замечать! Им до лампочки, Федька. Абсолютно до лампочки всем, что кто-то там...

— Но ведь полторы-то тысячи крестил? Значит, не всем.

— Утешайся! Некрещеных-то больше, Федя. Возьми эту картину себе в башку, как я взяла. И наблюдай жизнь. Когда жгли у вас книги на хоздворе, я все время смотрела на эту картину.

Действительно, картина была значительная, и написал ее художник, знающий горькие стороны жизни.

— По-моему, в замысел художника входила еще одна вещь, — сказал Федор Иванович.

— Давай сначала еще по одной, потом расскажешь,— сказала Туманова.

Они выпили. Антонина Прокофьевна, закусив губу, смотрела некоторое время в сторону, потом, как ни в чем не бывало, с улыбкой обернулась к нему.

— Ну, давай, рассказывай про замысел.

— Ведь он находится в стане язычников, Антонина Прокофьевна! Они его считают чем-то вроде вейсманиста-морганиста, а сами, разумеется, владеют конечным знанием! А он свой свет не хочет уступать. По-моему, вы, когда у нас книги горели, чувствовали именно эту сторону картины.

— Многое я чувствовала, Федяка. Ты ешь колбасу.

— Антонина Прокофьевна! Что я вижу!

— Это ты хорошо сформулировал. Во стане язычников. Это я упустила из виду.

— Что я вижу, Антонина Прокофьевна! Как вошел — сразу увидел. Желтенький куда дела?

— А что же мне его — на бал? Продала. Моего болвана выручать пришлось. И не знал ведь, а над его завитой башкой туча собиралась. Да еще какая, Феденька. С молниями. Вон, видишь, под стеной эта тучка... Я выкупила ее.

И он увидел в стороне под стеной сосновый некрашеный сундучок деревенской работы, сделанный, наверно, полвека назад. Крышка его была разделена трещиной на две половинки. Федор Иванович вскочил было — хотел посмотреть поближе, поднять крышку. Но Туманова тронула его властной рукой.

— На-а место! Заглядывать туда нельзя. Там сидит джинн.

— По-моему, тебе его Кеша Кондаков подарил. А?

— Подарил! — она усмехнулась. — Ничего себе подарил! За пятьсот целковых. Ты сундучок, значит, видел у него? Сволочь какая, говорил, что ни одна душа... Я же отвалила ему не за деревяшки, а за тайну...

— Нет, Антонина Прокофьевна. Я у него сундучка не видел. Только слышал о нем. Историю этого сундучка.

— Я давала ему сначала сто. Нет, говорит, в деньгах такие вещи не оцениваются. Это же историческая ценность! Я даже стихи написал. Ну, на тебе тогда двести за историческую ценность. И триста за стихи. Сразу притащил.

— Стихи я знаю. Был Бревешковым — стал Красновым, был Прохором, теперь ты — Ким.

— Откуда узнал?

— Он сам мне на улице...

— Трепло, — прошипела Туманова, ударив кулачком с перстнями по подушке. — Трепло вонючее на дамских каблуках. И бабник страшный. Которая понравится — та и его. Как мой... А стихи писать умеет...

Они умолкли. Федор Иванович опять взял в руки рамку с литографией.

— А что, твой Краснов — боится грехов своей молодости?

— У него и сейчас их хватает. Только теперешние способствуют карьере, а старые могут отразиться...

— Так, наверно, все давно известно там, где интересуются. И о папаше Бревешкове, и о верном сынке.

— Может, и знают. А, может, и не всё. Может, знают, а делают вид, что не знают. А тут как пойдет такая легенда про сундучок, и не хочешь, а придется заинтересоваться. В анкетах он писал кое-что, а от меня, когда ухаживал, утаил.

— Оч-чень интересно, — задумчиво сказал Федор Иванович.

— Хочешь, приятное тебе скажу? Ваши биологические дамы все время держат тебя на прицеле. Наблюдают и делятся. Тут мы недавно с Леночкой о тебе хорошо потолковали. С маленькой этой, с Блажко. Что у меня тогда с Троллейбусом была. По-омнишь?

— Кажется, припоминаю...

— Все расспрашивала, откуда я тебя знаю, да каков ты с изнанки, был ли женат? Был ли женат!

— Она должна на меня смотреть, как на пугало. Ведь я здесь отличился!

— Да, Федя, ты отличился. Мы об этом тоже говорили. Она сказала: «У нас некоторые считают, что он опасен. Я тоже сначала так думала». Я как почувствовала этот ее интерес, сразу стала на твою защиту. А что, говорю, он должен был делать? Это же его служебный долг! Вот полковник у нас есть из шестьдесят второго дома, Свешников. Что же ему — в адвокаты теперь? Кто-то и там нужен. На то и щука в море, чтоб ваш, детка, карась не дремал! Видишь, как я за тебя. Цени-и!

— Да-а... Щука — это ты хорошо. Это очень лестно.

— А почему ты, Федяка, до сих пор не женился?

— Армия и война. Я ведь только в прошлом году бросил костыль.

— Ну, я тебя здесь женю. Побудешь еще месяца три — жену в Москву увезешь. А меня ты должен пожалеть, слышишь? И пресечь этого поганого поэта. Чтоб не распространялся.

— А что тебе этот Краснов?

— Сначала стань женщиной, потом попади в мое положение, тогда поймешь. У меня даже сына нет! Сейчас это для тебя — семь печатей. Хоть ты и понимаешь добро и зло. Так и не рассказал мне про свое историческое доказательство. Дядику Борику рассказал, а мне нет.

— Ну, здесь все совсем просто. Только того, что под носом, никогда не видят. У нас говорят об относительности добра и зла. Мол, в одном месте это считается злом, а в другом — добром. Вчера — зло, сегодня — добро. Энциклопедия, словари, учебники — все так. Но это все далеко, далеко не так. Нельзя говорить «вчера», «сегодня», если о зле или добре. Что провозглашалось вчера как добро, могло быть замаскированным злом. А сегодня с него сорвали маску. Так что и вчера и сегодня это было одно и то же. Всем видное вчера зло может перейти в наши времена и остаться тем же злом, но наденет хорошенькую масочку и будет причинять страдания. Был Бревешковым — стал Красновым, чувствуешь? А дурачки будут думать, что перед ними сплошная справедливость, чистейшее добро. Практика жизни

установила, Антонина Прокофьевна, точно установила, что зло и вчера и сегодня было и будет одно и то же. Нечего запутывать дело! И вчера и сегодня оно выступало в виде умысла, направленного против другого человека, чтоб причинить ему страдание. Практика жизни с самых первых шагов человека во всех делах ищет прежде всего цель делающего. Я бы сказал, первоцель. Она смотрит: кто получает от поступка удовольствие, а кто от того же дела страдает. С самого начала начал — три тысячи лет назад в самых первых законах был уже записан злой умысел. Злой! Он уже был замечен человеком и отделен от неосторожности, в которой злого умысла нет. И этот злой умысел так и переходит без изменений из столетия в столетие, из закона в закон. Вот это и есть факт, доказывающий историческую неизменяемость зла. Безвариантность, как говорит Вонлярлярский.

— Я не согласна, Федя. Раб восстает против эксплуататора и убивает его. Он причиняет страдание, а прав!

— Нет, Антонина Прокофьевна. Он освобождается от своего страдания, причиненного ему злым умыслом рабовладельца. У Гоголя есть атаман Мосий Шило. Когда турки захватили его вместе с казаками в рабство, он прикинулся верным слугой паши и настолько, что свои возненавидели его. А когда вошел в полное доверие, отпер замки на цепях прикованных к галере казаков и дал им сабли, чтоб рубили врага. Все, что делал Мосий Шило, имеет знак плюс. Потому что этому предшествовало страдание, причиненное казакам, которых турки захватили в рабство и морили голодом. Так что раб прав, Антонина Прокофьевна! Эти отношения можно даже математически выразить. Если переносишь член уравнения с правой стороны на левую, он меняет знак. Что было здесь минусом, там — плюс!

— Дай, обдумаю. Ага, уравнение... Все правильно. Знаешь, почему я об этом обо всем тебя спрашиваю? После той нашей беседы я все пробую приложить... Я под твоим углом зрения, Федяка, рассматриваю своего остолопа, все его поведение...

Она умолкла. И Федор Иванович молчал, только двигал бровью.

— И я нахожу, что он всегда был редкая сволочь. Не стал в результате воспитания, а вопреки ему всегда стойко пребывал самим собой. Такой ухажор —

иногда был как сахар. Но всегда ждал условий для проявления подлости. Я тебя должна, Федяка, предупредить. Как бы он тебе... не причинил страдания. Он ведь там, у вас, работает.

— Знаю, Антонина Прокофьевна, уже давно почуял. А зачем он мячик тискает?

— О-о, это у него серьезное занятие. Кулак развивает. Ему же нужен кулачище, а он у него с изъяном, расскажу тебе как-нибудь. Давай-ка, Федя, налей... Залью свои угольки...

И еще прошли сутки. В химическом стакане теперь кипела буря — там бился о стенки плотный рой, по дну стакана скакали и сталкивались десятки бескрылых мушек. На третий день в институте, проходя мимо цитологической лаборатории, Федор Иванович увидел через открытую настежь дверь Елену Владимировну, и, как всегда в последнее время, прохладно, мимолетно, кивнул ей. Кивнула и она и продолжала свой разговор с молоденькими лаборантками. Больше он ее в этот день на работе не видел. Идя домой, он ломал голову: придет ли? Ведь приглашение он сегодня не повторил. И еще: нужно ли купить цветы? Нет, после всего, что ему стало известно, нельзя. Это вызовет недоумение. Она так хорошо умеет пожать плечиками. Конфеты? Это то же, что и цветы...

Он все-таки купил небольшую коробку сливочных помадок, белый батон и триста граммов масла — все, что нужно для холостяцкого чая. Придя домой, он, чтобы не было похоже на свежую покупку, съел несколько помадок и не почувствовал их вкуса. Оставшиеся встряхнул в коробке. Все припасы спрятал в письменный стол, поставил на электрическую плитку полный алюминиевый чайник, закурил и лег на койку. Выкурив одну папиросу, тут же взял другую. «Вот как неожиданно попался! — подумал он.— Прямо заболел!— И замер, усиленно дымя.— Сейчас придет — надо опомниться, взять себя в руки. Надо выстоять этот единственный и последний раз. Стригалев хороший человек, он сильно похож на того, на геолога. Как бы от его имени явился получать долг. Подбивать под него клин — позор и свинство, и вообще невозможное дело. И потом здесь будет действовать автоматика — *там* ведь тоже понимают, и

чем больше будешь навязываться, тем отвратительнее предстанешь. Клин! Тьфу!» — он мысленно даже плюнул себе в физиономию и потянулся за третьей папиросой.

— Да, да! — он вскочил с койки, услышав легкий стук в дверь, и бросился открывать окно, чтобы вытянуло дым.

— Это я, — сказала она, входя, как врач к больному — серьезная и официально-приветливая. Быстро огляделась, поставила на стол флакончик из-под духов — с эфиром. Жестом пригласила приступить к делу.

— Вот они, — сказал Федор Иванович, ставя на стол химический стакан с мушками. — По-моему, и так уже видно, что монах прав.

— «Видно» — это еще не доказательство. Вот когда мы подсчитаем... Я уже десятки раз считала и каждый раз... Всегда подхожу к этому подсчету, как к чуду. Это «один к трем» — всегда руки дрожат!

— У меня тоже что-то вот тут... — Федор Иванович показал туда, где у него была ямка между шеей и грудью. — Я-то никогда еще не считал. Скажу вам, что вообще я впервые буду держать в руках... видимо, настоящие объективные данные.

— Видимо? — спросила она, поведя на него повеселевшими глазами. — Хотя да, вы ведь не верите, вам надо знать. Мы их сейчас усыпим, — она наклонила флакон над ватой в горловине стакана. Пряно запахло эфиром. — Капнем им сейчас... Есть у вас чистая бумага? Подстелите скорее вот сюда. Вот так...

И, вынув из стакана вату, она вытряхнула на белый лист мгновенно уснувших мушек, похожих на горсточку проса.

— Вы проводите эксперимент — вы и считайте.

Федор Иванович начал передвигать мушек кончиком карандаша, отделяя крылатых от бескрылых.

— Сорок восемь, сорок девять, — шептал он, шевеля бровью и сопя.

— Побыстрее, а то начнут просыпаться!

— Девяносто две, девяносто три... Крылатых девяносто восемь!

— Запишите — и крылатых обратно в стакан. Вату сразу на место. Считайте бескрылых!

Бескрылых оказалось тридцать четыре.

— Всего сто тридцать две, — сказала Елена Влади-

мировна. Теперь пишите. Умеете пропорции составлять? Сто тридцать два относится к тридцати четырем,— тихонько загудела она, почти касаясь щекой его уха,— как четыре к иксу.

— Да, да...— кивал Федор Иванович.— Да. Икс получается — один и три сотых.

Высчитали и долю крылатых мушек — получилось две целых и девяносто семь сотых.

— Ну вот. Теперь вы своими руками сделали «один к трем».— Елена Владимировна откинулась и посмотрела на него прямо — в упор, через большие очки.— Три сотых — это можно не считать. У крылатых могли погибнуть два яичка...

— Да, понимаю, Елена Владимировна, понимаю, ваш взгляд,— сказал он, краснея.— Спасибо. Больше ничего не могу сказать...

Тут захлопала крышка чайника. Федор Иванович выдернул шнур из розетки. Помолчав, побарабаиив пальцами по столу, он сказал:

— Я собирался пить чай. Не разделите со мной?

— А если не разделю?..

— Н-не знаю, что и сказать. Такой вариант не был предусмотрен.

— Вы какой-то в последние дни... Исчезаете как-то. Вот сейчас — получили, что иадо, свои достоверные данные — и сразу исчезли, нет вас. Вам ие наговорили про меня ничего?

— Н-нет. Я забыл вам отчитаться за свой визит к Ивану Ильичу. Микротом я отнес, он был очень рад, и мы хорошо поговорили. Наверно, будем друзьями. Если примет мою дружбу. И даже если не примет... я всегда буду ставить его интересы выше своих... Он вериул вам портфель?

— Я больше не могу-у — вдруг протянула она жалобно.— Ну что это вы! Прячетесь, слова всякие. Отчет какой-то... Как не стыдно, я, вот видите, зашла гораздо дальше, чем вы. Давайте помиримся! Ну давайте помиримся, Федор Иванович! И опять начнем заниматься ботаникой!

— Сначала объяснимся,— он с прохладной благосклоиностью посмотрел ей в глаза и вдруг заметил, что рука его сильно трясется.— Объясиимся. Вы мне предлагаете дружбу...

— У нас же была... Я предлагаю ее воскресить.

— У меня условие: без всяких боевых заданий. И открытость!

— Некоторые вещи я не могу вам...

— Во-от! Начинается! Вы кто? Кот, вот кто вы, мягкий кот, живущий сам по себе!

Она широко раскрыла веселые глаза.

— Вы тоже полны таинственности. И умеете ни за что обижать.

Вместо ответа Федор Иванович достал из письменного стола две чашки и блюдца, выложил коробку с помадками и батон. Он заварил чай в круглом белом чайнике и стал разливать кипяток и заварку по чашкам, а она молча следила.

— И дружба бывает тоже страшно ревнива,— сказал он, вдруг резко обернувшись к ней.— Знаете, что вы слышите сейчас? Друга ропот заунывный. Если нам удастся что-нибудь воскресить, то я вас уже не отдам никому. Вцеплюсь и не отдам! И не позволю больше ни с кем водить загадочное... Всякие непонятные дела. Подумайте, я серьезно.

— Мне не о чем думать. Не о ком...— и она тихонько положила на его руку свои легкие, очень маленькие, как у девочки, пальцы, шершавые, как картофельная кожура.— Это ничего? Я вам не помешаю хозяйничать?

— Нет,— сказал он. В этот миг кривая их отношений, вся состоящая из замысловатых зигзагов, вдруг ринулась вверх по лихорадочной восходящей — к какому-то ужасному обрыву — она не может ведь так восходить все время, так не бывает.— Нет,— повторил он, боясь шевельнуться,— не помешаете. Я и одной могу...

Он крепко прихватил указательным пальцем ее пальцы — чтобы оставались на месте, и очень ловко стал распоряжаться свободной левой рукой. Подвинул к Елене Владимировне ее чашку и коробку с помадками.

— А вам удобно будет пить? Одной-то рукой...

— Какие уж тут удобства,— она стала тише и мягче.— Если такие жесткие условия. Прямо кабала...

— Условия жесткие, и я на них настаиваю.— Он сказал это с дрожью. Он отчаянно в этот момент ее любил, забыл обо всех своих установках. Она, конечно, видела все, боялась посмотреть на него.

— Когда-нибудь я эти условия приму. Может быть, скоро. Есть обстоятельства, Федор Иванович, существовавшие до вашего появления у нас...— говоря это, она

сильнее нажала на его руку.— Ваш отдаленный голос должен бы вам сказать, что в таинственных делах кота для вас нет никакой опасности. Говорить вам я ничего не могу, вы сейчас же произведете расследование, и окажется, что я вру. Так что придется вам согласиться на временное ослабление режима...

Она допила чашку и с мягкой настойчивой силой отняла свою руку. На руке были часы.

— Уже девятый час. Я должна идти...

— Я провожу вас,— сказал он, откашлявшись.

— Пойдемте... Этих мушек я беру с собой. Не хочу их убивать.

Они вышли на крыльцо. Уже горели желтые фонари. Среди быстро густеющей вечерней синевы темнела хмурая туча парка. Елена Владимировна потянула своего спутника за рукав, они почти перебежали открытое место и в теплом мраке под деревьями сразу замедлили шаг. Рука Елены Владимировны вкрадчиво забралась под его руку, и он чуть не умер от волнения. Но, сделав несколько шагов, оправившись от этой раны, он сам нанес себе следующую: он обнял ее за то место, о котором мечтал — за самое тонкое место, где пояс халатика. Хотя нельзя было этого делать. И обнял так, как мечтал — коснулся пальцами своей груди. Он почувствовал — Елена Владимировна вся напряглась, как от удара.

Свободной рукой он взял ее за руку, и они молча побрели куда-то во тьме, спотыкаясь о корни.

— Леночка!— шепнул он ей прямо в волосы, туда, откуда шел запах свежего сена и полевых цветов.

Они остановились. Федор Иванович не мог уже оторваться от этого сена и цветов. «Леночка!»— шептал он, все сильнее поворачивая ее к себе, и осторожно поцеловал — сначала пустое пространство, потом очки, потом что-то маленькое, живое и горячее — это были губы. Он так и припал к ним, но тут ее руки с неожиданной силой отбросили его.

— Тьфу! Ужасно!— волны отвращения сотрясли ее.— Какая конюшня! Бр-р! Вы курили! — закричала она со слезами, отплевываясь.— Не думала никогда, что это такая гадость!

Они прошли молча несколько шагов.

— Ничего себе угостил! — она опять содрогнулась. И добавила с сухим смешком: — Ну и ну... Первый поцелуй!

В убитом молчании Федор Иванович поплелся за нею через парк, чуть различая впереди себя в темноте маленькую сердитую тень. В поле Елена Владимировна ускорила шаг — она спешила куда-то. Не проронив ни слова, они прошли мост, зашагали по освещенной улице. В арке, над которой висел чуть различимый во тьме спасательный круг, Елена Владимировна остановилась.

— Дальше я пойду одна.

— Елена Владимировна! Вы меня не простили? Вы не умеете, оказывается, прощать.

— Вот как раз и умею. Это вы оказались не на высоте — накурился гадости и пошел провожать. Я-то прощать умею.— Оглянувшись по сторонам, она коснулась его щеки детским поцелуем.— Вот так! Теперь смотрите: здесь черта. Ее никогда не переступайте. Пока не разрешу.

— Но я могу к поэту...

— К поэту? А зачем вам к нему? Ну, хорошо. Не переступайте после шести вечера. Может плохо кончиться для нас обоих.

— Подчиняюсь. Согласен. Вам известно, Елена Владимировна, что был такой Миклухо-Маклай? Путешественник.

— Был, знаю....

— Он высадился на острове, где жили воинственные папуасы. И лег на берегу спать. Без оружия. И этим покорил туземцев.

— Значит, я воинственный папуас?— она напряженно засмеялась и поднесла близко к очкам часы.— И вы хотите меня покорить?

— Как Миклухо-Маклай. Вы можете таиться, а я буду открытым. Лягу на берегу спать, несмотря на вашу подозрительную деятельность. Может быть...

— Хорошо, папуасы уже вас простили и покорены. Я бегу, ложитесь спать, спокойной ночи.

И, махнув ему рукой, она побежала в арку. Вскоре близко зарычала пружиной и хлопнула дверь подъезда.

Федор Иванович остался стоять перед запретной чертой. Она представляла собой границу между новым асфальтом тротуара и более низким и старым асфальтом двора. Он не мог оторвать глаз от этой границы.

Ему хотелось пересечь ее и броситься вдогонку за Еленой Владимировной. Но он тут же понял, что она уже далеко, ее уже не догнать.

Медленным тягучим шагом он побрел от арки к центру города. Пройдя два квартала, он спохватился и почти бегом вернулся назад. Да, окна поэта были попрежнему темными. Даже чернее, чем другие темные окна дома. Федор Иванович, забыв о запрете пересекать черту, ринулся в арку, вбежал в подъезд поэта, и тяжелая дверная створка, зарычав, резко хлопнула за ним. Все сильнее чувствуя какое-то новое волнение, почти ужас, он одним духом взбежал по лестнице на четвертый этаж и остановился перед черной дверью с бронзовыми кнопками. Глубоко вдавив красную горошину звонка, он стал ждать. За дверью не слышно было ни звука. Он опять позвонил, держал палец на кнопке с минуту. Тишина за дверью пугала его. Приложив ухо к холодной искусственной коже, он затаился. Ему показалось, что за дверью кто-то ходит, он даже различил что-то похожее на человеческие голоса. Еще раз нажал кнопку и еле услышал где-то вдали серебристую нитку звонка. Он три раза раздельно ударил в дверь тяжелым кулаком. Подождал и еще ударил несколько раз.

— Вы чего здесь дверь ломаете? — раздался над ним глухой воющий голос. Повеяло водкой. Он оглянулся. Позади него стоял громадный мужик в белой майке, обтянувшей колоссальную жирную крапчатую тушу. За его спиной была открыта другая дверь — это был сосед Кондакова.

— Чего, говорю, здесь... Чего разоряешься? — недобро спросил он.— Не видишь, человека нету дома?

— Мне срочно нужен поэт Кондаков.

— Утром приходи, получишь своего поэта. Весь подъезд поднимаете своим стуком. То старик стучит, то молодой...

Федор Иванович понял, что ему здесь делать нечего. Легонько сбежал по лестнице — на третий этаж, на второй... Оглянулся. Кудлатая башка смотрела на него сверху, светясь любопытством и смехом.

— Давай, давай! Чего тут... размышляешь...

Выйдя из арки, Федор Иванович остановился. Потрогал лоб: ему показалось, что у него начался жар.

— Ты чего остановился? — послышался где-то вер-

ху над ним дымчатый бабий голос. Федор Иванович поднял голову. На балконе за спасательным кругом маячило голое пузо Кондакова, угадывался халат.— Иди, иди, куда шел!

— К тебе я шел! — крикнул Федор Иванович и побежал в арку, влетел в подъезд.

Он несся наверх, чтобы сломать черную дверь, ободрать на ней всю кожу. Но дверь была открыта. Завернутый в свой малиновый халат, добродушно улыбаясь, в прихожей стоял Кондаков. За его спиной с ухмылочкой двигался его нечесаный сосед в белой майке.

— Заходи, Федя,— Кеша пропустил его в первую комнату. Здесь горел яркий свет, на столе среди стаканов и бутылок была шахматная доска, уставленная фигурами.

Федор Иванович бросился к двери во вторую комнату, но Кондаков уже стоял у него на пути.

— Ты с ума сошел, Федя! Туда нельзя.

Федор Иванович хотел было отодвинуть поэта, но Кеша шире расставил ноги.

— Только через мой труп. Вернее, через твой труп.

И взглянул на своего соседа в майке. Тот прошел между ними к столу, нечаянно оттолкнув Федора Ивановича, и, сказав «извиняюсь», налил себе полстакана какого-то вина и выпил.

— Ревнуешь? — мягко спросил Кондаков.— Счастливый человек! А я уже давно забыл, что такое ревность,— он махнул рукой.— Старею. Одни деловые отношения. Выпей, Федя.

Федор Иванович страшным быком уставился на него.

— Почему это ты... Кто тебе сказал, что я ревную?

— Смотри-ка! Он, правда, ревнует! — Кондаков захохотал.— Дурачок, у меня никого нет! Пусть я плюну тебе в глаза, если вру! Не веришь? Ну иди, посмотри, кто там у меня. Убедись.

Он даже втолкнул его во вторую комнату. Федор Иванович увидел в желтом полумраке знакомую скомканную постель, бутылки и стаканы на полу.

— Разрешаю и под кровать,— сказал поэт, глядя на него с веселым интересом.— Валяй!

Федор Иванович покраснел. Потоптался, не находя себе места, и вышел в первую комнату.

— Чудак! Мы в шахматы весь вечер режемся! Вот

с твоим тезкой, с Федей. Третью партию только что начали.

— Мой тезка... Его же здесь не было!— Федор Иванович, совсем сбитый с толку, рассеянно посмотрел на шахматы. Посмотрел внимательнее, и кровь с сильным напором прилила к корням его волос. Оба черных слона стояли на черных полях! Оба короля и белый ферзь были под двойным боем. Фигуры стояли неправильно — их расставили второпях кое-как вовсе не для игры.

Федор Иванович почувствовал, что сейчас упадет. Посмотрел на Кондакова с тоской и молча вышел на лестницу, запрыгал по ступенькам вниз. Две нечесаные головы показались наверху над перилами, смотрели ему вслед. «Тезка» смотрел весело, Кондаков — с острым, воспаленным вниманием.

На следующий день он пришел в институт с опозданием — чтобы не встретиться с Еленой Владимировной. Неразбериха, которая поселилась в нем после вчерашних встреч с нею и с поэтом, заставила его сжаться и уйти в глубокую тень, чтобы там, выждав, постепенно прийти в себя. Сам он не был уже способен внести ясность в свои дела, все должно было прийти извне. Но так как ничто извне не приходило, он и на следующий день скрывался, и так прошла целая неделя. А потом он сообразил, что такое поведение может привлечь внимание, что оно может быть истолковано не лучшим для него образом. Поэтому он изменил линию и как ни в чем не бывало появился утром в комнате за фанерной перегородкой. Здесь за четырьмя тесно стоящими столами собрался почти весь состав проблемной лаборатории — по двое за каждым столом. Все листали журналы, приводили в порядок свои записи за лето. Федор Иванович зашел к ним, как бы мимоходом, и поставил на ближайший стол пухлый портфель. Елена Владимировна за дальним столом повернула к нему сияющее лицо и поздоровалась, задержав на нем взгляд, полный счастья. Потом отвернулась — видимо, обиженная холодностью его взгляда, и больше Федор Иванович не видел ее лица, только темный лапоток на затылке, сплетенный из кос.

— Как там с планом на следующий год? — спросил Ходеряхин.

— Академик готовит нам особую программу,— сказал Федор Иванович.— К зиме получим. Пока — всем приводить в порядок материалы. Он сказал, что вся ваша работа пойдет в дело.

— И тех и других? — спросил Краснов.

— И тех и других, — ответил Федор Иванович, любуясь косо бегущими прозрачными волнами волос на его лысоватой голове.

Ходеряхин поднялся, чтобы выйти в коридор, и, достав по пути пачку сигарет, протянул начальнику.

— Федор Иванович, не закурите?

— Я не курю,— спокойно сказал Федор Иванович.

— Надолго?

— Навсегда.

Елена Владимировна вспыхнула и полуобернулась. И тут же пресекла это движение.

— Что это с вами случилось? — не отставал удивленный Ходеряхин.

— Почувствовал, что в жизни это — совсем ненужная, лишняя вещь,— ответил Федор Иванович.— Я сегодня решил выбросить все свои запасы. Потом сообразил: надо принести сюда, может, кому понравится. Я сам их набиваю. С донником.

И запустив руки в портфель, он выложил на стол горку своих длинных папирос. Все курильщики подошли, взяли по папиросе. Шамкова, держа папиросу между двумя бледными пальцами, закурила и опустила голову, вникая во вкус табака.

— Я беру себе половину,— заявила Анна Богумиловна.

— Еще принесу,— сказал Федор Иванович.— У меня почти годовой запас.

— А что, бросить курить так трудно? — послышался голос Елены Владимировны.

— Детка, невозможно! — гаркнула Побияхо.— Кошмар! Адские муки. Как тебе попонятней объяснить... Это все равно, что бросить любить.

— Бросить любить легче,— сказала Шамкова.

— Пра-а-авда? — пропела радостно Елена Владимировна, наклоняя голову вправо и влево.— Неужели легче!

— Я видел бросавших,— сказал Ходеряхин.— И сам бросал. А таких, кто не начал снова, не видел.

— Да-а-а? — пропела Елена Владимировна.

В полдень они встретились в дальнем конце длинного сводчатого коридора.

— Миклухо-Маклай, вы правда бросили курить? — спросила она, потянув его за локоть.

— Правда.

— Навсегда?

— На всю жизнь.

— А почему вы бросили курить? А-а?

Она все время тормошила его: потянет за локоть и оттолкнет. И можно было насладиться прекрасными мгновениями. Но слишком свежо помнился вечер у поэта. «Господи! — думал Федор Иванович.— Пусть ходит куда угодно. Сдаюсь! Только улыбалась бы и тормошила меня вот так!»

— Почему вы бросили курить? — настаивала она, дергая его за локоть.

— Это моя тайна. Выходите за меня замуж, тогда скажу, почему. А до тех пор не скажу.

— Ишь какой! А я не выйду, пока не скажете. Не могу же я кота в мешке...

— Это вы кот в мешке. Что делали вечером после того, как мы... Можете не отвечать, я соблюдаю установленный режим.

Мгновенно они договорились встретиться вечером. Когда стемнело, они нашли друг друга в парке на Второй Продольной аллее. Елена Владимировна сама, сжавшись, словно озябнув, скользнула под его локоть, их руки нашли свои места, и они быстро зашагали в ногу — в самую темень, уже не спотыкаясь.

Они долго шли молча, и иногда крепко охватывали друг друга, словно убеждаясь, что наконец они нашли то, что долго не могли найти.

Потом Елена Владимировна вдруг спросила:

— Почему скрывались целую неделю? Почему даже не позвонили?

— Видите ли... Я вас... Я к вам очень привязан. Вы мне кажетесь такой необыкновенной... Если бы вы знали, как сейчас, когда я вам это говорю, как сейчас меня тянет изнутри тоска...

— А почему же не позвонили?

— Вот, дайте досказать. Вы запомнили все, что я вам сказал сейчас?

— Ну, говорите, говорите.

— Так вот. Я заметил, что у вас что-то... Вы мне

уже давно ужасно врете. И не заботитесь, чтоб было безболезненно...

Она как будто смутилась чуть-чуть.

— И не звоните. Ведь и вы не звоните! И мне кажется, что вы хотите, чтобы я нашел в себе силы... Чтобы я сам нашел путь и отошел... Самой оттолкнуть меня — это меня унизит. Вы умная, этого не хотите допустить — и подстраиваете так, чтобы я ушел сам. Ну, я понял вас и помог вам...

— Вы очень ревнивы...

— Да, Леночка, да! Прямо умираю. Схожу с ума, и начинается прямо какой-то бред.

— Я заметила. Тяжело вам?

— Ох, Леночка. Я петушился перед вами сейчас. А найдутся ли силы...

— Не знаю, что с вами делать. Видно, все-таки да... Придется мне выходить за вас замуж. Когда открою все, вы поймете и все мне простите. Даже нечего будет прощать.

— Леночка, даже если будет что прощать... Я до такой степени попался... Для меня нет никаких путей отхода назад.

— Значит, бросить курить легче?

— Бросить курить — это пустяки.

— Но вы мне еще ни разу не сказали... это слово.

— Разве? По-моему, я его много раз кричал вам.

— Да-а-а? В общем, да, мне казалось иногда, что вы говорите...

— Прямые слова — это же не для выражения... этой вот... вещи. У нее свои слова. Эта вещь, если настоящая, любит тайну, темноту и иносказание. Когда идут по улице в обнимку — там этого нет. Или когда он при всех берет ее за холку и ведет...

— Вот и я так считаю. Все боялась. Думаю: если он меня посмеет когда-нибудь... за холку... Это будет все. Видите, как у нас с вами.

Они умолкли и долго медленно шли — в полной темноте.

— Как же я теперь буду вас называть? — вдруг спросила Елена Владимировна.— Федяка? Можно я буду называть вас Федор Иванович? Федор Иванович... Прямо мистика какая-то. Эти звуки я полюбила в первый день, до того еще, как узнала вас. По-моему, про имя так говорить разрешается... Этим словом...— она

сжала и отпустила его руку.— И потом, сейчас такая темнота...

Он хотел ответить и не смог: вроде как слезы собрались выступить, и он почувствовал, что голос его выдаст. Хотел поцеловать ее, но сил хватило только приложиться щекой к ее виску.

— Как хорошо! Вы теперь боитесь после того... После табака. — Она тихонько засмеялась.— Ничего, это хорошо. Вы — серьезный. И я тоже. У нас все будет серьезно.

Его голову охватили во тьме маленькие шершавые пальцы земледельца, и на все его лицо посыпалось множество легких, живых и горячих прикосновений.

— Ну как? — спросила она, переводя дыхание.— Помирились со мной?

— Ничего не понимаю,— шепнул он.

Бывает в любви зенит. И ночь зенита. И большей частью мы в лицо эту ночь не узнаем, она захватывает нас врасплох, и мы бываем не готовы к тому, чтобы принять ее всю в себя, рассмотреть и запомнить навсегда все ее мгновения. Сохранить в себе все, что можно. И потом она живет — уже в грустных воспоминаниях об упущенном, не увиденном, не оцененном...

В полночь, проводив Елену Владимировну до ее двери, Федор Иванович шел домой неверным шагом, как после легкой выпивки. Он еще не открыл для себя этого явления — зенит любви. Он об этой ночи еще вспомнит и будет отчаянно бить себя кулаком по голове. Но уже сейчас тихо надвигалась пора грустных воспоминаний. Пора, которая будет длиться всю жизнь.

«Почему я не кричал ей о том, что люблю? — уже отчаянно корил он себя.— Почему выдумал какую-то теорию о запретных словах? Теоретик! Почему послушно пошел провожать, почему не удержал до утра в парке? Почему водил все по темным местам — так и не увидел ее глаз, когда она произносила: «Можно я буду называть вас Федор Иванович?» Даже не верится — она ведь сказала: «Эти звуки я полюбила...»

В эту ночь у Федора Ивановича было еще две встречи. Первая — по телефону. Он пришел домой и, не гася света, растянулся на койке. Протянул руку к папиросам и отдернул. Минут через двадцать его оглушил телефон странным пронзительным ночным звонком.

— Это ты? — Коидаков иервно хрипел и дышал почти рядом.— Уже пришел, темнила? Так скоро?

— А что?

— Я видел тебя с твоей дамой. Ты знай — если затаскиваешь даму в темный уголок, там обязательно стою я.

— Ошибаешься. Это была сослуживица. Поздио засиделись на работе, и я проводил ее.

— Не разочаровывай меня. А в темном уголке с кем был?

— Мы шли без остановок. Прямо к ее дому.

— Разве в ее доме нет уголков?

«Слава богу, что не затащил,— подумал Федор Иваиович.— Он все спрашивает иеспроста. Ловит».

— Я же говорю — сослуживица. Я ее доставил прямо к лифту. А ты что — завидуешь? У тебя голос...

— Неужели! Помеиялись, ха-ха, местами? Так это ты к ией меня приревновал?

— Да нет же, Кеша! Это совсем другое дело.

— У тебя с ней как? Было?

— С кем? Я не отвечаю на такие вопросы.

— Встреча с вами вдохновила меня на стихи.

— Давай.

— Постой. Рано еще. Лучше скажи: это ты к ией тогда меня...

— Да нет же! К другой.

— А к кому? По-моему, ты был с ножом.

— Я вообще не ревнив. Одни деловые отношения. Старею...

— Ха-ха-ха! Он мне — мое вериул! А мог бы вполне приревновать. Я люблю таких маленьких. Конечно, и богатое, тяжеловесиое сложеиие имеет свои... Но я люблю, когда маленький Модильяии.

— По-моему, у Модильяни все девицы рослые. И потом, все его девицы ие умеют любить.

— Ни черта не поиимаешь в женщинах. Или притворяешься. Модильяни сидит в каждой красивой жеищиие.

— Этот вопрос у меня ие исследован так глубоко.

— Ты можешь себе представить маленького Модильяни? Ты на нее как-ибудь специально посмотри, когда оиа...

— Напрасно меня ловишь, Кеша. Я на нее никогда с этой точки... С этих позиций не пытался взгляиуть. У

нас исключительно деловые интересы. По-моему, когда работаешь вместе, настолько примелькаешься...

— Ты синий чулок. Или страшный притвора. Скажи мне, кто такой Торквемада? Тебя называют Торквемадой — ты знаешь?

— Кто тебе это сказал?

— А что, точно? Видишь, какая у меня информация.

— Н-да... Лучше ответь, почему это шахматы стояли не как у людей? Два черных слона — оба на черном поле...

— Ха-ха-ха! — залился Кондаков глухим хохотом. В его голосе все время звучал скрытый ревнивый интерес.— Говоришь, два слона? Этого тебе не понять, ты пить не умеешь. Когда мы с твоим тезкой хорошо выпьем, для нас все фигуры, которые тебе показались неправильно поставленными...

— Мне они не показались...

— Не знаю, не знаю. А что — на тебя произвело впечатление? Ревнивцу и пьяному — им всегда кажется. Все фигуры для нас, когда выпьем и садимся играть, стоят правильно. Сами же ставим. И партнер не сводит глаз. Мы обдумываем ходы и за голову хватаемся, когда партнер удачно пойдет. Представь, он мне вчера поставил какой мат! Я уже почувствовал за пять ходов. Он говорит: мат, и я вижу — безвыходное положение. И сдаюсь. И руку ему пожал. А как они в действительности стояли — черт их знает. Ни тебе, ни мне не узнать.

— Ну, ты все-таки поэт.

— Но если б ты видел свое лицо, Федя. Ты ее сильно любишь. Я ее знаю, хорошая девочка. Как ты ушел, я сразу сочинил стихи...

— Ну давай же!

— Вот слушай...

И новым, плачущим голосом Кондаков начал читать:

В руках — коса послушной плетью,
В глазах — предчувствие беды, —
Как будто бы на белой флейте
С тоскою трогаешь лады...
Я сердцем слышу этот вещий
Твоей безгласной флейты плач.
Но завтра снова будет вечер
И ты войдешь, снимая плащ...

Нет, ты скажи, какую цену
Ты отдала за наш кутеж?
Какую страшную измену
На эту музыку кладешь?

Трубка замолчала. Они оба долго не говорили ни слова. Потом поэт угрюмо спросил:

— Ну, как?

— Хорошо,— сказал Федор Иванович. Вернее, с трудом выдавил.— Почему флейта белая?

— Была сначала черная. Потом тихая. Тебя это задело?

— Я просто так. Просто подумал: в стихах не должно быть точных адресов.

— Ага, кажется, честно заговорил. Прорвало, наконец. Значит, белая флейта — адрес точный? Давай дальше. Какой адрес будет менее точным? Черная флейта?

— Автору виднее.

— Опять ушел. Темнила...

Вот какая беседа по телефону произошла у него в эту ночь, и он не мог заснуть до утра. Хоть он и решил быть Миклухо-Маклаем и несколько раз уже заставлял себя, отбросив оружие, лечь на берегу опасного острова, сон все-таки не шел к нему. Поэт все в его голове перемешал, внес неразбериху.

Незаметно наступил рассвет, и за открытым окном в прохладе и пустоте вдруг зачирикали три или четыре воробья. Федор Иванович, крякнув с сердцем, вскочил с постели и вышел на крыльцо. Его словно окатило родниковой водой — так резка была утренняя свежесть. Чувствовался конец сентября.

Сжав кулак, он нанес несколько ударов в воздух — вверх, вперед и в стороны и, сбежав с крыльца, бодро зашагал к парку. Эхо его шагов отскочило от каменных стен. Хоть чириканье воробьев стало дружнее, пустыня не просыпалась. Ни вокруг институтских корпусов, ни в аллеях парка не было видно ни одной человеческой фигуры.

«Модильяни...— думал Федор Иванович, стараясь понять причину ночного звонка Кондакова.— Он неспроста позвонил. Но при чем тут Модильяни? Модильяни передает в женщине то, что понятно в ней многим. Он лишает ее индивидуальности. Вынул из нее самый главный алмаз...»

И по свойственной многим мыслящим людям манере он тут же вцепился в мысль, которая еще только начала сгущаться, показала ему свой не совсем определившийся край. «Синий чулок... Как зло было сказано. Может, он это потому, что сам не может мыслить и беседовать в этом плане? А *там* требуют именно такого, более глубокого подхода... Потому как подход такой показывает и самого человека, который говорит... Тараканы-то надоели. Сегодня тараканы, завтра тараканы... И получилась заминка. Но я — какой же я синий чулок? Ведь я ужасно... Я не могу без нее!» — отдал он вдруг себе отчет. И с этого мгновения еще сильнее стал в нем этот бес. Тут же Федор Иванович как бы спохватился: «Ведь меня так ужасно еще ни к кому не тянуло! Вон ходят, „маленькие и большие Модильяни", и я тупой, никак не реагирую. Значит, тут есть еще что-то». Он не мог представить себе, как это можно «иметь дело» с женщиной, которую не любишь смертельно. Как это могут с применением угроз, посулов, хитрости, насильно, за плату... Как это можно — «держать про запас». Странные существа! Как понять их чувства! Опять это существо из джунглей Амазонки, с зеленой шерстью, висящее вниз головой! Так же, как не постигнешь никогда, что думает собака, как не вникнешь в ход мыслей идиота, — так непонятны были ему и эти люди. А Кондаков врет, что забыл, что такое ревность. Это все у него ораторское искусство. Великий маг лукавства. Его тоже никогда не понять! И то, что он о Модильяни говорит, — тоже неправда. Тоже врет. Маска. А вот в стихах он выдал, выдал себя. Странно, как люди непонятны друг другу. Какая скрытность! А еще о какой-то общности говорим! Она, всеобщая общность, могла бы быть, если б не было непрерывного предательства — маленького и большого. Если бы не было всюду «страстей роковых», заставляющих нас, красиея, делать то, чему нет прощения.

Так его понесло — от любви и желаний к неведомым материям, и он еще быстрее зашагал по бесконечной аллее.

Но Елена Владимировна вернулась и опять мягко взяла его за руку. «Нет, хорошо, что я с нею был в рамках,— подумал он.— Да и не мог бы! Она сама определяет мое с нею поведение. Но кто она такая? Может ли кто-нибудь еще читать ее иероглифы?

Нравится ли другим прочитанное? А что она читает во мне?»

Вдали, в конце аллеи, пронизывая парк, горели, как струи розового сиропа, первые солнечные полосы. И в одной из полос что-то красное вспыхнуло и погасло — ее пересекла какая-то фигура. Кто-то спешил навстречу, шагая на длинных ногах, быстро увеличиваясь. Это был тонкий, гибкий, спешащий куда-то Стригалев в своем малиновом свитере. Слегка выкатив глаза, он смотрел вперед и вверх, вцепившись в мысль, которая бежала над ним по невидимому проводу.

Федор Иванович, еще не остывший от своих переживаний, посторонился, и малиновый свитер пронесся мимо.

— Иван Ильич!

Троллейбус замедлил ход и остановился, приходя в себя. Узнав Федора Ивановича, Стригалев чуть заметно двинул щекой — он, похоже, совсем разучился широко, ярко улыбаться. Сделал пальцем жест: «я давно хотел вам нечто сказать».

— Тоже, значит, Федор Иванович, ходите по ночам? Вроде меня...

— Да вот... Ночь какая-то. Так и не заснул,— Федор Иванович пошел с ним рядом.

— И у меня. Сувальды-то сдвинул с места... А тут попробовал еще предложить руку и сердце. Правда, то, что говорилось, понимал один я. Она, конечно, ничего не поняла из моей болтовни...

«И она все, все поняла»,— подумал Федор Иванович.

— Но я-то увидел все. Можно ставить крест. Если бы что было, она бы сразу поняла. Ждала бы этого скрипа. Надо, надо ставить крест. Троллейбус слишком долго смотрел на свой провод. — Тут он неумело улыбнулся и посмотрел в глаза Федору Ивановичу с доверчивой дружбой.— Ей — двадцать семь, а мне сорок два. Пятнадцать лет разницы, Федор Иванович. Не тяните с этим делом.

— Сначала нужно определить, с кем я. А потом и жену искать. Среди своих.

— Вот-вот. Будете еще определять. Уж будто до сих пор не решили! Я вас давно зачислил в наш табор. К нам приходят только хорошие ребята. А уходят... Вот Шамкова перебежала. Как и следовало по объективному ходу... Глуповата. Все стало теперь на свое место. Шамкова — туда, Дежкин — сюда.

— Вот что только буду делать в вашем таборе...

— О-о! Бывшие ваши нам дело подыщут. Про «Майский цветок» вы теперь знаете. Когда-то верили, теперь знаете. Это я вашими словами. Теперь я хочу вас... Именно вас ввести в курс одного дела. Именно вас. Я как раз собирался. Вы, я думаю, знаете про «Солянум контумакс»? Ну да, вы ведь во время ревизии...

Федор Иванович кое-что знал об этом знаменитом диком картофеле, найденном в Южной Америке.

— Я знаю этого дикаря,— сказал он.— Устойчив против всех рас фитофторы, против вирусов, ризоктонии, против эпиляхны... Против нематоды...

— Еще против чего? Не знаете? А колорадский жук?

— Ну, это еще не доказано...

— Уже доказано. Личинки на нем не развиваются, дохнут. Но это все ладно, это в книжках есть. Прочитаете. Вы знаете, конечно, что он не скрещивается с культурным картофелем? Ну да, ваш Касьян уже пробовал его воспитать. Сажал его в среду. Налетел и отскочил. Не с такой челкой к такому делу. На этого дикаря весь научный мир смотрит уже без надежды. Никому не удалось. А вот одному такому Троллейбусу... Помните в оранжерее? В горшке рос... Вам первому докладываю. Будете со мной...

— Я-то что. Разве что лаборантом...

— Дело почти сделано. Удвоены хромосомы! Что никому еще не удавалось. Уже второй раз ягоды снимаю. Как тут не завести два журнала — такая работа и в такой компании. Сейчас же сожрут. Затопчут и ничего не останется — ни человека, ни работы. Только вам говорю. Вы думаете про скрип, про сувальды — верх доверия? Не-ет, Федор Иванович. Это не доверие, а так... Излияние. Я вас наблюдал и теперь начну вводить в курс дела, у которого я в плену. Вот это будет верх доверия. Мало ли что случится. Кто побывал *там,* да еще не раз, тот становится умнее. Не все, правда. И выносит оттуда руководящее правило. Такую максиму. Если хочешь заниматься наукой, если у тебя в руках открытие... Если оно бесценное. Если ему что-то грозит... Забудь о смерти. Поднимись над этим биологическим явлением. Страх смерти — пособник и опора всяческого зла. Отними у зла единственную его силу — возможность лишать свободы и жизни... Помните, как Гамлет, когда его ранили отравленной шпагой...

— Это вам кто сказал?

— Не важно, кто. Некто.

— Ну, значит, доверие неполное. Мне тоже сказали, потому и спросил.

— Мы оба знаем этого человека — вот и славно. А имя называть вслух не будем. Согласны?

— Хорошо.

— Так вот... Тут есть еще некоторый особый поворот. Гамлет, узнав о своей смертельной ране, перестал быть подданным короля. Он приготовился умереть, но перед этим в отпущенные ему две минуты жизни натворил много дел — разгрузил всю совесть. А у меня такой поворот: мне двух минут мало, ничего не сделаю, поэтому я должен не умирать, а жить, что бы ни произошло. И двигать дело. И если я помру, тому, кто меня отравленной шпагой... Убийце... Это ему будет только казаться. Я и после этого буду жить, и меня уже никто не поймает, и я доведу дело до конца, что бы ни писали в своем журнале Касьян и Саул. Потому что меня уже будет не узнать. У меня будет ямка на подбородке, и звать меня будут Федор Иванович Дежкин.

Сказав это, Стригалев остановился и, глубоко втянув губы, уставился на своего избранника.

— Вы думаете, это у меня такая манера шутить?

— Нет, я все понял и уже пошел дальше. Есть тормоз: у меня же несколько своеобразная подготовка. Мне придется садиться за парту.

— У вас главная подготовка прекрасная. В нашем городе все мыслящие люди знают друг друга и общаются. Так что наблюдать нового человека легко. Мне известно из нескольких источников, что Федор Иванович ломает голову над приметами добра и зла. Чтоб меньше ошибаться в жизни. И будто уже напал на свежий след. И будто это очень серьезно. Его за это даже назвали Учителем. А кто ломает голову над такими вещами, тому я могу довериться. А что касается парты, Федор Иванович, то опять же: мне известно, что вы хороший ботаник. Это общее мнение. В земле тоже поковырялись достаточно. Книги читать умеете. Термины знаете. И я под боком буду. Хотя бы первое время. Пока шпагой не царапнули...

— Ну уж...

— Я разговариваю с вами серьезно. Так что выбор сделан на основании достаточных и достоверных...

Они оба засмеялись, глядя друг другу в глаза.

— Ну как? Я же знал, что вы согласитесь! — В голосе Стригалева уже звенела мальчишеская радость. — А дело-то какое! Дело-то как раз по плечу нашедшему ключ!

— Иван Ильич, я жду конкретной программы.

— Ну, во-первых, придется размножать новый сорт. Который на смену «Майскому цветку». И доводить еще сначала придется. Это так, мелочи, почти все уже сделано. А во-вторых, нас ожидает этот дикарь, о котором мы говорили. Это и есть самое первое. Тайна. Ради него и вся конспирация. Я даже не хочу вас знакомить с моими ребятами, которые, как и я... Беречь и беречь надо, у Касьяна везде глаза. Чтоб не повторилась судьба «Майского цветка». Если Касьян возьмет наши новые работы на вооружение,— гибель всему и всем.

— Не возьмет. Не увидит.

— Мы говорили сейчас о сортах, которые увенчают некую нашу капитальную работу. Слушайте теперь о ней, об этой работе. Я еще год назад, Федор Иванович, затеял нечто и даже начал группировать факты... Давайте сядем вот здесь на лавку, вам придется писать. Вот вам мой блокнот... Вы меня слушаете? Вы думаете о чем-то другом. Между нами должна быть прямота.

— Я скажу. Я еще не пришел в себя от вашего сообщения. Как вы руку и сердце...

— Приходите скорей. Я давно научился встречать неожиданности. И вам надо этому научиться. Так вот, берите этот блокнот в руки...

«Э-эх! — горько подумал Федор Иванович. — Вот ты и забыл о своем скрипе и о сувальдах... Ученый!» И ему захотелось взять Стригалева за руку, помочь чем-нибудь. Стригалев опять прервал научную беседу, пристально и глубоко посмотрел.

— Вы готовы? Значит так. Нам нужно его, Касьяна, одолеть. Убрать это бревно с дороги. В интересах общества, в интересах будущего. Поэтому пишите. Это вы вставите в свой план. Пишите так: «В материалах, оставшихся после разгрома формальных генетиков, есть много таких, которые дают возможность в относительно сжатые сроки поставить сравнительные исследования. Это будет чистое сравнение — половина работы уже проделана руками наших противников, предпринявших подобную диверсию против нашей науки, счастливо пре-

сеченную в ходе недавней ревизии. Я отчетливо вижу, — пишите, пишите! — что сравнение будет не в пользу вейсманизма-морганизма. Эта работа будет содействовать окончательному торжеству передовой мичуринской науки, идей Т. Д. Лысенко и К. Д. Рядно». Написали?

— Написал. Я сам об этом деле уже думал. Еще тогда, во время ревизии...

— Я увидел это сразу по вашим глазам! И сказал себе: вот подарить бы Библии еще один сюжет. Вроде Юдифи с Олоферном. Как она соблазнила Олоферна и отрубила ему башку...

— А кто же был бы Юдифью? — с внезапным подозрением спросил Федор Иванович, которого совсем сбили с толку его запутанные отношения с Еленой Владимировной.

— Да вы же, вы! Что это с вами? Вы возглавите всю работу! Подозрений это не вызовет. Мы с вами теперь заговорщики, у нас общая тайна. И я вам разрешаю со мной на людях не здороваться, выказывать по отношению ко мне всяческое пренебрежение. Говорите направо и налево по моему адресу: «сволочь, схоласт, отшельник». Ночь, покров для злых намерений и дел, пусть будет теперь убежищем добру. Потому как что мы хотим сделать людям? Страдание? Учитель, отвечайте! Радость, радость мы хотим дать людям. Чудесные сорта! Убрать хотим бревно с дороги! Избавить от страха и ненужных забот. Это Касьян постоянно норовит, чтоб кто-нибудь страдал. А если мы и причиним страдание Касьяну, у которого вытащим из пасти чужой захваченный кусок, то тут даже математика будет на нашей стороне. Что говорил один учитель нашей Антонине Прокофьевне?

— Уже знаете!

— Такие вещи имеют крылья, Федор Иванович. Так что будем вместе переносить член уравнения с левой стороны на правую. Ну, как я? Усвоил на четверку?

— Все правильно. Пять баллов.

— Тогда расходимся. Блокнот отдайте мне. Страничку выдерите, она ваша. Сейчас Вонлярлярские выбегут на зарядку. Я найду вас, когда будет надо.

И, бодро подкинув вверх плоскую руку, Стригалев прибавил скорость и стремительно зашагал вперед по пустой аллее. Радость играла в каждом его движении.

VIII

Октябрь и половина ноября прошли в том же вертящемся и непроглядном тумане. И за окнами стоял густой туман. Федор Иванович ждал дела, о котором ему сказал Стригалев, и одновременно ждал особой программы, обещанной академиком Рядно. Он несколько раз на совещаниях у ректора и со своими сотрудниками сказал об Иване Ильиче: «Этот бедняга Троллейбус», «странный упрямец», «несчастный раб этой формулы „1:3", которая многих сбила с толку», «надо ему помочь». Схоластом он его все-таки не назвал. Надо отметить, что избранная линия поведения отразилась на нем, начала его сушить и подтачивать. Он очень быстро худел.

Елена Владимировна, когда он, покачав головой, ронял что-нибудь пренебрежительное о Стригалеве, оборачивалась к нему и смотрела вдруг загоревшимися глазами. Направляла на него через большие очки потоки ликующего интереса. Как будто все понимала, видела насквозь!

— Почему это вы вдруг стали так отзываться об Иване Ильиче? — спросила она однажды, когда сырым и холодным осенним вечером в ранней темноте он провожал ее домой.

— Не только вы имеете привилегию. У меня тоже есть тайны,— ответил он.— Когда-нибудь я вам открою все, и вы меня простите.

— Ваша тайна шита белыми нитками. Вы надели на белые одежды плащ! Надо меньше его ругать.

Она пискнула счастливым смехом и повисла на его руке — так ей все это понравилось.

Миклухо-Маклай по-прежнему лежал без оружия на опасном берегу, но островитяне держали себя с ним непонятно. Запретная черта на асфальте под аркой по-прежнему действовала. Из-за плохой погоды свидания в парке почти прекратились, и в то же время Елена Владимировна стала почти каждый день открыто, даже привычно говорить ему: «Сегодня вы ведете меня до моста — и ни шагу дальше». «Сегодня гуляем до семи, и я сразу покидаю вас». «Миклухо-Маклай! Лежать и не двигаться!»

Раза два она сказала: «Сегодня я свободна. Разрешаю сводить меня в кино».

«Елена Владимировна, — когда?» — спрашивал он почти каждый день.

«Вот беда. Обронила нечаянно слово, а он и вцепился, — отвечала она, лаская его взглядом. — После Нового года! Уже скоро. После Нового года!»

К концу ноября выпал снег и растаял. Федор Иванович надел своего «мартина идена» — прямое короткое пальто темно-коричневого агрессивного цвета в чуть заметную красноватую клетку и со скрытыми пуговицами. В начале декабря все окончательно побелело, воздух стал мягче. После звонка на перерыв из подъездов теперь вываливались толпы студентов —все полюбили игру в снежки.

Однажды в самый приятный солнечный тихий день Федор Иванович бежал налегке по тропке в снегу, и его поразило знакомое гусиное гагаканье, доносившееся из-за розового корпуса. Да, сомнения не было. Федор Иванович остановился, приводя в порядок свой смятенный дух. А из-за угла выкатывалась процессия — Варичев, Побияхо, Краснов, новый лектор, аспиранты. Все улыбались, все были счастливы, и в центре этого счастья топтался высокий, слегка согнутый Кассиан Дамианович — в заломленной папахе из мраморной с медью мерлушки, в расстегнутом черном и длинном пальто. На плечах был разложен воротник — та же богатая медно-мраморная мерлушка. Оранжевые лисы, как живые, шевелились, лезли на отвернутые полы. Мелькали высокие белые валенки. Не замечая своего великолепия, Касьян «по-народному» скалил желтые зубы, отвечая на шутки свиты.

Пока Федора Ивановича не увидели, лицо его приняло несколько вариантов выражения. Сначала он вспомнил историю с «Майским цветком», вспомнил Стригалева, и где-то вдали шевельнулось воспоминание о геологе. Как будто они были братья с Троллейбусом. И так как Федор Иванович был человеком искренним и склонным к быстрой реакции, взгляд его отяжелел и стал страшным — можно было подумать, что он подготовил убийство. Но тут с силой вырвалась вперед мысль об общем деле, о том, что ночь должна быть убежищем не только злу, но и добру, и еще о том, что член уравнения, перенесенный на другую сторону, меняет знак. На лице его появилось напряжение — он искал и не мог найти маску. Вдруг, как приказ и как выстрел, прозву-

чало: «Солянум контумакс!» И лицо его сразу изобразило умеренную улыбку и радость встречи. И, протягивая обе руки вперед, он устремился к академику. А тот прямо затанцевал в своих белых высоких валенках и раскрыл объятия. Навстречу Федору Ивановичу засияли серо-желтые жестяные глаза, и чуткое лесное существо, которое теперь поселилось в нем, сразу разглядело в этих глазах хитрого зверя с птицей в зубах, жившего там всегда. И нахохлилось, припало к земле — чтоб тот не увидел и не сожрал.

Это ему удалось, и Федор Иванович, в душе едко усмехнувшись, поздравил себя с дебютом.

— Вот они, вот наши молодые кадры! — академик Рядно обнял его, на миг прижав к своим лисицам. Больно похлопал по спине и отпустил. — С такими кадрами можно побеждать!

И все счастливые лица повернулись к Федору Ивановичу. Академик внимательно разглядывал его.

— Ты чего, сынок, вроде как спал с лица? Похудел!

— Не замечал, Кассиан Дамианович!

— Идешь против закона, сынок. Получившим повышение положено прибавлять в весе, солидностью обзаводиться. А ты худеешь. В меня, в меня пошел.

— Бегает все. Все бегом, бегом,— пробасила Побияхо.

— Бегает? Бегай, бегай, это полезно. А худеть — нехорошо.

— Курить бросил,— сообщила Анна Богумиловна.— Не курит.

— Вот это правильно, — похвалил академик. — Сейчас такое время. Все силы надо — в одну точку.

И процессия двинулась дальше.

— Так я что говорил? — загагакал академик, обернувшись направо и налево, возобновляя беседу. — Сначала войска, надев красные и голубые мундиры, выстраивались в колонны и палили друг в друга. Как дуэль. А потом появился цвет хаки. Маскировка. Куда ни посмотришь, везде поиски в области тактики. Сама природа указывает путь. Кто видел, как фаг впрыскивает себя в тифозную бактерию? Никто не видел? Что ж это вы, товарищи? Нехорошо... Ну, и я, по секрету признаюсь, тоже не видел! Но книгам верю. Не всем, правда. Он впрыскивает себя в нее и разрушает ее изнутри. Имеющий уши да слышит. Вейсманисты-морганисты давно надели хаки и впрыскивают свой яд в сознание на-

ших молодых... Я, конечно, неточно привел здесь... с бактерией. Занесло батьку...

Все вокруг весело загудели.

— Но мы в своей компании и поймем, как надо. Стоять надо крепко, товарищи. Враг опытен и про капитуляцию не думает... Фонарик такой бывает. На дне морском... Прогрессивный такой свет. Приветливо мерцает, понимаешь. А килька и бежит, и бежит. А под фонариком — пасть. Как гараж. Не подозреваешь, а уже в ней два часа плывешь... Уже хода назад нет, а ты все плавничками помахиваешь. Рыба-удильщик, или как ее... Килька не понимает. Но мы должны бороться за кильку. Не отдавать. У них тактика какая? Я ж их знаю, весь в синяках. Они — начетчики, затаскивают в дебри теории. А я ж не знаю этих Кювье и всех этих *ламатрификаций*. Этим я и отличаюсь, и признаю открыто — да, я не знаю, где и что сказал Кювье. Раз о Кювье до сих пор говорят, значит, был не дурак. Все-таки животное мог по косточке восстановить. Ну и пусть. Но я тоже время не терял, у меня опыт, наблюдения... Практика. А практика, она всегда оптику, как заяц лисицу...

Смеясь и перебрасываясь шутками, подошли к ректорскому корпусу. Здесь все опять остановились. Академик положил руку на плечо Федора Ивановича. Плотно обтянул губами выпуклые зубы, но губы опять разошлись.

— Значится, так. Ступай, сынок, к себе и жди. Мы сейчас с Петром Леонидычем посидим у него, побалакаем малость... Посекретничаем... И я приду к тебе. Есть серьезный разговор.

Федор Иванович ушел к себе. Часа через два голос академика послышался в коридоре. Федор Иванович вышел встречать. Академик опять был окружен свитой, медленно шел, даря направо и налево свои солоноватые шутки. Его валенки оставляли на каменном полу мокрые следы, и свита с почтением смотрела на эту воду. Увидев Федора Ивановича, он простился со всеми, и оба закрылись в кабинете.

— Дверь не запирай, — сказал Кассиан Дамианович.— Слушай... Тут у вас где-то есть горячий душ. Организуй, а? Полотенце, мыло найдется?

— Конечно! Сейчас зайдем ко мне, все возьмем и — к механизаторам. У них душ при механической мастерской.

Федор Иванович сходил на разведку — разошлась ли свита, и по пустому коридору они почти бегом выскользнули из корпуса. Торопливо дошагав до общежития, поскорей скрылись в комнате Федора Ивановича. Академик все смотрел на «мартина идена», неодобрительно щупал ткань.

— Какой же ты земледелец — ходишь, как московский стиляга! Должен быть муравей, а ты стрекоза! Ты ж так чахотку тут схватишь! Скажут, на службе у академика Рядно чахотку заработал,— он покачал головой. — Пришлю тебе кожушок. До колен полуперденчик. Легкий, аккуратненький. А теплый — как печка! Чтоб носил мне, без дураков! А эту, гимназию свою... Редингот свой, чтоб в шкаф мне, до весны. Когда за девочками гон начнется — тогда разрешаю, надевай.

Раньше Федор Иванович в таких случаях слабел от подступающего чувства. Ему хотелось расцеловать это старое, смуглое от настоящего полевого загара, доброе лицо. Но сейчас, когда безошибочно действовал *ключ,* он сразу что-то вспомнил из прошлого, все выстроил в ряд и понял, что старик готовит почву для какого-то щекотливого поручения. Когда академику Рядно было нужно послать кого-нибудь на не слишком чистое дело, он становился очень добрым — легко, автоматически оперировал всеми жестами и повадками душевного, мягкого человека.

«Сынок! — подумал Федор Иванович.— Давно уже я тебе не сынок. Ловчая яма с кольями на дне — вот кто я теперь для тебя. Так что берегись...»

— Ты чего покраснел? — спросил академик.— Как девица краснеешь.

— От благодарности, Кассиан Дамианович...

— Ты мне не благодарность... Ты мне дело давай!

Захватив нужные вещи, они опять вышли на яркий снег.

— «От благодарности»... Ну ловкач! — качая головой, бормотал академик, шагая впереди Федора Ивановича.— Теперь никуда не денусь, придется присылать кожушок. Ладно, к Новому году получишь.

После беседы со Стригалевым, после сеанса со старинным микроскопом и «Майским цветком», а теперь еще этот обещанный полушубок вмешался, — после всего этого Федором Ивановичем овладела горячка: прежде чем начать действовать, ему было необходимо

собственным пальцем тронуть живое, истинное, то, что составляло скрытую основу академика Рядно. Все было как будто ясно, но вот — потребовалась еще одна проверка. И он приготовился. И совсем без его ведома сжалась в нем и уперлась в чуткий выступ стальная пружина.

Они уже шли через работающий механический цех, и Федор Иванович увидел в глубине за станками Бориса Николаевича Порая. Дядик Борик поднял руку, салютуя Учителю. И Федор Иванович бойко вскинул руку.

— Ты с кем поздоровался? — спросил Кассиан Дамианович, проследив их приветствия.

Пружина тут же сорвалась и ударила.

— С одним вейсманистом-морганистом. С Троллейбусом...

Старик как бы онемел.

— Этот длинный? С кокардой? Постой, какой же это Троллейбус? Троллейбуса я по одним чирьям сразу...

Он совсем забыл, что всего лишь четыре месяца назад, напутствуя молодого ревизора, он сказал о Троллейбусе: «Интересно, что это за фрухт. Посмотреть бы...» Ему тогда было нужнее не знать Троллейбуса. Чтоб сынок не уперся, не забастовал.

— Троллейбус — это ихний здешний генерал ордена. Ха! Троллейбуса не узнал! Что это с тобой, сынок?

— Кассиан Дамианович! Я неудачно пошутил. Это Борис Николаевич Порай. Механизатор.

«Стригалев прав»,— сказал себе Федор Иванович, переводя дыхание.

— Непонятно как-то шутишь,— не мог успокоиться академик.— Шутишь не похоже на себя. Мерещится он тебе, твой крестник. Жалеешь, небось, знаю тебя. Кончай о нем думать. Другие ждут дела.

Душевая от пола до потолка сверкала молочной керамикой. Закрыв дверь на задвижку и раздевшись, академик опять пришел в веселое настроение. Он был хорошо сложен для старика, сухощав, весь в мелких бугорках старческой одеревеневшей мускулатуры. Хорошо был виден выступающий рисунок скелета. При меловой белизне тела его маленькая и темная сухая голова на коричневой шее казалась взятой взаймы у другого человека. Прикрыв грешное место рукой, он проковылял

к душу, стал вертеть краны, загагакал, закричал, заплакал и исчез в облаках пара. Некоторое время слышались только крики и шлепки по голому телу. Потом академик позвал Федора Ивановича.

— Давай, сынок, сюда. Спину потрешь.

Федор Иванович под вторым душем принялся мылить колючую мочалку.

— Давай скорей! — старик нагнулся и ждал.— Потри, потри. Скажешь, академику Рядно спину тер, пусть боятся. Хо-хо! Ух-х, ты! — он закричал еще громче.— Не жалей силы! О! Так, так! Вонлярлярский! Вот кого бы пригласить! Пронститутку, интеллихэнта. И-хи-хи! Потише, ссатана! Обрадовался! В следующий раз позову его, вот будет комедия! Думаешь, не пойдет? Будет фыркать, а спину потрет! И сделает, чтоб узнали!

— Он у Стригалева микротом хотел черlibнуть. У Стригалева свой микротом, сам сделал...

— Свой? Что-то я не знаю за ним такого факта. Наверно, такой же допотопный, как и микроскоп...

Вот какие подробности он знал о Троллейбусе!

— Когда Троллейбуса попросили с кафедры, Вонлярлярский сразу хвать микротом. В коридоре драку затеяли. Пришлось разнимать.

— Ну, ну... И что?

— Отдал хозяину. Чтоб знал, что мы, хоть и крепко берем за глотку, но научные споры на такие мелочи не переносим.

— Пр-рявильно, молодец! — И Кассиан Дамианович с силой повторил: — Молодец, Федя!

Второй заход Федора Ивановича прошел незамеченным. Старик размяк под горячим душем, скалился, желто сверкали его золотые «кутни». И новое, мстительное любопытство, с которым Федор Иванович не мог совладать, толкнуло его на третий заход.

Он чувствовал страх: начиналось что-то вроде смертного поединка с академиком Рядно. Он уже знал, что поединок будет продолжаться не один год и закончится катастрофой для одного из них. Посмотрев на Кассиана Дамиановича своим тициановским взглядом, полным холодной благосклонности, задержав на нем этот отвергающий взгляд, Федор Иванович с трудом оторвался, зажмурился и стал мылить голову. Сквозь обильную пену он прокричал:

— Кассиан Дамианович! Не помните, на какой основе создан ваш «Майский»?

— А что она тебе? Картошка — вот тебе и основа. И наша бессмертная наука.

— В нем вроде «Веррукозум» участвовал...

— Кто говорит? — старик быстро перешел к нему, под его душ.

— Я сам видел препарат. Я тут же приготовил опровержение. Мол, чистая фальшивка...

— Правильно, фальшивка. Ну и что?

— А то, что не фальшивка. Опровергать-то я приготовился. На случай опасной вылазки. А препарат был настоящий.

— Стригалев тебе показал?

— Кассиан Дамианович, при чем тут Стригалев? Какое дело Стригалеву до «Майского цветка»? — Федор Иванович прямо, как судья, посмотрел в его выцветшие степные глаза.— Стригалева к этому времени уже прогнали. Препарат я нашел, когда чистил свой стол от вейсманистско-морганистского хлама. Он датирован позапрошлым годом, и была надпись: «Майский цветок». Видно, кто-то у них интересовался...

— Так у «Веррукозума» у этого хромосомы, как у картошки! Что ты там мог увидеть?

— Увидел, Кассиан Дамианович. У них, у тех, кто делал препарат, реактивы секретные есть. Капнул — и сразу видно. Картошка остается, как и была, а у «Веррукозума» хромосомы сразу сжимаются в шарики...

— А ты? Надо ж было уничтожить! Ужели не дотумкал?

— Я-то уничтожил. Уничтожил его в тот же день.

— А как же ты эти хромосомы смотрел? — академик сам перешел на строгий допрос.

— Я смотрел у Вонлярлярского целую серию препаратов, и между ними сунул этот. И шарики тут же увидел.

— Да-а?

— Конечно, могла быть и фальшивка. Могли какой-нибудь свой полиплоид, какого-нибудь уродца сделать, а написали «Майский цветок».

— Точно, Федя. Диверсия.

— Только я считаю, что этот препарат у них был для собственных нужд. Для себя им фальшивка не нужна.

— Ты думаешь?

— Надо бы нам самим взять «Майский цветок» и сделать срез. Я попробую выманить у них реактив.

— Зачем тебе?

— Мне кажется, впереди нас ждет драка. Они могут товарищу Сталину игрушку подсунуть. Мушек в пробирке. Бескрылых и красноглазых.

— Не подсунут. Везде стоят наши ребята... Ладно, пусть подсунут. Ну и что?

— Товарищ Сталин поиграет в этих мушек — игра то занятная. И получится один к трем. И он назначит дискуссию.

— Уже ж была сессия...

— Вы готовы к такой дискуссии? Надо объяснить все самим для себя, почему так получается. Заранее. Почему так получается — один к трем?

— Не знаю, Федя. И очень переживаю. Скажи, сынок, это не выдумка?

— Я тоже так думал. И проделал сам эксперимент.

— И получилось?

— Получилось, Кассиан Дамианович.

— Зачем он тебе понадобился, эксперимент этот? Ой, Федька, не нравишься мне ты сегодня. Стреляешь по батьке из обоих стволов. Зачем эти шарики мне под нос суешь? Почему сразу не сказал, что «Веррукозум»? Знаешь, а спрашиваешь, какая основа у моего... Экзаменуешь...

— Я спросил, Кассиан Дамианович, потому что сам подумал: не фальшивка ли. На всякий случай спросил. Думаю, автор точно знает.

— Складно врешь. Ушел, ушел в кусты. А ведь держал я тебя за фост! — он так и сказал: «фост».— Я тебя крепко было схватил.

«Насторожился», — подумал Федор Иванович, кашляну в с досады, и принялся вторично намыливать голову, скрылся в пенной шапке.

— Сынок, что с тобой случилось? — помолчав, тихо спросил старик. — Чем они тебя опоили? По-моему, ты захромал на вейсманистско-морганистскую ногу. Вижу, ты сам не чувствуешь, что ты сейчас мне брякнул. Сам план разговора, сам анализ говорит, что ты немножко того... Присматриваешься к ним. Смотри, эпитимью наложу. Тысячу прививок сделаешь мне.

«Острит — значит, пронесло», — подумал Федор Иванович.

— Самый большой грех под коиец, — сказал он, смеясь. — Тут, когда Стрнгалев уходил, у него в столе Красиов нашел семена. Шесть пакетиков. Я решил ие отдавать. Это не микротом...

— Пр-рявильно! — сверкнул глазами Кассиаи Дамиаиовнч, совсем ие замечая внимательиого взгляда «сынка».

— Пусть, думаю, мой академнк меия поколотит, эпнтимью иаложнт, а семена нз рук не выпущу. Сначала высею весной, посмотрю, с чем имеем дело, а потом...

— Этн семена у кого? У Краснова? Я их сегодня все заберу. Чтоб не смущали...

— Вот только Красиов...

— Краснов заткнется и будет молчать.

Через час, распарениые и потные, оии сидели в комнате для прнезжающнх и пилн чай. Выпив чашку и подставнв ее под чайиик — чтобы Федор Иваиович налил вторую, академик, накоиец, заговорил о деле.

— Мне тут Цвях подсказал: пусть Дежкин принимает все картофельиое хозяйство Троллейбуса. А я думаю — еще и расшнрнм. Будет проблемная лаборатория и опорный пункт нашего московского инстнтута. Поставим теоретическне работы и дадим Родиие сорта. Цвях о тебе очень высокого миения. Задача — изучить весь материал, нмеющийся у вас в наличии иа сегодияшиий деиь. К весие определим и конкретные объекты. Это что касается сортов. Как ты думаешь? Привлечешь фитопатологов, Вонлярлярского, бнохнмнков.

— Я так вас и поиял, когда по телефону... Я листал их журналы. Там, среди оставлеииого ими иаследства, есть перспективные образцы.

— Вот такой ты мне и иужеи. Я в Москве подумал, а Федька здесь уже дело делает. Это тот стиль, который мие по душе.

— А что касается теоретической работы, — деловито, иегромко продолжал Федор Иванович, — то и для этого здесь есть много даииых, наводящих на серьезиые мыслн. Когда я их ревизовал, я наткнулся... мне показалось, что они тайком готовнлн матернал для сопоставления методов. Коиечно, с выводами в их пользу. Поймать за руку не удалось... А может, иичего такого оии и ие собирались. Во всяком случае, они уже

проделали треть того, что нужно было бы сделать нам, Кассиан Дамианович... Если бы мы — по своему плану — предприняли такое сопоставление. Главное — нам никаких упреков, сам противник все сделал и записал в журналы!

— Федька! Вот это как раз нам и надо. Составляй скорей план и пришлешь мне.

— План уже есть, — сказал Федор Иванович. — Набросок. Это будет большая работа. Года на четыре...

— А если на два? Будем медлить — нас капиталистический мир обгонит.

Федор Иванович внимательно на него посмотрел.

— Надо же увенчать сортом... Хотя бы уверенно заявить, что дадим...

— Ну и увенчаем! Почему не увенчать? Заявим через год, а увенчаем через два!

— Хотите перещеголять академика Лысенко? Хотите подарить Родине вторую ветвистую пшеницу? — не удержался, ядовитейшим тоном сказал Федор Иванович. *Но нет, он этого, оказывается, не сказал.* В первый раз с ним случилось такое. Притом, само собой. Вся энергия ядовитого протеста вдруг сжалась, и он промолчал. Только в глубине глаз мгновенно пробежала остренькая серебристая змейка.

— Пиши, на два года, — твердо распорядился ничего не заметивший академик Рядно.— Это будет замечательная работа. Пора тебе выходить на большую дорогу...

Федор Иванович тонко улыбнулся, и улыбка его сказала: «Как это понять?»

— Не переиначивай батькины мысли! На большую — в смысле капитальных работ. Хватит смеяться над батькой, пора становиться зрелым, серьезным ученым. Я буду руководить. Для публикаций дадим зеленый свет. Давай, сынок. План ты мне завтра вручишь?

— Вручу сейчас. Вот он, в столе...

Поглядев на него с немым восторгом, Кассиан Дамианович надел квадратные черные очки, опустил в стакан с чаем большую таблетку и, прихлебывая свой напиток, постукивая «кутнями», принялся листать план. Федор Иванович устремил на него свой прохладный, как бы ласкающий взгляд. Глядя на старика и двигая бровью, он то и дело закипал: «Народный академик! Ничего твой пустой орех не варит в селекции. Господи,

он держал меня за фост! Читай, читай. Пусть, пусть будет два года. Нам кое с кем и двух хватит, успеем и с теоретической работой, и увенчаем!»

— Ты что на меня смотришь? — спросил вдруг старик, не поднимая головы от страницы.

— Изучаю, Кассиан Дамианович.

— Изучай, сынок, изучай. Полезно.

Потом перевернул страницу и, продолжая читать, он вдруг проныл:

— А для чего ты меня изучаешь? А?

— Думаю, даст он мне докторскую степень или нет.

— Ты еще сомневаешься, дурачок?

Отложив план, он растянулся на койке Федора Ивановича.

— Не возражаешь? Пусть батькины кости немножко понежатся. Люблю после бани. Так он, наконец, проговори-и-ился! Доктора хочет!

— Кассиан Дамианович! Плох тот солдат...

— В генералы хочется? — академик, закрыв глаза, одобрительно кивнул несколько раз. Хрустя суставами, потянулся. Задумался. Ему хотелось поговорить.— Так ты живой человек, я вижу! Это хорошо. По крайней мере, я тебя начал понимать. Слава богу, на место все стало. Конечно, я тебе скажу, мысль о своем месте в обществе посещает иногда и, можно сказать, нередко, даже головы гениев. Карьеризм, Федя, свойство всей мыслящей материи. У одного карьеризм — в приобретении вещей. А у ученого... Ученый тоже стремится. У ученого, у государственного деятеля высший карьеризм. Рвение приобретателя — ничто. И некрасиво и мелко. Ученый приобретает умы. Вон я сколько их приобрел. Среди них есть очень большие люди. Не будем по именам, ты знаешь... Кто меня хочет оспаривать... Или подсиживать... того я сейчас же переведу в идеологическую плоскость и отдам в распоряжение умов, которые я приобрел. И они его чувствительно — как я скажу — посекут. Хочешь не хочешь, а это приходится учитывать. Это я тебе отвечаю на твою юношескую, сынок, дерзость. Библия говорит: учи сына жезлом... Аш-ш-ш, ты! Мушками он интересуется! Экзаменовать старика надумал! Зачем тебе? Смирися, гордый человек! Прежде чем командовать, научись подчиняться. Охоться во второстепенных угодьях, которые я тебе отвел. Я тебя оттуда не шугну. Даже, как видишь, помогаю. Заго-

няю тебя в доктора, дурачка. А ты не упирайся, иди. Там хорошо. И попробуй стать, как я. А потом сделаю и наследником. Будешь моих оленей гонять...

— Кассиан Дамианович! Мне кажется, вы все это говорите кому-то другому. Может быть, этому схоласту Троллейбусу. Но я! Что же мне — о шариках, о препарате молчать надо было?

— Это ты правильно сигнализировал. А вот почему ты Троллейбусом назвал... Механизатора этого... Я теперь не смогу, буду все время думать. Знаешь, как тяжело... Побыл бы на моем месте. Один же за другим — так и отходят. Все туда, туда. К мушкам. А оттуда только дураки, мелочь... Ты первый с головой, кого мне удалось удержать около себя. За это и я не останусь в долгу. Хоть и колеблешься иногда. Флюктуируешь. Я вижу, все вижу...

Он уставился на Федора Ивановича глазами, полными муки.

— Скажи лучше прямо: могу я еще опираться на тебя, сынок? Ведь борьба, борьба! Не подведешь старика? Я ж тебе так верю...

— Можете опираться больше, чем опирались всегда,— твердо отчеканил Федор Иванович и долго смотрел в глаза академика, выдерживая его исследующий душу взгляд.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

I

В начале января у Федора Ивановича был странный разговор по телефону с академиком Рядно. Кассиан Дамианович позвонил рано утром прямо из своей московской квартиры: ему внезапно пришла в голову хорошая *думка*.

— Слушай, Федя, ну что это у нас все война и война. Давай же вступим с ним в переговоры. Устроим на часок перемирие, а? Он работает над картошкой, так и мы ж над картошкой! А почему не вместе? Разве мы не для социализма? Ты подъедь к Троллейбусу, ты ж это умеешь — подъезжать...

— К схоласту? — спросил Федор Иванович, чуя в словах академика какую-то новую игру.

— Подожди-и,— нетерпеливо проныл Рядно.— Я тебе дело предлагаю. Слушай, поговори с ним, я знаю, он способен вести переговоры. Ему ж наверняка что-нибудь надо. Зарплаты ж у него нет...

— Так у нас ведь с вами программа...

— Ты не притворяйся, ты все уже понял. Программу делай, а тактику не забывай. Он должен клюнуть и клюнет. Пусть назовет свою цену, что ему надо. Нет человека, который не клюнет. Он будет ломаться, у него в руках сила, он владеет материалами, навезли ему из-за границы дружки. Попрятал... Пусть ломается, а ты меняй наживку, подбирай. Соглашайся на все, открой пар полностью. Ты чего молчишь? Дурачок, это ж не значит, что мы так все ему и дадим. Он сейчас сидит, во все стороны оглядывается, перепрятывает свое сокровище. Надо вывести его из этого состояния.

— Кассиан Дамианович, мы с вами действительно, хоть и в разных местах находимся... Я об этих материалах все время думаю.

— Так ты ж не думай, а делай! А батько будет думать.

— Лапу мы и так наложили. Все материалы у нас...

— Ой, сынок, не все. Ну что ты говоришь... Тьфу, мне даже не хочется слушать. Ревизию разве не ты делал?— он опять противно, болезненно заныл.— Ну что, ну что ты в самом деле? Забыл?

— Не забыл. Помню.

— Вот то-то.

Они помолчали.

— Надевай сейчас мой полуперденчик... Извини, теперь он твой... И отправляйся к нему. Привет передай. Скажи, мой старик раскололся, поднимает белый флаг и выслал меня парламентером.

И Федор Иванович надел этот пахнущий бараном новый черный полуперденчик с толстым черным воротником и с красно-ржавым, как жареная капуста, дико-лохматым *хутром,* как академик называл мех подкладки, надел еще подаренную академиком черную курчавую ушанку и отправился к Стригалеву.

Иван Ильич был дома. Встретив его, сейчас же вернулся за свой стол и продолжил давно начатое дело — стал пересыпать картофельные семена из одного пакетика в другой и писать на пакетиках сложные формулы известного только ему шифра. Слушая новость, таращил время от времени глаза и наклонял лохматую голову.

— Я думаю, Федор Иванович, вы должны ему сказать, что я сказал вам, чтобы вы сказали ему...— тут он угрюмо усмехнулся.— Чтобы вы сказали ему... Будто это я вас уполномочил так сказать, что меня нет дома, застать нельзя. Но что на самом-то деле эта сволочь Троллейбус сидел в своей хате и упаковывал какие-то клубни и семена. Без сомнения, для того чтобы отправить их в надежное место.

Федор Иванович согласился с таким ответом.

— Будем сами делать первые ходы,— сказал он.— Так вернее.

И когда на следующее утро академик опять позвонил, старику так и было доложено: «Он сказал мне, чтобы я сказал вам...»— и так далее.

— Никуда он не пошлет их, сейчас мороз,— неуверенно проговорил Кассиан Дамианович после длительного раздумья.

— У нас ноль градусов,— заметил Федор Иванович.— Троллейбус перекладывал клубни паклей, целая гора лежала на полу. Если не далеко посылать, могут и не замерзнуть.

— Пыль, пыль он пускает! — в отчаянии закричал академик. Потом надолго умолк. Федор Иванович даже подумал, что Москва отключилась. Но нет, она не отключилась — размышляла.— Ты так считаешь? — проныл старик.— Л-ладно...

И повесил трубку. И ни слова на прощание. Ни одной шутки. Решил что-то важное для себя.

С тех пор — уже целых два месяца — он не давал о себе знать. И Федор Иванович забыл об этом разговоре. Чего ни в коем случае нельзя было допускать, потому что могущественные люди вот так произносят свое «л-ладно» не зря. И притом редко. И стараются при посторонних не допускать подобных неуправляемых движений, выдающих дурные намерения.

Уже шел март. Уже начались — одна за другой — яркие оттепели. Жизнь Федора Ивановича текла, как течет хроническая болезнь. В основном, вся его работа была в учхозе — он вместе с Ходеряхиным и Красновым, с Еленой Владимировной и аспирантами раскладывал клубни по ящикам — для светового проращивания, набивал горшки землей, высевал в чашки Петри легкие, как чешуя, картофельные семена. При этом только у него одного в груди постоянно щекотало чувство риска, большой, опасной игры.

Он появлялся за спиной то одного, то другого из работающих, и его рука неожиданно протягивалась к ящику или к чашке Петри, похожей на дешевую стеклянную сахарницу с крышкой, и бесшумно вносила поправки. «Вот так будет лучше, вы не находите?» Шамковой среди них уже не было. Она перешла к Анне Богумиловне Побияхо, занималась вместе с нею злаками

Появлялся Федор Иванович и около Елены Владимировны, она чувствовала его приближение и, чуть порозовев, наклонившись к своим горшкам, спрашивала иногда: «Придешь сегодня?». Они были уже на «ты», и Федор Иванович почти каждый день приходил к ней в гости. Бабушке было уже известно, что он жених.

Его удивляла одна вещь: Краснов всегда работал неподалеку от Елены Владимировны, в кружке бывших аспирантов Стригалева, и, похоже, был своим в их ком-

панни. «Чего это вы альпиниста от себя не отвадите?— спросил он как-то у Елены Владимировны.— Он же Касьянов соглядатай, он семена украл у Ивана Ильича». Лена отвечала, что не украл, а нашел в ящике стола, и что все это известно, и ничего страшного нет.

Было последнее воскресенье марта. В этот день Федор Иванович должен был идти к Елене Владимировне, к трем часам. В восемь утра он уже встал, побрился и выгладил электроутюгом свой новый костюм — темно-серый с мужественным фиолетовым оттенком. Купил он его по требованию Стригалева — чтобы все видели процветание нового зава проблемной лабораторией. Он собирался выйти из дому часа на три раньше — надо было прогуляться по парку, справиться с волнением. Он до сих пор еще не понимал некоторых особенностей в жизни Елены Владимировны. Но уже примирился с ними, временно подчинился. У некоторых людей с такого временного подчинения начинается страшный процесс охлаждения, и это хорошо знают мудрые старики.

В двенадцатом часу он медлительно облачился в новый костюм и сразу стал похож на строгого худощавого боксера, получившего несколько прямых ударов в лицо и собравшего всю свою волю для ответной атаки. Протянув руку к вешалке, где, выпятив наружу всю свою лохматую огненную душу, висел подарок академика — ставший уже любимым черный полуперденчик, Федор Иванович замер — он увидел за окном полковника Свешникова. Михаил Порфирьевич неторопливо, помахивая сложенной газеткой, шагал вдалеке, направляясь по косой тропинке в сильно подтаявшем снегу сюда, похоже, к крыльцу Федора Ивановича. Он был в черном пальто с черным каракулевым воротником, в черном каракулевом треухе и сапогах. Полковник не подозревал, что находится под наблюдением. Сложив полные губы трубкой, наклонив голову и чуть выкатив светло-серые с желтинкой глаза, напряженно следил за какой-то своей мыслью.

Месяца два с лишним назад — как раз под старый Новый год — они, беседуя о свободе воли, прогуливались по Советской улице вдвоем — он и Федор Иванович — и зашли в большой магазин «Культтовары», размещенный в том же доме, где жил поэт Кондаков. Зачем зашли, Федор Иванович уже забыл. Но одно запомнилось: подойдя к какому-то прилавку, они оба

сразу увидели под стеклом коробку грима для самодеятельной сцены и взглянули друг на друга. «Подарю-ка ему грим! — подумал Федор Иванович.— Будет в самый раз!» И, затаив улыбку, полез в карман за деньгами. Свешников опередил. Попросил у продавщицы эту коробку и, протянув ее своему спутнику, сказал:

— Мой вам новогодний подарок.

— Это что — с каким-нибудь значением? — спросил Федор Иванович, весело глядя ему в глаза.

— Сам не пойму — взял да и купил. Зато оригинально.

Теперь эта коробка лежала на подоконнике. А за окном, помахивая газеткой, шел сам даритель. Он пересек все поле зрения и исчез. «Пронесло», — подумал Федор Иванович. Его беспокоили странные отношения, уже давно сложившиеся между ними. Отношения продолжали развиваться, и впереди уже смутно угадывался какой-то предел. Хотелось вырваться из этой упряжки, но не было сил — для этого надо было бросить какую-то резкость в эту приветливую, растерянную, почти детскую улыбку. А как бросишь? «Ведь я же не знаю его целей... Ну и что же, что он оттуда...»

Он вдруг услышал шаги по коридору. Полковник шел к нему. Раздался негромкий стук в дверь.

— А-а! — закричал Федор Иванович, открывая дверь. — Кто пришел! Кого принесло! Какими судьбами!

— Вот он где живет! — тем же слишком радостным голосом откликнулся Свешников, тотчас у двери, с любопытством озираясь.— Жилище философа! Так вот где он проводит бессонные ночи в размышлениях!..

— Михаил Порфирьевич! Давайте ваше пальто! — чувствуя всю трусливую фальшь своего голоса, Федор Иванович подошел, чтобы помочь гостю раздеться.

«Вот черт, — подумал он, протягивая руки к черному пальто.— Сейчас начнет потихоньку вытаскивать из меня...»

— Я сам,— полковник вдруг посмотрел ему в лицо с мгновенной укоризной и стал снимать пальто. Перед этим он бросил свою сложенную газету на стол. Она медленно начала раскрываться, и оказалось, что туда вложена книжка: «Т. Морган. Структурные основы наследственности». И на ней был знакомый чернильный штамп: «не выдавать». Наискось, поперек слова «Морган».

«Что это — пароль? Или приманка?» — подумал Федор Иванович.

Возникла пауза. Свешников заметил взгляд Федора Ивановича, на миг остановился с пальто, висящим на одном плече, но мгновенно же и овладел собой. Спокойно повесил пальто на вешалку у двери. На нем теперь был военный китель с золотистыми погонами.

— Интересуетесь? — спросил Федор Иванович, кивнув на книжку.

— Да так вот, решил... Взял тут у одного... Вы, конечно, знакомы с этой штукой?

— И труд читал... — Федор Иванович хотел сказать еще: «И книжку эту знаю, и даже ее хозяина», — но промолчал. Важные сведения нельзя выпускать из хранилища памяти без особой нужды. Он промолчал. А сам факт, растревожив душу, уселся там, похоже, навсегда.

Лицо у Михаила Порфирьевича, шея и руки — все было крапчатым и нежным. Светились рыжие волоски. Но из этой нежности были собраны на лице толстые складки, которые и при детской улыбке не утрачивали своей самостоятельной суровости.

— Ну что же, товарищ полковник,— сказал Федор Иванович, помедлив. — Садитесь и рассказывайте. Вы пришли специально ко мне — значит, у вас...

— Вы думаете, у нас всегда должны быть дела? Ну да, я понимаю... Без приглашения...

— Скажу честно: когда так входит человек вашей профессии, всегда...

— Вы думаете, нам следует быть в полной профессиональной изоляции? Думаете, это приятно — вот так знать...

— Ничего не попишешь — служба.

— Но я же с вами, по крайней мере сейчас, не на работе...

— Сказал волк барашку...

— Вы не очень приветливы, Федор Иванович.

— А что остается Федору Ивановичу, когда ему говорят: с вами, дорогой, я не на работе. По крайней мере, сейчас. Интонацию вы улавливаете?

Они оба затаили дыхание и стали смотреть по сторонам. Сидели друг против друга, барабанили пальцами по столу. «Вот и бросил резкость в лицо,— думал Федор Иванович.— Вот и вырвался из упряжки. Никуда,

никуда не уйти!» Он уже искательно поглядывал на гостя — что бы такое сказать ему помягче... Свешников, видимо, тоже чувствовал себя виноватым. Он быстро справился с неловкостью.

— Это у вас на подоконнике, по-моему, мой подарок. Любуетесь?

— Грим ведь предназначен... очень определенно. До сих пор не знаю, что с ним делать.

— И не надо знать. Это — средство общения, — полковник дружелюбно улыбнулся.

— Если бы я тогда опередил вас, это средство лежало бы на вашем окне.

— Разумеется...— Свешников опять замолчал, поглядывая по сторонам.— Что это за таинственные знаки вы тут понаставили? Вот я вошел — и куда ни посмотрю, везде они. На стене, на подоконнике... Тут вот, на столе, сразу три. Крест какой-то... Это икс? У вас был неразрешимый вопрос? Или знак умножения? Что это такое?

— Не крест и не икс. Объемная фигура, вроде песочных часов. Видели песочные часы? Два конуса. Вот этот конус вверх расходится, в бесконечность. А второй — вниз. Тоже в бесконечность.

— Это вы рисовали, когда впервые пришло в голову? Обдумывали?

— Когда впервые услышал от другого человека. Рисовал, чтоб понять то, что услышал.

— Я забыл... У вас всегда автор мысли не вы, а кто-то другой. А вас больше интересуют разработки и интерпретация готовых идей.

— Лучше не скажешь!

— Хорошо... И что же они показывают, эти песочные часы?

— Ну, отчасти то, что бесконечностей в мире бесконечное число.

— Хороший символ. Наглядный. В общем-то это мы и так знаем.

— Это особые бесконечности. Их вы еще не знаете. Один мой знакомый открыл.

— Умный человек. А мне можно что-нибудь про них узнать? Про эти песочные часы...

— Потом как-нибудь.

— Вы куда-то собираетесь?

— Да. Если бы вы пришли минут на пять позднее...

— Так пойдемте! Я вас провожу, можно? Федор Иванович! Поверьте, у меня самый непосредственный, личный и дружественный интерес к вашим... концепциям. Безопасный для вас. Они всегда очень оригинальны и всегда дополняют... чем-то существенным...

«Нет, не отстанет»,— подумал Федор Иванович. Он мог бы, конечно, уйти от опасного человека. Решиться и порвать с ним. Но его тянуло к нему, и если полковник долго не появлялся, чувствовалось что-то вроде тоски.

Они оделись и вышли на яркий, сверкающий лужицами воды снег, и их сразу оглушило отчаянное, радостное карканье грачей.

— Весна!— сказал полковник, покачав головой.

— Да! — покачал головой и Федор Иванович. — Она свое, а человек, знай, гнет свое.

Полковник сразу услышал намек, взглянул, но не стал развивать невыгодную для него мысль. Только начал оправдываться:

— Федор Иванович! Вы же меня сами заразили этим. Философией. Помните, вы мне что-то говорили о ключе...

— О ключе? Вам? Никогда не говорил.

— А тогда? Помните, когда пришли...

— Тогда у меня еще и ключа не было. Это вам кто-то. Кто Моргана дал...

— Может быть, и так, — Свешников бросил на Федора Ивановича быстрый смущенный взгляд. — Но вы мне и так многое доверили. Так валяйте до конца, я не продам. Давайте про ключ.

Он так и ломился вперед со своими вопросами.

— О ключе это очень много, — сказал Федор Иванович. — Вы хотите часовую лекцию?

— Да, да! Именно!

— Ну, во-первых, поскольку существует авторское право, я должен заявить вам, что все, что будет... если будет... изложено ниже, принадлежит не мне, я уже говорил... А будет всего-навсего вольным пересказом чужих мыслей, и не претендует на полноту. Фамилию автора я пока не назову.

— Меня фамилия автора не интересует, даже если бы это были вы, — сказал Свешников как-то небрежно, слегка презрительно и даже с торжеством, и Федор Иванович сразу понял, что его новая попытка уйти из

упряжки пресечена. Кроме того, ему очень хотелось хоть один раз изложить свои мысли в чьи-нибудь, в посторонние уши. Родившаяся новая мысль не дает покоя, пока ее не выскажут другому человеку.

— Ну ладно. С чего бы начать? Вот, представьте себе, человек тонет. Под лед провалился. А я ищу шест — помочь. А мой приятель молча мне говорит. Глазами. Говорит, не ищи особенно. Я все же увидел шест, хочу взять. А он поскорее — молча — закричал: ты не видишь этого шеста! Может быть, это и не шест! Пойдем лучше, покричим на помощь, а он в это время утонет. Вы не чувствуете здесь, в этом примере, взятом из жизни, неполноты? Чего-то не хватает, верно? Ответов нет. Почему кричит «не ищи»? Почему доверяется мне, крича это? Наверно, знает, что у нас с ним может быть единство на этой почве? Почему надо пойти, а не побежать за помощью? Почему покричать все-таки на помощь, когда все делается так, чтоб человек утонул? Наконец, кто этот тонущий, верно? Почему я его все же хочу спасти, а приятелю непременно нужна его смерть?

Федор Иванович посмотрел на Свешникова. Толстые светло-розовые губы полковника уже вытянулись в трубку.

— Михаил Порфирьевич, разве разберешься в таких отношениях с помощью кодекса?

— Разбираются... — заметил полковник.

— Ну да, это если налицо мертвое тело. А если дело происходит на защите диссертации? Или касается занятия должности? Или внесения вашей фамилии в список на получение? Тут кодекс и вся криминалистика теряют свою силу. Кодекс — это старинная пищаль... Аркебуза ржавая... На поле боя, где действуют танки. А?

— Вы оригинальный мыслитель.

Тропинка в жидком снегу вела их прямиком к парку.

— Мы общаемся с миром... А он весь прямо вибрирует от пересекающихся скрытых интересов. — Федор Иванович входил в любимую колею и чувствовал, что уже не сможет остановиться. — Активность каждого из нас начинается с намерений. А намерения ведь разные бывают... Одни направлены на вещи, а другие, смотришь, и на человека... Я в лесу увидел цветок и хочу понюхать. Или копаюсь в огороде и нашел камень, бросить его хочу за межу. Чтоб огурцам расти не ме-

шал. Другой человек и его интересы здесь не присутствуют...

Федор Иванович умолк. Полковник тоже молчал, внимательно слушал.

— А вот теперь совсем иной тип намерений. Я хочу человеку преподнести что-нибудь хорошее, чтобы он таким образом получил удовольствие. Хочу неожиданно подарить вещь, которую тот безуспешно искал. Огорошить счастьем. И человек вспыхивает от радости. И я с ним. Доброе у меня намерение, верно? Что придает ему эту черту? Заключенное в намерении добро.

— Я слышал уже об этом. В городе уже многие говорят. Видимо, настоящий автор тоже не сидит сложа руки, бесстрашно высказывается, — полковник с улыбкой косо глянул на Федора Ивановича. — Но, по-моему, это очень отвлеченно. А вот ключ...

— Мы уже говорим об этом ключе. Нужен ведь подход. Давайте рассмотрим еще такой случай. Я завидую чьим-то успехам, а может быть, просто хочу получить некое благо, а человек по неведению уселся у меня на пути. Добросовестно владеет, дурак, и доволен, не хочет со своим счастьем расстаться. Новый сорт картошки нужен мне, а его вывел другой. Тогда как я идеально подхожу в авторы, это мне яснее ясного. Знаменитый ученый, а своего сорта нет! Всю жизнь это меня грызет. Да еще правительству наобещал. И я хочу причинить ему вред, завалить, а готовый сорт прикарманить. Еще не прикарманил, бегаю вокруг. Но это хотение уже сложилось во мне и горит огнем.

— Горит! — согласился полковник. — Ох, горит!

— Горит! И знаю ведь, что, если отниму у него его счастье, он может даже не перенести удара. Но все равно горит. И ничем не унять. Или добро или зло — что-то должно лежать в основе наших намерений. Если они касаются другого человека. Их даже физически чувствуют! Вам знакомы такие слова? — «Задыхаясь от злобы», «предвкушая гибель своего врага». Или наоборот — «светился доброжелательством», «предвидел крушение его надежд и страдал от этого». От этих ощущений можно даже заболеть! И то, и другое ощущается! Существует вне моего сознания, если я — посторонний наблюдатель происходящего. Хотя, правда, и мое сознание сразу кинется участвовать. Есть, впрочем, такие, у кого и не кинется... Это нужно сказать тем, Михаил Пор-

фирьевич, кто вас за эти мысли обвинит в идеализме и потащит, как дядика Борика...

— Ну-ну. Оговорки при мне можно не делать. Давайте дальше.

— Добро и зло родят и действия, специфические для соответствующих случаев. Можно даже классифицировать и составить таблицу. Обратите особенное внимание... какая получается зеркальность! — Федор Иванович, сильно взволнованный, повернулся к собеседнику: — Смотрите! Это же чудеса! Открытие! Добро хочет ближнему приятных переживаний, а зло, наоборот, хочет ему страдания. Чувствуете? Добро хочет уберечь кого-то от страдания, а зло хочет оградить от удовольствия. Добро радуется чужому счастью, зло — чужому страданию. Добро страдает от чужого страдания, а зло страдает от чужого счастья. Добро стесняется своих побуждений, а зло своих. Поэтому добро маскирует себя под небольшое зло, а зло себя — под великое добро...

— Как? — закричал полковник, останавливаясь. — Как это добро маскируется?

— Неужели не замечали? Ежедневно это происходит, ежедневно! Добро великодушно и застенчиво и старается скрыть свои добрые мотивы, снижает их, маскирует под морально-отрицательные. Или под нейтральные. «Эта услуга не стоит благодарности, чепуха». «Эта вещь лишнее место занимала, я не знал, куда ее деть». «Не заблуждайтесь, я не настолько сентиментален, я страшно жаден, скуп, а это получилось случайно, накатила блажь. Берите скорей, пока не раздумал». Один друг моего отца, побеседовав с ним по телефону, говорил: «Проваливайте ко всем чертям и раздайте всем детям по подзатыльнику». Добру тягостно слушать, когда его благодарят. А вот зло — этот товарищ охотно принимает благодарность за свои благодеяния, даже за несуществующие, и любит, чтобы воздавали громко и при свидетелях. Добро беспечно, действует, не рассуждая, а зло — великий профессор нравственности. И обязательно дает доброе обоснование своим пакостям. Михаил Порфирьевич, разве не удивляет вас стройность, упорядоченность этих проявлений? Как же люди слепы! Впрочем, иногда действительно бывает трудно разобраться, где светлое, а где темное. Светлое мужественно говорит: какое я светлое, на мне много темных пятен. А темное кричит: я все из серебра и солнечных

лучей, враг тот, кто заподозрит во мне изъян. Злу иначе и вести себя нельзя. Как только скажет: вот, и у меня есть темные пятна, неподдельные, — критиканы и обрадуются, и заговорят. Не-ет, нельзя! Что добру выставлять свои достоинства и подавлять людей благородством, что злу говорить о своей гадости — ни то, ни другое немыслимо.

— Нет, никак, — Свешников закивал. — Никак немыслимо. — Он похоже, понял что-то главное и был согласен. — Ни в коем случае нельзя, — тут он задумчиво выпятил свою мягкую трубку — губы. — Прямо как у одного теоретика получается, — сказал он вдруг невинным тоном. — Если переносим член уравнения на другую сторону, он меняет знак...

Федор Иванович на миг остро на него взглянул. Полковник собирал все его высказывания, оброненные в разное время и в разных местах.

— Вы правы, Михаил Порфирьевич, — сказал он, овладев собой. — Здесь скрывается целая наука. Белое пятно. Только изучай. Зло ведь не только норовит себя преподнести как добро, но и доброго человека любит замарать. Под злого замарать. «Очернитель!», «Лжеученый!».

— Точ-чно!

И вдруг полковник, взыграв глазами, тронул Федора Ивановича за локоть:

— Вейсманист-морганист!

— Я вижу, вы уже пробуете применять этот ключ на практике, — с прохладной улыбкой сказал Федор Иванович. — Несомненные успехи!

Его не так-то легко было захватить врасплох. Произошла минутная заминка. Полковник думал о чем-то своем, Федор Иванович, не зная, откуда может грозить неведомая опасность, осторожно присматривался к нему.

— Для этой очень ценной науки, видимо, еще не настало время, — вдруг сказал Свешников. — Или, может быть, пропущено.

— Почему? — осторожно спросил Федор Иванович. — Зло перекочевывает из одной формы в другую. Было бы наивно... И смертельно опасно... думать, что с революцией, с Октябрем зло полностью из общества отфильтровано. Этот вирус проходил пока через все фильтры... Во все века в шествии счастливых рабов, сбросивших оковы, шло и оно, Михаил Порфирьевич...

— Парашютист шествовал,— задумчиво обронил полковннк.

— Вы о чем?

— Так... Это уже мое открытие. О парашютисте говорю. О спустнвшемся парашютнсте. О нем пока не стоит... Мысли ваши мне понятины. Я их разделяю. Но это не значнт, что некоторые...

— Это не для офнцнального обнародования.

— И суд будет не на вашей стороне, если включнть в практнку. Судебному секретарю нечего будет записывать в протокол.

— Это не для секретаря и не для протокола. Это должно помогать человеку там, где суд бессилен. Это для беззвучного внутреннего употреблеиня.

— М-может быть... Согласен. У меня кое-какая практнка есть, я тоже наблюдал, но не с того конца. Когда живешь в гуще событнй, невольно суммируешь свои наблюдения. И когда-ннбудь, когда мы лучше узнаем друг друга... Можно бы н сейчас, но, по-моему, мы еще не исчерпали...

«Хорошо стелешь,— подумал Федор Иванович.— Не зря полковннком стал».

— У нас не решен еще одни важный вопрос,— задумчиво проговорил Свешннков, останавлнваясь. Широко открыв белесые с желтннкой глаза, он прямо взглянул в лицо собеседника и сложил губы в напряженный толстый кукиш. «Он серьезно винкает в это дело!» — открыл вдруг Федор Иванович.

— Один вопрос мне пока недостаточно ясен. Вы говорите, для внутреннего употребления. Вот я хочу употребить этот ключ. Этот крнтернй. Так это же и зло может сказать: я тоже думаю о критерии!

— Ничего вы еще не поняли! — загорячнлся Федор Иванович.— Сама ваша тревога о критерии уже есть критерий. Раз в вас сидит эта тревога — вам-то самому это ясно, тревога это или маска! Тревога есть — имеете право занимать активную позицию.

— А если мне ясно, что тревоги нет, и что мои слова — маска?

— Раз маска — значит, есть за душой грех. Если есть грех, если вы хотите заполучить новый сорт, анализ намерений вас не будет интересовать. Зло своих намерений не изучает. Его интересует тактика. Как достичь цели.

— Пусть. Но я же закричу! И за голову схвачусь. Ах, я так тревожусь!

— А я вас тут и иакрою. Ваш крнк — маскнровка злого намерения. Тактика! Тревога этого рода существует не для того, чтобы заявлять о ией другим. Я же сказал — для внутрениего употребления. Кто искрение тревожится — молчнт. Страдает и нщет путь. Искрениее добро редко удается подглядеть в другом человеке.

— Тонковато это все...

— Еще как! Вообще все эти дела требуют тоичайшей разработки. Я же говорю — белое пятно. Нужиа иаука, тома исследованнй.

— Молодец! — сказал полковинк, любовно оглядывая Федора Ивановича.— Первый раз встречаю человека, так глубоко зарывшегося в эту сторону иаших переживаний. По-моему, вы уже лет восемь болеете... разрабатываете эти ндеи. Вас тянет что-то к ним... Привязывает...

— Правильио, болею. Привязывает. Болею н не могу выздороветь. Потому что допустил в жизни кое-что... И инкак не разберусь. И продолжаю допускать. А еще, потому что впереди меия ждет будущее, и там мне придется что-то допускать... Каждый поступок, малейшее движеиие оставляют след. Семь раз отмерь — ие зря сказано.

— А можио узнать, — полковник все еще оглядывал его. — Можио узнать, по какому списку вы такой полушубок отхватили?

— Подарок академика.

— Любнт он вас. Подождите-ка... Я сейчас вам... Маленькнй непорядок...

Полковник шагнул, протянул к груди Федора Ивановича руку, и тот, проследив за его пальцами, почувствовал легкую досаду, почтн оторопь. Этн короткие розоватые пальцы с желтыми крапинами поддевали ногтямн, тащили нз толстого шва иа груди полушубка туго свернутую бумажиую трубку.

— Ишь, ие дается, — приговарнвал Свешников, увлеченно трудясь. — По-моему, это любовная запнска. Почта амура.

Ои выдернул, накоиец, бумажный стержеиек и, ие развертывая, протянул Федору Иваиовичу. Тот уже зиал, что может быть в этой бумажке — иа протяжеиии мииувших трех месяцев он иашел в полушубке две та-

ких запнски — одиу иащупал в кармане, как только надел прнсланный из Москвы подарок, другую обнаружил иедавно в случайио открытом секретном кармашке на грудн.

— Поскольку вы иашли это, вам н чнтать, — несколько опрометчиво сказал он.

— Федор Иваиовнч! — Свешнннков серьезио посмотрел иа него. — Я не настаиваю.

— Оглашайте.

— Ну что ж... — полковинк развернул трубку. — Это действительио... Ого! Зиачит, так: «Сынок, батько видит все. Не предавай батьку».

Шнроко открыв веселые глаза, посвященные в чужую тайну, Свешнников передал запнску Федору Ивановнчу, н тот сунул ее в кармаи.

— По-моему, ои чувствует, что дитя выросло. На вашем месте я бы серьезио задумался иад этнм. Старик располагает какнмн-то нсточинками. Его ннформнруют... То есть, я, разумеется, хотел сказать, дезинформнруют.

— Это ои аваисом. Ему постоянно чудятся подкопы вейсманнстов-моргаиистов, дезниформатор нграет на этом. А старнк н лезет иа стеиу... Вериейшне кадры начннает подозревать.

— По-моему, у академнка достаточио жизненного опыта, чтобы прокладывать свою собствеииую дорогу.

— В науке — да. В науке у него не просто дорога. Стальиые рельсы — вот его путь в иауке! А в жизии наш академик очеиь прост. До снх пор остается крестьянином. Доверчнв, как днтя.

Федор Иваиовнч бросил эти слова как бы вскользь и торжествеиио пошел по тропке вперед. Спнной он чувствовал недоумевающнй и острый — лесиой — взгляд из-под хмуро опущенных желто-белых бровей.

Долго шли онн молча по утоптанному снегу Поперечиой аллен — между чериымн голымн деревьямн. С нимн вместе н навстречу им двнгался воскресный людской поток, но оии не вндели ннкого. Полковннк о чем-то размышлял, остекленело уставясь в невидимую точку перед собой. Федор Иваиовнч с веселым напряженнем ждал нового захода.

— Федор Иваиовнч... Да не спешнте вы так! Куда понесся? А что же песочиые часы? Два вашнх конуса — вы так и не объясните мне, с чем их едят?

— Я же говорил, это не мои конусы, а одного моего знакомого. Мне никогда не допереть до таких вещей.

— Еще больше заинтрнговал. Может, вкратце, посвятите?

— Отчего же не посвятить. Это графическое изображение нашего сознания — как оно относится к окружающему миру. Изображение условное, конечно. Верхний конус, который уходит в бесконечность, все время расширяется, это Вселенная, мир, вмещающий все, за исключением моего ннливидуального сознания. Илн вашего...

— Как это за исключением? Разве я и вы не составные части мира?

— Конечно, составные. Но как только я о нем начннаю думать, я противопоставляю себя ему. Отделяюсь мысленно...

— Ах, вот как...

— А нижний конус, который тоже в бесконечность уходит и у которого нет дна, это я. Вы стремитесь, я же это вижу, проникнуть через вход внутрь бесконечности моего сознания, посмотреть, что там делается. А дырочка узка, и вам никогда внутрь моего «я» не протиснуться. Вы это знаете, вам же приходилось допрашивать... Оставьте надежды навсегда. Можем и поменяться местами. У вас свой конус, ваше сознание. А я могу быть для вас внешним объектом. Я топчусь в верхнем конусе, у входа. И тоже хочу проникнуть в ваше сознание. Хочу кое-что понять. Что это он так мною интересуется? Чем я для него привлекателен, интересно бы посмотреть. Но и мне к вам тоже не пролезть. И я ничего не узнаю, если вы не пожелаете меня посвятить. А посвятите — тоже узнаю не все. С ограничением. Разве по ошнбке выпустите наружу информацию. Но и тут... Еще никто не проникал в сознание индивидуального человека. Даже того, который твердит, что он большой коллективист. Наша внутренняя свобода более защищена, чем внешняя. Здесь никто в спину не ударит. Мысли не звучат для чужого уха. Пока технари не придумали свой энцефалограф, над которым упорно бьются. Пока не научилнсь записывать наши мысли и чувства на свою ленту с дырочками, до тех пор может жить и действовать неизвестный добрый человек, скрывающийся в тени, готовый биться против

ухищрений зла. Что такое добро, что такое зло, вы уже знаете.

— Вертелся, вертелся и поставил мне мат.

Они оба засмеялись.

— Федор Иванович! Это верно, когда такой записывающий аппарат начнут сериями кидать с конвейера, тут уже вашему иеизвестному солдатику места в жизни не будет.

Полковник умел в некоторые минуты смотреть на собеседника добрым мягким провинциалом. Умел и мгновенно перемениться, показать свой металл. И сейчас, после своих слов, поглядев на Федора Ивановича с лаской, он вдруг как бы перешел к делу.

— Но имейте в виду, Учитель, мотайте иа ус. То, чем я, как вы говорите, интересуюсь в вас, я все-таки получил.

— Захотелось прихвастнуть? — Федор Иванович был спокоен. — Тактика учиг, что лучше не показывать достигнутое преимущество.

Полковнику понравились эти слова. Он помолчал, любуясь собеседииком. Потом продолжал:

— Можете также быть уверены, что я ни с кем не поделюсь своей иаходкой. Приятной находкой... Хотя да, вам же иужна не вера, а знание...

Он остановился и с полупоклоном развел руками. И Федор Иванович развел руками и чуть заметио поклонился. Оба покачали головой и двинулись дальше. Наступил долгий перерыв в беседе. Потом полковник опять остановился.

— Как я понимаю, у зла есть тоже своя нижняя колба песочиых часов. Свой внутренний конус. Бесконечность...

— Только маленькая разница, Михаил Порфирьевич. Но существеиная. Самонаблюдение злого человека ие иитересует. Его жизнь — во внешнем конусе, среди вещей. За ними он охотится. Ему нужно все время бегать во внешнем пространстве, хватать у людей из-под иоса блага и показывать всем, что он добряк, благородный жертвователь. И вся эта маскировка может быть хорошо видна добру, которое наблюдает из своего недоступного укрытия. Если оно постигло... Если научилось видеть. Добро, постигшее эту разницу, будет находиться в выгодном положении. Это сверхмогучая сила. Особеиио если она осенеиа достаточио

мощным умом. Точка, на этом я заканчиваю. Вы получили от меня весь курс.

Продолжая беседовать — теперь уже о других, но не менее мудреных вещах,— они вышли из парка, пересекли, идя по тропинке, край протаявшего черно-пегого поля, протопали по уже высохшему толстому настилу моста и вышли на улицу, которая вела Федора Ивановича к его цели. Когда приблизились к знакомой арке, он постарался вести себя так, чтобы нельзя было догадаться, что именно здесь, за аркой заканчивается его маршрут. Не замедлив шага и не взглянув в сторону арки, он прошел мимо. Ему помог в этой маскировке Кеша Кондаков. Дымчатым, но зычным голосом вдруг окликнул сверху:

— Учитель! Учитель!

Он стоял на своем балконе над спасательным кругом, завернутый в малиновый халат.

— С учениками гуляем? Что же не заходишь, равви? Михаил Порфирьевич, вы-то почему мимо? Зашли бы!

Федор Иванович и полковник энергично помахали ему.

— Учитель, заходи! Подарок получишь! — вдогонку крикнул поэт.

— Как вам наш областной гений?—спросил Свешников, когда они миновали магазин «Культтовары».

— У него есть хорошие стихи.

— Я его сначала недолюбливал. Без изъятья. За некоторые особенности личной жизни. Почти всегда пьян. И прочее... А потом смотрю — дело-то сложнее. Он мне напоминает одного моего друга у нас во дворе. Лет шести. У вас есть дети?

— Нет.

— И не было?

— И не было. Есть в мечтах один, белоголовенький. После войны вдруг начал сниться. Один и тот же. Недавно опять...

— И у меня нет. Вот я и завел во дворе дружка. В доверие вошел. Говорю ему как-то: где ты был летом? Серьезно отвечает: путешествовал. Куда же ты ездил? На острова Зеленого Мыса. Наш поэт тоже такой путешественник. То на островах Зеленого Мыса обретается... то вдруг в сугубо реальной действительности. Стараюсь замечать его, когда он на островах. У него есть очень грустные стихи про болотный пар и про го-

ловастиков. Наблюдения над самим собой, довольно критические...

Федор Иванович простился наконец со Свешниковым на площади около городской Доски почета, где на него строго взглянул с фотографии папа Саши Жукова. И сразу торопливо зашагал, почти побежал назад. В его распоряжении был еще час, и он решил оставить дома полушубок и надеть «мартина идена». Он и сделал это, и через пятьдесят минут по Советской улице уже быстро шагал стройный и решительный молодой мужчина без шапки и с озабоченным лицом — журналист или, быть может, архитектор. Так преобразило Федора Ивановича это любимое пальто.

Он свернул в переулок и подошел к дому Лены через проходной двор. Этот новый путь ему показала она. «Потому что эта вещь любит тайну, темноту и иносказание»,— так она объяснила необходимость пользоваться проходным двором. Он пренебрег лифтом, взбежал на четвертый этаж и позвонил у крашеной двери с табличкой «47». Открыла бабушка — чистота, привет, интерес к молодости и привядший колеблющийся пух на голове. Маленькая и выразительная в движениях, как Лена.

— Здравствуйте, Вера Лукинишна!

— Здравствуйте, Федя. Хоть один грамотный человек в гости ходит. А то все Луковной... Да еще поправляют. Раздевайтесь, проходите.

— Лена дома?

— Проходите, сейчас будем обедать без нее.

— А Лена?

— Леночка убежала. Приказала обедать без нее.

— Но ведь воскресенье!

— По воскресеньям-то у нее самые-самые дела.

— Тогда я, может быть, пойду...

— Ничего подобного! Будем обедать. Она приказала не отпускать вас.

Федор Иванович покорился и, повесив пальто, ничего не видя вокруг, был за руку переведен в комнату и почти упал на тот стул, который ему был указан. Усевшись, закрыл глаза, вникая в тихую боль. Не удержался — громко вздохнул. Бабушка пристально на него посмотрела и ушла на кухню.

«Ведь ты же сама, сама же пригласила,— шептал Федор Иванович.— Неужели у тебя так... До того

дошло... Назначила же время. Три часа. Знала, что приду. Что прибегу...»

— Кому говорю,— сказала бабушка около него.— Ешьте суп!

Перед ним уже стояла красивая старинная тарелка с желтым бульоном, и в нем празднично краснели кружки моркови. Он опустил в бульон старинную тяжелую, отчасти уже с объеденным краем серебряную ложку, и тарелка мгновенно опустела.

— А пирожки? Она же специально для вас пекла!

Он взял пирожок.

— Федя! Ну что с вами? Вы не здоровы? Почему вы так похудели? Вы знаете, я врач. Так худеть не годится, даже от любви.

— Почему я похудел...

— Ешьте, ешьте пирожки. Я сейчас еще положу. Правда, вкусно?

— Почему похудел... Отчасти в этом виновата ваша внучка.

— Так у нее же очень сложное положение! Бедняжка разрывается между двумя огнями.

— Не полагается, Вера Лукинишна, иметь сразу два огня.

— Знаете, что... Вот послушайте,— бабушка сидела против него и, склонив набок голову, окруженную колеблющимися легкими волосами, смотрела на него с печалью.— Вот послушайте, это вам адресовано. Айферзухт ист айне лайденшафт, ди мит айфер зухт, вас лайден шафт. Поняли?

У нее был, видимо, настоящий немецкий язык. Слова круглые и с пришепетыванием.

— Что-то частично понял,— сказал Федор Иванович.— Про ревность что-то. И про страдания.

— Именно. Ревность это такая страсть, которая со рвением ищет то, что причиняет страдания. Пожалуйста, не страдайте, у вас нет причин. Съешьте еще тарелку бульона, я пойду за вторым.

Он послушно, быстро, сам того не заметив, опорожнил вторую тарелку.

— Молодец,— сказала бабушка, внося блюдо с очень красивым куском жареного мяса. У Федора Ивановича, несмотря на его страдания, на миг проснулся аппетит.

— У нее, у бедной, не закончены некоторые дела,—

сказала бабушка, разрезая мясо и кладя в тарелку Федора Ивановича.— Я их немного знаю. Они для вас не опасны.

— Вера Лукинишна, она водит меня за нос! — почти закричал он.

— Нет! Что вы! Она вас так любит!

— Она очень пылко относится к своему незаконченному делу.

— У интеллигентных девушек пылкость может быть распределена между двумя объектами, совсем разными...

«Вот-вот...»— подумал Федор Иванович.

— С этим надо считаться. Они творят иногда сумасшедшие вещи. Могут и на карту поставить...

«Именно...» — подумал он.

— Она хорошая девчонка. Берегите ее. Вы не найдете второй такой нигде.

— Но я никуда не могу уйти от этого чувства... Айферзухт... которое ищет со рвением... Страдания-то и искать не приходится!

— Ничего, ничего. Это все не страшно. Ревность — это сама любовь. Любовь в своем инобытии,— философ сказал. Философ моей молодости. Не теряйте время на глупости, наслаждайтесь своим богатством и ни о чем страшном не думайте.

Часа три они беседовали так за столом. Вера Лукинишна, положив сухонькую теплую руку на его крупный костлявый кулак, мягким голосом толковала ему о ревности. О том, что в ней, в ревности, есть хорошая сторона. Стремление удержать того, по ком сохнешь.

— Продолжайте стремиться, держите покрепче,— говорила она.— Я не хочу, чтобы ревность ваша ослабла. Не привыкайте к этому, это было бы худым предзнаменованием.

Федор Иванович все прислушивался — не заворочается ли ключ в замке дальней двери. Так и не дождавшись Лены, он, наконец, поднялся.

— Пойду...

— Ничего, ничего. Все будет хорошо,— сказала бабушка, выйдя за ним на лестничную площадку. Она с тревогой глядела ему вслед.

Спустившись вниз, он остановился во дворе. Сумерки, сильно надушенные весной, что-то таили. Он чув-

ствовал себя как бы спустившимся на грешную землю. Да, ревность это страсть, которая специально, жадно ищет то, что задевает всего больнее. Он уже смотрел на подъезд, ведущий к поэту. Он быстро зашагал к нему. Зарычала пружина, и дверь хлопнула. «Лифт не работает»,— прочитал мимоходом и понесся по лестнице вверх. У черной двери с бронзовыми кнопками позвонил. Поэт тут же открыл, как будто ждал.

— Ты что, Кеша, видел меня?

— Почуял. По обстоятельствам сообразил.

— Ну, здорово. Где подарок?

— Не торопись. Поедим?

— Ну давай, поедим,— Федор Иванович сказал это для того только, чтобы заглянуть на кухню.

Ах, здесь все было не так, как раньше. Цветная страница из иностранного журнала с голой юной красавицей куда-то исчезла. И ни одного таракана.

— Ксаверий где?

— Казнен, Федя,— отозвался поэт из дальней комнаты. Он шарил в своем заоконном мешке, собираясь кормить гостя.

— Ладно, не старайся, я раздумал,— сказал Федор Иванович, переходя из кухни к нему.— Я уже пообедал. Так где подарок?

В обеих полутемных комнатах был беспорядок — как будто здесь готовились к ремонту. Поэт зажег в спальне большую лампу ярко-белого накала. Посредине комнаты стояли два чемодана. Деревянную кровать хозяин разобрал, и ее части были стоймя прислонены к стене. Волоокие девы поблескивали лакированными выпуклостями. Только сейчас Федор Иванович заметил, что Кондаков сильно изменился. Лицо потемнело, беспомощно и грустно отекло.

— Ты что — пил много?— спросил Федор Иванович.

— Вопросы какие-то задаешь... Ты как, воздухом дышишь? Или у тебя жабры, и ты ныряешь в ведро? У меня, например, внутри жабры... И я должен туда регулярно заливать.

Он не забывал шутить, но на месте ему не стоялось, все время срывался бежать куда-то. Заставлял себя остановиться и смотрел на Федора Ивановича, готовя какое-то важное слово.

— Не торопись получить свой подарок,— сказал наконец.— Никуда не уйдет. Никуда не уйдет.

— Что это все означает?— спросил Федор Иванович, садясь на чемодан. Он не снял пальто, только слегка распахнул.— Затеял ремонт?

Поэт, как прикованный, смотрел на пальто. Пощупал ткань.

— Давно у тебя? Продай!

— Ремонт будет?— Федор Иванович оглядывал стены.

— Ну да. Ремонт будет. Ремонт... Вот, я решил подарить тебе эту кровать. По моим сведениям, у тебя дела идут на лад. Кровать необходима. А у меня перемена в жизни. Похоже, навсегда.

— Женился?

— Нет, это ближе к разводу, Федя. Так возьмешь? Отдаю со всем набором, с одеялом и подушками. На улицу жалко бросать такую вещь. Если что-нибудь заплатишь, не откажусь. Мне она тоже от хорошего человека перешла. Примерно в таких же обстоятельствах.

— Ты-то почему с этой штукой расстаешься?

— Для твоей дамы будет сюрприз. Им нравятся такие удобства.

— Почему ты вдруг...

— Блажь, блажь. Ухожу в монастырь.

«Она бросила его!— подумал Федор Иванович.— Она обманывает не меня, а его».

— У нее, ты сам понимаешь, и до меня было. Но ты должен разбираться — одно другому рознь. Она от того ушла вроде как ко мне. Муж, муж у нее был. Но и от меня быстро улетела. Посмотрела вплотную — не тот. И улетела. Только перышко осталось в руке, а ее нет. Это очень, скажу тебе, Федя, неприят-ствен-но. Даже не то слово. Пытка! Казнь! Вот даже стихи сочинил. Хочешь?

И он, придвинувшись, глядя куда-то в сторону, загудел глухим полушепотом:

Был я бесьей породы,
Баламут родниковой струи,
И терпела природа
Несуразные песни мои.
Был судьей всем, кто ползал
И летал средь прибрежной травы,
И взымал в свою пользу
Я налоги с беспечной плотвы.

В этом месте поэт остановился и сквозь всю свою грусть со слабой улыбкой покачал головой:

— Было, было...

И, переждав свои воспоминания, продолжал гудеть стихи:

Ведал дремой болотной,
На мели головастиков пас...
Но без жалости отнял
Все судьбою назначенный час.
Грянул гром небывалый,
В поднебесье послышался стон,
Лебедь белая пала,
Обагряя притихший затон.
Я дела забываю,
Я к ослепшей от боли лечу,
Песнь любви запеваю,—
Ту, которой от горя лечу.
Дал я ране закрыться...
Но, очнувшись от тяжких обид,
Видишь ты, что не рыцарь —
Пень чудной на болоте стоит.
Поднялась молодая,—
Только крыл пролилось серебро...
И, навек улетая,
Обронила в болото перо.
И не знала, что нищий,
Навсегда обездоленный черт
В тине знак тот разыщет
И к душе деревянной прижмет.

Наступило молчание.

— Вот какие стихи родятся от горя,— заговорил наконец Кеша.— Только крыл пролилось серебро, представляешь? Улетела...

— Но ты, я вижу, еще жив, Кеша...— заметил Федор Иванович.

— Никогда не воскресну. Нет. Она приходит и сейчас иногда, можешь себе представить такую пытку? Жалеет! И, так сказать, понимаешь, готова... Я ее беру, держу ведь в охапке. Но чего-то нет. Что такое? Одни перья... Перья держу, а самой ее нет. Сама где-то в другом месте, вся там.

— А раньше?

— Раньше все было мое. И перья, и душа. Недолго, правда. Несколько дней.

Кондаков взял веник и начал подметать комнату. То хмурясь, то усилием расправляя лицо. Федор Иванович, выгнув бровь, смотрел на него слегка сбоку.

— К кому улетела — хотелось бы глазком глянуть,— Кондаков посмотрел на него.— Морду набить счастливцу...

Он подметал, сгоняя в кучу какие-то бумажки и, между прочим, чей-то портрет на почтовой открытке. Федор Иванович узнал — это был Рахманинов, коротко остриженный, почти наголо. Выхватив открытку из-под веника, он стал протирать ее платком.

— Эту открытку я забираю себе.

— А я не отдаю. Променять могу.

— Так ты же кровать такую даром отдаешь!

— Если возьмешь кровать, и Рахманинова бери. А так — нет. Так — только за эквивалент. Я видел у тебя ботиночки летние, видные такие, с дырками. Давай на них.

— Они же ношеные!

— Ничего. Еще год проходят.

— Ну что ж... Считай, они твои.

— Мне еще нравится твой пиджачок. «Сэр Пэрси», так ты его зовешь. Что хочешь за него? Могу вот Оскара Уайльда. Два тома. Чего молчишь? Хочешь вот Есенина? Правда, только один том. С березами, первое издание.

— Странно как-то... В общем-то, конечно! За Есенина давай...

— Принеси сначала «сэра Пэрси».

— Он же на тебя не налезет, Кеша.

— Это моя печаль. Похудею.

Какая-то новая странность открылась в этом Кеше. Он явно что-то задумал. Какой-то свой невиданный шахматный ход.

— Ты это самое... Скажи мне. Берешь кровать? Не бойся, клопов нет. Не хочешь платить — не надо, бери так. Ты, я вижу, не веришь. Представь, дарю! Накатила щедрость...

Не говорить бы ему этих слов, о щедрости. Федор Иванович сразу почуял маскировку. И сам ушел в тень.

— Хорошо. Приду еще и заберу. Спасибо, Кеша.

— А ты не можешь сегодня? И потом доложишь,

как понравится даме. Обязательно! Это будет твоя плата. Договорились?

Дурачок! Он был весь как на ладони. Свихнулся от своей дамы.

— Нет, сегодня не заберу, — Федор Иванович с грустью на него посмотрел. — И вообще... Надо еще транспорт... Нет, в ближайшее время не смогу.

И сразу Кеша засуетился, глаза забегали.

— Надо же мне что-нибудь на память тебе... Возьми вот скрепки. Коробочку. Ты таких никогда не видел. Заграничные.

Федор Иванович, быстро взглянув на него, взял коробок. Неудачно выдвинул картонный ящичек, и на пол со стуком просыпалось штук десять больших канцелярских скрепок для бумаги. Они действительно были особенные — оранжевые, блестели эмалью. Федор Иванович, присев, стал собирать их. Собирая, он думал: «Да, конечно, у нее мог быть и муж. Почему не быть... Когда люди сходятся в нашем возрасте, каждый приносит свой чемодан, и не пустой. И заглядывать туда нельзя». Он собирал скрепки, а Кондаков наблюдал, оскалив непонятную полуулыбочку.

— Учитель, а не понял, почему дарю. Эти скрепки — особенные. Они помогут тебе глубже понять и оценить красоту женщины.

Федор Иванович поднялся, внимательно посмотрел.

— На женщину надо каждую секунду смотреть, Федя. Стой на цыпочках, как будто лезгинку танцуешь, и не своди глаз. Каждая женщина — необыкновенное явление. Неповторимое.

— Но ведь во всех сидит Модильяни, — заметил Федор Иванович.

— Не мешай! — вдруг озлился Кеша. — Я тебе этого не говорил никогда! Ты лучше слушай, — голос его стал тихим. — Ты слу-ушай. Когда она разденется... Когда шагнет к тебе, она увидит эту коробочку. А ты ее заранее подставь. На видное место. И еще лучше, если нарисуешь на ней собачку смешную. Она схватит, обязательно схватит! И пальчиком тык туда. И все скрепки рассыплются по комнате. Ах! — кинется их собирать, забудет все. Федька! Это такие движения! А ты смотри! Смотри! Не упусти ничего. Это пятьдесят процентов познания жизни! Больше никогда такой живой красоты не увидишь. Чудо! Пик жизни! Пройдет и все —

жизнь пролетела. И не вернешь. Я там донышко выдрал, в коробке. Как ии повернет — все равио рассыплются.

— Ишь ты, изобретатель...

— Спасибо скажешь, дурачок. А мие остается только слушать твой рассказ...

— Ну вот ты повесил нос. Так оиа же к тебе и сейчас приходит.

— Жалеет, я же говорил. Жалеет. Невозможио терпеть!

— Но у тебя же всегда есть про запас!

— Не обижай меия, Федя. У меия горе.

— Ну и что — вот придет...

— Придет и тоскует. Невозможно! Говорит, нам нет хода назад.

— А ты-то! Такое дело, а ои тут... Меиы со миой затеял какие-то. Кровать, скрепки предлагаешь... Послушай, ты зачем мие... Зачем эти скрепки даришь?— Федор Иваиович ие мог смотреть в явио лгущие глаза Кеши и говорил, отвериувшись.

— Не нужны? Тогда давай иазад. Считаю: Раз! Два!.. Ишь, вцепился. Ха-а! Греховодиик ты, Федька. Смотри, потом расскажи мне, как прошел сеаис. Доложишь все подробио.

Да, Федор Иваиович вцепился в этот коробок, как в драгоцениость. Только ои ие собирался любоваться и изощрять до таких тоикостей иаслаждеиие, может быть, и ожидавшее его в отдалеиием будущем. Ои готовил себе муку и не знал, перенесет ли ои ее. Видавшая виды чуткость его уже проникла в цели Кеши, а сатаиииская изобретательность ревиивца подсказала ему страшиый плаи.

«Тоскует... Но все-таки иазад хода иет! Леиочка, я тебе прощу! Все без остатка! — так думал он, пряча в карман пальто коробок со скрепками.— Даже нет — какое может быть у меия право ее прощать или ие прощать. Я просто заставлю ее улыбнуться, будто иичего ие было».

Но, шагая домой, он то и дело трогал в кармаие эту проклятую коробку.

«Кошмар какой-то,— думал Федор Иваиович.— Кешка примеиил уже эти скрепки. Для своих эстетических... У иее, конечио, рубец в душе остался. Она же — чистейшее существо! Ои тоже помнит и про этот рубец. Пси-

холог... Хотел, чтобы я взял эту кровать в качестве брачного ложа. Чтоб напомнил ей о... А потом доложил чтоб о впечатлении... Ужас! Ну, Кеша, ну, ты садист! Хочешь надеть „сэра Пэрси" и показаться ей. И посмотреть на реакцию! Теперь вот скрепки сунул. Изобрета-атель! Ничего не выйдет, ничего!»

«Но прояснить всю картину надо»,— шепнула в нем та страсть, что ищет новых, непереносимых страданий.

II

На следующий день в учхозе, проходя в оранжерее мимо Лены, он остановился и довольно долго молча на нее смотрел, и взгляд его был благосклонно-холодным, взгляд тициановского Христа, отвергающего динарий. Она вспыхнула, оцепенела, сильно сжала в руках глиняный горшок с землей, как бы прижимая его к груди, и поставила на место. Он прошел дальше, ни разу не оглянувшись, вышел из оранжереи и так же, не оглядываясь, исчез за дверью финского домика, где у него была своя рабочая комната. Тут были стеллажи в три яруса, и на них стояли стеклянные плошки — чашки Петри, а в чашках в воде на фильтровальной бумаге прорастали картофельные семена. Передвигая чашки, он слышал, как отворилась и закрылась дверь, и знал, кто вошел.

— Бедный,— сказала Лена, крепко обняла его и прижалась к нему сзади.

— Почему это я бедный? — спросил он, не оглядываясь.— С какой это стати? Посмотри-ка — пошли наклевываться семена!

Потом быстро обернулся.

— Знаешь, на чем я сейчас себя поймал? Я умирал от страдания и скрыл это. Во мне что-то начало закрываться от тебя, затягиваться. Если так дальше пойдет — и с моей стороны начнется притворство и вранье... Я сейчас еле остановил в себе это. А так хотелось притвориться равнодушным. Так что имей в виду...

— Дурачок, ты все еще думаешь, что я тебе изменяю?

— Измена — выдуманное слово,— сказал он с кривоватой тоскливой ужимкой.— Измены в любви не может быть. Любовь имеет начало и конец. Когда конец наступил и любви не стало, не все ли равно, куда пой-

дет, что будет делать тот, кто не любит. Если бы любил — никуда бы не пошел.

Она закрыла ему рот рукой. Он отнял ее руку.

— Кроме того, любовь неповторима. Со мной ты одна, а с другим будешь другая. Измена была бы, если бы можно было повторить одну и ту же любовь, но с другим человеком. То, что было мое, останется со мной и не повторится. Со мной ты трогательно чиста. Но в том обществе, где над чистотой красиво и мефистофельски смеются... Там и ты можешь смеяться. А мое ты там забываешь. Вполне естественно...

Она еще сильнее зажала ему рот.

— Сочини-итель! Что ты знаешь о том обществе? Ничего же не знаешь!

— Может, и ты о том обществе ничего не знаешь. То общество с тобой может быть одно, а со мной — другое.

— Можешь ты подождать еще две недели? Нет, лучше месяц. Подожди. И не притворяйся больше, пожалуйста. Гони все из головы. Изо всех сил борись.— И она поцеловала его и сильно встряхнула.— Проснись, ладно?

— Конечно! — сказал он и все же небрежно пожал плечами, как бы храбрясь.— Могу, могу подождать. Подожду.

В этот день к нему подошел в оранжерее академик Посошков. Мягко взял под руку и повел в сторону от людей. Лицо у него было, как всегда, желтоватое, с ямами на щеках, и серые усы были подстрижены, как дощечка, и сам он в своем сером халате был весь загляденье — аккуратный и молодой. Только тени под бровями были гуще, и там, в глубине, словно вздрагивали две чуткие мыши — то покажутся, то исчезнут.

— Феденька,— сказал он.— Короткий конфиденциальный разговор. У тебя лицо нехорошее. Неприятности?

— Все в ажуре, — ответил Федор Иванович. — Полный порядок.

— Есть у тебя дама сердца?

— Нет,— солгал Федор Иванович.

— Не верю, есть. Раз врешь, раз говоришь нет — значит, дела у тебя не слишком. Когда они хороши, еле удерживаешься, чтобы не похвастаться. У меня нет сил смотреть на тебя. Я вижу иногда, как ты бежишь по этой улице... По Советской. И в арку... Ничего, не отча-

нвайся. Знаешь, нужда бывает в таких случаях поделиться. Не бойся, делись. Найдешь во мне понимающего конфидента. Не хмурься, а пойми, Федька. Я, например, был рожден для огромного счастья в семье, а у меня все неудачи, неудачи. Большой накопился опыт по линии неудач, и потому я все-таки угадал твое. Мы идем не по параллельным, а по сходящимся прямым, и впереди нас ждет обоюдная исповедь.

Федор Иванович прижал локтем его руку.

— Да, пожалуй, в чем-то вы коснулись истины. Но я пока не созрел еще для такой исповеди. Скоро, видно, выпью всю чашу до дна. Еще месяц. И тогда прямиком к вам. Реветь.

— Давай, милый, давай...

Но ждать целый месяц не пришлось. И чаша оказалась совсем другой. В середине апреля — там же, в учхозе, в финском домике, Лена вдруг зашла к нему перед самым концом работы. Бросилась на шею.

— Ты меня любишь?

— Наверно, — сказал он и посмотрел устало.

Не отпуская рук, откинулась, с тревогой посмотрела сквозь очки. Брови сошлись.

— Бабушка права...

— Новые тайны! В чем она права?

Прошлась, повернулась на одной ноге, задумчиво глядя в пол. «Новые иероглифы! Специально для меня!» — подумал он, замирая.

Припала к его груди, глядя вниз, странно трепеща. Он чувствовал этот трепет.

— Ты меня, правда, любишь?

— Правда. Скорей! Что ты хочешь сказать?

Приложила голову, слушая его сердце. Молчала.

— А ты долго будешь меня любить?

— Всегда.

— И никогда не...

— Никогда.

— Смотри же...

И они замолчали оба.

— Паспорт у тебя с собой? — спросила вдруг, строго и прямо посмотрев.

— Нет... А что?

— Ничего. За паспортом зайдем. Вот, смотри.

На ее маленькой ладони лежали два тяжелых золотых кольца.

— Это бабушка нам. Это ее с дедушкой кольца. Подставь-ка палец. Федор Иванович, я тебя страшно, больше жизни люблю и избираю своим мужем. На всю жизнь. Если бы тебя не было, у меня, наверно, не было бы больше никого...

Она даже шмыгнула носом и, сняв очки, вытерла лицо о его рубашку.

— И ты мне надень. Вот на этот палец. Вот так. До конца надевай. Поцелуй меня. Молодые, поздравьте друг друга,— вспомнила она чьи-то официальные слова и засмеялась, опять шмыгнув носом. — Ах, Федька, Федька, не мешай, дай я выплачусь. Я не могу остановиться...

Она даже взвыла слегка, усмешка на этот раз не получилась, и она зарылась лицом в его рубашку и зашмыгала, ударяя его кулачками в грудь.

Долго они так стояли около чашек Петри, слегка качаясь, постепенно приходя в себя. Потом умылись оба над большой эмалированной кюветой, вытерлись платками.

— Ну что, пойдем? — спросила она.

— Куда?

— Как, «куда»? В загс!

Они бегом полетели одеваться, выбежали, как школьники на перемену, из домика на чуть подмерзшую грязь. Лена была в коротеньком — выше колен — каракулевом пальто — бабушка перешила для нее свое,— и в тонком шерстяном платке цвета жирного красного борща, посыпанного мелкой зеленью. Федор Иванович хотел покрепче схватить ее под руку, но по ее лицу, рукам тут же пробежал строгий иероглиф: «Подождем с обнародованием наших отношений».— И они молча пошли рядом.

— Значит, бабушка разрешила? — спросил он.

— Бабушка приказала! Бабушка мне выговор закатила за тебя! Строго велела немедленно жениться!

Пройдя через парк, они зашли к Федору Ивановичу за паспортом и быстро, весело зашагали через поле, по Советской улице и переулкам — и к райисполкому. Лена уже знала весь путь. Проведя его по длинному коридору первого этажа, сказала: «Вот здесь», — и они умолкли перед запертой дверью, на которой была приколота бумажка: «15 и 16 апреля отдел не работает».

— Ну и ладно,— сказала она, помолчав.— Ну и пусть.

— Отложим? — тихо спросил он.

— Нет, зачем... Пойдем жить ко мне. Там все готово.

— А бабушка?

— Бабушка вчера благословила меня и уехала в другой город. А потом она осторожно вернется.

И они неторопливо побрели обратно. Оба чувствовали некоторое беспокойство. Сунув руку глубоко в карман его пальто, Лена то и дело толкала его, толкала и притягивала, держась за этот карман.

— Жениться официально нам нельзя,— вдруг загадочно проговорила она.— Нельзя жениться. Ты мне не веришь.

«Да,— подумал Федор Иванович.— Нет, не „не верю", а знаю, что у тебя есть какая-то начиночка». И промолчал в ответ на ее вынуждающее молчание.

— Во-от. Нельзя. А что мы идем ко мне — это я беру целиком на себя.

И, посмотрев на него, она кивнула выразительно: «Понимай, как хочешь». Он не сказал ничего.

— Что загс? — она толкнула его и притянула.— Тебе я, конечно, тоже не верю. Я знаю, что ты — Федор Иванович. И беру тебя без гарантий закона. Берите и вы меня безо всяких гарантий. Берете? Что это у вас? — она достала из его кармана картонный коробок.

— Скрепки, — сказал он.

Она повертела в руке коробок, как будто не видя его, и положила обратно.

С того момента, как он вспомнил про эти скрепки, какая-то гадость опять засела в нем, отнимая волю.

— Ты какой-то торжественный,— она приблизила к нему свои большие очки. За стеклами плавала, льнула к нему ее душа.

Сегодня что-то должно было произойти. «Нет, пусть, пусть будет ясность,— оправдывал он себя.— Объяснимся, войдем в рай чистыми».

— В какой рай? О чем ты?

Оказывается, он говорил вслух.

— Надо, наверно, ко мне сходить за вещами,— сказал Федор Иванович, когда они прошли через арку под спасательным кругом. Он пытался остановить время, влекущее его к неизвестному концу.

— Успеем, — ответила она. — У меня все есть.

— Может, купим что-нибудь?

— Все куплено. Ты боишься?

Оии вошли в лифт, и пока кабина медлеиио плыла на четвертый этаж, обе руки Лены успели залезть к нему в пальто, обняли его за плечи.

Квартира номер 47. Дверь никак ие отпиралась. Потому что Лена все время смотрела на него. Накоиец, отперлась.

— Это вот тебе,— сказала Лена, подавая ему иовые малиновые тапки.— Это я купила.

Стол в первой комнате был торжественно накрыт для двоих. Чериела бутылка. В овальном блюде что-то горбилось под крахмальной салфеткой.

— Это я бегала днем накрывать. Для нас с тобой.

Во второй комнате рядышком стояли две кровати, застеленные голубыми пикейными покрывалами. Изголовьями к дальней стене. А по сторонам — по тумбочке.

— Нравится? — спросила Лена, забираясь под его руку.— Это мы с бабушкой тут...

— А мухи где?

— Ты разве ие видел? Они в той комнате. Между окиами.

— Ага...

— Ну что теперь будем делать?

— Наверно, я пойду умоюсь, как следует...

— Пойдем. Вот сюда. Можешь сначала зайти и в эту дверь. Не желаешь? А здесь у нас ванная. Газ открывается вот так. Ты полезешь в ванну? Это твое полотенце. А это твой халат. Бабушкии подарок...

Халат был малииовый, мохнатый. В точности, как у Кондакова, только новый.

Из ванной он вышел, почти дважды обернутый этим халатом, узко подпоясанный. И сейчас же туда скользнула Леиа, сделала ему таинственные глаза и захлопнула дверь.

Тянулись минуты. Окиа уже стали сиреневыми. Он зажег свет в обеих комиатах. Потом ои вспомнил и, достав из своего пальто коробок со скрепками, отнес его в ту комнату, где чисто голубели под покрывалами два ложа. Нет, у него не хватило духу рисовать иа коробке собачку по совету Кеши Кондакова. Но не было сил и отказаться от замысла. Невыносимые воспоминания зашевелились в нем, и он, с ненавистью взглянув на коробок, положил его на трехногий столик у двери — на самом виду. «Сейчас ты получишь сигнал оттуда,— подумал он. — От твоего того общества».

Вскоре хлопнула дверь ванной, и в комнату, где был накрыт стол, вошла порозовевшая Лена в узко подпоясанном лиловом мелкокрапчатом халатике с белыми кантами.

— Давай питаться. Садись во главе стола. Привыкай к положению главы семьи. Как ты думаешь, будем пить вино?

— Может быть, выпьем по рюмке?..

— А не повредит? Бабушка предупреждала... У нас же будет дитя.

— Но за счастье надо выпить. По полрюмки. Давай, выпьем за счастье.

— Давай. Я думаю, не повредит. Наливай скорей!

Он налил в маленькие рюмки какого-то вина.

— За счастье, Леночка. Ты — моя жизнь. Что бы ни было в будущем... И в прошлом. За тебя. Чтоб отныне, с этой минуты у нас не было никаких тайн друг от друга. Ни малейших.

— Кроме одной, Федя.— Она посмотрела на него с мольбой. — Кроме одной, которая для тебя не опасна. И, думаю, скоро перестанет быть тайной.

— Значит, и мне можно держать про себя кое-что? А то я сейчас чуть не покаялся...

— Н-ну, если тебе хочется... Если так надо... Это твое кое-что, оно не опасно для меня?

— Это что — ревность? — поспешил он спросить.— Айферзухт?

— Инобытие любви, бабушка так говорит.

— Понимаешь, это кое-что, оно является частью и твоей тайны и живет, пока существует твой секрет. Оно может быть страшным, но может быть и смешным...

— Мы ведь все скоро откроем друг другу? Обещаешь? Ну и хорошо. Хорошо! — она тряхнула головой, отгоняя свои сомнения. — Ты меня любишь?

— Да, — твердо сказал он.

— А я умираю от любви. Выпьем за это счастье. За любовь.

И они медленно выпили сладкое детское вино, сильно пахнущее земляникой.

Неуклонно надвигалось молчание, предшествующее великой минуте. Уже Федор Иванович под ее непрерывным ласковым взглядом сквозь очки съел большой — лучший — кусок индейки. Уже выпили чаю. Свадебный ужин пришел к концу.

— Ну-у? Что теперь будем делать? — спросила она, и голос ее сорвался на шепот. Она смотрела на него. Это было мужское дело — произнести решающие слова. И он их произнес:

— Пойдем теперь туда?

— Придется идти...

Они вошли в другую комнату. Федор Иванович улыбнулся ей.

— Взойдем на ложе?

— Придется взойти... Ты ложись, а я сейчас...

Она вышла. Он неумело сдернул пикейное покрывало с одной постели, обнажив красивое плюшевое одеяло — белое с зелеными елками и оленями. Сбросил халат на тумбочку и лег, утонул в мягкой, холодной, пахнущей туалетным мылом, совсем непривычной среде.

«Что мне нужно? — думал он.— Мне ведь очень немного нужно. Чтоб пришел, наконец, из области снов белоголовенький мальчишечка, и чтоб рядом был самый близкий взрослый человек. Вот этот, что за стеной. Мать мальчишечки. Не таящая от меня ничего. И тогда мне море по колено... С самого детства буду учить моего малыша разбираться в красивых словах, не попадаться на их приманку, чисто смеяться и не бояться ничего. И не иметь в душе ничего такого, от чего на лицо ложится особенное, несмываемое выражение: как будто человек почуял дурной запах...»

Вдруг он как бы проснулся. Дверь была открыта. Там стояла, сияя глазами, молодая женщина в длинной ночной рубашке с розовыми бантами. На ней не было очков. Распущенные темные волосы легко шевелились на плечах.

— Кто это такой? — он попятился в постели.— Какая-то новая! Как вас зовут?

— Ты меня не узнал?

— Леночка, бог создал для меня не эту незнакомую красавицу, а тебя. А этой прекрасной рубашкой надо любоваться отдельно. Бабушка подарила?

Она кивнула, и оба рассмеялись.

— Сними... Для первого свидания.

— Может быть, не надо?

— Мы ведь с тобой одна плоть. Я хочу видеть тебя всю. Ты лучше, чем эта рубашка.

— Может быть, потом?

— Нет, сегодня! Сейчас!

— Хорошо...— И вышла.

Должно быть, там, за дверью, она набралась мужества — вошла спокойная, нагая. Повернулась и плотно закрыла дверь. Спина, тонкая шея и плечи у нее были как у семилетнего мальчика из интеллигентной семьи. Тем неожиданнее поразила того, кто лежал в постели, зрелая сила ее тяжеловатой женственности, тронутой чуть заметным, размытым румянцем. Еще плотнее притянув дверь, она повернулась, откинула волосы назад. Качнулась и дрогнула грудь, как две больших напряженных грозди. Почувствовав быстрый мужской взгляд, Лена безжалостно придавила их, сложив обе руки локоть к локтю, и они в ужасе, полуживые, выглянули из-под ее рук.

— Леночка! Милая, не бойся меня. Для того все это и создано, чтобы любящий, допущенный лицезреть, воспламенился.

Они оба все время пытались шутить, чтобы отогнать неловкость.

— А ты любящий?

— Леночка, я истаял по тебе. Жизни осталось пять минут...

— И ты воспламенился?

— Погибаю! Иди!

— Придется идти,— сказала она, недоуменно пожав детскими плечами, обреченно качая головой. Это был иероглиф, адресованный только ему. Он устанавливал какой-то совсем новый контакт.

— Я все-таки не могу... Погашу свет.

— Не надо! В раю же было светло!

— Окно... Закрыть бы чем-нибудь.

— Там же висит... Не надо.

— Что это? — она уже держала в руке коробок со скрепками.— Как это сюда попало? Ты принес?

Она рассеянно подбрасывала на ладони эту коробку. Сунула в нее палец. Со страшным треском рассыпался по полу оранжевый дождь. Она замерла, держа пустую коробку в поднятой руке. Потом присела, подобрала одну скрепку, вторую... «Пик жизни!» — вспомнил Федор Иванович, мертвея от ужаса. Вдруг она задумалась, держа скрепки в горсти, медленно, все ниже опуская голову.

— Брось все! — закричал он в отчаянии. — Брось, брось! Ничего не думай!

— Почему ты так? — посмотрела, недоумевая.

— Ты что — видела где-нибудь такие скрепки?

— Еще бы... Их у Раечки в ректорате целый склад. Есть что-то в этих скрепках. Что-то непонятное. Ладно... Веником потом подмету.

Она выпрямилась. Эти скрепки сняли всю ее застенчивость. Белым горностаем она протекла к нему под одеяло. Федор Иванович протянул руки, но она слегка отпрянула. Вытянулась и молчала.

— Мне еще надо тебе кое-что сказать.

— Не надо. Не говори. Я все знаю.

— Что ты знаешь?

— Не надо ни о чем.

— Нет, надо. Почему-то считают некоторые, что это изъян...

«Вот оно», — вяло подумал он, сдаваясь. Но тут же воспрянул: «Это невозможно! Нельзя, пусть будет неопределенность!»

Он зажал уши и еще шевелил пальцами в ушах — чтоб ничего не слышать. Закрыл глаза и сквозь ресницы, как бы в сумерках, все же видел, как она шевелила маленькими, детски-чистыми губами, и при этом растопыренными пальцами лохматила волосы на его груди. Она исповедовалась ему в чем-то, в каком-то своем грехе. Потом подняла глаза со вздохом. Улыбнулась виновато. И вдруг заметила, что он по-настоящему, намертво закрыл уши. Смеясь, стала тормошить его, схватила обе руки, оторвала от ушей.

— Ты не слышал ничего! А ты ведь должен узнать. Должен.

Сковала обе его руки и прямо в ухо продудела:

— Ю стурую дуву! — так у нее получилось. — Я старая, старая дева! Знаешь, кто я? Бледно-голубая муха-девственница, только старая. Ты разве не видишь, что я вся — длинная, прозрачная и бледно-голубая! Ну? Разве я не должна была тебя предупредить?

Вот так бывает... Он провел рукой по лицу, сгоняя мертвую шелуху долгодневного наваждения. Взор его повеселел. Он радостно улыбнулся, получилась лучшая из его улыбок, и Лена, следившая за этой переменой в его лице, так и потянулась к нему.

В полночь они уже были мужем и женой. Лежа рядом с ним, она с преувеличенным вниманием рассматривала свои пальцы, и это тоже был иероглиф.

— Я ожидала большего от этого события,— сказала она. — Операция без наркоза.

Он хотел сказать нечто, но удержался. Тихо поцеловал ее.

Нечаянный ласковый смешок выдал его.

— Ты что хотел сказать? Ну-ка, выкладывай.

— Я хотел сказать: ученый всегда на посту.

— А что? И правильно.

— Не болтай чепухи, все так и должно быть. Я, например, счастлив. Наложил, наконец, на тебя лапу.

— Наложил, говоришь?

— Ожидания еще сбудутся.

— Ты так думаешь? Что-то интересное. Смотри, покрепче держи лапу...

— Ожидания сбудутся завтра.

— Завтра — нет. Завтра у меня будет листок нетрудоспособности. Как подумаю... Придется ведь еще рожать... Мне больше нравятся наши отношения, которые предшествовали... Начиная с того утра, когда я варила кофе. Ты помнишь потентиллу торментиллу?

— Конечно. А ты помнишь мой несчастный первый поцелуй?

— Еще бы! Чем дальше от него отхожу — тем прекраснее! Я не знаю, возможно ли это — чтобы затмило всю эту... прелюдию. Правда, одна дамка бывалая говорит, что заслоняет... Говорит, что это способно забрать власть над человеком. Будет грустно, если это затмит. Я даже не могу представить...

Утром они проснулись, взглянули друг на друга и на них вдруг накатило веселье. Она бросилась его душить, он заорал, оба перекатились на соседнюю постель, которая так и оставалась всю ночь под пикейным покрывалом. Не каждому могут быть понятны невообразимые детские шалости молодой супружеской пары, двух первых жителей рая, сошедших с ума от счастья. Но если бог существует, да к тому же имеет человеческий облик и способен видеть, слышать и реагировать,— ему достались редкие возможности. Он, конечно, не видел ничего — мгновенно опустил глаза. Но он слышал, он слышал!

Вот что дошло до его ушей:

— Не спеши, я не могу так бегать. Сам знаешь, почему. И не смотри так. Дай, лучше я на тебя посмотрю. Стой, не двигайся, а я обойду. А ты ничего! Ты худоща-

вый, это мне даже нравится. Это у тебя рана? Как страшно... Можно потрогать? Ужас! Ты лежал на поле боя с этой дыркой в груди? И никого не было? Ох, еще... Какая ра-ана... Это из-за нее ты иногда хромаешь? В общем, ты мне нравишься. Ты герой... Но дальше тебе худеть нельзя. Пошли доедать индейку.

Потом заговорил мужчина.

— Нет, индейка потом. Дай теперь я! Стой на месте! Посмотрю на тебя. Ты прекрасна! Поцелуй меня. Красавица!! Это ты? Я не видел такого совершенства! Господи, неужели это моя жена! Неужели навсегда! Погоди одеваться, пройдись! Пробегись!

— Федор Иванович, мне же тру-удно бегать. Ох, впереди еще роды!..

Я представляю себе бога, слушающего все это. Он улыбается своей умиленной улыбкой. А может быть, и с некоторой грустью. Потому что он передал человеку самое лучшее, чего у него самого нет, никогда не было и не может быть.

Из чего я могу заключить, что самая большая святыня и ценность во всей Вселенной — это чистая человеческая душа, способная вместить любовь и страдание.

Полуодевшись — он в трусах и майке, она в халатике, молодые супруги долго сидели за столом и доедали индейку. Одну поджаристую ногу все же оставили, чтобы Федор Иванович мог днем прибежать и пообедать дома. После чая он посмотрел на часы и стал одеваться — надо было идти на работу. Она повисла на нем, обеими руками вцепилась в его плечо и сказала, что, наверно, сегодня весь день пролежит дома на больничном листе. Он взял было веник — подмести скрепки, но Лена отобрала.

— Потом. Полежу, сама подмету.

И тут он, подумав, сказал:

— Я, пожалуй, выдам тебе свою тайну. Чтоб совесть не мучила. Эти скрепки мне подарил наш поэт.

И, виновато на нее поглядывая, рассказал ей всю историю своих страданий — про попытки ворваться к Кондакову, про тезку и шахматы, про ботинки с дырками и «сэра Пэрси», про резную старинную кровать и эти скрепки.

Лена сразу же отпустила его плечо.

— И ты поверил! Ужасно! Это совсем на тебя не похоже!

— Ты смотришь, Леночка, с позиции Белинского, который считал ревность низменным чувством. А ты с позиции бабушки посмотри. Дело было почти верное — я терял тебя. Ты же бегала к нему. В тот подъезд.

— В какой подъезд? — она густо покраснела.— Господи! Ты видел, как я... Как ты не умер...

— Может, и умср бы. Но перед этим я мог натворить дел.

— Как права была бабушка... «сэра Пэрси» не смей отдавать, он мой, я его люблю. Ах, это я столько времени тебя терзала!

— И сейчас ведь продолжаешь...

Она опять тяжело повисла на нем.

— Все вижу. Ничего не выманишь. Придет время — узнаешь все.

Сам же он, между прочим, так и не открыл ей одной тайны — его и Ивана Ильича Стригалева. Тайна совсем не касалась Лены и настолько была серьезна, охраняла такие важные ценности, что он даже ни разу и не подумал о ней. Как будто ее совсем не было.

В два часа дня он прибежал на обеденный перерыв. У него теперь был свой ключ, он отпер дверь и, вешая пальто, закричал:

— Жена-а! Женка! Супруга!

В квартире было тихо. Он ворвался в первую комнату. Нет, он, оказывается, не испил еще всей своей чаши. Похоже, что она без дна. Он увидел стол, накрытый для одного человека. Около тарелки белел поставленный стоймя согнутый пополам листок: «Обедай без меня. Я скоро приду. Целую».

Он сел около окна — ждать. Ждал сорок минут, час, полтора часа и шептал: «Этого ей не следовало бы делать».

Потом вскочил и, схватив пальто, хлопнув дверью, побежал по лестнице вниз, понесся по двору, по улице — назад, в учхоз.

В его комнате в финском домике стоял Краснов и задумчиво глядел на стоявшие перед ним на стеллаже чашки Петри и длинные узкие ящики с землей. Федор Иванович уже знал — спортсмен смотрел на чашки Петри только для виду. Он в это время втягивал и отпускал прямую кишку и считал.

— Уже пикируете в ящики? — спросил Федор Иванович.

Краснов кивнул, — боялся сбиться со счета.
— Это те семена?
— Ага...
— Старик поделился?
— Пять пакетов увез, а один велел высеять.
— Блажко не видели?
— Она не пришла сегодня. Ее аспиранты искали...

Когда после работы он открыл дверь сорок седьмой квартиры, Лена — ласковая, мягкая вышла ему навстречу.

— Почему не обедал?
— Где была?
— Позволь мне не отвечать. Позволь, хорошо? Не хочу тебе врать.
— Хорошо...

Он молчал. Она не отходила от него. У нее теперь появился, стал постоянным проникающий в душу долгий взгляд. И еще: она стала, проходя мимо него, со специальным усилием опираться, повисать на нем. Однажды, когда они вместе подошли к окну, она вдруг тяжело — специально — наступила ему на ногу. Ловя его взгляд, сказала:

— Ну улыбнись же, а то я скоро подохну. Так страшно смотришь. Улыбнись, кому говорят! Я живу от одной твоей улыбки до другой.

В этот вечер они легли рано. Наступила их вторая ночь. Долго молчали. Потом она сказала:

— Ты что, забыл, что около тебя лежит твоя любящая без памяти жена? Ну-ка, поцелуй ее. Еще...

— Завиральный теоретик, вот ты кто, — сказал он, обнимая ее, и она счастливо засмеялась.

Мужчины по природе своей получают от жизни больше, чем женщины. Многие и пользуются этим преимуществом на сто процентов. А настоящий мужчина должен подняться еще на одну ступень — к сверхпреимуществу. Оно состоит в том, чтобы время от времени отказывать себе, притом в существенном. Конечно, в пользу обойденного, но скрывающего обиду друга — женщины. Не скользить легкомысленно по лугу наслаждений. В этом — сверхвысота.

Это, должно быть, закон природы. Федор Иванович ни о чем таком не думал, но стихия закона жила в нем. И среди ночи он вдруг увидел, как на ее лицо пала тень темной злобы, как плотно сошлись сердитые брови, сжа-

лись губы. В эту минуту она находилась в глубоком уединении, сама с собой. Сквозь сжатые ресницы заметила его взгляд, полный жадного и немного испуганного интереса и, слабыми пальцами залепив его глаза, оттолкнула. Через несколько мгновений она легко засмеялась и, расцеловав его, счастливо объявила:

— Заслонило!.. Заслонило, представляешь...

С детским удивлением и с любопытством ученого встретила она приход в ее жизнь этой темной силы. И больше не расставалась с нею, с каждой ночью все больше вникая в эту страсть, и эти ночи понеслись одна за другой, непохожие, пугающе новые. Захватывали иногда и день. Так что Федор Иванович, который с невольной робостью наблюдал этот ее рост, даже стал подумывать: не наступит ли у нее стадия интереса к другим мужчинам.

И был еще вечер, последняя суббота апреля. Они лежали полуодетые на его постели, и вдруг он почувствовал, что Лена не с ним, что ее милая непредсказуемо разнообразная сущность, которую он так любил, куда-то улетела. И совсем неожиданно и не таясь, Лена слегка разомкнула его объятия и посмотрела на часы.

— Тебя нет со мной,— со стоном сказал он и отвернулся. Она бросилась его целовать.

— Ну разве я не с тобой? — она снова и снова приникала к нему.

— Только тело, только тело! Оболочка! — И, поглядев ей в глаза, всматриваясь, он отчетливо добавил: — Только перья! Обронила в болото перо...

— Ничего ты не понимаешь. Скажи, ты счастлив со мной?

— Не совсем...

— Но все-таки, частица есть. Есть? Вот и не ставь ее на карту. Я сейчас уйду на два часа. А ты лежи. Можешь даже заснуть. И смотри — не ходи за мной. Береги то, что есть. Его больше, чем ты думаешь. Ладно? Ах, я уже опоздала!

И, легко отстранив его, она спрыгнула с постели и быстро начала одеваться.

В окнах уже стояла весенняя томительная синь. Лена помахала ему и ушла. А вернулась не через два, а через четыре часа. Посмотрела ему в лицо, потемнела.

— Ладно. Я постараюсь реже ходить туда...

Это было в субботу. А в воскресенье, уйдя на полча-

са в магазин, оиа, должио быть, услышала какой-то зов. Федор Иваиович сразу это почувствовал. К вечеру тягостное чувство его усилилось — оиа начала тайком поглядывать иа часы и одии раз в коридоре в отчаянии сплела пальцы и заломила их.

— Я прилягу, — сказал он и как бы подавил зевок. — Какая тоска — завтра опять иа работу. Ложись и ты, а?

— Ты располагайся, а я немного постираю. Ложись, я скоро приду.

Он разделся и аккуратио сложил иа стуле брюки, повесил ковбойку. Взяв газету, громко зашелестел ею. Опять зевиул, уронил газету и, повернувшись на бок, зарылся лицом в подушку.

«Раз ты меня продолжаешь обмаиывать...»— ои зажмурился, чтоб подумала, что спит. Были слышны тихие шаги в другой комиате — оиа подходила к двери, заглядывала. Ушла в ванную, пустила громадную струю воды. Потом по лицу его скользиуло как бы дуновенне ветерка — оиа неслышно подходила проверить.

«Господи, это моя жена!— думал ои.— Как скрытны люди! Где же берега твоей загадочиой жизни? Вот сейчас ты думаешь о чем-то, а может быть, и о ком-то, только ие обо мне. Но вчера — только вчера — что же это было? Вчера у тебя был всего лишь кратковременный обморок любви. И вчера ты думала не обо мне — виикала в свои времеииые переживания. К сожалеиию, этот обморок быстро проходит. И ты начинаешь смотреть на часы. Хватить бы их об пол. Нет, иадо коичать с этим,— ои старался дышать тихо и мерно.— Ты попалась, попалась, дружок».

Вода в ваниой тяжело гремела. Он чуть приподиял голову. Лены не было. «Наверное, уже иа лестнице...» Он вскочил. Точно и быстро двигаясь, оделся, сунул ноги в тапочки. Ее ие было и в коридоре. Набросив «мартина идена», он неслышно открыл наружную дверь. Далеко внизу щелкали ее быстрые каблучки. Хлопнула дверь подъезда. Оставив незапертой квартиру, ои понесся вниз гигантскими скачками. Приоткрыл дверь подъезда. Леиа в синей, принадлежавшей ему телогрейке, наброшенной на плечи, сквозь сумерки легко бежала через двор к тому, зиакомому подъезду. Зарычала пружиной дверь. Тут Лена остаиовилась, посмотрела назад — на окна, на свой подъезд. И скрылась. И дверь тяжелым

ударом как бы прибила этот миг, поставила точку на всем.

Он перебежал двор по сухому асфальту. С напряженной медленностью обманул пружину двери и без звука скользнул в подъезд. Ее замедленные шаги стучали наверху. «Лифт не работает»,— прочитал он мельком и неслышно запрыгал по лестнице, с первой ступени на третью, на пятую, попадая в такт ее шагам. «Выясним теперь, у кого ты пропадаешь все время,— бежала рядом с ним мстительная мечта.— Потом объяснимся раз и навсегда, и ты навсегда перестанешь применять ко мне свою завиральную теорию. И у нас больше никогда не будет белых пятен. Если вообще останется что-нибудь...»

Вот и четвертый этаж, знакомая дверь с кнопками. Шаги Лены слышались выше. Федор Иванович взлетел без звука еще на этаж. У этих малиновых тапок был замечательно мягкий ход! Вот Лена остановилась, похоже, на шестом. Слышен ее приветливый голос. Ответил еще чей-то — чей-то мужской, очень молодой. Опять ее шаги. Негромко вздохнула и присосалась на место дверь, и все затихло. Федор Иванович в несколько скачков пролетел три марша. На промежуточной площадке — на подоконнике — сидела пара: девушка и желтоволосый молодой человек. Саша Жуков! Федор Иванович кивнул им. Оба запоздало соскочили с подоконника, что-то крикнули вслед. Но он уже рванул почему-то незапертую дверь, вбежал в маленькую, как у Кондакова, прихожую. Здесь был сумеречно-желтый свет, а впереди чернел зев полуоткрытой двери. Там, в комнате, было темно. Протянулась мужская рука в черном пиджачном рукаве и закрыла эту дверь.

Федор Иванович сейчас же ее распахнул и остановился на пороге. Он ничего не видел в черном мраке, который открылся перед ним, кроме большого голубоватого светлого квадрата, на котором двигалось что-то расплывчатое. Легко трещал киноаппарат. Здесь смотрели фильм.

Федор Иванович всмотрелся. На голубоватом экране двигалось что-то вроде серых пальцев, мягко ощупывающих пространство. Потом показалось, будто две прозрачные руки совместили серые пальцы, и они склеились. С трудом разорвав этот контакт, пальцы сложились в две щепоти, и прозрачные руки с мягкой грацией развели их вновь. «Чертовщина какая-то»,— подумал Федор

Иванович, и в этот момент аппарат умолк, движение пальцев остановилось, и экран погас.

— Товарищи! У нас чужой! — раздался молодой мужской голос. — Вон стоит, у двери.

И сразу из тьмы к нему бросилась Лена, он увидел ее очки и за ними — бегающие глаза. Уперлась обеими руками ему в грудь. Он отвел ее руки.

— Что же наши-то! Сашка для чего сидит? — возмутился кто-то.— Зажгите свет!

— Ни в коем случае!— послышался дребезжащий повелительный голосок, как будто принадлежащий очень маленькому человеку. — Нельзя, не зажигайте. Он же увидит всех!

— Здравствуйте, Натан Михайлович! — сказал в темноту Федор Иванович.

Он уже понял все. Здесь тайно собиралось то самое кубло, которое академик Рядно искал и не мог найти, и они смотрели какой-то запретный научный фильм. «Это же хромосомы! Деление клетки!»— догадался он.

— Я за него ручаюсь, товарищи, — Лена повернулась к нему спиной, как бы закрывая его от всех.— Это мой муж. Мой ревнивый муж. За мной прилетел. Добегался, родной муженек. Это я привела за собой такой пышный хвост...

— Когда в дело вмешиваются матримониальные дела...— опять вмешался непреклонный саркастический голосок Хейфеца.

— Товарищи! Пусть он и муж нашего ученого секретаря...— послышался строгий девичий голос.— Я все равно должна напомнить то, о чем мы строго условились. Чтобы ходить на наши семинары, одного поручительства мало.

— Я тоже могу поручиться, — вмешался очень знакомый тенор. И сбоку вышел из темноты приветливо улыбающийся Краснов.— Федора Ивановича у нас все знают. Федор Иванович это Федор Иванович. Человек неподкупный, справедливый...

— А я решительно против,— послышался во тьме спокойный, как всегда угрюмый голос Стригалева.— Федор Иванович принадлежит к враждебному направлению. И вообще, в этих делах формальность соблюдать не лишне.

Иван Ильич ничем не выдал своего отношения к новости, которая больно коснулась и его, и к тому же бы-

ла возвещеиа самой Леиой. Душа Федора Иваиовича иапряглась, слушая: ие скрипиет ли что-иибудь в ржавом замке, ие шевельнутся ли сувальды. Но Троллейбус как будто и ие слышал откровеииого заявлеиия Леиы. Помиил только о тайие, иавсегда породнившей его с Федором Иваиовичем. И берег ее, показывая всем, иасколько ои чужд иеожидаииому гостю и как ои решительно ие согласеи с попытками ввести чужого в эту компаиию.

— Я тоже приiадлежу к враждебиому направлеиию,— весело гиул свое Красиов.— Можно и прииять.

— Мы зиаем вас,— заметила строгая девица.— Условие есть условие.

— Прошу вас помиить, товарищи,— резко возвысился голос Хейфеца.— Увеличится число члеиов — увеличится и осиова для опасеиий. В каждой аудитории, где больше двух человек, может находиться любитель писать доиосы. Чем оии руководствуются, эти добровольцы, ие зиаю.

«Ои помиит мою ревизию,— подумал Федор Иваиович.— Считает меия главиым вииовником всей беды».

— Действительио. Всю жизнь думаю об этом феиомеие природы и ие могу иайти ответа,— сказал кто-то вдали, явио в его адрес.— Это такой же иммаиентиый закои, как и меиделевское одии к трем...

«Это кто-то с другого факультета»,— подумал Федор Иванович.

— Удивительио,— жаловался детский голос Хейфеца, как бы спохватившись и постепеино затихая.— Его может быть здесь и иет, ои, может, сидит сейчас в ресторане «Заречье» и ест осетрину под шубой... А мы выиуждены строить свою жизнь с расчетом иа его присутствие. Чем ои держит нас?

— Страхом, страхом,— ответил кто-то, вразумляя.

— Прошу прекратить эти разговоры. Прошу заииматься только тем, чем мы всегда заиимаемся,— холодно и спокойио приказал Стригалев. Ои, видимо, был здесь главиым.

— Товарищи! — иаконец заговорил и Федор Иваиович, глядя в иасторожеииую тьму. Ему все иикак ие удавалось вставить свое слово.— Товарищи! Я должеи заявить следующее. Я действительио ие разделяю некоторых иаучных коицепций. И твердо стою иа позициях, заиимаемых академиками Трофимом Деиисовичем Лысен-

ко и Кассианом Дамиановичем Рядно.— Это он подавал сигнал Стригалеву, что тоже помнит о тайне.— Я действительно принадлежу к другому направлению, но враждебности к вам не чувствую. И я торжественно клянусь вам: поскольку я не считаю ваши занятия опасными, я ничего из того, что увидел и услышал здесь, никому не передам. Ни в устной, ни в письменной форме. Ни в форме намека. Какого бы мнения ни придерживались на этот счет мои единомышленники...

— Мы знаем вас, можно было бы и не вкладывать столько огня в вашу клятву,— сказал Стригалев, давая понять Федору Ивановичу, что тот слегка сбился с нужного тона, что надо резче, четче.— Тем не менее, мы не можем разрешить вам...

— Я сейчас же ухожу...

— Пусть досмотрит с нами рулончик, — проговорил кто-то с явной симпатией к Федору Ивановичу. С симпатией и с полемической ухмылкой.— Это будет ему интересно... Как ученому, стремящемуся к истине...

— Рулончик пусть досмотрит, не возражаю,— согласился Стригалев.— Федору Ивановичу повезло, это фильм-уникум. Иные доктора и академики не видели этого фильма.— И перешел на деловой тон: — Давайте тогда смотреть сначала, это и нам будет нелишне.

Вдали, как фонарик в ночном лесу, мигнула лампочка-малютка. Долго шелестела пленка — ее перематывали. Потом что-то застегнулось, что-то защелкнулось, вспыхнул яркий экран, и на нем задрожали слова английского текста. Федор Иванович напрягся — он был не очень силен в английском. Но тут Стригалев со своего места начал лекцию.

— Этот фильм, как я уже говорил, представляет собой высшее достижение современной техники микрофильмирования. С помощью тончайших приемов удалось выделить и поместить под объектив живую клетку и создать условия, при которых она могла продолжать свои естественные отправления, продолжала делиться. В нее нельзя было вводить никаких красителей, тем не менее, как вы видели, и опять сейчас... Вот, вы уже видите, структура ее ядра. Хромосомы. Вы увидите их сейчас в разных стадиях митоза... То есть деления клетки...

Федор Иванович понял: Стригалев перевел это слово специально для него. «Мог бы и не переводить, что такое митоз, я знаю»,— подумал он.

— Перед иами клетка... Живая клетка амариллиса...

— Все же, по-моему, это аллиум сативум,— миролюбиво прохрустел голосок Хейфеца.

— К сожалеиию, иачало оторваио, Натаи Михайлович. Мы сейчас ие сможем решить иаш спор.

На экраие уже иачалось деление клетки. Хромосомы шевелились, как клубок серых червей, потом вдруг выстроились в строгий вертикальиый порядок. Вдруг удвоились — теперь это были пары. Тут же какая-то сила потащила эти пары врозь, хромосомы подчиииились, обмякли, и что-то их повлекло к двум разиым полюсам.

— Человеку удалось подсмотреть одиу из сокровеииейших тайи,— проговорил Хейфец.— Перед иами такой же факт, как движеиие Земли вокруг Солица. И столь же оспариваемый...

Федор Иваиович по этому разъясиеиию профессора понял, что здесь сидело иемало студеитов, молодежи, еще стоящей иа пороге иауки.

— ...И если я увидел такое, меия уже ие заставишь думать, что этого иет,— продолжал Хейфец. Последиие его слова были адресоваиы явио тем, кто твердо стоит на позициях академика Рядио.

— Натаи Михайлович, пожалуйста, пропагаиду ведите вие этих стеи,— сказал добродушио Стригалев.— Вот видите, товарищи, тут опять... Хромосомы обособились, выстроились... Готово! Произошло удвоеиие... Вот оии расходятся, разошлись... И сразу образуется перетяжка... Уже видиа, вот оиа. Разделила клетку на две дочериие. Получились две клетки, в каждой то же число хромосом, какое было в иачале процесса. Останови, пожалуйста, аппарат. Свет ие зажигай.

Экраи погас. Стригалев помедлил, как бы собираясь с силами.

— Теперь, товарищи, вам покажут главиое, ради чего мы бились, доставали этот фильм. Достать его было иелегко, слишком миого заявок, а рулоичик одии...

«Кубло,— подумал Федор Иваиович.— У иих есть еще кто-то повыше, кто прииимает заявки!»

— До сих пор вы видели здесь иормальиое делеиие клетки. Как оиа делится, живя в иормальиых условиях обитаиия. Без привходящих аиомалий. Вы это уже зиали по теории, видели в учебииках. А сейчас будет такое, чего вы иигде ие увидите. Пока... Кроме этой комиаты. В процесс делеиия вмешивается виешиий фактор.

В одних случаях это бывает температурный шок, в других — активная частица солнечного света... Или, скажем, химический фактор вторгнется. В нашем случае именно он вторгается в делящуюся клетку. Очень слабый раствор колхицина. Этот алкалоид содержится в луковицах колхикум аутомнале. Надо привыкать к латыни, это безвременник осенний. Мы о нем уже говорили. Не синтетическое какое-нибудь вещество, а естественный продукт, поставляемый самой природой. Пожалуйста, давай фильм...

Экран ярко вспыхнул. В центре его ясно обособленная клетка начинала делиться.

— Вот она нормально делится,— как бы недовольно звучал голос Стригалева.— Вот приливается раствор колхицина. Уже заметно: видите, хромосомы почувствовали, если можно так сказать. Реагируют. Видите, какие стали движения... Не тот порядок, верно? Но ничего. Разошлись все-таки, а вот и перетяжечка. С грехом пополам, но образовалась. Две нормальные клетки. Правда, нормальные ли они, это еще не известно. О тонких изменениях мы еще поговорим в будущем. Но так, внешне, вы видите, получились две жизнеспособные клетки. С тем же числом хромосом в каждой. Значит, раствор был слишком слаб. Вот еще клетка. Делится, делится, видите? Приливается опять колхицин. Уже покрепче, сразу видно. Перетяжечка — пошла, пошла... Смотрите, что с нею делается! Рвется, тает! Так и не разделила... Вот и клетка успокоилась. Каждому видно — получился гигант. Было восемь, стало шестнадцать хромосом. Если бы окрасить, можно бы и точно сосчитать все до одной. Но мы с вами уже и окрашивали и считали. Вот еще одна клетка делится. Опять... То же самое, сейчас получится двойная клетка. Уже! Видите, как отчетливо! Вот так мы получаем полиплоидные клетки, из которых развиваются потом наши картошки с новыми свойствами. Вот еще одна — видите, как точно все! Наверно, один и тот же процент алкалоида в растворе. Мотайте, ребята, на ус. Теперь, когда будете в учхозе проращивать семена или когда будете наблюдать, как ваше растение развивается, закрывайте иногда глаза. Чтоб перед вами эта картина вставала. Чтобы знать, что вы делаете. Чтоб не верить на слово профессору, а знать, только знать. Как требует один большой ученый... Очень оригинально мыслящий... Во-от... Вот тут показано сей-

час будет, что получается... Видите — прилили колхицин, и пошло, пошло. Сейчас хромосомы начнут разваливаться на кусочки. Видите, кутерьма пошла какая... Это уже смерть. Тут уже никаких новых клеток не получите. Здесь была превышена критическая концентрация. Тонкость нужна, товарищи! Тонкость! Сотые доли процента.

Все это время Лена стояла рядом с Федором Ивановичем, держала его за руку. Когда экран опять погас, она шепнула ему в полной темноте:

— Уходи. Жди меня около «Культтоваров».

И он, кратко поблагодарив всех и извинившись за вторжение, вышел. Минут через сорок на тротуаре Лена чуть не сшибла его, внезапно налетев сзади.

— Ну что, узнал? Узнал теперь, к кому я бегаю? Прекратил свое инобытие?

— А ты — оценила, наконец, мой подвиг?

— Господи! Он в тапочках! Неужели так серьезно! — и она потащила его во двор, домой.

Пока лифт плыл, они молчали, и объятие их было, пожалуй, самым крепким за все время их любви, отчаянно-слитным, горьковатым. Лифт остановился, а они стояли, обнявшись и закрыв глаза.

— Что ж мы стоим? — спросила, наконец, Лена. И они вышли.— Смотри, дверь! Даже дверь оставил!

— Это я, моя работа,— сказал он.— Это я был в состоянии наивысшего инобытия.

— Ох, там же льется вода!— спохватилась она. И побежала в ванную закрывать кран.

Когда сели за стол пить чай и выпили уже по чашке, Федор Иванович сказал ей:

— Мы будем каждый год отмечать с тобой день свадьбы. Надо будет всегда считать именно этот день. Двадцать девятое апреля. День, когда мы покончили, наконец, со всеми тайнами.

— Со всеми?— она чисто, ясно посмотрела на него через очки. У нее даже очки умели говорить.

— У меня еще осталась одна.

— Женщина в ней не участвует?

— Только один-единственный человек, мужчина. Тайна вроде твоей. Почти копия.

— Надеюсь, этот мужчина не Касьян Демьяныч?

— Леночка, не бойся. Нет.

— Тогда оставь тайну при себе. Не хочу вникать. Ради прочности гнезда. У меня уже действует инстинкт

воробьихи. Вот ты вник — думаешь, лучше сделал? Груз новый взял на себя. Как было хорошо, когда не было... И мне было лучше. Что ж, хочешь нести — неси. Только нам обоим тяжелее будет от этого. Оттого, что он у нас с тобой стал общий...

— Почему? Не понимаю...

— Не понимаешь?— она придвинулась, налегла ему на плечо, стала тяжело смотреть сквозь очки, как будто прощаясь. Вздохнула.— Сейчас поймешь. Ты слышал, что сказал Натан Михайлович? Увеличилась основа для опасений. Пока ты не появился у нас, ты был вне подозрений. У нас же все что-то предчувствуют. И каждый смотрит на соседа с опаской. А настоящий опасный действительно осетрину, может, ест где-нибудь. А Хейфец наш каждого подозревает. Тебя, конечно, в первую очередь.

— Теперь и тебя будут...

— Естественно,— она улыбнулась.— Скажи, ты ради своей тайны заявил, что твердо стоишь на позициях?

— Только ради нее.

— Получилось натурально. Ты умеешь. Так натурально, с силой, что я даже испугалась.

— Леночка! Там же торчал этот... Соглядатай академика Рядно!

— Ты о ком?

— Да о Краснове же! С Тумановой ты дружишь? Это же тот, о ком она говорит «мой подлец». Или «сволочь порядочная». Он же все время в ректорате около Варичева да около Касьяна отирается!

— Ты вроде наших, заразился. Краснова я не идеализирую. Но ничего такого за ним мы пока не замечали. Он уже полгода у нас... Мы его проверяли, проверяли...

— Полгода! Да вы у Касьяна в кармане все! Я правильно заявил о своей твердости. Еще слабовато, надо было четче. Он уже наверняка доложил Касьяну о моем появлении у вас.

— Ты неправ. Что он, как ты говоришь, отирается, так это, знаешь, был такой святой Себастьян. Он тоже отирался. В стане язычников.

— Это он тебе рассказал?

— Ну да, он. Ну и что?

— Это же он у Тумановой этот исторический пример... Бросил инвалидом и ходит к ней. Деньги клян-

чит. Ты спроси, где у него стан язычников — у вас или там.

— Спросили уже. Он отвечает: конечно, там. Оснований не верить пока не было.

— Не было? Ничего, появятся еще! Увидите тогда, что такое слепая вера. Вспомните меня.

— Без риска ничего бы не сделалось,— она легко засмеялась и положила руку на его костистое запястье.

Поздно вечером он сказал ей:

— Теперь я побегу. По своей тайне.

— Возвращайся поскорей,— она обняла его.— А то я побегу по твоему следу.

Он гибким и очень быстрым — новым для себя — шагом с легкой хромотой проскользнул по улице к мосту, перебежал его, свернул на тропку, что вела к трубам, и еще через три минуты позвонил у темной калитки Стригалева. Хозяин сразу вышел. Приветливо что-то промычал, потащил пить чай.

— Нет, нет,— уперся Федор Иванович.— Вот сюда пойдемте, где чисто, где нет ни стен, ни кустов. Вот сюда.

Они вышли в поле.

— Иван Ильич! Я вас со всей решительностью... предупреждаю,— быстро заговорил Федор Иванович.— Я даже бежал. Я видел у вас Краснова. Он у вас уже полгода! Когда Рядно посылал меня к вам, он говорил, что в институте есть подпольное кубло. Откуда мог узнать? Он хвалил мне Краснова!

— Если бы Краснов нас продал, нас давно бы...— перебил Стригалев.— Рядно не имеет в руках фактов.

— Он говорил, что Краснов у него свой!

— Мы все у него были свои. Кроме двух-трех... Открытых несвоих он давно...

— Он же страшная личность! Весь кривой... Он же родителей. Отца и мать родных... Он Бревешков!

— Да, я слышал об этой истории.

Федор Иванович чувствовал, что простые ответы Ивана Ильича, а главное, его спокойная позиция — все это действует на него. Тревога его не то, чтобы оседала — в ней исчезала убеждающая сила.

— Как он к вам втерся?— спросил он.

— У Тумановой мы встречались. Там обстановка была... благоприятная... Вот мы и присмотрелись. Я вижу, вы сами не очень уверены. Уже остыли...

— Это грохот мыслей заглушил.
— О чем вы?
— Есть такая штука. Отдаленный голос. Если привыкнешь его слушать...
— Это что — теория?
— Скорее, практика. Наблюдение. Факт.
— Вы не беспокойтесь, Федор Иванович. Мы подпустили его к себе не сразу.
— Вот спросите у Тумановой, чья была инициатива. Пусть вспомнит.
— Видите, если я начну сейчас принимать меры, никто мне не поверит. Но я чувствую, здесь чем-то пахнет.— Стригалев смотрел в сторону, ерошил волосы.— В общем, будем присматриваться...
На следующий день Федор Иванович и Лена пошли на работу порознь. Так решили оба. Тайна Федора Ивановича и ее тайна требовали этого. «Святой Себастьян...— шептал Федор Иванович, шагая.— Пролез! Ух ты какая, оказывается, тварь!»
Все же шевелились и сомнения. Ведь могло быть и так, что Краснов познакомился с фактами настоящей науки, почувствовал вкус к истине и перешел в этот лагерь. Такие факты, как этот фильм, кого хочешь убедят. И если человек что-нибудь соображает, он должен бы понять, что окончательная победа будет за этим направлением. А поскольку он наверняка неравнодушен к дорогим костюмам и любит быть в списках на получение, значит, и другое должен видеть: вся выгода достанется победителю. Рано или поздно.
«В том-то и дело. Все в этом. Рано или поздно...— подумал он о Краснове.— Альпинист уверен, что это произойдет слишком поздно, когда костюмы будут не нужны».
В финском домике, в его комнате на столе лежал серый мяч Краснова. Сам Ким Савельевич стоял среди стеллажей, у окна. Ящики со своими растениями он устроил на самое лучшее место и каждый день по нескольку раз приходил любоваться ростками.
— Привет!— сказал Федор Иванович.
После ответного восклицания, бодро прозвеневшего среди стеллажей, он коварно замолчал и подошел к ящикам.
— Ага, семена-то наши! Настоящий лист выкидывают! Та-ак, и здесь пошел листок... Смотри-ка, дружно!

Хорошо перезимовали...— он слегка мучил Краснова, которому не терпелось заговорить о вчерашнем.

— Как вам вчерашний рулончик?— спросил, наконец, Ким.

— Я чувствую, ты попался на эту фальшивку.

Спортсмен выглянул из-за ящиков с веселой зеленью, внимательно посмотрел на него и ничего не сказал. «Кажется, я перехватил»,— подумал Федор Иванович.

— Первые кадры, где простое деление, конечно, чистая натура,— продолжал он.— Надо сказать, ловко сделано. А с колхицином фальшивка. Эти англичане просто подогревали препарат.

— А клетка? С удвоенным набором хромосом...

— Она нежизнеспособна...

— Как же... А у Троллейбуса? Вон у нас на стеллажах. А вот в ящике, из этих семян?..

— Вижу, научился кое-чему. Ты, по-моему, давно у них?

Ким уклонился от ответа.

— Вам и так верят,— сказал он после долгой паузы, во время которой обстоятельно, серьезно он думал черт знает о чем.— Так что клятва ваша была ни к чему. Она только настораживает.

— Ты думаешь? Заметил что-нибудь?

— Перегнули. Хейфец шушукался со студентами — сразу замолчал. Могу, между прочим, организовать и третью рекомендацию. Походить к ним стоит. Там бывают интересные вещи...

«Ловит»,— подумал Федор Иванович.

— Вас кто послал? Рядно?— спросил Краснов, не отрывая взгляда от своих растений.

— Нет, от себя.

— Ну да, кто послал, вы не скажете. Ревнивый муж — это у вас получилось похоже...

«Ловит, ловит,— подумал Федор Иванович.— Но на чьей он стороне?»

— Я действительно ревнивый муж,— заметил он.— Но тебя-то я не ожидал там встретить,— он сделал глупо-восхищенное лицо.— Наш-то шеф! Смотри, какой старик хитрый. Тебе он тоже ничего про меня не говорил?

— Не говорил. То есть кое-что, конечно, говорил...

«Ага!»— подумал Федор Иванович.

— Ну, кое-что он и мне про тебя... А про то, что и я там буду — это он тебе говорил?

— Про это не говорил. А про меня что?

— Так мы с тобой далеко зайдем. Что тебе про меня, что мне про тебя — давай оставим это. Старик не любит. Но информация у шефа на высоте!

— Шеф у нас еще тот! — сказал Краснов, несколько разочарованный беседой.— И сотрудники у него... Умеет кадры выбирать!..

— Хо-хо-хо! — хохотнул Федор Иванович, даже не улыбнувшись.

III

В следующее воскресенье — это был уже шестой день мая — солнечным утром Лена раскладывала в пробирки для своих мух свежезаваренный кисель. За распахнутой дверью мелькал ее мелкопестренький, узко перехваченный в поясе домашний халатик. Федор Иванович в трусах и майке лежал на постели, полуоткинув одеяло, и шелестел газетой. Из-за газеты он все время посматривал — любовался Леной. Она чувствовала его взгляд, и в ее движениях ласковыми волнами пробегали тайные иероглифы. И он все это читал. И она понимала, что газета шелестит вовсе не потому, что ее мужа так уж интересует пахнущий керосином текст.

— Что происходит с нашими девчонками? — заговорила она вдруг.— Совсем с ума сошли. Ты слушаешь меня?

— Конечно! Я тебя всегда слушаю.

— Девчонки, говорю, наши. Все время кого-нибудь выдают замуж! Шамкову принялись сватать. А полгода назад на меня напали. Новый парень тогда появился у механиков. Гена. Или Валера, не помню. «Так он же темнота!» — говорю им. «Не такая уж темнота, ремесленное кончил». «Так он же моложе меня на шесть лет! От него пахнет водкой!» — «Дурочка, она еще рассуждает. Брать надо, брать!» Это значит, я должна была еще ловить его, а они собирались загонять мужа мне в сети!

— Давай, продолжай уж... — Федор Иванович отложил газету.

— Вчера пристали: это у тебя обручальное? А как же, говорю. Я уже полмесяца в брачном полете. Врешь! А где свадьба? Мы тебя не пропивали! Я говорю:

свадьбу буду праздновать вместе с крестинами. Фату я, конечно, никогда не надену. А небольшое пропивание придется устроить, а? Для самых близких. Закончится учебный год, тут и устроим.

Федор Иванович был согласен. И они замолчали. И Лена опять занялась мушками.

— Нет, я так бы и осталась мухой-девственницей,— вдруг заговорила она.— Если бы не встретила тебя. И за тебя я не просто так выскочила. Имей в виду. Не просто, а потому что ты — Федор Иванович. Ты еще Федор Иванович?

В этом последнем вопросе и была вся суть начатого ею разговора. Гибельная суть. Он мгновенно понял это.

Дня три назад в поведении Лены чуть проступил новый тонкий оттенок. Этот рубеж обозначился вечером. Кто-то позвонил, Федор Иванович открыл дверь и увидел худенького юношу в неопределенном вислом сером полупальто. Почти мальчик, с вихрами коротко остриженных волос, бледный, должно быть, студент, стрельнул в него строгими глазами, помолчал и спросил Елену Владимировну. Федор Иванович хотел было пригласить его в коридор и позвать Лену, но она сама, слегка оттеснив его, продвинулась в дверь и, взяв юношу за руку, провела его в большую комнату. Федор Иванович шел сзади. Юноша оглядывался на него, не решаясь передать Лене письмо, которое уже достал из кармана. Лена подняла на Федора Ивановича глаза. «Неужели не догадываешься?»— сказал ее приказывающий жест, и он, пройдя в спальню, тихо прикрыл за собой дверь.

Он сидел на своей постели в темной от поздних сумерек спальне и смотрел на яркую щель в двери. И это тянулось, наверно, минут сорок. Потом дверь приоткрылась, в нее боком проскользнула Лена, протянула руку.

— Карандаш, карандаш дай скорее...

Федор Иванович дал ей свой карандаш, и она сейчас же скрылась. Она все время заботилась о том, чтобы дверь была закрыта и чтобы он не увидел того, что делалось в большой комнате. Но во время ее ловких предусмотрительных манипуляций с дверью внимание Федора Ивановича за долю секунды произвело моментальный снимок: посреди комнаты в море электричес-

кого света стоит незнакомый юноша, растопырив руки, распахнув обе полы своего короткого пальто, и там на специально прошитой подкладке рядами блестят стеклянные пробирки, заткнутые комками ваты. Этого снимка и всех осторожных движений Лены было достаточно. Федор Иванович сразу понял, что Лена снабдила своими мухами присланного откуда-то смелого, преданного делу ходока. Видимо, где-то в другом городе было еще одно «кубло», менее обеспеченное, нуждающееся в помощи.

Он ни слова не сказал Лене об этом своем открытии. Но впервые заметил: в речах ее появилась настороженная обдуманность. Появилась и уже не исчезала. И их обоих понесло куда-то чуть заметным течением.

— Конечно, я знаю, — вдруг сказала она в это же воскресенье, но часа на три позднее. Значит, держала это все время в голове!— Я знаю,— сказала она,— что ты это ты... Ведь иначе и быть не может, правда? Характер у тебя такой: ты ищешь истину. И признаешь только ее. По-моему, никому не своротить тебя с этой дороги. Так? Куда это я должен свернуть? — спросишь сразу. — Покажите, куда нужно сворачивать. Куда и зачем? Представьте мне ваши соображения. Докажите! Так ведь? Но вот я все же... — она мучительно потупилась.— Все же я... Никак не пойму. Зачем тебе твой Касьян? Белые одежды свои ты прикрыл, это хорошо. Но зачем ты должен, как ты говоришь, отираться там среди дураков и подлых душонок? Вот я... Ну, и я немножко маскируюсь. Но я же иду своей дорогой...

— А куда идешь — знаешь?— не удержался, спросил Федор Иванович. Сейчас он был близок к тому, чтобы открыть ей всю свою тайну. «Надо будет поговорить с Иваном Ильичом. Надо ей открыть», — подумал он.

— У тебя такие крылья, Федька. Почему не летишь?

— А почему ты считаешь, что у тебя есть право требовать, чтоб у меня был какой-то полет? — спросил он, крепко держа себя в руках, потому что она все время трогала ручку запретной двери.

— Есть право. Если я доросла до того, чтобы понять этот полет и если есть уже такие люди, что летят,

то я могу, имею право требовать полета и от тебя. И ожидать.

— А если это невозможно?

— Тогда может быть плохо...

— А знаешь, это вовсе не обязательно, чтобы ты видела, как я лечу. Лоэнгрина помнишь? «Лишь имя в тайне должен он хранить», — эти слова помнишь? А как имя откроется, Лоэнгрина уже не будет. Ты этого хочешь?

— Тут Лоэнгрин, там святой Себастьян... Можно даже запутаться... — И она неуверенно, по-чужому хихикнула.

— Ты уже путать начала меня с этим... С этим...

— Сам говорил, что нужно знать, а не верить. Вот я и хочу... Мне кажется, что ты слишком преуспел в деле мимикрии. У белого медведя только и есть одно, что выделяется на фоне снега — черный нос. А ты и его лапой закрыл. Как же я увижу, где снег, а где медведь?

— Так это он когда к тюленю крадется...

— А вдруг этот тюлень — я? Мы все там тюленями себя чувствуем...

— Ленка! — он бросился к ней, обнял. Она смело глядела на него сквозь большие очки.

— Он говорит, что ты — правая рука Касьяна. Незаменимая.

— И ты веришь?

— Федька! Для чего ты связываешься с ними? Что тебе там надо? На что тебе эта должность? Они же тебя покупают! А может, и купили уже, а ты еще не видишь сам. Лоэнгрин — это у тебя самооправдание, ты чувствуешь зло в себе и стараешься замаскироваться добром! Сам для себя. Мне со стороны виднее. Вот так и происходят почетные капитуляции... Давай уедем из этого города!

Они оба старались разбить стену непонимания, а она поднималась все выше.

— Уедем, а? — Лена делала последнюю попытку спасти себя и его. — Будем где-нибудь на сортоиспытательной станции. Будем ходить в телогреечках и стеганых. И никто не будет знать, что под этими телогреечками прячется самая большая, самая верная... Вот это самое слово... Которое любит темноту, тайну и иносказание...

— А ты сможешь оставить своих?

— Свое кубло, хочешь сказать? — она замолчала, увядая. — Конечно, нет. Не оставлю.

— Кубло... Я этого слова, по-моему, тебе не говорил. Это слово тебе кто-то сказал. Ты знаешь, чье это слово?

— Слушай, правая рука! Неужели можно позволить, чтобы по милости твоего Касьяна научная мысль годами стояла на месте! Это же немыслимо, чтобы никого не нашлось, кто мог бы взять на себя риск сохранения истины, сделанных находок, позволяющих науке удержаться на плаву. Ведь рано или поздно откроются, откроются же глаза. И что мы тогда увидим? Грандиозное пепелище! Отставание страшное! Как можно — знать, быть ученым, иметь возможность — и ничего не сделать!

— Ты меня хочешь образумить! — закричал он. — Я же это самое и делаю!

— Ладно, делай. А этот твой... Альгвазил. Этому что надо от тебя?

— Ты о ком?

— Да этот же, рыжий. В крапинах! Тебя видят с ним на улице. Беседуете.

— Это один мой... Давний мой оппонент по вопросам нравственности...

— Не трать усилий, я знаю, кто он. Вот и ты виляешь и врешь. Скажешь, нет?

— Я тебе могу все подробно рассказать.

Она согласилась выслушать и, не освобождаясь из его объятий, но напряженная молчала минут двадцать, пока он ей рассказывал все о полковнике Свешникове.

— Я чувствую, Лена, сам, дело здесь не простое. Он или ходит вокруг меня, что-то учуял... То самое, что я тебе хотел бы рассказать, но пока не могу. Или он тоже признает только истину и ищет ее. И, может быть, надеется, что я освещу ему что-то. Такое в истории бывало. Я осторожно пытаюсь осветить...

— Да?

— Да...

— Ты меня, пожалуйста, ни на кого не меняй. И ни на что. Ладно?

— Ленка! Ну что ты здесь мне...

— Потому что если это произойдет... Я не верю, чтоб... Но если вдруг... Я не буду жить! Ни одного часа!

Ты представляешь, что получится? Получится, что я любила не тебя, а образ, то, чего нет... — в ее голосе нарастал высокий звон.— Я без этого образа уже не смогу. Я уйду к нему. В эфир.

Тут напряжение покинуло ее. Она повисла на нем и горько, тихо заплакала.

— Ну тебе кто-то и нагудел же про меня, — сказал он, перебирая сплетение мягких темных кос на ее затылке.

— Все гудят. Ох, если бы можно было выплакать все...

Вечером он водил ее в кино. Потом гуляли по длинному бульвару, пахнущему весной. Мирно и тихо беседовали. После чая легли спать. Они были опять ласковыми супругами, даже истосковавшимися. Но в объятиях их сквозил все время как бы горький дымок. И Лена, глядя в сторону, вдруг сказала, будто самой себе:

— Да... Неправы те...

— Кто неправ? Почему? — он приник к ней.

— Так, пустяки.

Лена повернула к нему угасшие, больные глаза.

— Дамка неправа. Которая говорит, что заслоняет. Что может даже забрать власть. Заслоняет, но, к сожалению, Федя, не все. Когда начнется такое, как у нас...

Неведомое течение все так же несло их куда-то.

Ночью он проснулся. Было около трех. Окно чуть синело — это еще была чуть заметная синь глубокой иочи. «Почему это я проснулся?»— подумал Федор Иваиович. Лена спала, как всегда, на его постели, лежала в том же своем дневном жесте — словно повиснув иа его плече.

И вдруг он услышал настойчивое, часто повторяемое сипенье звонка. Три раза мягко, но сильно ударили в дверь. И опять прерывисто засипел звонок. Федор Иванович осторожно снял руку Лены с плеча и босиком, неслышно ступая, прошел в соседнюю комнату. Тут, как ветер, мимо него в полутьме пронеслась Лена, запахивая халатик.

— Я открою, — приказала шепотом. — Стой здесь.

Она открыла входную дверь и закрыла ее за собой. Там, на лестничной площадке, кто-то быстро, горячо защебетал. «Ка-ак!» — воскликнула Лена, а кто-то в

ответ опять, еще быстрее испуганно защебетал. Потом дверь хлопнула. Федор Иванович зажег свет. Схватившись рукой за голову, вошла Лена. Остановилась, глядя в стену.

— Сашу Жукова арестовали...

Бросила на него быстрый взгляд.

— С пленкой захватили. Отвозил в Москву этот ролик. Под курткой...

Они сели оба за стол. Лена не смотрела на него.

— Сашу! Арестовали! Такого мальчика... Бедный отец!— перекосив губы, она судорожно вздохнула. Пресекла плач.

— Куда Саша вез?..

Нельзя было этого спрашивать. Облитая слезами, она твердо взглянула на него.

— Позволь мне не говорить, куда...

Федор Иванович опустил глаза.

— Ты видишь обстановку? Неужели не видишь? — почти простонала она. — Ох, я ведь чуяла, чем кончится эта любовь между моим мужем и этим особистом. Ведь целый год ничего не было, пока ты... Вот что: ты сиди дома, никуда не уходи. А я сейчас... Я скоро вернусь, и мы поговорим.

Она быстро, резкими движениями оделась и хлопнула дверью. Вернулась часа через полтора. Синева за окнами уже сильно смягчилась. Он все так же сидел за столом.

— Продолжим наш разговор, — уронив синюю телогрейку на пол, она села рядом, накрыв обе его руки на столе своими — маленькими, шершавыми, дрожащими. За очками горели решимость и боль. Долго, загадочно молчала.

— Я готов,— сказал он.— Говори.

— Сейчас. Я слушаю отдаленный голос. Он говорит, что ты — тот самый, кем я тебя всегда считала. Сейчас я вижу только тебя и не верю тому, чего наслушалась. Но грохот мыслей слишком велик. Боюсь, что мне не устоять. Ты же знаешь, что у нас за кубло... Ты слушай, не перебивай! Вот нас, допустим, двадцать человек. Увидел бы их, когда Иван Ильич показывает интересный препарат. Я всегда смотрю. Взъерошенные все, пальцы кто прикусил, кто в волосы запустил. Прямо видно, как зреет мысль. Это же смена! Будущее!

Она остановилась и долго смотрела на него. Он молчал.

— Ты знаешь, что будет завтра? Завтра твоего дурака, порождение массового безумия... твоего трухлявого идола швырнут на свалку, и он будет там лежать, моргать... Как дохлая кошка. А вонища еще на долгие годы протянется. На всю Вселенную. Диссертации будут писать... Об особенностях человеческих сообществ. И нас в пример... Он же всех профессоров... Ты же видел приказы министра! Видел в ректорате? Несколько лет студентов во всех вузах учил галиматье! Кто будет завтра настоящую науку преподавать? Некому! Некому! Тут мы и объявимся — ну разве ты не понимаешь, как это важно? Двадцать человек по сорок студентов возьмут — это же будет почти тысяча!

— Зачем ты мне все это? Зачем агитируешь? Леночка!

— Постой. Разве ты не видишь, что твой Рядно обманывает лучшие чувства людей? Это же невиданное зло! Народный академик... Косоворотка, сапоги... Не поверить-то этому нельзя, этим сапогам в дегте. Этому народному акценту. Никто еще так не перекрашивался... Как не поверить!..

— Вот так и не поверить! Ничему! И в первую очередь акценту и сапогам, намазанным дегтем. И всяческим обрядам... Хлебу с солью...

— Да переста-ань!— закричала она.— Пока молодой научится знать, он тысячу раз помолится на эти сапоги. Тысячу раз Касьян сварит из него свою галушку, ни на что не годную. Тут и знание не спасет, так устроена жизнь! Дети, дети предшествуют взрослым, и зло прежде всего сюда, сюда! Все, кто обманывается, все хотят ведь прекрасной жизни для всех. Кто не хочет, тому и обманываться незачем!.. Так что мы должны делать? Что мы должны делать?

— Спасать...

— А что входит в это спасение? Тройная... Нет, удесятеренная чуткость. Осторожность! Ведь вот же кто-то... Каин, гадина... Нераспознаваемый! Нового типа! С кукишем вместо сердца... Это, конечно, не ты... Но все говорят же, говорят! И если ты... Не слушай меня сейчас!! Сегодня я буду немыслимое... Если ты, я убью и тебя, и себя, — шепнув это, она уткнулась ему в грудь, вцепилась в майку, затряслась.— Я сделаю

это... В поисках глотка воздуха. И сама улечу вместе с тобой.

Они надолго замолчали. Федор Иванович осторожно обнимал ее. Она о чем-то думала, пыталась намотать его майку на кулачок.

— Даже если ты обыкновенная шляпа, все равно, это уже будешь не ты. Ты не шляпа.

— Леночка... Я не шляпа, но я обыкновенный. Не идеал.

— Ты мне не нужен, если ты не идеал! — прошептала она, шмыгнув.

— Ну, ты, может быть, найдешь настоящий идеал... Я тебя к нему отпущу. Иди. Я в этом случае даже постараюсь не страдать.

— Не будешь страдать? — она подняла на него слепые, полные слез глаза. — Не будешь?

— Ле-еночка! Ты не понимаешь, о чем я. Ты не найдешь лучшего, чем я.

— Да, я знаю, что не найду. Мне даже сейчас хочется тебя поцеловать. Закрыть от всех. Но Саша!.. Сашу забрали! Знаешь, я тебе все-таки объявлю временный развод. Временный — можно? Давай, Феденька... Обоюдно решим... Пока не получу опровержения. Хотя куда уж тут опровергать. Ничего, потерпим. Ведь опровержение — я его получу? Здесь будешь жить, в этой комнате.

— Хорошо. Давай, попробуем так. Кольцо я могу у себя?...

— Кольца снимем. Символически. Твое пусть у тебя... Сегодня и перетащишь сюда постель. И поменьше общения. Тихий перерыв.

«Ах, бабушки, бабушки нет...» — подумал он.

— По-моему... Лучше, может... Я лучше вернусь тогда в свою конуру? — тихо сказал он, как мог безразличнее, деловым убитым тоном. — Тем более что и чемодан мой там...

— Может быть, так даже будет лучше, — согласилась она. — Ко мне ведь могут зайти. После того, что получилось, мы не имеем права быть счастливыми. Ни ты, ни я...

Торопливо оделся, надел пальто. Посмотрел на Лену. Хотел поцеловать, но она шагнула назад. И он ушел, тихо закрыл за собой дверь.

Он медленно шел в расстегнутом пальто по пустын-

ной улице, и его окружал холодный, влажный рассвет, самый крепкий сон города. Он опять был без дома и без семьи. Шел медленно и еще больше замедлял шаги, ожидая, что она налетит сзади, ударит всем телом и, плача, потащит назад. Так он прошел всю улицу, парк, доплелся до своей холостяцкой обители. Пустая комната враждебно встретила его. Он поискал папирос, не нашел. Поднялся было, чтоб выйти, стрельнуть курева у кого-нибудь. Покачал головой и сел на место.

— Ах-х! — громко вздохнул он и, кривя лицо, зажмурился, замотал головой. — Ах-х!

Он был, как солдат, когда, уходя воевать, тот оторвет, наконец, от себя плачущую любимую жену. Федор Иванович видел много таких солдат. Вот так же они плакали и вздыхали в своем товарном вагоне. Каждый — отвернувшись от товарищей.

«Свободен буду теперь, — шептал он. — Верно она сказала: мы не имеем права на счастье. Сегодня же явлюсь к Стригалеву, все ему расскажу и отныне — прощай личное. Будем действительно двойниками. И в деле, и в личной жизни».

Да, вот и пришли эти дни. Пора рассчитываться за все беды, которые он принес людям за всю свою жизнь, полную ошибок, детской веры и кривых дорог, казавшихся прямыми. Эта мысль, отрезвив и охладив его, даже обрадовала. «Буду свободен теперь для дела. Для искупления, — думал он. — Для дел совести».

Придя в учхоз, он сначала не заметил никаких перемен в оранжерее. Он подумал, что пришел до срока, раньше всех, и принялся выставлять на стеллажах горшки — для пикирования туда подросших сеянцев. Выставил горшки и на стеллаже Лены.

— Федор Иваныч! Трудимся?— крикнул ему Ходеряхин со своего места. И помахал ликующим кулаком.

— Блажко еще не приходила?— спросил он.

— Не-е!— закричал Ходеряхин.— Сегодня все что-то. Как сговорились.

«Может, ищет меня там?»— Федор Иванович побежал в финский домик. В его комнате стояла тишина. В двух других трудились над чашками Петри лаборантки. Краснов еще не пришел. «Все-таки, наверно, пора бы и ему о работе вспомнить»,— подумал Федор Иванович

и, взглянув на часы, онемел — было уже однннадцать. Ничего не понимая, встревоженный, он вернулся в оранжерею. Вскоре из финского домика перебежала в оранжерею девушка в снием халатике.

— Вас просят к телефону.

Он опять понесся в домик. Раечка из ректората сказала: «Петр Леонндыч приглашает вас к половине второго. И Ходеряхину передайте».

В начале второго он уже сидел в полной народа приемной. Тут толпились профессора и преподаватели, возбужденный Ходеряхин все время вставал со стула и садился. Полный ужаса Вонлярлярский мешком сидел на стуле и озирался. Он что-то знал. Анна Богумиловна, колыхаясь и наклоняя голову к красным бусам, басистым шепотом что-то уже передавала соседям. Их всех словно ударило электрической искрой. Наконец, дошло и до Федора Ивановича:

— Арестовали... Целую группу. Организованную. Связи с другими городами... Утром. Хейфец тоже взят. И Краснов, Краснов! Кто бы мог подумать! Стригалева на квартире не нашли, кинулись на вокзал. Еле успели, уже в поезд садился. Пленку куда-то вез. И Блажко с ним, была у них ученый секретарь. Все было поставлено, как полагается, чин чинарем. Расписание, лекции...

Через несколько минут вся приемная уже знала невероятную новость. Стоял нервный, напряженный ропот. И он сразу стих, когда высокая кожаная дверь кабинета открылась.

— Петр Леонидович просит...— сказала Раечка, улыбнулась нескольким знакомым и отошла в сторону, уступая дорогу.

Гудящая толпа пронесла Федора Ивановича через дверь. В просторном и светлом кабинете ректора за большим столом сидел Варичев, сгорбясь и играя карандашом между двумя пальцами, как папиросой. Под узкими, почти закрытыми глазами его висели мешки, и точно такие мешки висели в других местах лица — как глазки у большой картофелины. Ректор шевелил молодыми широкими губами, роняя тихие слова — то направо, то налево — окружавшим его за этим столом всполошенным деканам, заместителям и профессорам. Там же, около Варичева, стоял незнакомец с женским выражением худого желтоватого лица, с огромной черной шевелюрой, летящей вверх. Он был в черном костюме с фиоле-

товым галстуком на остром кадыке и странным образом был похож на красивую нервную испанку знатного рода, переодетую в мужской костюм. Незнакомец встречал каждого входящего жарким взглядом внимательных черных глаз. Рядом, закинув одну руку за спинку кресла, замер изящный академик Посошков с бантиком на шее. В кабинете робко гремели стулья, приглашенные рассаживались вдоль стен.

— Товарищи, побыстрей, пожалуйста, занимайте места,— бросил Варичев, поглядев на аудиторию вполоборота и как бы с другого берега.— Я пригласил вас, товарищи, чтобы кратко информировать о некоторых делах.

Тут он встал и начал читать с листка:

— Наши академики, в который раз уже, оказались правы, предупреждая научную общественность... Они не только большие ученые в своей области, но и зрелые мужи, знающие жизнь, знающие человека. Обнажаю голову перед великой прозорливостью знаменосцев мичуринской биологии. Не они ли предупреждали нас об опасности, которую таят невинная, на первый взгляд, хромосомная теория наследственности, увлечение скромным колхицином, крошечной мушкой-дрозофилой, мутагенами и другими тому подобными «детскими» игрушками. Сегодня мы все можем увидеть, как, продрав бумажку, на которой нарисован вейсманистско-морганистский голубок, высунулось черное орудийное дуло империализма, не брезгающего ничем для того, чтобы подорвать, дискредитировать советскую науку, оплевать достижения наших ученых.

Варичев умолк, строго посмотрел на присутствующих и продолжал:

— Сегодня органами безопасности обезврежена довольно солидная и, надо это признать, хорошо сколоченная группа, главарем которой был замаскированный враг, известный под кличкой Троллейбус. Он был изгнан в свое время из нашего института, но не сложил оружия. В числе задержанных оказались профессор Хейфец, я бы сказал, лжепрофессор, и Блажко, на которую мы в свое время посмотрели сквозь пальцы, переоценив ее хрупкую интеллигентность,— здесь Варичев тяжело поиграл талией.— И недооценив ее потенциальной опасности, как убежденной, фанатичной вейсманистки-морганистки. На ней лежала вся техническая работа по организации их тайных сборищ. Полгода назад мы добились определен-

иой победы над вредиым менделевско-моргаиовским направлением, пустившим было у иас кории. И, надо честио признать это, почили на лаврах. А руководители иазваиной группы ие дремали, они сумели хорошо расставить сети, и в их улове оказались иаиболее слабые, нестойкие элемеиты из числа наших студеитов и аспираитов.

Он умолк, выдержал паузу и продолжал роиять из как бы слегка парализоваиииых губ страшиые слова.

— Как видите, враг примеияет ие только фроитальную атаку. Ои выбрасывает иногда и десант. Материалы для своей преступиой деятельности группа тайио получала из-за рубежа. Деятельность этих сектаитов была частью обшириого общего плана сил междуиародиого империализма, плана, иаправленного иа подрыв существующей в нашей страие социалистической системы... Сегодия мы можем говорить о них, об их деятельиости уже в прошедшем времеии. Но это не зиачит...

Здесь Федор Иванович как бы засиул. Никто ие заметил, что ои страиио глядит перед собой иа резиую тумбу ректорского стола. Мысли увели его, ои растворился во Вселеиной, совсем перестал видеть вещи, слышать звуки. Ои чувствовал только чью-то беззащитиость, которая предстала в виде узких плеч и тонкой шеи, белых, как у нежного семилетиего мальчика, и еще — в виде лапотка, сплетениого из темных кос. Удивлеииое белое лицо повериулось к нему, испугаиные глаза взглянули сквозь большие очки. На Федора Ивановича грустно смотрела правда, к которой никогда не могла пристать иикакая человеческая грязь.

Кто-то толкнул его — раз и другой. Он вздрогиул.

— Да, да, простите, я задумался...

— Что вы иам скажете по этому поводу? — любезно прорычал Варичев.

Федор Иваиович встал, провел рукой по лицу, приходя в себя, вспомииая все и напряженно конструируя ответствеиную мысль, которую ои должен был сейчас высказать.

— Я полагаю... Да... — произиес он, откашлявшись. И заговорил ясио и четко: — Что я могу сказать... Работа у иас идет строго по плаиу, согласованиому с академиком. Идет с опережением графика и все время контролируется. На моем участке враг ие пройдет...

— Он уже прошел! — сказал сидевший рядом с рек-

тором человек с лимонной бледностью в узком лице и с огромной сиНеватой шевелюрой.

— Да, не кажется ли вам, Федор Иванович?— подхватил ректор, хищно подаваясь вперед. Он боялся своего черноглазого соседа и подталкивал толкового и языкатого руководителя проблемной лаборатории к еще более громким и четким заверениям. Федор Иванович сразу это понял.

— Нет, Петр Леонидович. Я уверен, что этот участок недосягаем. Даже те, кто оказался... Я не знаю полного списка... Во всяком случае, на своем рабочем месте они работали, как волы. И работали на нас. Я могу сейчас же провести всех интересующихся по нашей оранжерее, по их рабочим местам. А что они делали за пределами института... Мы даже не уполномочены нашу бдительность... Город велик... Идущему по улице пешеходу в голову ведь не залезешь, трудно...

— Но можно!— сказал незнакомец, облизнув губы.

— Вы полагаете?— Федор Иванович посмотрел на него с прохладным задумчивым интересом.— В конце концов, физики преподнесут нам свой энцефалограф... Долгожданный... И тогда мы будем, наконец, знать, кто что думает...

— Вы серьезно это говорите?— спросил незнакомец.

— Об этом серьезно говорить нельзя. Это моя шутка по поводу ваших серьезных слов насчет того, что можно... Если уж физикам эта штука не дается... Сегодня, пока ученые еще топчутся, запуганные некомпетентными людьми, лучший способ избежать неприятностей, подобных сегодняшней,— это каждому четко работать на своем участке. Кто куда поставлен.

Ректор послал ему осторожно-одобрительную ужимку и с опасливым торжеством метнул мгновенный, почти незаметный взгляд на строгого соседа.

— Интересно!— загорелся тот и даже приподнялся.— На чьей земле мертвое тело найдено, тот и отвечай? Легко хотите отделаться, товарищ... Товарищ заведующий проблемной лабораторией. Не где-нибудь, а на нашей, на советской земле произошло данное чепэ. Мы еще поговорим с вами об этом. Все мы, все в ответе за такие чепэ. И без всяких скидок.

— Я и хотел это сказать,— спокойно согласился Федор Иванович.— Отвечать надо вместе. И тем, кто непосредственно ведет работу, то есть нам, и тем, кто на-

блюдает... Осуществляет строгие функции... Но видит не все...

Приласкав упрямого заведующего лабораторией ненавидящим взглядом, незнакомец покачал головой, как бы говоря Варичеву: «Ну и кадры у вас»,—и все в его лице опять остановилось.

Вскоре речи кончились, загремели стулья, на этот раз смелее, и все, оживившись, повалили к выходу. И Федора Ивановича, опять впавшего в оцепенение, толпа потащила за собой.

Надев пальто, он сбежал с крыльца и быстро зашагал по асфальтовой дорожке, торопясь, чтобы никто не помешал его бегству. В парке, одетом в веселый зеленый туман, он набрал скорость и, чуть прихрамывая, побежал по мягкой просыхающей тропе. Позеленевшее поле он перелетел, даже не заметив. Мост чуть слышно простучал под ним. Потянулись дома. Вот и арка. Он перебежал двор, рванул дверь подъезда. Даже про лифт забыл. Но на третьей площадке лестницы что-то его остановило. Тут было окно, оно все играло в веселых майских лучах. Блестящая, словно алмазная, пыль, осевшая на стеклах, добавляла веселья и жизни в эту игру. Эта-то пыль и встревожила Федора Ивановича. Он подошел поближе и увидел: не пылью были покрыты стекла. На них сидели, брызгали, как искры, скакали и сталкивались сотни мушек-дрозофил. На стеклах, играя в майских лучах, погибал тонко подготовленный материал для изучения законов, поддерживающих все формы жизни на Земле. Погибал многолетний труд десятков умнейших людей. Эти мушки, никогда не знавшие, сколь страшна бывает свобода вне стенок пробирки, были выпущены кем-то, может быть, в ту самую минуту, когда Лена торопливо собирала в узелок вещички, чтобы отправиться с незнакомыми людьми в новую, незнакомую жизнь.

Взбежав на площадку четвертого этажа, он сразу увидел две желтые восковые печати на двери сорок седьмой квартиры. Без колебаний потянул за нитку, соединявшую обе печати, разрезал одну из них. Ключ спокойно скрежетнул, замок щелкнул, и дверь открылась. Рой мушек, как поблескивающий дымок, вырвался оттуда и растворился под лестничным потолком. Федор Иванович прежде всего увидел сдвинутый с места темный шкаф с открытыми настежь дверцами. На столе

была груда разбитых и целых пробирок, и над ней колебалось большое облако мушек. Он прошел в спальню и увидел два матраца, брошенные один на другой крест-накрест. На полу лежали подушки. Он нечаянно задел ногой малиновую тапочку — подарок Лены. Поднял и сунул в карман. Вторая почему-то лежала около распахнутого шкафа, где жили мушки. Сунул в карман и ее. Пустынная тишина комнаты гнала его на лестницу, и он, подчинившись, поспешно вышел и вынес на себе десятка два мушек, успевших сесть на него.

Сбежав вниз, он отправился не в институт, а ринулся, почти побежал дальше по Советской улице. Обойдя площадь со сквером и Доской почета, он зашагал дальше. Улица здесь уже называлась Заводской. Он долго еще шел, шевеля губами и глядя далеко вперед перед собой, пока не поравнялся с высоким новым зданием тяжеловатой архитектуры, с лепными портиками. «Ул. Заводская, 62»,— прочитал он и вошел в подъезд с вывеской, где золотом по черному стеклу было написано: «Бюро пропусков». Здесь, в большой комнате, стояли у стен деревянные скамьи со спинками, на них сидели молчаливые люди. Федор Иванович прошел напрямик к высокой перегородке — она была окрашена, как и стены, масляной краской телесного цвета,— и постучал пальцем в одну из четырех дверок, закрывавших окошки с широкими подоконниками. Дверка со стуком распахнулась, Федор Иванович увидел за нею молоденького уверенного солдата в новой фуражке с синим верхом.

— Пожалуйста, к полковнику Свешникову. Дежкин Федор Иванович.

— Вы вызваны?

— Позвоните, он распорядится.

— Паспорт.

Только тут Федор Иванович хватился: надо же было зайти домой! Но паспорт оказался в кармане пальто — лежал там с того времени, когда они с Леной ходили в загс. Федор Иванович подал паспорт и дверца со стуком захлопнулась.

Он сел на лавку рядом с неподвижным сгорбленным мужчиной в черном пальто, затертом до блеска. Человек этот низко опустил голову, держал ее почти между колен. Взъерошенная кроличья ушанка была сбита далеко на затылок. Нечесаные жирные кудри, темные с

проволоками проседи, свалились низко на лоб. Лица не было видно.

Никто не беседовал в этой комнате, стояла тишина, почти такая же, как там, в сорок седьмой квартире, откуда Федор Иванович только что пришел. И тем явственнее, страшнее прозвучали неожиданные слова, сказанные с хрипом:

— Ты Дежкин?

Это заговорил сосед Федора Ивановича. Не поднимая головы от колен, он повернул ее, словно хотел увидеть колени Федора Ивановича, и кроличья шапка упала на пол. Не заметив этого, он смотрел снизу на Федора Ивановича глубоко скрытым под бровью блестящим глазом, полным живой ненависти.

— Ну? Чего молчишь? Ты?

— Я,— Федор Иванович долго смотрел в это усталое лицо, покрытое частыми черными точками. Шевельнулись серые с желтизной усы.

— Еще кого-нибудь продавать пришел?

— Я никого не продавал,— спокойно ответил Федор Иванович, не отводя глаз.

— А моего сыночка? А Сашку? Зачем ты его...

— Александр Александрович. Сашу продал другой. И остальных. И мою жену,— Федор Иванович возвысил голос.— Мою жену тоже с Сашей. Туда же.

— Что ты виляешь, что ты виляешь, сволочь? Виляй, ты еще получишь свою долю. Ходи и оглядывайся теперь, собака. Ходи и оглядывайся.

Твердый громадный кулак с острыми буграми внезапно вылетел из черного затертого пальто, и множество искр поплыло перед Федором Ивановичем в потемневшем на миг мире. И второй кулак вылетел на помощь первому, но оба остановились и заходили в плену, перехваченные такими же широкими и костлявыми, побелевшими руками Федора Ивановича.

— Один раз засветил и хватит,— громко шепнул он, почти свистя от ярости.— Больше не надо. И того я не заработал. Тебе как отцу прощаю. Поворочай мозгами, поищи того, другого. Для него и кулак побереги. Буду теперь медаль твою носить. Отошел? Ну, смотри, не дури больше.

Окошко стукнуло над ними.

— Дежкин, Федор Иванович!

— Сиди и думай,— сказал Федор Иванович, посте-

пенно отпуская красные рабочие кулаки Жукова-отца.

Ему дали голубой листок с контрольным талоном. похожий на билет в оперный театр, и он вышел на улицу. На ходу потрогал пальцами под глазом — там уже наплывал болезненный огромный кровоподтек. Покачал головой, оценивая удар. Свернув за угол, вошел в третий подъезд. Путь ему преградил лакированный прилавок. Молодой щеголеватый солдат в проеме прилавка принял пропуск, оторвал контрольный талон и молча вернул. Федор Иванович поднялся на второй этаж и пошел по полутемному коридору, дивясь его форме, хотя уже видел его однажды. Коридор был не прямой, как все коридоры, которые он видел в своей жизни, а дугообразный. Поворачивал то в одну сторону, то в другую. И все время, пока человек шел под тускло-желтыми лампами под потолком, он мог видеть только одну дверь и одну лампу. Когда первая дверь и первая лампа оставались позади, из-за плавного поворота показывались новые — дверь и против нее лампа.

Наконец, он увидел номер 441 на очередной двери и, прежде чем постучаться, успел на миг подумать: почему это четырехсотые комнаты на втором этаже? На стук никто не ответил, и он вошел. За дверью был яркий день. Май весело ломился в высокие окна, забранные решетками. Молодые военные и штатские с папками входили и выходили через несколько дверей. Машинистка резво печатала, не отрывая глаз от лежащего рядом с машинкой листа. Главная дверь, обитая черной искусственной кожей, была полуоткрыта, и в глубине кабинета был виден за большим столом озабоченный Свешников — в военном кителе с золотистыми погонами.

Федор Иванович остановился посреди первой комнаты, ища, куда бы повесить пальто. Положив его на свободный стул — теперь на нем был «сэр Пэрси» — он вошел в приоткрытую главную дверь. Когда-то он уже был в этом кабинете.

Свешников вышел из-за стола, еще больше нахмурился. Он был неузнаваемо строг.

— Что скажете, Федор Иванович?

— Михаил Порфирьевич, я бы хотел... Что вы мне скажете?

— Ничего утешительного. Бегать к нам не стоит. Мы — исполнители закона.

— А насчет жены?

— Чьей жены? Извините, если вы о себе, то мне до сих пор было известно, что вы холостяк.

— Как же... Она оказалась...

— Мне известно, что вы холостяк, — отчеканил Свешников, приходя в ярость, но дыша самообладанием, и Федор Иванович осекся. И, осторожно сняв кольцо, зажал его в кулаке.

Белесые с желтизной глаза Свешникова заметили это.

— Вот так-то. Что это у вас, дорогой, под глазом?

— Расплатился за чужую вину. В бюро пропусков один... сталевар завесил. Ошибся адресом. Думал, что это я его сына...

— Хорошо попал. По-моему, даже немножко рассек...

— Да. Замечательно зацепил. Товарищ полковник, по долгу руководителя лаборатории, я интересуюсь судьбой бывших коллег. Вправе я поставить такой вопрос?

— Почему же... Ваше право. С ними поступят по закону. Теперь ответьте на мой... Что это за термин у генетиков: «временное разведение»? Вроде временного развода. Что это такое?

Свешников скупо улыбнулся, а Федор Иванович почувствовал, что бледнеет. Но молчал он недолго — овладел собой.

— Это только если о колхицине... Его разводят особым образом...

— Кто-то из них, кажется, Блажко, все беспокоится насчет этого временного... Или, может быть, условного — я ни черта тут не понимаю — раствора или развода. Просила передать кому-нибудь, что там какая-то ошибка. Что никакой такой разводки не может быть. Вам, как ответственному лицу, я решил все же сказать это. В интересах дела. Поскольку, я слышал, вы ставите важные эксперименты по плану, утвержденному академиком. Кстати, почему это вы занимаетесь колхицином?

— По этой самой программе... Академик Рядно...

— Ах, даже так... Это главное, что меня немножко беспокоило. И единственное.

— Я и сам подозревал, что там у нее ошибка... Спасибо. Академик был бы доволен, если бы узнал.

— Вот, собственно, все, что я могу вам сказать. Немного, правда?

— Да. Почти совсем...

— Остальное узиаете поздиее. По официальиым каналам. К сожаленню, я не располагаю временем...

— Да, да,— заторопился Федор Иванович и протяиул полковинку пропуск. Тот расписался иа нем, вернул, молча показал, где нужно приложнть печать, ткнул пальцем: «Там, там, в приемной». Бросил напоследок торопливую полуулыбку и повернулся спнной.

Выйдя на улицу, Федор Иванович округлил бровь и склонил голову, как бы разглядывая получеиную счастлнвую новость. Горькая рука любви перехватывала его дыхание. «Леночка!— шептал ои.— Что же делать? Что делать? Пнсьмо! Пнсьмо Сталиiу!»— грохотала вся механнка его мыслей. А отдаленный голос тихо говорнл что-то непонятное, предупреждающее.

Весь день он, как точиая машина, работал за троих— за себя, Лену н Краснова. Пересажнвал сеянцы картофеля из ящиков в горшки. Его окружала пустота — около него не было многих людей, к которым привык. Как будто от станцни отошел поезд, и осталась опустевшая платформа. Ои одннюко стоял на этой платформе, чувствуя громадиость противостоящей ему силы. Никак не мог до снх пор совместить в созиаиии такую земиую, простоватую, даже прнвлекательную фнгуру Кассиана Дамиановнча н мгновенное следствие, которое наступнло благодаря лншь одиому, инчтожиому шевеленню его пальца.

Лаборанткн н несколько аспирантов помогали Федору Ивановичу. Все двнгалнсь молча, убито — подиосили ящики, втыкалн бнрки с номерами, заполияли графы в журнале, и иикто, кроме их завлаба, не зиал подлинного значення этих цифр и букв, потому что все запнси были привычные, вроде как настоящие. Но это был как бы негатив, а подлинное изображеиие складывалось иа страницах толстой запнсной книжки, которая была всегда илн в глубоком кармаие серого халата Федора Ивановича илн переходила во виутрениий карман пиджака.

Когда начало темнеть, под потолком оранжереи замигалн и молочно вспыхнули палкн светильииков. Никто не ушел, продолжали подтаскивать ящики с сеянцами, полнвали горшки. В половине десятого Федор Ивановнч, подияв руку, сказал: «Хватит на сегодия»,— и оранжерея опустела. Пока обошел все стеллажи, сверяя бирки в горшках с бисериыми текстами запнсиой кинжки, пока убедился, что все делается строго по тому пла-

ну, который привел академика Рядно в хищный восторг, пошел одиннадцатый час. Погасив в оранжерее свет, поручив ее сторожу, он вышел.

Над учхозом простиралась мрачиая, без звезд, бескоиечность. Огромные массы весеннего воздуха порывами бросались иа деревья, свистели и вздыхали в сосновой роще, и там же внизу веселой редкой строчкой протянулись огоньки профессорских домиков. Федор Иванович через калитку вышел на улицу, и ноги быстро поиесли его в сторону парка.

«Что могу сделать?— сами собой заработали, загремели мысли.— Побеседовать напрямую с Рядно? Да, он может, пожалуй, принять меры, и Лену освободят. Скорее всего, Касьян ие знал, что мы с нею... Не стал бы трогать. Узнает — наверняка потребует выкупа. Но ведь Леиа одиа, без товарищей, и ие захочет выходить оттуда. Узнает, кто освободил и по чьей просьбе, и о выкупе узнает... И такая свобода будет ей хуже смертного пригозора. А если ее силой выведут, а все «кубло» ее останется за решеткой, может и натворить чего-нибудь. Интеллигеитная девушка может и поставить на карту, и бабушка сказала это, хорошо зная, о чем говорит. Освобождать надо всех, в первую очередь, Стригалева, потому что он болен, для него тюрьма — смерть. Но об этом Касьяну и заикаться нельзя. Сварганил такой материалец, а потом на попятный — такое для него иевозможио. И не входит в его стратегические планы. Захватить наследство Троллейбуса, да так захватить, чтоб и разобраться в нем хорошенько, чтоб польза была — вот что ему нужио. Без меня ведь не разберется. Подметил, что я хромаю на ту ногу... Такой хромец ему и нужеи, чтоб мог разобраться в наследстве. Потому и ие тронул меня до сих пор. Уверен, что сможет приручить, вся его сила — в прирученных, которые и везут всю его колымагу. Так что, если поторговаться, мог бы, пожалуй, выпустить Лену. Если бы я повел игру напрямик и выставил в качестве выкупа иаследство Троллейбуса. Остальных — нет».

«Леночка! — закричала его душа. — Позволь мне как-иибудь с ним поторговаться и выпустить тебя! А потом будем бороться за остальных».

«Не смей, не смей и думать, — послышался из наполиениой ветром тьмы строгий ответ.— Сейчас же уйду в эфир искать там иастоящего тебя, который был.

Который и мысли не допустил бы, чтобы спасать меня одну. Спасать свое. Спасать для себя».

«А я вот допустил. И даже очень...»

Вот какие мысли шумели в голове Федора Ивановича, заглушая мощные удары ветра по верхушкам сосен.

Он уже шел по парку, и впереди него еще кто-то шел, шагах в тридцати. Сначала Федор Иванович думал, что это эхо повторяет его торопливый ход по мягкой, как резина, невидимой майской земле. Но эхо не всегда совпадало с его движениями, звуки были чужими. Они хоть и изредка, но все же долетали и складывались в легкую назойливость, прерывали мысли. Вроде маленького зернышка, катающегося в ботинке.

Он повернул было домой, но раздумал. Эта комната в квартире для приезжающих хранила мертвые следы того, что когда-то заставляло его страдать...

Опять пошел по той же аллее. Она вела к полю, потом шла мощеная дорога к мосту, а там улица, а дальше арка и двор... И вскоре к его шагам опять начали присоединяться чужие шаги, то отставая, то опережая. Выйдя из парка, он оказался словно на берегу моря: впереди было темное поле. И над его горизонтом, наконец, зачернела верхняя часть фигуры идущего человека. Шагая все время на равном расстоянии, они перешли мост и вступили на слабо освещенную улицу. Здесь незнакомый — невысокий ростом — человек остановился и стал сердито ждать. Он был в живучем длиннополом пальто, принесенном из старины тридцатых годов, и в пережившей войну темной шляпе с вяло обвисшими полями. Предстоял какой-то разговор...

Федор Иванович в своем застегнутом прямом пальто и без шапки имел строгий, независимый вид. Он смело подошел, незнакомец, дождавшись, зашагал рядом, и из-под его низко надвинутой шляпы послышался голос академика Посошкова:

— Феденька, кажется, мы оба выпили до дна свои чаши.

— Я выпил. Иду и качаюсь.

— Моя была, как бочка. Пил долго. Сегодня допиваю остатки.

— Ох, Светозар Алексеевич. Моя крепче.

— Не знаю. Моя тоже не квасок. У тебя еще есть ожидания. Есть, за что бороться. Она любит тебя.

«Откуда он знает?» — подумал Федор Иванович.

— В худшем случае, умирая, вы будете тянуть друг к другу руки. И будете знать... А это тоже немало. Я бы променял все свое на такую смерть. Моя будет тянуть руки к другому. Я давно чувствовал, что все кончится этим.

— Имеется в виду наша обоюдная исповедь?

— Не-ет. Это я перескочил. Я про это. Про это вот, что сегодня...

— Ну, кончится-то не этим. Какой это конец...

— Я не так сказал. Не кончится, но этого этапа я ждал.

— Кончится, Светозар Алексеевич, законом достаточного основания.

— Как-как?

— А вот так. Лежит бумага. Достаточно сухая. Вокруг — воздух. Содержит достаточно кислорода. Подводим температуру. Достаточно высокую. И бумага вспыхивает. Все, что человек вносит в природу по своей достаточной глупости и необразованности, она шутя выделяет из своего тела. Всякие нехватки, кризисы, голод — все это не просто так. Этого всего могло не быть. Это рвотные спазмы природы. Это она реагирует, Светозар Алексеевич, на все неправильное и дурацкое. И ничего с этим не поделаешь. Никакие слова вроде «скачкообразно» или «переход из количества в качество» не помогут.

— На кого намекаешь?

— На одного преобразователя природы. Природа только чихнет, — тут Федор Иванович сделал такое энергичное плюющее движение лицом, что Посошков слабо улыбнулся.— Чихнет и полетят кувырком и он сам, и его дела, и наше с вами пропитание. Вот это будет конец.

Академик остро взглянул на Федора Ивановича из под шляпы, и тут же вислые поля закрыли его лицо.

— Что это у тебя под глазом?

— Фингалка, Светозар Алексеевич. Саши Жукова папа засветил. Думал, что это я их...

— Хорошая фингалка...

— Светозар Алексеевич, кто это сегодня утром был около вас? Во время сообщения.

— Черноглазый? С шевелюрой? Ассикритов.

— Что за фамилия такая?

— Думаю, он из старообрядцев. С Севера, наверно. Откуда-нибудь с Печоры. Он сказал про тебя, что ты нагловат. Что на тебя не мешало бы хороший ушатик воды.

— То-то, я думал все время, на кого он похож? На боярыню Морозову, которую в цепях везут, а она всех крестным знамением... Двуперстным. А что ему у нас?

— Как, «что»? Это же генерал! Из шестьдесят второго дома.

«Генерал!» — Федор Иванович тут же вспомнил, что Ассикритов обещал ему скорое более близкое знакомство.

— Ты куда идешь, Федя?

— Собственно, никуда. В одно место, которое опустело. Просто, чтоб дойти, ткнуться в дверь и повернуть обратно. Еще раз убедиться, что это не сон.

— И я в таком же роде. Банальную вещь сейчас скажу, держись за землю. Я иду, Феденька, туда... Туда, где находится моя жизнь. Отлетевшая от меня. Наши маршруты по своему содержанию отдаленно совпадают.

Они, сами того не замечая, сильно замедлили шаг и теперь брели, задевая друг друга локтями. Иногда, похоже, намеренно. И чувствовали от каждого нового толчка оживляющую теплоту, хотелось еще раз задеть локоть соседа.

— Ты никогда не ползал на коленях перед женщиной? — вдруг спросил Посошков.

— Н-нет. Но перед одним человечком милым, перед одним дорогим мне человечком прекрасным с радостью бросился бы и пополз.

— Я о другом ползании...

— Мог бы и так. Но этого никогда бы не случилось. Я не мыслю такого положения, при котором понадобилась бы такая вещь. Если да — значит, да. Если нет... Ох, Светозар Алексеевич, если нет, ползти — это будет еще хуже. Из «нет» «да» не сделаешь. Ползание надо вообще исключить из обращения. Если женщина по мне не тоскует, то моя тоска по ней — это вроде как если чешется отрезанная нога. Ужасно чешется, инвалиды в госпитале говорили. Чешется, а ноги нет! Это болезнь, от которой я должен избавиться любыми средствами. Вот лисица — она умеет свою ногу отгрызть, если в капкан попадет. Капкан, он стальной...

— Ох, Федя, стальной...
— Его грызть — напрасное дело. А вот ногу можно...
— Ты счастливец, можешь так рассуждать. Значит, у тебя в порядке. Тебе повезло.
— Да уж, повезло...
— Не маши рукой. Тебе, Федька, повезло. Тебя любят. Ты рано достиг своей — возможной для тебя — гармонии.
— Мне делать с ней нечего...
— Слушай, слушай, я о себе... Человеческое совершенство — в него, Федя, входит много составляющих. Одна часть — физическая красота, здоровье, сила. Другая — умственная, специальная. Я имею в виду талант, знания. Но не богатство. Третья — умение видеть пути. Здесь и богатство само собой приходит. Потом есть еще — понимание своего места в контактах с другим человеком. И любовь еще не забыть надо. Есть качество — особая привлекательность. На чем оно зиждется — до сих пор еще спорят. И вот ведь какая беда — многих это всестороннее совершенство хитрым образом, Феденька, минует. Нет, чтоб сразу прийти, а оно по частям. Приходит и уходит. А гармония частей наступает далеко не у всех. И не всегда. В двадцать лет хромаешь на левую ногу. В сорок — на правую. А в шестьдесят — на обе. Молод, красив, но талантов вроде нет, думать не умеет, неинтересен и к тому же не чувствует, что ходит по ногам других людей, ближайших друзей! Потом, смотришь, прорезываются крохи таланта, но физическая красота уже ушла! Разбазарил по глупости! И денег мало. Хлоп — деньги повалили, но для других ты неинтересен. Все зевают в твоем присутствии — молодые по одной причине, старые — по другой. Наконец, вот ты прозрел, все постиг, стал мудрым, денег тьма. Но оглянись, где остальное? Где твоя особенная привлекательность, где здоровье? Отцвело неведомо когда и осыпалось! Ты, конечно, понимаешь, к чему я гну. К той своей жизни, которая отлетела. Как в «Руслане и Людмиле» получается. Помнишь — про старого Финна и про Наину. Был пастухом, она ему: «Пастух, я не люблю тебя» Рисковал жизнью, стал героем, а она свое: «Герой, я не люблю тебя». Стал мудрецом, изучил заклинания, теперь она его, видишь, полюбила, с ума сходит. Но что сталось с нею? «Конечно, я теперь седа, немножко, может быть, горбата». Эта

история очищена от конкретности, но в ней в чистом виде великий закон. И тоска, тоска... А вот в конкретном преломлении, Федя, это звучит еще страшнее. У меня вот преломилось... Ты, наверно, не знаешь, я ведь когда-то был страшным заикой. Если бы ты послушал, как я заикался. Один раз я пытался выговорить слово «земледелие»...

— Я слышал, слышал! На третьем курсе, вы читали нам лекцию. Я очень хорошо помню этот случай, еще погас свет...

— Да, да! Федя, это было ужасно... Он же несколько минут не зажигался, а я все молчу, молчу с открытым ртом. Потом зажегся, и я, наконец, говорю: «делие».

— Но, Светозар Алексеевич! Через год вас уже называли златоустом!

— Да, я был самолюбив. Раним. И был способен на многое. Наперекор судьбе мог сделать кое-что. Между прочим, и сейчас. Это у меня с детства вместе с заиканием развилось. Ведь меня, Федя, моя матушка... Она родила меня по ошибке. Не сумела вытравить, появился на свет мальчик, и она меня страшно возненавидела. Как она меня била, Федя! Трехлетнего, маленького... Как драла, какие слова кричала. Я ведь помню, помню все. Открою рот, хочу сказать: «Мамочка!»... Я так ее, Федя, любил! И вот, закричу: «Ма...» — и бах! — судорога. Ничего не могу с собой поделать. Стою с открытым ртом, воздух в себя тяну, умираю. От любви к мамочке и от этого... беззвучного крика. А она меня за руку туда-сюда, туда-сюда. И ремнем, ремнем. Потом она увидела, что сделала со мной. Я совсем не мог говорить. Только судороги. Живой укор. И она удрала от меня, ухитрилась бросить. Каким-то дальним родственникам. А родственники сдали в приют. Ну, приют свое добавил. Вот тогда еще началось мое движение к совершенству. Разнобойное, Федя, движение. Какой-то ген был заложен, и ему это было как раз нужно — мое заикание. Начал развиваться первый дар. К восемнадцати годам я был угрюмый низкорослый заика. Но зато учился. Знания с лета хватал, удивлял преподавателей. У меня какой-то огонь горел в глазах, да еще имя я сам себе придумал — Светозар... И нашлась женщина. Моя первая жена. Старше меня. Она быстро разочаровалась, и мы разошлись. Не буду рассказывать тебе о целой серии нечастых, но, в об-

щем, многочисленных моих любовных историй. Односторонних. Я был очень влюбчив, чрезмерно. Как, между прочим, и сейчас. А уж как я шел к университету — это целая одиссея. Мы ее опустим, в следующий раз о ней. В тридцать пять я был уже ученым, автором трудов и женился уже в четвертый раз, на студентке. Этот брак длился дольше, но мы разошлись — я с моими скитаниями по странам, с ботаническими экспедициями надоел ей. И она мне. Все-таки, главная у меня любовь была наука. Разошлись, у нее, оказывается, был уже припасен и жених, техник по ремонту геодезических инструментов. И еще раз я был женат, поразительная была красавица. Но я еще не был тогда академиком, и на докторской провалили — это был уже конец двадцатых годов, а я был подозрительный интеллигент дореволюционной школы. Интеллигент, не умевший заучивать наизусть, рождавший свою собственную мысль. А уже начиналась пора заучивания и чтения речей по бумажке... И она ушла от меня. К доктору наук. Длинный путь был у твоего профессора, Федя. Каждый раз чего-нибудь во мне недоставало. В тридцатые годы я заболел туберкулезом легких, стал совсем сморчок. Результат моих дневных и ночных занятий наукой. Но они же сделали меня таким, знаешь, тщеньким, но что-то знающим академиком. Все еще заикался. Слово «земледелие» постоянно подкарауливало меня. И вот увидел Олю — еще студентку. Да, ты уже был на третьем. Сразу с ней знакомиться не полез. Начал с себя. Сначала — спорт. Ходьба, потом бег. Я поставил дома шведскую стенку и ломался на ней, как факир. Любовь гнала. Медицинский мяч, булавы, гантели, эспандеры — чем только я себя не насиловал. Двинул вспять свою энтропию. А к Оле не подходил. Во время лекции брошу пламенный взгляд, увижу головку склоненную, белую... Косички... Умру тут же — и с меня хватит. Потом я купил пианино и так себя иабазурил, как говорил твой старшой Цвях, так иабазурил себя, что через год уже Шопена играл, «Импромптю». Может, знаешь, такое — пульсирующее, два ритма один сквозь другой продеваются... Ухитрился сыграть, чтоб она услышала. Тут и за свое заикание принялся. Я его победил, Федя, за полгода! Ты знаешь, сам видел. И златоустом стал. Стал! Это она меня сделала. Только жаль, Федя, что златые уста ложь

иногда говорят. Черную. Да-а... Тут как раз подходят выпускные экзамены. Ты был уже на войне, я старик, снят с учета, с ума от любви схожу. И вдруг этот младенчик прекрасный является ко мне. Позвольте у вас аспирантуру проходить. Я, конечно, позволил. Но и тут еще держался, виду не подавал. Только еще больше по парку забегал, на пианино заиграл. И, представь себе, не я, а она сделала первый шаг. И вот смотри. Вспомни, с чего я начинал разговор. Она в ее двадцать четыре и я в мои пятьдесят восемь оказались на таком уровне всестороннего развития, что просто диву даюсь — редкая пара может так подойти друг к другу. Какие у нас были беседы! Как я ей играл Шопена! Я играл медленно — и именно так его надо играть, чтоб слышалось все, особенно басы. Какие у нас, Федя, были ночи! Не кто-нибудь — я открыл ей... Как бы тебе сказать... небо. И ей понравилось там летать, со мной. В общем, у меня с нею был тот пузырек воздуха, где я мог подышать после проработок. И вот тут начинается «но», которое нас развело.

Светозар Алексеевич замолчал и ушел глубоко в себя. Они медленно брели вдоль улицы. Их шаги тягуче шаркали по асфальту. Ночной майский ветер ломился через город, раскачивал провода.

— Я, Феденька, готовя себя к ней, исчерпал все возможности роста, если можно так выразиться. Я стоял на грани возможного для меня совершенства и должен был рано или поздно двинуться вспять. Оставалось несколько лет. Ну, может, пять лет, восемь, и Вавилонская башня должна была начать разваливаться. И поддерживать свой статус я мог только при наличии всего того, что имел. Мне нельзя было проваливаться вниз. Я имею в виду простые вещи: уходить из казенного обжитого дома, лишаться высокой зарплаты, удобств, всего установившегося ритма жизни. И вот первый кирпич в башне зашатался и выпал. Физический кирпич. Может, и не зашатался бы и не выпал, послужил бы еще, да Рядно за меня взялся. Сделал своим объектом во всех речах. А за ним и остальные, вся шатия-братия. Я начал нервничать, суетиться... И вот, чувствую, что не во всем я для моей Оли интересен... Мужчина во мне стал пропадать. И она почувствовала потерю, смотрит в сторону, но молчит, молчит... Верна... Уже Андрюшке было три года.

И вот тут, Федя, обнаружился в моей бывшей гармонии еще один дефект. Оказывается, одной вещи там никогда не было. Ник-ког-да!! Как бы это назвать... Свою боль, свое несчастье, свою победу, себя — это я очень сильно чувствовал. Но не умел быть верным столпом для моих товарищей по направлению в науке. И самому этому направлению тоже... Знал ведь, что в нем — истина, но очень пословицу эту полюбил: «Плетью обуха не перешибешь». А Рядно толкает, толкает... А башня уже покачнулась. И я пожертвовал товарищами и наукой, чтоб сохранить башню. Златоуст научился зазубривать чужие слова, которые он в душе ненавидел. Только постфактум делаю такое важное открытие. Это уже был второй, видимо, решающий кирпич. Один выпал, а второго там и не было, дырка зияла, а Оле казалось, что он-то на месте. Слишком хороша башенка была, как же не быть в ней главному-то кирпичу!

Но она ни разу мне не солгала. Молчала — не хотела оскорблять нашу любовь. Воспоминание о ней... Но знаешь, когда раненый джейран идет в степи, спотыкается — хищники уже кружат. Чуют... Понаблюдай: если женщина интересная, а муж у нее дерьмо, пьяница, тварь какая-нибудь, и если у женщины от этого во взорах лихорадка такая... Сразу появляются чуткие друзья. Это закон, закон... Она была ранена. И хищник закружился. Повис над ней. Мне уже известно, что этот... этот зверь, мерзавец, что кобель этот сумел уже подъехать к ней. Уже открыл ей врата... Он знакомится только на улице. И, представь, к ней, к умной, зоркой — на улице, в толпе сумел подобрать ключ! Брела, наверно, бедняжка. Ничего не видя... Он и прилип. Ты, наверно, знаешь его манеру — бегать вокруг дамы...

Я ее однажды попробовал тонко допросить. Сразу поняла, засмеялась. Я, говорит, люблю только тебя. Честное, говорит, слово. В другой раз засмеялась и хлопнула меня газетой по носу. В третий раз говорит: «Много будешь знать, скоро...» — и запнулась. Хотела сказать «скоро состаришься». И тут я понял, Федя... Я состарился, дорогие мои! Готовьте поминки! А она, бедная, у него тоже не все нашла. Негармоничным оказался! У него было только одно, то, что стало у меня катастрофически убывать. А окромя — тоска, тараканы, грязь. Он же, Федя, еще патологически жаден!

На него невозможно смотреть, когда он рассчитывается в магазине за покупку. Проверяет вес, рука, трясется из-за пятака, зуб на зуб не попадает. Она же все это видела... Он приходит в гости к интеллигентным людям и — не поверишь! — ставит на стол отпитую и заткнутую бумажкой бутылку! Но стихи иногда из него вылезают. Сам не пойму — как. Я подумал, с нею у него не задержится. Смотрю — нет! Молчу, терплю. Полгода уже она бегает к нему. И за меня хватается. Одно, необходимое, там. И другое что-то есть. А третье и четвертое у меня... Тоже, оказывается, необходимо. А когда-то все сочеталось в одном человеке! Вот так раздвоилась она. Это было невыносимо. Я терпел, играл ей по вечерам Шопена. Когда бывала дома. А потом сказал ей однажды, что все знаю, что знаю давно... Упал на колени. Лег на пол перед ней. Моя ошибка была, ты прав. Она не смогла этого перенести. Побагровела, до слез, тут же взяла вещи, взяла Андрюшку и... Вот мы пришли. К конечной цели моих ночных путешествий.

Они были уже около арки.

— Вот сюда, сюда пойдем,— Посошков, взяв под руку Федора Ивановича, перевел его через улицу.— Сюда, в этот подъезд.— Открыв дверь, он пропустил Федора Ивановича в темноту.— Давай шагай, я тебя держу.

Рука у него была еще стальная. По пустынной каменной лестнице они поднялись на пятый этаж и там остановились около разбитого окна. За слабо светящимся проемом, наполовину лишенным стекла, вздыхал и охал холодный ветер. Говорил: «Ох-х-х», — как человек.

— Вот здесь станем. Это я стекло выдавил, — Посошков достал из пальто длинный военный бинокль и поднес к глазам. — Иногда долго ждать приходится... Ага, сегодня она в этой комнате. Вот она...

И протянул бинокль Федору Ивановичу.

За угловатой дырой в разбитом стекле ворочалось равнодушное ночное пространство. Вдали сияло широкое — балконное — окно. Окно Кеши Кондакова, широкое и яркое, как окно больничной операционной. Федор Иванович удивился — его не завесили ничем, на нем не было фанеры. Поднеся к глазам тяжелый бинокль, он сразу увидел белую, как еловая древесина, голову Ольги Сергеевны, торчащие врозь толстые ко-

сички. Она слабо улыбалась и кивала кому-то, кто лежал ниже подоконника.

— Он лежит, по-моему, на своей кровати,— сказал Федор Иванович.

— Его тут нет и не бывает. Это Андрюшка. Она приказала своему этому... выметаться из квартиры, и он послушно съехал. Чтоб Андрюшка не видел пьяного чужого дяди. Они женились, он ее здесь прописал, все честь по чести. Вот что меня поразило. И что не оставляет мне никаких шансов. Прописал, несмотря на жадность. А сам съехал и не бывает здесь. Она бегает к нему иногда, в Заречье. Пошли, Федя...

Но прежде чем уходить, Посошков резким отрицающим движением как бы бросил — резко сунул в окно руку с биноклем и замер, прислушиваясь. Внизу на тротуаре стукнуло, и будто раскатились камешки. Академик взял Федора Ивановича под руку, и они медленно, нащупывая ступеньки, стали спускаться по темной гулкой лестнице.

— Ты понял? — спросил Светозар Алексеевич, когда они вышли на улицу.— Ведь лиса сейчас отгрызла себе ногу, освободилась. Вся жизнь — сплошные волевые акты. Несчастье всякого старика, которому удается заморочить голову молодой девушке и жениться на ней,— в том, что ему с самого начала надо считаться с горькой перспективой измены. Я отгрыз совсем. А твоя нога еще побегает — видишь теперь, какая у нас разница? Между моей чашей и твоей. Леночка еще вернется к тебе. И вас будет двое. И даже больше будет...

Федор Иванович не видел сейчас никаких преимуществ в своем положении. Но спорить не стал.

— Пойдем домой?— спросил осторожно.

— Да, можно идти. Пошли. Давай теперь поговорим немножко о тебе. У тебя все иначе, Федя. У тебя в тридцать лет развита та сторона личности, которая мне открылась только под самый конец. Вот видишь, ты голову над своим ключом ломаешь. Добро и зло! Все, над чем ты задумываешься, обязательно содержит в себе судьбу другого человека. Судьбу людей. О себе не думаешь... Какое счастье! Твоя мысль направлена из центра наружу. Но что вообще валит меня с ног — ведь Леночка твоя такая же! Ка-ак случаю угодно было! Сложная! Зрелая! Что могло свести вас, таких?..

У нее тоже ведь грани. Не по нашему времени. Зеленых плодов мало. Мы с Натаном крест было на ней поставили — не находилось у нас для нее пары. А когда ты вошел тогда к нам в кабинет... Сначала вот так серьезно постучал...

Нужно было молчать, Федор Иванович почувствовал это.

— Постучал, и чем-то сразу повеяло, Федяня. Событиями какими-то грядущими. Судьбой. И не только в плане Касьяна. И мы переглянулись с Натаном. Как раз, она тебе несла кофе. Как она его несла! Натан говорит потом: «Ну, Леночка наша нашла, наконец, себе то, что надо». Это ведь он нарочно тогда послал ее в разведку. Чтоб ускорить события. Он чуял твою суть. Хоть ты и был тогда чистый касьяновец. Предугадал тебя. Тоже сложный старик. Да, Федя... Жалею я, что мне скоро семьдесят. Не насытился я жизнью. Было бы тридцать, построил бы все совсем, совсем иначе. И Ольге своей я жизнь испортил. Тащил себя за шиворот на ту полку, где не смогу удержаться. Да, тебе надо знать, там у него остались горшки с растениями, самые заветные. Я про Ивана Ильича. У него там тепличка самодельная. И семян же — целая картотека. Это все надо выручать. Подумать надо, Федя. Ты подумай...

— Я уже думал об этом,— Федор Иванович хотел сказать: «И решение уже принял»,— но тайна была слишком велика, и он приумолк.

Академик тут же раскусил его:

— Ты не бойся меня. Тут и я могу тебе быть помощником. Очень осторожно снюхиваешься со мной.

— Я имею некоторое основание. Я видел в руках одного товарища из дома шестьдесят два книгу Моргана, притом, не вообще книгу, а индивидуально-определенную, то есть ту, что лежала у вас под Петровым-Водкиным и имела штамп «не выдавать», припечатанный поперек фамилии автора.

— Тут ты никаких объяснений от меня не получишь. Но вслушайся в мой голос: уж теперь-то я тебе не опасен. И раньше я, когда клялся в верности Касьяну, все же... пакостей черных не творил. Хотя клятвы мои praванивали... А теперь вообще я... Полностью освободился от пережитков капитализма. Вон какой раньше пережиточек под боком... С косичками. А Петров-Вод-

кин — знаешь, сколько стоит Петров-Водкин? В долги ведь залез. А чтоб отдать... и пережиточек чтоб при мне оставался... Пришлось, Федя, выйти на трибуну и орать. Чужие, вызубренные слова. Сейчас, если б вернуть те времена, нипочем бы орать не вышел. И она бы не сбежала. Не сбежала бы она! Сапоги бы надела и в колхоз со мной. Агрономами. Я своим криком... козлиным... оборвал тот ремешок, который еще мог удержать ее около меня.

Они расстались под фонарем в том месте, где кончался парк и начиналась улица, разделяющая поля учхоза и сосновую рощу с мигающими огоньками профессорских домов. Академик взял руку Федора Ивановича, долго жал, никак не мог выпустить, все качал со значением.

— Заходи, Федя. Я сейчас один живу.

Но ночевать к себе не позвал, хотя бывший его ученик теперь был один. А Федор Иванович очень надеялся именно на это, даже в глаза Посошкову специально смотрел. Не хотелось идти в пустую комнату для приезжающих.

— Буду всегда рад,— сказал академик. Повернулся и пошел, слегка согнувшись, к границе фонарного света и тьмы. Стал опять таинственным длиннополым незнакомцем, шагающим в ночи, и шляпа как бы сама нахлобучилась на него.

Когда Федор Иванович отпер свою комнату, шел уже второй час ночи. Снимая пальто, нащупал в кармане тапочки. Вынув, замер, долго смотрел на них, качал в руке. Поцеловал... Но запах сукна сказал, что ее в этих тапочках нет. Не удалось сквозь вещи пробиться к ней. В отчаянии больно ударил себя тапочками по лицу. И что-то выпало из них, мягко стукнуло на полу. Какой-то плотный сверточек. Он поднял его, развернул скомканный газетный обрывок. Там лежало маленькое обручальное кольцо. Ее кольцо. Ее прощальный знак. Это она при них сумела. Торопливо завязывала в узелок свои вещички и изловчилась. Молодец! Молодец!— закричала в нем душа.— Знала ведь, что приду, что возьму твои тапочки, что сохраню... Слезы брызнули, он поперхнулся, удерживая их. «Сохраню!» — громко простонал. И, мотая головой, бросился пластом на свою сурово заскрипевшую койку для командированных.

IV

Часа в четыре утра он почувствовал, что не спит, что глаза его открыты. Непонятное, неподатливое будущее растеклось вокруг него, взяло в кольцо. Осторожно присели, замерли вокруг неотложные дела и невыполненные обязательства — сплошь только обязательства и никакого выполнения. Незаживающие старые царапины и совсем свежая новая ссадина жгли, напоминали о себе при каждом вздохе. «Теперь ни одного дня нельзя пропускать,— думал он.— Но что буду делать сегодня? Чем займусь?»

Охнув, он повернулся, чиркнул своей зажигалкой, в который раз посмотрел на часы. Время не стояло.

«Хорошо. Допустим, проберусь ночью к нему в дом, вынесу семена. Можно и днем — я ведь правая рука Касьяна, руке позволяется. А что делать с новым сортом? Где он? Его же пора высадить в землю! Куда? Каждое движение под контролем. А кто контролер, если не Ким? Как же это Рядно отдал своего Бревешкова?»

Было совсем светло, когда напряженные, не отпускающие его думы прервала тетя Поля. Вошла, стукнула ведром.

— Вставать пора, молодой человек! Разоспался! Весна вон на дворе. Теплынь, так и пахтит! Гусак вон сейчас... Ничего не ест, стоит около гусыне и ужахается...

Застучала, заелозила щеткой, подметая.

— Где ж ты пропадал, бедовая голова? Я уж думала, что и тебя сгребли со всеми. Тут без тебя что было. Сколько народу перехватали. В шпионы все играют, увлеклися. Всех перепугали и сами настрахались. Везде им враг мерещится. Своих стали пачками... Так и думала: ну, моего Федю замели...

— За что же меня, тетя Поля?

— За то, что молодой — вот тебе одно. Разве этого мало? За то, что барышня твоя красавица и любит тебя — вот второе. Такое никогда не нравится. И еще — за то, что голова у тебя не чурбан какой и не горшок с говном — этого всего больше не любят. А от своей голове разве убежишь?

Оставив пальто на вешалке, он надел стеганую телогрейку и кирзовые сапоги и отправился в учхоз —

делать ту же работу, что делал вчера. Его уже ждала бригада работниц, присланных с делянок, но все равно сразу началась напряженная гонка. Народу в оранжерее сегодня было больше, но все, как и вчера, работали молча. И сам Федор Иванович был молчалив. Распоряжения его были непривычно кратки и отрывисты. «Сюда» —изредка слышался его мягкий краткий приказ. — «Горшки!», «Не так!», «Плотнее!».

В полдень, убедившись, что работа пошла, он поручил руководство Ходеряхину и ушел из оранжереи. Быстро, почти бегом пересек учхоз, вышел через знакомую вторую калитку и зашагал по мягкой еще земле, срезая угол уже ярко-зеленого поля. Обогнув выступающий, одетый в зеленый дым массив парка, он совсем скрылся от случайных взоров. В одиночестве, не слыша летающих над ним возбужденно орущих грачей, он шел и обдумывал дело, которое предстояло провернуть. Оставив в стороне булыжную дорогу к мосту и сам того не заметив, он по другой, травянистой, дороге вышел к зарослям дикой ежевики. То тут, то там в ежевике показывалась потонувшая в молодой зелени цепь черных железных труб, уложенных плотно одна к другой, но еще не соединенных сваркой. Увидел, что вдоль труб, вплотную к ним, тянется тропа, и зашагал по ней. Когда подошел к знакомому разрыву между трубами, остановился здесь, заглянул в трубу и даже вполголоса словно бы окликнул кого-то: «Эй, эй!». И вибрирующий железный голос ответил полушепотом: «Эй, эй...» Разрыв был шириной метра в полтора. Федор Иванович постоял, размышляя. Как конструктор, пальцами рисовал что-то в воздухе. Потом поглядел в трубы, в оба конца. Один конец ярко светился вдали, отрезок здесь был короче. Сразу стало ясно: эта часть обрывается у оврага в кустах, нависающих над ручьем. «Ладно», — сказал он и пошел вдоль цепи труб назад. Он миновал десятка два составленных в цепь труб — всего было метров полтораста — и увидел еще один разрыв, поуже, но достаточный, чтобы пролезть в трубу. Тут же и пролез внутрь и, став на четвереньки, закусив губу и хмуро сопя, довольно ловко заковылял по трубе назад. Труба недовольно загудела. Он снял сапоги, и труба затихла. Ковыляя назад, он заметил зеленый свет еще в одном месте. Здесь кусок трубы откатился сантиметров на сорок, и образо-

валось сразу два просвета, ярко-зеленые полумесяцы. Федор Иванович протиснулся через один из них. Сунул ноги в сапоги и опять задумался. Он знал, что недолго ему быть правой рукой, и впереди его может ожидать всякое. Эта труба, пока ее не зарыли, могла служить хорошим подходом к двору Стригалева. Одним из подходов, которых, должно быть, много. Но могла стать и ловушкой. Приняв все к сведению, он решительно хлопнул по присмиревшей трубе и пошел дальше — к дому Ивана Ильича.

Калитка была забита большими гвоздями, и на ней желтели знакомые две восковые печати, соединенные ниткой. Пройдя несколько шагов вдоль глухой дощатой стены, Федор Иванович отошел в сторону и с разбегу, схватившись за верхний край забора, одним махом перескочил его. Очутился в маленьком внутреннем дворике, отгороженном от остальной усадьбы низким заборчиком и глухой бревенчатой стеной дома. Здесь у Ивана Ильича были цветы. Штук шесть гранитных валунов, как большие розовые и серо-зеленые тыквы, были свалены в центре. «Альпийская горка» — догадался Федор Иванович. Лысины камней проглядывали среди буйно проросшей между ними цветочной листвы. Федор Иванович узнал георгины и, удивившись тому, что такая высокая зелень и так рано для здешних мест, запустил руки под растения — доискиваться истины. «Ага,— установил он.— Здесь они прикопаны прямо в горшках. Странно, однако, почему на альпийской горке?»

Ветер сиротливо свистел, тянул извилистую многоголосую песню в щелях хмурого деревянного дома. На двух шестах, вбитых в землю по обе стороны обросшей зеленью каменной горки, лопотали и постукивали два деревянных ветрячка. Их стук отдавал обреченностью и тоской и был сродни вечному молчанию валунов, сложенных в дворике. Федор Иванович еще больше нахмурился и, стараясь ступать тише, пересек дворик. Повернув белую пластмассовую ручку с непонятной дырочкой в центре, толкнул калитку и вышел к длинному чистому огороду, как бы разлинованному свежими строчками картофельных всходов, уходящими вдаль и вниз — к ручью. Ранняя зелень здесь его не удивила: знающий дело картофелевод высаживает в грунт уже пророщенные на свету клубни. Короткие

кустики растений были слегка окучены, в междурядьях — чистота. Над огородом постукивали три ветрячка, а по углам стояли железные бочки для воды. «Работяга,— с горьким уважением подумал Федор Иванович.— Посажена простая картошка, а такой уход, — тут же сообразил он. — В ней, конечно, скрыты несколько десятков кустов нового сорта».

Потом Федор Иванович увидел тепличку, пристроенную к дому. Ее распахнутая дверца, обитая войлоком и рогожей, звала к себе писклявым жеребячьим ржанием. Внутри пахло землей и сыростью. На стеллаже стояли несколько пустых горшков. Никаких растений здесь Федор Иванович не нашел. Он вышел, поднялся на крыльцо. На двери висел большой замок, кроме того, блестели шляпки нескольких больших гвоздей, вбитых до отказа. И зияли две желтые печати с ниткой. Федор Иванович обошел дом. Все его четыре окна были тоже забиты — по три широких доски на каждом окне. «В крайнем случае, доски оторву», — подумал он. И вдруг, что-то сообразив, бегом вернулся в тепличку. Так и есть! «Мы с Иваном Ильичом уже чуем друг друга»,— подумал он. Под стеллажом была деревянная стенка. Доски ее легко отнимались — это оказалась дверца без петель. Надо было лишь отогнуть один гвоздь. За нею темнел широкий лаз. Федор Иванович протиснулся туда, попал в глубокий мрак подполья. Головой нащупал и поднял половицу, пролез в сени. Дверь в избу была распахнута. Выключатель оказался на месте, ярко вспыхнула лампа под самодельным абажуром из ватмана. И прежде всего Федор Иванович увидел на полу множество одинаковых плоских пакетиков с семенами. Некоторые были прорваны — по ним ходили люди, хорошо знающие, что у них под ногами вейсманистско-морганистская вредная гомеопатия. Ящики картотеки были выдвинуты или выдернуты совсем, лежали на полу и на столе.

Под узенькой кроватью он нашел несколько грубых конопляных мешков из-под картошки. Выбрав один покрепче, заспешил, стал охапками бросать в него пакетики. Набралась треть мешка. Федор Иванович еще туго завернул в простыню ящик с препаратами, с теми стеклышками, которые он когда-то рассматривал в микроскоп, и положил туда же в мешок. Самого микроскопа в доме не было. Микротом стоял в углу кухни, за-

валенный телогрейками и кирзовыми сапогами. Федор Иванович завернул его в телогрейку и опустил в мешок. Погасив свет, вышел, протащил мешок под пол, потом в тепличку, установил на место дощатый щит и побежал к воротам. Перемахнув через забор, он кинул на спину мешок и, пригибаясь, затрусил по тропе в кустах к трубам. «Яко тать в нощи,— подумал он.— Похоже, никто не увидел».

Мешок он задвинул в своей комнате под койку и, когда кончился обеденный перерыв, был уже в оранжерее, проверял записи в журнале, показывал аспирантам технику прививок и руководил посадкой сеянцев в горшки. «Плотнее поставьте,— изредка слышалось его краткое распоряжение.— Еще сотня войдет». «Мало песку, добавьте».

Часов в семь вечера, когда, вернувшись в свою комнату, он лежал на койке, хмуро уставясь в потолок, зазвонил телефон. «Говорите»,— произнес женский голос, и сразу, будто рядом, зазудел деревянный альт академика Рядно:

— Ты где пропадаешь все дни?

— По вашим... По нашим с вами делам, Кассиан Дамианович.

— Ну и что ты набегал по нашим делам?

— Сейчас уже поздно говорить... Как раз собирался вам звонить, а тут произошло это... Арестовали же всех. Так не вовремя...

— И Троллейбуса?

— Вчера нас собирали. Информировали...

— И Троллейбуса, спрашиваю?

— И его тоже.

— Ну и что ты думаешь об этом, сынок?

— Мысли есть. Сначала доложу все. Чтоб по порядку.

— Давай, докладывай по порядку. План, план как?

— Сейчас все по порядку. Я же кубло нащупал. Прямо к ним влетел. На сборище.

— Об этом подвиге уже и Москва знает. Ты ловко это, я даже не ожидал. Интеллигент же. Как это ты сумел?

— Даже сам не знаю.

— Не скромничай, не люблю. Знаю, знаю все — че-

рез женщину. Тут другое... Как ты узнал, что эта женщина из ихнего кубла — вот где интуиция! Вот где талант!

— Там был Краснов, Кассиан Дамианович.

— Это хорошо, что ты сигнализируешь, сынок.

— Его тоже забрали.

— Батько и это уже знает.

— Теперь мысли по всему этому делу. Мысли вот какие, Кассиан Дамианович. Не рано ли мы с вами их всех... В идеологическую плоскость?

— Нет, не рано, сынок. В самое время. Ты же пробовал его смануть? Если и ты не смог... А я ж и, кроме тебя, еще засылал сватов. Нет, не рано, Федя.

«Ага,— подумал Федор Иванович.— Значит, так оно и есть, это мы их...»

— Я думаю, все же рано. Ведь у него был на подходе сорт... Сорт это ценность. Он принадлежит народу, нужен ему, независимо от судьбы его легкомысленного автора...

— Хорошо говоришь. Хорошие слова. Батько знает, где этот сорт... Ты этот сорт мне сохранишь, сынок.

— Все равно поторопились. Я лазил туда, в его хату. В опечатанную...

— Хх-хых!— шершавый, колючий ветер зашумел, стиснутый в стариковских легких, заиграли свистульки — такой у него был хохот.— Ну ты, сынок, делаешь у меня успехи. Ну кто бы мог подумать, что мой Федька...

— ...Я все там облазил...

— Не-е, не все, Федя, не все...

— Все. Места живого не оставил. Кроме печатей...

— Ху-хухх! Хы-хх! Тьфу!— академик даже захаркал и подавился.— Ох, Федька, пожалей, не говори больше про эти печати...

«Погоди смеяться, сейчас ты засмеешься *на кутни*»,— подумал Федор Иванович.

— Тут не в печатях дело, Кассиан Дамианович. Дело-то наше не блеск. У него там был шкафик. Картотека с ящичками. А в них — пакеты с семенами. На десять лет работы для трех институтов. Сам он говорил. Ничего теперь этого нет.

— А ты ж где был? Ты что? Ты в уме?

— Штук десяток я собрал на полу. Постфактум. Раздавленные сапогами, порванные. Веником семена под-

метал. Горсточка получилась. Так это же капля! Где остальные? Вот я почему... Согласовывать надо такие акции. В известность ставить.

— Это сволочь Троллейбус мне устроил. Загодя.

— Он не оставил бы на полу пакеты. И ящики не разбросал бы по всей избе.

— С-сатана... Только напортил мне. Я ж строго ему наказал.

— Кому? Троллейбусу?

— Не-е. Человеку одному.

— Безответственный был человек. Самоуверенный.

— Не понятно мне все это... Не-е, не понятно. Как раз, человек очень был ответственный.

— А у меня такое впечатление, что сам этот ответственный... Или его ребята... Что они печку топили картофельными ящиками. Вместе с семенами. В печке полно золы. И кусочки ящиков. Обгорелые.

— Это ж катастрофа, Федя... Слушай... Почему я тебя все время подозреваю, а?

— Потому что Краснов ваш и Саул все время на меня льют вам что попало. А вы верите.

— Их понимать надо, сынок. Ты быстро обошел обоих, батько тебя почему-то залюбил, дрянь такую. А хороший собака всегда завидует на другого, которого хозяин погладит. Грызет его всегда, старается горлянку достать. Это закон. И у человека так. Ты скажи лучше, кто ж это мог семена нам...

— Мог и кто-нибудь из ваших сватов, которых вы заслали... Сваты хоть знаниями какими-нибудь обладали?

— Федька, ну зачем ты дергаешь меня за самое больное место? Я догадываюсь, ты ревнуешь!

— Вы же глаза мне завязали и приказываете что-то делать!— закричал Федор Иванович, чтоб еще больше было похоже на ревность.— Не знаю, где и искать эти семена. А тут же еще один объект...

— Ты про новый сорт? Этот пункт зачеркни. Он, считай, наш.

— Его же сажать, сажать надо. Не посадим — погибнет.

— Он уже в земле, сынок. Время придет — скажу, где он и что с ним делать. Есть же еще объект, ты помнишь?

— Вы имеете в виду полученный Троллейбусом полиплоид?

— Забудешь ты когда-нибудь это слово? Я выговорить его не могу. Хуже чем латынь. Скажи — дикарь. «Коитумакс» — имя ж у него есть. Ты ж узнал его тогда, при ревизии. А лапу не наложил...

— Как ее теперь наложишь... Вы почему-то спокойны, Кассиан Дамианович. Тон у вас... Может, все объекты уже у вас под лапой?

— Если б ты посмотрел на меня, сынок, так не говорил бы. Батько твой осунулся, с лица спал за эти дни. Получилось все как-то задом наперед. Что ж ты посоветуешь, а?

— Было бы хорошо выпустить Троллейбуса. И остальных тоже. Я за ними посмотрел бы. Я бы все их наследство вам...

— Дорогой... Посадить легче, чем выпустить. Это наша вина, Федя. Рановато мы с тобой их... Ты прав. Мягче надо было, тоньше. Но ты ж понимаешь, он оказался врагом. Фильм этот, оказывается, из-за рубежа ему. Вон куда ниточка...

Академик умолк. Он долго молчал, потом подал несмелый голос:

— Федя... Ты слушаешь? Федь...

— Да, да, Кассиан Дамианович! Да!

— Что тебе сейчас открою, сынок... Ты извини меня, я тебя немножко проверял. Подозрительный стал. Все думаю: не утаивает мой Федька от меня что-нибудь?.. Не перекинулся к этим?

— Не такая ли я сволочь, как Краснов,— подсказал Федор Иванович.

— Федька, не ревнуй! Это хорошо, что ты ревнуешь, все равно, перестань. Батько тебя ни на кого не променяет. А Краснов — теленок. Он ни у нас, ни у них ничего не понимает. Болтается в ногах. Так что я говорю... Проверял я все тебя. Почему тебе и показалось, что я спокоен. Не-е, батько не спокоен. Или я никуда не гожусь, старый пердун стал, или зрение у меня еще в порядке и ты единственный, кому я могу довериться. Слушай... Слушай и жалей своего батьку. Сложная ситуация, сынок. Троллейбуса не взяли. Троллейбус сбежал.

— Ка-ак!— горячо и искренне закричал Федор Иванович.

— Какая-то стерва предупредила. А может, и стечение обстоятельств. А ты говоришь, ставь тебя в из-

вестность. Тут в обстановке полной секретности и то вон какие прорехи получаются. Сквозь землю, понимаешь, провалился. Меры, конечно, приняты. Ты с твоим нюхом сейчас мог бы сильно мне помочь... Погоди, не торопись материться, я не требую ловить... Поймают и без тебя. Наследство, наследство надо спасать. Силы у меня много, руки длинные. Мне не хватает твоего, Федя, таланта.

Настала очередь Федора Ивановича замолчать. Нет, Кассиан Дамианович не хвастал, когда давал ему знать об охотничьих угодьях, где он один гоняет своих оленей. Когда говорил о переводе в идеологическую плоскость и о том, что непослушного могут по его поручению чувствительно посечь. «Открылся весь!— подумал он.— Раньше казалось пустой болтовней, хвастовством. Не верил... А теперь вот и иллюстрация. Но до чего скрытен. Все кругом прикрыто овечьей шкурой. Прикрывайся, прикрывайся. Овечка давно уже волчью шкуру накинула. Таких овечек ты еще не видывал...»

— Федь...

— Да, да! Здесь я...

— Во, брат, как нас с тобой облапошили.

— Не нас двоих, а вас, Кассиан Дамианович. С вашим генералом. Чтоб верили мне, чтоб не распыляли силы на слежку за мной.

— Ну ладно, ладно, сынок. Осторожность никогда не мешала.

— А точно это — что сбежал?— Федор Иванович на миг спохватился. Это тоже ведь могла быть ловушка.— Кассиан Дамианович, данные проверенные?

— Данные точные, сынок. Устал я от этой всей шарманки. Заменил бы ты меня...

— Ведь я время убью зря, если это не так...

— Не бойся. Убивай время. С пользой убивай. Он сейчас не только шкуру свою спасает. Ценности, ценности прячет. Государственные... Народу принадлежат... Ты ж понимаешь, Федька, наш с тобой долг... Мы должны оказаться на высоте.

Они опять замолчали. Федор Иванович удивился — до какой степени точно слова Касьяна соответствовали ключу! И опять академик несмело позвал:

— Федь...

— Да, я тут. Никак в себя не приду от новости.

— Ты слушай. Батько наверх уже пообещал. И те-

бя ж не забыл упомянуть. Один из лучших сотрудников, Дежкин, работает на главном направлении,— такой сделал текст. Понял? Нас с тобой на особый контроль взяли. Так и записали — новый сорт. Теперь, брат, или грудь в крестах... Смысл доходит до тебя? До твоей честолюбивой башки? Я ж у тебя в руках, Федя. Сделай мне это дело, и я сразу пойму, что Федька мой...

— Самый лучший собака?

— Ох, и зубастый стал. Злой кобель какой. Сразу между ног берет... Вот что значит — батько тебя не порет. Ты сделай, что прошу. Медаль повешу. На ошейник, х-хы...

— Для этих дел, Кассиан Дамианович, нужно, чтоб уцелевшие вейсманисты-морганисты мне поверили. Меня ведь боятся... Придется всего себя намазывать медом.

— Намажься медом! Прошу тебя!

— Не знаю, как это у меня получится. И потом — своя же оса может сесть на этот мед. Из вашего улья. Так ужалит, что и не встанешь. Генерал ваш смотрел тут на меня...

— Он на всех смотрит, не бойся. Я ж буду на страховке. Скажу ему.

— Мне бы гарантию...

— Ну ты ж и зануда, Федька, стал. В такое время торговаться... Все, все бери себе, только успокой!— заорал Касьян.— Снимай с меня штаны!

— Ладно, Кассиан Дамианович. Сегодня же медом намажусь.

* * *

Едва он положил трубку, как телефон опять зазвонил.

— Федор Иваныч? Не узнаешь? Это Ходеряхин.

Загадочная грусть, как и всегда, чуть заметно сквозила в этом ломающемся мальчишеском голосе. Звонил обойденный удачей человек.

— Я слушаю вас, Анатолий Анатольевич,— оберегая его самолюбие, приветливо отозвался Федор Иванович.

— Так вы, что же, не пошли?

Здесь, в этом институте Федор Иванович уже научился не показывать удивление, когда ему задавали неожиданный вопрос.

— А вы? — спросил легким голосом.

— Ну — я... Меня не приглашают на такие ограниченные... На такне узкие... Я не гожусь.

— А куда надо было пойтн?

— Я думал, вас обязательно... Онн там пленку раздобыли. Фнльм. Вы точно нnчего не знаете? Так не теряйте времени, слушайте. Они раздобыли откуда-то фильм. Вейсманистско-морганнстский. Похоже, тот самый. Поскорей пртащнлн аппарат н сейчас крутят. В ректорате...

— Кто онн?

— Да Варичев же. Со товарнщи.

— Интерес-сно... Вы еще кому-ннбудь сообщали об этом?

— Нн одной душе. Только вам и хотел...

— И не сообщайте. Прн этом условии и я никому не скажу, что вы мне...

— Идет!

Учтиво дождавшнсь, когда он положит трубку, Федор Ивановнч медленно положнл свою н некоторое время стоял посредн комнаты, глядя на лакнрованную доску стола. Прямо на крестообразный знак, изображающий две сведенные остриями бесконечности — внутреннюю н внешнюю. Внешняя все время ставнла перед ним новые задачи. Уйдя глубоко во внутреннюю, он соображал: как должна вести себя в открывшнхся ему сейчас новых условиях правая рука академика Рядно. Побарабанив по столу пальцамн и завершнв эту трель последним — выразительным — щелчком, он быстро надел «сэра Пэрси», вышел на улнцу н сразу набрал скорость. Взбежал на крыльцо ректорского корпуса, легко и бесшумно, словно летя, прошагал по корндору н вошел в приемную ректора. Здесь ннкого не было. За прноткрытой кожаной дверью кабннета двнгалась загадочная живая полутьма, угадывалось напряженное прнсутствие людей. Проскользнув туда, Федор Иванович тут же увндел лунно-голубой квадрат экрана н на нем шевелящиеся пальцы двух прозрачных рук, разводящнх эти пальцы к двум полюсам. Прнжался спиной к стене, напрягшнсь, стараясь разглядеть присутствующнх.

— Редуплнкацня,— слышался сквозь стрекот аппарата уверенный козлнный голос Вонлярлярского. Как специалнст по строенню растительной клетки он давал пояснення.— Сейчас наступает телофаза...

— Стефан Игнатьевич!— с благодушной усмешкой

взмолился Варичев.— А по-русски, по-русски нельзя?

— Петр Леонидович, это международная терминология вейсманистов-морганистов...

— Ну и черт с ней. Мы-то не вейсманисты. Зачем нам их терминология?

— Она и должна быть непонятной, в этом ее... Если я буду транспонировать... поневоле прибегая к усилиям... чтобы изобразить в понятном свете это ложное учение, я буду выглядеть как адвокат... как скрытый адепт, использующий случай для пропаганды... И любой честный, сознательный ученый, а я думаю, таких здесь большинство...

— Ладно, понял тебя, ты прав. Шпарь с терминологией.

— Ну его к черту, может, выключим?— послышался чей-то тоскующий голос.— Потом будет лезть в голову. Вот этим они и запутывают нормальных людей...

Аппарат умолк.

— Толковая пропаганда!— гаркнула Анна Богумиловна. Она сидела во тьме, в двух шагах от Федора Ивановича.

— Фальшивка или нет?— спросил кто-то.

— Провоцируешь?— весело отозвалась Анна Богумиловна.

— Да хватит вам!— зашикали кругом.— Потом вас послушаем. Давай крути до конца!

Хромосомы на экране задвигались.

— Образуется веретено, и аллели расходятся к полюсам,— опять заговорил Вонлярлярский снисходительным тоном специалиста.

— Нет, Стефан Игнатьевич, так не пойдет. Придется Дежкина позвать,— Варичев протяжно крякнул. Это была всего лишь шутка, он хотел всех немножко попугать этим Дежкиным, которого все боялись.

— Я здесь!— громко заявил Федор Иванович, отталкиваясь от стены.

Экран тотчас погас, и аппарат остановился. Вспыхнули лампы под потолком, все заговорщики обернулись туда, где стоял неожиданно свалившийся на них свидетель их активного интереса к запретным вещам. В свободных позах, раскинувшись на стульях и в креслах сидели туманно улыбающийся в сторону академик Посошков, деканы, профессора. Растерянно-веселая Побияхо уставилась на Федора Ивановича.

— Он уже здесь! Петр Леонидыч, ты обладаешь способностью вызывать духов!

Варичев, растекшийся в своем кресле, ухмыльнулся на ее шутку и положил на край стола громадные мягкие кулаки.

— Сам не ожидал, что у меня такое свойство. Оказывается, вы здесь, Федор Иванович!

— Я не совсем понимаю, почему это всех удивило...

— Мы тебя искали и не нашли,— явно соврала Побияхо.— С ног сбились.

— Я был дома и как только позвонили...

— Кто ж этот... счастливец, который смог вас разыскать?— спросил Варичев.

— Женщина какая-то. Не Раечка.

— Не Раечка?— Анна Богумиловна посмотрела на ректора, советуясь с ним взглядом.

— Ладно, неважно кто,— сказал Варичев, оглядывая собравшихся, спокойно ведя корабль среди мелей и рифов.— Главное, Федор Иванович здесь, и мы можем продолжить. Федор Иванович! Тут на ваше имя поступил пакет... Из шестьдесят второго дома. Раиса Васильевна его второпях распечатала, выпал загадочный ролик с фильмом, а дальше пошло-поехало. Научный интерес, жажда познания, любопытство... Что там еще, Анна Богумиловна?

— Влечение к запретному плоду,— пробасила Побияхо.

— Словом, притащили проектор, и вот сидим, ломаем головы, что это такое перед нами на экране. Какие-то червяки... Стефан Игнатьевич говорит, что хромосомы... Шевелятся, понимаешь... Жаль, думаем, Федора Иваныча нет, он бы нам разъяснил...

— А сопровождающее письмо было?— поинтересовался Федор Иванович, подходя к столу.

— Есть и сопроводиловка...— Варичев подвинул к нему несколько сколотых листов.

— Между прочим, номер с двумя нулями,— заметил Федор Иванович, читая сопроводительное отношение.— Как же это она... Распечатать такой конверт... Бумага особо секретная...

— Да, такая вот бумага...— Варичев лениво отвел глаза в сторону.

По согласованию с академиком Рядно, «при сем», то есть при этом письме тов. Ф. И. Дежкину препро-

вождалось постановление о производстве научной экспертизы рулона с кинопленкой, изъятого в ходе предварительного следствия по делу преступной группы, оперировавшей в городе. Над заголовком «Постановление» было напечатано: «Утверждаю», и прямо по этому слову наискось круто вверх взбирался длинный зеленый зубчатый штрих, и с конца его на текст постановления свисал задорный изогнутый хвост. «Ассикритов»,— прочитал Федор Иванович полную значения надпись в скобках.

— Вы хотите просмотреть весь рулон?— спросил он, строго и прямо оглядывая всех сидящих в кабинете. При этом он слегка вытаращил глаза, как догматик, и потянул в себя воздух сквозь сжатые губы.

Все молчали.

— Это же мне адресовано. Если я распишусь в получении этого разорванного пакета, выйдет так, что данный просмотр организовал я, что я распространил среди вас...

— Мы все дали Петру Леонидычу честное слово...— рявкнула Побияхо, колыхнувшись. Варичев посмотрел на нее с усмешкой и покачал головой.

— Раз я, как главное отвечающее лицо, оказался втянутым в эту историю, придется кому-то об этом сказать?— Федор Иванович все еще слегка таращил глаза. Он много раз за свою жизнь видел такие вытаращенные от страха глаза, изображающие неискреннюю сознательность. Ему легко было вспомнить и повторить знакомое выражение лица.

Все сидели как прибитые. Только Посошков тонко и грустно улыбался в сторону, рассматривая пальцы на изящной и сухой руке.

— А если не скажу... Если не скажу, получится, что прикрываю? Тем более, в настоящий момент, когда привлечено такое пристальное внимание. Когда ведется следствие... Прямо не знаю, что и делать. Я откровенно вам скажу — мне не хотелось бы оказаться на месте Стригалева, как вы его тогда... Как мы с вами его на собрании... Возьмете вы это дело на себя, Петр Леонидович?

— Пока действует принесенная присутствующими присяга, ничего страшного нет,— сказал Варичев не очень уверенно.

— Петр Леонидович, необходимость взять на себя

появится как раз тогда, когда кто-нибудь не выдержит и, разумеется, соблюдая необходимый такт...

— Какой уж тут такт,— Варичев, невесело усмехаясь, оглядел всех, задержал взгляд на неподвижном, окостеневшем Вонлярлярском.— Если кто из нас бросится опережать события, тут уж будет не до такта... Видите ли, Федор Иванович, мы все здесь — люди проверенные. В том смысле, что все — люди в возрасте, семейные... И до известной степени тертые. Сработались. Зря шум никто поднимать не стал бы. Привычный тонус жизни кто захочет ломать? Но вот эта промашка с пакетом... Эта секретность... Ваши резонные слова... Тут ситуация существенно меняется. Появляется элемент непредсказуемости...

— Надо нам вместе подумать... Я полагаю, мы сможем вернуть ситуацию в безопасные рамки,— Федор Иванович перестал таращиться и улыбнулся.— Мы ее спокойно вернем в русло. Я никогда не сел бы писать такое экспертное заключение в одиночку, не посоветовавшись со старшими коллегами... Которых хорошо и давно знает академик Рядно.

Все вздохнули, зашевелились.

— И, кроме того, надо посмотреть сам фильм. Если в нем и есть что-нибудь, представляющее опасность, мы должны, сохраняя равновесие...

— Башковитый мужик,— негромко пробасила Побияхо.

Все закивали. Посошков улыбнулся еще тоньше.

— Состав присутствующих, я вижу, примерно такой, каким бы мне и хотелось видеть... Если бы инициатива принадлежала мне. Словом, давайте продолжим просмотр. Я доложу вам кое-что по ходу. И затем попрошу помочь мне в формулировании объективной точки зрения. Поскольку я сам первый раз в жизни, волей обстоятельств, подведен к необходимости...

— Ну ты, Федор Иваныч, и дипломат же!— раскатилась рыком повеселевшая Побияхо.

— Давайте, пожалуйста, фильм,— деловито приказал Федор Иванович.

— Сначала, сначала!— ожили голоса.

— Давайте сначала. Перемотайте, пожалуйста...

Пленку перемотали, свет погас, и на экране задрожали первые кадры. Федор Иванович хорошо помнил лекцию Стригалева.

— Перед нами клетка...— начал он.— По-моему, чеснок. Аллиум сативум. Здесь мы видим то же, что и на учебных препаратах. Только клетка живая, окрашивать ее нельзя. Снимали без окраски... Видимо, манипулировали светом...

Началось деление клетки. Как только цикл закончился, все зашумели.

— Невероятно!— прошептал кто-то.

— Почему?— скромно спросил Посошков.

Потребовали остановить аппарат и показать деление еще раз. В молчании смотрели несколько минут, потом заспорили еще жарче.

— Чистая туфта!— бас Анны Богумиловны подавил все голоса.— Тише, сейчас нам Федор Иваныч скажет... Останови, останови аппарат!

Зажгли свет. Побагровевшая Побияхо подалась вперед.

— Скажи, Федор Иванович, я верю только тебе. Это фальшивка?

— Я так же знаю это, как и вы. Пожалуйста, говорите.

— По-моему, фальшивка. Чистой воды туфта.

— Только, пожалуйста, Анна Богумиловна, аргументируйте. Конечно, лагерное слово «туфта» там поймут, но мы же ученые! Мне же заключение писать. Хоть подпись и будет моя, это наше общее дело.

— Правда, я видела когда-то в Москве в одной лаборатории, как снимали развитие зародыша в курином яйце. Засняли, как бьется сердце... Но весь процесс деления клетки, чтоб так четко... Такого не может быть. Обман.— Побияхо даже отвернулась.

— Позвольте,— Варичев налег на стол, поднял два толстых пальца и, соединив их в щепоть, показал:— Это же, Федор Иванович, вот какая структура. Это же микро... микроструктура! Что-то не верится.

— Почему?— спокойно проговорил Федор Иванович.— Техника микрофильмирования ушла сейчас далеко. Этим занимались еще до войны. Между прочим, в подвале нашего факультетского корпуса стоит трофейный аппарат «Сименс». На нем можно делать такие штуки. Я не уверен, что сразу получится, тут вся сложность в том, чтобы получить культуру клетки. Выделить живую. И среду надо подобрать. Сразу не выйдет, но в принципе...

— А как вы поместите клетку под объектив?— спросил Вонлярлярский не без превосходства.— Как она будет там, *ин витро,* отправлять свои функции? Должен же быть непрерывный обмен!

— Вот-вот. Именно!— сказал кто-то.

— Да, да,— негромко подтвердили несколько человек.

— Все дело в составе среды и в культуре,— проговорил Федор Иванович.— Вы должны знать эту технику, Стефан Игнатьевич. На предметное стекло кладете два стеклянных капилляра. На них покровное стекло. Закрепляете по углам капельками воска. Под стекло пипеткой пускаете ваш раствор. С другой стороны подтягиваете жидкость фильтровальной бумажкой. Создается непрерывный ток. Вот только жидкость эту — с нею нужны эксперименты. И, конечно, сама культура — это тонкое дело.

— А ведь точно, там, в подвале, стоит эта трофейная бандура,— сказал кто-то из профессоров.— Пылится. Я все думал, что это сверлильный станок.

— Давайте еще раз посмотрим!— подал голос московский доцент.

Свет погас, и на экране опять зашевелились серо-голубые прозрачные пальцы. Почти весь экран заняла одна гигантская клетка с двойным набором хромосом. Побияхо сразу заметила непорядок.

— Федор Иванович, что это она? Вот опять... Что это?

— Экспериментатор взял пипеткой слабый раствор колхицина и пустил под стекло. Самую малость...

— Вот, вот! — заревела Побияхо радостно.— Во-от, хо-хо! Начинается вейсманизм-морганизм! Теперь все понятно. Во-от! О!

Ее поддержали еще несколько голосов.

Клетки на экране отчетливо удваивались, одна за другой. Потом стали распадаться. Мелькнул какой-то иностранный текст, и аппарат остановился. Вспыхнул свет.

— Да-а! — сказала Побияхо, оглядывая всех.— Пиши, Федор Иваныч. Вражеская стряпня!

— Вы, Анна Богумиловна, в данную минуту говорите не как ученый,— отчетливо послышался сквозь шум немного надтреснутый голос академика Посошкова.— Разве вейсманизм-морганизм может быть заснят на

пленку? Это — ложное учение, коренящееся в головах буржуазных схоластов. Оно может быть изложено в тексте, в комментариях к кадрам. А здесь таких комментариев нет. Перед нами удачно снятая делящаяся клетка чеснока. Сначала делилась нормально, потом попала под действие колхицинового раствора. И чеснок, и безвременник, из которого получают колхицин, существуют в природе, ваши обвинения к ним адресовать нельзя. И встреча одного с другим в природных условиях не исключена.

— Но колхицин!

— Это алкалоид. Его получают из луковиц безвременника. То есть колхикума. Как никотин из табака. Эксперименты с колхицином могут ставить и противники вейсманизма-морганизма...

— Если найдутся такие храбрецы...— сказал кто-то под общий смех.

— Могут ставить такие эксперименты... Чтобы разоблачить это лжеучение. Так что само по себе удвоение хромосом в клетке, попавшее на этот экран, не может рассматриваться как вейсманизм. Мы должны все познать. И не бояться.

— Но есть очередность в познании даже фактов, существующих в природе,— это Варичев, опомнившись, уже издалека почуял душок в словах Посошкова. Показав свою твердость, он стал набирать силу. Все его картофельные глазки растеклись и заулыбались. — Тут я вам, Светозар Алексеевич, должен возразить. До-олжен, ничего не поделаешь. В вейсманизме-морганизме есть, друзья, одна такая частность: это лжеучение использует несущественные факты, чтобы отвлечь внимание прогрессивной науки от решения задач, диктуемых современностью.

— Простите, несогласен. Как это мы можем делить факты на существенные и несущественные? Да, именно факты, которые вчера казались мелочью, сегодня, по мере их познания, становятся в центре науки и практики.

— Извините, Светозар Алексеевич, — Варичев поднялся и, улыбаясь, зарычал. — Мы должны помнить, что и в науке проходит линия фронта, что существуют передний край и тыл. Скажите, какой объект сегодня важнее для изучения — корова или мушка-дрозофила? Мушка тоже дитя природы, и она не предполагала, что

ей так повезет. Что вейсманизм-морганизм поместит ее на своем знамени...

— Корова за год дает одно поколение, а мушка двадцать с лишним. Поэтому мушка может быть использована как крайне удобное средство для изучения того, что станется с наследственностью коровы через две тысячи лет. Законы наследственности одни и те же и для коровы, и для мушки. Вот почему мушку нельзя противопоставлять корове. Но я должен здесь остановиться, Петр Леонидович,— Посошков сбавил тон.— Вопрос вами поставлен принципиально, как и следует ставить вопросы... Любой из нас скажет, что, да, эксперимент с чесноком и колхицином, хоть и красивый, все же ничто по сравнению с вашим, Анна Богумиловна, хлебушком.

Тут послышалось сразу несколько голосов, и можно было понять, что говорят о некоем облучении семян пшеницы гамма-лучами.

— Ладно, Петр Леонидыч, здесь все свои,— проговорила Побияхо упавшим голосом. — Облучение было. Хоть факт и второстепенный, я не отрицаю. Но, твердо стоя на своих позициях, я очень хотела бы понять, как все это получилось: поместили мои семена в какой-то гроб, где у них радиоактивность была, подержали несколько секунд — и пожалуйста! Ты бы посмотрел, когда она взошла, — сколько возникло самых немыслимых вариантов! Тебя еще тогда не было у нас, Петр Леонидыч. И вот там-то, на той именно делянке я отобрала свою, как говорит Ходеряхин, пашеничку. Молодая была, послушалась, дала облучить. Но ведь результат, товарищи... О нем старались не говорить, но он налицо...

— Я вижу, вы готовы капитулировать, Анна Богумиловна, — сказал Варичев.

— Не-е! Нет! И не подумаю. Я — баба боевая. Но знать бы не мешало. Как оно получается. В клетку заглянуть...

— Если цель достигнута, незачем возвращаться, вникать в дебри процесса. Тем более, если процесс может быть использован в других целях... Увлечешься процессом, Анна Богумиловна,— забудешь о цели. Знаете, кто говорил: «Движение — все, цель — ничто?»

— Товарищи! — Федор Иванович укоризненно взглянул на Варичева. — Товарищи, я должен все же попро-

сить вас вернуться к задаче этого обсуждения. Эту стихийно возникшую, но глубоко принципиальную дискуссию можно перенести в другое место и продолжить не без пользы. А сейчас излишняя острота нам может помешать. Мы уже вышли за рамки цели этого коротенького фильма. Я начинаю, Петр Леонидович, жалеть... Чувствую, что пакет был распечатан зря... И что, пока не поздно, мне придется...

— Ну почему же...— Варичев сразу остыл, опустился в кресло.— Вы, Анна Богумиловна, совсем не к месту заварили здесь... Заговорили об этом облучении. Конечно, фильм сам по себе, кроме хорошей техники съемки, мало что дает науке. Деление, не будем отрицать, показано мастерски... Но все это уже известно. Фильм, в общем-то, для первокурсников. А что касается колхицина, что же... Мы тут видим действие этого, опять же известного в фармакопее яда. Пропаганды тут никакой нет. Конечно, можно использовать... Но можно и не использовать — это зависит от аудитории и от демонстратора...

Все закивали, успокаиваясь. Федор Иванович четко повторил слова ректора, уже как выводы экспертизы. Варичев, внимательно слушая его, кивал и пристукивал пальцем по столу после каждого тезиса. И все кивали.

Потом наступило особенное молчание. Никто не хотел уходить.

— Знаете что, ребята...— сказала Побияхо, зардевшись.— Давайте еще разок посмотрим. С самого начала...

Экспертное заключение, написанное объективным тоном неподкупного специалиста, было отпечатано на машинке и отослано в шестьдесят второй дом. Все эти дни не выпадало дождей, и Федор Иванович по вечерам ходил на усадьбу Ивана Ильича — таскал ведрами воду из ручья и сливал ее в железные бочки, стоявшие по углам картофельного огорода. За шесть вечеров налил доверху восемь бочек. Ни огород, ни георгины на альпийской горке еще не поливал — влаги в земле пока было достаточно. Поднимаясь с двумя полными ведрами от ручья, по глинистой изрытой крутизне среди кустов ежевики, оглядывался по сторонам —

ему все казалось, что в слабых сумерках кто-то следит за ним. Тоскливо постукивали ветрячки. «Я имею право сюда ходить,— думал он и тревожно оглядывался, но сохранял деловой вид.— Я — правая рука академика, мне поручено „наследство", пусть попробуют придраться».

В понедельник — это было четырнадцатое мая — ему позвонила Раечка из ректората. Его ждал конверт из шестьдесят второго дома. Эксперта приглашали на пятнадцатое.

Утром пятнадцатого он вымыл голову и, причесавшись, завязал розоватый галстук на чистом твердом воротничке сорочки. Надев «сэра Пэрси» и посмотрев на себя в зеркало — прямо и искоса,— он отправился на Заводскую улицу. Он знал, что в подобных случаях надо быть одетым безукоризненно. Все было бы хорошо, но кровоподтек под глазом был в самом расцвете — стал почти черным, и его окружало желтое сияние.

По дороге размышлял, двигал бровью. Он хорошо понимал,— ролик с фильмом у них — главное доказательство, и это доказательство надо было обязательно лишить силы.

Пропуск был уже готов. Федор Иванович вошел через третий подъезд, миновал прилавок с часовым, затем поднялся на второй этаж, попал в знакомый полутемный извивающийся дугами коридор. Оглядываясь на эти плавно выгнутые стены, прошел мимо высокой двери с номером 441 на табличке. Несмело протянул руку к двери 446. За нею была светлая приемная с зелеными диванами. Молодой молчаливый военный взял его пропуск и открыл перед ним кожаную дверь. За нею была еще одна такая же дверь, похожая на спинку мягкого кожаного кресла, и открылся просторный зал с большим розовым ковром в центре, а вдали — большой письменный стол. С интересом разглядывая этот зал, Федор Иванович не сразу понял, что это кабинет. Потом увидел поднявшуюся над письменным столом знакомую очень высокую синевато-черную шевелюру невиданной плотности и густоты. Генерал — в суконной гимнастерке и ремнях, в синих галифе, невысокий, тонконогий, изящный, как стрекоза, вышел к нему из-за стола. С первых же шагов он начал изучать лицо приглашенного эксперта. Попутно подал слабую руку, а сам изучал, изучал. Во время вялого, неуверен-

ного рукопожатия от генерала повеяло чем-то мягким, приятным. Когда-то некая дама, жена штабного офицера разъяснила Федору Ивановичу первые и верные признаки настоящего мужчины: от него должно пахнуть — чуть-чуть хорошим табаком, чуть-чуть хорошими духами и чуть-чуть хорошим вином. Всем этим и попахивало слегка от бритого, словно бы переставшего дышать от внутреннего напряжения, скрипящего ремнями генерала Ассикритова.

— Что это у вас... товарищ эксперт? — спросил генерал, остановив сияющий взгляд на темно-лиловом желваке под глазом Федора Ивановича, подведенном тающей желтизной. — Заклеили бы. Могу вызвать медсестру...

— Боевая рана. Получена на посту, который доверен мне Кассианом Дамиановичем. Таких травм стесняться не приходится.

И они оба оскалились, беззвучно смеясь и не спуская друг с друга глаз. Сели в глубокие кресла друг против друга. Тоненький генерал занял лишь треть места в большом кресле, и это позволило ему косо раскинуться и ловко перебросить одну тонкую ногу через другую и положить руку на глянцевое голенище. Огромная шевелюра все время приковывала внимание, возвышалась над его страстной и загадочной худобой.

— Ну, какие у вас дела на фронте борьбы, товарищ завлабораторией? — спросил он.— Как там с наследством? Ничего не упустили?

— Кое-что упущено,— сказал Федор Иванович.

— А что такое? — генерал выпрямился озабоченно.

— При обыске много пакетов с семенами попорчено и исчезло. Кассиан Дамианович был огорчен.

— Значит, что же получается — хоть и вредное учение, а ценности производит?

Федор Иванович счел нужным при этих словах измениться в лице и недоуменно посмотреть на генерала.

— Материальные ценности не утрачивают своей цены от перемены хозяина,— сказал он холодно и чуть с гневом. «Правая рука» была на страже позиций академика.

— Бывают упущения поважнее,— устало сказал генерал. — Вам академик говорил?

— Говорил. Какая-то, видно, сволочь предупредила. Между прочим, из знающих.

— Скоро подберем обоих. И того и другого. И сволочь подберем. Недолго им бегать.

И они замолчали. Генерал мял свое голенище, поглядывая на сидящего против него строгого, углубленного мыслителя. Потом коричневые веки его задрожали, он как бы прицелился.

— Федор Иванович,— вдруг заговорил он по-новому и притворно потянулся в кресле.— Нам известно, что вы — непримиримый и знающий свое дело борец. Поэтому несколько удивляет расплывчатость вашего заключения. Правая рука академика, а где же на ней, хе-хе, когти? Где стальная мускулатура?

— На то она и правая, чтобы не бить мимо цели. Я привлечен в качестве эксперта. В этом качестве я не имею права давать ход эмоциям.

— Хм-м... Новая концепция экспертизы?

— Я знаю, что я действительно тот, кем меня должен был представить вам академик. И дорожу авторитетом, который помогает делу. Если я ударю, опровергнуть меня будет нелегко. Так, по крайней мере, было до сих пор. Вы же знаете, это я поднял всю историю с Троллейбусом...

— Это нам известно.

— Зачем же мне, ученому, который хочет быть полезным, сбиваться на путь выискивания мелких ошибок и приписывания мелочам не присущего им значения? На путь пустых придирок...

— Простите, что вы называете пустыми придирками? — ночь под бровями генерала несколько раз вспыхнула зарницами.

— Я дал объективное и неопровержимое заключение, и только так можно бороться с серьезным врагом. Враг будет только смеяться, если в простом студенческом фильме о делении клеток мы начнем искать опору чуждого мировоззрения. Оптические приборы, реактивы... Процесс преломляется линзами, фиксируется на пленке. Протекает вне нашего сознания,— Федор Иванович говорил мерно, словно диктуя генералу слова.

— Но там же тексты, тексты!

— Мы смотрели...

— Простите, кто это мы?

— Я подключил самых надежных сотрудников. Петра Леонидовича Варичева, Анну Богумиловну Побияхо. Задействовал этого, нового доцента из Москвы. Еще

несколько человек из надежных. Мы собрались и несколько раз просмотрели фильм. В текстах только научные термины и дозировка веществ в растворах. Ни одного вывода. Типичное пособие для преподавания. Главное слово оставлено комментирующему профессору. Все зависит от того, кто будет интерпретатор.

— Но этим интерпретатором может быть враг!

— Согласен. Мы в экспертизе говорим не об интерпретаторе, который к фильму не приложен... А о том, что дано. Фильм это средство. И как таковое он индифферентен. Безразличен.

— Значит, все в цели? Это вы хотите сказать? Цель оправдывает средства?

— Нет. Не хочу этого сказать. Средства настолько индифферентны, что им плевать и на цель и на оправдание. Ведь вам не придет в голову обвинить руку, скажем, в хищении! Голова всему голова. Средство не тот объект, чтобы его оправдывать. Или обвинять. Печати преступного умысла на этом средстве нет. Как только появится печать умысла — тут и хватайте преступника. Это уже будет не средство, а преступное действие. Пленка попала к вам, и вы, товарищ генерал, стремитесь ее использовать как средство. В целях нашей общей борьбы — я сужу по вашим вопросам в постановлении. А пленка и тут, и в нашу сторону, тоже не хочет гнуться! Ни в сторону мичуринцев, ни в сторону вейсманистов-морганистов. Хочу, говорит, быть сама по себе, вне вашей драки. Одно слово — индифферентна. Наш фильм отражает процесс, происходящий ежесекундно во всем живом мире. И в вашем теле, товарищ генерал. Деление живых клеток и зависимость этого процесса от условий обитания. Подтасовок здесь нет, все чисто, заявляю уверенно, как эксперт. Зачем фильм оказался у них, в этом...

— В этом кубле, — подсказал генерал.

— Да, зачем он оказался у них, что с ним хотели делать — если вы располагаете данными, как вы сказали, вот это и выясняйте. Это задача следствия. Кубло — это, между прочим, термин академика. Бессмертный термин.

— Да, знаю. У нас бывали беседы с Кассианом Дамиановичем, не одна. Приходится встречаться. Глубокий ученый. Глубоко берет.

— Фильм этот, безусловно, является выдающимся

достижением техники микрофильмирования. Обычно мы рассматриваем в микроскоп клетку уже убитую эфиром и окрашенную. В таком виде, как здесь, хромосомы я наблюдал впервые.

Федор Иванович сказал это, чтобы проверить информированность генерала о нем. И генерал сейчас же отреагировал.

— Мы располагаем данными, что вы видите эти хромосомы вторично,— сказал он вскользь. Федор Иванович заметил про себя его профессиональную страсть — показывать на мелочах, что он знает всю его подноготную.

— Эти данные неточны, — сказал он, показывая Ассикритову, что участвует в более высокой и ответственной игре. — Если вам нужны точные данные на этот счет, их даст вам академик Рядно.

Генерал встал с кресла и некоторое время таинственно смотрел на Федора Ивановича, и при этом можно было подумать, что он сгорает от чахотки. Потом он прошелся по кабинету и остановился где-то за спиной невозмутимого эксперта. Через минуту Федор Иванович обернулся и встретил его огненный взгляд — генерал пристально смотрел, оказывается, ему в затылок. «Что это он?» — подумал Федор Иванович. А генерал, прервав свое непонятное исследование, обошел стол, уперся рукой в лежавшее там заключение эксперта и принялся читать. Текст этот, видимо, уже не в первый раз, привел его в бешенство. Он ударил маленьким кулачком по бумаге и тут же взял себя в руки. Блеснув черными глазами, подался к Федору Ивановичу.

— Беззубое заключение! Беззубое! Дорога ложка к обеду. Враг забросил нам это «средство» как раз, когда ему нужно, когда у нас идеологическая борьба!

— Не считаю разговоры о клетке, о том, как расположены ее структуры и как они функционируют, идеологической борьбой,— сказал Федор Иванович.— Все, о чем вы говорите, задача не экспертизы, а следствия.

— У нас есть данные, что вы с некоторого времени стали сочувствовать лженауке.

— Я думаю, что эти данные слабенькие,— сказал Федор Иванович, смеясь.

— Вы почему смеетесь?

— Я нахожу, что сейчас как раз самое время нам обоим рассмеяться. Данные у вас слабые, иначе вы не

поручили бы мне работу. Не стоит верить этим данным. Ненадежные данные.

— Надо не верить, а знать,— так любите вы говорить? Да, надо знать... И мы все будем знать.

— Не сомневаюсь. Судьба истины — быть познанной,— сказал Федор Иванович, соглашаясь.

— Ну хорошо,— генерал сел на полированный угол стола и оттуда, качая ногой в сапоге, продолжал свое неуклонное и непонятное наблюдение за лицом эксперта.— Хорошо. Разве этот фильм не доказывает... Разве это не попытка доказать, что все — в наследственном веществе?

— Фильм, снятый с живого объекта, всегда и несомненно доказывает, что прав материализм: все — в веществе.

Генерал, сверкнув глазами, спрыгнул с угла. Он обошел вокруг стола, наклоняясь и присматриваясь к Федору Ивановичу с разных позиций, как будто играл в бильярд. Не отводя глаз, попятился, вернулся к креслу за столом, сел и налег грудью на бумаги.

— Хорошо, скажу так: разве не доказывает это, что путем манипуляций с веществами можно изменить наследственность?

— Это было бы именно таким несомненным доказательством, если бы их теория была верна...

Генерал озадаченно опустил голову, вникая в эти слова.

— Чья теория?

— Тех, кто в кубле.

«Я тебя сейчас подведу к одной мыслишке»,— подумал Федор Иванович.

— Так теория же неверна! — Генерал побежал вокруг стола и чуть не упал. Навис где-то сзади над Федором Ивановичем.

— Тогда этот факт опровергает ее.

— Ничего не понимаю... Ну, а если бы была верна?

— Я уже сказал, это было бы для нее неопровержимое доказательство.

— Запутали вы меня. Что раньше? Факт? Или вывод из него?

— Вы это сами знаете,— внятно сказал Федор Иванович, сидя к генералу спиной.— Но, поскольку я нахожусь в этом доме, я должен добавить: смотря о чем идет речь. В большинстве случаев вывод следует за

фактом. В простой науке, вне этих стен... Но есть, вы знаете, случаи...

— Так запишите это в акте экспертизы!

— Не могу. Это не из области науки. Это — дело правосознания.

— Да, да...— сказал генерал рассеянно. Он принялся ходить по кабинету. Иногда вдруг останавливался, принимая странные позы, и все время взглядывал на Федора Ивановича, но сейчас же отводил глаза. После нескольких таких перемещений, как бы мельком, проговорил:

— Я вас понял. Дошло наконец. А как же с ответственностью?

— Н-не знаю,— сказал Федор Иванович.

— Чья же будет ответственность? Кто будет отвечать за ошибку правосознания?

— У правосознания не бывает ошибок,— строго сказал Федор Иванович, наблюдая за генералом.— Ошибки могут быть только у науки. Даже если их нет...

— Опять что-то говорите... А все же, если правосознание ошибается?

— Оно не может ошибаться. Оно меняется. А за прошлое с него никто не спросит.

— Пожалуй... Но у нас особый случай. Нам сейчас нужны знания.

— Я не уверен, нужны ли...— Федор Иванович тут же понял, что этих слов он не произнес. Вместо этого он, помедлив, сказал: — Экспертиза и дает их вам. Если случай особый, их иногда... можно отбросить...

— А отвечать?

— Я же сказал...

— А перед совестью?

— Что такое совесть? В определенных условиях она должна одобрять...

— Что одобрять?

— Действия того лица... которое решает, тот ли это случай, чтоб отбросить знания. Или не тот.

— К чему вы мне все это говорите? — вдруг закричал генерал с бешенством.

— Говорю для обоснования своей позиции научного эксперта. И о границах применения науки...

— Это объективизм у вас, а не позиция! Такой, как ваш, акт экспертизы нельзя положить в основу решения!

— Значит, я прав! Все-таки, сначала появился вывод, а потом к нему вам понадобилось добыть подтверждающий факт! — сказал Федор Иванович с некоторым торжеством. И сейчас же с облегчением сообразил, что и это он высказал только в уме. Вовремя остановился. «Суеверие и глупость»,— думал он, зорко наблюдая генерала. Но не спешил выдавать ему эту свою точку зрения. Потому что суеверие и глупость, облаченные в сукно и скрипящие ремнями, и чуть пахнущие хорошим табаком, духами и вином, — они командовали здесь, и Федор Иванович не видел пределов их власти.

Теперь генерал в молчании ходил по кабинету, и отдельно бродили его углистые глаза. Пожимал узкими плечами.

— Ч-черт знает что... — с ненавистью бормотал он в сторону. — Советский ученый! Ин-тер-ресно! У него под носом, под носом орудуют враги... Готовятся... Ожидают своего часа... Все полетит кувырком, настоящих профессоров тю-тю, везде будут сплошные воспитанники академика Рядно, в науке окажется полный вакуум... Потом это кончится... А мы и объявимся, тут как тут... Десять человек, каждому группу по сорок студентов, получится четыреста специалистов... Слышали вы о такой вражеской арифметике?

— Не слышал, но это все понятно... Арифметика здесь не вражеская. Если отбросить некоторые выражения в адрес академика... недопустимые... Я даже могу с вами поспорить по этому вопросу на стороне истины, — сказал Федор Иванович. — Эти люди... Даже, по вашему пересказу их слов, видно, что они очень молоды... Видимо, студенты. Они разумели под этим не конец советской власти, а всего-навсего...

Генерал усмехнулся.

— Всего-навсего учение Мичурина — Лысенко? Теорию академика Рядно? Всего-навсего!

— Даже не это. Они имели в виду, по своей неопытности... Конец запрета на учебные занятия с клеточными структурами. Они не без основания считали, что может образоваться брешь в знаниях.

— Конец марксистского учения, вот что они имели в виду! — закричал Ассикритов, затрепетав. — Цветущую ветвь советской науки! Учение наших корифеев — вот на что они замахнулись. Вейсмана хотят нам просунуть с монахом Менделем! Мальтуса! Вы, Федор Иванович,

вызываете у меня удивление. Удивление вызываете. Знаете, как называется то, что вы мне говорите? Дема-го-гия! Вы попробуйте, скажите все эти штучки про ваших студентов академику. У него эта адвокатура не пройдет. Как, впрочем, и у нас.

— Есть простые вещи, которые могут быть по-деловому обсуждены в среде знающих людей. Нет оснований переводить их в идеологическую плоскость...

— Да это же спор между двумя системами! В восемнадцатом году эсеры выкатывали против советской власти пушки. Сегодня враг взял на вооружение вейсманизм-морганизм. Он горячо приветствовал бы вашу экспертизу. Вот так, товарищ... товарищ правая рука. До свидания. Нам с вами обоим все ясно. Вам ясно? Мне — более чем ясно.

Больше они не произнесли ни слова. Вдали открылась дверь, молодой военный отворил ее пошире и стоял, как бы собираясь принять Федора Ивановича в объятия. Поклонившись, эксперт вышел стройным независимым шагом. Генерал стоял посреди кабинета и, содрогаясь, смотрел ему вслед.

«Нет, мне удалось, удалось лишить это искусственное доказательство его силы, и я сумел растолковать генералу, что никакой ведьмы в черной собачке нет»,—так думал Федор Иванович, шагая по веселой майской улице. На стриженых деревьях мельтешила свежая, совсем юная листва, ветер был теплый, сильно пахло смолой тополей. «Но расставаться с придуманной ведьмой генералу не хочется,— бежали мысли дальше.— Нет, он не расстанется со своей мечтой раскрыть хоть раз в жизни настоящий заговор. Фильм с иностранным текстом... Так хорошо провели операцию, нашли рулончик — где! — на вокзале, под курточкой у собравшегося укатить в поезде члена тайной группы. Прямо как в кино! Нет, он любит групповые дела, он не расстанется с такой интересной ведьмой. И академик будет его подогревать изо всех сил. Но мне удалось сделать свое дело, бросить четкий луч научной ясности на это их главное доказательство, и генерал все увидел. Он все увидел, потому и бегал так вокруг стола — ведьму было жалко упускать из рук. Он почешется еще дома, подумает, на что идет. Хоть сейчас это вроде и в порядке

вещей... Но настоящая оценка еще придет, и он это знает. Оба примутся теперь срочно спасать свою ведьму, и тут уже не будет места заблуждениям. Впрочем, у Касьяна их и не было никогда. Никогда не было их у моего батьки...»

Так, остро и тягостно задумавшись, он незаметно дошел до учхоза, и там, в оранжерее, до самого вечера что-то делал, переставлял какие-то горшки с растениями, отвечал на какие-то вопросы. Уже переплеты оранжереи порозовели, и стекла заиграли на закатном солнце, уже и погасли, и бледно вспыхнули палки дневного света. Он сам не заметил, как остался в оранжерее один, и уже в одиннадцатом часу, все так же тягостно думая и вопрошая перед собой пустоту — о том, как развернутся события в будущем,— побрел домой через парк в быстро темнеющих сумерках подступающего лета.

Странные свойства души! Еще на крыльце он почувствовал неясный гнет. Может быть, его внимание еще издалека задержалось на миг на неясном сгустке, напоминающем человеческую фигуру. Эта тень, похоже, протекла в полумраке в его подъезд и оставила слабую бороздку в сознании. Если так, то, взявшись за ручку двери, он вдруг ее и ощутил — эту бороздку, и даже замедлил движение. В темном коридоре почему-то не горела лампочка. Пусть загорится! Он повел по стене рукой, ища выключатель, но, видимо, забыл, где находится эта штука. Рука, скользнув по пыльной стене, оборвалась в нишу и уперлась там в грубоватый нетолстый брезент. А под брезентом подалось живое тело.

— Здесь кто-нибудь есть? — спросил Федор Иванович, отпрянув.

— Есть, есть, — ответил в нише приглушенный, тихо резонирующий басок Ивана Ильича.

— Сейчас... — шепнул Федор Иванович. Прошел к своей двери, быстро отпер ее, распахнул внутрь темной комнаты, в глубине которой чуть светился синий прямоугольник окна, перечеркнутый тонким крестом переплета.

— Свет не будем зажигать? — негромко спросил Стригалев.

— Почему? Зажжем! На окне у меня занавеска. Сейчас я ее... Вы садитесь сюда, в угол, на мою койку. Дверь запрем...

— Я ведь к вам до утра, Федор Иванович... До завтрашнего вечера.

— Мы можем вас здесь приютить и до следующей весны. Ко мне никто не ходит.

— Ну вот, я уже в углу. Можно зажигать.

Федор Иванович щелкнул выключателем, вспыхнула ярко-желтая лампочка, окно за казенной шелковой занавеской сразу потемнело. Хозяин в три шага обежал по комнате круг, поспешно собирая в одно место на стол предметы, оставленные утром где попало. Он сразу нашел электрический чайник, початый батон хлеба, пачку сахара, банку с маслом, залитым водой.

— Масло — это хорошо,— сказал Иван Ильич с койки, из самого темного места. — Дайте мне кусочек. Нет, только кусочек.

Бедняга, он был голоден и давно не глотал своих сливок.

— Сливки будут утром, — сказал Федор Иванович.— Молоко, может быть, раздобуду сейчас.

— Вы сейчас мне кашку сварите.

— А картофельное пюре? Можно?

— Давайте пюре.

— Кашку тоже сварим. Позднее. Сейчас почистим и поставим картошку.

Федор Иванович выволок из-под койки ящик с картошкой. Достал со дна шкафа алюминиевую кастрюлю, взял короткий нож. Картофелины одна за другой завертелись у него в руках, расставаясь со спиралями кожуры.

— Умеете чистить,— сказал Стригалев из полутьмы.

— Армия, армия...— был короткий ответ. Федор Иванович еще не пришел в себя от неожиданности. Но он заметил — Стригалев прилег на койке. Прилег и чуть слышно охнул.

Картошка уже стояла на плитке. Чайник был включен. Федор Иванович захлопотал около стола, нарезая батон.

— Батон черствый. По-моему, это хорошо,— сказал он.

— Дайте-ка мне крайний кусочек. Первый. Ладно, давайте прервем дела,— Стригалев опять сидел на койке, выдвинулся на свет, и Федор Иванович вздрогнул, увидев его усталую худобу и решимость. Он как будто собрался грозить небу. Стригалев на миг усмехнулся

вызывающе, но вызов тут же погас.— Здравствуйте, *Иван Ильич,*— сказал он, и Федор Иванович вздрогнул от неожиданности, но опомнился.— Здравствуйте, Иван Ильич,— теперь в улыбке Стригалева была надежда и проверка.— Правильно я вас назвал? Принимайте, Иван Ильич, своего двойника. Я надеюсь, за это время ничего у нас с вами не...

— Это слово здесь не годится — «надеюсь»,— сказал Федор Иванович, заглядывая под крышку кастрюли.— Оно годилось бы, если бы основания у вас были, может, и достоверные, но недостаточные. А они, по-моему...

— Да, да. Согласен. Не надеюсь, а знаю, Федор Иванович. Знаю. Потому и пришел. Потому что наступили обстоятельства, которые имелись в виду. Хоть нам и весело с вами было тогда... издали о них говорить. Вот видите — наступили. Нам нужно... Мне нужно передать вам ряд вещей. Через десять лет я опять перед той же ситуацией. На этот раз попробуем другой путь. В общем, нужно все перекачать от меня к вам. Будете теперь вы полным распорядителем.

— Я готов,— сказал Федор Иванович.

— Придется вечера два нам... Может, и три...

— Я готов. Можно будет и днем.

Они помолчали некоторое время, глядя друг другу в глаза. «Я люблю тебя, восхищаюсь!— кричал взгляд Федора Ивановича.— Никогда не предам, собой готов заслонить!» И ответная ласка струилась из бычьих глаз Стригалева, обведенных иконными кругами страданий. «Знаю, теперь знаю. Немножко колебался, теперь вижу — я правильно тебя выбрал,— говорили эти глаза.— Я тоже тебя люблю, мы братья, больше чем кровные,— мы двойники».

— Хотел пойти, понимаете... Сдаться,— заговорил он вдруг.— Чтобы вместе судьба с ребятами... Но картошки мои все лезут в голову...— складки недоумения собрались вокруг его губ.— Мог бы ведь сдаться! Уже далеко от опасности отошел. И смотрю — назад, к ребятам, тянет, мочи нет. На что мне жизнь такая? Друзья дороже. А вот не сдался. Значит, картошка дороже. Вы, как двойник, это поймете...

— Давно понял,— тихо сказал Федор Иванович. Стало слышно, как покряхтывает чайник.— А как вам удалось это, Иван Ильич?

— Это-то?— Стригалев показал пальцами свое бег-

ство, свои бегущие ноги.— Меня предупредили. Я был предупрежден одним... Одним великим человеком. Одним большевиком из двадцатых годов. Остальные тоже были предупреждены. Всем было вовремя сказано. С риском для жизни сказано. Он подал знак мне, а я — всем. Так они же не повернули! До последнего часа. Советские ребята, советское сознание! Касьян — это одно, это частность. А там, в шестьдесят втором, там же другие люди. Наши! Я и сам так когда-то... Может, потому и решился убечь, что Касьян со мной переговоры завел, глаза мне открыл. Вижу: надо быть наготове. А может, у ребят задачи такой не было, как у меня. У меня же задача какая. Потому и энергия нашлась. Для побега. Для этих ночей на земле...

— У Леночки была такая же задача. Как же она не...

— Не уберегли Леночку... Я ведь и к ней забегал. Так у ней же голова вся в тумане была из-за развода вашего. Дурацкого... Я ей сказал, как и мне было сказано... Что вы вне подозрений, что этот Бревешков... Говорю ей: Федор Иванович был прав. Этот альпинист наш — гадина, падаль грязная. Она так и села на стул. Рухнула. Потом вскочила, хотела бежать к вам. В халатике. А я взял да и остановил. На свою и на ее голову. И на вашу... Одевайтесь, говорю. Чемоданчик поскорей соберите — и не спеша к нему. А там уж подумаете вместе, что и как... Сказал и сам побежал по лестнице вниз. У меня же еще были адреса. Думаю, успею и свои дела. А во дворе уже «Победа» серая, за ней вторая въезжает. Ребятки молодые выходят, один к одному, красавцы. Я назад. Стукнул ей в дверь: идут! Бегите! И наверх. А там под чердаком коридор есть, соединяющий два подъезда. Переход. Могла бы и она...

Оба надолго замолчали. Чайник уже завел мирную извилистую песню. Потом Федор Иванович спросил:

— А вы тогда вот... Когда я ночью прибежал. По-моему, вы немножко испугались. Не того, кого надо, а меня.

— В общем, да. Колебался. Если бы приучил себя жить по вашей науке, если бы подчинился отдаленному голосу, он меня вывел бы из тумана. Он был у меня, этот голос. Вы были правы, наш альпинист оказался...

— И сам ведь сел...

— Ни минуты он не сидел! Ни минуты! Скоро на

работе появится. Данные точные. Готовьтесь принимать.

— Это вы хорошо мне сказали. Надо подготовиться.

— Надо. Он с первого дня включится в наблюдение.

Чайник ровно и громко шумел. Федор Иванович взял в шкафу пачку чая.

— Чувствуете, какой росток дала спящая почка?— сказал через плечо.— Какой росток!

— Больше, чем сама яблоня,— угрюмо согласился Стригалев. И добавил, покачав черной лохматой головой:— Я не имею права садиться в тюрьму. И вы тоже. Нельзя никак сорт им в руки. Это, Федор Иванович, главный пункт. В случае полного провала уничтожайте все. Недрогнувшей рукой. Решение принимать доверяю одному вам. В руках Касьяна это превратится в величайшее достижение его науки. И в оружие против хороших ребят. Он же вынет и покажет обещанные сорта! На них он еще десять лет продержится... От настоящей науки не останется и следа.

Наступила долгая пауза.

— Это же надо,— Стригалева даже подбросил горький смешок.— Двадцать лет! Двадцать лет продержаться на обещаниях и на цитатах из Маркса с Энгельсом. Я от него в восхищении!

Он ножом достал из банки кусочек масла и положил в рот. Кастрюля с картошкой дрожала на плитке, из-под крышки косо выбивался пар. Долив туда кипятку из чайника и добавив в чайник воды из крана, Федор Иванович оглядел все хозяйство и повернулся к Ивану Ильичу.

— Вы запритесь, а я к тете Поле выбегу,— сказал он.— Возьму у нее молочка и крупы. Потом откроете — я рукой по двери сверху вниз проведу.

Минут через десять он вернулся, неся манную крупу в стакане и бутылку молока. Провел в темноте рукой по своей двери сверху вниз. Подождав, провел еще раз, скребя ногтями. За дверью все так же было тихо. Ни звука в ответ. «Заснул»,— подумал он, покачав головой. Поставил стакан и бутылку на пол к стене и вышел на крыльцо. Долго стоял там, иногда покачивая головой, кивая своим мыслям. «Да,— думал он,— бедняга ты, мой двойничок, хлебнул за десятерых. Наследство твое придется строго охранять. Главный пункт звучит четко и не допускает полутонов. Если что — недрогнувшей рукой. Но это „если что“ не должно наступить. Впрочем,

это уже рассуждеиия. Они в пуикт ие входят. Пуикт касается только самого случая».

Постояв мннут двадцать, Федор Ивановнч вспомннл о картошке и бросился к своему желто светящемуся окну. Несколько раз остро ударил костяшками по стеклу. Потом пробежал в корндор, провел рукой по насторожившейся дверн. Замок тут же щелкнул. Иван Ильич, открыв, вернулся на койку. Ворочался, сопел — боролся со сном. В комнате сильио пахло вареиой картошкой.

— Не знаю, спать или картошку есть,— гудел Стригалев, зевая н мотая головой.— Этот запах можно сравннть только с запахом пекарнн. Когда хлебец свежнй вынут. Бабушка Елены Владимировиы говорила... Картошка любит, чтоб ее подавалн с раскипа. Пожалуй, поем,— ои стрельнул в сторону кастрюли внимательиым глазом:— Правильно, надо делать пюре.

Федор Иванович ложкой сосредоточенно толок разваренные картофелииы.

— Это какой сорт? Не «Мохавк»?— приговарнвал Иваи Ильич, следя за его работой, стараясь побольше говорить.— Вы возьмите из моего иаследства толкушку. Дубовая, вам отдаю. Будете картошку толочь. В кухне найдете, в печурке. Дайте-ка попробовать ложечку. Вроде «Мохавком» пахиет, а? И белизна... Н-да... Собствеиная картошка — это свобода прогресснвной мыслн. Сейчас ведь иет гумаиных врагов времен феодалнзма. Когда победитель обнимал капнтулировавшего, возвращал ему шпагу и, облобызав, сажал пнровать рядом с собой...

— Вы, между прочим, сиднте на части своего наследства,— сказал Федор Иваиович,— все пакеты с семеиами, что уцелелн,— под койкой, в мешке. И мнкротом...

— А микроскоп что же? Не нашли? А на чердак лазнлн? Загляните, там ои, в уголке. Все это теперь ваше. Сейчас поеднм, возьмете тетрадку и начну вам диктовать кое-что. Молоко — треть в картошку, треть в кашу, а треть мие в чай.

Федор Иванович прндвииулся к койке, н оин прииялнсь за ужнн. Стргалев был явно голоден, его рот жадио н быстро охватывал ложку. Но воля остаиавливала голодную хватку. Освободив ложку и любовно прислоннв к тарелке, он начииал долгое растираине и перемешнвание во рту и без того размятого и перемешан-

ного пюре. Осторожно пропускал по частям дальше. Запивал теплым чаем с молоком.

— Спасибо, двойничок!— ни с того ни с сего сказал вдруг, отправив в рот очередную ложку. И Федор Иванович увидел слезы в его глазах. И сам отвернулся, почувствовав теплый прилив. Наклонился, чтобы сама скатилась набежавшая влага. «Нервные оба стали...»— подумал.

— Вы что же...— бодреньким голосом сказал Стригалев, облизывая ложку.— Сложили наше с вами наследство здесь, под койкой, и успокоились? Он же доберется и сюда. Это вернейший, послушнейший пес Касьяна.

— Хороший собака. Как говорит ваш шеф,— вставил Федор Иванович.

— Хороший, послушный и злой собака. Кусачий. Касьян его ни на кого не променяет. И на вас, в том числе. Пожалуйста, не заблуждайтесь на этот счет. У вас еще, по-моему, не развеялись заблуждения. Лучше берите все наследство и под выходной, вечерком, везите в Москву. И там тоже раскиньте мозгами, куда пристроить. Спортсмен сейчас занят мною, поэтому у вас есть возможность. Не теряйте ее. Он выслеживает меня, охотится. Знает, собака, куда ходить. Ко мне на двор ходит. Лежку устроил, ждет. По-моему, видел уже меня. Только пока не трогает — хочет проследить, куда я «Солянум контумакс» спрятал. Волк хочет мяса, а бобру нужно плотину строить. Думается, он и от Касьяна не прочь эту вещь утаить.

— Почувствовали?

— Тут почувствуешь. Он же в позапрошлом году спер у меня во дворе несколько ягод. И в оранжерее горшок. Я «Контумакс» — в заначку, спрятал, а другой гибрид с похожими листьями выставил. Он и спер. А потом стал проговариваться загадочно. Мол, кажется, на основе лысенковской науки и касьяновой методики ему, наконец, удалось кое-что. Сначала болтал, потом начал тускнеть и замолк...

— И вы после этого простили его и даже приняли в кубло!

— Я бы и Касьяна принял, если бы он сумел так изобразить жажду истины.

Стригалев все еще подбирал в своей тарелке остатки пюре. Федор Иванович хотел добавить из кастрюли,

но гость, явно еще не насытившийся, остановил его.

— Часа через два я сам, с вашего разрешения. А сейчас еще чайку. С молочком. Так я говорю: когда еще не наступил этот рубеж... Еще в апреле, когда все ходили на свободе, он уже начал высматривать, что я делаю на своем огороде. Где землю рыхлю, что сажаю. Я не знал еще тогда, что это именно он. Как подойду к его лежке, к ежевике в конце огорода — сразу, как кабан, вдруг сорвется и с треском ломится наутек... Вниз по ручью. Уже сколько дорог в ежевике проложил. Как кабан. Я берусь за грабли и слышу в другом конце прутик — тресь! Вернулся, сволочь. Приходилось ночью работать. Ночью он ленится караулить, спать хочет. И сейчас прутики потрескивают. Ребята из шестьдесят второго давно бы схватили, увезли. А этот наблюдает. Еще не донес.

— Я его убью,— твердо сказал Федор Иванович.

— Не вздумайте! Не имеете права. Он уже и без вас... Привязан к судьбе. На него есть уже заявка. Надежная.

Стригалев подчистил тарелку, бережно отставил ее в сторону и посмотрел ей как бы вслед.

— Да... Так я подметил у него этот интерес. И, хоть и по ночам приходится, поливаю, как вы понимаете, не то, что ему хотелось бы. Пришлось ради маскировки много всякой всячины посадить. А то, что ценно, я прикрыл. Тоже двойниками, Федор Иванович. Та же тактика. «Контумакс», я его вам поручаю, вы найдете его в малом дворике. Там альпийская горка и георгины. Вы же ботаник, у «Контумакса», действительно, листья, как у георгина. А с удвоенными хромосомами — почти копия! Я его в горшки и прикопал там в камнях, среди георгин. Три горшка. Их тоже касается первый пункт. Пока не зацвели, не страшно. У него кремовый цветочек, маленький. Можно сразу опылить и через сутки оборвать венчик, чтоб в глаза не бросался. Это себе заметьте. Опыление — это будет пункт два. Он звучит так: потихоньку делать дело. «Контумакс» входит в этот, второй, пункт. Поливайте бдительно, не жалейте воду и на георгины. Я видел, вы все восемь бочек натаскали. Смотрел, и сердце радовалось. Мой двойничок поработал.

— Может, мы на сегодня кончим, Иван Ильич?..— осторожно спросил Федор Иванович.

— Нет. Доставайте чистую тетрадку, будем писать. Я оцарапан, Федор Иванович. Яд разливается по телу. Надо говорить и говорнть. Чтоб успеть, не забыть ничего. И писать. Берите тетрадку.

Через двое суток, когда толстая тетрадь почтн вся была заполнена записями, таблицамн и формулами сложного шифра и стала для Федора Ивановича сжатой программой работы на несколько лет вперед,— как раз часа в три ночн, под утро, продиктовав последнюю запись, Стригалев сжал обеими руками виски и задумался.

— Кажется, ничего не забыл. Кажется, все. Все, Федор Иванович.

И поднялся — уходить.

— У меня последний вопрос,— Федор Иванович удержал его за руку.— По нашей программе получается, что у нас задача только одна. Только сохраненне «наследства» н, может быть, небольшое продвижение вперед, по одной теме. С «Контумаксом»...

Стрнгалев опустился на койку. Молчал, ждал главных слов.

— Так н будем сидеть на зарытых сокровищах?

— Нет, не все время будем сидеть. Прндется в конце концов выходить на свет. Подкопнм аргументы, наберемся духу и выйдем. В журнале выступим. Может сложиться так, что вам, Федор Ивановнч, придется одному. Не бонтесь?

— Нельзя, чтоб сложилось...

— Не будем гадать. Журнал — это будет третнй пункт. Напишете о новом сорте, о том, как получен. О полиплондии напишете. Да! Чуть не забыл,— новый сорт. У нас же восемнадцать кустов... В огороде растет, там у меня старнчок «Обершлезен» посажен — среди него. Кусты — что тот, что другой — совсем одинаковые. И цветки такие же. Я вам потом на месте покажу, как искать... Выступнм с этим сортом и с фундаментальной работой по «Контумаксу». Это будет хорошенькая новость. Для многих. Журнал чнтают...

— А где выступнм?

— Не полагалось бы зря... Но скажу. Вам уже надо знать. Услышите н сейчас же забудьте название.— Стригалев наклонился к Федору Ивановнчу и загудел

горячим полушепотом: — В «Проблемах ботаникн»... Там вся редколлегия... Они с толком действуют. Касьяновы сенсацни тоже дают, даже чаще нашнх рабог. Но нашн — только когда поступнт серьезный, хорошо обоснованный труд. Редактор давно уже меня торопит. Все уже сговорено. Даже готов идти на риск. Да вот... Не успел я. А теперь я — главарь шайки. Связан с «иноразведкой». Теперь мне нельзя... Вы, вы будете общаться. Редактор знает...

Он опять встал.

— Поспалн бы, Иван Ильнч,— убито попроснл его хозяин комнаты, зная, что просьба останется без ответа.— Завтра ночью н проводнл бы...

Иван Ильнч не сказал ничего. Обнял одной рукой своего друга, в другую взял холщевую сумку с прнпасамн, которую приготовнл Федор Ивановнч.

— Ухожу. Больше мне нельзя. Нельзя, чтоб меня увнделп даже поблнзостн от вас. Вы должны быть вне подозрений. Незачем вам повторять мой путь. Придумаете другой.

И онн пошли в темноте через холодный предутренний парк. Когда подошлн к Первой Продольной аллее, Иван Ильич остановнлся. Плюнул с сердцем:

— Еслн бы мне сам Сталнн сказал, что в интересах государства н народа этн нашн работы надо похерить и эту картошку уннчтожнть... А мне же почти это н сказалн... Почтн от нменн Сталнна... Я бы не уничтожнл н пошел бы на все. Я на все и пошел. Вот — жизнь! А еслн дожнву — опять буду прав! Я уже был однажды прав. После нескольких лет неправоты. И опять ведь буду прав! А за картошку даже чествовать будут! Еслн дожнву. Надо дожить...

Когда подошлн к Второй Продольной аллее, Иван Ильич, остановившнсь, загородил дорогу.

— Теперь ндите назад. Даже вам нельзя знать, куда я дальше пойду. Даже в какую сторону сверну — нельзя знать. Не бойтесь, дорогой, я буду прнходить. Всегда держнте наготове слнвкн...

V

Миновали еще два дня. Подошло воскресенье. Этот день Федор Иванович весь провел в трудах на огороде Стригалева. Он нашел в прнстройке тяпочку с коро-

тенькой палкой и слегка окучнл картофельные кусты. Их было около трех тысяч — трндцать рядов по сто точек. Огород радовал чистотой, все кусты подросли, все были одинаковой высоты — иа одну пядь не доставалн колена, и уже дружно завязывали бутоны. На альпнйской горке все лысины камней исчезлн под темными зарослямн георгинов. Федор Ивановнч уже зиал те стебли, которые надо не замечать, и, помня о лежке в кустах ежевикн, не замечал нх, даря георгииам подчеркиуто любовный уход. Правда, некоторые лнсты георгинов он быстро и даже грубовато оборвал, а нные прищипнул с целью косметики — те лнсты, которые слншком были тнпнчны и моглн выдать скрывающегося между ними двойинка. Все там, иа горке, росло, как надо, и если чей-нибудь глаз мог бы обнаружить такой тонкий обман, то, во всяком случае, не глаз альпииista.

На свою работу в огороде Федор Ивановнч пришел открыто, своих двнжеиий ие танл — он прнлежио выполнял заданне академнка. Заглянул он и в дом, н иа чердаке в углу обнаружнл желтый дубовый футляр с микроскопом. Забросал его обрезками досок. И толкушку нашел в кухне, сунул ее в карман. Все было сделаио, что иаметил иа воскресенье. Ои вылез наружу, прнвычным махом перескочил через забор н не спеша зашагал по тропе домой. Уже догорало позднее послеобеденное время, пора было варить картошку.

Он шел в одиночестве, наеднне с прнродой, с плотиой путаинцей ежевикн, с голубоватым полем, мелькавшим в разрывах зелени. Все было вокруг, как сто лет иазад, ио, покрывая тихий и гармоничиый шум вечности, врывался, не давал успокоиться иервный гомои текущего дия. Не раз вторгавшееся в жизнь Федора Иваиовича многоголовое безумне вот уже несколько лет все сильиее давало о себе знать, ждало впередн — там, куда он шел. Смотрело вслед. Огромиая страна содрогалась от этой дури. Где-то объявился странный человек с круглыми глазами, в галстуке того типа, который не выделяет человека, а иалагает мертвящую печать невзрачности. Но это была только внешность,— все было внутри. Он написал нашумевшую докторскую диссертацию о порождеини сорняков культуриыми растеииями. Это было сенсацноиное самозарождение иовых видов, диалектическнй скачок, то, о чем твердил и ака-

демик Рядно. Люди открывали журнал и читали там, что сорняки родятся от ржи и пшеницы, а потом уже начинают ронять собственные семена. Полоть огород — пустое дело. Если сеешь хлеб, будь готов — в твоей чисто посеянной ржице появятся васильки. Таких нелепых порождений в действительности не было, сенсация должна была в конце концов сгинуть, как дурное сновидение,— такова была ее судьба. Но пока о ней все еще кричали, писали журналисты и оспаривать ее было рискованно. В другом научном институте некий ученый-новатор ввел курам кровь индейки и получил в потомстве оперированных кур птенца с индюшачьим пером. И у этой истории была та же судьба, что и у вышеупомянутой диссертации, но и о ней все еще кричали, шум об этом эксперименте был в самом разгаре. Он переплетался с грохотом, поднятым вокруг неожиданно открытого зарождения жизни в стакане с сенным отваром. Открывательница поставила на окно стакан с процеженным через марлю отваром, а когда через неделю посмотрела в микроскоп на каплю этой жидкости, там плавал и играл ресничками целый микроскопический народ. Вдруг прогремело имя Саула Брузжака — он выдул из куриного яйца часть белка и заполнил пустоту содержимым утиного яйца. Дерзкий ученый, успешно пробовавший силы во многих областях, публиковал статью за статьей, описывая полученного им цыпленка со странным оперением, хотя никто этого цыпленка не видел. Писатели создавали книги о переделках озимой пшеницы в яровую и яровой — в озимую. Где-то сосна породила ель. Все еще кричали о кавказском грабе, который породил лещину — лесной орех. Всем, особенно неспециалистам — газетчикам, военным и школьникам, — вдруг стало ясно: на смену многолетним вредным заблуждениям пришла пора истинной биологической науки. Политики стали авторитетами в области травосеяния. У всех открылись глаза. Те, у кого зрение было устроено не так, как у большинства, благоразумно молчали, лихорадочно листали книги, ходили взъерошенные, что-то шепча. И все это была дурь, она была уже знакома Федору Ивановичу по другим событиям в его жизни, не относящимся к биологии. Как и те события, она возникла в массе того недостаточно образованного большинства, которому легко внушить, что оно-то и обладает конечным знанием

вещей. Этому безумию, как и истории с черной собакой, суждено было однажды растаять, оставив после себя изломанные судьбы и тщательно скрываемое чувство вины и стыда.

Так, слушая тихий шум вечности и резкие звуки современности, Федор Иванович шел по тропе, потом по полю, а когда, наконец, вступил в парк, вдруг увидел в воскресной толпе медленно идущего крупного сутуловатого мужчину в спортивной многокарманной куртке из синего вельвета. Брюки были ему узковаты и обтянутые ягодицы самодовольно поигрывали, напоминая о гусаре, который крутит вверх то правый, то левый ус. Это шел уже излишне располневший Краснов, с его отечными руками и с тем же хорошо уложенным барашком просвечивающих волос на лысоватой голове. Федор Иванович был уже предупрежден, и тем не менее, замедлив шаг, он некоторое время шел за этим существом — настолько отвратительным, что начал действовать закон, притупляющий наши чувства, если источник впечатлений слишком обилен. Федор Иванович шел в ногу с ним, бессознательно примериваясь: вот сюда можно было бы чем-нибудь ударить этого губителя людей, в его недоступную пониманию завитую башку. Чуть повыше уха, откуда начинается розовое свечение сквозь волосы. Не дождаясь шагов медлительного правосудия, повязавшего тряпку на глаза. Вот сюда, видно, и трахнет его в ближайшее время справедливая судьба, тот, кто сделал на него заявку. Федор Иванович высматривал подходящие места, но лишь потому, что розовое свечение само манило к таким мыслям. И еще потому, что однажды он сказал Стригалеву по этому поводу решительное слово. А если говорить серьезно, Краснов настолько переполнил его впечатлениями, что он перестал его остро ненавидеть. Вообще с ненавистью у него было слабовато. Федор Иванович никогда еще по-настоящему не испытывал этого чувства.

Но нужно было переходить к неизбежному разговору, рано или поздно первая встреча должна была состояться, и следовало встретиться так, чтобы альпинист не почувствовал, что Федор Иванович дышать не может от брезгливости. Он ускорил шаг и, обходя спортсмена, сказал:

— Однако! — и так как глубоко задумавшийся Крас-

нов не услышал, повторил громче: — Гм, однако! Однако его там голодом не морили!

Краснов сильно вздрогнул и, придя в себя, как после обморока, посмотрел дурными глазами, совсем очнулся и радостно осклабился.

— Вы откуда? — спросил Федор Иванович.

— Оттуда, откуда и вы.

— Ну, я с огорода, а вы все-таки из ежевики. Мой труд не сравнить с вашим.

— У вас более квалифицированный труд,— сказал альпинист.— За ваш больше платят. У меня только глаза работают, а у вас вон и голова, и руки. И глаза задачу имеют...

Федор Иванович благосклонно промолчал, потому что все это звучало двусмысленно. Приходилось терпеть.

— Когда вас выпустили? — спросил он.

— Позавчера,— был простодушный ответ, и Федор Иванович удивился умению Краснова врать и владеть собой. — Позавчера,— повторил спортсмен.— Меня и старика Хейфеца. На днях и остальных отпустят...

— И Троллейбуса?

— Нет. Троллейбус крепко сидит. А впрочем... Ведь я же не знаю, как там решат.

— Что ж, приступайте к делам. В понедельник...

— В понедельник у нас нерабочий день.

— Что такое?

— Вы верите, Федор Иванович, в порождение одного вида другим?

— Почему же мне не верить? Я не верю, а знаю, и никогда не сомневался. Плоский эволюционизм Дарвина никогда не удовлетворял меня. Это толкование развития не включает в себя диалектику с ее закономерностями.

— Ну, вас не захватишь врасплох,— Краснов засмеялся.

— Кого вздумал захватить! — хохотнул и Федор Иванович, но довольно твердо.

— Вы все равно, знаю, не верите. А я иначе. Я, конечно, верю, Федор Иванович, у меня и опыта меньше, и знаний. Я просто верю. Я верил всегда, но у меня душа все еще ждала последнего доказательства.

— Ну что же. Она дождется.

— Она дождалась, Федор Иванович. Дождалась!

В понедельник весь наш институт будет слушать сообщение академика.

— Он здесь?

— Приехал сегодня утром. Ему прислали в Москву письмо. Учительница одна. Во время экскурсии с ребятами она нашла в лесу березу, на которой выросла ветка серой ольхи. Чистая ольха! Я сам видел сегодня. Никакой прививки. Из березового сука растет, понимаешь... Вполне естественно. Круглые такие листочки... Увидите, вы же ботаник. Ольха! Вам тоже не помешает лишнее доказательство. Вашему полному знанию. Посмотрите, и тоже окажется, что до этого вы знали, да немножко не совсем.

— Я нисколько не удивлюсь...

— Ладно. Вы не удивитесь. А академик — тот прямо плясать то и дело пускается. Вспомнит — и плясать! Ну скажите, почему? К Варичеву целоваться полез. От ветки не отходит. Смотрит, щупает, глазам не верит. Лупу потребовал. Кричит что-то — не разберешь. Даже у него, у него что-то с верой было, оказывается, не на месте. Вот так, товарищ завлаб...

«А у меня на месте»,— хотел сказать Федор Иванович, но смолчал. Понял, что это уже будет не похоже на «правую руку» академика. Вызовет подозрение.

— Ну, если доходить до тонкостей, могу сказать и я... Я тоже сейчас понесусь ветку смотреть. И очень даже резво. И в этой резвости может оказаться что-то, Ким Савельевич... Что-то такое, в чем и сам себе отчета не даешь...

— Вот-вот, Федор Иванович! Во-от! Точно сформулировал.

— Только это не сомнение. Не надо путать сомнение с жаждой познания. И потом ведь ветка же есть! Где он ее держит?

— В сейфе. Есть-то она есть, Федор Иванович. Но не будешь же ее все время при себе носить. Вот я ее не видел несколько часов — и опять хочется посмотреть.

— Я только что подумал, что верно, слишком большой энтузиазм может вызвать у наших тайных схоластов... может дать толчок для инсинуаций. В плане вашего высказывания... о неверии. Надо сказать академику. Чтоб не при всех плясал...

— Эта мысль пришла сегодня и мне...

Федор Иванович расстался с Красовым среди розовых корпусов института и некоторое время смотрел вслед его слегка согнутой, перегруженной нетренированными водянистыми мускулами фигуре. Альпинист словно нес на загривке трехпудовый мешок. Проводив его глазами, Федор Иванович ушел к себе обедать. Пока грелся чайник, позвонил в ректорат. Несмотря на воскресенье, Раечка была на месте. Оказывается, академик звонил ему несколько раз, а сейчас они — из Москвы их приехало двое — на машине укатили в деревню к учительнице, и академик увез с собой ключ от сейфа.

Так что посмотреть на ветку в этот день не пришлось.

Ночью зазвонил телефон.

— Ты уже слышал про нашу радость? — словно дунуло из трубки степным бураном.

— Слышал, слышал, Кассиан Дамианович!

— Что-то мало радости в твоем голосе, сынок! Ты хоть понимаешь, перед каким фактом нас поставила природа? Ты умеешь чувствовать историю?

— Кассиан...

— Не-е, ты еще не дорос. Тебе еще расти и расти около батьки...

— Кассиан Дамианович!

— Соси соску... Завтра чтоб не опаздывал на мое сообщение. Поздравь, дурачок, меня и себя. Теперь мы можем вызывать на бой всю буржуазную схоластику. Смотри мне, не опоздай...

Все-таки Федор Иванович опоздал немного на эту лекцию академика. Дела в учхозе поглотили все утро, и когда он неслышно вошел в переполненный актовый зал, он сразу же понял, что академик прочно держит в руках напряженное внимание всей аудитории. Кассиан Дамианович, в своем вечном старомодном неглаженом сером костюме, с торчащими врозь и вверх плечами и с несвежим галстуком в косую полоску, высокий, с шарнирными движениями окостеневшего тела, торжествуя, шел по краю широкой сцены. Потом совершил порывистый разворот и, под общий смех говоря что-то, вдруг показал всему залу костлявый кукиш. Сзади него за небольшим столом хохотал Варичев, а рядом с ректором слегка корчился, излучая одобрение, еще некто, очень

малеиький, ио быстрый. Взгляиув иа иего, Федор Иванович сразу иапрягся. У этого человека было страиное лицо. Чериый протертый войлок волос таял и исчезал спереди, и тут, прямо иа лбу, иачииался длиииый висячий иос, задавая тои всей физиономии. Подбородка не было, там разместился мокрый красиый рот, круглый и направлеииый, как у некоторых рыб, слегка вииз — чтоб подбирать со диа вкусные вещи. Человек этот все время водил вправо и влево большими чериыми глазами, полными сладости. Это был Саул Брузжак, «карликовый самец», левая рука академика. Виимательно посмотрев на иего, Федор Иваиович почувствовал зиакомые еще с фроита собраиность и готовиость к встрече артиллерийского иалета. Потому что Саул был агрессивеи, безжалостеи и приехал сюда иеспроста. Касьяи привез его, чтобы ои пощупал здесь воздух своими ие ошибающимися рыбьими губами. «Та-ак,— подумал Федор Иваиович.— Дела у меия вроде в порядке. С „иаследством“ пока все чисто. Вот, может быть, экспертиза...»

— Ну и что? — весело дудел со сцеиы фагот Кассиаиа Дамиановича.— Ну и говори, сколько угодио, а молекул живых не бывает. Наследственность ие вещество, а свойство. А раз свойство — не ищи атомов. Если о наследственности. Вот я такое спрошу у вас. Спящая красавица была живое тело или иет? Думайте, думайте!

Зал зашумел.

— Ладно, не буду вам морочить головы, дам попроще. Вот утопленник. Конечно, если его откачают, он живое тело. А если не откачают?

— Клииическая смерть! — закричал кто-то в зале.

— Вы мне догмами не сыпьте! Вы думайте! Я вам скажу. В гербарии пролежит ветка пять лет. Дайте ей условия — и оиа оживет! Пояяли, куда гну? Нет границы между живым и иеживым. Есть воображаемая граиица. Она все время движется по мере того, как человек постигает тайиы природы.

Он умолк и пошел вдоль края сцены, давая залу отшуметься.

— Вот еще об ассимиляции,— он остановился.— Это ведь процесс. Видимо, его можно рассматривать по частям. Начало, середина и коиец. Конец — это ясно, иаступает измеиеиие. А вот в середиие что происходит? Ведь это легко слово кииуть — ассимиляция. А по существу — кииул, зиачит, тут же и уклонился от участка

познания. Как и эволюция. Это ж тоже термин. Хлоп термином — и все! И отвязался. А в эволюции целый комплекс явлений! Думайте! Разрешаю и вопросы с мест. Я вас к одному и тому же веду. Мы сегодня берем ассимиляцию в целом. Бурное время не позволяет копаться, что и как... Мы схватили явление, нам важен результат, конец. Время требует! Теоретически — бог с ним, нам важно практически. Подвергли воздействию условий — и озимое растение превращается в яровое. «А как оно превращается? — сразу начинает приставать схоласт.— Хочу познать процесс». Частности, видишь, его интересуют. Вязнет, за гачи хватает, философастер такой. Зубастый, черт. Не дает шагу ступить вперед, виснет. А я отвечаю: это вам еще скажут, не бойтесь. Те скажут, кто будет заниматься частями целого — морфологи, цитологи, физиологи... Там их много. Всегда за передовыми частями, ведущими наступление, следует трофейная команда. Так что можно не бояться, трофеи будут собраны. Ничто не остается на поле боя.

— Как вы относитесь к ботанике? Это тоже трофейная команда? — послышался из глубины зала звонкий мальчишечий голос.

— Правильно, спрашивай, сынок. Твое дело — побольше спрашивать. Будет чем и ответить в свое время. Как я отношусь к ботанике? Обыкновенно отношусь. Но у них же абсурд! Они делят растения на высшие и низшие. Гриб — какое растение?

— Низшее! — крикнули из зала.

— Пшеница — какое?

— Высшее! — крикнул зал хором.

— Вот видите же сами! А я и спрашиваю: кто же кого ест? Гриб пшеницу или пшеница ест гриба? Академик и блоха — кто кого ест?

Зал грохнул от хохота. Академик, смеясь, прошелся по сцене. Потом вернулся к трибуне. Чуть опустил голову, чуть поднял руку. И зал сразу стих.

— Вот так, детки. Давайте, давайте ваши вопросы. Я не просто так здесь балагурить с вами пришел. Мы здесь не на завалинке с вами сидим и семечки лускаем. Я разрушаю перед вами догмы. И вы учитесь их разрушать. Догма — это камень, который надо убрать с дороги. Думайте, ох, ребята, думайте... Вам говорили: бабочка каллима похожа на сухой лист. Говорили? Ну вот, я ж знаю... Защитная окраска. Выработано отбо-

ром. А вот у витютия яйцо — белое! А гнездится он где? В лесу! Открыто гнездится, не слушает вашего лектора! А яйцо галки — пестренькое. А гнездится она в дымовой трубе. Пестрота не имеет значения. Что вы мне на это скажете, господа философских дел парикмахеры? Вот вам и бабочка каллима, вот вам и отбор. Почему перед лицом таких фактов я не могу подумать о скачкообразности в природе? Почему я не могу применить диалектический метод? Тем более если до меня применил его в анализе природы такой гигант, как Фридрих Энгельс?

Он прошел к стоявшей в стороне большой коричневой классной доске и, стуча, кроша мел, крупно написал на ней: «Диалектический метод». Хлопнул в ладоши, отряхивая мел, обернулся.

— Вот он,— академик протянул меловую руку к Бружжаку.— Разрешите представить, доктор Саул Борисович Бружжак, мой коллега, друг и оппонент. Он со мной не согласен. Он считает...

— Подождите, Кассиан Дамианович, постойте! — Бружжак наклонил голову, довольно дерзко поднял на академика усмиряющую руку.— Я не с методом не согласен. Я — другое. Скажите: вот крокодил, вылупившийся из яйца в горячем песке... Почему он в первые же секунды безошибочно спешит к воде?

— В самом деле! Почему? — академик, как бы захваченный врасплох, огляну лся вправо и влево.— Вот так подловил! Тонну, товарищи!.. Я тебе, Саул Борисович, еще добавлю: почему океанская черепаха... Почему черепашка... маленькое такое, только вылезло из яйца, а уже к морю ковыляет? Доктор наук Бружжак думает, что в ней действует складывающийся тысячелетиями механизм. В процессе пресловутого отбора. Тут и вейсманизмом-морганизмом издалека поваинвает. Вы еще не чуете, а у меня ж нос — ох, чует эту пакость. Так вот, в процессе, значит, отбора. У кого механизм был неисправен, тот, значит, бежал не к морю, а в другую сторону. И, естественно, погибал! И где же это ты, Саул Борисыч, видел такого крокодила, неисправного... Чтоб от воды бежал? Умозрение, умозрение, товарищи. Догма. Простой человек, мужик, не учится, а ближе к истине подходит. Спроси его: почему крокодил, маленький такой, с палец, а бежит уже к реке, дрянь такая... Знаете, что он ответит? Крокодил бежит туда, где ему пахнет водой. И это не простые слова. Инфузория, одноклe-

точное — а ему уже пахнет водой, товарищи! Вода — основа жизни. Всему живому пахнет водой.

Зал слушал. У всех блестели глаза. В тишине чеканились резкие носовые звуки — слова академика.

— Вы пришли, товарищи, в сельское хозяйство. В биологию. Это не математика и не физика. Это живая природа. Иметь дело с ней — нужен талант. Талантливого парня я чую за версту. И поднимаю. Я знаю, у тебя, мальчик, получится, только делай, как батько говорит. Биология — это особенное дело. Колдовство, если хочешь. Это не чистая наука. Это вдохновение.

Тут он посмотрел на свои руки, выпачканные мелом, и застыл, оцепенев, растопырив пальцы. Решал задачу, как быть. И Варичев стал оглядываться, заерзал.

— Полагается класть к доске губку. Где мел... — сказал академик.

И двумя пальцами потащил из кармана платок. Вытянулся длинный пестрый жгут, и из него на пол посыпалась земля. Академик замер. Просиял.

— Хо-хо!.. Это ж я лазил сегодня утром по грядкам! В учхозе! Это она, матушка земля, в карманы ко мне... — он умиленно покачал головой. — Вот, Саул Борисыч. Перст свыше. Когда к тебе земля сама начнет в карманы залезать, тогда ты запросто будешь решать детские вопросы. Почему крокодил к воде бежит...

Федор Иванович стоял у задней стены зала, прислонясь спиной к дубовой лакированной панели, и осматривался вокруг, останавливая повеселевшие глаза то на академике, то на увлеченных, словно похудевших лицах его слушателей. Варичев не положил для академика губку к доске! — радуясь открытию, хохоча, кричала его душа. — Почему не распорядился? Он знал, знал, важный старый хитрый толстяк! Академик и при нем уже вытаскивал когда-то из кармана свой платок и сыпал землю! И Саул — он тоже не первый раз играет с Касьяном этот водевиль!

Что-то происходило в Федоре Ивановиче и вокруг него. Какая-то очередная перемена. Господи, сколько же их еще впереди! Отошла еще одна мутноватая штора, и ясный свет с новой четкостью предъявил ему всех людей, которых он, казалось, так хорошо знал. «Где же я был раньше? Как я раньше ничего этого не замечал? Почему ходил около него, как монашек, как служка монастырский, прислушивался ко всем этим премудростям

сельского грамотея? Ну, берегись теперь, грамотей...» Он, оказывается, до этого дня все еще шел Касьяну навстречу. Тоже ведь клюнул когда-то на этот платок с землицей — всего год назад. Да, что-то еще оставалось до этого дня! Автоматически чего-то не слышал, что-то прощал ради его самородного таланта и что-то автоматически перетолковывал для себя под созданный в его, Федора Ивановича, сознании сложный образ! Ах, и сейчас нельзя упрощать, света прибыло, но и сложности стало больше. И нет ничему предела. Ни низости, ни высоте.

— ...Он меня спрашивает, — говорил о чем-то на сцене академик. — Сколько вам нужно времени на лекцию? Сколько мне нужно времени! Странный вопрос. Откуда я могу знать. Сколько нужно, столько и возьму. Это тебе не химия. Не ферум, кальций и все такое. Это сама жизнь! Как ты ее измеришь, вгонишь в рамки? Сорок пять минут! Это ты про ферум, про кальций говори. Там можно.

Веселые аплодисменты вспорхнули и слились в дружный одобрительный грохот. Аудитория была на стороне академика. И он это чувствовал.

— Вы, ребятки, вопросы, вопросы давайте. Аплодисментов я уже наслушался за свою жизнь. Вопросов не вижу, — сказал, отечески улыбаясь. Вышел на самый край сцены. Тут что-то вспомнил, вяло махнул рукой. — Я был недавно на заседании комитета по премиям. Вопрос решали — премию дать одному... За взрывы. Что-то там мокрым порохом придумал взрывать. Огромные массивы земли перекидывал с одного места на другое. За огромные массивы ему. Тут я и выступил. Всех удивил. Я всегда удивляю. Потому что свободное мышление... Новый взгляд им, без догм. Нельзя, говорю, землю взрывать. Земля — живая. Она пугается и перестает рожать. Догматически мыслящие члены — у-ух, так и взвились. Как так? А так, говорю. Земля — живое тело. И как живой организм — представляет из себя целое. Це-ло-е! Природа дает нам достаточно примеров многообразия проявлений жизни. Рой пчел — думаете, это сообщество особей? Ничего подобного! Это одна особь с расчлененными функциями. Кто строит, кто питает, кто санитарную функцию несет, а кто функцию размножения. И у муравьев то же. Один — солдат, другой — работник, третий — мать, четвертый — воспитатель. А

все вместе — расчлененный организм. Каждый муравей — это клетка большого тела. Так вот, ребятки, земля — наисложнейший организм. Разве это не чудо, что на ней растут всевозможные деревья, злаки... По ней ходит человек! Ее населяют целые миры микроорганизмов, и все они дополняют друг друга, поддерживают, кормят, лечат... А догматик свое долбит. Борьба за существование! Внутривидовая борьба! Ни черта не понимает, кто так говорит. Не борьба, а взаимодействие, поддержка, единство, гармония! Макрокосмос — вот что такое земля. А он ее взрывать! Жить на чем будешь, взрыватель! Знаете, я их убедил.

Тут академик, замолчав, властно протянул руку в зал и ткнул во что-то пальцем. Молчал и клевал пальцем, звал кого-то, торопил. Ах, вот в чем дело — по залу нетороплививыми скачками двигалась к нему бумажка...

— Давайте, давайте записку! Живей! — торопил он. — Мало спрашиваете. Давай, милый, неси сюда. Хватит передавать... Ну-ка, что тут... Ого, тут целое послание!

Академик развернул лист, подошел поближе к окну, достал большие очки в черной квадратной оправе.

— Ну-ка... «Дорогой Касьян Демьянович...» Сразу с первых строк ошибка! Меня же, деточки мои, Касьяном звали, пока был крестьянином-бедняком. А теперь, когда Советская власть меня подняла на пост, теперь я Кассиан. Кассиан Дамианович. Императорское имя. Византия. Куда там императору по сравнению с моими титулами! Ну-ка дальше... — он повернул лист к свету, отстранился от него. — Тя-ак... Кто это писал?

В глубине зала кто-то поднялся. Чисто прозвучал девичий голос.

— Писала я...

— Молодец. Много написала. Значит, серьезно относишься к делу. Иди сюда, детка, и сама мне все зачитай. Мелковат почерк. Академику и в очках не справиться.

По проходу быстро застучали каблучки. Федор Иванович узнал эту девушку. Почти черные волосы двумя долями, как плотные скорлупки, охватывали сердитое чистое лицо и соединялись сзади в толстую недлинную косу. И вокруг летал прозрачный коричневый пух. Она

была красива и строга. Федор Иванович видел ее в первый раз, когда они с Цвяхом после собрания нагнали в сумерках шеренгу студенток. Они все тогда наперебой, толкая друг дружку, терзали имя Саши Жукова. И эта, красивая, сжав маленькие губы, клюющими движениями трясла головой и требовала: «Гнать, гнать его из комсомола!» Потом Федор Иванович не раз встречал эту девушку среди студентов четвертого курса. Даже принимал у нее зачет по практике. Она была отличница, прекрасно знала все положения мичуринской теории и новшества, внесенные в нее академиками Лысенко и Рядно. Когда Федор Иванович во время зачета привел некий неоспоримый факт из известного ей материала по физиологии злаков и по цветению пшеницы, а затем попросил объяснить этот факт с позиций мичуринского учения, она тут же сбилась, ей пришлось бы подтвердить правоту монаха Менделя. Она, как отличница, не могла простить себе такую запинку, и Федору Ивановичу показалось, что она возненавидела его за это. Федор Иванович навсегда запомнил этот случай. Задавать такие вопросы студентке — это был страшный, неоправданный риск.

— Как тебя зовут, детка? — спросил академик, когда девушка взошла к нему на сцену.

— Женя Бабич,— ответила она бесстрашно.

— Ну что ж, Женя Бабич. Давай, читай... что ты тут мне пишешь, Женя Бабич...

И Женя взяла у него длинный лист и улыбнулась академику и своим друзьям, сидевшим в зале.

— Дорогой Кассиан Дамианович,— произнесла она с большим уважением и, подняв мягкие темные бровки, стала читать, то и дело открывая рот для глубокого вздоха: «На протяжении четырех лет, что я учусь в институте, я с особенным интересом занималась проблемами видообразования, которые изучаете вы, уважаемый академик. В первый же год я пристала к группе аспирантов, которой была поручена переделка яровых пшениц в озимые, и все свободное от учебы время проводила в учхозе. Мы с подружкой даже завели там себе маленькую деляночку. С большим интересом мы наблюдали за работой аспирантов, они сеяли под зиму яровые сорта. Значительная часть растений вымерзала, но отдельные экземпляры перезимовывали и давали урожай. И уже в следующем году при повторном подзимнем по-

севе полученных семян появлялись стойко озимые растения. Наследственно озимые. Это было удивительно! Это было чудо!»

Академик кивал, любовался девушкой, не отрывал глаз.

— «Я много читала разных книг по физиологии растений, и мне было уже тогда известно, что нормальная, то есть весной посеянная яровая пшеница, во время цветения выставляет наружу только тычинки. Только пыльнички висят...» — Тут Женя оторвалась от письма и пояснила: — Лохматый такой колос бывает.

И академик умиленно закивал.

— «Это ее нормальное цветение, — продолжала она читать.— Рыльце в яровом варианте вообще не высовывается, и поэтому получается закрытое опыление, то есть самоопыление с сохранением в потомстве всех свойств, в том числе, и яровости. Однако мы с подружкой заметили: те яровые растения, которые высевались под зиму и после такого посева перезимовывали,— они начинали цвести иначе! Они вместе с тычинками высовывали и рыльце. Мы сейчас же раскрыли книги. В книгах пишут, что так оно и бывает всегда, если яровое растение перезимует. А так как весной кругом цветут другие злаки и летает масса пыльцы...»

— Если дождь пройдет, все лужи желтые, столько кругом пыльцы,— пояснила она опять. И академик опять закивал.

— «...Наверняка чужая пыльца попадает и на рыльца наших перезимовавших пшениц,— читала Женя дальше.— Происходит уже перекрестное опыление! И мы уже не можем сказать с уверенностью, что перед нами в результате: переделанное растение, как результат промораживания, или же это плод беспорядочного опыления чужим сортом. С последующим менделевским расщеплением...»

Она смело произнесла страшное слово. Академик уже без улыбки посмотрел на нее и кивнул несколько раз.

— «Эта мысль пришла в голову нам с подружкой сразу, и мы сказали это нашим аспирантам. И даже посоветовали им весной надеть на перезимовавшие растения бумажные изоляторы, чтобы закрыть таким образом доступ чужой пыльце...»

Академик опять кивнул.

— «Аспиранты согласились с нами. Колпачки были надеты, но руководительница аспирантов их сняла».

— Кто руководительница? — спросил академик.

— Анна Богумиловна, — упавшим голосом ответила девушка.

— Та-ак,— проговорил академик.— Так это, значит, ты затейница всей этой заварушки с изоляторами? По-моему, два года назад... Слышишь, Анна Богумиловна? Я думал, еще кто-нибудь вздумал нас напугать... Ничего, ничего, детка. Не бойся. Не доверяешь, значит, профессору?

— По-моему, профессор не доверяет...

— Вот оно ныне как! — Касьян обернулся к Варичеву и Брузжаку.— Они нам уже не доверяют! Сами читают! Придется в отставку подавать, а? Раз такой вотум недоверия. Отцы и дети! Ничего, Женя Бабич, не пугайся, ты правильно поступаешь. Только так и можно изучать науку. Только так...

— Можно читать дальше? — спросила Женя.

— Давай, детка. Давай, милая. Интересно, чем у тебя кончилось.

— Еще не кончилось, Кассиан Дамианович,— и Женя стала говорить уже без бумажки.— Когда у аспирантов были сняты колпачки, мы с подружкой перенесли опыт на свою деляночку. Тайком. На всякий случай, чтобы колпачки не сняли. Мы высеяли яровую пшеницу под зиму. Морозы были сильные, но несколько растений уцелело. И весной мы надели на них изоляторы. Уцелевшие растения нормально выколосились. А когда посеяли под следующую зиму полученные семена, никакой переделки у нас не получилось. Тот же процент вымерзания, те же несколько уцелевших яровых растений...

В зале наступила страшная тишина. Федор Иванович, чувствуя надвигающуюся беду, запустил пальцы в волосы, сжал лоб, еще раз запустил...

— Я подумала: что же это такое? — громко говорила Женя.— Прав Мендель? И испугалась...

— А ты читала и Менделя?

— Читала...— тихо сказала девушка.— И я почувствовала, что без вас, Кассиан Дамианович, я этот вопрос решить не смогу. Особенно после того, как на зачете... меня спросил об этом же преподаватель. Он, наверно, видел нашу с подругой... Подпольную...— Женя хихикнула,— деляночку. Выследил. И спросил как раз об

этом. Какова цель экспериметта. К какому выводу приводит эксперимеит. А вывод напрашивался. Нехороший. И я ие смогла произнести эти слова...

— И какую отметку он тебе поставил?..

— Пять баллов.

— За что? За те зиания, которых ты сама испугалась?

— Не зиаю...

— Ну что ж, ты заслужила свои пять баллов. А кто был преподаватель?

— Федор Иванович.

— Тебе, надеюсь, он потом разъяснил, что к чему?

— Нет. Ои сказал: это вопрос другого, не студенческого уровня.

— Ушел, значит, от объяснения. Ну, мы его сейчас спросим. Чтоб не ставил студентам вопросы профессорского уровия. Вопросы, на которые сам ие может ответить. Вон он стоит. У стены. Иди к нам, Федор Иванович. Просвети нас, в чем тут дело.

Федор Иванович оттолкнулся от стены и быстро, весело прошагал через зал иа сцену. Нельзя было показывать Касьяиу, что ты растерян, что у тебя ноги стали ватными от предчувствия катастрофы. Ои бодро шел, и впереди, как пуля, ждала его гибель всего.

— Что ж ты, дружок, оставил без ответа такой вопрос? — ласково спросил его академик, предварительио оглядев в молчании с ног до головы.— Тоже, выходит, в зобу дыханье сперло? Зачем же тогда спрашивать полез? Что хотел узнать у девушки?

И Бруззжак иаставил свои сладкие глаза, не скрывая торжества.

Федор Иванович в это время мягко смотрел на Женю, и она прятала от иего глаза. Ои видел в ией себя — того честного пиоиера, которого вызвали когда-то в палатку, чтоб узнать от иего всю правду о геологе. А сам он был сейчас тем геологом, и так же мягко смотрел, прощая Жене ее честиый доиос. «Ага, уже прячешь глаза. Это хорошо. Сейчас ты уйдешь отсюда и понесешь в себе на всю жизнь ту же мою болезненную царапину непогашенного долга,— думал он.— Ничего, иеси, от этого ты станешь человеком... Если есть в твоем стволе такая спящая почка...» Интересно, что эта мысль сразу сияла все его тягостные предчувствия.

От него ждали ответа, ои был в центре страшиого

напряжения, переполнившего зал. Он еще не знал, что будет говорить, а слова уже зазвенели сами собой, потому что нельзя было затягивать это безмолвие.

— Кассиан Дамианович! Это же детский вопрос! Такой, как и вопрос об отношении крокодила к воде. Та методика, которой пользуются сейчас в этих классических экспериментах, дающих такое наглядное представление о порождении новых видов старыми... Об этом открытом нашей наукой явлении... Эта методика страдает существенным пороком. И постоянно дает врагам нашего прогрессивного учения некоторые козыри, чего можно было бы с успехом избежать.

— Что ж это за козыри, сынок? Интересно. Скажи, послушаем.

— Кассиан Дамианович! Часто ли граб порождает лещину? Пока известен только один случай. Часто ли сосна порождает елку? Тоже весьма редко. Является ли овсюг результатом чистого порождения из овса? Или большая часть всходов этого сорняка идет из семян того же прошлогоднего овсюга? Таким образом, вдумчивый естествоиспытатель... каким обещает стать Женя Бабич... должен неизбежно прийти к выводу... что частота подобных скачков в природе вообще весьма невелика. Но зато стабильна. Мы еще не рассматривали эту сторону явления, но, я полагаю, Кассиан Дамианович, мы сможем здесь вывести закон... И даже численный коэффициент, применимый ко всему растительному миру...

— Так-так... — проговорил академик, кивая и глядя в пол. Его уже осенило. Он уже уловил мысль.

— Почему же, Кассиан Дамианович, почему порождения яровыми злаками озимых происходят ежегодно, сотнями на одном только нашем учхозовском поле? Что за льготу предоставила злакам природа? Она ведь консерватор известный! Почему так получается? Да потому все, что подлинные и притом нечастые случаи порождения у злаков проходят на загрязняющем эксперимент фоне случайных опылений. Что и заметила Женя Бабич. Она будет ученым! Весьма вовремя заметила. Стефан Игнатьевич Вонлярлярский назвал бы этот загрязняющий фон *контаминацией*...

Напряжение опало. Зал уже смеялся.

— Я считаю, что применение изоляторов нужно ввести в повседневную практику.

Он чувствовал: удалось уйти от удара. Удалось, удалось! Академик уже сиял. Уже смеялся, шевелил губами, запоминая иностранное слово. Он будет выводить закон!

— Так ты считаешь, нечасто?.. Но зато, говоришь, стабильно? Говоришь, закон? Ты, пожалуй, прав, Федор. Петр Леонидыч, этот вот... Который пугает меня иногда... Он мало что зубастый, он еще и башковитый. Оригинально мыслит...

Кассиан Дамианович принялся ходить по сцене. И весь зал в молчании следил за его оригинальной шарнирной походкой.

— Ты прав, Федя, со злаками мы работаем нечисто. Но стабильность, то есть закономерность порождений подтверждает великую роль среды как образователя форм.

Тут академик отошел на середину сцены, и голос его зазвучал торжественно:

— Формообразующая роль среды! Вот в субботу мне позвонили. Сейчас как раз к месту... Подошла минута, товарищи, — в его фаготе что-то сорвалось, он перемолчал накатившую бурю чувств. — Минута, ради которой я собрал вас. Великая минута! Сейчас вы получите ответ, кому еще неясно. Мать природа, она одним махом разрубает все узлы...

Повернувшись к боковине сцены, к ограждающим ее полотнищам, он высоко поднял руку и так, с поднятой рукой, почти танцуя, начал отступать, все глядя туда, за кулисы. А оттуда, из-за серых полотнищ, показалась маленькая медленная процессия — несколько школьников в красных галстуках. Высокая тонконогая девочка, остальные — коротыши. А впереди шла пожилая их учительница в вязаной вислой блеклой кофте и несла перед собой в руке большую увядшую березовую ветвь.

— Товарищи! Аплодируйте природе! — академик, уступая дорогу процессии, ударил в ладоши. Варичев и Брузжак поднялись, с достоинством аплодируя.

Минуты две все стояли на сцене, потонув в звуках, оглохнув от молодой, звонко бьющей по ушам овации. Потом она стала затихать, постепенно растаяла, умолкла. И учительница, шагнув к академику, протянула ему ветку.

— Дорогой Кассиан Дамианович! Вам, как признан-

ному, большому авторитету в мичуринской науке, юные биологи нашей школы принесли в подарок эту ветку березы, которую они нашли в здешних лесах. На ней, на этой березовой ветке, я обращаю внимание всех, на березе, выросли необыкновенные пять побегов — ветки серой ольхи! Вы увидите, дорогой академик, здесь нет никакой прививки, этот удивительный чудо-экземпляр не допускает никаких подозрений в подделке. Он выдержит самый придирчивый контроль. Его принесли из лесу пионеры, дети. Своими чистыми руками сорвали они ветку с березы. Вот этот пионер, Валера Баринов, — учительница положила руку на голову мальчика, — он влез на березу и сорвал ветку. А этот его товарищ — Гена Гущев — подсаживал...

Академик умиленно затоптался. Присев, притянул, расцеловал ребят.

— Эта ветка послужит верным доказательством правоты нашей замечательной науки, — голос учительницы сильно качнулся, она удерживала слезы. — Науки, которую возглавляет Трофим Денисович Лысенко, которую обогащаете вы, наш дорогой академик. Мы вам принесли... Это будет в ваших руках хорошая богатырская дубинка на вейсманистов-морганистов! — закричала женщина. — Этой дубинкой вы разгоните их всех! Этой веткой вы навсегда выметете весь хлам буржуазных схоластов, ненавидящих нашу мичуринскую биологию. Борющихся против научного объяснения мира! Прокладывающих дорогу расистским теориям битого фашизма!..

Федор Иванович стоял здесь же, на сцене и, когда поднялась буря аплодисментов, захлопал вместе со всеми. Он все время помнил о своем лице, способном иногда выходить из повиновения, и несколько механически улыбался. Но его мысли были не веселы. «Прав Иван Ильич, — думал он сквозь свою механическую улыбку, с тоской оглядывая зал.— Нельзя давать им в руки новый сорт, он станет богатырской дубинкой в руках Касьяна. Трудно будет бороться со всей этой штукой. И сколько это продлится? И чем кончится?»

Около него стояла и Женя Бабич и, сияя, крепко била в маленькие ладоши. От ее сомнений по поводу переделки пшеницы не осталось и следа. «Нет, след остался, она не снимет колпачков со своих колосьев на тайной деляночке», — подумал Федор Иванович.

Когда все устали хлопать и овация сама собой иачала убывать, академик поднял руку и, усмирив страсти, сказал ответную, победоносную речь. Он был весел, красноречив, а воображаемым вейсмаиистам-моргаиистам он даже поддал ногой под зад, чтоб они катились ко всем чертям. Потом он подозвал Женю Бабич и, передав ей ветку, велел пройти по залу и показать трофей всем желающим. Чтобы могли потрогать.

— Есть же близорукие, детка. Есть! У кого глаза, у кого душа близорукая. Пусть все посмотрят. Только осторожненько. Ты ж понимаешь, милая, что это за вещь: Только тебе и могу доверить. В целости и сохранности эту ветку мне и вернешь. Крепко возьми за конец, по рукам не пускай.

Ноги совсем ие держали Федора Ивановича. Уйдя со сцены за кулисы, он бросился на клеенчатый диван. Казалось, невидимые двери захлопнулись, и стая, летевшая за ним, ударилась о створки, царапая их и хлопая крыльями. Он откинулся иазад. Уехать бы отсюда, отдохнуть от всего... Где-то впереди все-таки ждала, ждала его катастрофа. Тикал часовой механизм.

В этот же деиь Федор Иванович присутствовал на торжествениом обеде у Варичева. Ректор устроил пир у себя дома. Кассиаи Дамиаиович совсем ие пил коньяков и водок, поставлениых на длинном столе. В его стакан Варичев налил из специального графиичика особый состав, «ерш академика», и Касьяи бросил туда свою таблетку. Отхлебнув несколько раз из этого стакаиа и постучав золотыми мостами, старик развеселился. Он то и дело накладывал ладоиь иа лоб и поворачивал, придавая своей челке лихость.

— Моя бы власть, — иа весь стол гагакал ои, — праздник объявил бы на всю страиу, чтоб гуляли и пьянствовали два дня! А вейсманистам-морганистам всем амнистию бы сделал. Теперь им нечем крыть, пусть гуляют.

Федора Ивановича ои усадил рядом с собой, при этом подарив Саулу веселый и капризный взгляд.

— Ну что, ну что, Фома неверующий! — говорил академик, обняв его и встряхивая. — Что! Не упирайся, неверующий ты, вижу ж тебя насквозь. Не упирайся, пожалуйста! Что скажешь теперь? Не порождает? Лещиу граб не порождает? Сосна елку ие порождает? Порождает, Фома, порождает! И лещину, и елку! И васи-

лек порождается во ржи. И овсюг в овсе. Фо-ма! Во что он не верил! В Советскую власть не верил! В ее марксистскую основу! Петр Леондыч! Посмотри сюда: с кем я вынужден работать! Голова принадлежит мне, а сердце неизвестно кому. Не-е, никогда мне до этого сердца не добраться. Даже мне...

Не выпуская плеча Федора Ивановича из крепкой жесткой хватки, он стал давать деловые распоряжения Бруззжаку. Громко, явно с расчетом, чтобы всем за столом было слышно.

— Саул! Не знаешь, еще не отослали верстку в типографию? Вот тебе и что! Верстку, говорю. Листы учебника... Отослали? Завтра же позвони. Утром. Пусть вернут. Дополнительно, скажешь, будет. Очень важное. К седьмой главе. Запиши, я не вижу у тебя карандаша. Пусть задержат. Пришлем вставку. Ты завтра же набросаешь проект. Две страницы. Сам понимаешь, о чем.

Потом, наклонившись к Федору Ивановичу, академик спросил:

— Полуперденчик носишь?

— Всю зиму носил. Сейчас в шкафу, на почетном месте.

— Про батьку помнишь?

— Еще бы!

— Во-о. Помни, дурачок. Этот полуперденчик такой. Он тебе всю жизнь будет про батьку напоминать.

Вспомнив нечто серьезное, он вдруг изменился в лице, нахмурился и долго сопел, барабаня пальцами по столу.

— Ты вот что, Федя,— прорезались, наконец, слова.— Хоть с изоляторами это хорошо у тебя... С колпачками. И закон. Когда-нибудь сформулируем. Когда-нибудь, но не сейчас. Саул прав. Он говорит, при такой методике переделка пшеницы будет происходить раз в сто лет. Конечно, он утрирует... Но в чем-то есть у него. Нам же ж нужно учить смену. Нам же ж каждый год подай к семинару переделку. Чтоб обязательно была. Так что твои эти изоляторы... Противозачаточные средства эти ты оставь. И студентам мозги этим делом не туманы. Понял установку?

— Так студенты сами же дойдут до этого! Девочки сами же дошли!

— А преподаватель для чего? Запрещай. Есть прог-

рамма, есть методика, все утверждено. Пусть учатся, а не учат. Партизаны...

А когда хмель еще сильнее опутал академика своей паутиной, потянул его к земле, старик осел, и тут-то из него, наконец, выбралась наружу тревога, которая портила ему весь обед. И, не выдержав, привалившись к Федору Ивановичу, дуя ему в самое ухо своим ароматным «ершом», он вдруг сказал как бы сквозь сон:

— Федор, что сейчас скажу... Никому не говори. Какая-то сволочь оторвала один побег от ветки. Когда девочка эта носила показывать. Скажи, зачем им понадобился побег?

— У Собинова, у тенора Собинова, говорят, все пальто однажды на лоскуты девицы изрезали,— небрежно заметил Федор Иванович. — Это они на память.

— Ты что, выпил много? Никакого чутья нет! — академик толкнул его острым локтем и отодвинулся. Потом опять привалился к уху.— Вот такое тебе, Федька, в голову не приходило? Ведь у этой Жени Бабич не очень оторвешь ветку. Не даст. Тут действовали несколько человек. Кто-то отвлекал, комплименты кидал, а кто-то дело делал. Как ты думаешь? Помяни мое слово, эта ветка еще мне, дураку, отрыгнется. Не все кубло подобрали.

Академик после затянувшегося обеда остался ночевать у Варичева. Саул Бруздак уехал куда-то на институтской «Победе», и рядом с карликовым самцом в машине видели Анжелу Шамкову. А Федора Ивановича уже на улице, у самого парка, неожиданно нагнал легкий, изящный академик Посошков. Он тоже обедал у Варичева, но куда-то ушел, когда стали разносить чай.

— Хорошо ты, Федя, сегодня вывернулся,— негромко сказал он, легко подхватывая под руку своего молодого, хмуро потупившегося товарища.— Я сильно перепугался, когда девочка эта так запросто упомянула твое имя. В таком неприятном контексте. Молодец, хорошо борешься. А насчет ветки этой могу тебя успокоить. Никакое это не порождение ольхи березой.

— Неужели вы думаете, я поверил? — Федор Иванович обернулся к нему.— Зал, зал поверил, девочка поверила, вот что страшно.

— Знаешь, что это они показывали? — Светозар Алексеевич едко улыбнулся.— Эти штуки в народе с

давних пор называются «ведьмиными метлами». Чувствуешь, название какое? Его придумал такой же вот, как твой шеф, знахарь. Что это «ведьмина метла», диагноз точный. Сейчас эту Касьянову серую ольху ребята в микроскоп смотрели. Нашли сумки гриба *«Экзоаскус бетулинус»*. Он и вызывает в нормальном березовом листе такую патологию. Ольхообразную. Мы еще эксперимент поставим, Федя. Вытяжку приготовим из этого гриба и заразим здоровую березу. Мы сами сколько хочешь наделаем таких листьев серой ольхи. Эта история Касьяну даром не пройдет.

VI

Часа в два ночи Федор Иванович проснулся на своей койке. В дверь кто-то негромко стучал. Потом все затихло, и отчетливо послышалось шарящее царапанье корявой руки по двери — сверху вниз.

Федор Иванович прыгнул с постели и, не зажигая света, отпер дверь. Увидел в темноте, как сверкнул строгий глаз Стригалева.

— Это я,— Иван Ильич шагнул в комнату, неслышно, как бесплотный дух. Проволочный скрип койки показал, что гость уже на своем месте. — Каша, сливки и горячий чай с молоком... — сказал он оттуда.

— Все ждет вас. Чай сейчас согреем.

— Как лекция?

— Чуть не погорел.

— Я все знаю. Рассказали. Вы хоть и хорошо отбились, но все же, Федор Иванович, суетесь. Не знаете наших девочек. Отличниц...

— Ну, не совсем же лежать в обороне. Это все равно, что тебя нет.

— Нельзя, нельзя. Женя Бабич! Это же первая докладчица по всяким переделкам и прочим лысенковско-касьяновским чудесам.

— Вот и хотелось первую докладчицу натолкнуть на мысли.

Когда манная каша сварилась, Федор Иванович снял кастрюлю с электроплитки, и все выступающие вещи в комнате как бы придвинулись к яркой спирали, ловя малиновый свет. Красные пятна слабо затеплились вокруг, словно в фотолаборатории. Красные точки вспыхнули в глазах двух человек, и Иван Ильич, мед-

лительно отправляя в рот первую ложку, сказал:
— Вот мы и с безопасной лампой...
— Так теперь и будем всегда,— заметил Федор Иванович.
— Нет, больше не будем так никогда. Меня, по-моему, обложили. Надо бечь,— Стригалев, как всегда, вставлял интересные студенческие слова.— Э-эх,— сказал он с горечью.— Опять куда-то бечь...
— Есть куда?
— Страна велика. Только мне еще надо к себе заглянуть. Кое-что там забрать. И, кроме того, я должен вам показать, где у меня новый сорт. Как его искать. А то так не найдете, индикатора-то нет, чтоб обнаруживать. Там нарочно сделано так, чтоб никакой закономерности. Перестарался...
— Ну, и что предлагаете?
— Ночью встретимся там. Вы пройдете на огород по трубе. Там есть разрывы...
— Я уже ходил по ней.
— Надо разуваться — вы это знаете?
— Знаю.
— Сейчас темнеет поздно. Давайте в два часа ночи. Как вылезете из трубы, сразу же падаете под нее. Она там чуточек на весу. Упирается в ежевику. Сплошные колючки. Как проползете под трубой назад, метра четыре, тут будет, в ежевике же, канавка. Перпендикуляр. Прямо в огород, в картошку приведет. В канавке наткнетесь на меня.
— А больше ни на кого не наткнусь?
— Не должно бы. Этой дорогой никто не ходил. В трубе вы упретесь в сплошную стену из страшных колючек. Я забыл сказать: захватите с собой палочку с рогулькой. Рогулькой упретесь в ежевику, отодвинете и проваливаетесь вниз. И под трубу назад. Усекли?
— Усек.
Глаза Стригалева смотрели строго. Перед Федором Ивановичем выступало из тьмы только его лицо — медленно двигались малиновые бугры и черные провалы. Федор Иванович, должно быть, и правда, стал его двойником — теперь он так же, как сам Иван Ильич, чувствовал его заботы и опасности. Федор Иванович страдал, глядя на медлительное насыщение товарища, представлял себе всю его нынешнюю жизнь, безвыходность положения. Его друг был зажат между двумя плита-

ми. Одна — прочнейший корявый бетон — организованное преследование, гон, устроенный академиком и генералом, и пестрым штатом их подчиненных, егерей, доезжачих и выжлятников. Гон с участием толпы загонщиков, бьющих в пустые ведра, размахивающих трещетками. Федор Иванович был и сам в этом переполошенном лесу, лежал среди травы и слышал все, мелко дрожа от напряжения.

Другая плита была из стали. Из нержавеющей. Ее вообще никому невозможно было одолеть. И сам Стригалев не мог, хотя плита была его творением. А Федор Иванович — тот ликовал, принимая ее на себя, засовывая плечо подальше в щель. Это была жизнь Ивана Ильича, воплощенная в пакетиках с семенами, в трех горшках с новым растением, которое создал человек, в тетрадке с непонятными ни для кого знаками и в нескольких кустах картошки, затопленных зеленью большого, чисто обработанного огорода. Стригалев был безнадежно зажат между двумя этими плитами, и они медленно сближались. Федор Иванович видел это. И ему хотелось забраться в щель подальше и вытеснить оттуда друга, который достаточно уже наломался. Пусть хоть немного вздохнет! И принять на себя окончательный сжим. Он чувствовал, что сможет так упереться, что плиты остановятся — а ведь это главное...

— Иван Ильич, не ходите больше туда,— тихо и отчаянно попросил он.— Я сделаю все сам. Мне же удобнее.

А от Стригалева, похоже, способность чувствовать опасности и обходить их полностью ушла.

— Нет, милый Федор Иванович. Нет, дружок дорогой. Нет, двойничок. Пойду. Ваша безопасность для нас с вами важнее. Если не пойду — что мне еще делать? А икру оставим генералу с Касьяном.— Под икрой он на своем студенческом жаргоне разумел весь комплекс беззаботной жизни.

— Пища Касьяна уже давно — таблетки,— сказал Федор Иванович.

— Молочко они оба едят. Питаются,— равнодушным тоном проговорил Стригалев.— Молочко.

Федор Иванович поднял бровь и ничего не сказал. За этими словами что-то таилось, и он ждал.

— Пчелы... Понимаете, пчелы... Они кормят свою матку специальным молочком...

«Ах, вот он как...» — подумал Федор Иванович и сразу постиг точность сравнения.

— ...Сами не едят, только ей. Матка от него приобретает гигантские размеры. С палец вырастает, еле двигается. А они все кормят, кормят. А сами не едят...

Как и в прошлый раз, Иван Ильич бережно обращался со своей ложкой. Любовно, по частям выбирал из нее кашу, медлительно рассасывал.

— Вот так и некоторые... Обычную пищу могут и не есть. Таблетки, творожок — все их меню. А вот унижение других людей — это до самой смерти. Это их питает. Чтоб перед этим дядькой гнули спину, открывали ему дверь, угадывали желание. Ни слова поперек. Чтоб все у него было особое, не как у других. И называлось чтоб для ясности: *«особое»*. А другие чтоб это знали. И чтоб их эта разница точила. Но доступа чтоб никакого. Ферботен...

И, замолчав, он бережно набрал ложку каши.

— Когда я был ранен в обе ноги,— задумчиво заговорил и Федор Иванович,— привезли нас всех в Кемерово. Начали вытаскивать из вагонов. И в автобусы. Кого на носилках... А меня — входит рослый старик, сибиряк, а я лежу — такой остриженный наголо, на мальчишку похожий после ленинградской голодовки. И он меня хвать, как куклу, и на шею себе. И понес. Как вспомню — слеза прошибает. Но со временем я вдруг стал замечать, Иван Ильич... Что еще одно обстоятельство память сохранила. Чешется все время душа. Знаете, когда на шее другого человека сидишь — чувствуется особая сладость. Как будто ешь человечину. Не знаю, может, от нервов... Может, у меня склонность воображать всякое такое... Думаю, и вы замечали. Даже если больного тебя на носилках несут... Особенно, когда женщины. Всегда чуть заметный оттенок присутствует. А вот когда, скажем, лошадь везет — этого нет. Кому это невыносимо. Кто краснеет от такого чувства. А кто и нет. Другой даже старается сам сесть. Придумывает разные такие рассуждения. Даже научные... Представляете, и здесь проходит водораздел! Я все время ерзал тогда, хотел слезть. Потому что невозможно, Иван Ильич, переносить эту отвратительную сладость сидения на чужой шее. Старик тогда мне: «Ты чего сам, сынок?» — «Да вот, неловко...» —

отвечаю. Не знаю, что и говорить. А он смеется: «Как так? На такой шее и ему неловко!..».

Они замолчали, забыв на время об окружающей их ночи и о том, что где-то ждет их железная труба, упирающаяся в ежевику. Потому что оба они были детьми своих тридцатых годов, прошли через многие повороты нашей российской судьбы и обоих тянуло даже в такие минуты к разговорам о справедливости и судьбе революции.

— Я никогда не смог бы привыкнуть к такой штуке,— сказал Федор Иванович.— Хотя вот... Привыкали ведь. И к портшезу и к паланкину. Все-таки прогресс есть. Особенные были люди. Реликты...

— Не забывайте о молочке. О молочке превосходства. Эта пища пришла на смену портшезу.

Незаметно каша исчезла. Перед Стригалевым стояла чистая тарелка. Чай был уже заварен, и Федор Иванович стал наливать кипяток в чашки. «Наливаю, как тогда... — толкнуло его.— Из этих чашек мы пили с нею чай. И я в тот день бросил курить. Никогда не начну...» А закурить ему сегодня очень хотелось весь день.

Поставив перед гостем малиновую чашку и около нее малиновую бутылку с молоком, он сел. В лице его, должно быть, появилось горькое выражение, и в малиновом лабораторном свете эта горечь приобрела угловатую резкость, что-то вроде театральной ненависти, как грим.

— Вы что? — спросил Стригалев.

— Не ходите, Иван Ильич...

— Пойду. И не будем тратить время. Уже рассвело.

Допив чай, он поднялся. Сумка с продуктами была готова.

— Там и деньги...— сказал Федор Иванович.

Стригалев кивнул.

— Видите, как приходится,— сказал он бодрым голосом, и тоска захватила душу Федора Ивановича от этих слов.— Вот как... Хотел отгородиться... И в пределах этой ограды иметь свободу научного мышления. Свободу проверять гипотезы. Мне же только и нужно — свобода общения с научной истиной! Не помогла и собственная изба. Бобер хочет плотину строить, только вот мех у него привлекательный. На боярскую шапку хорош...

— Я выйду первым и посмотрю,— сказал Федор Иванович.— Стукну в окно.

Он вышел на крыльцо. Было свежо, светло и пустынно. Над парком низко светилось кривое лезвие луны. Посмотрев направо и налево, он под самой стеной дома, в мягкой тени прошел до угла. За углом тоже затаилась пустыня. Это был самый тихий, последний час ночи. Не спеша прошагав до опушки парка, Федор Иванович скрылся в черной гуще и оттуда несколько минут наблюдал. Было по-прежнему тихо и безлюдно. Все остановилось. Обежав опушкой половину большого круга, он вышел из-за сараев и, не спеша пройдя к крыльцу, стукнул в свое окно. Наружная дверь сразу же неслышно открылась. Как будто Стригалев уже давно стоял там.

Федор Иванович вошел в коридор и тихо сказал ему в затылок:

— К сараям идите. А оттуда — к опушке.

— В два,— шепнул Иван Ильич.

— В два...— отозвался шепот из-за двери.

Утром позвонил Кассиан Дамианович.

— Болит голова после вчерашнего?

— Кассиан Дамианович, полная ясность! Готов к любым заданиям.

— Молодец. Значится, так. Давай-ка в двенадцать прогуляемся с тобой. Не догадываешься, куда? Ах, догадался! Ну ж ты у меня и башка! Прав Саул, — вундеркинд. Так вот, значится, в двенадцать. Мы ж сегодня отбываем в Москву. Встречай нас около своего крыльца, оттуда и пойдем. Хочу обозреть, что там осталось от наследства.

— Печати будем ломать?

— Зачем ломать? Ты как ходишь?

— Так я же через забор...

— Вот и полюбуетесь с Саулом, как батька умеет через забор. Ты еще плохо знаешь своего батьку. Ты еще ничего, сынок, о нем не знаешь. Держись крепче за батькин фост. Не прогадаешь.

В двенадцать часов Федор Иванович — в сапогах и застиранной куртке из тонкого брезента ждал гостей у крыльца. Точно в назначенное время подошли академик — в том же светлом тонком пыльнике, который был

у него год назад, — и маленький, тонконогий, с очень широким корпусом Бруздак — в пиджаке с толстыми плечами. Пока здоровались и обменивались впечатлениями о вчерашней пирушке, лицо Саула несколько раз заметно переменилось. В основном, он старался смотреть героем. Но иногда, в зависимости от поворотов беседы в лице его проступала сладость, а в иные моменты сквозь сироп вдруг взглядывал холодный наглец и, оглянувшись на академика, вставлял в разговор какой-нибудь неприятный «финичек», специально для Федора Ивановича, какой-нибудь шутливый намек на его неискренность по отношению к Советской власти. Хороший собака все время, между делом, старался достать его горлянку. Академик с интересом это наблюдал.

Не спеша они пошли через парк. Вражда сама собой разъединила Федора Ивановича и Брузжака и поставила по краям шеренги. «Правая рука» шел справа, это получилось само, а Саул — слева, его не было видно.

— Что ты там, Федя, генералу нагородил? — спросил вдруг Кассиан Дамианович. — Жалуется он на тебя. «Не имею права давать хода эмоциям. Не хочу пустых придирок». Он прав, заключение твое беззубое. Враги забросили идеологическое оружие, и твоя обязанность была разглядеть глазом ученого все то, что он глазом криминалиста еще видел в тумане. В тумане, но видел! А ты...

— Не считаю разговор о клетке идеологической борьбой, — холодно сказал Федор Иванович. — И глаз этого криминалиста видит не то, что есть.

— Старик, тебя-то он увидел насквозь, — вставил дружеским тоном Саул.

— Почему же ты не пришел ко мне, к своему батьке? Если на тебя такая мягкотелость напала... Почему к генералу свои слюни понес? Я его рекомендую, я его подаю как непримиримого борца, а он меня дискредитирует...— академик остановился. — Шел бы ко мне. Я тебе все бы руками в два счета развел. Ты мичуринец? Ты прав? Вот и бей!

— Ха! Мичуринец! — вставил Саул, беспечно смеясь. — Старик, ты богоискатель!

И высунулся из-за академика со своей дружественной улыбкой.

— Не лезь! — оборвал его Кассиан Дамианович. — В другой раз, Федя, ко мне, ко мне со всеми вопроса-

ми. Я у тебя исповедник, я твой пастырь. Ты там что-то ему насчет структур заливал... Насчет клеточных структур. Х-ха! Да ты знаешь, что такое клеточные структуры? Это ж питательная среда, на которой сейчас же разовьется микроб вейсманизма-морганизма! Как тиф! А ты их студентам. Изучать...

— Старик, тебе только дай... — начал было Саул.

— Ты хороший парень, — перебил его Рядно, явно игнорируя Саула и даже морщась.— Но уклон у тебя академический. Староакадемический, я имею в виду. А тебе бы надо знать, что в эти дни, когда идет такая борьба, и академики становятся другими, не такими, как раньше. Как ты этого не замечаешь?

— Старик, это уклон не староакадемический. Он больше смахивает на правооппортунистический,— сказал весело Саул.

— Это ты мне говоришь? — Касьян остановился.

— Нет! Кассиан Дамианович! Вам сказать «старик» разве я смогу? Нашему будущему доктору наук, вот кому.

На академика смотрел совсем другой человек — покорный младший соучастник беседы, безоговорочно принимающий его сторону. Федор Иванович поймал себя на том, что любуется этой то и дело меняющейся физиономией и не может оторвать взгляда. Лицо Бруэжака притягивало его. И он заставил себя опустить глаза. Академик увидел это и молча, обстоятельно посмотрел на обоих.

— Возможно, что я действительно мягкотел, — заговорил Федор Иванович, отвечая академику и только ему, — возможно. Но, помимо этого, я все же ваш сотрудник...

— Старик, к чему эти оправдания? — весело вмешался Бруэжак. — Советская власть тебе верит. Пока...

— И как сотрудник я вижу, что нам нельзя ошибаться, что эти ошибки сейчас же будут использованы врагом. Ведь если бы я вместо объективной научной экспертизы выступил с политической оценкой фильма и с обвинениями, что очень нужно генералу, то я, по существу, проделал бы его работу и снял бы с него ответственность за их предстоящее решение.

— А тебя, старик, оно беспокоит? — полюбопытствовал Бруэжак.

А Кассиан Дамианович даже остановился:

— Разве ты не знаешь, что за каждый твой шаг отвечает батька?

— Именно поэтому я и обдумываю все свои шаги.

— Ничего, старик. Я уже написал другое заключение, — сказал Бруззжак. — И политическую оценку дал. И взял на себя ответственность, которой ты так боишься.

— Когда же ты успел? — удивился Федор Иванович.

— Ночью, старик, ночью. Когда ты спал.

— А я думал, что ты...

— Он все успевает, — заметил академик, хихикнув.— Голова об экспертизе думает, а уста признаются в любви.

Так, искусственно беседуя и все больше нагнетая злую напряженность, они пересекли по мощеной дороге поле и свернули к трубам. Тут в разрыве между концами труб Брузжак остановился и некоторое время холодно смотрел в железный зев, который, казалось, был готов принять маленького человечка. Затем тронулись дальше и подошли к забору. Кассиан Дамианович увидел желтые печати на калитке и усмехнулся.

— Значится, это здесь... Ну-ка, покажи нам, как ты умеешь нарушать закон.

Федор Иванович отошел в сторону и с разбегу, схватившись за верхний край забора, одним махом перескочил его. И очутился в знакомом внутреннем дворике с альпийской горкой посредине. Захваченные врасплох духи запустения метнулись по углам, и что-то тоскливо стеснило грудь. Дворик начал зарастать сорняками. Темная зелень георгинов разрослась, полностью скрыв валуны.

— Эй! Ты забыл про нас? — окликнул с улицы академик.

— Сейчас, Кассиан Дамианович. Сейчас помогу.

— Помогу!.. — академик насмешливо крякнул. — Ты забыл, что твой батька когда-то был Касьян.

В край забора вцепились напряженные сухие пальцы. Длинная нога в ботинке и в белой обмотке стариковских подштанников под завернувшейся штаниной закинулась на забор. С минуту в такой позе академик сопел, накапливая силы, потом рванулся, и туловище его перевалилось через дощатый край.

— Держи! — успел он простонать, и Федор Иванович принял тяжелое костлявое тело.

Став на ноги, академик огляделся.

— У нас с тобой, Федя, это прилично получается. Сразу видно, хлопцы из народа. — И шагнул к альпийской горке. — Что это у него тут?

— Георгины.

— А там, внизу, ничего нет? Под георгинами?

— Камнеломка. Троллейбус здесь разводил цветы.— И отведя в сторону охапку темной цветочной листвы, прикрыв рукой не вовремя развернувшийся картофельный цветочек, тут же и отщипнув его, Федор Иванович показал академику голубой коврик из камнеломки, сквозь который проглядывали валуны.

— Цветочками занимался... — задумчиво проговорил Кассиан Дамианович. Его степные выцветшие глаза уже покинули альпийскую горку, уже шарили вокруг.

— Так, значится... — он понизил голос. — Заметь себе, Федя, тебе сейчас нельзя ошибок допускать. Генерал сильно тобой заинтересовался. Попкой вертит. Как кот на мыша... А это куда ход? — Кассиан Дамианович шагнул к калитке. У калитки вдруг вспомнил: — Саул! Ты что?

За забором было тихо.

— Помоги ему, — шепнул академик.

Федор Иванович нащупал ногой прожилину забора и перескочил на ту сторону. Он сразу увидел своего врага, висевшего на вытянутых руках на заборе. Саул сумел уцепиться за край, но на это усилие ушла вся его энергия, и теперь, вися, он с каждой минутой слабел еще больше.

Федор Иванович мог бы насладиться его бедой, но об этом как-то не подумалось. Чувствуя острую неловкость, глядя в сторону, он подошел к Бруззжаку.

— Федя, под микитки его бери, — негромко подсказал из-за забора Кассиан Дамианович.

И взяв «под микитки» довольно тяжелое жирное тело Саула, Федор Иванович поднял его и перевалил через забор. Там принял его академик.

Потом они все трое молча стояли несколько секунд. Не глядели друг на друга. Кассиан Дамианович не удержался, пыхнул под нос смешком:

— Пх-ух-х! Как же ты справлялся там? Куда ночью ездил...

Ответа не было. Академик пошел к калитке, и там негромко сказал Федору Ивановичу:

— Кому что... Он же действительно и заключение успел написать. Острое. Отослали сегодня...

Молча они прошли к огороду, побрели в обход.

— Что это за картошка посажена? — спросил академик. — Как ты думаешь, Саул Борисыч, какой сорт?

Он хотел протянуть руку Брузжаку, вывести из неловкости. Но нечаянно нанес второй удар.

Саул, сорвав лист картофеля, осмотрел его и, бросая, обронил с докторской уверенностью:

— «Ранняя Роза».

— Федь, а ты что скажешь? Только не ври. Я знаю тебя, ты уже хочешь мне соврать. Не ври. Даже из высших соображений.

Федор Иванович действительно хотел согласиться с Брузжаком. Душа его еще не успокоилась после конфуза, приключившегося с Саулом при взятии забора. И он знал, что самолюбивого Брузжака ждет новая рана. Не хотелось его казнить.

— Чего молчишь? Я тебе не разрешаю врать. Какой это сорт? Мне это нужно.

— «Обершлезен», — сказал Федор Иванович.

— Почему «Обершлезен»? Докажи. Мне нужно.

— Потому что из всех картошек только у «Оберлезена» вот такая односторонняя, асимметричная рассеченность листа. А на концах плющелистность... Вот она... Срослись концевые доли... Других таких сортов нет.

Не только Саул — и Кассиан Дамианович сел в глубокую калошу с этим неудачным вопросом. Не очень хорошо знал старик сорта, хоть и считался главным авторитетом по картошке. Проблемы идеологии все заслонили. Проблемы глубокой философии. Но он умел вывертываться из трудных положений.

— Тя-ак, Федя... — сказал, задумчиво топчась на месте. — Тя-ак... Тебе, сынок, ставлю пять. А доктору Брузжаку — кол. В вопросах философии, психологии, знании враждебных нам теорий... Если статью какую написать — тебе, Саул, нет равных. Но картошку ты не знаешь. Поэтому Федьку моего не трогай. Он знает свое дело. И ты, Федор, тоже не заводись. Саул шуткует. Батька не допустит, чтоб до когтей дошло.

Саул ничего не сказал. Он ушел в себя, ничего не слышал, не мог дышать. Побледневшее рыбье лицо его окаменело. Он никогда не упускал случая зло востор-

жествовать над каким-нибудь неудачником, любил присоединиться к группе, топчущей одного. Рвался терзать упавшего. И страдал, если такое дело не удавалось — это сразу же было видно. Но еще больше страдало его самолюбие, когда сам попадал в щекотливое положение, и особенно, если нечаянный обидчик замечал свою оплошность и щадил его. Федор Иванович хорошо знал Саула. Да и Кассиан Дамианович видел все и, морщась, поглядывая на Саула, старался внести разрядку. Он берег своего хорошего собаку.

— Вейсманисты-морганисты, ох и народ! — заговорил он. — Помнишь, Саул Борисович, как мы с тобой в Ленинграде вышибали их из института? Этот случай надо внести в анналы истории. Никак не могли, Федя, вышибить. Все равно как пень дубовый колоть приходилось. Тогда мы еще не располагали таким оружием, как приказ министра. Тебя тогда с нами не было, мы вдвоем проводили кампанию. Я и Саул Борисович. Представь, ученый совет там... Уперся и не дает их трогать. Так что мы сделали? Вернее, что Саул придумал. Я ж тоже закаленный боец — и представь, растерялся. А он предложил пополнить состав ученого совета представителями общественных наук. И все — институт очистили от схоластов. Пень раскололся. Это ты, Саул Борисович, твоя гениальная башка. Так что не вешай нос, талант твой нашел признание. А что шуткуем иногда — не обращай внимания. Классическая была операция!..

Бruзжак молчал. Похвалы академика не спасали положения, потому что Саул знал, как на эти вещи смотрит «правая рука».

— Глянь-ка, Саул Борисович, — продолжал академик как ни в чем не бывало. — Ежевика у Троллейбуса прямо нависает над картошкой. Видишь, как прет? Это ж такая сволочь, ее каждый год надо вырубать. Скажу тебе, он попотел над этим огородом. У тебя нет мыслей на этот счет?

— Конечно, есть! Так потеть — и только для того, чтоб этот... «Обершлезен» посадить... — сказал Брузжак, обращаясь только к академику.

— И у меня есть мысль, — заметил Федор Иванович. — Даже не мысль, а уверенность. Я думаю, тут дело так обстоит. Он договорился с кем-нибудь, у кого участок. И высадил у того человека все свои экспери-

ментальные растения. Ему и нужен-то всего пятачок земли. И новый сорт там же высадил. А пищевую картошку, которую тот человек сажает для своих нужд, он посадил на этой усадьбе. Человеку прямая выгода: дал пятачок земли, а получил добрых восемь соток. И сорт хороший ему посадили. Три тысячи кустов...

— А есть у тебя что-нибудь конкретное? На чем строишь эту догадку...

— Этот человек сторожит свою картошку, — уверенно и энергично сказал Федор Иванович и округлил глаза. — Он лежку себе устроил в ежевике. Я сколько раз пробовал поймать... Сразу срывается и летит, как кабан. Не дает подойти...

— Хитрый какой кабан... — академик загадочно улыбнулся. — Боюсь, Федя прав. С носом оставил нас Троллейбус. — Тут улыбка его погасла, он уныло посмотрел на картофельное поле. — Иначе где ж еще все его посадки? Эта версия серьезная, ее надо проверить. Только где ж этот человек живет?

— То-то. Все торопитесь с Саулом Борисычем. Ударить, разогнать. Подряд чешете. Я же говорил: линию, линию надо вести. Тонко, обдуманно. Поспешили... Теперь где мы его найдем, этого человека? До осени придется ждать. Осенью копать урожай заявится.

— Так это ж и там будет все выкопано. На пятачке...

Все трое замолчали. Нечаянно обернувшись, Федор Иванович увидел: академик и Бруզжак пристально смотрели друг другу в глаза. Сразу сообразил: им от Краснова известно многое про этот огород. Поэтому он пошел напрямик.

— Все мешаете мне. Следователи... Иногда думаю даже: может, это ваш... кабан в ежевике. Как подойду — сразу срывается, летит напролом...

— А зачем ты к ежевике подходишь, сынок? Пусть кабан лежит в ежевике, если ему нравится.

Федор Иванович посмотрел с изумлением.

— Так я же говорил! Я думал, это тот человек... А если он ваш, что же не сказали? Думаете у меня приятнее нет дел? Я же вон восемь бочек натаскал воды.

— А зачем тебе, старик, таскать воду для чужой картошки? — спросил Бруզжак. — Чужая же картошка, пищевая! Зачем?

— Кассиан Дамианович, я так не играю, выхожу из игры. Вы же сами рекомендовали одному товарищу

медом вымазаться. Точка. Больше ишачить здесь не буду.

— Не нужно ишачить, Федя. Не нужно.

— И мед весь сегодня же смываю.

— И мед больше не нужен. Смывай мед.

— Ну и прекрасно. Дышать будет легче. Надоело в сыщиках ходить.

И Федор Иванович решительно пошел с огорода. За ним двинулся академик. По пути он заглянул в пристроенную к дому тепличку и вскоре вышел с пустым глиняным горшком в руке. Разочарованно уронил горшок и горько, криво полуоткрыв рот, собрав на одной щеке морщины, пошел за Федором Ивановичем к забитой калитке. Они оба перелезли через забор, и Федор Иванович, как и в первый раз, принял академика на руки. Только держался суровее.

— Подержи, подержи, — сказал Касьян, лежа у него на руках. — Все-таки, Федя, выдержка у тебя есть. Это батька заметил и оценил.

Поставив старика на ноги, Федор Иванович перелез опять во двор и, разведя руки, подошел к Бруззжаку.

— Обнимемся?

Академик, глядевший в щель, чуть слышно сказал за забором: «Х-хы!» Бруззжак молча подставил жирную круглую спину, и Федор Иванович, крепко подхватив его «под микитки», взгромоздил своего молчаливого недоброжелателя на забор, и с той стороны сердитого и самостоятельного доктора наук принял Кассиан Дамианович.

А когда Федор Иванович полез на забор, чтобы присоединиться к двоим, которые, между тем, не ожидая его, тут же тронулись в путь и о чем-то горячо заговорили, — когда он взлетел над забором и перекинул ногу, он застыл в этой позе: неподалеку от опечатанной калитки стояли два молодых человека в простых, не новых пиджаках — не рабочие и не интеллигенты, с размытыми круглыми лицами. «Может, наши студенты? Актив?» — подумал он. Стояли симметричной парой, полуобернувшись друг к другу. Они видели всю процедуру форсирования опечатанного домовладения и неопределенно улыбались.

Академик и Бруззжак остановились в разрыве между концами труб. Как раз, когда Федор Иванович подошел, Саул шагнул в темный зев трубы и стал там, слегка наклонив голову.

— Вполне может пройти...— сказал он, нарочно не замечая Федора Ивановича.— Он ходит здесь.

На это академик, вспыхнув каким-то черным огнем, кинулся в другой зев и там, сгорбившись, стал на четвереньки, причем, ему пришлось согнуть и ноги в коленях. Не выдержав муки, тут же, охая, и выбрался на волю.

— Нет, исключено... — сказал он.— Тут не проползешь и метра — издохнешь. Впрочем,— он присмотрелся к Бружжаку.— Тебе, пожалуй, подошло бы. Ты сходи туда, до конца. Проверь, как там оно... А мы тут подождем.

Труба, вибрируя, ритмично задышала. Шаги Бружжака стали удаляться.

Академик довольно долго молчал. И Федор Иванович, поглядывая на него, не спешил нарушить молчание. Наконец, Кассиан Дамианович сказал:

— Ладно, не заводись. Я, конечно, не Саул, и я тебя понимаю. Никакой ты не враг. Но что мамкин сынок, это точно. Нет, тебе не доставляет удовольствия страдание даже врага. Но, пока враг не страдает, тут ты можешь, в мечтах, расправляться с ним. Ты, конечно, стараешься работать. Вижу. Но я пронаблюдал тебя, как ты с Саулом... Когда он тебя дергал за эти самые... за самое больное... Я нарочно смотрел. Ты готов был кинуться. И если б кинулся, Саул не встал бы. Это мне понравилось. А как дошло до дела, до забора, что я вижу! Федька мой уже жалеет его. Уже размяк! Вот это — ты. Такие вы все, интеллигенты. И с картошкой тоже. Когда я экзаменовал вас, ты ж, Федька, начал его жалеть! Это ж надо — собой решил прикрыть! Я это в тебе давно заметил. Я так и сказал ему, Бружжаку. Федька, говорю, не гончий собака. Не для крови и не для цепи. Он — хороший, ценный кобель для перевозки грузов. Ездовый. Нет ему цены. Говорю, Федьке бороться с врагом мешает душа. Он, говорю, тебя, дурака, от меня прикрыть хотел. А ему, Федя, эти слова как табак в глаза. Понял так, что я тебя хвалю. И на стенку сразу полез. Даже на меня голос поднял. Говорит, идеализм. Богдановщина. Каратаевщина. Пришивать он умеет. Так что, Федя, на Троллейбуса я тебя зря пустил. Надежда на тебя плохая. Вернее, никакая. На Саула приходится опираться. Саулу ничто глотку врагу перекусить. Науку я по-прежнему тебе оставляю. А ес-

ли что коснется людей — тут будет действовать Саул. Я думаю, тебя устроит такое распределение?

Труба опять завибрировала, послышались шаги, и, наконец, из зева показался Брузжак.

— Труба упирается в стену из колючек. Хуже колючей проволоки. Никому не пролезть. Надо броню надевать. Похоже, что этот путь действительно исключается.

Все трое отправились дальше и почти всю дорогу молчали. Из-за Брузжака, который по-прежнему был бледен и не замечал Федора Ивановича. Простились они там же, где и встретились утром — у крыльца. Академик пожал руку Федора Ивановича и подмигнул.

— Насчет дел буду звонить.

Брузжак все-таки принял руку, протянутую Федором Ивановичем. Но, пока длилось многозначительное рукопожатие, смотрел гордо и прямо, как дуэлянт.

Они удалились, не оглядываясь. Поглядев вслед, Федор Иванович тут же и забыл о них. Другое вытеснило: те два молодых человека с круглыми лицами, что стояли неподалеку от калитки, полуобернувшись друг к другу. И еще — интерес Саула к трубе. «Возможности этой трубы уже известны и там, — подумал он. — Эта труба может стать хорошей ловушкой». И душа его сделала движение — бежать туда, к ежевике. «Ночью проверю, — остановил он себя. — Ближе к назначенному часу. Но проверить надо». И он был прав.

Ночью — около часу — он, рассовав по карманам бутылку со сливками, пачку масла и пакет с кашей, весь подтянутый и напряженный, мобилизованный предстоящим делом, незаметно углубился в парк. Уже идя в парке, он отрабатывал неслышность шага. И полевой дорогой он шел по краю, пригнувшись. Иногда, присев к земле, оглядывался, не замечая мягкой теплоты майской ночи. Слушал, привыкая к тихому фону поющей земли. Ловил случайные звуки. Далекая тягучая трель козодоя растягивалась, становилась все тоньше и никак не могла оборваться.

Он подошел совсем неслышно к трубе — чуть не доходя до разрыва — и, присев, послушав ночь, пошел по знакомой тропинке вдоль теплой трубы назад. Он шел уже отработанным шагом, и случайные былинки не ломались под его сапогом, не нарушали тишины. Долго и монотонно он двигался так — и вдруг сильно потяну-

ло табаком. Он присел, стал слушать. Ничего не было слышно, но струи воздуха по-прежнему пахли сигаретным дымком. Звали. Федор Иванович страстно вдохнул несколько раз этот воздух, ему захотелось курить. «Если бы курил как раньше — не заметил бы»,— подумал он. И тихо заковылял на четвереньках дальше. Всего несколько метров одолел, и вдруг увидел их. Две неподвижные черные головы на зеленом фоне неба. Замер. Чувствуя удары сердца, переводил дыхание, смотрел. Двое не двигались, не говорили, только дымок то и дело прилетал. Неслышно повернувшись, Федор Иванович заковылял обратно. Да, это были они. Ждали Троллейбуса около щели между трубами, заняли удобное место. Троллейбус, Леночка Блажко, Федор Иванович — для них это были внутренние враги, пятая колонна империализма. И было удивительно, что Федор Иванович увидел их первым. Сумел подойти вплотную, повернуться и уйти.

Он выпрямился и неслышно шагал на мягко приседающих ногах. Неслышно, но быстро. Перед разрывом опять опустился на четвереньки. Здесь тоже должны были стоять. Он неслышно высунулся из-за трубы, перебрался через дорогу ко второму зеву — и вовремя. Тонкий лучик карманного фонаря лег посреди дороги, удлинился и исчез. Бывший пехотинец-фронтовик снял сапоги и сунул их под трубу. Хотел было забраться в дышащий теплом зев, но опять белый лучик лег на дорогу и стал удлиняться, ощупывая темноту. Потом погас. Федор Иванович вынул из-под ноги ком еще не просохшей земли. Сжал его, смял в шар, покатал в руке. Примерился и бросил — далеко за то место, где рождался лучик. Сейчас же белая искра вспыхнула и заметалась беспокойно. Исчезла, мягкий луч погрузился в заросли ежевики, долго шарил там и погас. Вслед за первым шаром полетел второй. Искра вспыхнула, затрещали ветки. Потом — что было потом, Федор Иванович не слышал, он осторожно ковылял по трубе, удаляясь от зева, стараясь не разбудить глубоко уснувшее железо. Он двигался по той самой железной трубе, которая, наконец, дождалась его и теперь предоставляла ему на выбор свои два единственных пути — вперед или назад.

Он ткнулся головой в шипы, тонкие иглы вонзились в лоб и темя. Острая боль напомнила, что он не взял

рогульку, которую припас с вечера. Спустив один рукав куртки и намотав его на кулак, он нащупал большой сук, уперся в него, сильно нажал — и вся колючая стена отодвинулась. И человек свалился вниз, под трубу. Пополз назад, перелез в канаву. И тут, под кровлей из колючек, на подстилке из сена и тряпок он нащупал ногу в сапоге. Подвигал ею с нежностью, она зашевелилась, подобралась, уползая куда-то, и вместо нее прямо в лицо Федора Ивановича уперлась лохматая голова Стригалева.

— Иван Ильич!

— Ага. Я,— был тихий ответ. — Давайте, я буду сейчас говорить...

— Нет, я. Трубой уходить нельзя. Там стоят. В двух местах.

— И в проходе?

— Именно. Самое главное. И фонариком посвечивают.

— Та-ак... Дела... Значит, и этот ход засекли. У меня еще есть хода. Выйду. Жаль, во двор нельзя. Там тоже сидят. Так что с новым сортом...

— Потом, Иван Ильич. Разберемся. До осени далеко.

— Теперь я надолго исчезну. А вы наблюдайте. И работайте. Через месяц приду за сведениями.

— А как же сливки? Вот тут я принес... И деньги вот...

— Давайте. Ладно... Может, еще к вам как-нибудь загляну, поговорим. Вы куда сейчас?

— Пойду обратно трубой.

— Так вас же...

— Скажу, Троллейбуса ловил.

Они неслышно засмеялись оба, хлопая друг друга по спинам. Потом обнялись и неуклюже поцеловались. И Федор Иванович пополз назад.

Иван Ильич полежал немного в своем логове. Обдумав предстоящий путь, пополз в сторону огорода, добрался до первого ряда картошки, который специально был здесь высоко окучен, перевалился в глубокое междурядье и ползком двинулся под уклон, к ручью. Он был пуганым воробьем. Не достигнув еще воды, он свернул под свес крайних кустов ежевики, и под ним спокойно

добрался до открытого места, где от невидимого в темноте моста, чуть белея, шла мощеная дорога. По темной обочине он и пошел неслышно — тем мягким плывущим шагом, который и делал его до сих пор союзником ночи, никак не дававшимся в руки его удивленных ловцов. Ему нужно было добраться до парка.

Ритм шага вносил порядок в мысли беглеца, успокаивал. Вскоре он ощутил над собой незримый провод, поднял к нему лицо и зашагал ровнее. Он ведь был Троллейбусом и не мог не следовать за проводом. Сначала к нему подступила давняя и нерешенная проблема — как опылять картошку, если пыльцевые трубки короче пестика и не достигают завязи. Конечно, удвоение хромосом может помочь. Но может и не помочь. Открываешь новое окошко и думаешь: теперь-то все проблемы будут решены. А за новым окошком целый новый мир с целым новым миром новых проблем. И еще больше закрытых окошек. Если еще раз попробовать — надрезать рыльце тончайшим лезвием и ввести туда зерна пыльцы?.. Уже ведь надрезал... Иван Ильич видел далеко впереди какое-то решение, оно мерцало перед ним, было близко, и он ускорил шаг... А когда скорость прибавилась, где-то близко замаячил красивый эксперимент, связанный с этим опылением. Там был и «Солянум контумакс». Он уже цвел — кремовые цветочки с оранжевым центром. И вокруг были грядки, и на них — сплошь его перспективные картошки. Все цвели. Вот белый цветок — дикарь «Чакоензе». Дальше — голубой глазок с желтым сердечком. «Демиссум». А вот семья — от бархатистого красно-фиолетового до почти черного, целый набор. Как узумбарские фиалки. Многовидовые гибриды с участием дикого «Солянум пурэха». Все поле обсыпано цветами. И все — картошки. И он собирал с них пыльцу в стеклянные трубочки...

А вокруг— справа и слева возникали нежные голоса, но Троллейбус их не замечал. «Иван Ильич!» — позвал кто-то слева. Он оглянулся, но никого около него не было — везде цвели картошки. Он ускорил шаг. «Да, это он,— сказал кто-то справа интеллигентным юным голосом.— Иван Ильич! Куда вы так бежите? За вами не угонишься!» И слева: «Иван Ильич! Это же невежливо!»— со смехом, с молодым, беспечным смехом. Зашумела машина, подъезжая. Фонарик засветил ему в лицо. Люди стояли и смеялись. Неуловимый несся сам в

руки. «Пожалуйста, сюда, правее»,— сказал кто-то. Его схватили сразу двое — справа и слева,— третий подхватил под ноги, и втроем его ловко вбросили в машину.

А Федор Иванович как раз подползал в это время к открытому зеву, выходящему в разрыв между трубами. Круглый зев чуть светился — слабым зеленым светом майского ночного неба. И там чернела человеческая фигура. На обратном пути Федор Иванович не очень берегся, и железная труба раза два недовольно вздохнула во сне. Так что его ждали там, у выхода. И когда он приблизился почти вплотную, кто-то сунулся навстречу и тихим полушепотом позвал:

— Иван Ильич!

Федор Иванович не ответил.

Ярко вспыхнула искра фонарика, белый луч пучком иголок вонзился в глаза, ослепил.

— Федор Иванович!— ахнул кто-то.— Вы что тут делаете?

Он узнал этот голос. Это был полковник Свешников.

— Что делаю?— неторопливо, с горьким торжеством, с разочарованием и тоской начал отвечать Федор Иванович, нарочно затягивая время.

Он ведь уже начинал было видеть в Свешникове того великого человека, о котором Стригалев сказал ему во время первого ночного посещения. Тайного борца, начальника императорских телохранителей, попавшего в самые знаменитые святые. Уже привык к этой своей догадке и проникся соответствующими чувствами. И вот — увидел его у трубы, с фонариком.

— Что, говорите, делаю?— Федор Иванович мстительно любовался захваченным без маски полковником При этом оба выбирались из трубы.— Значит, надо было делать что-то, вот и забрался. Решил вот проверить... Увериться. Кто такой полковник Свешников. А то все сомневался...

— Зачем вы здесь?— заорал Свешников исступленным шепотом.

— Троллейбуса ловлю. Как и вы, любознательный даритель грима. Только у меня своя метода. Теперь я у Троллейбуса самое доверенное лицо. Нам с академиком ведь нужно его наследство, а не он сам. Личность нам не нужна. Нам даже лучше, если он будет гулять и бла-

годарить меня за спасение. Я опередил вас! Теперь он мие по гроб...

— Вы были у него?— тихо и с отчаянием закричал Свешников и страшно весь сжался. Это сразу встревожило Федора Ивановича.

— Я сказал ему, что здесь его ждут. Караулят. С фонариком...

— Что вы сделали! Не здесь, а там его ждут!— полковник оттолкнул Федора Ивановича.— Не путайтесь под ногами!

И рванулся куда-то, высоко подняв руки, напрямик ломясь через колючие кусты. Что-то бормоча.

И Федор Иванович, сразу поняв все, сунув ноги в сапоги, понесся за ним. Обдирая лицо и руки колючками, как ножами, быстро догнал Свешникова. Полковник, охая и шипя от боли, выбирался из кустов назад.

— Ничего не выйдет. Дорогой придется...

И они побежали рядом по дороге.

— Дернула нелегкая... Появился здесь...— бормотал полковник.— Теперь не перехватим... Круг даем...

Первым выскочил к открытому месту Федор Иванович. Перед ним белела укатанная мощеная дорога, и в нескольких шагах от нее, ближе к невидимому мосту цвели два малиновых огня автомашины. Чуть были слышны малые обороты мотора. Машина медленно ехала. Потом остановилась. Из нее выскакивали люди, перебегали из задней дверцы в переднюю и назад, о чем-то хлопоча. Топтались около задней дверцы. Наконец, набились все в машину, толклись в ней, не могли усесться.

— Иван Ильич!— позвал высоким отчаянным голосом Федор Иванович, подбегая, и схватился за заднюю дверцу, не давая ее закрыть.

— Нет здесь никакого Ивана Ильича,— отрезал молодой интеллигентный голос из машины. Остальные сжались, молчали.

— Да как же!— еще отчаяннее закричал Федор Иванович.— Вон же он! Вон его волосы! Иван Ильич!

Он еще крепче вцепился в дверцу. Нагнулся, вглядываясь. Полез в темное нутро машины. Там все время шевелилась плотная живая масса. Потом послышался смешок, и из темноты показалась тонкая нога в хромовом глянцевом сапоге и уперлась ему в грудь. Сильный толчок отбросил его. Машина, рыкнув, рванулась с мес-

та. Федор Иванович крепко держался за дверцу, и потому его бросило навзничь иа мостовую. Тут же ои вскочил, принялся быстро шарить вокруг, ища камень.

А машина уже была далеко, мотор ее успокоился, малиновые огни, убывая, погружались в область снов, соединялись с ночью.

Из кустов вышла темная фигура — полковник Свешников. Приблизился, вобрав голову, надевая приплюсиутую толстую кепку. Он был в толстом темном пиджаке почти до колен, похоже, с чужого плеча. Долго молчали оба, глядя в темеиь, туда, где скрылась машина.

— Не воротишь,— Свешииков жестко отчекаиил эти слова. Потом обернулся к Федору Иваиовичу:— Суетесь! Болтаетесь под иогами, тибетец... Метете все перед собой...

Федор Иваиович ие сказал ничего. «Это же они и ее брали»,— подумал он.

— Да бросьте вы, что это у вас? Булыжник? Бросьте,— полковиик ударил его по руке, и камеиь, стуча, покатился по дороге.

— Я видел сапог...— шепнул Федор Иваиович.— Из машины высунулся.

— Сапог...— Свешникова передериула усмешка.— Вас-то что сюда прииесло?

— Меня дело принесло. Служба. Вот вы что там делали... с фонариком? Руководили операцией? У вас кровь на лбу...

— Руководил операцией специалист... Парашютист... Ай-яй-яй!— ои рваиулся было бежать куда-то, но остановился и медлеино прошелся кривым кругом. Согиувшись, как будто у иего заболел живот, тряхнул головой. Федор Иваиович недоверчиво наблюдал за ним.

— Что за парашютист еще?.. Вы не первый раз о нем...

— После, после... А решили исход все-таки вы, дорогой Федор Иваиович. Можете и это себе в актив. Вы же собираете такие воспоминания... Шепнуть могу Кассиаиу Дамиановичу. Чтоб отметил вас.

Оии молча долго шли по дороге к парку.

— Вообще в эту ночь лучше бы вам спать дома,— сказал наконец Свешников.— Загадочная вы фигура... Зачем вы полезли к машине? Покататься в ией захотелось? Чего это вы крик там подняли?

— Тут закричишь...— Федор Иваиович уже опомиил-

ся, напряженно искал ответы.— Он же мне так и не сказал, где у него новый сорт. А обещал сказать...

— Нет, вас не поймешь... Надо же, как складывается иногда... Мгновения какие бывают... Кто затесался!.. Так хорошо было все продумано.

— У кого?

— У них хорошо. А у меня еще лучше. И вот... Кто вы такой, Федор Иванович?

И, умолкнув, сойдясь ближе, они долго смотрели друг на друга.

VII

Проворочавшись на своей постели в течение остатка ночи, вспомнив все слова и движения Свешникова, его бег через кусты и кровавое исцарапанное лицо, подвергнув все недоверчивому пересмотру, Федор Иванович пришел к выводу, что полковник сидел около труб со своей собственной задачей. Он, видимо, хотел перехватить там Стригалева и направить по другому пути, мимо расставленных неким парашютистом засад — все они полковнику были известны. Целых два человека старались спасти Ивана Ильича, и в результате он оказался там. «Действовал из лучших побуждений и в результате погубил еще одного хорошего человека». Эта мысль без конца ударяла, била, как таран в ворота. Узнать бы, каким видит себя в этой истории полковник... «Нет, я полез, я главная причина. Без меня все прошло бы хорошо».

Но Федор Иванович был не из тех, кто склонен безрассудно и сверх меры казнить себя. К утру, устав от угрызений, он стал думать спокойнее. Он уже видел всю цепь причин и следствий. Сразу, как только немного остыл, он понял, наконец, что ни он, ни полковник — не главные звенья в этой цепи. Могло и так получиться, что он не пошел бы ночью предупреждать Стригалева, лег бы спать, а утром его ждала бы уже новость об удачной княжеской охоте на схоласта. Потому что в разрыве у труб ждал бы не полковник, а те двое — слабо улыбающиеся, молодые. Могли бы ведь и так расположиться карты. Вот тогда бы действительно был виновен он, Федор Иванович. А сейчас, когда в картине стали видны и передний план, и все ее глубины, все больше вырисовывались отнесенные далеко назад, в дымку,

две египетские статуи, вырубленные из песчаника множеством прилежных работяг. Одна громадная, тощая, с угловатыми плечами и с челкой на лбу, другая — меньше, как будто детеныш первой, сделанная из осколка той же скалы, тоже тощая, с узким лицом и непропорционально большой шевелюрой. И стало видно, что и Федор Иванович, и полковник Свешников делали то, что им полагалось делать. Единственное, что можно было бы поставить им в вину,— это то, что, действуя на виду у этих каменных богов, они слишком долго присматривались друг к другу, так и не успели сделать открытий, рождающих полное доверие, а вернее — знание человека. Если бы успели, все, может быть, кончилось бы иначе.

Кто же этот парашютист? Такой вопрос Федор Иванович тоже несколько раз задал себе в эту ночь. Он, в общем, догадывался, что Свешников дал это название меньшей из статуй. Эта мысль родилась сама собой, ею повеяло еще там, на дороге, и неизвестно откуда. Но она укрепилась, когда, расставаясь с полковником и ощупывая при этом ушибленное плечо, Федор Иванович вдруг заметил, что Свешников угрюмо смотрит туда же, на место ушиба, и качает головой. Собирая губы в трубку, он словно хотел поставить какую-то последнюю точку. И эта точка, наконец, была им поставлена:

— Сапожок-то... Узнали?..

После всех этих размышлений возникла настоятельная потребность встретиться еще раз и выведать все до конца. Похоже, что и с той стороны такая потребность тоже была. Потому что, выйдя на следующий день после работы прогуляться по Советской улице со слабой надеждой встретить Свешникова, Федор Иванович почти сразу, у сквера, увидел полковника. И тот сразу же направился к нему. В своем штатском костюме светло-табачного цвета этот лысеющий рыжеватый блондин с широченным торсом был похож на спортсмена-гиревика. Глаз его не было видно — он уже улыбался добродушной профессиональной улыбкой. Здоровая алая кровь играла под прозрачной нежной кожей щек, мягкие розовые губы, окруженные неуловимым золотом бритой щетины, все время жили, изображая ясный ум, хорошее настроение, власть и чуть заметное превосходство над

избранным для беседы настороженным и неглупым кандидатом наук. И Федора Ивановича сразу же озарила мгновенная и четкая мысль: почему всегда в первую минуту встречи со Свешниковым возникают такие определенные и острые прозрения, в общем, благоприятные для этого человека?

— Здравствуйте, полный подозрений человек,— сказал полковник, протягивая ему толстую и добродушную крапчатую лапу.— Я так и знал, что вы выйдете сюда, чтоб встретить меня. Пройдемся? Не возражаете?

— Я для этого и пришел сюда,— строго сказал Федор Иванович.

— Хорошее начало!— Свешников стал еще веселее.— Пойдем вниз по скверу. Не возражаете?

И они пошли по скверу между двумя рядами свежезеленых лип.

— У вас очень строгий вид,— сказал Свешников.— Учитесь властвовать собой, не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет.

— Заменять серьезное выражение лица... более соответствующее ожидаемой беседе... излишне веселым — не значит властвовать собой. Веселье больше похоже на неуверенность.

Открыто улыбающееся мягкое лицо полковника на миг словно обсыпалось неуловимой пылью — он отреагировал на недружелюбную настороженность Федора Ивановича. Но алая кровь есть алая кровь. Розовые губы приятно задвигались, как бы выбирая слово поплоше, поакладистее, светло-серые с желтизной глаза, показав на миг бьющее веселье, закрылись от улыбки. Он ничего не говорил, только щупал губами какие-то слова и все смотрел, смотрел на Федора Ивановича.

— Вот сюда теперь свернем, а?— весело сказал он.— Не возражаете?

«Куда он меня?..— подумал Федор Иванович.— Ладно, пойдем, посмотрим».

— Чему это вы так радуетесь все время? — спросил он.

— Нам с вами на улице нельзя быть серьезными. Учитесь властвовать собой. Улыбайтесь. Теперь на минутку сюда.— Полковник подошел к будке телефона-автомата.— Я команду передам. Если не будете против.— Он вошел в будку, проворно сунул монету, завертел диск. Замер, слушая.— Это ты, Петрова?— спросил

строго.— Почему не рапортуешь, как положено? Ладно, мы уже идем. Как с кем? С кем говорил. Вот с этим самым. Я был прав, чутье меня не подвело. Так что вот... Минут через пятнадцать...

Он повесил трубку и вывалился из будки.

— Пойдемте дальше. Вы ничего не спрашиваете, это хорошо.

— Пока ничего не спрашиваю,— сказал Федор Иванович.

— Нет, здесь направо...

Они свернули в переулок. Теперь шли молча. Один что-то готовил, другой напряженно ждал.

— Вот сюда,— Свешников, взяв под руку, повернул его в подъезд пятиэтажного дома из серого кирпича.— Пойдемте. Осталось немного. Вот, по лестнице... А теперь сюда...

— Куда это вы меня?— спросил Федор Иванович, останавливаясь.

Страх давно уже сдавил Федора Ивановича. Но, сжав затвердевшие губы, он заставил себя идти. «Пойдем, посмотрим. Проявим... Не знаю, можно ли это назвать мужеством...» Свешников подвел его к двери, окрашенной в шоколадный цвет, и сунул латунный ключ в замок. Дверь открылась. Легко запахло жаренным на масле тестом.

— Мы пришли ко мне,— сказал он, пропуская Федора Ивановича в коридор.— Попробуем жениных пирогов Наверное, еще не остыли.

Федор Иванович остановился.

— Сейчас вы перестанете улыбаться. Все-таки, вы, Михаил Порфирьевич, профессионал. И от этого, не знаю, уйдете ли когда-нибудь. У вас у всех в крови... Есть манера — показывать остренький зуб всем и каждому. Весело пугать. Так это... покусываете. Ведь вы должны же знать, чего может ожидать человек от общения с вами! Еще в Библии сказано: будь осторожен в дружбе с имеющими власть лишать жизни. Если кусать — надо только всерьез. А вы играете. В смерть...

Свешников выкатил белые с серым глаза. Федор Иванович, подняв на него спокойный благосклонный взгляд, продолжал с легкой грустью:

— Вы что — забыли, где мы с вами встречались ночью? Забыли, что происходит? Я не буду сегодня есть

у вас пироги. Сегодня у нас будет очень серьезный разговор.

За стеклянной дверью, ведущей из коридора в комнату, кто-то пел, какая-то женщина с полным молодым низковатым голосом. Вместе с пением слышалось и постукивание щетки, завернутой в тряпку. Там шла уборка. Женщина пела со старомодными эстрадными подвывами в голосе, но слова были серьезны: «Мы идем на смену ста-арым, утомившимся бойцам — мировым зажечь па-ажаром пролетарские сердца!» Все было очень естественно, и Федор Иванович тут же сообразил, что во времена молодости этой женщины даже под гитару, даже весной, в парке звучали именно такие слова, и не мешали молодой жизни.

— Настя! Покажись! У нас гость!— хрипло позвал Свешников.— Во, как вы меня. Даже охрип. Настя! Не слышит...

Дверь открылась. Вошла круглолицая, с прямым, смелым взглядом женщина в пестром ситцевом платье и домашних суконных тапках. Оперлась на свою щетку.

— Привет!..

У нее были мужские рабочие руки. Седые, мертвые волосы ее были плоско срезаны на уровне ушей — так стриглись в начале тридцатых годов.

— Настя, это Федор Иванович, он сейчас мне хорошо врезал, и по делу. И я ничего не могу ему сказать, он прав.

Все трое прошли мимо стеклянных створок и оказались в большой комнате с ковром на стене, с диваном, на спинке которого был приколот кружевной ромб. Пахло туалетным мылом и пирогами. Мужчины сели на диван, зазвеневший старыми пружинами. Женщина с грохотом придвинула квадратный стол — одной рукой, как будто мальчишку за ухо подтащила.

— Мы не будем есть пирогов,— сказал Свешников.

— Как страшно!— сказала она, посмотрев.— Что случилось?

— То самое, ты знаешь.

— Предрассудки. Мы с тобой, Миша, в молодости приняли авансом такой пост, что на три жизни хватит. Пироги не отразятся на вашем политическом лице, они не с барского стола. Я несу.

Но на всякий случай она оглянулась на Федора Ивановича.

— Давай,— сказал Свешников.

Седая женщина с мужскими ухватками ушла, и в коридоре опять запела: «Под натиском белых, наемных солдат... отряд коммунаров сра-жал-ся...» Страшная мелодия и страшная отрывистость слов, хоть и смягченная угловатой женственностью, занятой кухонными заботами,— полоснула. Так, видно, пели сами эти коммунары... Сразу зашелестела знаменами, застучала ночными выстрелами, глянула голодными глазами революция. Федор Иванович, не вставая с дивана, все еще находясь в семнадцатом году, стал механически рассматривать висящую против него на стене мутноватую фотографию величиной в половину газетной страницы. Фотография была под стеклом и в коричневой узкой рамке. Там были сняты пять молодых, даже юных красноармейцев в маленьких фуражках со звездами и в новенькой форме. Все пятеро сидели в ряд на бревне коновязи, свесив ноги в галифе и хромовых сапогах со шпорами. Они весело, браво глядели в объектив фотоаппарата. Эта группа ничего не говорила Федору Ивановичу, фотография требовала разъяснений. И он отвернулся, стал смотреть на серую кирпичную стену за окном.

— Почему отвернулись? В этой комнате только сюда и нужно смотреть,— сказал Свешников. Он снял фотографию со стены и положил ее Федору Ивановичу на колени.— Смотрите, смотрите, может, найдете что-нибудь.

Федор Иванович принялся опять рассматривать фото. За спинами красноармейцев высились каменные постройки, это сразу меняло дело. Это был Кремль. Между домами вдали темнели несколько зубцов стены.

— Юные рыцари революции,— сказал Свешников над ним.— Смотрите еще! Может, найдете знакомых...

Федор Иванович внимательно рассматривал лица. Нет, он не узнал там никого. Потом он увидел далеко за коновязью между домами еще группу, человек шесть. Размытые расстоянием, выпавшие из фокуса фигуры. Люди беседовали, сойдясь кружком, и там стоял, подавшись вперед, один — поменьше ростом. Разъяснял что-то для всех, а они слушали, и в позах была вера и готовность. Вот этот человек и показался знакомым. Федор Иванович посмотрел на полковника.

— Я, кажется, нашел. По-моему, вот здесь. Это он?

— Да, это он. Он самый. Мы хотели с ним сняться

и специально подкараулили, когда он там остановился с товарищами.

— Аркашка снимал,— сказала женщина. Она уже внесла пироги и тоже рассматривала фотографию.

— Аркашка,— подтвердил Свешников.— Его нет в живых. Из всех, кто здесь снят, никого нет в живых, кроме двоих. Из тех, кто с Ильичем стоял, тоже нет никого. И его самого, понятно...

— Все погибли,— с некоторым вызовом сказала женщина.— Все погибли. За революцию. Аркашка первым. Белые порубали.

— А это вот Вася Богданов,— тихо, с туманом в голосе сказал Свешников.— Его разорвали бандиты. Привязали за ноги к двум березам. К загнутым. И отпустили. А это сидит Хитрун. Его в прорубь опустили. В тридцать втором. Это Вася Соловей. Его сначала белые... Кисть ему отрубили в бою. А свои докончили. В тридцать восьмом.

— Какие они были свои?— возвысила голос женщина.— Что, Медяшкин был свой?

— Свой, свой, не говори. Кто же, если не Медяшкин? Из грузчиков, как и я. Правда, дурак...

— Ничего себе дурак! Всегда знал, что орать.

— Эт-то он верно, знал. А вот этого, с краю сидящего, вы должны бы узнать, Федор Иванович!

С краю сидел почти мальчик — плотненький, губастый, добродушный. С пышными белыми волосами под фуражечкой. Глубоко сидел, сложился почти вдвое и соединил толстые ручищи между колен.

— Это я, я!— не удержался полковник.— Мишка Свешников!

— Раз шпоры — значит и шашки где-то лежат?— спросил Федор Иванович.— Приходилось шашку держать?

— Приходи-илось,— протянул полковник, вспоминая.— Все приходилось... Давайте теперь по пирожку съедим.

Пироги были, как булки,— сплошной сладковатый хлеб и слабый вкладыш из капусты с рубленым яйцом.

— Чайку бы дала по кружечке...

— Сейчас,— женщина вышла из комнаты.

— А кто с другого краю? Вот этот...— Федор Иванович постучал пальцем прямо по физиономии пятого красноармейца. Физиономия была узкая, черноглазая, и во-

круг глаз светились глубокие тени. Человек был похож на юную мечтательную девушку в фуражке.

— Тоже не узнали? Это же Коля Ассикритов. Мой нынешний начальник. Интересный, весьма неглупый, одаренный товарищ. Как говорится, растущий. Кое в чем мы с ним расходимся, доходит иногда и до крика... Но в общем — человек на своем месте. Дело знает.

— Мне кажется, он... — начал было Федор Иванович. Но Свешников, перебив его, как будто не слыша, громко закричал в сторону двери:

— Как там чай? Дадут нам его, наконец? К таким пирогам нужен чай!

И женщина принесла две полулитровые обливные кружки с чаем. Там уже был и сахар, и она обстоятельно помешала в каждой кружке ложечкой и забрала ее себе. Таков здесь был ритуал чаепития. С фронтовым оттенком.

— Этот ваш Ассикритов... — начал было опять Федор Иванович, отхлебнув из кружки. Но Свешников, будто не слыша его, тут же закричал:

— Хороший чай у тебя, слушай! Это что, краснодарский?

— Пей, не все ли тебе равно, — ответила женщина. И, отойдя к открытому окну, закурила сигарету и глубоко села на подоконник, как на коновязь.

Федор Иванович больше не заговаривал об Ассикритове. Фотографию повесили на место, гость время от времени посматривал на нее. Когда допили чай, Свешников поднялся.

— Мы, Настя, пойдем, погуляем маленько, не возражаешь?

— Хоть до утра, — сказала она.

И они вышли в переулок. Молча дошли до угла.

— Что ж об Ассикритове не спрашиваете? Теперь можно, — сказал полковник.

— А что, собственно, спрашивать? Все вроде ясно. Почему вы его называете парашютистом?

— Правильно начинаешь разговор. — Свешников соскользнул на «ты» и сам этого не заметил. Видимо, он все еще сидел на своей коновязи, в своем двадцатом году. Это чувствовалось, он сегодня был несколько иным. — Правильно поставил вопрос. А вот отвечать придется с подходом. У Достоевского сказано, ты помнишь? В «Преступлении и наказании». Он говорит, что

господа социалисты все хорошо с помощью логики рассчитали, но не учли одного — натуры человека. А с одной логикой, Достоевский говорит, нельзя через натуру перескочить. Логика предугадает три случая, а их миллион. Коммунисты тоже натуру не учли. И не поставили вовремя преграду. Для миллиона случаев. А надо было попытаться. И дальше так себя вели, не ставили преграду. Как будто натуры нет, а одно только социальное происхождение. Может быть, уже и умышленно. Потому что, когда вопрос начал всерьез возникать, натура уже крепко сидела там, где ей и хотелось сидеть. И ее тоже звали «товарищ». От нее-то, от натуры, все и пошло. Что цели сначала были святыми — по себе скажу. Некоторые моего генерала фанатиком называют. За черные глаза. А какой он фанатик? Фанатики не едят сало в одиночку, тайком от всех. Накрывшись одеялом с головой. Должностей не ищут. И смерти не боятся. Фанатик — я, Федор Иванович. Тебе одному откроюсь. Чувствую, тебе могу открыться. И вообще, тебе первому признаюсь. Потому что получится пустое, болтовня, если направо-налево начать говорить. А там и не заметишь, как вместо дела пойдут одни, Федор Иванович, слова. Натура начнет свое делать. Ее никто не видит, она во внутреннем нашем конусе. За ней каждый должен сам смотреть. А это занятие — на любителя. На ре-едкого любителя... Все мы тогда, когда на коновязи сидели, думали — в классах все дело. А классовая борьба тоже требует понимания особенностей натуры. А мы тогда только напрямик. Мой-то генерал был ведь беднота из бедноты. Помнишь фото, худой какой? Видел я и его мать. Баба такая в платке. Темнота! Кто же мог подумать, что нашего Кольку Ассикритова — на парашюте к нам из того мира? Из мира наживы и эгоизма?

— Я понимаю вас, но не совсем... Как это — на парашюте?

— Абстрактно мыслить не умеешь. А еще песочные часы придумал. Вот слушай. Вообрази себе самого практичного трезвого эгоиста-буржуя. Представь теперь, что его сбросили к нам на парашюте. Экспериментально. Где-нибудь в самом центре советской действительности. Сбросили — и хода ему назад, в Нью-Йорк, уже нет. Теперь рассуждать давай. Что он станет делать, осмотревшись? Возьмет вилы и попрет в одиночку войной на

всю советскую власть? Не-ет, Федор Иванович! Фигу! Ведь он трезвый и практичный. Стало быть, неглупый. Что он будет делать в самом центре советской действительности? Жить-то хочет. И не как бог даст хочет жить, а хорошо. Федор Иванович, он прежде всего осмотрится. Внимательно изучит все и скажет: ого, и тут можно жить! Он будет делать то,— Свешников вытаращился на миг.— Он будет делать то, что скорее всего приведет его к власти и к благам. Будет кричать наши специфические слова. Есть такие слова, которые у советского человека все силы отнимают. Вот он их и начнет кричать. И получит то, что ему нужно. Мы кричим «Да здравствует мировая революция!» — а он еще громче нас. А внутрь не заберешься — кто как кричит. Песочные часы так устроены, ты прав, Федор Иванович. Из одной колбы в другую — как проникнешь? А следующим заходом он станет давить тех, у кого зрение сохранилось, кто поднимет на него зрячие глаза. Конечно, это будут самые лучшие наши ребята...

Они замолчали и долго шли с темными лицами, словно поссорившись.

— Во-от ведь, какая штука, Федор Иванович, дорогой. Да вы и сами знаете. Громче всех кричи и куй свою судьбу. Трибуна, трибуна! Парашютиста искать надо среди тех, кто громче всех кричит. Но никак не среди тех, кого гонят. Кого гонят, тот мог бы и не соваться. Его бы и не погнали. Жил бы себе и подпевал. А если суется... Если он суется — значит, дело ему дороже жи-и-изни, Федя. Значит, он наш человек. А парашютист его к ногтю, представляешь? Как врага...

Тут оба собеседника надолго замолчали. Потому что Федор Иванович по особенному нахмурился — вспомнил свой давний разговор со Стригалевым. Там шла речь о сапогах, косоворотке и кукушонке, который выбрасывал других птенцов из гнезда. Вспомнил и громко вздохнул.

— Вот твой никелевый бог,— заговорил полковник, но уже тише — они уже вышли на Советскую улицу, где было много народу.— Вот твой никелевый бог. Наверняка когда-то кричал со всеми. Не кричал — орал! Интересы революции, выкатив глаза, поддерживал. А потом, прикрываясь этими интересами, стал свое подсовывать. Такие боги, они возникали закономерно. Мог ли вчерашний пролетарий знать, где искать никель? Шут его

знает, где его искать! И вообще, что с ним делать... Естественно, он посылал своего парня на рабфак. Долго смотрел ему в глаза: вот ты выбьешься в ученые — не продашь меня? «Я? Продам?! Что ты! Нет! Честное слово! Честное ленинское!» А потом становится никелевым богом. И уже строчит донос на твоего геолога! Преграды натуре не поставили! А как поставишь? Его же, никелевого бога товарищем называли! Громче всех ведь кричал. Мода была — кричать...

— Не потому что кричали,— заметил Федор Иванович.— Потому что верили.

— А что делать? Кругом вопросы, многое неясно и в теории и в практике. А тут Деникин прет, там англичане высадились, Колчак, белополяки. Некогда дожидаться знания. Приходилось кое-что и на веру. Где чего не знаешь, восполняешь революционной страстью, ненавистью к врагу. А это такие вещи, под которые подделаться... таланта особенного не надо. Как сказано у теоретика? Зло маскируется под добро! Парашютист, он же сначала пойдет в колхоз, на ферму, чтоб вымазаться натуральным навозом. Чтоб потом можно было говорить: «я — рабочая косточка». Это ведь ключ. Да еще какой! Ко всем дверям! А как попадет в струю — слыхал такое слово? Это его, парашютиста, термин. Как попадет, тут уж не удержать. Прет в гору и поглядывает: э, да я тут, в струе, не один такой парашютист!

— Сложное у нас с вами, Михаил Порфирьевич, получается объяснение в любви. Немного запоздало оно...

— Нет, не запоздало. Федор Иванович, не запоздало. Был, конечно, карантинный срок. Но все произошло у нас очень вовремя. Вы узнали ночью сапожок?

— Еще бы!

— Ну так и он вас узнал. Сегодня утром у нас беседа была. В его кабинете. Привели Ивана Ильича. Мне понравилось, он был спокоен. Ассикритов — мало того, что он психопат, он еще и в потустороннее верит. Верит в силу своего глаза. Есть такая ветвь, особая порода следственных работников. У них есть своя мистика. Верят, что их глаз может повлиять на допрашиваемого, «расколоть» его. Принялся Ивана Ильича гипнотизировать. Подошел, воткнулся и смотрит. И людей не стесняется. А Иван Ильич спокойно так смотрит на него. С духовной высоты. Вниз. Смотрит и морщится...

У него же, бедняги, язва. Здесь ему хоть молоко будут давать. Пока он у нас. А вот что будет в лагере — тут не ручаюсь.

— Ну и что нам делать? — спросил Федор Иванович.

— Физических возможностей нет. Превращайтесь скорее в лед. Вы ведь тоже... Не очень давно, но уже находитесь в сфере... У нас вообще глаз всегда открыт. Если и можно выручить всех — только через вашу деятельность. Через ваши картошки. Если появится прекрасный сорт, известный на весь мир, и станет известно, что автор — Стригалев. Делайте что-нибудь, Федор Иванович. Делайте.

— А если Сталину...

— Федор Иванович!.. Мне даже неловко слышать такое.

— Я просто подумал: а еще что можно...

— Вы немедленно будете отданы в лапы вашему Касьяну. А от него — к нам. Нет, только ваши картошки. Правда, я не знаю, что вы сможете здесь сделать...

Они уже подходили к мосту.

— Так вот... Генерал потаращился из-под лба на Ивана Ильича и отошел, недовольный, несолоно хлебавши. И говорит. О вас, Федор Иванович: «Ваш друг, он, по-моему, кинулся за вас драться. Столько отчаяния...» — «Если бы друг!» — Иван Ильич ему. Заметьте, как он вас спасает, как он спасает дело. Как будто поймал вашу мысль! «Есть,— говорит,— от чего отчаиваться. Я же не успел ему передать то, что академик назвал наследством Троллейбуса. Столько тонких подходов нагромоздили... Я уже совсем было решил расстаться. Черт с вами, с вашей компанией. Такого хорошего человека, как Федор Иванович, академик сумел так пригнуть к земле. Я же любил его. Невзирая на наши коренные научные расхождения. Говорил с ним даже со страхом, потому что он видит все насквозь. Малейшую неправду. Если к Посошкову я пошел бы справляться по ботанике, то вот по вопросу о правде, о жизни я пошел бы к Федору Ивановичу». Он дал вам редчайшую характеристику.

— А Лену вы видели?

— Она, Федор Иванович, все знает. Хотела письмо передать, но я не разрешил. Нельзя рисковать.

— Скажите ей, что я кольцо ее нашел и храню.

— Постараюсь передать. Я про Ивана Ильича договорю. Он дал вам характеристику, а потом заявляет: «И вот, академик такого человека свалил. Такими делами заниматься заставил. И я решил передать всю методику. Пусть. Берите, черт с вами, смотреть не могу на всю эту вашу псовую охоту. Теперь, — говорит,— пусть ваш Дежкин ищет других учителей. Ни мне не досталось, ни вам. Вот так, гражданин генерал. Академик еще будет вас благодарить...» Нет, Федор Иванович, не запоздало наше с вами объяснение. Наш ведь Коля Асскритов... Сейчас самое время нам вплотную перейти к нему. И место подходящее, как раз для таких разговоров. Узнаете местечко?

Они уже пересекли мост и шли по мощеной дороге — как раз там, где ночью останавливалась «Победа».

— Коля Асскритов...— Свешников остановился. Постоял, осмотрел дорогу.— Вы помните ребят, которые сидели со мной на коновязи? Которые погибли. Они погибли за советскую власть. Один с именем Ленина на устах. Один — с именем Сталина. Один — по явному недоразумению. А может, так, как ваш геолог. В силу проявившихся новых особенностей человеческой натуры. Так тоже может быть. Поговоришь вот так — самому же видней становится. От собственных слов. Вот никелевый бог. Он же когда вводил в действие для своих нужд нашу службу, не говорил: «я хочу погубить человека за то, что он надумал подарить стране перед страшной войной нужный обороне никелевый комбинат. И за то, кстати, что попутно собирался еще рассеять нимб вокруг моего, богова, чела. В то время как дарить комбинаты государству могу только я, бог, и больше никто. А нимб — вообще вещь неприкосновенная». Не-ет! Что он говорил? Он кричал: «Сволочь, контра, враг, к ногтю его, вредителя. Это, конечно, ваше дело, дорогие наши чекисты, установить, от кого он получил свое задание. Но, как большой специалист, как новый, советский специалист, я чую — здесь рука Запада». Когда-нибудь, в архиве найдут... Так вот. Можно и в нашем ведомстве наткнуться на парашютиста. Для того чтобы его понять, я шел в двух встречных направлениях. Оттуда, от двадцатого года,— к нашему времени. И от нашего времени назад, к тем годам. В те времена Колька был совсем не такой, как сейчас. Он был немножко дурачок, отставал от нас. И такая еще шту-

ка. Как привезет ему мать в тряпке кусок сала — а по тем временам это же был кусок золота! — он сразу его спрячет и по ночам потихоньку ест, накрывшись одеялом. Отрежет кусочек, с головой накроется, как будто спит... И жует потихоньку. Сосет... А чтоб с товарищами поделиться — ни-ни! Мы раза два его хорошенько проучили — не помогло. А потом: что такое? Переворот полный! Наш Коля вдруг начал всех угощать салом. И командира, конечно. И вообще стал своим парнем. Мы сидим на коновязи — и он с нами. Мы болтаем ногами — и он начинает. Идет гражданская война, нам хочется сняться, чтоб на карточке и Ильич вышел, а рядом с нами Коля ножками болтает. И никто этого Колю не знает, все его любим! Болтает ногами и потихоньку уже голос подает. Как? Не просто. Он начал сначала *поправлять* нас, тоном старшего. Мы на коновязи любили побеседовать. О мировой революции, о международном положении, о внутренней политике. И наш Коля посмотрит вдруг на кого-нибудь из нас своими черными глазками... Они тогда уже у него начали загораться... Посмотрит и прошьет веселым голосом: «Так что ты нам еще скажешь, Свешников?.. О политике нашей партии? Давай, давай, агитировай, послушаем тебя. Только лучше будет, если ты поосторожнее слова будешь выбирать. Такие вещи сам понимать должен». После такого замечания у Свешникова, понятно, язык распухал, и наступала на коновязи тишина. Тут Коля доставал свое сало, и все налаживалось. Потом он стал нам *давать отпор*. «Не знаю пока, с чьего голоса ты, Богданов, поешь. Пока еще не знаю. Только учти, у нас такая пропаганда не пройдет». Тут уж мы стали его бояться. Впервые узнали этот особенный страх перед поднявшимся над нами активистом. К счастью, нас скоро разослали по фронтам. Но у меня на всю жизнь остался вкус на таких людей.

Навстречу надвигался парк, переполненный слитным вечерним ревом грачей. День уже сильно пожелтел.

— А потом мы с ним встретились... Уже после второй войны. Я слышал, что Коля сделал успехи. И вот выходит ко мне изящный генеральчик. Я бы сказал даже грациозный. Он меня повел домой. А там — дворянское и купеческое серебро, французский хрусталь, саксонский фарфор. Все подержанное. Под одеялом у Коли теперь было не сало. И серебро с хрусталем,

впрочем, было уже пройденный этап. Должность, авторитет, пост — вот что его тянуло к себе. Капитанская рубка, командирский мостик. А его привычка пугать, поправлять людей и давать отпор перешла в новую фазу. Он теперь полюбил групповые дела. Чтоб заговоры. Лично чтоб их раскрывать. Чтоб все начальники оказывались простофилями, а он один чтоб сорвал маску с врага, прикинувшегося талантливым ученым... А где их возьмешь, заговоры? Чтоб такое изысканное блюдо ему на стол. Все — за советскую власть! Твой академик сразу его понял. Так что, дорогой Федор Иванович, они вцепились вдвоем в наших ребят и не отпустят. Видел же, Коля лично ездит арестовывать. Группа! Он, конечно, обвинение натянет, тут он мастак. Да и помощников сколько. Общественность вся навстречу... Не поймешь — в ужасе или счастлива, что у них это кубло открылось... Так вот, Федор Иванович, встретились мы, значит, с Колей. Я как раз назначение получил к нему, он выхлопотал. Показал он мне хрусталь. Хлебницу старинную серебряную, с хрустальной крышкой. Выпили. Я осторожное замечание ему насчет хрусталя. Как будто в восемнадцатом, на коновязи вместе сидим. И схватились. Почти на ножах. Я свой нож прячу, а он к горлу прямо лезет, чует свое преимущество. Ему можно все говорить, мне — с оглядкой. Вам придется еще с ним разговаривать — заметьте, сразу бросится в глаза: эти люди всегда правы. Куда ни шагнет — там и прав. У него все такие слова: «Исторически...», «Революционное правосознание...», «Интересы рабочего класса...». И все врет. Тот же самый парашютист остался. Но сказать ему не могу, вовремя спохватился. И не потому, что жить хочу. Интересы рабочего класса требуют.

— Молчать?

— Да, представьте, молчать. Надо молчать и делать что-то. Достойное. А последняя встреча с ним меня не минет. Вот если бы Троллейбуса удалось спасти...

Когда, продолжая так беседовать, они вернулись на Советскую улицу, к площади, — уже сгущались теплые майские сумерки.

— Все же нам с вами надо договориться, — сказал Федор Иванович. — Вы считаете, что парашютист откуда-то прилетел к нам? Что мог бы и не прилетать? Тоже, значит, уверены, что это пережитки капитализма?

Свешников сначала ничего не сказал. Состроил свою

очередную мину: широко раскрыл глаза и подпер изнутри языком толстые розовые губы. Потом остановился и, тыча себя пальцем в лоб и в грудь, проговорил:

— Ни черта ты не понял! Или притворяешься. Вот, вот откуда прилетел! Из бесконечности своей собственной прилетел этот парашютист. Это перешло к нам не от капитализма, а от человека. А разговоры о капитализме только помешали нам его вовремя остановить. Среди нас он сидел, уже тогда, на коновязи. Вот если бы я мог на митинг собрать... Эти святые, доверчивые тени. С которыми в одном строю... Я бы им крикнул: «Ребята! Революционеры! Вы проворонили вашего классового врага! Вы так старались, боролись с классовым врагом, а он сидел рядом с вами и подсказывал, кого надо убрать. Вы всю жизнь ходили с ним в обнимку. И своих уничтожали под его дудку».

Собеседники постояли под деревьями, прощаясь. Помолчали, глядя друг другу в лицо.

— Касьяна вашего к нам заслал не царь. И не Америка. Сам прилетел. Сначала все озирался, мечтал, завидовал. Искал ходы... Потом тронулся в путь — изучать, о чем все кричат. Так что прилетел он из своей собственной бесконечности... Которая долго была недоступна моей простой башке. Хоть башка и видала много разных книг. Все они, как сговорились, отводили мое внимание от места, где парашютист обитал. Все туда велели смотреть, за рубеж. Или на царя оглядываться. Только не внутрь себя. Нужно было наткнуться на ваши песочные часы, нарисованные на столе, — тут только все догадки окончательно стали на место. И Касьян, и мой Коля прилетели к нам из своего собственного внутреннего пространства, переполненного завистью. Завистью и мечтой о власти.

И, чувствительно пожав руку Федора Ивановича своей мягкой, но железной клешней, полковник повернулся и зашагал прочь, вертя узеньким задом. И голова его была, как кастрюля с ручками, торчащими врозь и вверх.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

I

Не то чтобы некоторые слова полковника подействовали. Хотя они, конечно, запомнились — его слова о том, что Федор Иванович «тоже находится в сфере». И что в некоем месте «глаза всегда открыты». Федор Иванович уже порядочно времени что-то предчувствовал. Что-то летало вокруг него в воздухе, похожее на тополиный пух. Отдаленный голос томил его, говоря: остановись, отбрось все, подумай, что тебе угрожает и как эту угрозу избыть. Сегодня вследствие всех этих тянущих за душу ощущений в нем особенно громко заговорило дело.

Придя к себе, он взглянул на часы — было десять вечера. Затем посмотрел на окно — оно уже глубоко посинело. Сверкнув глазами, он снял трубку телефона. Торопливо набрал номер и тут же услышал поющий, гибкий голос Тумановой, невольно залюбовался ее отработанным на сцене московским произношением:

— Да-а-а! Слуш-шаю!

— Ты не спишь?

— Федька! Ты меня совсем забыл, *соба-ака* такая... Дуй тебя горой!

— Я всегда тебя...

— Погоди, ты хочешь ко мне? Так чего ж ты висишь на телефоне, трепло э-этакое? Беги скорей, ты все мне скажешь на ушко, хи-хи-и!

Положив трубку, он вытащил из-под койки мешок с пакетиками картофельных семян. Переложил семена в хозяйственную сумку, а мешок с остальными вещами сунул обратно под койку. Надев куртку из тонкого брезента и сапоги, взяв сумку, он вышел на крыльцо. Вечер был мягок и глубок. Наступало хорошее время для тайных дел.

Поглядывая вокруг себя, он ловко пронес сумку по ночным теням парка и улиц, переходя из тени в тень, пока не очутился в Соцгороде. Здесь, на третьем этаже дома из серого кирпича, он нажал кнопку звонка. Последовал щелчок автомата, его впустили в коридор, и две бабушки в черном приняли от него сумку и положили в кухне на стул.

Туманова ждала его, обложенная подушками и кружевами. Черные блестящие и слегка дымящиеся волосы — ее краса — текли рекой по подушкам, образуя пороги и извитые заводи, обтекая белые острова. Вплотную к ее ложу было придвинуто кресло, там стояла прислоненная к спинке знакомая Федору Ивановичу литография в рамке — измученный долгой казнью святой Себастьян, поднявший к небу полные слез глаза. Радостно просияв навстречу, Антонина Прокофьевна взяла левой рукой правую и с силой начала ее разгибать, при этом продолжая сиять. Это у нее было новое. Видимо, паралич тронулся дальше. Разогнув руку, Туманова подала ее Федору Ивановичу, и, здороваясь, он почувствовал, что рука холодновата.

— Садись в кресло. Чего это у тебя сегодня с глазами? Мрак какой...

— Потом скажу.

— Ладно, подожду. Себастьяна поставь сюда, к стеночке. Будем вместе смотреть. Я чем больше на него смотрю, тем ближе он двигается ко мне, в наш двадцатый век. Все больше нахожу знакомых. Вон, например, в арке... Твой академик Рядно расхаживает.

— Слушай, а ты знаешь, что месяц назад...

— Про ребят? Знаю, знаю,— она погасла, задумалась.— Знаю, Федя... Подай-ка мне, вон, сигареты. И спички подай.

Она сунула в рот сигарету, выстрелила спичкой, подожгла табак, проворно делая все одной рукой. Поспешно и горько затянувшись, сделала крашеные губы колечком и с самого дна души вытолкнула круглую палку дыма. И замахала спичкой, гася ее.

— Видишь, курю...— и опять затянулась и выпустила струю дыма, глядя в одну точку. — Раньше только баловалась, а теперь... Остолоп-то мой, как он надул меня, сволочь. Говорил, что принял новую веру. Так горячо проповедовал. Книгу мне принес. Это он, он принес тогда. И я поверила. И допустила его в кубло.

Они же у меня, ты знаешь, собирались. Чайку попить. А этот уже что-то проведал. Понял, что через меня надо...

— Он все мячик свой из руки не выпускает. Все мнет...

— Ладно уж, скажу тебе. Все тайны тебе выдаю, смотри... Ты приглядись к его руке. То, что в книжках называют «тыльная сторона ладони». Он ее не показывает, а ты ухитрись и посмотри. Там у него маленький рубчик. Крестиком. С этим крестиком целая история. За год примерно до твоего появления у нас кто-то повадился лазить к Ивану Ильичу на огород. Ягоды с картошек все воровал. С его полиплоидов. Что поделаешь, все хотят новый сорт создать. Кто только не мечтает. И все вокруг Троллейбуса ходят. Ругают, а ягоды воруют. Так вот, заметили, что кто-то лазит. И один интеллигентный ученый сказал: против зла нужна неожиданность. Шок нужен. Как будто твоих теорий наслушался. И нарисовал схемку. А инженер один, тоже ученый, и тоже интеллигент... игрушку такую сделал по схемке. В Германии, я слышала, кроликов хозяйки убивают такой вещью. Пружина там страшная была, не сожмешь. А бьет — как пулей. И присобачили ту вещицу к ручке калитки. Там, во дворе, вторая калиточка, внутри, с ручкой. Ручка — как ручка, а как возьмешь да повернешь, тут тебя и стукнет. Прямо в ладонь. Навылет... И вот, сижу я дома, и мой идол заявляется. Рука забинтована, как куклу держит. Ты смотри, не болтай об этом, тайну я тебе доверила. Эта штука ему несколько косточек там раздробила. Вот он и разрабатывает теперь. Дур-рак. Никакого просвета...

Она опять затянулась. Потом, сильно сморщив нос, посмотрела Федору Ивановичу в глаза.

— Давай выпьем, а? Во-одочки!

Обе бабушки словно ждали этого — сразу появились и бутылка, и закуска. И каждая, получив долю, прикрыла ладошкой свою стопку, как горящую свечу, и обе зашаркали на кухню.

Когда Туманова и Федор Иванович выпили по первой и когда истекла пауза, необходимая для того, чтобы души собутыльников соприкоснулись, он сказал:

— А еще ты что-нибудь, Прокофьевна, знаешь?

— Я все знаю.

— И об Иване Ильиче?

— Знаю и это. Что ему удалось...— и шепнула: — Он ночевал тогда у меня.

— А ты знаешь, прошлой ночью что произошло?

Она очнулась от своей водочной мечты, уставилась на него со страхом.

— Иван Ильич уже не придет ночевать ни к кому. У него теперь постоянный пансион. Ночью перевезли...

— В шестьдесят второй?

Федор Иванович кивнул.

— Опять виновата. Опять! Господи, за что такое наказание... Это все, Федя, маленькие грешки, все они. Безобидные. Они всегда ведут к такому... — Туманова чиркнула спичкой, закурила и долго так сидела, в дыму, закусив белый кулачок с торчащей сигаретой.

— Я к тебе по этому поводу и пришел.

Она чуть наклонила голову, слушая.

— У него наследство осталось. Сейчас кинутся растаскивать. Уже кинулись...

— Успел собрать? — она как бы взорвалась.

— Собрал. И часть принес к тебе. Приличного размера сума.

— А что там?

— Семена. Пакетики. Небольшие. Лавровый лист бывает в таких...

— Ну давай же скорей! Что ж ты!

Он принес сумку. Туманова сразу запустила в нее белую руку с перстнем. Вынула несколько пакетиков.

— Это семена? Это ради них ягоды воруют? Сво-олочи, паразиты... Один жизнь кладет, а другие... Живой еще, а они уже — слетаются... Федька, ты молодец. Теперь иди на кухню и бабушек сюда пошли. Моих верных мышек...

Он сидел на кухне, осматривая полки и на них чистенькое хозяйство бабушек. Через полчаса его позвали. Все в комнате было по-прежнему. Не было только пакетов с семенами. Пустая сумка лежала на полу.

— Ну, как? — спросила Туманова, оглядывая постель и поправляя подушки вокруг себя.— Догадываешься, где наш тайник? Ни в жисть не догадаться.

— Во всяком случае, тайник хорош. Но это не все. Я еще принесу три горшка с растениями. Приготовьте местечко на балконе. Чтоб Бревешков, если забежит...

— Ни черта он не увидит, Федька, можешь быть уверен.

— Балкон, небось, северный?

— Южный, Федя. То, что требуется. Давай, трахнем по второй. Садись. За успех нашей конспирации, Федор.

Выпив, Туманова оскалилась, выдерживая судорогу, потом торопливо закурила и, дав погулять дыму в легких, ослабев, выпустила мятое облако. Окуталась дымом. Отдыхала, качала головой.

— Нет, против правого дела бороться нельзя. Истина сейчас же уходит в подземелье. В катакомбы. И начинает там свою романтическую жизнь. И появляется у нее столько верных... Которые рады... Ты не хочешь закурить?

— Хочу очень. Но не закурю.

— Ну валяй, — она опять затянулась и долго смотрела на литографию, прислоненную к стене. — Все здесь теперь собрались. Даже дядик Борик пьянецький лежит. А где же мой Федька — в который раз спрашиваю себя. Ведь должен быть...

«Я тоже здесь присутствую», — подумал Федор Иванович. И Туманова, словно прочитав его мысль, сказала, поднося ко рту сигарету:

— Не иначе, как в шапке-невидимке.

...На следующий вечер, надев ту же куртку и сапоги, взяв пустой конопляный мешок для картошки, опустив в него фанерный ящик без дна, он вошел в глубокую тень сарая, слился с нею и через полчаса вышел из тени, отброшенной ежевичными кустами на заросшую дорогу, что проходила мимо забора Ивана Ильича. Небо было на закате оранжевым, а над головой переходило в зелень. Мгновенно и неслышно перемахнув через забор, он снова исчез в тени, залившей весь малый дворик. Спустя несколько минут, показался на миг над забором и спрыгнул на дорогу вместе с мешком, где теперь были три горшка с выбросившим бутоны полиплоидом «Контумакс». Отбежав за трубы, в темных зарослях подвигал горшки, распер мешок ящиком, чтоб ботве было свободнее, и неслышным шагом пошел к мосту по темной, заросшей обочине дороги.

У Тумановой балкон был уже приготовлен. Бабушки нагромоздили там всяческое старье. Осматривая приготовленное место, Федор Иванович натыкался в су-

мерках то на почерневшую корзину, то на полосатый стеганый тюфяк, то вдруг влез в громадный шелковый абажур с кистями, как у шали. Загремел ящиком с кухонной мелочью. За эту баррикаду и опустили горшки с растениями, поближе к стене, чтоб не увидели с верхнего балкона. И, глядя на все это старание, Федор Иванович мысленно повторял слова Тумановой: «И появляется у нее столько верных... которые рады».

Дав указания о поливке растений, Федор Иванович сказал, прощаясь:

— Теперь приду дня через три. Буду опылять цветы. До этого — никакого общения. По телефону не звонить.

Обратно он шел, не скрываясь, и, выйдя на Советскую улицу, даже чуть слышно засвистел что-то боевое. А когда вступил в совсем темный парк, почему-то вдруг оглянулся и побежал, слегка припадая на раненную под Ленинградом ногу. «На всякий случай», — сказал он себе. Увидел шедшего навстречу человека и перешел на шаг. А потом опять побежал, припадая. «Да-а,— сказал он вслух. — Здесь у меня слабое место». Что это с ним произошло — инстинкт ли зашевелился или отдаленный голос властно подтолкнул его — он сам еще не пытался разобраться.

В воскресенье — уже одетый в нитяные синие тренировочные брюки и в оранжевую полурукавку — легкий, худой, готовый к бегу, он вышел в парк. Но все еще не решался пуститься рысью при людях. Уходил в темные места и там позволял себе робкую пробежку. Один раз мимо него — цепочкой — пронеслись с палками лыжники на своих роликах, восемнадцать или двадцать человек, — лыжная секция института с коротышкой-тренером во главе. Федор Иванович проводил их глазами. Заметил, что там были не только студенты — на роликах неслись и аспиранты, и два молодых преподавателя. Будто с завистью долго глядел им вслед. «Надо записаться»,— подумал. И побежал по тропе, уже не обращая внимания на публику.

Впоследствии он не раз вспомнит об этом явлении, впервые давшем о себе знать в темном парке и пустившем крепкие корни. И удивится тому, как складываются в нас важные решения — загодя, исподволь. Так же, как в спящей почке растения начинается новая жизнь — с первого деления клетки. Или подобно тому, как пти-

ца вдруг подбирает первую травинку, чтобы начать вить свое первое гнездо.

— Равенство — понятие абиологическое, — любил говорить Стригалев. — В природе равенства нет. Равенство придумано человеком, это одно из величайших заблуждений, породивших уйму страданий. Если бы было равенство — не было бы на Земле развития.

Интересно, что высказал эту мысль не заинтересованный в своем превосходстве богач, а человек бедный, каким мог бы показаться Иван Ильич тому, кто посмотрел бы на него с денежной стороны. Сам он был доволен своим имущественным положением. Правда, не мог бы объяснить, почему. Но Федор Иванович легко ответил бы на этот вопрос: потому что Стригалев владел такими богатствами, которые не давали спать даже академику Рядно, чьи денежные доходы превышали заработок заведующего проблемной лабораторией по меньшей мере в восемь раз. Академик очень остро чувствовал неравенство, он был обделен!

— Идея равенства позволяет бездарному жить за счет одаренного, эксплуатировать его, — так рассуждал Иван Ильич. — И все равно, захватив себе даже большую часть, бездарный не получит главного — таланта. Приходится притворяться одаренным, приближать к себе тех, кто хвалит твой отсутствующий дар. Идея равенства позволяет бесплодному негодяю с криком забираться на шею трудолюбивому и увлеченному работяге и брать себе лучшее из того, что тот создает.

Иван Ильич признавал только одно равенство для всех: равенство предварительных условий для деятельности. Всем дана возможность трудиться. Создавай, что можешь создать, созданное бери себе, заплати все долги и остатком распоряжайся по своему усмотрению. Можешь раздать. Но к чужому руку не протягивай.

Нигде в мире не сыщешь двух человек с одинаковым рисунком папиллярных линий на пальцах. Линии эти — знак неравенства, который природа выслала на поверхность. Есть и еще индикаторы — криминалисты говорят, что и форма ушей у человека так же неповторима. И форма носа. Что же творится с нашими внутренними органами, которых не видно? С тончайшими структурами, составляющими наш мозг? Вот говорят, что и модуляции человеческого голоса — неповторимы!

На дереве нет двух одинаковых листов, утверждал

Иван Ильич. В одной ягоде картофельного растения нет двух семян с зеркально одинаковым набором свойств. В одном организме нет двух одинаковых клеток.

— Одной пыльцой, взятой с одного единственного цветка, вы можете опылить все цветы на целой грядке растений, происходящих от одного клубня. И нигде не завяжется ягода, а на одном могут появиться целых четыре. У меня такое бывало и не раз. Более того, и на этом растении четыре ягоды будут висеть на одной кисти. Рядом с кистями неоплодотворившихся цветов. Поэтому, — наставлял он Федора Ивановича, — не уставайте опылять. Не вешайте носа от неудач.

Стригалев уже опылял прошлым летом пыльцой «Контумакса» множество растений. И у своего единственного куста вида «Контумакс» опылял все цветки пыльцой с наших огородных картошек. И ничего не получилось. Весь мир — десятка два крупнейших биологов — изобретал хитрейшие приемы, чтобы скрестить «Контумакс» с простой картошкой, но им пока не удавался даже предварительный шаг — удвоение числа хромосом у этого южноамериканского дикаря. Сейчас Федор Иванович должен был повторить опыление «Контумакса», но уже на трех кустах. У него были некоторые шансы — это ведь был «Контумакс»-гигант, с двойным набором хромосом. На всех трех растениях, стоявших на балконе Тумановой, дружно наливались кисти бутонов.

В понедельник, работая в учхозе, он набрал в стеклянную трубочку от глазной пипетки желтой пыльцы с цветов, распустившихся на делянке, где рос сорт «Обершлезен», известный у селекционеров как хороший опылитель. Заткнув трубочку кусочком ваты, он положил ее в грудной кармашек пиджака, сунул туда же пинцет, взял десяток бумажных изоляторов, то, что академик Рядно назвал «противозачаточными средствами», и после захода солнца отправился к Тумановой.

Это был четвертый вечер, и его ждали. Около ложа Антонины Прокофьевны стоял круглый столик, и она приготовилась наблюдать таинство. Сев за столик, Федор Иванович начал это таинство с лекции. Он пересказал Тумановой мысли Стригалева о равенстве и о необходимости из года в год настойчиво опылять упорные растения, не поддающиеся скрещиванию. Когда все было высказано, он лишь двинул пальцем в сторону

балкона, и одна из бабушек тут же принесла и поставила перед ним горшок со стройным широколистым растением, слегка похожим на этажерку. Оно лишь отдаленно напоминало картофельный куст. Было всего лишь два толстых стебля, и каждый заканчивался напряженной кистью бутонов. На одной кисти раскрылся кремовый, слабый, как рассвет, цветок с оранжевым сердечком. Федор Иванович отщипнул его ногтями.

— Федь! — сказала Туманова падающим шепотом. — Зачем ты это?

— Раскрытый уже не годится. Он самоопылился.

— Этому вейсманизм-морганизм учит?

— Природа учит.

Три зрителя молча уставили на горшок с начинающим цвести растением напряженные взгляды.

Взяв пинцет, Федор Иванович раскрыл один из верхних бутонов и быстрыми движениями оборвал недозревшие матово-оранжевые тычинки. Поднес трубку с пыльцой и прикоснулся ею к сиротливо оголенному рыльцу. Так, один за другим он кастрировал и опылил три цветка. Осталось еще четыре — их он оборвал.

— Не созрели, — пояснил зрителям.

Всю кисть он ввел в бумажный пакет и обвязал его горловину тонкой проволочкой. На второй кисти он опылил четыре цветка. И надел второй изолятор. Потом открыл свою секретную записную книжку и проставил в неких графах числа: 28, 5 и 7. «Двадцать восьмого мая на данном растении опылено семь цветков» — означала запись.

— Слушай, Прокофьевна, — сказал он, пока бабушка уносила горшок на балкон и доставляла в комнату второй. — Я все думаю, для чего тебе пускать сюда этого человека...

— Ты насчет этих горшков? Не бойся, — стальным голосом отрезала Туманова. — А ходить он будет.

— Можно было бы и поворот ему. От ворот...

— Дурак, меня на какие откровенности толкаешь. Сколько мне лет, по-твоему?

Бабушка поставила на стол второй горшок. Здесь было три стебля, все — увенчанные кистями бутонов. Сжав губы, он молча принялся раскрывать и кастрировать самый зрелый бутон.

— Думаю, что лет тридцать тебе есть, Прокофьевна...

— Не ври... Галантный кавалер. Тридцать восемь

мне. Самый бабий сок. Женщина я или не женщина?

— Вопросы какие-то... Какой может быть разговор?

— Хорошо. Муж он мне?

— Собственно...

— Ох, не люблю, когда виляют. Не муж он, конечно. Но мужик. Есть силы в природе... Которые способны забрать власть над человеком. Женщина, если она полнокровная... Ну, да ты еще дите, ничего не понимаешь. Хоть и ученый.

Но он уже понял. Вспомнил, как Лена говорила ему что-то похожее. Дамка ей говорила бывалая... Ужаснувшись, начал краснеть и, почувствовав это, сильно ущипнул себя пинцетом. Не помогло — Туманова заметила все.

— Получил? Краснеешь? Вот так. Не лезь в бабьи тайны.

Он опылил на втором растении шестнадцать цветков. На третьем оказалось два стебля. Здесь он опылил девять цветков. Всего в этот вечер Федор Иванович записал тридцать два опыленных цветка.

— Слушай, — сказал он, отодвигая стол и поворачиваясь к Тумановой. — Забудем мою глупость, ладно?

— Сам и забывай. Меня такие вещи давно уже в краску не кидают. Жениться тебе пора...

— Этот вопрос я обдумаю. Скажи-ка, Прокофьевна, ты хорошо знала всех, кто входил в «кубло»?

— Многих, конечно, хорошо. С Леночкой Блажко мы были очень близки. Правда, что она тебя мужем назвала? Когда ты к ним на киносеанс влетел?..

— Да, я делал ей раза два такие намеки...

— Не успел ты. Не намеки надо было делать, а опылять. А то все картошку опыляешь... Девка какая была. Вот твоя жена. Она очень много о тебе говорила. Шляпа ты, больше ты никто.

«Вот та дамка бывалая, — подумал он. — Вот кто наговорил ей про непреодолимую силу... Которая может забрать власть...»

— А ведь не всю, не всю власть эта сила забирает над человеком, — сказал он.

— Всю, всю, Федька. Ничего не оставляет.

— Тогда я боюсь. Ты же ввела его в «кубло»... Тогда я, пожалуй, должен буду забрать у тебя и семена, и горшки.

— Дурак ты, дурак чертов! — закричала Туманова.—

Ловишь все меня! Умней я стала через тот случай с «кублом». Не доберется он! Сила силой, а Ивана Ильича наследство он через мой труп... Даже и через труп не получит.

Успокоение, которое почувствовал Федор Иванович, спрятав у Тумановой значительную часть «наследства» Ивана Ильича, оказалось очень недолгим. Он в тот же вечер вспомнил о новом сорте, и теперь его все время тревожил повисший в воздухе и, похоже, неразрешимый вопрос: как разыскать среди трех тысяч кустов те восемнадцать, которые нужно было спасти. Это надо было сделать до осени, потому что в октябре кто-то придет и начнет выкапывать всю картошку подряд. И тогда новый сорт сам себя покажет цветом клубней. Обязательно обратят внимание на невиданный цвет — цвет загорелого женского лица. И на матовость, как у замши.

Вопрос не отступал, и, занимаясь своими делами в учхозе, Федор Иванович теперь часто останавливался и остекленело смотрел в одну точку. Краснов это заметил и однажды негромко сказал:

— Федор Иванович, вы что-то задумываться стали...

— Задумаешься,— последовал горько-рассеянный ответ. При этом Федор Иванович посмотрел долгим новым взглядом, непонятным и смущающим. Он в это время думал о Тумановой и о власти, которую забрал над нею альпинист.— Еще как задумаешься,— повторил он, любуясь ее остолопом.— Троллейбуса-то замели, а сорт где?

— Где? Только на огороде у него. Только там. Логика подсказывает.

— А морфология категорически отрицает. Нет сорта, чтобы не имел морфологических особенностей. Я ходил смотреть. Там картошка уже цветет. Все цветки белые. И рассеченность у листьев одна и та же. У всех. Это все сплошь — «Обершлезен». Я бы не задумывался, если бы сорт был там...

— Троллейбус потому и посадил там «Обершлезен»... Потому что новый сорт у него, думается, потомок родителей... Из которых один — как раз «Обершлезен». И от немца перешла эта рассеченность. Удобно маскировать сынка рядом с папой...

«Как эта сволочь могла допереть до такой догад-

ки?» — подумал Федор Иванович, ахнув в душе. Но ничто в нем не дрогнуло. Он чуть-чуть зловеще улыбнулся.

— Вы, дорогой, чистый вейсманист-морганист...

— С вами поработаешь — наберешься,— весело ответил Краснов.— Кем хошь станешь!

— Не скажите это Кассиану Дамиановичу...

— А он мне и подбросил эту идею!..

— Ну, и как он рекомендует выделить этот новый сорт?

— Осень все выделит...

Федор Иванович, хоть и был он серьезным ученым, хоть и видывал виды, но и он не мог даже предположить, что тревожащий его вопрос о новом сорте будет снят с той неожиданной простотой и экономной четкостью жеста, какую может показать нам только природа.

В ночь с первого на второе июня он сидел у себя в комнате для приезжающих за столом, на котором стоял горячий чайник и были разложены бумаги — он начал писать первую из трех небольших работ. Не хотелось становиться на эту завершающую стезю, выходить в чистое поле, где ждал готовый к смертельной схватке враг. Но надо было когда-то решиться, и он сел за стол. Все эти статьи он собирался отнести в «Проблемы ботаники». Каждая должна была бить в одну и ту же точку — по одному из главных тезисов академика Рядно — о том, что «сома», то есть тело с его «соками» (как говорил академик), воздействуя на «крупинки» другого — привитого — тела, может вызвать определенное изменение, передающееся по наследству. Опыты с прививками картофеля на табак, белладонну, петунию и помидор, и обратно — всех этих растений на картофель — давали Федору Ивановичу богатый материал для первой статьи. За этими статьями должна была последовать суровая реакция академика, особенно после сообщения о новом сорте, выведенном на чуждых теоретических основах. Но Федор Иванович к этому был уже готов.

Он сидел против полуоткрытого окна. Свежий ночной воздух иногда шевелил листы на столе.

Часа в два ночи он лег спать. А в пятом проснулся, сильно озябнув. Федор Иванович подошел к окну, чтобы закрыть его. Взялся было за створки, но тут же широко распахнул их и высунулся наружу.

На траве перед окном был странный белый налет.

«Иней!» — удивился, присмотревшись. Захлопнул окно и в трусах, босиком выбежал на крыльцо. Ноги обожгло. Стеклянная неподвижность холодного раннего утра встретила его. Сразу увидел облачко пара, вылетевшее изо рта. Белые полотнища инея протянулись по обе стороны асфальтовой дорожки. А когда взглянул на бледно-рыжий край неба, полотнища сразу поголубели. «Не меньше полутора градусов», — дошло вдруг до него. Бросился в дом одеваться, надел сапоги, куртку и, выскочив наружу, торопливо зашагал к парку. Иней по-зимнему повизгивал под ногами.

Небо рыжело все ярче, потом начали выступать, прорезались розовые лебединые клики зари, и от этого все темнее, синее становилась замороженная земля. Выйдя из парка, он взял чуть правее — туда, где были бескрайние картофельные поля пригородного совхоза. Темнота уходящей ночи и голубое оцепенение заморозка окружили его, преградили дорогу. Никого здесь не было, народ спал, не зная, что урожай уже погиб на семьдесят процентов. Конечно, вместо убитой за полчаса ботвы со временем пойдет новая, но лучшие месяцы роста будут потеряны. Повернув назад, Федор Иванович зашагал по мощеной дороге к городу. Когда свернул к трубам, в спину ему ударили первые радостные винно-розовые лучи. Утренние звуки, просыпаясь, бодро вступали в пробующий силы хор. В разных концах парка послышалось карканье первых грачей — словно ломающиеся голоса мальчиков-подростков, играющих в футбол. Вдали, в учхозе, возник частый пистолетный треск — завели пускач трактора. С реки прилетел низкий короткий возглас парохода и повторился еще несколько раз. Донеслись мерные удары по металлу. В соседних с домом Стригалева дворах закричали сразу несколько петухов. Федор Иванович слышал всю эту утреннюю музыку, но думал о своем: что же делается на огороде Ивана Ильича? Укрыл ли забор его картошку от мороза?

Плохим укрытием сказался этот забор. Когда, перемахнув через него, Федор Иванович, полный тоскливого предчувствия, выбежал к огороду, он увидел знакомую специалисту-картофелеводу картину. Весь огород изменил цвет. Четыре дня назад это был чистый, откровенно зеленый широкий лоскут, равномерно обсыпанный белыми цветочками, и все растения стояли, тянули

руки вверх. Этой ночью, за минуту до восхода солнца, огород был такой же голубовато-серый, как и картошка на поле совхоза. А сейчас, когда иней растаял, вся ботва поникла, уронила «уши», и эти почти черные «уши» слегка просвечивали, как восковые. В них уже шли необратимые процессы, начало которым кладется в один миг. Федор Иванович уже видел этот миг, остановленный и закрепленный на кинопленке — когда хромосомы, попав в условия, непригодные для жизни, начинают распадаться.

Смерть провела здесь свою черту. И Федор Иванович, который по его специальности и по его особенной детской впечатлительности был более чем иные способен вникнуть в ужасающую суть этого явления и который по тем же основаниям ярче иных стремился к жизни и берег жизнь, — наш Федор Иванович сидел на корточках перед мертвыми картофельными кустами и осторожно трогал их мертвые «уши», сливался с постигшей этот уголок природы бедой.

Это были мгновения высшей деятельности духа, и потому, как иногда с ним случалось, он совсем не чувствовал себя и не видел ничего из того, что входило в состав его телесного бытия. Даже своих рук, перебиравших мертвые листы. Он был глубоко в нижней колбе своих песочных часов, в своей закрытой для всех бесконечности. А вокруг него — во внешнем мире — собрались другие сущности, тоже бестелесные, их оболочка была здесь не нужна. И если Саул был прост и виден до конца, хотя себе казался очень сложной штучкой; если Краснов был для Федора Ивановича открыт почти весь, а неясным оставался только в тех своих проявлениях, шевелить которые не хотелось, чтобы нечаянно не наткнуться на слишком простые ясности, которые мы обходим стороной даже в мыслях; если об остальных сущностях, толпившихся поодаль, даже и думать было лень — они не стремились распознать Федора Ивановича, пока их не заставляли, были довольны доставшимся им куском, сидели, как кролики в клетках...

Если, с одной стороны, было все, в общем, ясно, то с другой, — там, где из мглы упрямо тянулась к нему гигантская серая туманность, пока с виду доброжелательная, но настойчивая и готовая к внезапному удару, может быть, все уже подготовившая и потому пришедшая в хорошее настроение... Нет! Ты врешь всем, изображая

хорошее настроение. И к удару ты не готов. Тебе нужно «наследство», это секрет твоего будущего, которое не все еще сложилось. Наобещал, нахватал авансов... И ты глазами помощников следишь за мной, чтобы понять, что это я делаю по ночам, почему стал бегать в парке, зачем налил воды в бочки. «Черт знает этого Федьку, слоев сколько... Как у луковицы. А как снимешь только одну кожурку из ста — только одну! — и уже из носа юшка бежит. А их сто!» — так сказал ты тогда за столом у Варичева, тихо кому-то сказал. Но Федькино ухо было начеку.

Таков был вид внутренней напряженности Федора Ивановича, которая иногда заставляла мелко дергаться какой-то малый мускул на его худом животе.

Пока он сидел на корточках, куст перед ним еще больше почернел. Не чувствуя своих движений, Федор Иванович прошел по междурядью, как бы перелетел внутрь маленького мертвого царства и опять присел, трогая осторожными пальцами погибшие листы.

Не глаза — пальцы и передали ему первый пробуждающий сигнал. Он бездумно повторил движение, проверяя себя, и сигнал опять пришел. И тогда, очнувшись, он взглянул, чуть шире открыл глаза. Да, перед ним стоял живой куст. Он был зеленый, лишь цветки как бы обгорели и кончики верхних листьев слегка прихватило морозом.

Мгновенная догадка сотрясла его. Перед ним стоял куст нового сорта! Сорт должен быть морозостойким, говорил Иван Ильич. И растение стойко, с малыми потерями перенесло этот заморозок. Если бы там, на поле совхоза, был этот сорт, урожай бы не пострадал. «Надо отметить чем-нибудь», — подумал Федор Иванович и оглянулся, ища какую-нибудь палочку. И увидел неподалеку еще один зеленый куст. Незачем и отмечать — этот куст и так был виден на фоне остальной еще более почерневшей ботвы.

Федор Иванович пошел дальше по междурядью и насчитал в ряду девять таких кустов. В соседнем ряду поникли и потемнели сплошь все растения. В следующих двух — тоже. А в третьем — он увидел издали — было несколько свеже-зеленых, чуть опаленных сверху кустов. Опять девять. Он нашел все восемнадцать!

— Хо-хо-хо-о! — сказал он вслух и стесненными танцующими движениями пошел по междурядью. Тут же

прилив веселья и погас. Надо было немедлеино что-то делать, чтобы скрыть от чужих глаз эти потерявшие маску восемнадцать кустов. Ои оглянулся по сторонам. Надо было сейчас же что-то делать.

Было всего шесть часов утра. Солнце, вращаясь и бешено кипя, поднималось, и уже было ясио, что начинается жаркий летний день, каких еще ие было в этом году. Уже исчез иней в теиистых углах, везде сияла роса. Замороженная иочью картофельиая ботва совсем оттаяла, еще больше потемнела и поникла. А восемнадцать зеленых кустов по-прежнему стояли, теперь они были хорошо видны, даже издали их можно было считать.

Федор Иванович ходил по участку. Ои искал какойиибудь подходящий ииструмент. Сразу увидел лопату, вместе с граблями прислоненную к дому. Нет, это крайиий случай. Нужиа коса.

Он ринулся к тепличке. Здесь ие было никаких инструментов. Пролез под пол сеней, а оттуда и в сени. Оглядевшись в полумраке, сразу увидел рукоятку большого старинного серпа, его кривое лезвие было втиснуто между обрешеткой кровли и стропилом.

Подходя с серпом к огороду, повторил иесколько раз: третий и седьмой ряды. Потом он записал химическим карандашом — цифрами на голой руке от локтя до кисти расположение всех восемиадцати кустов. Записав все, тут же принялся яростно косить ботву. Сначала срезал у самой земли ботву иа третьем и седьмом рядах. Потом выкосил весь остальиой — полностью мертвый огород.

Три часа бешеной и однообразиой работы — сиачала серпом, потом граблями — и вот ои, потный, стоит уже иад голым огородом. «Мотыжка, мотыжка нужна! — подумал тут же. — Тяпочка какая-нибудь...» И тяпочка нашлась, стояла неподалеку от лопаты, как бы вышла из бревеи стены. Он же сам и поставил ее здесь! Пока ие было нужио, не видел. И он сразу принялся окучивать ряды. Еще добрый час ушел иа это дело. Окоичив, ои вытер мокрый лоб. Пускай теперь смотрят. «Что такое? Кто скосил? Почему?» Пусть таращатся! Когда еще она... Потом ей же еще расти. Копать придут в октябре. А мы ее в сеитябре!

— И увезем! — сказал ои вслух.

Но тут еще пришла мысль. Надо выбрать в скошеи-

иой ботве все зелеиые листья и закопать. Этот Бревешков хоть и дурак, ио у него есть особая смекалка подлеца. Может заметить зелеиь. Начиет ворочать мозгами, морщить лоб. Касьяну позвонит. Обманем подлеца! Федор Иванович тут же выкопал под забором узкую яму, разворошил скошениую ботву и, выбрав все свежезелеиые стебли, закопал их, а сверху положил квадратную дериику. Потом сиова сгреб мертвую ботву в кучу, серп отиес на место и перед уходом оглядел весь огород.

— Класс! — произнес ои вслух студеическое слово, переиятое у Иваиа Ильича. — Кла-а-ас-с!

Цифры, что были иа руке, ои перенес в свою записную киижку и иа подкладку «сэра Пэрси» внутри рукава. Уже было десять часов. Щеткой отмывая над раковииой чериильные цифры на руке, ои строил перед зеркалом ликующие гримасы, удивляясь своей энергии и время от времеии повторяя шепотом:

— Три и семь.

Одиако заглохшие было предупреждающие струи опять подступили к этому сияющему от мгновеииого счастья человеку, проиикли в иего, и прежде чем была отмыта последияя цифра, ои погас.

Так что в свою ораижерею он вошел тем же суровым, все видящим и быстро все решающим руководителем, каким был и вчера. И так же задумывался вдруг — это было с ним ие раз на протяжении дня. Только причина была менее определеииой. Как ни доброжелателен был с ним Касьяи, но Федор Иванович, виимательно все иаблюдавший, учуял что-то и ждал от судьбы уточнеиий. Он любил ясиость и определенность, и не терпел иеожиданностей. И, как полагается, это свойство вовремя настораживаться не подвело его.

После обеденного перерыва, когда в опустевшей столовой, держа в руке большой кус свежего ржаиого каравая, он хлебал алюмииневой ложкой суточиые щи, положив в иих твердой пшеииой каши, когда он иа минуту отдался этой простой пище тружеииков, и ведь именно, когда отдался, — тут он и пропустил тот миг, когда в жизнь вступает судьба. Он вдруг почувствовал, что рядом кто-то сидит.

— Хорошо едите, Учитель, — это был шепеляво-уми-

ленный голос и знакомое сопение дядика Борика, знакомый водочный душок. — Аж завидно смотреть. Надо и себе щец взять и полпорцию кашки.

Оставив на столе свою инженерскую фуражку с кокардой, он выпрямился, чуть не достав влажным пробором низкого потолка, и нетвердым шагом направился сначала к кассе, а потом к раздаточному окну. Он был высок и представителен в своем черном инженерском костюме, с шутливой галантностью играл плечами, а у окна даже ухитрился поймать ручку поварихи и поднести к губам. А поднося, метнул в нее особый взгляд, за что на него даже замахнулись ложкой.

Но повариха тут же и остановила замах и серьезно посмотрела на Бориса Николаевича. Хоть дядик Борик и частенько бывал «в настроении», вид его сегодня встревожил женщину. Теперь и Федор Иванович заметил во всем его облике след огромного «дня механизатора». Лицо дядика Борика отекло.

— Сейчас и мы... — сказал он, ставя тарелку со щами и кашей на стол около Федора Ивановича. — А заодно трахнем Учителя новостью.

Хлебнув щей и положив ложку, двигая ртом, где совсем не было зубов, а только кипела складчатая красная плотоядность, он полез во внутренний карман пиджака, достал что-то и, оглянувшись и убедившись, что столовая пуста, положил перед Федором Ивановичем измятый тетрадный лист.

— Читайте. А я буду наверстывать. Я давно вам должен был. Но... Колеблющийся я элемент.

Дядик Борик поигрывал по-прежнему спиной и плечами и ужимки его, как всегда, соединяли высшую учтивость и озорство. Пьяная усталость тянула его к земле. И еще было видно, что он неспокоен. В нем горела тревога.

Взглянув на бумагу, Федор Иванович сразу перестал есть. Шевельнув бровью, в суровом молчании принялся читать.

— «Первое. Главный вопрос, — прочитал он вслух, — что за фильм был изъят у морганистов? Дополнительный вопр.: правда ли, что он получен из-за рубежа? Доп. вопр.: из какой страны, по в. мнению, могли его завезти? Какими путями? Говорят, что в нем содержится тонкая пропаганда...»

Федор Иванович в молчании пробежал глазами не-

сколько пунктов. Вдруг, слегка как бы подпрыгнув на месте, сказал:

— Ого!

— Что вам так понравилось? — спросил дядик Борик.

— Гл. вопр., — прочитал Федор Иванович вслух, — как смотрите на приказы министра Кафтанова об отстранении от должностей ученых — докторов, кандидатов и профессоров? Правда ли, что их отстранено около трех тыс.? Кто вам сказал? Вы пробовали считать по приказам? Неужели три тысячи? Не слишком ли сурово?»

— Интересная бумага, — проговорил он и перевернул лист.

— Читайте как следует — раз интересная, — сказал дядик Борик.

Федор Иванович прочитал:

— «Г. в.: известно ли вам, что тов. Сталин интересуется биологическими науками? Доп. в.: как относитесь к тому, что доклад был прочитан на сессии после его одобрения тов. Сталиным? Многие поговаривают, что это безнравственно — набрасываться на противников, имея такой заслон. А вы какого мнения? Доп. вопр.: правда ли, что т. Сталин лично читал и одобрил доклад т. Лысенко на сессии? Доп. в.: правда ли, что т. Ст., по представлению Лысенко и Рядно, личным распоряжением, без процедуры выборов, ввел чуть ли не 30 новых членов в академию с.-х. наук? Д. в.: как относитесь к тому, что без выборов? Нет ли тут нарушения устава академии? Г. воп.: в чем был смысл ваших вопросов, заданных во время зачета студентке Е. Бабич. Вы спросили, к какому выводу приводит эксперимент. А к какому выводу он приводил, по в. мнению? Если знали, зачем же спросили ее об этом? Почему не разъяснили все студентке с позиций Мичурина? Ведь вам известна точка зрения академика Рядно на эти вещи?»

— Ловушка для кого-то, — сказал Федор Иванович.

— Известно, для кого...

— Ну, раз известно, давайте доедим наш обед.

Покончив с гуляшом и выпив по стакану мутного киселя, они вышли и сели около столовой на лавку — на ту самую лавку, где Федор Иванович обменялся с Леной первыми словами о самолете и катапульте, имевшими важный для обоих смысл. Вот тут он сидел, держа в руке жука...

— Так мне рассказывать? — спросил дядик Борик.

Он сидел рядом, вполоборота к соседу, надев фуражку на острое колено, и курил, перемешивая дым с красными складками во рту.— Я вижу, вас совсем не встревожило прочитанное.

— Ну давайте,— Федор Иванович сел посвободнее. Он так садился всегда, готовясь принять удар.

— Так вот. Учитель...— дядик Борик взыграл, склонил голову набок.— Нравится вам текст? Любопытно?

— Нельзя сказать, чтобы очень...

— Тогда слушайте внимательно повесть. Слушайте внимательно, потому что от вас требуется реакция. Вы помните, в прошлом году ко мне зашли прощаться? А дядик Борик сидел за столом совсем больной, у него был день механизатора... Малый день...

— А у него еще и большие бывают?

— О-о-о... У дядика Борика позавчера было цунами... Но это неинтересно. Что я вам тогда сказал, в прошлом году? Я хотел вам что-то сообщить, но велел прийти дня через три. Сказал, что запамятовал. Я соврал вам — не запамятовал я. Просто состояние было неподходящее. И страха ради иудейска... А вы тут и говорите: я уезжаю в Москву. И я... Не показалось вам, что я обрадовался? У меня прямо гора с плеч свалилась, когда услышал от вас...

Тут дядик Борик окутался дымом, разогнал его рукой и строго, даже с проблеском отчаяния посмотрел на Федора Ивановича.

— Я так и думал, что вы уехали... А потом смотрю: Учитель мой по дорожке пробежал. Смотрю, с этим... с академиком идет. К нам в цех пожаловали. Вот черт, думаю, вот несчастье... Не обрадовался я тогда. Нет, не обрадовался. Даже выпил с горя...

— Вы не любите меня?

— Ох, Учитель... Именно — любит вас дядик Борик. А все эти странные проявления — потому что еще одно предшествовало событие. А его предваряло, Федор Иваныч, еще одно — в те еще времена, когда меня в первый раз туда пригласили и оставили там отдохнуть. Вы должны помнить это. Скажите, вы не заметили, что после той отсидки я стал чураться вас? Вы не знаете всего — ведь тогда, во время трехмесячного санатория, мною занимались очень мало. Вы, вы их интересовали. О вас все спрашивали. На вас у них уже была папка

заведена, я видел ее. Ваша явка с поличным возымела свое действие. Нежелательное. А перед тем, как меня отпустить, они начали приставать. Вязнуть... Чтобы я согласился сообщать им иногда... Играли на моей... Я ведь труслив!..

— Так вы у них...

— Нет. Дядик Борик у них на учете как запойный пьяница. Это более ценный кадр. Я ведь именно тогда еще особенно нажал на градусы, стал запивать. Появились дни механизатора. Потом вы приехали с ревизией. И меня вдруг вызывают. Это после собрания, где Ивана Ильича... Я поддал прилично, чтобы пахло водкой и луком, и являюсь. А им это — что я выпил — оказалось как раз и нужно. Велят вас, Учитель, пригласить в «Заречье» и за рюмкой с вами потолковать. И вопросник велели записать и выучить. Из того, что в этой бумажке, там только про приказы Кафтанова было. И про Сталина. А больше по общей политике. За этим делом вы меня и застали в тот визит. У меня тогда получился неплановый день механизатора. Сижу, ломаю голову, что делать... А он, мой родной, мне и говорит: «До свиданья, дядик Борик, уезжаю!» Поезжай, поезжай, дорогой, скорее уматывай, подальше от греха...

Дядик Борик затянулся сигаретой, затуманился, глядя вдаль.

— Не томите, дядик Борик. Удалось отвязаться?

— Учитель, они меня опять вызвали. Четыре дня назад. Напомнили про вопросник.

— Так в чем дело? Я готов.

— Я вовсе не для того... Я не собираюсь вести вас в «Заречье». Ни за что не поведу. Это я просто информировать Учителя, чтоб держал ушко востро. Потому что дядик Борик завтра будет уже далеко-далеко. В далеком горнем ца-а-арстве,— тихонько и со сладостной улыбочкой пропел он из Лоэнгрина, положив руку на плечо Федора Ивановича и ловя его взгляд.— Я попрощаться с вами пришел, дорогой. Дай, гоюбчик, дотянусь до тебя... Поцеюю...

И мокрые красные губы присосались к щеке Учителя.

— Нет, правда...— сказал Борис Николаевич, вдруг похолодев.— Надоела мне вся эта глупость до чертиков. Решил совершить внезапный прыжок в кусты. Скажу вам, Учитель, мне можно было бы и не лечиться, я бы мог и сам... Нравственный стимул подействовал.

— Надолго отбываете?

— Думаю, что не меньше месяца.

Назавтра, действительно, институтский микроавтобус увез Бориса Николаевича в больницу.

II

Обычно лето в университетских и институтских городках бывает неинтересным: плоская жара и пыль или такие же плоские дожди и грязь. Мелькание жарких июльских дней напоминает трепет ситцевой выцветшей занавески в открытом окне, бесплодно пролетают эти дни, и нарастает особая — летняя — досада. Но это справедливо лишь для того, кому некуда спешить и у кого нет неоплатных долгов.

Пришла к концу экзаменационная сессия, институт опустел. Была лишь середина июня, а в институтский городок уже пришло летнее запустение и заняло все углы. Хлопало открытое окно, ветер гнал по асфальтовой дорожке лист бумаги с надписью: «расписание». Вышел из сарая кабан тети Поли и со стоном рухнул и вытянулся в тени около крыльца. Безмолвие, жара и неподвижность сковали все.

Федор Иванович по утрам, когда было еще прохладно, выходил из дома и, углубившись в парк, начинал свой бег. Это стало теперь делом ежедневным. Пробежав с легкой хромотцой километр и почувствовав жжение в груди — там, где между двумя сосками была у него яма вместимостью как раз под женский кулак, память о войне,— почувствовав жжение в этом месте, он переходил на шаг и шел до тех пор, пока сердце не успокаивалось и не возникало во всем теле желание опять пробежаться. И он опять переходил на рысцу. Он хотел освободиться от своей прочной военной инвалидности. Клетки в просыпающейся почке дерева упорно продолжали делиться, и птица, следуя своим неясным побуждениям, упорно подбирала травинки. Побуждения действительно были неясными. «Что это я делаю?» — возникал иногда в нем тихий вопрос. И следовал ответ — расплывчатый, но укрепляющий намерение: «Может пригодиться».

Вместе с легкой испариной, приходившей на третьем километре, налетали мысли. Поручение побеседовать с Федором Ивановичем на темы, к которым его современ-

никам полагалось иметь четкое отношение, не допускающее разных толкований,— это поручение, с блеском сорванное дядиком Бориком, само по себе было серьезным предвестием. Слышался отдаленный неторопливый скок начинающейся погони. Эти звуки заставляли увеличивать число километровых пробежек, контролировать дыхание, в темных уголках парка падать на траву ничком и отжиматься на руках, считая каждое прикосновение груди к траве.

Иногда, летя мягкими и длинными, замедленными скачками по аллее, погруженной в утреннюю тень, он обгонял чету Вонлярлярских и на ходу отвешивал поклон. Он уже успел заметить, что Стефан Игнатьевич в ответ только выше поднимает голову и надменнее опускает углы рта. Странный старик! В последний приезд Кассиана Дамиановича он был допущен в душ для мытья костлявой спины знаменитого и недоступного ученого. Об этом все узнали не со слов академика: после душа ему сразу подали машину, и он уехал. Сам Вонлярлярский несколько раз вдруг ронял в разных местах новое иностранное словцо, оно-то и привязало странным образом факт мытья спины академика ко всем ушам. То, что Стефан Игнатьевич был допущен к мытью спины, всегда упоминалось вскользь. За главную же цель высказывания выдавалось каждый раз открытие, сделанное Вонлярлярским: у академика, оказывается, был настоящий *гуттуральный* голос! Стоило только с силой провести грубой мочалкой по позвонкам — и знаток вокала получал то, что нужно. Тонкая улыбка Вонлярлярского давала понять, что и там, среди брызг и пены, открыв озорным взглядам крепкого академика-крестьянина свою увядшую наготу, интеллигентный ученый в нем сохранял гордое превосходство и продолжал наблюдать. Тот же факт, что о сеансе в душевой Стефан Игнатьич сообщил многим и не раз — этот факт все-таки подтверждал правоту академика. Ведь Кассиан Дамианович еще когда предсказал, что эта «проститутка» будет фыркать, а спину потрет. И сделает, чтобы все узнали.

То, что, встречаясь в парке с бегущим Федором Ивановичем, Вонлярлярский не отвечал на его поклон, удивляло. Заметив, что это происходит не случайно, Федор Иванович в очередное утро остановился перед Вонлярлярскими и почтительно протянул им руку. Ма-

дам подала длиннопалую узкую лапку с перстеньком, а Стефан Игнатьевич свою убрал.

— Не подам я вам, Дежкин, своей руки! — почти закричал он, таращась и выкручиваясь перед внимательно изучающим его Федором Ивановичем. — Не подам!

— Но вы же вчера в лаборатории подали... И беседовали.

— Я маленький человек,— заговорил Вонлярлярский, трясясь и даже мелко прыгая.— В такие дни, когда приходят в движение гигантские гранитные скалы... Когда стометровая волна накатывает на город, смывая... Не мне диктовать космическим процессам свою волю. Трясется скала и я трясусь вместе с ней. И я буду завтра в лаборатории беседовать... И руку подам. Где публика, там меня нет... Но вы будете теперь знать, как подается эта рука. Будете знать, как я отношусь к тому, кто... Вы и есть Торквемада! Монах кровавый! Я таким его себе и рисовал всегда. Интеллигент! Умный! И, главное,— взгляд, улыбка. У людей все нормы другие. Там если негодяй — у него свой и взгляд. А если порядочный — свой. У Торквемады — как в степи огонек, привлекает. И летят на огонек... Профессор. Гордость кафедры. Девушка. Красавица, умница. Гордость факультета. И Торквемада всех их в костер. Между прочим, таково мнение всего коллектива.

— Вы же сами! — в бешенстве заорал Федор Иванович и тут же, смирив себя, горячо зашептал:— Кто вас дергал за язык тогда на собрании! Побежал на трибуну! Отмежеваться заспешил! От профессора, от гордости коллектива!

— Я уже сказал, я маленький человек. Поняли? Ма-а-а,— запел он двухмесячным барашком,— ма-а-а-а..., а окончания и не видно, вот какой я маленький. Вы, вы меня напугали! Это же была цепная реакция! От вас она пошла!

— Нет, не от меня. Старику спину тереть кто полез? Торквемада вас толкал? Шкура, шкура толкала! Сегодня потру, а завтра осторожно дам знать... про гуттуральный голос. Чтоб боялись...

— Так он же... Он же сам! Головой кивнул, и я... и ноги пошли... Какой с меня спрос? Мне показалось, что на меня смотрят из президиума, и я иду... Варичев тогда действительно же смотрел! Я и поплыл, как щеп-

ка, куда тянет... А вы́! Вы-ы!! Вы же можете быть челове-е-е-е...— опять запел он, тряся перед лицом Федора Ивановича сухой рукой, играющей перламутровыми переливами.

Маленький старикашка бился в давно созревшем исступлении, вытряхивал из себя больно бьющие слова. А жена дергала его за локоть, тянула за складку на синем спортивном трико.

— Не дергай! — засипел он на нее, вдруг потеряв голос, и схватился за горло.— У него мы все равно как на ладони.

Так что неподвижное и безмолвное лето, которое сразу набрало силу и замедлило жизнь, оно порой все же высылало из своих скучных пространств неожиданности, заряженные сверхэнергией.

Один такой плод, тайно наливавшийся с весны, перезрев, упал с ветки и разбился в середине июля — в воскресенье. И в этот же день институт навсегда простился с Красновым.

К указанному времени Федор Иванович уже пробегал за день в общей сложности по десять-двенадцать километров, разделенных на двухкилометровые отрезки. Сюда надо еще прибавить не меньше шести километров быстрой ходьбы, которой он, отдыхая, заполнял промежутки между бегом. Поскольку дистанция выросла, ему приходилось теперь, пролетев легкой рысью по главной — Продольной — аллее через весь парк и обогнув тылы учхоза, бежать дальше, в малознакомые места, в прорезанные глубокими канавами заброшенные торфоразработки. Эти места, оставленные птицами, утыканные полуживым молчаливым сосняком, чем дальше проникал в них бегун, становились глуше. Нарастал приятный, отчасти химический, виляющий, как змея, запах болиголова. Душистый кустарник, осыпанный мелкими бледными цветами, был Федору Ивановичу по грудь и рос настолько плотно, что полностью скрывал глубокие, опасные канавы. Он, этот болиголов как бы сторожил вход на богатейший кочкарник, куда люди с крепкой головой ходили за черникой. Впервые забежав в эти дебри, Федор Иванович случайно заглянул в просвет между кустами, туда, где угадывалась канава. Его встретил на редкость тупой, как у крокодила, непроницаемый и караулящий взгляд судьбы. Запах болиголова стал душистее, тяжелее, он тоже был заод-

но с неизвестностью, жившей в канавах. И Федор Иванович вдруг повернулся и побежал назад, полностью уступая эти места вооруженным силам природы. И больше так далеко в этот кустарник он не забегал.

В то воскресенье, выбежав рано утром в парк, Федор Иванович решил увеличить дневную норму бега еще на два километра и одолеть, таким образом, за день одной лишь рысью четырнадцать километров. В последнее время бег для него стал почти таким же легким делом, как и ходьба. Не исчезала лишь хромота, и нужно было вовремя менять темп движения, не допускать появления боли за грудиной.

Пробежав всю Первую Продольную аллею, он пошел вдоль сетки, ограждающей тыловые службы учхоза, потом опять пробежал два километра и снова пошел — уже по торфянику, вдоль глубокой канавы. Здесь он обогнал нескольких женщин, работниц из учхоза и помахал им. У каждой было ведро, поодиночке и по две они шли все в одну сторону — за черникой. Потом потянуло первыми приятными струями из закрывших впереди дорогу зарослей болиголова. Это были предупреждающие струи — болиголов не зря носит свое название. Вскоре начался и сам кустарник. Запах стал сильнее, теперь от леса несло химической эссенцией. Федор Иванович остановился и повернул назад. И сделал это вовремя — голова уже отзывалась тупой болью на каждый шаг, и он не смог бежать. Шаги его сами собой сделались осторожными, мягкими. Прошагав так два километра, он свернул к дыре в сетке, опоясавшей тот ближний к нему угол учхоза, где были расположены делянки злаковых культур. Пролез в дыру и остановился среди делянок, скрытый со всех сторон высоким, в рост человека, плотным пшеничным травостоем, начинающим уже бледнеть. Вспомнив нечто, он стал бродить среди пшеницы, ржи и ячменя и отыскал наконец маленькую продолговатую деляночку. В этом году на ней росли только сорняки. Женя Бабич со своей подружкой, видно, испугались и решили больше не экспериментировать с опылением пшениц, посеянных под зиму. Федор Иванович постоял перед деляночкой, как перед могилой. Покачав головой, побрел дальше, ноги привели его к сараям. Нечто вдруг привлекло его внимание, он прошел между сараями и у самой сетки уперся в треугольный клочок чисто обработанной земли. Здесь качались

пять или шесть одиноких пшеничных стеблей с легкими бумажными изоляторами на колосьях. Каждый стебель был привязан к воткнутому в землю прутику. Федор Иванович счастливо просиял, глядя на эти изоляторы. Понял: это Женя Бабич. Тайком от всех она всетаки пробивалась к истине. Опять вспомнил свою юность. «Правильно поступаешь, Женя Бабич,— подумал он.— Ты у нас — прямо как Коперник. Не сдавайся и не отступай. Но тайна в этих делах не повредит. Много еще всяких красновых и шамковых ходит вокруг нас с тобой».

Так он думал и улыбался, и вдруг увидел хозяйку делянки, вернее, часть ее головы с косой. Женя Бабич сидела на корточках за сараем и прикрывалась от Федора Ивановича тачкой, которую поддерживала в вертикальном положении. Улыбка его разгорелась, он шагнул туда, и Женя уронила тачку и поднялась, глядя в сторону.

— Не бойтесь, не донесу,— сказал он весело, но с мстительной твердостью.— При одном условии: если вы не донесете, что я видел вас на вашей подпольной деляночке и не донес.

Повернулся и шагнул в пшеничные заросли, в колосящиеся хлеба, утонул в полевых запахах.

Он собрался уже уйти в парк, в тень, как вдруг увидел за сеткой вдали мелькающую среди хилых редоких сосен долговязую фигуру, бегущую изнеможенно-неровной трусцой. Охваченный тревогой, Федор Иванович через дыру в сетке выбрался на ту сторону, и бегущий человек, увидев его, поднял руку и, споткнувшись, чуть не упал. Это был Борис Николаевич Порай. Он уже вернулся из своего горнего царства. Вскидывая и роняя руку, он что-то говорил, должно быть, пытался крикнуть, и ничего не получалось. Федор Иванович побежал навстречу.

— Учитель! Веревку давай скорей...— услышал он, наконец.— Веревку! Скорей... Там человек... Краснов, по-моему. В канаве.

— Отдохните. Сядьте... Я сам...— Федор Иванович пролез сквозь сетку и понесся к финскому домику.

Он помнил — там, в чулане, всегда лежала высокая, не убывающая бухта толстой хлопковой веревки. Взяв у сторожа ключ, открыл домик, сорвал висячий замок на фанерной двери чулана. Отделив от бухты десятка

два витков, перерубил веревку топором и, надев ее на себя, как хомут, побежал обратно. Откуда-то появилась Женя, хотела присоединиться. Но Федор Иванович шепнул ей: «Там Краснов, Краснов там, лучше бегите отсюда». И она молча отстала, исчезла среди сараев.

Тяжело дыша и спотыкаясь, двое мужчин пробирались сквозь душистые кусты.

— Понимаете, Учитель, иду я... С ягодников...— говорил Борис Николаевич, задыхаясь и охая.— Первая моя прогулка за ягодами. А навстречу — женщины. Что-то кричат. Про корзину. Я прежде всего эту корзину и заметил. Плавает... Потом след на воде. Среди плесени. Поплыл он, значит...

Наконец, дядик Борик сказал — «здесь» и, сев на землю, ткнул несколько раз рукой в самую гущу болиголова. Федор Иванович, морщась от крепкого аромата, стараясь не делать глубоких вдохов, разгреб куст, усыпанный цветочками, раздвинул пружинистые охапки стеблей, и вдруг на него глянуло темное глубокое око канавы. Там в полумраке дрожала вода, темная, как кофе, плавали блины зеленой плесени. А чуть ближе, почти под ногами Федора Ивановича виднелась лысоватая бледная голова, облепленная редкими мокрыми прядями.

Захлестнув петлей кривенькую березу, росшую поблизости, подергав веревку, он бросил другой конец в канаву и спустился по ней в стоячую теплую воду. Правда, теплой она была только сверху. Внизу ноги охватило ледяными клещами. Краснов стоял, как кукла, в этих клещах, полуоткрыв рот, прислонясь спиной к подмытому берегу. Голова свалилась набок, глаза были заведены под верхние веки. Несколько свисающих стеблей были продеты в петлю его вельветового пиджака, поддерживали тело в вертикальном положении. Опоясав его, проведя веревку под мышками, Федор Иванович затянул узел и вылез наверх. Вдвоем с Борисом Николаевичем они подняли тяжелое тело, протащили через кусты. Охая от боли в голове, долго тянули его волоком, пока кусты не кончились, не пошло твердое торфяное поле, скупо поросшее щавелем и хвощом. Здесь и бросили Краснова и сами упали, отдуваясь и плюясь.

Федор Иванович взял тяжелую, упругую, как варе-

ная колбаса, руку, сжал запястье, прощупывая пульс. При этом его глаза и глаза Бориса Николаевича встретились и остановились.

— Ну, как? — шепнул дядик Борик, подаваясь вперед.

— Нет вроде...

— Я его и не вытаскивал бы...

— Ш-ш-ш! Вроде как есть! Есть. Надо раздеть,— распорядился Федор Иванович. И тут увидел на вздутой бледной руке буквы, четко прорисованные химическим карандашом: «Старик Жуков виноват».

Дядик Борик тоже увидел. Округлил глаза.

— Кошмар... И подыхает, а все еще доносит.

— Вцепится теперь он в Жукова. Борис Николаевич, вы разденьте его, а я побегу, вызову «скорую». И ацетон принесу — смыть буквы.

Минут через двадцать Федор Иванович вернулся. Краснов лежал без ботинок и без пиджака. Бледно-голубые глаза его уже вернулись из-подо лба в нормальное положение и мутно смотрели в небо, полуприкрытые веками. Он изредка неглубоко вздыхал. Показав дядику Борику флакон с прозрачной жидкостью, Федор Иванович плеснул на платок и принялся тереть тяжелую руку альпиниста.

— Чем это пахнет? — спросил Борис Николаевич.— Похоже, не ацетон...

— Ксилол. У лаборанток нашел. На дерьмо дефицитную вещь приходится тратить. Вроде хорошо смывает. Надо завтра в больнице предупредить этого дуралея. Чтоб старика Жукова не трогал. Вы теперь смотрите за ним, а я пойду. «Скорую» встречать...

В понедельник дядик Борик зашел к нему в учхоз — на делянку, где завлабораторией с раскрытым журналом в руке стоял среди картофельных кустов. Федор Иванович внимательно посмотрел на него.

— Из больницы?

— Сейчас оттуда. Лежит с капельницей. Речь у него нарушилась. Врач обещает, что месяца три полежит. С трудом мямлит. Но разобрать можно.

— Состоялся разговор?

— Состоялся. Я спрашиваю: как в канаве очутился? «Жердина под ногой повернулась». Сама? — спрашиваю. Он смотрит. Все понимает. Сам не шелохнется. «А кто же еще?» — говорит. Я руку на руку ему положил. И

говорю: так и отвечай всем. И пальцем крестик на руке у него... почесал.

— Он понял?

— Все он понимает, Учитель. Он и глазами показал. Мол, все будет в порядке.

А вечером, когда на улице посинело и полнеба захватило остывающее зарево странного лукового оттенка, в дверь к Федору Ивановичу постучали. Он как раз сел пить чай и собирался, не зажигая света, посидеть и обдумать все происходящее. Загремев стулом, он открыл дверь — была не заперта. Во тьме коридора кто-то стоял. Потом надвинулся невысокий плотный мужик, бледный, с черными, грубо откинутыми на сторону масляными лохмами и черными поникшими усами. Федор Иванович узнал Жукова-отца и шагнул назад, как боксер, чтоб была свобода для боя.

— Ты чего? — строго прохрипел Александр Александрович.

— Боюсь, по морде будешь бить.

— Не бойся. Считай, пронесло,— он вошел и со стуком поставил на стол поллитровку.— Значит, живешь, Дежкин, здесь... Ну, давай подержимся,— он протянул ручищу. Задержал руку Федора Ивановича.— Обиделся тогда?

— Почему? Я же видел, что не по адресу.

— Оши-ибка... Ошибка вышла. Мы ее, Дежкин, исправим.

Они сели к столу.

— Это что у тебя тут, колбаса нарезанная? Давай нальем. Разговор лучше пойдет.

Он налил в две чашки. Федор Иванович послушно взял свою. Выпили по глотку.

— У тебя никто тут не спит? — Жуков внимательно оглядел темную комнату.— Знаешь, почему я к тебе пришел? Ведь это я его...

— А я знаю...

— И я знаю, что знаешь, Федор Иваныч. И что ты руку ему отмывал, знаю. От буков отмывал. Спасибо тебе. Это я его... Как проведал, что за черникой повадился, так и стукнуло. И стал за ним ходить. А он же ничего не слышит. Знаешь, как он ходит по лесу? Как первобытный человек, такая картина есть. Весь вперед

согнется, брови опустит, руки свесит и все думает что-то. Вот я вчера совсем вплотную подошел... А он как раз на жердину ногу ставит. Чтоб переходить. Как он на середку вышел, я жердину и шевельнул. И качаю. А он оглянуться боится, думает, голова кругом пошла от болиголова. Она так бывает. Балансирует, корзину бросил, крыльями машет... А потом и зашумел вниз. А я жердину на место — и назад. Отошел — слышу, он орет. Потом поплыл. А там же крыша над канавой, болиголов сплошной. Темнота... Он все хлюпается, хлюпается. И покрикивает иногда. Вот минут через пяток я и подхожу. Разгреб кусты, а он там. Мне в глаза смотрит. «Ты как сюда?» — спрашиваю. Он: «Слушай, спаси. Найди жердиночку какую, протяни. Я знаю, плохо я тебе сделал. Прости...» — «А что же это ты такое натворил? Почему так думаешь, что сделал мне плохо?» — «Я поступил скверно,— он говорит.— Ты же Саши Жукова отец? Не знаю, почему со мной так...» — И заревел как женщина. Я ему говорю: «Да распротуды-т-твою не мать, это ты потому сейчас ревешь, потому каешься здесь, что знаешь, собака, что мне все известно насквозь про твою подлость. Если б ты точно знал, что я не знаю ни фига, и все мне рассказал и заплакал,— тут я тебе жердину, может, и подал бы. Вот она лежит. А так не подам». Давай еще глотнем, Дежкин. Самую малость. Поддержи уж компанию...

Они выпили еще. Сидели в полутьме, сопя, жуя колбасу. А за окном стало еще синее, закат догорал, чуть светился сквозь полосы золы.

— Он руки ко мне тянет, машет, боится, что уйду. Я ему говорю: «Зверь ты, волк. У тебя уши зубчатые, бабушка твоя гуляла с сатаной. Убийца, Троллейбуса нашего загубил. Ведь знал же, знал, что у него язва. Он же не вернется. Отвечай, знал, что язва?» — «Знал», — говорит. «Видел, как глотает из бутылочки?» — «Как же, видел». — «И знал же, что он сделал открытие?» — «Ну, какое открытие... Но знал, конечно, знал».— «А зачем же ты тогда, если не знал, к нему на огород лазил? Дыру-то тебе там, на огороде, поставили? Вон, метка».— «Знал, все знал, дурак был».— Он еще больше заревел и руки тянет. «Откуда ты свалился к нам, непонятный такой? Ты же понимаешь, что ты наделал? Или ты, как собачонка,— на кого натравят, туда и брешешь? Ведь если от них, кого ты посадил, не остался

какой и не затаился, если этот человек не спасет все дело, вы все завтра будете сидеть без картошки! Жрать же дуракам нечего будет, ты это хоть понимаешь? А еще Ким назвался. Это же значит Коммунистический Интернационал Молодежи! Зачем имя переменил? Отвечай! Думаешь, про сундучок не знаю? Зачем?» — «Мода,— говорит,— была». Чуешь, Федя? «Мода бывает галантерейная,— это я ему.— Или на прически...» — «А это,— говорит, — политическая мода». — «Да ты и в Прохорах мог бы политику свою делать! Нет, Краснов, это ты сделал для торжества над простачками, над теми, кто недотумкал Прохора-то переменить, на отца родного плюнуть. Вырваться вперед хотел. А как стал Кимом — держи теперь ноздрю воронкой. Ругают вейсманистов — и ты их в шею. Прохор мог бы еще поберечься, уйти от такой подлости, а Ким — ого-го! Ким должен ругать. И бить! А соблазну сколько! Бьешь его, сбил, а после него клады, клады же остаются! Работал ведь человек, для народа, что-то находил. Надо же взять!»

Они долго молчали, сидели, опустив головы.

— Надо же, отрекся от отца! — заговорил Жуков опять.— Что же ты такое, если не понимаешь, какая это вещь — кровная связь отца с сыном! Тебе это говорит отец, Сашкин отец, мальчишки моего единственного... Который не то что как ты. Которому руку руби, а батяню своего не продаст... Сы-но-ок! Сыно-хо-хо-хочек!..

Глубоко втянув нижнюю губу и сильно зажмурившись, Александр Александрович вдруг заперхал, зашмыгал, напыжился, и тоненькой ниточкой вытянулся из него жалостный плач и потянулся все выше, не переставая. Как будто сердце вытекало из старика через тончайший капилляр. Федор Иванович окаменел от ужаса. Он никогда не слышал такого горького плача, не видел такого горя. Оборвав тонкую нить плача, старик тяжело заохал, падая каждый раз грудью на стол. Он убивался по своему сыну. Убивался, а смерть не приходила.

— Феденька! — закричал он, тряся головой, и бросился Федору Ивановичу на грудь.

Потом он затих, и оба с жадностью выпили по полчашки.

— Если бог есть... Если есть,— я ему говорю...— старик всхлипывал у Федора Ивановича на груди.—

Если бог есть, он должен тебя... Должен покарать. И пусть он тебя покарает моей рукой. Если бога нет — человеческая совесть пусть поставит точку твоей подлости. Закон еще не находит управу для таких, как ты. И не скоро еще найдет. Все мелкоту подбирает. Ничего, совесть заполнит эту прореху. Так что знай, если выберешься из этой ямы, все равно я тебя достигну. А если ты меня опередишь, другие достигнут. На тебя целая очередь стоит. Я тебя сейчас мог бы шарахнуть... Колом по башке. И кол хороший лежит поблизости. Я тебя оставляю во власть твоей судьбы. Если вытащит тебя кто — целуй руки тому. Но знай, Краснов. Значит, судьба тебя для другого наказания бережет. Пострашнее. Чтоб ты десять раз сдох и воскрес. А потом уже она тебя уберет. Когда сам ее начнешь об этом просить».

Краснов лежал в больнице, в отдельной палате, и из капельницы, установленной около койки на никелированном штативе, медленно текло по прозрачной трубке в его вену чудодейственное, недоступное простым людям заграничное лекарство, присланное академиком Рядно. Днем и ночью дежурили около больного попеременно две пожилые сиделки, обе с фельдшерской подготовкой, обе были приглашены за хорошие деньги некоей дамой, пожелавшей остаться в тени. Тем не менее, ему не суждено уже было вернуться в институт. Прошел слух, что академик Рядно дважды звонил в больницу и обстоятельно, каждый раз по полчаса беседовал с главным врачом о перспективах выздоровления Краснова. Деловой человек Кассиан Дамианович. Главный врач заверил академика, дал гарантию, что Краснов встанет на ноги и болезнь не отразится на его талантах. После этого вскоре стало известно, что, как только больной станет более транспортабельным, его переведут в московскую больницу под надзор выдающихся специалистов. Он еще не начал ходить, и логопед еще учил его отчетливо произносить слова «тридцать три» и «артиллерийская перестрелка», а в надлежащих местах уже лежали толково написанные предложения о предоставлении ему должности в Москве, и на них уже были положены резолюции, скрепленные красивыми размашистыми подписями начальников. Уже был решен вопрос и о его преемнике в институте. И не толь-

ко там. Когда Федор Иванович в середине первой недели июля наведался во двор Стригалева — посмотреть, как развивается картошка, перенесшая заморозок, и когда он приблизился на дальнем конце к зарослям ежевики, какой-то крупный тяжеловесный зверь вскочил в кустах и побежал, ломая ветки, рухнул в бочажок, соединенный с ручьем, и как будто даже чертыхнулся при этом. Похлюпал дальше по воде и затих. Федор Иванович не стал расследовать это обстоятельство, все было в порядке вещей. Значительно важнее было то, что огород ярко зеленел. На месте скошенных развились новые побеги. И новый сорт был опять отлично замаскирован. Осмотрев для порядка георгины на альпийской горке, двойник их хозяина перелез через забор и, шагая к себе, несколько раз повторил: «Три и семь».

Сейчас, когда беда, приключившаяся с альпинистом, была уже позади и жара как бы затягивала память об этой истории, Федор Иванович заметил без особого удивления, что она, история эта, не поразила ни его, ни дядика Борика. Они оба ждали чего-нибудь в этом роде. Это казалось им естественным. А Свешников при случайной встрече даже выразился так: «Лучше бы его не спасали». И еще добавил такое: «Добродетель не должна путаться в ногах судьбы, когда судьба вершит великий закон справедливости». Так и отчеканил.

— Имели ли мы право его не спасать? — спросил Федор Иванович.

— А имели вы право его спасать? — возразил полковник.

Беседа эта происходила около каменного крыльца, ведшего в квартиру для приезжающих, неподалеку от того места, где в тени отдыхал от жары кабан тети Поли. Федор Иванович первым заметил и обратил внимание Свешникова на то, что кабан внимательно слушает разговор мудрецов и улыбается.

Словом, безмолвие, зной и скука июня оказались обманчивыми. А июль, который для людей, привязанных к служебному расписанию, был просто наказанием божьим, июль приготовил Федору Ивановичу и внезапно открыл перед ним одну из тех великих загадок, которыми время от времени природа ставит на место некоторых слишком самоуверенных академиков, планирующих наперед свои открытия и даже заверяющих правительство в том, что новый сорт будет создан, скажем, в два

года. Эта загадка подтвердила также и предусмотрительную мудрость Стригалева.

В начале третьей декады июля — в субботу под вечер Федор Иванович пришел к Тумановой, чтобы проверить, как себя ведут опыленные полтора месяца назад цветки «Контумакса». Бабушки принесли и поставили на тот же круглый столик три горшка с растениями. Все удивились — такие мощные выросли за месяц кусты. Изоляторы были почти скрыты в блестящей темно-зеленой листве.

По лицу Тумановой нельзя было угадать, как она относится к болезни ее «остолопа» и кто та дама, что так хорошо организовала и финансировала его лечение.

— Как ты думаешь, Федяка, — спросила она, увидев растения и всплеснув одной ручкой. — Заслужили наши бабушки премию?

— Заслужили,— согласился он.— Уход был первоклассный.

И, раскрутив проволочку, он торжественно снял с одного растения оба изолятора.

— У-у-у! — пропела разочарованно Туманова, словно вытянула неудачный номер в лото.— Пфи-и-и! — и на ее сильно увядшем усталом лице появилась веселая гримаса, говорящая о привычном трезвом взгляде на неудачи.

Под колпачками не было не только цветков. Даже цветоножки давно отвалились и высохли.

— Ваша работа — сплошное разочарование,— сказала Туманова притворно-унылым голосом. — Ну давай, Федяка, снимай, што ли, со следующего куста.

Он раскрутил проволочку на следующем растении и потянул вверх колпачок. Колпачок не снимался, потом соскользнул, и Федора Ивановича охватило мгновенной испариной: он чуть не оторвал вместе с узким изолятором кисть из трех зеленых ягод. К счастью, они хорошо сидели на утолщенных, окрепших цветоножках. Похожие на маленькие твердые зеленые помидоры, они казались очень тяжеловесными в окружении трех или четырех недоразвитых горошинок. В этих почему-то процесс роста остановился.

— Федька... Это ягоды? — тихо спросила Туманова.

— Да... Ягоды,— ответил он, отдуваясь и вытирая лоб. — Ох, ф-фу... Я чуть сейчас не попал в такую беду... Как это я...

— Что за беда? Федяка, не на-адо беды, — беспечно-капризным тоном пропела Туманова.

— Ты ничего не поняла! Это же ягоды! Господи, Прокофьевна... Какой успех! Какой успе-ех! И какая несправедливость... Иван Ильич шел к этому всю жизнь, а я получил в первый год...

— Три этих зеленых помидорчика?!

— Антонина Прокофьевна, в них, внутри — десятки новых сортов! Целые поля хорошей, новой картошки. И заморозки ей не будут страшны и против болезней будет устойчивее. Мы возьмем семена от этих ягод, высеем в следующем году и получим материал для будущей работы нескольких институтов. Это, Прокофьевна, мировая сенсация. Ты еще услышишь об этом. Никому в мире это не удавалось, а вот Ивану Ильичу привалило...

— Почему Ивану Ильичу? Разве это не ты...

— Детка, что — я? Я только опылил. Я выполнил работу лаборанта. Работу пчелы. Все дело-то в том, что Иван Ильич сумел подготовить дикаря к опылению. Это был выносливый дикарь из Южной Америки. Только он не хотел жениться на наших картошках. И в еду не годился...

— Да, я слышала... Говорили мне... Это он самый и есть?

— Иван Ильич сделал из него новое растение...

— Это за ним Рядно охотится?

В это время Федор Иванович осторожно снимал изоляторы с третьего куста и не расслышал вопроса. И, главное, не заметил, что Туманова, спохватившись, не повторила вопрос. Он вытряхивал из бумажных колпачков сухие остатки цветков и цветоножек и, делая это, не чувствовал разочарования. Поставил растение с тремя ягодами так, чтобы можно было хорошо их видеть, и посматривал то и дело на них. А сам улетел далеко в будущее, уже работал над новым сортом.

— Чудо. Загадка, — говорил он, пристально разглядывая ягоды, отводя от них листы. И чувствовал бесплодность своего взгляда и непроницаемость стальной двери, которую приоткрыла перед ним и сейчас же закрыла спокойная рука.— Одна из величайших загадок! И на нее ответа никто не даст. В ближайшее время. Видишь — три куста одинакового растения. На одном кусте было три кисти цветов. При тебе опылял, одной

и той же пыльцой. И только одна кисть дала — сразу три ягоды! А в остальных процесс не пошел. Об этом явлении Иван Ильич и говорил. Это все равно, что сейф открыть, не зная шифра. Чистое везенье. Надо еще изучать и изучать... Так что никакой речи не может быть о простом строении, о «крупинках» и о «клетках мяса». Хоть разговоры такие очень нравятся и Касьяну и всем, кого он очаровал.

Он то и дело отводил листы от ягод и не чувствовал, как эти ласковые жесты ранят Туманову, заставляют дымно курить.

— Ну и когда можно будет попробовать этот новый сорт, а-а-а? — спросила она.— Бабушки тоже хотят попробовать.

— Не раньше, чем лет через десять. Если все сложится благополучно... Но в этом году я угощу вас другим сортом, уже готовым. Ивана Ильича сорт.

— Ах, сволочи... Г-гадина... — Туманова, искривив накрашенный рот и болезненно надломив бровь, ударила кулачком по подушке. И потянулась за новой сигаретой. Это она, должно быть, в связи с именем Ивана Ильича подумала о своем «остолопе». Потом, закурив и успокоившись, она подозвала одну из бабушек.— Ты отнесла лекарство? — спросила, нетерпеливо гладя подушку.

И бабушка быстро закивала, зашушукала что-то ей на ушко.

А Федор Иванович все смотрел на зеленые ягоды. Губы его как бы отяжелели, в серых, чуть голубоватых глазах появился холод осенней воды в реках. Хоть минуту назад он и произносил громкие слова о небывалом событии в селекции картофеля, только сейчас дошло до него, что у него в руках факт мирового значения и что этот факт — главное доказательство правоты Ивана Ильича. Можно было бы, конечно, предъявить много других серьезных и по-настоящему научных аргументов, целую книгу доказательств, но даже книга, свод неопровержимых научных фактов — не будет понята капризными, самоуверенными и не очень образованными начальниками, склонными срываться на пронзительный крик и принимать мгновенные решения. А от них зависела судьба и Стригалева, и его картошек. «Народный» язык академика Рядно начальство понимало лучше, легко с ним соглашалось и утверждало его ди-

кие проекты. Академик обещал подать на стол трудящихся новый сорт — крупноплодный, вкусный, знаменитый на весь мир, сорт-чемпион, который без слов будет агитировать за советскую власть. Он умел ярко рисовать будущее. А хлипкие ученые-интеллигенты считали такую живопись недопустимой в разговорах с серьезными людьми, считали ее аморальной. Потому и потемнел лицом Федор Иванович — он видел теперь, что его статьи-сообщения, написанные для «Проблем ботаники», получат совсем новое качество. Они будут интересны не только для знающих, но испуганных ученых, чьи фамилии были указаны в прошлогодних приказах министра Кафтанова. Теперь статьи станут понятнее и другим, чье мнение и приказ решают все. В статьях можно будет показать перспективы практического использования работ Ивана Ильича. «Надо будет завтра же запросить статистику, подсчитать хотя бы приблизительные потери картофеля по области от заморозков и фитофторы»,— решил он.

— Ты утром пойдешь к нему? — темнея лицом и усиленно дымя, спросила Туманова бабушку, и та опять что-то зашушукала ей.— Отнесешь ему то, что говорили. Спроси, что еще надо...

Твердый ноготь сильно нажал в груди Федора Ивановича очень чувствительное место. Никогда еще отдаленный голос не давал ему знать о себе так внятно. Эту все усиливающуюся боль можно было перевести на язык слов, и получилось бы так: «Сначала она просто подумала о своем „остолопе“. В связи с ягодами и с именем Ивана Ильича. А сейчас она сама не знает, что мелькнуло у нее в голове. Только чувствует. И потому сразу осунулась и дымит».

Радостно и гневно раскрыв глаза, он посмотрел на Туманову и обратился к бабушкам:

— Мешок цел?

— Цел, цел твой мешок. Энтут лежит, на балконе.

— Тащите его сюда. И ящичек, без дна который, тоже.

Туманова должна была бы изумленно спросить — для чего мешок, и почему так сразу. Но она уже все поняла и, помертвев, курила, курила, делая огромные затяжки.

— Спасибо вам всем,— легким голосом без конца говорил Федор Иванович, еще больше убеждаясь, уста-

навливая ящик в мешке и один за другим ставя туда горшки с растениями.— Теперь в другое место понесу. Теперь для них наступает другой этап...

— Разве здесь не удобно? — спросила Антонина Прокофьевна и, выставив вперед челюсть, равнодушно выпустила струю дыма.

— Теперь мне надо будет на них чаще поглядывать,— соврал он.— По пять раз на день.

— Ну как знаешь,— она затянулась и стала смотреть в сторону. Потом спросила, не оборачиваясь: — И семена возьмешь?

— Если позволишь, я их оставлю пока у тебя.

— Правильно. Что им содеется...

— Конечно. Да и содеется если, не страшно. Без расшифровки они ничто. Нуль... Все дело в расшифровке.

Чтобы замять неловкость, она предложила выпить чайку, и он по той же причине принял предложение. Они пили чай, а мешок с горшками и растениями стоял у его ноги, и он трогал иногда грубую мешковину. Ему казалось, что Туманова хочет напрямик сказать что-то откровенное, такое, что может себе позволить только человек, узнавший многие радости и многие страдания. Но все кончилось очередной сигаретой и громадными клубами дыма.

Когда прощались, она сказала:

— Ну, ты заходи все же, не забывай меня, Федька. Не забывай бабу свихнутую...

— Нет, милая, нет, голубок Прокофьевна. Никогда. Никогда не забуду и еще не раз зайду.

Он нашел знакомый переулок и знакомый пятиэтажный дом из серого кирпича. Поднялся на третий этаж, остановился у двери, покрашенной в шоколадный цвет. Дважды нажал кнопку звонка. Послышались шаги, дверь открылась, и в яркой желтой щели, через которую заструились уют и запах ужина, показалась жующая физиономия Свешникова. Он перестал жевать и строго посмотрел. Федор Иванович молча позвал его пальцем. Свешников кивнул на мешок.

— Что там?

— Бомба. Замедленного действия,— шепнул Федор Иванович.

— Оставим у меня? Пока гулять будем.

Свешников взял мешок, заглянул внутрь и унес в квартиру. А Федор Иванович по лестнице засеменил вниз.

Он стоял на краю тротуара — в клетчатой ковбойке ржавого цвета с подвернутыми рукавами и в светло-серых тонких брюках — такой же, каким мы увидели его впервые год назад, только сильно исхудавший. Может быть, этому впечатлению способствовала новая острая серьезность взгляда, хотя не исключено, что и свет фонаря, падавший сверху, выделил выпуклости и провалы на его лице. Но ведь, кроме этого, еще зимой академик Рядно заметил, что Федор Иванович «спал с лица». Словом, на краю тротуара стоял человек с заметной, почти голодной худобой и, не отрываясь, смотрел на дверь подъезда.

Быстро вышел Свешников в своем табачном костюме. Повел глазами: «пошли!», и два невысоких мужчины — плотный и крепкокостлявый — зашагали рядом по переулку, то попадая в яркий свет, то скрываясь в черной тени.

— Хороший вечерок,— сказал Михаил Порфирьевич, снимая пиджак и вешая его на плечо.— Что у вас, Учитель?

— Дело. Надо пойти куда-нибудь сесть.

— А в мешке что?

— Это самое дело.

— Ладно, не тяните. Что у вас?

— Там у меня три горшка с растениями. Знаменитый «Контумакс».

— Тот самый? За которым охота?

— Именно. Только у него теперь новая цена. О чем еще и Рядно не знает. Иван Ильич все бился, скрещивал его с простой картошкой...

— Удалось! — закричал полковник, хватая Федора Ивановича за руку. Он, оказывается, был в курсе всех дел.

— Да. На одном растении три ягоды завязались. За эти ягоды Рядно может и убийцу подослать. Если узнает. А иной селекционер на Западе и миллион отвалит. Они, эти ягоды, в мешке, Михаил Порфирьевич.

— Понимаю. Хотите поставить у меня...

— Самое надежное место.

— Эт-то вы верно...

— Есть у вас балкон?

— Есть. Давайте инструкции.
— Надо так поставить, чтоб солнце падало, а человеческий глаз нет.
Свешников кивнул.
— Поливать не очень обильно. Водопроводной водой, два раза в день, под корень, не брызгать на листья. Земля чтоб сыроватая была. А воде давать постоять сутки. Чтоб хлор из нее... Вот и все. С ягодами осторожно, не задевать. Чтоб не отвалились...
— Все?
— Вы говорили, что вы фанатик.
— Да, говорил. И говорю: фанатик, фанатик я... Ну и что?
— Если ягоды погибнут, а еще хуже — если попадут в руки к парашютисту или к Рядно, считайте, что вы не оправдали той школы, когда на коновязи... Фотографировались когда...
— Примитивный подход, Федор Иванович... Примитивные, несерьезные слова. Вроде пропаганды. Не надо меня... Мои слабые места... так вульгарно..:— полковник засмеялся мелко и нервно, словно постучал костяшкой. — Не надо так, не надо. Даже как будто не вы говорите. Тут ведь не поймешь, в общем шуме. Всё не так... Генерал и Рядно, а за ними широкая публика и юные мичуринцы, если бы все узнали, что мы прячем эти ягоды, знаете, что кричали бы? Они подняли бы крик, что мы предаем интересы советской власти на важнейшем участке.
— Михаил Порфирьевич... Надо бы дать знать Ивану Ильичу.
— Их уже нет в нашем городе.
Оба сразу замолчали. Федор Иванович долго шел, ничего не видя.
— Отправили уже? — спросил, наконец.
— Отправили. Куда — не знаю даже я.
— Большие дали сроки?
— Стандартные. Все инструкции?
Федор Иванович молчал, опустив голову. Еще на одном участке его жизни появилась четкая определенность. Полковник не сводил с него глаз.
— Я говорю: инструкции все?
— Если ягоды попадут к Рядно...
— Кого учите! Давайте не убеждать друг друга криком и пробивными словами. Ах да... Вы же не признае-

те доверия, а знать вы меня еще не знаете... Ну что же — узнаете. До свидания.

В середине августа Федор Иванович ездил на один день в Москву. Он отвез в свою холостяцкую комнату, как бы уснувшую под налетом пыли, некоторые вещи, поскольку их негде было хранить. Туда были доставлены микроскоп и микротом Ивана Ильича и коробок с реактивами для работы по приготовлению препаратов. И еще — связка учебников и научных трудов и монографий по генетике, украшенных небрежными чернильными оттисками: «Не выдавать». Уходя, он выдернул у себя русый волос, вложил его в переломленный листок бумаги, а листок в конверт, написав на нем свое имя. Конверт, не запечатывая, бросил на полу, как будто его подсунули под дверь. Обеспечив себе таким образом контроль за нежелательными визитерами, он запер дверь и ушел, чувствуя, что вернется сюда не скоро.

Заглянув в сберкассу, он уплатил за свое московское жилье на год вперед. Потом, спустившись в метро, полетел в центр, там разыскал старинное здание, все в лепных украшениях, а внутри его в полутемном коридоре на четвертом этаже — дверь с твердой бумажкой, на которой было напечатано: «Проблемы ботаники».

Редактор знал о нем. Сидевший боком к открытому окну загорелый старик с осанкой спортсмена, с выцветшими глазами и вертикальными складками на переносице и с тонкими металлическими очками, от которых свисали к плечам черные шнурки,— этот красивый старик холодно посмотрел и пригласил сесть. От жары приоткрывая рот при каждом вдохе, сказал, что редакция надеется получить материал к концу сентября. Потом, не оглядываясь, сунул руку куда-то назад и небрежно шлепнул на край стола толстую книгу. «К. Д. Рядно» — прочитал Федор Иванович. Это был только что вышедший учебник для сельскохозяйственных вузов и факультетов.

— На триста двадцатой странице,— сказал старик.

Федор Иванович открыл эту страницу и увидел на ней фото знакомой березовой ветки. «Автор лично наблюдал несколько таких случаев порождения березой ольхи, — писал Рядно в учебнике, вернее, писал Саул от имени Рядно.— Последний раз это было в мае 1949 года...»

Редактор пальцем потребовал вернуть ему учебник и сунул книгу куда-то позади себя. А к Федору Ивановичу подвинул пачку еще влажных листов очередного номера журнала. На верхнем листе было крупное фото той же ветки, а вверху страницы — заголовок статьи: «Порождение одного вида другим или болезнь?» Сразу под заголовком была дана редакционная врезка: «В августе с. г. вышел учебник биологии академика К. Д. Рядно для сельскохозяйственных вузов и факультетов. Оставляя за собой право выступить с обстоятельным отзывом на этот большой труд ученого, редакция публикует настоящее „частное" сообщение. Оно представляет определенный интерес, поскольку к моменту выхода учебника было уже подготовлено к печати и рассматривает тот же случай с ольхоподобной веткой березы, что и приведенный автором учебника на стр. 320 его книги. И в учебнике и в настоящей статье приводятся серьезные аргументы. Поскольку предложенные две системы научных доказательств взаимно исключают одна другую, читателю предоставляется возможность оценить их и занять собственную позицию. Редакция будет благодарна тем товарищам, которые сочтут возможным поделиться с нашими читателями своими мыслями на этот счет».

Федор Иванович широко раскрыл глаза и встретился с такими же широко открытыми выцветшими, но полными решимости глазами редактора. Взгляд Федора Ивановича говорил: «Как вы еще держитесь?». Глаза редактора таили веселье: «Сами не понимаем!».

— Как вы еще держитесь?— сказал, наконец, Федор Иванович.

— Держимся пока. Давайте, не тяните с вашим сообщением.

— Первое сообщение знаете, как будет называться? «Вид „Контумакс" впервые скрещен с видом „Солянум туберозум". Получены жизнеспособные семена».

Опять оба широко раскрыли глаза и умолкли.

— Вот черновик сообщения,— Федор Иванович развернул и выложил на стол четыре страницы машинописного текста, не очень свежие от хранения в заднем кармане брюк. Старик схватил их и начал бегло читать.

— А чем вы это подтвердите?— спросил, оторвавшись.— Мы к сенсациям относимся осторожно.

— Будет фото. Там будет виден характерный стебель

«Контумакса» с отходящими листьями и три ягоды.

— Это могут быть и его собственные.

— Можно дать и фото собственных. Они как горох. А эти — как грецкие орехи.

— Я лично вам верю. Но строчку о семенах пока отрежем. Когда получите и прорастите, дадим второе обстоятельное сообщение с цитологическим анализом. Иван Ильич знает об этом?

— Были приняты меры, чтоб узнал. Только всех уже отправили...

— Жаль... Это был бы для него луч света. Колоссальный успех. И колоссальное поражение схоластов.

В этой редакции схоластами называли сторонников академика Рядно.

— Привозите, привозите фото. Как можно скорее. Не позднее сентября. Просунем в октябрьский номер. Место будет оставлено.

Старик-редактор поднялся, чтобы проводить Федора Ивановича. Подал ему сухую крепкую руку.

— Да!— спохватился.— Какой псевдоним берете? Я сегодня же засылаю в набор.

— Дайте пока... Пусть Ларионов. А когда уже будете ставить в номер, дайте настоящую фамилию.

Старик посмотрел обеспокоенно.

— Конечно, так было бы лучше всего. Но все же... Вы еще молодой...

— Ставьте, ставьте настоящую. Ведь статьи будет мало. Скажут, ложь, подтасовка. Понадобится подтверждение. И живой человек. Редколлегия ведь подписывает без псевдонимов...

— Ну, на то она и редколлегия.

— Разговор будет серьезный, ставьте настоящую. Только в самый последний момент. А я пока буду дышать. Чтоб надышаться...

Они постояли еще около двери, долго держали руку в руке, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза, и взгляд обоих был строг. Они были соратниками, завтрашний день для обоих не обещал особенных радостей, и оба приготовились ко всему. Впрочем, готовность их была разного рода. Старик-редактор ожидал встречи с судьбой лицом к лицу, ждал большой драки и был в этом похож на Хейфеца. Федор Иванович сразу почувствовал это. Старик, наверно, уже приготовил последние слова, которые он бросит в лицо обскурантам, ухо-

дя и хлопая дверью. Федор Иванович критически относился к такой запальчивости, был задумчив и непонятен, как говорил когда-то о нем тот же Хейфец. Он был похож на ту — самую крупную, но неуловимую рыбину, которая странным образом остается в водоеме после того, как воду процедят все сети. Это его свойство самому Федору Ивановичу не было известно. Но тут же следует заметить, это будет кстати: он уже почти не хромал во время бега.

Он приехал в свой город на следующее утро. Когда вошел в институтский парк, сразу уловил перемену — вдоль аллей на решетчатых скамьях сидели угловатые юные фигуры, не мальчики и не мужчины — вчерашние школьники. И с ними были округло сложившиеся девушки. И все учили биологию, припав к новому учебнику академика Рядно. Всех пригнула одна воля — сдать через два дня первый экзамен и попасть в списки допущенных ко второму. Они еще не задумывались над тем, почему в «крупинках тела березы» зарождаются «крупинки тела серой ольхи». Через два дня они скажут на экзамене всё точно по учебнику, и Анна Богумиловна Побияхо поставит им пятерки. Федор Иванович шел и все время останавливался. Ему хотелось еще раз поглядеть на ярко развернувшееся перед ним в своей подлинности явление общественной жизни.

Все оставшиеся дни августа он бегал мимо них по утрам. А в самый канун сентября скамьи в аллеях опустели, летний сезон закрылся. И тогда он вспомнил нечто очень важное и пригласил дядика Борика копать картошку на огороде Ивана Ильича.

За день до этого в обеденный перерыв он сам пришел во двор Стригалева. Привело его сюда такое соображение. Несколько лет назад Саул Брузжак предпринял свою первую и последнюю попытку вывести новый сорт картофеля, устойчивый против грибка фитофторы. В средней полосе России этот гриб начинает вредить картофельным посадкам в конце августа, он появляется вместе с осенними дождями и туманами. Тема работы была актуальная, Саул объявил, что им открыт новый метод и что сорт будет готов через два года. После первого же года своей деятельности в качестве селекционера и земледельца он показал в ноябре на ученом совете небольшие белые клубни. Их разрезали и не обнаружили никаких следов гриба. На второе лето,

чуя удачу, он зачастил в подмосковное хозяйство. Его можно было увидеть там, обычно он ехал на дамском велосипеде по дорожке, соединяющей делянки с лабораторным корпусом — туда или обратно. При этом он горбился и поводил глазами вправо и влево — как хамелеон. В середине августа хозяйство посетил крупный селекционер картофеля из Мексики, которую считают родиной фитофторы. В сопровождении большой группы ученых он обходил картофельные поля и остановился около делянок Брузжака. Там как раз рабочие завершали копку картофеля, и горки чистых белых клубней проветривались на воздухе перед отправкой на склад.

— Уже убрали?— спросил иностранец через переводчика.— А когда же у вас разгар фитофторы?

— В сентябре,— тут же с готовностью ответили ему.

— А-а-а,— протянул гость, кивнув несколько раз. Подошел к горке выкопанной картошки и, выбрав клубень покрупнее, пальцем сдвинул на нем кожуру.— Ага!— протянул еще раз.

На докладе в институте он специально остановился на этом случае.

— Мы убираем картофель уже после разгара фитофторы. Мы даже специально заражаем наш картофель! Тогда мы можем видеть, устойчив сорт или нет,— он говорил это, протягивая к аудитории руки и слегка потрясая ими, дружески втолковывая сами собой разумеющиеся, азбучные вещи. Всем было неловко, потому что один лишь Саул ничего не знал в деле селекции и изобретал странные новинки. Надо же, именно на него и упал взгляд иностранного гостя!

И тема Брузжака вместе с его новым методом сразу же была вычеркнута из плана, как только гость уехал. С этого момента поприщем Саула стали лишь теории академика Рядно и трибуна, где, как известно, криком еще можно кое-чего достичь. Федора же Ивановича эта история уже значительно позднее натолкнула вот на какую мысль. Он хорошо помнил, что рано убранная, не закончившая рост картошка Саула, тем не менее, годилась на семена и дала на следующий год нормальные всходы. И сегодня в обеденный перерыв он пришел на огород Стригалева, чтобы взглянуть на клубни нового сорта, прежде чем досрочно выкапывать все восемнадцать кустов.

Он вовремя, вовремя явился сюда! На огороде уже

началась бурная жизнь фитофторы. Несчастный «Обершлезен», почти совсем не защищенный от гриба, заметно начал желтеть, ботва его покрылась крупными черными крапинами. И опять выделились, ярко зеленели восемнадцать кустов нового сорта. Смышленый специалист сейчас же заметил бы их и взял бы на карандаш. «Копать надо, этой же ночью копать»,— подумал Федор Иванович.

Он прошел вдоль седьмого ряда и, как бы случайно нагнувшись, быстро запустил руку в мягкую землю под четвертым кустом и, нащупав картофелину, мгновенно спрятал ее в карман, а землю заровнял. Потом прошелся еще по нескольким рядам, накопал там молодой картошки сорта «Обершлезен» полную сетчатую сумку и унес. «Пусть доложит, что я себе на обед целую сетку унес»,— подумал он о наблюдателе, который мог сидеть в ежевике.

А когда уже шел полем, не удержался и достал из кармана ту картофелину. Заветную. Да, это был новый сорт. В руке лежало произведение Ивана Ильича — чистое, гладкое, овальное, с чуть заметными глазками — удобное для машинной чистки. И цвет — редкий для картошки. Цвет пшеничного зерна. Или пудры «рашель», которая наносит на женское лицо обманчивый нежный загар. Можно было копать. «Кожура еще не окрепла,— подумал он.— Ничего. Дома окрепнет. Вдали от всякой промышляющей публики».

Вечером они с дядиком Бориком прикатили из учхоза тачку, привезли корзину и два мешка, и все спрятали в кустах ежевики. А когда наступила темная — уже осенняя — ночь, когда она достигла своей глубины, оба переобулись в принадлежавшие Стригалеву одинаковые резиновые сапоги с волнистым рисунком на подошвах и, пробравшись на огород, целый час копали там картошку, присвечивая карманным фонариком. Не проронив ни звука, они выкопали к двум часам ночи шесть рядов и оставили после себя чисто прибранную и выровненную граблями одну пятую часть огорода с отпечатками странных волнистых подошв.

III

Новый сорт лежал в корзине — в глубоком подполье под кухней Бориса Николаевича Порая. Там же

были сложены и два мешка с сортом «Обершлезен» — их дядик Борик оприходовал в качестве гонорара за риск. Резиновые сапоги с волнистым рисунком на подошвах покоились на дне реки, в месте, которое Борис Николаевич приметил. Таким образом, теперь все наследство Троллейбуса, разделенное на части, было сложено в трех надежных местах, и ни в одном из этих мест не знали, где находится остальное. Теперь можно было бы ни о чем не тревожиться и, похлопывая рукой по столу, представлять себе, как натягиваются на коричневой шее Касьяна его не поддающиеся воле два кожистых тяжа, хотя лицо остается насмешливо-спокойным. Представлять, как сжимается копченый старческий кулак и проступают на нем белые костяшки. Хотя на лице — тихая озорная улыбка. Можно было по ночам дописывать остальные сообщения в «Проблемы ботаники». Но отдаленный голос томил, предупреждая о близкой погоне.

И действительно, после ровной летней жизни в первые же дни сентября вдруг наступил ощутимый обрыв — все сразу с силой обломилось и без тормозов покатило вниз, набирая скорость.

Именно с сентября, с начала занятий вся наша история, тлевшая до сих пор, как искра в сырой вате, вдруг вспыхнула, и веселый ее огонек побежал, захватывая все, что могло гореть. Интересно то, что здесь не было никакого вмешательства и никто не выстраивал факты со специальной целью. Получилось так, будто со вступлением в силу осенне-зимнего расписания они сами как бы соединились в завершающую цепь.

Началось с того, что в ректорском корпусе, где у входа стоял доступный всем прилавок «Союзпечати», на самом виду, там же, где лежали еще не распроданные учебники академика Рядно, появилась чуть запоздавшая августовская книжка «Проблем ботаники». Довольно высокая стопа этих журналов лежала на своем месте, там же, где все минувшие годы такие стопы регулярно появлялись и исчезали. Но на этот раз лежала она всего полтора или два часа. Электрической искрой в первые же минуты пролетел по институту слух о том, что в новой книжке «Проблем» есть интересная статья некоего Л. Самарина про ту самую березовую ветку, ради которой было собрано в мае чрезвычайное собрание всего института. И что в статье есть убийственные данные и помещены микрофотографии гриба «Экзоаскус бе-

тулинус», виновника превращений березы. Этот гриб и заставил березовые листы уменьшиться и принять несвойственный березе вид. Стопа с «Проблемами» начала быстро таять. Когда прибежала Раечка с письменным распоряжением ректора немедленно прекратить продажу журнала, ни одного номера уже не осталось. А распоряжение ректора, которое начиналось словами «Приказываю немедленно...», только укрепило уверенность тех, кто успел купить журнал, что в их руки попала историческая ценность, и ее надо хранить.

И это было бы еще полбеды. Четверть беды. Велико ли дело — увлекся академик своими фантазиями. Занесло батьку... Даже, можно сказать, никакой беды не было бы. Беда выросла из того факта, что старик был любимец известного лица, его собеседник за чайным столом. И она грянула — дней через двадцать, когда в тот же киоск пришла сентябрьская книжка «Проблем», и там на самой первой странице громадными черными буквами было напечатано постановление, строго и резко осуждающее вредную линию журнала, допустившего в своих материалах «травлю академика К. Д. Рядно». Видимо, академик, как он не раз уже делал, во время чаепития пожаловался Сталину и сумел это провернуть в подходящий момент.

Федор Иванович, торопливо открыв последнюю страницу журнала, чуть не оторвав ее, увидел список редколлегии. Она вся была заменена. Тем же обычным курсивом были набраны сплошь новые фамилии, и среди них сразу выделился «П. Л. Варичев». Вот это увольнение всей редколлегии во главе с академиком главным редактором за то, что она напечатала робкую, но независимую правду про злосчастный гриб «Экзоаскус», без умысла доставивший людям столько хлопот, страшно подействовало на тех студентов, которые в мае так громко хлопали академику Рядно. Эти студенты учились в советской школе, где много времени уделяется преподаванию основ материализма. Материальный факт, который можно подержать в руках и увидеть в микроскоп, перед этими начитанными ребятами не надо было бы отвергать. И академик Рядно по своей недостаточной образованности допустил две роковые ошибки. Не следовало ему так налегать на диалектику и материализм, вещи, в которых сам не очень разбирался и к которым в душе был не очень привержен. И уж Сталину жало-

ваться, пускать в ход такую силу, в данном случае силу слепую — ох, никак не следовало...

Занятия в институте шли своим чередом, все было как прежде. Но Федор Иванович, тем не менее, почувствовал, что *началось*.

Тут же пошли подтверждения. Было срочно созвано собрание студентов двух старших курсов, аспирантов и преподавателей. Оно шло так, будто это была репетиция при пустом зале. Хотя зал был полон, даже не хватало стульев, и люди стояли у стен. Но все проходило не так, как бывало раньше. Аудитория в молчании накаленно слушала, и от нее, похоже, не требовалось никакой поддержки. Потому что президиум слишком был занят своей собственной задачей — отречься, отмежеваться от осужденной статьи Л. Самарина. Тем более, что дело касалось триумфа березовой ветки, отпразднованного в этих же стенах. И ораторы, список которых к открытию собрания уже лежал перед председателем — доцентом зоотехнического факультета, не кричали, не блистали остроумными выпадами, не бросались, как раньше, на врага. Каждый произносил свою речь, то есть, читал ее для верности с листа, и по этой чисто технической причине грозные слова в адрес редколлегии «Проблем ботаники» звучали спокойно.

Вышел на трибуну и академик Посошков. Все заметили, что лицо его еще больше потемнело и пожелтело. Но он по-прежнему был изящен и четок. В отличие от других, он не достал из кармана никаких бумажек.

— Меня ужасает позиция бывшей редколлегии этого журнала,— треснутым голосом продребезжал он.— За последнее время я многое для себя открыл, товарищи. Смешно и старомодно выглядит этот их объективный в кавычках подход, согласно которому следует давать на страницах место поровну,— академик, едко смеясь, подчеркнул это слово,— ставя, таким образом, на одну доску вейсманизм-морганизм, который бьют и били на протяжении полувека, начиная с Тимирязева,— и победоносное,— тут он воздел руку,— мичуринское учение, представленное в данном случае таким выдающимся ученым, как академик Кассиан Дамианович Рядно! Ну какое может быть равенство: битые, перебитые вейсманисты-морганисты, живущие еще только за счет своего потрясающего упрямства, которое они называют верно-

стью науке,— и наш корифей, академик Рядно! Еще более удивляет и, не побоюсь этого выражения, отталкивает, ужасает то обстоятельство, что для своего выпада против академика автор статьи вынужден был скрыться под псевдонимом... Боитесь, товарищ Л. Самарин, выйти на открытый научный турнир!

В зале послышался легкий шум. Светозар Алексеевич не замечал своих оговорок, придававших его словам совсем другой смысл. Как бы вдохновясь, он продолжал:

— Даже не верится, что так может быть... Плохи же ваши дела, бывшие мои коллеги вейсманисты-морганисты, если выходя на научную дискуссию, вам приходится надевать маску, как персонажам Вальтера Скотта. Не завидую я вам!

Федор Иванович, сидя в первом ряду, двигал густой русой бровью. Его поразила бесстрашная двусмысленность этой речи. Кроме того, он знал, что автор статьи, скрывшийся за псевдонимом «Л. Самарин»,— не кто иной, как сам академик Посошков. И одобрял как этот его поступок, так и речь академика. Он считал и себя немного причастным к этому делу, поскольку не раз подробно развивал перед Светозаром Алексеевичем мысль о том, что член уравнения, если перенести его на другую сторону, меняет знак.

Правда, было мгновение, когда Федор Иванович удивился тому, что академик позволяет себе такие прозрачные намеки на истинное положение вещей. Ведь вот что он говорил по существу: «Ну какое может быть равенство — редколлегия, состоящая из подлинных ученых и шарлатан Рядно!» «...Плохи ваши дела, мои бывшие товарищи, честные ученые, если для того чтобы сказать о поведении гриба „Экзоаскус“, надо прятаться под псевдонимом». Он удивился дерзости Посошкова, и со страхом ожидал, что сейчас выйдет кто-нибудь давать академику отпор. Но тут его вдруг осенила простая мысль. Тот, кто поймет эти шитые белыми нитками намеки, будет уже достаточно умным человеком, и, как таковой, безусловно примет сторону истины, которая в данном случае так ясна. И не станет срамиться перед другими умными, с жаром называя черное белым. Если только он не выдающийся подлец. И это хорошо понимал знающий жизнь, битый не раз Светозар Алексеевич.

Случайно поглядев в сторону, Федор Иванович понял, что проректора института академика Посошкова подталкивала к его смелой и виртуозной двусмысленности еще одна сила. Его сложная роль была вдвойне нелегкой. Ближе к краю зала в третьем или четвертом ряду виднелась белая аккуратная головка его бывшей жены Ольги Сергеевны. Конечно, Посошков приметил это яркое белое пятнышко и все-таки вышел на трибуну. Чтобы она увидела его настоящее лицо. И в интересах дела. Федору Ивановичу еще предстояло узнать, что это были за интересы.

«Зачем же ты здесь, на виду? — думал Федор Иванович, осторожно разглядывая чуть склоненную, неподвижную, почти мраморную голову с толстыми косичками.— Неужели не понимаешь простых вещей? И вообще, неужели не видишь, что твоему бородатому бесу никогда не подняться на своих жирных крыльях до этих ледяных сверхвысоких небес, полных тайны и одиночества, что они для твоего поэта не существуют? Или, может быть, ты давно это поняла? Может быть, ты Туманова, которая неясна для самой себя? Ее ведь тоже не назовешь окончательно глупой. Но что-то есть, какой-то изъян...» Председатель назвал на этом собрании и его фамилию. Сжав губы, Федор Иванович вышел на трибуну и, став лицом против всех, произнес речь. Убитым голосом сказал:

— Сегодня мы можем поздравить... Да, можем, товарищи, поздравить... И Кассиана Дамиановича, и всю мичуринскую науку... с выдающейся победой: пал последний бастион, в котором стояли до конца самые дерзкие и не знающие компромиссов наши противники. Теперь уже никто не осмелится поднять голос против открытий нашего академика... как это ежемесячно делали «Проблемы ботаники» под руководством своей редколлегии. Теперь уже бывшей. Яркий зеленый свет открыт работам академика Рядно, их ждут необозримые пространства будущего.

Надо сказать, что выступление академика Посошкова подействовало на Федора Ивановича, втянуло в обозначившуюся струю, и, бросая в зал свои не совсем обдуманные слова, он чувствовал, что делает непростительные ошибки. Чувствовал и не мог остановиться.

— Схоласты долго отстреливались из своего разбитого окопа, связавшись локоть к локтю, чтоб никто

не покинул боя. Как горцы Хаджи-Мурата. Они натворили много дел за последние годы, идя все время по пятам нашего народного академика. Они подвергали хоть осторожному, но ясному сомнению каждый его шаг в науке. Я каждый раз чувствовал остроту и направленность этих ударов. Когда ученый открыл факты образования новых видов из старых, в частности, порождение грабом лещины, они сейчас же командировали своего лазутчика на Кавказ, поручив во что бы то ни стало добыть нужные им документы, очернить открытие. И дотошный копатель нашел какие-то мелочи. Представьте, нашел лесника, который привил эту лещину на граб! Словом, недоброжелатель собрал подобные, с позволения сказать, факты, и все это они опубликовали! Спят и видят — только бы подмочить авторитет известного ученого... В точности то же мы видим и сейчас — с веткой березы...

Когда собрание кончилось, выходя из зала, Федор Иванович оказался в толчее преподавателей и аспирантов, окруживших Варичева и Посошкова.

— Ваша речь, Федор Иванович, сегодня не блистала такой ясностью, как прежние выступления,— добродушно загудел на ухо Варичев, беря его под руку.— Чувствовалось, что этот гриб, который они нашли... что этот снаряд попал и в ваш корабль, и он дал кре-ен. Накрени-ились, Федор Иванович. Я сам еле плыву,— шепнул он.— Никак не могу подобрать контраргументы. По правде говоря, на вас надеялся...

Тут он прервал свой шепот и высоко поднял руку, подзывая кого-то.

— Отличница! Подите, подите сюда... Мы так ждали! Что же вы, голубчик, не выступили от студентов?

Это была Женя Бабич. Она подошла, подняла на ректора смелые глаза.

— Так все же всем ясно!..

— Вот и сказали бы, что вам ясно...

— Все, абсолютно все каждому ясно,— повторила она с улыбкой.— И большому и маленькому.

— А все-таки...

— Ну... Петр Леонидович, очень длинный ответ. А кратко скажу — вам может не понравиться. Конечно, Кассиан Дамианович прав, береза породила ольху, а вейсманисты-морганисты хотели нанести удар по советской науке... И это было вовремя остановлено.

И при этом настолько пристально смотрела на Варичева, что ему пришлось отвести глаза.

Все чувствовали, что это еще не конец. В начале октября в обеденный перерыв ректор срочно собрал у себя всех преподавателей. Мрачно смотрел он на каждого, кто входил в кабинет. Он словно собирался произнести речь над гробом. Под его дрожащей рукой на столе ерзали несколько листов бумаги. Это была отпечатанная на машинке через копирку статья из «Проблем» о березовой ветке.

— Товарищ... В общем, один товарищ принес... По понятным причинам не могу назвать...

Дрожащими толстыми пальцами он схватил листы, неловко дернул в сторону. Опять схватил, потянул на себя и бросил. Все лицо его повисло от страха и стало еще больше похожим на кормовую свеклу. «Или на картофелину»,— подумал Федор Иванович. Эту картофелину можно было повернуть обратной стороной вперед, и все равно получилось бы то же лицо, те же малые выпуклости, щели и изъяны, которые назывались носом, глазами, ушами и ртом.

— Мы требуем от вас,— сказал Варичев, враждебно потолкав пальцами листы,— настоятельно требуем внимания и бдительности. Нельзя допустить... Требуется максимум... Усилить подход... Это же завтра дойдет... Надо узнать, кто... Не можем же мы, товарищи, вечно расписываться в бессилии...— он ударил по столу мягким кулаком.— Какая-то сволочь... Может, всего-то один человек, а мы...

Но дня через три произошла вещь пострашнее. И случилось это почти рядом с кабинетом ректора — в малом конференц-зале, где висела целая галерея портретов — советские выдающиеся почвоведы, животноводы, агрономы и селекционеры. Открыв рано утром этот зал, уборщица обнаружила в ряду портретов брешь — исчез портрет академика Рядно. Через полчаса у ректора собралось совещание. Варичев, развесив толстые бледные губы, словно прижатые к стеклу, безнадежно глядя в пространство, сообщил о небывалом, чрезвычайном происшествии, о «чепэ», как он назвал исчезновение портрета. Он не успел закончить свою речь, от которой на всех повеяло страхом и предчувствием невеселых перемен, как вбежала Раечка и попросила его взять трубку. Он повернулся к телефону и, слушая, вдруг схватил

себя за рот, стал тянуть губу. Потом бросил трубку.

— Нашли...

Пропажу нашли на факультете растениеводства, в мужской уборной. Портрет висел там вниз головой...

Немедленно была назначена следственная комиссия во главе с Ходеряхиным. Он очень серьезно отнесся к делу. Приступая к допросу очередного оробевшего студента, долго молчал, и это постепенно придало всему дознанию комический оттенок. Следы привели дотошного чудака в ту группу, где была Женя Бабич. Отличницу вызвали на допрос, она охотно пришла и уселась перед Ходеряхиным, подчеркнуто уставилась, любуясь торжественным и важным следователем. Костер веселья не угасал в ней до самого конца беседы, когда Ходеряхин, отложив ручку, решил поговорить с девушкой напрямик.

— Ты же отличница,— сказал он.— Мы не думаем, чтобы лично ты могла быть участницей этой вылазки. На тебя это не похоже. С какой стати под конец, когда впереди диплом с отличием... Но слушай, ты же можешь многое знать. Женя, помоги нам. Это никак не помешало бы...

Веселье, бившее из глаз Жени, мгновенно сменилось таким же брызжущим гневом. Она покраснела, поднялась.

— Ничего себе...

— Мы, конечно, сохраним в тайне...— поспешил успокоить ее Ходеряхин.

— Ничего себе... Я чувствую, что у меня появляется трезвый взгляд на моих преподавателей.

— Ты напрасно. Я думал, что как отличница...

— Если бы я даже знала,— она сверкнула слезами, глядя на Ходеряхина.— Если бы я даже знала что-нибудь, я ничего вам не сказала бы. Даже гори мой диплом десять раз. Синим пламенем. Потому что это же мальчишеская шалость, поймите, не больше. А вы, взрослые дяди, знаю, выпрете их из института. У вас все — вылазки, происки, «чепэ», никак не меньше. Когда вы, наконец, станете нормальными людьми...— эти, последние ее слова донеслись до Ходеряхина, когда Женя уже закрывала за собой дверь. В коридоре ее ждала целая компания студентов.

Вот какая она стала. Очень изменилась за несколько месяцев. Это обстоятельство и стало предметом об-

суждения в комнате с фанерной стенкой — в той самой комнате, где Федор Иванович когда-то объявил, что он бросает курить.

— Я ей говорю,— простодушно повествовал Ходеряхин.— Ты же пойми, тебе же через год диплом получать с отличием. Дурочка ты этакая, тебе же это зачтется! Ка-ак она вскочит...

— Девка куда-то растет,— сказала Побияхо серьезно.— С нее нельзя глаз спускать.

— Она сказала, вы их выпрете. Их! Чувствуешь, Анна Богумиловна? Их там не один. И она, конечно, знает...

— Коне-е-ечно! — длинно протянула мирным басом Побияхо.

— С отличием ей давать нельзя. У ней тенденция эта заметна, в тот лагерь переметнуться.

— Ничего ты не понимаешь. Если не дашь с отличием, тут и перекинется,— сказала Побияхо.— И станет у них ценным кадром. Дать ей надо, дать. И в аспирантуру. Я ее возьму. Обломаю, наша девка будет.

— Я думаю, лучше ее по селекции картофеля пустить,— сказал Федор Иванович, присутствовавший при этом разговоре.— Уж не знаю, как вам удастся ее обломать. А у меня и объект другой, и методика...

— Знаю, хочешь красивую девку к себе переманить. Не выйдет, Федор Иваныч. У тебя в оранжерее она как раз и нанюхается этого духу. Тебе сейчас не об аспирантах надо думать. Ты должен отчитаться перед ученым советом за свою работу. И за дух. Разговор уже шел. Серьезный, Федя, разговор. И академик интересуется...

Она выболтала тайну. И Федор Иванович, сразу поняв это, сделал вид, будто пропустил ее слова мимо ушей. Когда разговор кончился, он из этой комнаты не то, что вышел, а чуть не выпрыгнул, чтоб бежать. До него опять донесся тот знакомый ровный скок, которым гончие псы издали начинают преследование красной дичи. И дичь замерла, слушая осенний лес, в котором ясно обозначились новые звуки, и потихоньку, не переставая слушать, пошла, зарысила в нужном, в спасительном направлении — в том, которое само звало ее.

К своим длинным пробежкам,— их он не прекращал, несмотря на мокрую осень, которая пришла сразу и за-

моросила, заставила прикрыть окно,— к этим пробежкам Федор Иванович добавил еще прогулки по городу. Однажды, быстро идя в своем «мартине идене» по Советской улице, он увидел в витрине магазина «Культтовары» большой синий рюкзак, так называемый станковый. Он был снабжен каркасом из стальных трубок, и Федор Иванович тут же сообразил, что этот каркас обеспечивает рюкзаку плотную и верную посадку на спине. И он, войдя в магазин, потребовал эту вещь, поднимал, поворачивал, тряс, не веря глазам, и, конечно, тут же купил.

Не только со стороны не было видно — он сам не думал в момент покупки, что этот акт вписан в таинственную программу бега красной дичи. Или, может быть, черной собаки...

Придя домой, он тут же достал из шкафа овчинный полуперденчик, который терпеливо дожидался новой зимы, и, застегнув его на все пуговицы, но не надевая, опустил эту модель человеческого туловища воротником вниз в рюкзак. Поставил рюкзак на пол, наклонившись, до плеч опустил руки в жаркую овчину и в таком виде стоял некоторое время, переживая какое-то новое чувство. Он еще не разбирался в нем, но догадка уже складывалась. Как уже бывало у Федора Ивановича, и довольно часто, поступок с его техническими подробностями подчинялся отдаленным и неясным, полным тонкой тревоги первоголосам, диктующим действие. А медлительный разум отставал.

И рюкзак и полушубок были водворены в шкаф, и Федор Иванович сразу забыл о них. Черная собака, оглядываясь и чутко ставя уши, рысила дальше, стремясь уйти от своих обезумевших преследователей. Когда-нибудь будут говорить: что вы, оставьте, не было никакой собаки. Но сейчас она чутко скользила в кустах, спасая то, что было для нее жизнью.

Через несколько дней вдруг пошел снег. За окном все стало белым, белизна эта продержалась не больше часа и вся растаяла. Но напоминание о близкой зиме вошло в Федора Ивановича, и он купил лыжи с креплениями и специальными ботинками. Когда в подвале своего факультета, где была столярная мастерская, он прожигал новые лыжи пламенем паяльной лампы и смолил их, за его спиной раздался голос:

— Лыжи смолим?

Это был маленький тренер секции, тот, что летом бегал во главе цепочки институтских лыжников

— Почему не беговые? — спросил он, подступая ближе.— Вы же бегун...

— Я люблю длинные маршруты,— впервые косвенно высказал Федор Иванович свое, затаенное.— И пересеченку.

— Я тоже. Мы в этом году будем ходить на Большую Швейцарию. Записывайтесь к нам в секцию.

— Инвалид я, буду отставать. У меня нога...

— У нас целых шесть инвалидов. Вы будете седьмой.

И в ближайшее воскресенье, одетый в шерстяной тренировочный костюм и в свитер, он уже бежал в цепочке своих новых — молодых товарищей, и впереди всех мелькала красная с синим и белым вязаная шапочка этого тренера. Они бежали умеренно, сообразуясь с возможностями и здоровьем каждого. А когда-то со стороны Федору Ивановичу казалось, что они несутся, как цепочка птиц. Федор Иванович сказал об этом тренеру.

— Мы и будем летать, как птицы,— пообещал тот.

Два вечера он постукивал у себя в комнате молотком — делал узкий и длинный, утепленный с одной стороны ящик с отделениями, который приладил затем на подоконник, вплотную к стеклу. Во время этой работы и позвонили из Москвы.

Сняв трубку, он сказал: «Слушаю»,— и не получил ответа. Только чье-то волосатое дыхание вздымалось и опадало. «Он»,— подумал Федор Иванович.

— Слушаю! — повторил он нетерпеливо.

— Ну и где ты пропадаешь? — раздался у его уха недовольный носоглоточный тенор.— Не найдешь тебя никак...

— Вот он я, Кассиан Дамианович!

— Да? Ей-богу? А может, это не ты?

— Нет, это я, Кассиан Дамианович.

— Ладно, верю. Ты видел, у тебя под носом всю картошку выкопали?..

— Если выкопали — значит, не у меня под носом. Я от вас получил четкое указание. «Не нужно там крутиться» — кто это мне приказал?

— Раньше ты так со мной не разговаривал...

— Раньше и вы мне верили и говорили «сынок».

— «Сынок»! Вон какой уже вырос. Кнуряка...
— Когда вы приедете к нам, Кассиан Дамианович?
— А ты соскучился по батьке?
— Дела же, дела! У нас же план. Что-то делаем.
— Не знаю теперь когда... Мне долго нельзя будет к вам. Всякий же голопупенко пальцем будет тыкать: вон, который вверх ногами в нужнике висел. А насчет дел — потому же я и звоню. Ты подготовь доклад на ученый совет. Расскажешь им, как идет работа, какие перспективы. На вопросы ответишь.
— Почему так вдруг? Мы же еще итоги летней работы не подбили...
— Это потом... Они встревожены там. Событиями... Хотят в порядок все привести. Я и сам встревожен.
— Почему Ходеряхина не вызывают слушать?
— Детские вопросы задаешь, Федя. Ходеряхин дурачок. А ты орешек. Я на что уж зубастый, а твоего зернышка еще не попробовал. Хотя чую, Федя, зернышко под твоей твердой скорлупкой имеется.
— Думаете, они сообща распилят скорлупку?
— Х-хых!.. Он еще острит! Не знаю. Сомневаюсь... Мы все не знаем, что с тобой делать, Федька. Не простая ты штучка. Если сказать дурачок — не похоже. Нет, тебя самого надо под микроскоп. А не этот их гриб. Экзо... Тьфу! Ну и наука...
Наступила долгая пауза. Там, в Москве, кто-то словно бы тер трубку домотканым сукном.
— Не показал же ты еще ничего такого, чтоб успокоилась душа. Вон и на собрании недавно выступал. Нехорошо выступал. Ну что, ну что ты там начал молоть про граб и лещину? Ты ж знаешь, что это такое. И знаешь, что я знаю. Но я не считаю, что я в этом деле сел в калошу. Принцип провозглашенный остается, а раз так, значит, и факт может иметь место. Соответствующий. А если там другое, так это конкретная случайность, ошибка природы частная... Можно пренебречь. Так зачем же ты про эту случайность раздуваешь? Зачем про лесника, а? Что молчишь? Ну, говори же! Завернись в тогу, гордое слово мне кинь. Только не молчи.
— Кассиан...
— Продал ты батьку, продал. Заигрываешь с молодежью. Подбрасываешь палочки в костер. Ох, устал я...
— Кассиан Дамианович!
— Думаешь, легко новое слово в науке говорить?

Я знаю, они неспроста полезли со своим грибом. Они нашли там его, Федька. Но поддаваться нельзя, раз уж ударили в набат. Пойми! Частная ошибка, а на ней же ж наука может погореть на полвека. Наука, она низом идет по дну. А на поверхности отвлекающая шелуха плавает, стружки. Через сто лет наука сделает новый шаг вперед... Скачок... И тогда скажут... Потомки, Федя, скажут: эти схоласты, которым все надо было обязательно руками тронуть, они из-за своей близорукости чуть не завалили дело. Гриб увидели в микроскоп, и он им все заслонил, все перспективы. А вооруженные марксизмом стойкие ученые не поддались и защитили науку, мужественно пожертвовав частностью.

— Я сам, когда с трибуны сошел, подумал, что неверный взял тон.

— Вот-вот... то-то и оно. Почему ж ты опаздывать стал с чутьем? Не-е, я еще не собираюсь тебя наказывать. Ох, и терпеливые пошли теперь старики... Но ты должен же как следует все понять и дай же ж, наконец, твою работу, я ее напечатаю. Чтоб видно было: пишет Федька, которого мы раньше знали, не дурак, голова, наш человек. Пусть работа будет сырая — поправишь потом — но скажи ж со всей определенностью, как раньше говорил. С нами ты или против нас?

— Напишу работу. Уже пишу, Кассиан Дамианович. Там все будет определенно.

— По-моему, я прав. А, сынок? Думаешь, мне хочется голову такую терять?

«Ишь ты, определенности захотел!» — подумал Федор Иванович.

— Насчет ученого совета — это ты, я знаю, мылом намажешься... Но ты имей в виду, Федя. Твоя фамилия у меня в календаре. На каждой странице...

Он замолчал, и опять в трубке стало слышно его вздымающееся и опадающее дыхание. Как доносящийся ночью морской прибой.

— Да! Не сказал тебе... У вас же опять кубло завелось! Большое кубло. Данные точные. И из преподавателей кто-то с ними. Ох, Федька, смотри, если и ты туда полез. Такой, как ты, может там быть только в атаманах. Не хочу, Федя, не хочу, чтоб тебя с ними застукали, в этой гоп-компании...

— Не застукают, Кассиан Дамианович. Но я чувствую, вы взяли по отношению ко мне жесткий курс.

— А что курс. Жесткий, мягкий... Я — твоя судьба. У судьбы не бывает ни жесткого, ни мягкого курса. Только один. Справедливый. Застукают, Федя, если ты там. Кончай лучше детские игры. Ты еще не пробовал на вкус, что это такое. Неприятный вкус, поверь. Лучше женись. И начинай интересоваться, чем нормальный человек твоего возраста начинает интересоваться. И батька все тебе даст.

Москва отключилась. Федор Иванович, постояв с трубкой в руке, опять взял молоток и вернулся к своему ящику.

Октябрь задал ему хлопот, месяц оказался нелегким. Поэтому, в последних числах, когда в сырых сумерках из-за институтских корпусов вышел как бы специально академик Посошков, Федор Иванович обрадовался. Он почувствовал — академик запланировал эту нечаянную встречу, в ней угадывался новый, серьезно задуманный, может быть, даже ответный шаг. Гроссмейстерский ход.

— Феденька,— сказал Светозар Алексеевич.— Как хорошо, что я тебя встретил. Приходи ко мне сегодня. Побеседуем. Есть основания для беседы. Попозже приходи, часов в десять. И заночуем у меня.

— Что-то задумали?

— Молчок! Не задумал, а получил веление. И захвати фото. Те, что к сообщению о «Контумаксе».

Вечером, спрятав во внутреннем кармане пальто конверт с фотографиями, которые в конце августа по его заказу самолично изготовил полковник Свешников — такие фотографии были отосланы и в журнал,— Федор Иванович отправился к Посошкову. И никто не смог бы увидеть, как он идет, потому что он, по новой своей привычке, шел, переходя из одной черной тени в другую. А десять вечера в октябре — это глухая ночь, ровно шелестящая слабым дождем.

Посошков впустил его в дом и лишь после этого зажег свет в прихожей. Раздеваясь, Федор Иванович молча подал Светозару Алексеевичу конверт с фотографиями, и оба прошли в ту большую комнату, где висел Петров-Водкин. Просмотрев фотографии, спросив: «Те же, что отослал в журнал?» — и получив утвердительный ответ, академик сунул конверт в карман своего

свободного домашнего пиджака из малинового сукна. На груди пиджака вились толстые шелковые шнуры, так называемые брандебуры.

— Не будем здесь задерживаться, пойдем туда,— и Посошков первым пошел в другую комнату, где их ожидал уже накрытый стол с женственной красавицей бутылкой коньяка.

— В дни молодости,— сказал академик,— я предпочитал «Финь-Шампань». А вот и лимон с сахаром. Думаю, и мой Федя оценит...

И музыка у него, похоже, была наготове. Ждала. Академик только вышел на несколько секунд, и сразу же неизвестно откуда послышалось негромкое живое бегущее фортепиано. Федор Иванович сразу узнал, что это такое. Он любил эту вещь. Но ему не захотелось сейчас слушать, вникать в эту музыку. Не мог расслабиться, тревога мешала.

— А, черт, не то включил,— словно обжегся Посошков.— Эта музыка сегодня не по сезону. Не слушать, а говорить нужно. А?

Федор Иванович кивнул. Посошков неслышно выбежал из комнаты. Что-то выключил, и фортепиано затихло.

— Смотреть Петрова-Водкина или слушать такую музыку под серьезную выпивку нельзя,— сказал Посошков, вбежав и беря бутылку.— Чем хороша, Феденька, молодость? Богатством и свежестью переживаний. Там и искусство не нужно — черпай из жизни. А с годами приходится обращаться за помощью к искусству. Заперся и слушай. И получай те же переживания. Незачем, как Фауст, черту душу продавать. Так бы и слушал до старости...

Он хорошо оговорился — ему ведь было уже шестьдесят пять с гаком...

— Но, понимаешь, сегодня чужие переживания мне не нужны, сегодня у меня свои страсти, похлеще, чем у...— он не нашел в своей памяти имени художника, который запер бы навечно в своем творении что-нибудь похожее на его, Посошкова, страсти.— Ты что смотришь на коньяк? Я сегодня пить буду. А ты посмотри, поломай голову, тебе полезно.

Вдруг, поставив бутылку, он опять выскользнул за дверь. Вскоре в дальнем углу комнаты затикали очень приятные пустотелые деревяшки, из другого угла ото-

звался низкий загадочный удар — еще более приятный. Слабо рявкнул саксофон, по полу что-то как бы дунуло, нарастая, и оборвалось. Это Европа пришла сюда проводить свой беспечный «викэнд», праздновать под музыку свой, длящийся уже почти век, красивый закат.

— Вот это пойдет и под выпивку и под беседу, верно? — сказал академик, садясь за стол. В нем появилось что-то новое, странная торопливая разговорчивость. Он взял бутылку и штопор.— Приятно вытаскивать штопором настоящую пробку...

— Светозар Алексеевич,— заговорил гость, которому даже в этой европейской музыке слышались звуки, напоминающие о недремлющей погоне.— Мне кажется, я слегка оцарапан. Часы мои пущены, начали отсчет. Поэтому...

— Феденька, не слегка, а как следует. Из-за этого я и собрал это наше с тобой совещание. Ты думаешь, почему я попросил у тебя фото? Потому что прочитал твое сообщение, набранное для октябрьской книжки «Проблем». Набран-но-е — дошло до тебя? И сверстанное. И все фото там, уже клишированы. И я, естественно, заинтересовался. Где прочитал? В Москве, в хорошем месте. Сам понимаешь, раз сверстано, значит, есть достаточное количество рабочих оттисков. Они наверняка попали во все руки, которых мы могли опасаться. Скоро услышишь рев Касьяна. Это уже не остановить. Впрочем, мы рано с тобой начали серьезный обмен. Я ведь тоже оцарапан, Федя. Своеобразная царапина, касательная. Но яд по жилам пошел. Давай-ка выпьем «Финь-Шампань» за то, чтобы яд действовал как можно медленнее.

Бокалы были похожи на мыльные пузыри, желтый коньяк плескался на дне. Положив в рот кружок лимона, Федор Иванович широко открыл глаза. Академик отважно переносил на свою тарелку большой кусок холодной телятины. К нему он положил две ложки коричневого желе.

— Желе! — сказал он радостно.— После семилетнего перерыва! Преимущество оцарапанных отравленной шпагой!

— А как же творог?

— Творог вычеркнут. Красивой женской ручкой. Да и не место творогу... на последнем пиру. Федька! Будем пити и ясти!..

И он ел. И сегодня уже Федор Иванович любовался его наслаждением. Жуя, Светозар Алексеевич останавливался и качал головой, одобряя и дивясь чудесам и богатству Вселенной.

— Как ты думаешь, Федя, добрый я человек? — спросил он вдруг, забыв про телятину и мгновенно отключившись.— Погоди, я знаю, что ты скажешь. Добрый, добрый я. Мне хочется быть добрым, мне больно, когда я вижу чужое страдание, и я спешу источник этого страдания устранить. И люблю еще смотреть на счастливого, любоваться, как он счастлив. Я и о тебе могу то же самое сказать. Ты еще добрее меня. А вот что ты мне ответь. Ты умеешь употреблять вот эту штуку?

И он, протянув руку через стол, мгновенно поднес к лицу гостя свой маленький кулак. Это было что-то новое, и Федор Иванович с интересом стал рассматривать с близкого расстояния костлявое оружие академика.

— Все думают, что я комнатный,— заговорил тот грубым голосом.— Думают, что я интеллигент из Шпенглера, обреченный на вымирание в силу своей утонченности и скрытой безнравственности. Морская свинка, давшая пищу для «Заката Европы». Нет, Федька. Я — нового типа интеллигент. Я даю пищу для «Пробуждения Европы», которое еще будет написано. Я надену телогрейку, возьму в руки лопату, матюкнусь... трехэтажно, и ты попробуй, меня узнай. Я могу и ломиком трахнуть. И пока сволочь будет хлопать глазами, не укладывая этого факта в своих мозгах, я еще добавлю. Давай, налью... Хор-рошая штука, когда долго ее не видишь... Когда с цепи сорвешься.

Федор Иванович, потянувшись к телятине, опомнился и, отдернув руку, замер.

— Ты что?

— Не могу. Они где-то едут...

— Я тоже подумал. Ты напрасно мне... отравляешь... Бери и ешь. Может, и переварить еще не успеем. Это же у нас с тобой прощальный бал, не заставляй меня пускаться в подробности. Подробности явятся в свое время. Нет, не бойся, успеем. Но месяц ты продержаться обязан. Сверх этого пока ничего не скажу.

Они замолчали. Федор Иванович ткнул вилку в ломтик телятины и собрался есть. Академик остановил его и ложкой положил на телятину желе. Но и телятина и

желе требовали сосредоточенности. А Федор Иванович был в другом месте. Внезапно ударившая мысль все время как бы держала его за воротник. «Они там едят баланду»,— думал он, жуя сладковатую и в то же время солоноватую телятину, пронизанную остротой желе и тошнотворной сладостью предательства.

— Вот я тебе сказал это слово. Интеллигент нового типа,— академик положил на стол кулак, стал смотреть на него.— Вот эта штука, хоть она и маленькая... Не как у Варичева... Но она что-то может. Жизнь, практика знает много примеров. Был у меня знакомый, медик из энцефалитной экспедиции. Добряк с судимостью. Боролся в тайге с энцефалитным клещом. Пошел туда не ради денег. Я уважаю этих людей. Вот он вернулся в Москву. Смерть от энцефалита пронесло... А в Москве, когда ночью шел с вокзала с рюкзачишком, худенький очкарик... на улице к нему подошли трое. Дай, дед, закурить. Иван Афанасьевич буркнул: не курю. Один сделал ложный выпад и ударил ногой в живот. И принялись ногами убивать упавшего ученого. По голове! Трое! И этот, первый, занес свою ногу в зашнурованном сапоге. Чтоб ударить всей подошвой в лицо. Но дни его были сочтены. Иван Афанасьевич застрелил его. У него был ракетный пистолет. В пах ему ракетой выстрелил. На суде в последнем слове он сказал: «В жизни я все уже сделал. Я готов даже умереть, но получаю тем самым право. Получаю право сделать то, что велит совесть». Он подошел к моей мысли, минуя Гамлета. Пусть, говорит, знают все подонки. Слишком много развелось под охраной закона. Пусть знают, среди жертв может оказаться и такой, как я. Мы освободимся, наконец, от нападающих по ночам.

Светозар Алексеевич хотел было взять еще телятины, но отмахнулся от искушения. Не до телятины было.

— Касьян тоже ночью нападает. Как эти. Создал сначала вокруг темную ночь и нападает. На одного вдесятером. Ведь какую дилемму он упорно ставит? Хочешь не хочешь, а решай. Он же прилип и диктует. Сдавай научные позиции. Я сдал — ему этого мало. Примыкай к моей стае, вместе будем рыскать ночью. Возвращайся к средним векам. Капитулируй на милость их светлости Сатаны. Или — это то, что мне остается — бери в рукав его же оружие, от которого невыносимо воняет псиной. И падай, как будто убит. Притворись.

И когда Рогатый, приученный к нашей искренности, подойдет, чтоб пописать на тебя, пнуть ногой, восторжествовать,— поражай его в пах. И если есть возможность повторить выпад — повтори.

— Ваш медик выстрелил в эту сволочь, которая его убивала...— сказал Федор Иванович.— Он выстрелил, хватило у него. А я спас своего Рогатого. Теперь он вторично в яму не полезет...

Потемнев и нахмурившись, он вдруг охватил лоб пятерней. Сидел некоторое время молча. Покачивался, силился вспомнить очень нужную вещь.

— Да! — вспомнил наконец.— Светозар Алексеевич! Вы сказали, что я оцарапан. Сказали, что видели оттиск. Там же стоит чужая фамилия! Почему это должно меня касаться?

— Феденька, фамилия там стоит не чужая, а твоя. У меня даже оттиск этот сохранился...

Посошков поднялся было — искать оттиск. Но Федор Иванович вяло махнул рукой. Доказательства не требовались. Опять стал покачиваться, но уже по другой причине — по-настоящему почувствовал царапину.

— Д-да-а...— пробормотал, отдуваясь.— Не предвидели они... Теперь мой поезд побежит... Бы-ыстро побежит...

Они пригубили и как бы уснули, поникнув. При этом музыкальная Европа сразу выплыла из углов и охватила двоих тяжело размышляющих за столом русских, зовя оставить все мысли и все воспоминания и погрузиться в молочную ванну наслаждений.

Федор Иванович не слышал этого зова.

— Неделей раньше, неделей позже,— сказал он, морщась.— Все равно через полмесяца начали бы печатать. Кто же мог предвидеть...

Когда пауза миновала, Светозар Алексеевич, вынув изо рта косточку маслины и глядя на нее, сказал:

— Все хотел тебя, Федя, спросить. Ты носил, когда тебе было десять лет, вельветовые штанишки? Без карманов и с манжетами у колен?

— Мог бы носить, но так все сложилось, что пришлось таскать портки, как у взрослых. И с карманами.

— Так и знал. Но надо же, сына увела...— Посошков сказал эти слова без всякой связи с их беседой и, закрыв лицо пятерней, стал мять, гнуть между пальцами нос и усы — хотел этим насилием подавить другую

боль.— Она ушла, Федя, от меня. Не верится. А ведь я не тот, от кого она ушла. Я тот, к кому она когда-то прибежала. Близору-кая... Но она скоро поймет... Ты скажи когда-нибудь моему Андрюшке, что тятька у него был не только такой. Но и этакий тоже был...

И два собеседника, замолчав, отъединились друг от друга, улетели, каждый в свою страну. Федор Иванович рассеянно водил вилкой по салфетке. Посошков, забрав в пятерню рот и подбородок, свирепо глядел на полупустую красивую бутылку — может быть, он созерцал в это время нечто, о чем упорно не хотел распространяться — свое недалекое будущее.

— Если тебе доподлинно известно, что ты еще раз явишься на землю, чтобы доделать оставшиеся дела...— сказал он вдруг, не отрывая взгляда от бутылки, соскальзывая на свою тему,— тогда это вообще игрушки, можно и на крест. Это даже интересно. А вот если доподлинно известно, что это твое первое и последнее пребывание — тогда надо по возможности уходить от креста. Касьяну же это только и нужно — убрать тебя навсегда.

Он что-то обдумывал, на что-то решался, и для этого ему нужно было молчаливое присутствие собеседника. Но он не беседовал. Говорил только с самим собой. Мысль горела, шла в глубине, но иногда поднималась, и тогда он выбрасывал на поверхность какой-то яркий узел, то, что предназначалось для Федора Ивановича.

— Природа вовремя нас убирает,— заговорил он после длинной паузы.— Всех классиков — писателей и композиторов, всех Венеций и норвежских фиордов хватает на среднюю жизнь. Поют Фигаро — тебе уже скучно, а они — впервые слышащие и впервые поющие — в восторге. Если проследить — все, Федька, на этот срок жизни рассчитано. За этот же срок человек приобретает опыт. А когда поймет, что надо действовать, и главное, поймет, как действовать — тут он умирает! А если успевает сказать молодому: «Это невкусно, можешь не пробовать»,— тот говорит: «Заткнись, предок!» Хочет дойти сам. То есть, хочет проделать уже сделанную работу, истратить свое время там, где оно уже истрачено другим. Природа не зря определила нам наш средний возраст — чтоб толклись на одном месте. Быстроты она не любит. Но некоторым поручает и скачок...

Он опять умолк, и опять из углов комнаты вышла ти-

хая европейская музыка, заглушила мысли, остановила время...

— Наконец! — воскликнул вдруг Светозар Алексеевич.— Наконец я начинаю. Приступаю к настоящему делу. Которое даст плод. А десять лет жизни перед этим была подготовка. Как агава, зацветаю на три дня! А сколько еще возможностей, белых пятен! Ни в чем, Федя, нет и не будет последнего слова. Только у Касьяна уверенность в конечном знании. Любовь к тупику. Стать в конце коридора лицом к стене и гореть глазами...

— А кто найдет дверь в этой стене и откроет...— продолжил было Федор Иванович. Но академик не слышал.

— Что-то мы совсем не пьем,— перебил он.— Давай хряпнем по хорошей.

Он разлил в стеклянные пузыри весь благоухающий остаток. Перевернул бутылку, потряс ею и, подобрав губы, швырнул ее на пол. И этот жест был частью скрытой мысли, которая непрерывно горела в нем, изредка показываясь наружу. Молодецки «хряпнув», он посмотрел на Федора Ивановича.— Пошли теперь наверх.— И, поднимаясь с кресла, крикнул: — Маркеловна! Как там чаек? — прислушался, склонив голову набок, и определил:— Ушла...

Федор Иванович впервые поднимался по этой лестнице. Наверху был этаж личной жизни академика. Двускатный чердак был разбит поперечными стенами на части, и в крайнем помещении Светозар Алексеевич устроил себе обширный кабинет. Множество стеклянных книжных шкафов стояло здесь спиной к обеим стенам, где потолочный скат опускался почти до высоты человеческого роста. В центре, в вышине, висела фарфоровая люстра — белая с синими вензелями, закрепленная бронзовыми цепями к потолку. Недалеко от входа заняла угол тесная компания из двух мягких кресел и дивана, окруживших низкий овальный стол светлого дерева. На нем поблескивал знакомый электрический самовар, стояли чашки с блюдцами, растопырилась стеганая на вате пестрая курица, затаившая в своем нутре чайник для заварки. Играли бликами еще какие-то чисто вытертые вещи. Вдали, боком к большому окну, завешенному сизой шторой со спокойным синим орнаментом, стоял тяжеловесный резной стол академика,

созданный в прошлом веке, тоже чисто убранный, приготовленный к работе. Но Федор Иванович тут же заметил, что в кабинете давно не работали.

На столе мягко светился зеленый фаянсовый абажур. Его поддерживали три голые фарфоровые красавицы, бегущие вокруг центральной оси,— изделие датских мастеров.

— Очень дорогая была вещь,— сказал Посошков, заметив особый интерес Федора Ивановича к этой лампе.— А теперь ей вообще нет цены. Ты присмотрись — эти девы склеены. На кусочки были разбиты. Их когда-то разбила Оля. Из ревности... Ох, Федя, это было, было...

Он потрогал самовар и включил его — подогреться. Пробив на столе пальцами барабанную дробь, вспомнил важную вещь, вышел куда-то и вернулся с непочатой бутылкой коньяка и двумя бокалами — такими же стеклянными пузырями.

— Я вижу по твоим взглядам, Федя, ты понял все, в чем я не успел тебе исповедаться.— Светозар Алексеевич, стоя рядом с гостем, осмотрел кабинет.— Но в общем-то, у Варичева обстановка несравненно богаче...

— Дороже...— уточнил Федор Иванович.

— Спасибо... Но и из этих вещей раздавались, как ты понимаешь, увещевающие голоса. И раздаются. Все вещи на стороне врага. Надо с ними построже. Я думаю, пока закипает, надо нам немножко...

Он штопором выхватил из бутылки пробку и плеснул в бокалы самую малость. Оба пригубили и, держа стеклянные шары, согревая их пальцами, пошли по кабинету, по чему-то мягкому — это был особенный — живой и отзывчивый ковер.

— Вчера имел я хлеб и кров роди-имый... А завтра встречусь с нищетой...— запел Светозар Алексеевич мягким тенором.

У него был на удивление молодой, искренний голос. «Как у Лемешева!» — с удивлением подумал Федор Иванович. И притих, слушая. А академик пошел по кабинету, разводя рукой, обращаясь к невидимым теням:

— «Покину вас, священные моги-илы,— у него был даже лемешевский ранящий душу «петушок».— Мой дом и память светлых юных лет, пойду бездо-омный и унылый, тропой лишения и бед...» Ох, Федька, я умираю.— Он хлебнул из бокала и повис на плече Федора

Ивановича. Но тут же воспрянул: — Ладно, пошли пить чай. Хочешь, покажу тебе, как в загсе...

Сунув бокал Федору Ивановичу, он подбежал к своему роскошному столу, остановился и взмахнул руками. Но не тот уже был Светозар Алексеевич Посошков. Он недопрыгнул и, задев коленом далеко выступающий дубовый край стола, должен был упасть, повалился уже назад, но Федор Иванович вовремя подхватил его легонькое трепещущее тельце. Покойно лежа в его объятиях, академик с изумлением водил глазами.

— Во-от, Федя... Смотри и мотай на ус,— сказал он, наконец.— Таковы превратности. Что? Бокал разбил? Не собирай, завтра Маркеловна подметет. Черт... коленку расшиб.

Сняв ватную курицу с фарфорового чайника и разливая чай по чашкам, он продолжал размышлять о чем-то. Все о том же. Потом, остановившись, сказал:

— Мне передали, Федя, о твоих «песочных часах». Они совмещаются с моими рассуждениями о Гамлете. Когда принца оцарапали, он укрылся куда? В свою внутреннюю бесконечность. А все, что было в верхнем конусе, перестало для него действовать. Там его потеряли...

— Знаете, что я вам скажу?— Федор Иванович вдруг наставил на него свой холодный, благосклонный тициановский взгляд.— Вы дружите со Свешниковым.

— Почему так думаешь?

— Вы возвращаете мне мысли, которые я высказываю ему. А он возвращает мне то, что я говорю вам. Я подозреваю, что нас уже трое. А это увеличивает степень риска...

— Это все совпадение. И болтать об этом я не хочу. Пей чай!— Посошков подвинул чашку к Федору Ивановичу.— Ну и Федька... Ну и наблюдатель... Какое счастье, что ты работаешь не в шестьдесят втором доме.

Шел уже третий час, когда Светозар Алексеевич вдруг уронил голову на грудь и заснул. Он поспал с минуту, шевеля серыми усами и сопя, и голова его сваливалась то направо, то налево. Он как бы нехотя беседовал с двумя соседями. Потом он проснулся, медленно пришел в себя, медленно вник в происходящее и, встретив взгляд Федора Ивановича, облизнув сухие губы, сказал:

— Спать... Пойдем, Федя, прервемся...

Хмель сразу забрал его в свои руки, и Федору Ивановичу пришлось вести его в спальню, дверь которой была против двери кабинета. Они вошли, и Федор Иванович, щелкнув выключателем, увидел белый с мелкими цветочками мир, покинутый храм счастья. Стояли вплотную два почти квадратных ложа, затянутых покрывалами из сизой ткани с выпуклым белым рисунком, напоминающим мороз на окне. Справа и слева были придвинуты тумбочки с ночниками, и на каждом — бледный шелковый абажур с оборками. Стены обтягивала нежная ткань, на ней моросили мельчайшие — меньше горошины — розочки с листочками. Вместо окна была как бы сцена, только там висел не занавес, а нежнейший, как пар, тюль. Этот пар отгораживал спальню от большого фонаря — через него днем сюда, должно быть, врывался потоп солнечного света.

— Вот оно, глупое счастье с белыми окнами в сад,— сказал академик.

— Лучше мне спать там,— Федор Иванович показал назад, в кабинет.

— А я здесь и не сплю. Почему-то страшно, Федя. Ты прав.

И они вернулись. Сопя и ошибаясь в движениях, Светозар Алексеевич выволок из-за крайнего шкафа раскладушку, уронил посреди кабинета. Притащил два полосатых тюфяка, бросил их сверху. Подушки, одеяла и простыни были тут же, в одном из шкафов. Светозар Алексеевич бросил их на тюфяки и упал в кресло.

— Давай, устраивайся на диване. А я вот здесь, на раскладушке. Помоги мне... Это мое привычное. Человек я одинокий, теперь нет у меня ни жены, ни вола его, ни всякого скота его...

Когда Федор Иванович, устроив академика на раскладушке, погасил свет и улегся, Светозар Алексеевич, о чем-то задумавшийся, заговорил в темноте:

— Сколько керосину... Ох, Федя, сплошной керосин...

Он крякнул и сильно заворочался на раскладушке. Федор Иванович молчал.

— Да, да... Верно это...— продолжал Посошков.— С тех пор как в нашу биологию напустили этого керосину, вся рыба пошла вверх пузом...

Тут он негромко зевнул, и в кабинете наступила тишина.

— Я все думаю об этом законе... Как ты его изло-

жил... Достаточного основания,— заговорил Светозар Алексеевич после вторичного сдавленного зевка.— И редколлегии ведь попало! Не мешай действовать силам природы. Не суйся со своей припаркой... Оживляющей... Если мертвец уже готов. А Рядно, этот орет на весь мир, ему можно. И переводит то, что орет, на все языки... У нее, у природы, весь этот механизм хорошо отработан. Ни черта не знающий Касьян твердой рукой указывает: вот враг, и вот еще враг. И попадает в самых толковых. В тех, кто прав! И рыба всплывает...

— Вверх пузом...— отозвался Федор Иванович.

— Не хочется рыбой-то быть!— академик отчаянно прокричал эти слова.

Они оба помолчали некоторое время. Потом хозяин дома зычно всхрапнул в темноте, и стало ясно, что совещание, которое созывал академик, окончено.

В ящик, что был прислонен к окну, во все его отделения уже были насыпаны мелкие странные клубни, одни как горох, другие — как продолговатые грецкие орехи. Все это были клубни диких сортов картофеля, которые Стригалев считал перспективными. С ними Федор Иванович собирался работать в дальнейшем. Этот запас был создан на всякий случай. Здесь особенно была видна деятельность той птицы, что упорно таскала травинки и плела свое сложное гнездо. Весь план гнезда природа держала в тайне, выдавая только тот рабочий чертеж, который был нужен на данный день.

Клубни сорта «Контумакс» с удвоенным числом хромосом были еще в земле, в горшках, что стояли у Свешникова, только их перенесли с балкона на подоконник. Листва там уже начала буреть, три большие подсохшие ягоды тоже потемнели, но все еще висели на привядшем стебле.

За окном стоял мокрый ноябрь, везде была видна торопливая подготовка к празднованию годовщины Октябрьской революции. Стучали молотки, на здании ректората рабочие, крутя лебедку, поднимали на тросах большой портрет Сталина. Везде уже висел кумач, по вечерам зажигались гирлянды огней.

Утром седьмого ноября у здания ректората выстроилась колонна демонстрантов. Впереди вспыхивал латунными искрами студенческий духовой оркестр. Сразу за

ним стоял строй профессоров и преподавателей, затем технический персонал, и, наконец, длинная, разбитая на части, и не очень дисциплинированная веселая толпа студентов, в разнобой поющая сразу три или четыре песни. Федор Иванович тоже был здесь. То в одном, то в другом месте мелькал знакомый всем коричневый с красниной «мартин иден», и можно было увидеть знакомую русую шевелюру заведующего проблемной лабораторией, разделенную пробором на две части и с маленьким просветом на макушке.

Направляясь туда, где стояли преподаватели и профессора, чтобы занять там свое место, Федор Иванович прошел через несколько студенческих толп, и к каждой присматривался. Везде пели, везде смеялись и обменивались толчками, и со всех сторон смотрели смеющиеся молодые лица. В одной из толп он увидел Женю Бабич, она была без шапки, в узеньком, еще школьном пальто с узким воротником из голубой белки. Кричала со всеми песню про Конную Буденного. Увидев Федора Ивановича, отвела глаза. Помнила встречу у подпольной делянки.

Где-то в этих толпах было новое «кубло». Они, конечно, были здесь все вместе.

В девять часов кто-то дал команду, поднялись флаги и кумачовые полотнища на палках, все заколыхалось и двинулось вперед.

Когда шли по Советской улице, все увидели на тротуаре Варичева. Он возвышался над толпой — огромный, в темно-серой шляпе и сером голубоватом тонком пальто, которое висело на нем, как чехол на грузном памятнике. Студенты закричали ему «Ура!». Оглядев колонну, ректор примкнул к шеренге, в которой был Федор Иванович. Сначала широко, размашисто шагал с краю, потом тяжело перебежал внутрь шеренги, пошел рядом.

— Привет, товарищ завлаб,— полуподнял руку. Посопел, шагая враскачку. Оглянулся на соседа.— Люблю советские праздники!

Федор Иванович в своей жизни, кроме советских, никаких других праздников не видел. Церковных его родители не праздновали, если не считать елки — торжества, которое в детские годы Федора Ивановича проводили тайно и в сильно урезанном виде. Он был самым настоящим советским человеком, притом, не из послед-

него десятка. В сорок первом, под Ленинградом, поднимая свой взвод в атаку на немцев, засевших в деревне Погостье, он даже закричал отчаянно: «За Родину, за Сталина!». Сегодня, идя в этой шеренге и празднуя, то есть отдыхая душой, потому что призрак Касьяна отошел от него на время, он сразу расслышал в словах старого толстяка Варичева что-то инородное, нотку, появившуюся, видимо, после телефонных переговоров с академиком. «Толстяк говорит это специально мне»,— тут же догадался он.

— Я собственно, только советские праздники... Петр Леонидыч,— осторожно ответил он.— Не захватил других. Вот только если свадьба... На свадьбе, пожалуй, еще веселее. Если своя. Не находите?

Варичев не мог с этим вслух согласиться. Но и отрицать очевидную вещь тоже было нельзя. Разговор слушала вся шеренга, а начал его он сам, и с высокой ноты.

— Демаго-ог!— сказал он, оскалив выше десен широкие мокрые зубы и, дружески обняв, больно хлопнул Федора Ивановича по боку.

Потом взял его под руку, наклонился.

— Вам, наверно, звонил Кассиан Дамианович? По понятным причинам, он на время отстранился от личного руководства наукой у нас. Поручил дело целиком ученому совету. И мы хотели бы, Федор Иванович, послушать вас... Накопились вопросы... У вас же, наверно, есть, что рассказать коллегам...

— Мы еще ничего не обработали из материалов, полученных за лето...

— Федор Иваныч! Все же свои! Посидим, поговорим... Занесем в протокол,— он улыбнулся дружески.— Думаю, как приедет Светозар Алексеевич...

— Он в отъезде?

— Не знаете? Он в Швеции на конгрессе.

— Да-а?— лицо Федора Ивановича сразу стало строже.

— В Швеции, в Швеции наш Светозар Алексеевич. Докладывает всему миру о наших успехах в области...

Но Федор Иванович уже не слышал ничего. Ясная догадка осветила сразу все — все туманные слова академика, сказанные неделю назад за коньяком. «Наконец я приступлю к настоящему делу. Как агава, зацветаю на три дня...» Эти слова хорошо запомнил Федор

Иванович, хоть и говорилось все вскользь, и с бокалом в руке.

— Златоуст...— чуть доносилось до него извне.— И языки знает. Доклад ему, конечно, отредактировали, но читать... Числа двадцатого вернется, тут мы и соберемся...

Праздничные демонстрации в областных городах проходят недолго. Несколько кратких речей с трибуны, обтянутой кумачом,— и все разошлись. В этом году день седьмого ноября выдался ясный, без дождя, даже с морозцем, поэтому много демонстрантов осталось в центре. Толпы текли главным образом по спускающемуся к реке бульвару. И Федор Иванович шел со всеми, обдумывая свою предстоящую встречу с ученым советом. Ничего он не боялся, и «наследство» было хорошо размещено. Правда, статья была набрана и попала в руки. Вот что... Он не чуял под собой ног — горячие ветры неминуемой схватки дунули под крылья, понесли. Он летел, как летают во сне. Он как будто выходил под хмельком плясать, бросив оземь шапку.

Кто-то хлопнул его сзади по плечу.

— Летишь, счастливец?— это Кеша Кондаков догнал его, обдал водочным душком. Он был в фиолетовом дубленом полушубке с кожаными шнурками на груди и в зеленом бархатном колпаке с темным меховым околышем. Бородатый, широко оскалившийся красавец. Федор Иванович оглядел его.

— Боярский сынок вышел на охоту за красными девицами?— спросил, не сразу находя силы для улыбки.— Гриша Грязной ходит здесь и красой похваляется?

— Ох, Федя,— Кеше комплимент понравился, хотя он и охнул почему-то.— Ох, не говори.— Он опять улыбнулся.— Нет, умеешь, умеешь приятное сказать. Но честно, Федя, не до того. Где тут похваляться? Раньше я выйду сюда, к столбу, постою два вечера — смотришь, Оля на третий бежит. И мы с нею куда-нибудь... Или ко мне. Ты знаешь, я же опять в Заречье...

— Значит, лебедь не улетела?

— Раздумала, Федя.

— А теперь что мешает ей выходить?

— А ты взгляни!

Федор Иванович посмотрел туда, куда картинно развернулся Кондаков, и увидел его бывший дом и над аркой огромный известный всем портрет Сталина. Вождь

стоял там на белом фоне в шинели и сапогах, и в распахнутом шлеме-буденовке со звездой.

— Они же, бедные, там третий день в темноте сидят. И еще дня три будут. Чувствуешь? Вот послушай.

И он начал декламировать вполголоса. Как будто мягкий низкий ветер выдувал на ухо Федору Ивановичу слова:

Я — дитя условий коммунальных,
Мне окно, что солнышко, — так нет! —
Каждый праздник пожилой начальник
На окно мне вешает портрет.
Тот портрет, соседям всем на зависть,
Занимает тридцать два окна!
Ваське на восьмом усы достались,
Мне — кусок шинельного сукна.
Быть бы мне отцом, народ пригревшим,
Я б заместо на окне висеть
Дал сыночку, Кондакову Кеше,
Из окна на праздник поглазеть.

— Что же ты врешь про тридцать два окна?— Федор Иванович покачал головой, любуясь Кешей.— Здесь всего-то будет пятнадцать.

— Восемнадцать, Федя, я считал. А что тридцать два — так это гипербола. Поэтам разрешается.

— Но не во всех случаях, Кеша. Далеко не во всех. Я б советовал тебе это стихотворение спрятать подальше. И забыть.

— Генералиссимус не обидится на шутку.

— Кеша, а вот это чьи строки:

Что и винтик безвестный
В нужном деле велик.
Что и тихая песня
Глубь сердец шевелит..?

— Чье это, Кеша? А?

— То серьезные строки, а про портрет шутка, Федя.

— Небось, уже многим прочитал?

— Это же экспромт! Человек пять слышали. Не пугай меня, Федя, спать не буду.

— Человек пять... Ты молодец. Советую прекратить... распространение, так это называется. А почему же ты не зайдешь к ним?

— Строжайше запрещено. Чтоб Андрюшка чужого дядю не увидел. У столба стой, сколько хочешь. Только на окно не смотри. А теперь и окна нет, караулить приходится. Вот, Федя, какой у меня законный брак!

IV

Академик Посошков задерживался в Швеции. Подошло уже двадцатое ноября, а о нем не было никаких известий. Потом Раечка из ректората сказала Федору Ивановичу, что вся делегация отправилась в поездку по стране. Собирались посетить знаменитые институты, познакомиться с работами ученых.

К этому времени ударили хорошие морозы. Двадцатого числа было около пятнадцати градусов ниже нуля. Полуперденчик — дар академика Рядно — надежно утвердился на плечах Федора Ивановича. Дождалась зимы и черная курчавая ушанка. Двадцать первого числа весь день на землю опускался медленный — зимний — снег, и лыжная секция наметила на двадцать пятое поход на Большую Швейцарию.

Федор Иванович и до двадцати пятого каждое утро еще затемно выходил на лыжах. Заправив черные брюки в грубые, крестьянской вязки, носки, крепко зашнуровав лыжные ботинки и надев большой, как короб, темно-серый свитер с синими елками и черными оленями, натянув ниже ушей невзрачную черную шапку-чулок с металлической пуговкой на макушке, он не очень быстро, но ухватисто черной, падающей то влево, то вправо тенью улетал в парк по уже накатанной лыжне. Первый спуск был с Малой Швейцарии к реке. Федор Иванович вылетал из светлых сумерек в ясное утро. На белой реке далеко, где летом шли пароходы, виднелись черные точки. Это бесстрашные рыбаки, просверлив лунки в тонком льду, уже таскали из них окуней. Федор Иванович отдыхал, пристально смотрел на рыбаков и дальше, на тот берег, где за плоской равниной сизо туманилась и звала Большая Швейцария. Отдохнув, трогался обратно.

Однажды, вылетев со спуска к реке, он, не останавливаясь, перебирая ногами, свернул к небольшому береговому обрыву, косо съехал на снежное поле и побежал дальше — к рыбакам. Вскоре Федор Иванович по-

пал в лыжню — первый лед уже был освоен,— и лыжня повела его к тому берегу. Она же у того берега взяла в сторону. Федор Иванович, понимая, что народной мудрости перечить нет смысла, подчинился ей. И был прав: в реку впадал небольшой приток, и лыжня, свернув туда, провела лыжника сразу под двумя мостами, помогла пересечь железную дорогу и шоссе, не снимая лыж. Сразу же за бетонным мостом, по которому бежали грузовики, начинался подъем.

Здесь как раз пора обратить специальное внимание на одно свойство Федора Ивановича. Он был наделен ярким, почти детским воображением, не погасшим со времен юности. Мы можем вспомнить, как давало это свойство о себе знать в разных случаях его жизни. Очень сильное впечатление произвел на него когда-то плакат, висевший около классной доски. Он управлял юным Федей долгое время. Воспоминание об этом осталось у него на всю жизнь. Еще можно вспомнить, как однажды, год с лишним назад, когда он шел по улице, рука его сама вдруг согнулась в кольцо и пальцы коснулись груди. С тех пор рука его часто повторяла это движение, особенно в последнее время, когда Леночку куда-то от него увезли. И металлический стук золотых мостов академика Рядно тоже преследовал его, Федор Иванович за чаем не раз бессознательно пробовал воспроизвести этот стук. Не мог отделаться от наваждения!

В последний год его дар переноситься в мир иллюзий, как бы во сне вновь создавать то, что происходило вокруг, и активно участвовать в этом сне,— этот дар значительно обогатился особым строительным материалом. На глазах Федора Ивановича во всех учреждениях и институтах, где ученый народ исследовал тайны органического мира, вдруг, словно по сигналу, вышли вперед люди, до сих пор себя не проявившие ни талантом, ни живостью мысли. С мстительным весельем накинулись они на тех, кто увлеченно работал. Спаянные до тех пор общим делом единые сообщества разбились на группы, ведущие одна за другой неусыпное наблюдение. Разыгрались невиданные собрания, длившиеся порой до утра, где одни нападали, а другие, борясь за место в жизни, отчаянно, но неумело защищались или, потеряв человеческое лицо, жалко каялись в грехах, которые в действительности были заслугами — что и подтвердилось позднее. Никто толком не понимал сущ-

ности этих требующих покаяния грехов, даже сами обвинители. Но вслух такие сомнения не высказывались. Действительно, кто же это поймет, когда тебе приписывают принадлежность к воинствующему агрессивному отряду господствующих за рубежом реакционеров от биологии, и приписывают подобную пакость только за то, что ты, будучи от природы любознательным и приметливым, пытаешься с помощью кристаллического порошка, растворенного в дистиллированной воде, изменить структуру растительной клетки и хочешь посмотреть, что из этого получится. Федор Иванович, как мы знаем, попал сначала в число активных преследователей. Его привело сюда то странное обстоятельство, что эти активисты, нападая, использовали марксистские горячие слова. А у Феди Дежкина было пионерское детство и комсомольская юность. Горячие слова при его ярком воображении и готовности вступиться за того, кто прав, были ему очень близки. «Пойдешь налево — придешь направо», — сказал однажды Сталин, как будто специально для этого случая.

К счастью, Федора Ивановича не покинула и в том стане способность наблюдать и сопоставлять. На веру он ничего не принимал, всегда искал подтверждения. А горячие слова произносятся зачастую в расчете на чистую веру слушателя. С удивлением приглядывался Федя Дежкин к возбужденным стрелкам и загонщикам в огромной охоте на людей. И постепенно, глубоко вникнув во все, он вдруг оказался среди тех, кого подозревали, «прорабатывали» и увольняли, а иногда подвергали и более суровым мерам воздействия.

Пионера и комсомольца тридцатых годов не могли испугать эти преследования. Все детство его прошло в играх, где он вместе с конниками Буденного отстаивал завоевания Октября от темных сил реакции и падал на поле сражения, сжимая в руке древко Красного знамени. Любимой картиной его детства было полотно Иогансона «Допрос коммунистов» — там были изображены два мужественных, уверенных в своей правоте человека, стоящих перед готовыми лопнуть от злости белогвардейцами, и толстый их генерал уже тащил из кобуры пистолет.

Эти вехи пути Федора Ивановича здесь кратко перечисляются для того, чтобы лучше можно было понять: упомянутый новый строительный материал был достав-

лен строителю неленивому, и тот сразу приинялся за работу.

Перед ним возникали все новые варианты подстерегающих его испытаиий, и он сразу же начинал шептать, отвечая своим не знающим передышки, изобретательным и, главиое, неправым обвинителям.

С тех пор как он оказался распорядителем бесценного «иаследства», все чаще стала являться ему погоня — как дурной сои, неясная, иеизвестно, из каких мест исходящая, но упорная, оснащенная всем опытом человечества, изрядио поднаторевшего по части преследования своих талантливых творцов. Она была почти реальной. Дело в том, что Федора Ивановича ждала впереди какая-то непременная развязка. А поскольку он видел уже кое-какие виды, в том числе, с геологом и с Иваном Ильичом, развязка, включающая бегство и преследование, была вполне мыслимой.

Так что, скользя по лыжне чуть на подъем и уже слегка вспотев, он не чувствовал ни этого подъема, ни усталости. Даже боли в груди не замечал и только прибавлял ходу. Потому что за ним гнались. За ним уже гнались! Пели сзади ходкие лыжи, звенели концы палок. Преследователи наседали, и он ускорял ход.

Лыжня поднималась все выше, справа и слева мелькали сосны, а слева, кроме того, за соснами плыло, как под самолетом, белесое пространство.

— Лыжню! — крикиул сзади молодой мужской голос.

Федор Иванович очнулся и прыгнул влево, ближе к зовущему из-за сосен провалу. Мимо вихрем пронеслась цепочка легких, одинаково одетых лыжников — видимо, мастера спорта. Он снял шапку и вытер рукой мокрый, горячий лоб. Сильно болела грудь. Внизу под ним тоже стояли сосны, еще ниже — крутой, зализанный и словно облитый эмалью снежный склон почти весь был закрыт темными хвойными верхушками. А в промежутках между хвоей светилась пустота. На дне ее было шоссе, и там бежал грузовик. Бежал, подсказывая что-то, какой-то возможный вариант бегства.

Немного отдохнув, он поднялся еще выше — почти до половины высоты Швейцарии. Дальше подъем пошел отложе, и Федор Иванович, видя, что ему нет конца, решил возвращаться — через час нужно было идти на работу. Он повернул назад, оттолкнулся несколько раз, и скорость, нарастая, погрузила его опять в меч-

ту. Новый вариант погони захватил дух. Искусственный страх, становясь все более натуральным, уколол его, подгоняя, и Федор Иванович, уходя от врага, не стал ни тормозить, ни мягко валиться в снег. Чуть присев, сжавшись, он летел под уклон, давая волю стихии разгона, прорабатывая вариант. И разгон получился такой, что, оплошай он чуть-чуть, его расшибло бы о бетонный устой первого моста. Но он не оплошал, и его вынесло из-под обоих мостов на равнину реки, и там, издалека увидев встречного лыжника, он попытался сойти с лыжни и, повалившись на бок, далеко пропахал снег. Полежал в снегу, отдыхая, пережидая боль.

Домой он бежал, довольный итогом. Назавтра решил повторить все.

А в воскресенье, двадцать пятого, когда среди дня около большого корпуса, где было общежитие, на снегу выстроилась вся секция институтских лыжников, Федор Иванович удивил ребят: пришел с большим синим рюкзаком за спиной. Тренер одобрительно пощупал рюкзак — там были кирпичи.

— Сколько? — спросил.

— Шесть,— ответил Федор Иванович.

— Не многовато для начала?

— Это у меня не начало,— был ответ.

— Ты сухой, пожалуй, можно,— согласился тренер

Они пробежали в этот день, правда, не очень быстро и с остановками, двадцать четыре километра — туда и обратно. Моясь в душевой, приложив губы к воображаемой флейте, Федор Иванович ритмично пропускал через нее свое мощное, еще не усмиренное после бега дыхание. Получалась музыка, говорящая о том, что хорошо проработан еще один вариант. И что синий рюкзак надежно осел в головах и больше никого не удивит.

В то же воскресенье, когда снег сделался темно-сиреневым и стал по-вечернему громко слышен его хруст, Федора Ивановича встретил в институтском городке невысокий человек в длиннополом пальто и вислой шляпе.

— К тебе, что ли, пойдем...— сказал человек.— Давай, пошли к тебе.

— Приехали, Светозар Алексеевич?

— Не болтай лишнего. Где твоя дверь... Сюда, что ли?

Они вошли в коридор. Федор Иванович щелкнул ключом.

— Света не зажигай. Садись и слушай. Значит, так. Я приехал только что. По-моему, меня никто еще не видел. Вот что главное: я объявил на весь мир в докладе, что у нас получен полиплоид «Контумакса». И что он скрещен с «Солянум туберозум». Что получены ягоды. Назвал и имя советского ученого — доктора Ивана Ильича Стригалева. Показал им на экране для сравнения четыре фотографии: «Контумакс» дикий и полиплоид, ягоды дикаря, ягоды полиплоида и твои три ягоды. Получилась, Федя, сенсация. Я даже не думал, что простая, не специальная пресса так заинтересуется успехами естественных наук. Твое имя я не упомянул, хотя потом от членов делегации узнал, что статья твоя уже в лапах у Касьяна... Может, и зря не упомянул. Поостерегся бы Касьян трогать... На днях потащат нас с тобой... Держать ответ будем. Не боишься?

— А чего... Мне даже интересно, Светозар Алексеевич. Ответим... Я думаю, ничего страшного. Из избы же никакого мусора вы не вынесли...

— Из избы я ничего не вынес. Никакого мусора. Хотя мусор есть. А вот Касьяна я подкузьмил. Это похуже, чем если бы мусор... Он сейчас мечется, ищет выхода. Наверняка же его спросят. Попозже — когда выше дойдет. Хотя скандала может и не быть. Во-первых, его любят. А во-вторых, скроет все, собака.

— В общем, я готов, Светозар Алексеевич. К любому повороту.

— Ты можешь подумать: почему я тебя не спросил, вывозя эту новость туда. Потому, Федя, что ты, может быть, еще дурачок. И тогда уже не поправишь. А я должен был спасать науку. И приоритет. Там же тоже бьются над этим. Деньги большие вкладывают. Денег они не жалеют, мне все рассказали. Касьян здесь нас придержит, а там между тем сделают работу. И объявят. Там сразу объявляют. И Ивану Ильичу мое сообщение не повредит. Если он еще жив. А уж Касьяну нашему если не конец, то кол в брюхо отменный будет. Там ученый был, Мадсен, из Дании. Тоже над этим работает. Собирается ехать к нам, чтоб своими руками потрогать.

— А что он потрогает зимой?

— Я ему так и сказал. Все равно, говорит, поеду. Не верю, говорит. С господином Стригалевым лично беседовать хочу. Вот где Касьян завертится — в деле-то Ивана Ильича вся инициатива его. Эта новость его — как кипятком... Они же, Касьян с Саулом, не признают правил игры, но сами всегда уверены, что мы с ними будем обращаться строго по этим правилам. Чувствуешь, Федор? Твой ключ применяю. В общем, я тебе все сказал, готовься. Этот исторический заседанс состоится дня через два. Не вздумай там за меня заступаться, себя подставлять. С тебя станет... Стенограмма будет, стенограмма. Вали все на Посошкова, от этого я буду лучше себя чувствовать. Мне ничто не страшно. Я уже нечувствителен к страшным вещам. А у тебя еще хлопоты по наследству Ивана Ильича. Ты — душеприказчик.

«Заседанс», о котором говорил Светозар Алексеевич, действительно состоялся через два дня — в среду, двадцать восьмого ноября. В этот день потекла, закапала оттепель, лыжни почернели, снег на тропинках превратился в кисель. Днем в учхоз позвонила из ректората Раечка и сообщила, что заседание ученого совета состоится в шесть вечера в малом конференц-зале.

Федор Иванович побрился, завязал галстук на чистой сорочке, надел «сэра Пэрси» и, накинув полуперденчик, к назначенному времени отправился к ректорскому корпусу. Оставив полушубок в раздевалке, вошел в длинный сводчатый коридор. Первый, кого он встретил, был Саул Брузжак. Издалека его не было видно, просто в коридоре стояли кружком профессора и преподаватели, и все смотрели в центр и вниз. Потом, когда Федор Иванович вошел в эту толпу, обозначился и сам Саул. Маленький и широкий, он метал сладкие черные взгляды и слегка корчился. Похоже, он увлекся оживленной беседой и потому не увидел Федора Ивановича, хотя тот шел прямо на него. Простодушно и легко улыбнувшись ему, Федор Иванович протянул руку. Саул смотрел на него с нежной смешинкой и не видел. Потом мельком увидел и, продолжая метать взгляды и корчиться, реагируя на интересную беседу, идущую в кружке, обронил, между прочим, такие слова:

— Извини, старик. Но руки я тебе не подам.

И не шевельнулся, не двинулся. Показал кому-то смеющиеся зубы, кому-то кивнул.

Тогда Федор Иванович, поклонившись всем, твердо протянул руку Вонлярлярскому, стоявшему за спиной Саула. Стефан Игнатьевич дернулся и, как старый мерин, на которого замахнулись кулаком, высоко поднял голову. Потом поднял ее выше и пронес свое печеное лицо в напряженном повороте — от Федора Ивановича к кому-то из собеседников. И оба заговорили, заговорили, спасая друг друга.

Вышла Раечка, пригласила всех входить. Федору Ивановичу, пряча глаза, уступали дорогу. Перед ним открылась галерея портретов, окружавшая весь небольшой зал. Академик Рядно уже висел на своем месте, моложавый, слегка наклонивший голову со знаменитой челкой. В передней части зала, на краю узкого помоста, стоял желтый фанерный ящик — трибуна для ораторов. В центре помоста был длинный стол, накрытый темно-коричневым сукном, там, у графина, сидел Варичев, холодно свесивший щеки и углы рта. Рядом с ним уже занял место Брузжак. Упав боком на стол, подперев щеку и бросив другую руку далеко вдоль темного суконного поля, поигрывал кулачком, рассматривая входящих. Все занимали места, в зале стоял шум молчаливо двигающейся толпы. Еще несколько человек в строгом молчании, поворачивая животы вправо и влево, прошли по помосту и уселись за столом. Стали наклоняться друг к другу, шепчась. «Много народу пригласили,— подумал Федор Иванович, садясь в третьем ряду, у боковой двери.— Значит, уверены в исходе. И Варичев, и Саул...»

Вдруг через боковую дверь вошел нарядный, ловкий, как фехтовальщик, академик Посошков. Проходя, нарочно задел кулаком Федора Ивановича. Промелькнули белые манжеты, хорошо отглаженный костюм — темный, с брусничным оттенком. Вспыхнула и погасла большая тропическая бабочка — малиновая, с жемчужными крапинами, присевшая там, где должен быть галстук. Светозар Алексеевич сдержанно поклонился знакомым и сел в первом ряду. Зал сразу затих, в задних рядах несколько человек приподнялись, чтобы разглядеть живого — не сдавшегося и маневрирующего вейсманиста-морганиста.

— Светозар Алексеевич! — пробубнил Варичев, показывая на незанятый стул в президиуме.

Академик поблагодарил сдержанным поклоном, чуть поднял отстраняющую руку и остался на месте.

— Приступим, товарищи!— сказал Варичев, поднимаясь.— Я думаю, сначала мы выслушаем сообщение Светозара Алексеевича о его поездке. Нет других предложений?

Посошков, перегибаясь, неслышно облетел помост и появился на трибуне. Федор Иванович любил его движения, всю его собранность, четкость. Лицо Светозара Алексеевича стало еще худощавее, черные глаза поблескивали на дне мягких теней, там угадывались страдание, твердость и интерес к происходящему. Серая дощечка усов была четко подстрижена, подчеркивала все оттенки настроения академика, давно уже не выходившего на арену, и вот решившего обнажить сталь.

Все почувствовали эту его решимость. Пролетел легкий шумок и мгновенно опал. Саул — тот только это и видел. Заулыбался, чуя начало драки.

Но Посошков не выхватил свою сталь. Он завел длинный и спокойный отчет о поездке советской делегации по чужой стране. Начал рассказывать об опытах с удвоением хромосом у гречихи. Сказал мимоходом: «У нас все раньше Владимир Владимирович Сахаров сделал и с большим эффектом». Потом перешел к полиплоидной свекле, рассказал об урожаях последних лет на свекловичных плантациях, о том, чем шведы объясняют этот прирост — и опять же оказалось, что наряду с применяемой системой земледелия здесь значительную роль играет внедрение предложенных генетиками новинок, широкое использование растений с удвоенным набором хромосом. Корнеплоды получаются крупнее и содержат больше белка и крахмала, богаче сахарами, кислотами и витаминами.

— Светозар Алексеевич! Светозар Алексеевич! — это Саул не выдержал и, как он это делал всегда, металлическим голосом молодого грача с улыбкой прервал Посошкова.— Все знают о ваших симпатиях. Достаточно нам реакционных теорий. Не нужно, не нужно нас агитировать!..

— Какая наглость...— сказал академик, и усы его гадливо двинулись в сторону Бруздака.

Саул нежно улыбнулся в зал. Посошков, взявшись

за край трибуны сухими пальцами, сверкнув большим обручальным кольцом, сморщил лоб, вспоминая, на чем он остановился, и продолжал свой отчет. Да, он был опытным бойцом, он хотел, чтобы противник напал первым. Завел пространный рассказ о том, что шведские и датские ученые не ограничиваются колхицином, что найдено много новых средств воздействия на клетку. Так, например, синтезированы новые вещества-мутагены — *этиленимин и нитрозогуанидин*. Есть и еще...

Его остановила нарастающая волна искреннего смеха. Он посмотрел в зал сначала удивленно, потом с интересом. Федор Иванович уже понял, в чем дело: смеялись над странными словами.

— Светозар Алексеевич! —послышался женский басок.— Ой! Повтори, пожалуйста, второе слово. Женское ухо не принимает... Как это... «Нетрогайгавнидин»? Повтори, пожалуйста...

— А-а-анна Богумиловна! — Посошков протянул к ней руки.— У вас же марксистское ухо! Марксистка, а смеетесь над материей! Над мыслью, познающей вещество!

Тут Саул, взявший карандаш у Варичева, несколько раз звонко ударил по графину.

— Светозар Алексеевич! Оставьте эту схоластику себе! Эта материя, над которой совершено такое насилие, сама себя не узнает!

— Меня пригласили, как я понимаю...— рыкнул неожиданным баском Посошков,— чтобы послушать, что я там увидел, и подвергнуть критике мое выступление на конгрессе. Бестактные, малообразованные элементы, распущенные всяческими потачками... Совершенно не знакомые с нормами поведения в среде ученых...— при этом он холодно смотрел на Саула.— И излишне самоуверенные... меня здесь все время перебивают. Председатель их не останавливает. Отлично! Стало быть, отчет мой не нужен. Задача облегчается, я ухожу с трибуны.

И он все так же ловко облетел трибуну и сел на свое место в первом ряду.

— Светозар Алексеевич! — Варичев застенчиво зашевелился на своем месте.— Мы, просим у вас прощения. Пожалуйста, продолжайте, перебивать вас больше не будут.

— Нет, я больше ничего не скажу. В Швеции не работают по методу академика Рядно. О достижениях сторонников Рядно никто на конгрессе не докладывал. Кроме меня... Я доложил все, что мне написали. А у шведов — сплошные вейсманисты-морганисты, насилующие материю. Так что переходите к вопросам. Только по делу задавайте. Я отвечу отсюда.

— Хорошо, будем по делу. Нам сообщили, что во время доклада вы допустили отход... Отошли от согласованного текста...

— Кто сообщил? В чем заключался отход? — трескучим голосом спросил академик, как бы головой отбивая мяч.

— Мне позвонил... Я думаю в этом нет тайны... Официально уведомил нас академик Рядно. Сообщил, что вы отклонились от утвержденного текста...

Лицо Варичева еще больше отяжелело. Он медленно произносил страшные слова и, словно не узнавая, с легким любопытством смотрел на того, кто сидел перед ним в первом ряду, как бы распятый на спинке стула, раскинувшись, как для прыжка вперед. В зале стояла тишина.

— Вы отклонились от текста. Я это повторяю. С чувством сожаления... Вы объявили, что в СССР якобы произведено успешное скрещивание дикого вида картофеля «Контумакс» с культурным «Соланум туберозум»...

— Кассиан Дамианович прав. Я сделал такое объявление. Только не якобы, а просто произведено. Дальше...

— Откуда у вас эти сведения?

— Вся работа шла у меня на глазах. Я же проректор по науке...

Смех зала на миг тронул тишину.

— Напрасно смеетесь, товарищи. Настоящий проректор обязан заниматься настоящей наукой.

— Мы принимаем к сведению ваше вызывающее заявление... Еще вопрос. Статья для «Проблем ботаники»... Вы пользовались ею?

— В числе других материалов.

— Кто автор статьи?

— Напечатано, что Дежкин.

Зал тревожно зашумел. Варичев ударил карандашом по графину.

— Кто дал вам оттиск?

— В Москве получил. От кого — поклялся молчать.

— Если вы поклялись молчать... значит, вы, я полагаю, знали, что советская общественность не одобрит то, что вы поклялись от нее скрыть...

— Разумеется. Сегодня не одобрит. А завтра...

— Завтра вы с Менделем будете на свалке истории! — крикнул кто-то в глубине зала. Варичев выждал паузу, перевернул какие-то листки.

— Вы дали оценку описанной в статье так называемой работе, назвали ее выдающейся...

— Не я. Хотя она действительно выдающаяся. На международном конгрессе я не мог из этических соображений назвать работу, сделанную в моей стране, выдающейся. Не полагается... А присутствующие на конгрессе ученые из разных стран назвали ее блестящей. Некоторые оценили ее как величайший успех науки, открывающий новые пути в селекции картофеля.

— Кто, например?

— Вот, я захватил... Вот что говорит в своем интервью датский ученый доктор Мадсен.— Посошков встал и развернул газетную вырезку.— Вот он тут: «Мы думали с коллегами, что будет перечисление уже известных чудес... И знаменитое изложение полурелигиозных представлений о „живом веществе" и порождении новых видов из старых. Но академик Посошков произвел на этот раз подлинную сенсацию. Многие из нас не верят. Но я знал уже, правда, понаслышке, о некоторых работах доктора Стригалева, в частности, о его красивом и тонком эксперименте, дающем возможность в ряде случаев определить или исключить родителей гибридного растения. Этот эксперимент уже входит в некоторые наши учебники для биологических факультетов. Сообщение академика Посошкова вызвало сильнейший интерес. Ведь в случае, если это скрещивание удалось, советская генетика и селекция картофеля, как и вся биологическая наука в этой стране, выходит на новый, современный и очень высокий уровень. Так не бывает, чтобы один ученый столь далеко вырвался вперед, оставив коллег где-то позади, в тумане заблуждений. У него, конечно, есть школа, и она, несомненно, скоро заявит о себе. Правда, в том, что она до сих пор не дала о себе знать, есть основание к общему недоверию. Сомнения резонны — после стольких безуспешных

попыток Запада покорить упрямое растение... не напрасно названное „Коитумакс“, что значит „упрямый“, русские, с их примитивным уровнем исследований, берут его неожиданным приступом. В этом есть что-то от их характера. Но характер — не доказательство. Поверить в такие вещи можно, только потрогав объект руками...»

Светозар Алексеевич кончил читать и сел. Долго стояло непонятное, подогретое любопытством молчание. Потом Саул затряс около виска пальцем:

— Товарищи! Давайте вспомним, кто мы и чью газету читал нам академик Посошков! — голосом подростка прорезал он тишину.— Испытанное правило! Оно никогда нас не подводило: то, что враги хвалят, мы должны уничтожать!

— Вы не уничтожаете, а крадете это. И выдаете потом за свое.

— Светозар Алексеевич! — Варичев даже привстал.— О чем вы? Такие обвинения надо подтверждать...

— О чем? Про «Майский цветок» я. Его у меня на глазах растил Иван Ильич. И начинал с проклятого колхицина. Без колхицина не было бы никакого «Майского цветка»! И на глазах у меня было несколько попыток украсть с делянки ягоду. И, наконец, автором сорта стал академик Рядно.

— Наглая ложь! Он вырастил этот сорт на основе мичуринского учения! — крикнул кто-то в задних рядах.

— Во-первых, Мичурин имеет к нему лишь косвенное... А во-вторых, это не учение,— ответил Посошков, привстав и оглянувшись в зал.— Это настроение. С его помощью сорт не вырастишь. Если не начнешь с того приема... О котором это учение умалчивает... Приема, известного всем нам... Многократно применив который, Адам и Ева произвели род человеческий. Классический вейсманистско-морганистский прием с участием тончайших клеточных структур. С участием того самого единственного объекта, который изучают эти схоласты, как вы их называете...

— Ближе к делу, Светозар Алексеевич,— Бруззжак совсем лег на бок, сладко любуясь Посошковым.— Художественные образы у вас получаются, мы давно это знаем. Вы же златоуст. Объясните, почему вы, как князь Курбский, кинулись искать правды в стан врагов? Но похоже ли это на измену Родине?

— Изменить Родине — это значит, дать что-нибудь

врагу. Чтобы он мог воспользоваться против нее. А я ничего врагу не дал... Я Родине спас то, что вы совсем было похоронили...

— Ничего врагу не дал! — громко зашипел Саул, прицеливаясь.— Кроме грязи! Кроме гря-а-ази! Чтоб швыряли в нас!

— Ага! Так-так... Вы считаете это грязью. Ценное признание. Так вот, вся эта грязь пока осталась здесь. Туда попала слава. Там кричат о нашем приоритете, об успехе, вы это слышали. Да, теперь кое-кому придется почесаться, грязи налипло достаточно. Потому что про Ивана Ильича услышат теперь все...

— По-моему, и вы... вы были председателем на том собрании, где мы Стригалева...— Варичев кисловато улыбнулся одной щекой и одним глазом.

— Вот я и внес свою часть в дело очищения...— тут же ответил Посошков.— Но я о другом. Узнают не столько там, сколько здесь. Те, кого вы старательно обошли информацией. В итоге могут быть приняты меры, полезные и для престижа, о котором вы печетесь, по-моему, неискренне... И для освежения воздуха в науке.

— Вы считаете, что скандал поднимет наш престиж? — негромко спросил Варичев.

— До скандала еще очень далеко. И потом стоит ли его бояться тем, кто не замаран? Скандал — это факел, говорящий всем, что общество не терпит злоупотреблений ни с чьей стороны. Скандал порочит людей, но не общество. А вот уклонение, сокрытие скандала оберегает людей, но порочит общество. Пожалуйста. Выбирайте!

— Где вы берете ваш колхицин? — спросил Саул.

— Колхицин? Вот он! Могу показать, кто не видел.— У Светозара Алексеевича в руке уже ярко белел флакон с порошком. Академик высоко поднял его.— Подарил эту вещь для передачи Ивану Ильичу доктор Мадсен, чью статью я сейчас... Один из крупнейших...

— Махровый реакционер, генерал от вейсманизма-морганизма,— вставил Саул.

— Один из крупнейших исследователей растительной клетки, автор нескольких известных сортов картофеля. Он передал это для Ивана Ильича. Это чистый белый колхицин, редчайшей чистоты, нигде не найдешь такого, даже за золото...

— Он вам колхицин, а вы и хвать... Поймите, он же вас за руку взял и в стан расистов!

— Ох...— вздохнул Светозар Алексеевич и повел усами в сторону Саула.— Прямо хоть караул кричи. Я вам толкую простые вещи. Как этого не понять? — заговорил он тихо, но почему-то эти тихие слова стали особенно слышны.— Что украшает народ? Деятельность. Ее плоды. Вот передо мной... перед нами неоспоримый плод... Который должен украсить... Товарищ Бруззжак требует, чтобы я этот плод вытравил, живьем закопал. Потому что плод получен вопреки построениям «корифея». Кое-кто за этим плодом, к тому же, охотится. Что же делать? Как спасти и плод, и наш приоритет? Писать товарищу Сталину? Уже писано, не помогло, чуть не испортило дело...

— Хулиганство!— отрывисто, но без огня выкрикнул кто-то в зале.

— Погубить? — Светозар Алексеевич словно не слышал выкрика.— Это можно. Это даже патриотично: не будет опорочен «корифей», сохранится «авторитет академика Рядно». Но я решил не губить плод. И спасти если не автора, то хоть его имя.

В зале начал расти шум.

— Еще полслова,— сказал Посошков, складывая перед собой обе руки в острую лодочку, обращаясь к залу.

Федор Иванович закусил губу от тихой боли.

— Ну почему бы вам не восхититься моей непримиримостью! — небывалым трубным стоном воззвал Светозар Алексеевич.— Почему вас не радует честность, прямота, верность принципам? Почему бы вам не порадоваться, что такие есть среди вас? А полтора года назад, когда я каялся перед вами и вы знали, что я лгу и совершаю низость, низость! — почему вы аплодировали? Почему вы все так настаиваете: соверши опять подлость, сдайся, пади и будешь наш!..

— Больше не поверим! — крикнули вдали.

— Светозар Алексеевич, я вынужден вас прервать,— тоже отрывисто и без огня возгласил Варичев.— Это уже спекуляция.

— Да я и сам больше ничего не скажу,— тихо и твердо проговорил Посошков.— Я — пас. Ведите совет без меня.

И он сложил руки на груди.

— Как, товарищи? Откроем прения? — дав улечься

шуму, спросил Варичев. Саул сказал ему что-то. Варичев показал голубоватые глаза и кивнул.— Саул Борисович предлагает заслушать и Дежкина. Федор Иванович! К вам вот есть... несколько вопросов. Вот это сочинение... Статья о новой работе Стригалева... Ею воспользовался Посошков для доклада на конгрессе. Это и есть та работа, которую вы готовили по плану, утвержденному академиком Рядно?

— Да. Эта самая. Одна из работ.

— Ах, у вас еще есть?

— Конечно! Задуман ряд работ.

— В каком же они свете будут рисовать...

— Проблема еще не решена,— сказал Федор Иванович.

— А общее, общее направление?

— Разумеется, оно соответствует утвержденному плану.

Варичев с угрюмым интересом взглянул на него.

— Это действительно так? Федор Иванович, мы с вами ведем здесь серьезный разговор.

— Действительно так.

— А как же эта, которая...

— Я не мог отрицать бесспорное достижение. Если бы я попытался игнорировать его или уничтожить... на чем настаивают здесь некоторые... Меня бы в тридцатых годах назвали за это вредителем, врагом народа. Не могу так рисковать. Пусть врагом называют тех, кто настаивает...

— Слушай, старик...— начал было Саул.

— Вы мне не подали руку при встрече. И подчеркнули это словесно. Значит, я вам уже не старик. Имейте в виду, к таким вещам я отношусь серьезно.

— Федор Иваныч! — раздался сзади него зычный бас Анны Богумиловны.— Ты хороший же парень, что ты нашел интересного у этого монаха, у Менделя?

— Он, Анна Богумиловна, хоть и монах, а не побоялся объективную истину под носом у самого бога подсмотреть. И заявил об этом. А вот наши монахи...

— Значит, вы считаете, что законы Менделя — объективная истина? — спросил Варичев.

«Черт, быстро же я дал себя накрыть»,— подумал Федор Иванович.

— Опыты Менделя я повторял, и результат был тот же,— сказал он.

— Где вы их повторяли? — спокойно спросил Варичев.

«Опять подставил бок»,— подумал Федор Иванович.

— В Москве, в институтской оранжерее. Их результаты отражают закономерность, существующую вне нашего сознания. Отрицать это будет невежеством или притворством.

— Скажите, Федор Иванович... Правильно я вас называю? — холодно обратился Саул.— Вот это сочинение... Вот это, о грибе якобы... Напечатанное в «Проблемах»... Это чья работа?

— Моя! — послышался запальчивый тенорок Светозара Алексеевича.— Я провел исследование, я установил, что это не серая ольха, а та же береза, пораженная болезнью, и я написал работу. Могу и черновичок показать...

Целую минуту после этих слов длилась тишина. Потом по залу пошел легкий шум — люди приходили в себя, они не привыкли к такой дерзости.

— Докатился...— послышался голос из зала.

— Зачем псевдоним взяли? — крикнул кто-то сзади.

— Разумеется, чтобы скрыть имя подлинного автора,— как бы отмахиваясь от мухи, бросил через плечо академик.

— Впервые вижу такое рыцарство! — покачал головой Брузжак.— Наперебой спешат захватить пальму реакционности!

Он взглянул на Варичева, как бы сладко потягиваясь, встал и пошел к трибуне — говорить речь. И исчез в этом ящике, только чуть был виден черный, протертый посредине войлок его волос.

— Надо, надо, товарищи, наконец... Наконец и навсегда! Покончить с остатками непомерно затянувшейся дискуссии, разоблачить и разгромить до конца антинаучные концепции менделистов-морганистов-вейсманистов,— он на высоких нотах капризно пропыл эти слова, и пение его не обещало ничего хорошего.— В наших вузах преподается история партии, преподается курс ленинизма. И рядом в щелях прячется живучая моргановская генетика. А теперь схоласты, осмелев, даже нападают в открытую... Не пора ли, товарищи? Не пора ли нам почистить эти щели партийной щеточкой? С кипяточком!

«Попробуй, разберись, что он в это время думает»,—

Федор Иванович, слушая Брузжака, с исследовательским интересом вникал в его интонации. Зная Саула, он видел, что сейчас карликовый самец принял свое очередное обличье и занимается любимым делом. «Что же он думает в это время? — не отставал вопрос.— Не может быть, чтоб он так думал. Он создает образ, читает роль. Речь идет отдельно, а собственные мысли — отдельно».

Интересное явление, которое Федор Иванович, подперев щеку, наблюдал, отвлекало его, снимало страх.

— Не схола-асты, не схоласты нападают,— громко сказал он, не шевельнувшись.— Материя, материя вышла и бьет вас! Фактами бьет!

— Открытые заявления двух вейсманистов,— вытягивалась тем временем из фанерного ящика, словно цепь с одинаковыми звеньями, гладкая речь.— Открытые заявления пойманных с поличным вейсманистов, которые, не стесняясь, смотрят в глаза общественности, призвавшей их, наконец, к ответу, говорят о том, что они не хотят считаться с нами... Предпочитают сохранить себя как часть воинствующего агрессивного отряда господствующих за границей реакционных биологических направлений... Действуя как пропагандисты фашистской идеологии...

— Товарищ!.. Товарищ оратор! — крикнул кто-то из последних рядов.— Товарищ, не знаю вас... Минуту!

Саул замолчал.

— Что вам? — спросил резко и недовольно и слегка поднялся на носках, чтобы увидеть говорившего.

— Вы увлеклись... Вы сказали, фашистская идеология...— звучал негромкий голос из глубины зала.— Вы так и сказали: фашистская. Надо словам знать цену. Мне известно, что товарищ Дежкин сражался на фронте с фашистами. Он имеет раны...

— Он эмпирически сражался,— Саул усмехнулся, и зал умолк, застыв от изумления.— Сражаться — это еще не все, товарищи. Надо еще понимать, за что и против чего сражаешься...

Федор Иванович, слегка порозовев, начал подниматься. Но в это время раздался трескучий голос Посошкова:

— Саул Борисыч! Саул Борисыч! Не городите вздор. У Федора Ивановича на теле ран больше, чем у вас естественных отверстий. И поверьте мне, тяжелые ра-

ны вернее говорят ему, что такое фашизм... Чем ваши естественные, так сказать... органы чувств.

Зал хоть и слабо, но весело зашумел. Даже Варичев ухмыльнулся и, выждав немного, лениво ударил карандашом по графину.

— Товарищи! Давайте вернемся к тому, для чего мы здесь собрались.

— Вот именно! — Саул мгновенно воспользовался подоспевшей помощью.— Вот именно! А не превращать дело в цирк. Мы даем здесь бой, повторяю, бой фашистской идеологии. Американцы подбрасывают нам генетику... эту дохлую собаку... вовсе не для того, чтобы мы от этого процветали. Самим-то им она не нужна. Может ли хозяйство США в условиях постоянного перепроизводства быть заинтересовано в генетике?..

— Значит, они нам ее, чтобы и у нас началось перепроизводство? — крикнул кто-то весело.

— Еще один адвокат гнилого империализма! — Саул, став на носки, строго посмотрел в зал.— Не для того, чтоб перепроизводство, нет,— я отвечаю этому новоявленному адвокату. Для того, чтоб реставрировать... вернуть нас к доoктябрьским временам! Объективный ход всего процесса показывает, что все обстоит именно так. Думаете, почему наши молодые да ранние... вейсманистско-морганистское «кубло», как их метко прозвал Кассиан Дамианович... Думаете, почему они с первых своих шагов укрылись в глубоком подполье?

— Не они укрылись в подполье, не они! Подполье построили вокруг них! — прозвучал в зале голос Федора Ивановича.

— Интере-есно! Нет, нет, дайте ему, пусть говорит,— Саул махнул рукой на Варичева, ударившего было по графину.— Говорите, Дежкин... Федор Иванович... Как это построили вокруг них подполье? Что-то новое из тактики...

— Они сами ничего нового не придумали и не конструировали. И тактики никакой у них не было. Пока не начали их шерстить. Как изучали, так и продолжали изучать. Ту же науку. По тем же учебникам, на которых сначала ведь никаких таких штампов «не выдавать» не было. А потом вокруг ломка пошла, книги стали запрещать. И образовался вокруг них иной мир. Непонятный. С иными отношениями. А они новой биологии не понимали, а старая была понятна. Факты,

факты все. А тут вера требуется. А они что — они всегда собирались. Готовились к семинарам — и это называлось тогда похвальным дополнением к учебному процессу. Кто на танцы, а эти — за книгу. Цвет студенчества! И вдруг назвали подпольем! «Кублом»! За что? За то, что ребята не хотели верить в порождение лещины грабом. За то, что хотели знать! Докажи, так они и поверят! А им вместо доказательства — ярлык. «Кубло»! Кто прилепил? Вы правы, прилепил академик Рядно...

— Слишком вольно бросаетесь именами...— заметил Варичев.

— Если уж дали слово, дайте досказать. Я говорю: взяли и назвали подпольем. И на ребят, на малых, обрушили всю мощь государственной машины. Никакого сострадания, я не говорю уже о здравом смысле...

— Какого вы еще хотите сострадания! — ворвался Саул, зачастил.— К кому! О чем вы говорите?

— Об элементарном свойстве нормального человека.

— Не распускайте здесь идеалистических соплей! Жалость ему подай! Сострадание! — Саула переполняла ирония.— Слышали мы таких материалистов! Такими разговорами пытаются связать руки победившего пролетариата! Чтоб в конечном итоге затащить в лагерь правых реставраторов капитализма! Бить надо таких слюнтяев! Крепким рабочим кулаком!

Здесь академик Посошков громко затопал ногами об пол. Бруззжак остановился.

— Хоть этот крик посвящен мне, я, в конце концов, уйду. Когда на собрании ученых-биологов начинают кричать о рабочем кулаке и поднимается такой пулеметный треск, председатель должен не пугаться и стучать в свой графин. Я устал от таких фраз. Они уже давно отработали свое. Хватит! Я не коза, которая питается афишами. Давайте заниматься делом. Если хотите судить нас — судите. Но без криков. Без экстаза. Надоела собачина! Вон и досказать не дали человеку, заставили участвовать в дуэте...

— Я повторяю,— заговорил Федор Иванович. — Это «кубло» ребятам прилепили ни за что. Через пять лет, глядишь, и отменят вдруг название, и опять станет похвальной такая инициатива студентов — глубже изучать предмет. И сейчас было бы похвально, если бы ребята так изучали труды академика Рядно. Но эти

труды глубоко изучать нельзя. Там же нет глубины...
И зал вдруг взорвался — зашикал и закричал.

«Позор! Позор!» — слышались странно отрывистые голоса, издаваемые вполсилы. Федор Иванович удивленно озирался. Ему ведь казалось сначала, что зал был на его стороне. Ветераны войны, бывшие солдаты — ведь они были здесь, они и поддержали его, когда Саул принялся было кричать о фашизме. Вот как странно бывает. Как можно обмануться... Нельзя было касаться народного академика, он не зря начинал свой путь с косоворотки и сапог. Его имя было свято.

Графин чуть слышно звенел. Варичев строго, тяжело смотрел по сторонам, изредка негромко ударял по графину.

— Вы что-нибудь еще добавите, Саул Борисович? спросил он, когда шум начал опадать.

— Я думаю, что мне самое время кончить,— радостно всплеснул и развел руками Брузжак, поднимаясь на носки.— На Востоке считалось, что твое слово совпало с истиной, если сразу после него ангел сказал «аминь». Я думаю, товарищи, что не будет особенной натяжки, если я приложу этот образ к настоящему моменту! Аудитория единодушно и недвусмысленно выразила здесь свою поддержку идеям нашего знаменосца — академика Рядно и свое осуждение всем попыткам эти идеи опорочить. Спасибо, товарищи, за эту поддержку!

Опять затрещали аплодисменты — как хворост в большом костре. Потом Варичев поднялся и, свесив углы рта, чуть приоткрыв голубые равнодушные глаза, объявил, что на этом открытая часть заседания кончается, и попросил членов совета остаться для обсуждения закрытой повестки дня.

— И вы можете остаться, Светозар Алексеевич,— сказал Варичев.— Мы вас не выводили из состава...

— Я сам себя вывел. Из состава,— коротко ответил Посошков и исчез за дверью.

Он ждал Федора Ивановича в вестибюле.

— Молодец, хорошо отбивался. Вечером будешь дома? Я позвоню. Часов в десять. Постарайся быть.

Легкий мороз сковал лужи. Снежная каша затвердела. Со всех сторон из темноты слышался хруст тон-

кого льда. Люди шли с заседания, негромко говорили. Придя к себе, Федор Иванович переоделся в свою лыжную форму. Ему захотелось пробежаться по парку. Вышел на крыльцо, развел руки в стороны, покачал ими, как крыльями, и сорвался, побежал по хрупкой тропинке. В парке в полной темноте сиренево светился снег, и на нем чернели протаявшие и скованные морозом тропы. Мерно работая руками, Федор Иванович бежал и постепенно разогревался. И по мере разогрева его начали окружать живые образы, как бы слетаясь к нему из темноты. Да, в его судьбе получилось все, как у Гоголя в «Вие». Сначала Федора Ивановича не видел никто, а потом увидели вдруг все бесы. Какая радость! Как быстро все произошло. И все одно к одному. И удача с «Контумаксом», и его статья для «Проблем», и крах редколлегии, и поездка Светозара Алексеевича. И появление нового «кубла». Все сразу. А новое «кубло», похоже, было серьезным. Учло опыт предыдущего. Посмотреть бы на них. Подозрительно Касьян молчит. Не подает голоса. Но Светозар Алексеевич! Так повернуть свою жизнь... Теперь все полетит вперед. Весь маршрут для него теперь ясен. Впрочем, и для Федора Ивановича. Не дать бы маху. Продумать надо все дальнейшее. Только что продумывать — все само несется в одном направлении. Вариантов мало...

Контуры гнезда были уже видны, и птица продолжала проворно таскать травинки. И вариант — единственный — летел навстречу, становясь все яснее.

Федор Иванович повернул назад. Надо было не опоздать к десяти. Он легко пробежал по институтскому городку. Все его проезды и дорожки уже опустели, стены отзывались на шаги Федора Ивановича. Потопав на крыльце, он вошел к себе. Чай греть не стал. «Будем из самовара. Наверно, последнее будет чаепитие». Начал медленно переодеваться, поглядывая на часы. Собственно, свитер можно оставить. Только брюки с ботинками. И полуперденчик надеть...

Телефон зазвонил. Это был Светозар Алексеевич.

— Сколько тебе времени надо, чтоб ко мне... Ну, где полчаса, там и час. Приходи в одиннадцать. Можешь даже опоздать на полчаса. Еще лучше. У меня появились неотложные дела. Если не застанешь — я буду у соседа. Не уходи. Вот как сделаем: позвони. Если не открою — входи. Дверь будет не заперта. Тол-

кай и входи. И жди, ты свой. Жди в кабинете, ты же там был. Там, на столе, почитаешь кое-что. Оставлю тексты. Пока я прибегу. Ну, давай... Целую тебя, молодец. Хороший парень. Такого сына бы мне. Давай...

Повесив трубку, Федор Иванович постоял, размышляя. Потом надел свой пахучий полушубок, наслаждаясь его сладкой бараньей вонью. Надел шапку и вышел. Взглянул на часы — времени впереди было много, спешить не стоило. Если Посошков побежал к соседу — значит, с соседом у него дела. Пусть, не торопясь, проворачивает их, сидеть одному в кабинете и ждать нет смысла.

Федор Иванович не спеша зашагал через парк, решив сделать хороший крюк минут на сорок, а то и на час. Он дошел до Первой Продольной аллеи и зашагал по ней, все время чувствуя рядом обрыв, падающий к нижнему парку и к реке. Тот обрыв, куда летом во время бега красиво срывался академик и четырехметровыми скачками проваливался на самое дно. Федор Иванович еще не освоил этот обрыв. Но освоить когда-нибудь надо. «Если когда-нибудь окажусь здесь»,— подумал он. Пока можно думать только о лыжах. Вернее, о том, что будет завтра... Все наследство пристроено хорошо, но его же надо определить на тот случай... Ведь теперь можно ждать всякого. Надо подумать о втором двойнике, о следующем... Иван Ильич говорил: «Садиться не имею права». А вот сидит.

И он пошел быстрее — сама мысль погнала.

Когда началась та улица, где с одной стороны безлюдно темнел учхоз, а с другой — среди высоких неспокойных сосен горели одинокие огоньки профессорских домов, он увидел в луче далекого фонаря: на часах было одиннадцать с несколькими минутами. Замедлив шаг, чтобы явиться попозднее, он побрел по темной улице, пересекая пятна света от редких фонарей. Дом академика был почти не виден среди черноты леса и кустов. Только два окна слабо светились сквозь шторы. Одно — внизу, одно — вверху.

Никто не вышел на долгий звонок Федора Ивановича. Как было велено, толкнул дверь, и она открылась. В прихожей и первой комнате горел свет. Федор Иванович прошел прямо к лестнице и по пути заметил, что картины Петрова-Водкина нет на месте. Деревянная лестница заскрипела под его шагами, он вошел в ка-

бинет. Здесь был спокойный глубокий полумрак, только стол, накрытый в одном месте мягким и широким конусом света, падавшим из-под незнакомого черного абажура, как бы ожидал Федора Ивановича. Лампы с тремя голыми фарфоровыми красавицами не было. Вместо нее и торчала железная конструкция с зигзагообразными рычагами, и как раз на этих рычагах держался черный абажур.

«Это тебе»,— вдруг увидел Федор Иванович записку на столе. На записке стоял запечатанный флакон с белым порошком — тот самый колхицин, что был вручен академику датчанином для передачи Стригалеву. «Правильно,— подумал он.— Я и есть Стригалев». Положив не без удовлетворения этот неожиданный подарок в карман полушубка и как бы случайно поймав в себе туманный вопрос: «Почему это я не разделся?» — Федор Иванович тут же увидел на столе еще несколько предметов. «Это тебе»,— было написано на другой записке, и на ней лежал продолговатый сверток, перевязанный крест-накрест крепкой ниткой. И на свертке было повторено: «Тебе». Надорвав бумагу на углу, Федор Иванович увидел бледные денежные купюры. Там, похоже, была огромная сумма. Чувствуя неясное беспокойство, с трудом засовывая в карман этот сверток и при этом подумав некстати: «Деньги — это вовремя», он уже читал надпись на заклеенном конверте: «Феде». Болезненным желваком подкатила тревога. Он схватил было толстый конверт, чтобы надорвать, но тут же увидел сложенный вдвое лист, и на нем размашистое: «Прочитать немедленно». Не прикоснувшись к бумаге, мгновенно, с ужасом обернулся. Вокруг был глубокий полумрак, из него выступали лишь спинки двух кресел. Он бросился к двери, там был выключатель. Широкая клавиша щелкнула под его пальцем. Ослепительно, как электросварка, вспыхнула фарфоровая люстра, и, невольно закрыв рукой глаза, Федор Иванович успел увидеть на диване вытянувшееся тело. Малиновый суконный пиджак. Золотистые шнуры. Маленькие ботинки, примерно тридцать восьмого размера...

Светозар Алексеевич спокойно лежал на боку, лицом к спинке дивана, удобно подложив обе руки под щеку. Он отдыхал от «собачины». Безмятежно, крепко заснул и так, может быть, видя тающий, манящий сон, может быть, даже видя белые косички, шепча что-то,

постепенно отошел от этого мира, как знаменитый океанский пароход, под звуки оркестров, чуть заметно отходит от родного материка.

Вытащив его сопротивляющуюся руку, Федор Иванович долго нащупывал пульс. Академик был мертв. Рука была уже прохладна. Все произошло совсем недавно, может быть, полчаса назад.

На полу лежал белый пластиковый патрон. Мелькнули латинские слова. Возле патрона — выкатившиеся из него белые таблетки. На овальном столе, около холодного самовара, стояла бутылка коньяка «Финь-Шампань», отпитая на треть. Рядом сверкал знакомый стеклянный пузырь с желтым коньяком на дне. Федор Иванович глядел на все эти предметы, переводя взгляд с одного на другой, и они рассказывали ему, как все это происходило.

Потом спохватился. Внимание его непонятным образом переключилось — и он уже оказался у письменного стола и читал развернутый белый лист. «Федя! Сделай, что здесь прошу, сделай в последовательности, которая указана. И даже не думай ничего изменять. Добродетель здесь только помешает. Дензнаки — тебе на дело. Как и колхицин. Под столом упакованы: лампа и Петров-В. Лампу возьмешь себе. Она тебе ближе, чем кому-либо. Этой лампой я тебя усыновляю. Петрова отдашь Андрюшке, когда ему будет пятнадцать лет. Вместе с письмом, которое там, под упаковкой. Не вскрывай там ничего, в упаковке передашь. Меня оставь на месте. Все вынесешь, пока ночь, дверь прикрой, не защелкивай. Заклеенный конверт без адреса оставь на столе. Остальные отнесешь к себе домой, дома разберись. Где написано «почтой» — опустишь в почтовые ящики. В разные. Где написано «в руки» — все эти письма передашь знакомой тебе женщине, у которой летом был воспитанник, любивший подслушивать беседу философов и не скрывавший при этом улыбки превосходства. Она разнесет, кому надо, и вручит. Передашь завтра. Письмо «Моим непонятным противникам» прочитай, оно не запечатано, потом заклеишь. Там три экземпляра, один отошли почтой самому Сатане. Я думаю, ты понял, кому. Имеется в виду К. Д. Р. Прости, пожалуйста. Другой — в ректорат. Четвертый (здесь он ошибся — был очень возбужден) — в президиум академии. Как написано на конвертах. Все три письма —

заказные — отошлешь утром. После двух ночи в дом ко мне не показывайся. Насчет меня не беспокойся, все меры будут приняты. Мое письмо к тебе прочитай на досуге, когда будешь располагать достаточным временем. Урывками не читай. Читай с должным уважением, писал твой ни черта не насытившийся жизнью, перепутавший все нитки в клубке учитель. Кольцо оставь на пальце. Выноси упакованное через черный ход (с кухни), он открыт. Прямо по дорожке иди к калитке — и в лес, потом, напрямик,— к противоположной опушке и вдоль нее налево — к парку. Это письмо сожги в кухне. Там спички. Ну, Феденька мой, прощай...»

Видимо, тут он и начал глотать свои таблетки и пошел к дивану...

Рассовав все конверты — их было десятка полтора— по карманам, Федор Иванович вытащил из-под стола два хорошо завернутых в твердую бумагу и перевязанных шпагатом предмета. Сразу угадал по форме и весу, что это картина в рамке и тяжелая лампа с абажуром. Поднеся руку к выключателю, долго смотрел на неподвижное тело. Потом решительно нажал клавишу, выключатель громко щелкнул, и тьма отсекла навсегда дорогую часть прошлого, оставившую еще один болезненный след в жизни Федора Ивановича.

Как и было предписано, он спустился с вещами в кухню. Здесь, на столе, лежал спичечный коробок. Федор Иванович сжег лист с предписаниями и дунул на черные хлопья. Потом, толкнув ногой незапертую дверь, вышел на мороз. Чуть слышно похрустывая ледком, дошел до распахнутой калитки, и ожидавшая его тьма приняла одинокого человека и прикрыла черным, пахнущим хвоей рукавом.

Придя к себе, он прежде всего сел читать письмо Посошкова, адресованное в несколько мест.

«Вам, товарищи академики, маститые коллеги, будет небезынтересно это мое писание,— летели красивые, четкие строки.— Особенно же тем из вас, авторам капитальных трудов, ныне белоголовым докторам и академикам, которые проголосовали за прием бездарного знахаря в наши ряды. Лично я голосовал против — открою вам секрет своего бюллетеня. Может быть, поэтому у меня голова не так бела — душа не болела, не кряхтел по ночам. Знайте, Отечество никогда не забудет, что это вы, несколько моих коллег, навязали ему это страши-

лище и что на вас лежит ответственность за судьбу многих открытий в науке и за жизнь их авторов. Молодцы! Вы же видели, что поддержанная вами галиматья нуждается в постоянной защите со стороны властей, в ссылках на одобрение Сталина! Неужели вы не видели, что у нее нет собственных подпорок! Я знаю, что вы мне скажете: „Ишь, распетушился в гробу. Мертвый живого не разумеет“. Но ведь я был живой и зачеркнул это слово, которое было и вам ненавистно. Вымарал его из бюллетеня! Что вам грозило? Я всегда ломал голову: ну что еще нужно старику, получившему все награды и почести? Взял бы да и отколол коленце перед смертью, чтоб потомки, поражаясь, с уважением вспоминали имя. Я вижу кислые физиономии и повисшие щеки некоторых из вас, тех, кто, как я, был смолоду на верном пути, а потом — как я же! — из „земных“, то есть подлых шкурных соображений, стали сотрудниками „народного академика“. Что с вами случилось? Да, да, знаю: то же, что и со мной. Я сам это познал: есть еще одна почесть, которую многие белоголовые боятся потерять. Надо, оказывается, суметь безупречно пробежать этот, иногда длинный, оставшийся отрезок от последнего ордена до последнего вздоха. Чтоб на полминуты остановили движение на Садовом кольце, пропуская кортеж, и чтоб похоронили на Новодевичьем кладбище вместе с другими такими же непорочными. В старости все видишь. Все как на ладони. Но и подлость в старости уже не замажешь как „ошибку молодости“. Если подлость творил думающий старец, в могилу будет зарыт эталон подлости. Но я-то все же свернул под конец на человеческую дорогу, могу перед вами похвастаться. Выпрямил, наконец, проволоку, которая собиралась уже сломаться от частых перегибов то в одну сторону, то в другую. Я сделал дело. За него мне еще скажут спасибо. Думаю, что с этого дела начнет рушиться и плотина, которой этот желтозубый бобер завалил естественно текущую реку науки для того только, чтоб создать себе удобное жилье. Как я их вижу насквозь, таких промышленников! Я мог, конечно, ожидать неприятностей — ведь я отклонился от текста, я превознес произведение проклятого вейсманиста-морганиста! Раньше так, как меня, секли только за троцкизм! Но я сегодня экстерриториален. Я более неприкосновенен, чем американский посол. Так что когда вы разгонитесь меня топтать на сво-

ем неискреннем „товарищеском“ суде, вы получите только труп старика, несколько килограммов костей. Валяйте, делайте с ними, что хотите, можете варить из них клей, „меня там нет“ — хорошо сказал классик!

Да, я помогал колхицином всей генетической команде. Какое счастье — заявить вслух: я с риском для жизни помогал Копернику! А разве это не счастье — заявить Касьяну: второго „Майского цветка“ не будет! И первый еще получит имя своего настоящего автора. Спеши, Касьян, спасать шкуру, скорей объявляй, что авторство принадлежит Стригалеву и тебе. Себя — на второе место! Имей в виду, уже действует автоматический механизм. Стригалев изобрел его, он уже известен! Скоро начнут проверять твои сорта. Если объявишь, механизм автоматически остановится, и ты еще подышишь. Нет,— пеняй на себя. Придется краснеть многим, но тебе этот румянец начальства выйдет боком. Спеши, бездарь, и скажи спасибо, что предупредили. Это я не ради тебя — ради нас всех, чтоб от стыда уйти. Ох, друзья, невозможно видеть, как хиреет прекрасное когда-то хозяйство от руки этого „сына беднейшего крестьянина“.

Вот он, самый настоящий кулак, вот она контра! Это вам не „три с гривою да пять рогатых“. Для тебя говорю, Саул, „теоретик“, питающийся чужими страданиями. Методом твоей арифметики (она у тебя, конечно, „материалистическая“) кулака не определить — только уничтожишь работяг, которые любят труд и умеют что-то делать. Что и натворили такие, как ты, горластые счетоводы. Кулак — это качество личности. Это паразит, надевший самую выгодную для своего времени маску. Оглянись, Бруззжак, на себя! И покажи зеркало Касьяну!

Боюсь, что вы ничего из сказанного не поймете или, поняв, притворитесь, что вас коробит моя беспардонная вылазка. Иначе я бы выступил перед вами в живом виде. Поскольку надежды на это „иначе“ нет, а я телесно слаб и не выношу „товарищеских“ издевательств над высшей тайной, которую собой представляет человек, я пользуюсь своим правом сесть в личный вертолет и улететь, помахав вам ручкой».

Перечитав это письмо еще раз, посидев над ним неподвижно, Федор Иванович вложил все три копии в конверты, уже надписанные Светозаром Алексеевичем. Получилась стопка, он отодвинул ее на середину стола.

Рядом поместил другую стопку — то, что пойдет в почтовые ящики. То, что следовало отдать тете Поле, тоже отодвинул. После этого взял толстый конверт с надписью «Феде» и, разорвав его, вытащил несколько плотно исписанных листов — почти целую тетрадь.

Это было длинное жизнеописание академика Посошкова. Федор Иванович читал его больше часа. Многие вещи он уже знал из нескольких бесед со Светозаром Алексеевичем и из той исповеди, которую он выслушал однажды ночью по дороге к тому большому окну, что ярко светилось, как окно операционной.

«Феденька мой, я был прав! — так начиналась та часть письма, где был заголовок: „Мои рассуждения для тебя“.— Тебе, родной, предоставляется возможность совершить экскурсию во внутренний конус другого человека. Все пространство ты не исходишь, оно бесконечно. Но по некоторым палатам поброди. Я, Федя, был прав! И ты был прав. И Шекспир! Да, все законы, все человеческие установления, все условности недействительны для того, кто оцарапан отравленной шпагой. Но голос совести слышен как никогда раньше. Трубит! Его действительно заглушали „соображения“ и расчеты. В мире появилось странное существо — уже не человек, но еще не камень. Я позволил себе величайшее из жертвоприношений, о котором долго мечтал, но никак не решался приступить. Я помог знанию восторжествовать над суеверием. За это всегда приходится жертвовать жизнью Ты смотри, дай это понять моему мальчишечке, когда будешь вручать картину. Его мать тебя шугнет, как только ты упомянешь мое имя. Но ты не пугайся. Скажи и ей все, что ты думаешь обо мне».

У этого письма не было обдуманного плана, и Федор Иванович вдруг понял, что Светозар Алексеевич не хотел расставаться с бумагой, его держал, притягивал к себе сам контакт с другим человеком. И тут же, прочитав еще две страницы, он увидел, что был прав.

«Казалось бы, то, что я потерял и что мне угрожает,— все это должно заставить меня мгновенно поставить точку,— как бы наткнулся он на эти строчки.— Но все иначе! Возможность общения с человеком, который тебя может понять — это такая цепь, которую разрубишь не сразу. Почему и нет сил перестать писать это письмо...»

Фраза на одиннадцатой странице опять заставила

его надолго задуматься. Сначала шли как бы подготовительные строки: «Я что-то успел все-таки сделать. Кое-что тебе известно, кое-чего ты не знаешь — и бог с ним. Теперь для меня наступил конец деланию, и я складываю инструменты. Беседовать с суеверным мистиком генералом у меня нет желания. А у него, видишь, взыграло. Мне известно, что и ты уже попал в фокус его профессионального интереса. Я вовсе не зову тебя последовать... Я просто фиксирую для тебя такое вот наблюдение...».

Дальше и шла эта фраза:

«Желание смерти — не есть желание смерти. Это только поиск лучшего состояния. Что в конечном счете является крайним выражением желания жить».

И, перечитав эту фразу, Федор Иванович надолго оцепенел. Решительно хлопнул ладонью по столу. «Умирать не имею права»,— сказал он себе и даже привстал, словно собрался сейчас же куда-то бежать. Потом сел. Стал читать письмо дальше.

«Благо — то, что доставляет удовольствие,— прочитал он.— Или то, что прекращает страдание. Это твоя формула. Для ищущего смерти страдальца смерть есть благо. Запиши и сошлись на свидетельство очевидца».

«Он любуется красивыми изречениями. Он еще жив»,— промелькнула мысль. И тут же Федор Иванович одернул себя. Он не имел права судить того, кто уже узнал тайну смерти.

К концу письма пришло и подтверждение: старику было не до красных слов. «Если я туп,— писал он,— если я не понимаю ясных вещей и не имею достаточно глубокого образования, и при этом стремлюсь главенствовать и сумею захватить себе право лезть в дела, мне не понятные, но затрагивающие судьбу многих, может получиться то, что наш Хейфец называл отбором глупых. Непонятное легкомыслие отбрасывается. Разумеется, большинством голосов. Теперь это все — вредные идеи, вейсманизм-морганизм и кибернетика. А в понятном — у нас единогласие с коллегами, которые понимают ровно столько, сколько и я, не больше. Нас, таких молодцов, набирается достаточное количество. А когда нас набирается достаточно, мы можем из своей среды назначить нового Бетховена — взамен того, непонятного и надоевшего. Можем избрать великого ученого-биолога и поставить выше Дарвина! А Дарвину —

плоский эволюционизм пришить. И дело на него состряпать, на мертвого. Мы можем составлять кафтановские приказы! Узнай, к чему я все это... Я совершаю... — тут Светозар Алексеевич резко зачеркнул это слово и написал сверху: „Я совершил!" — и повторил: — Я совершил нечто загадочное для живущих. Поймет только тот, кто сам станет собираться в дорогу. Я мог бы этого и не совершить, дух мой еще силен. Ан тело, тело, Феденька, вопиет. Черная собачка рада бы побегать еще, попугать дурачков, да молодости нет. Всю истратила. А тут нужна страшенная прыть. Я еще могу владеть собой, когда на заседание вползает, как дурной запах, наш византийский император Кассиан. И начинает меня поливать. Или когда Саул быстро вбегает, как таракан. Терплю! Даже речи их слушаю! Анализирую! Мыслю! Но Касьян же не спит, все голову ломает: чем бы еще меня донять. Теперь вот меня, по его указке, потащат к ограниченному карьеристу, поднявшемуся надо мной в силу вышеназванного отбора. Я с ним уже общался один раз. Тут нужны силы для противостояния. Нужна молодость. Я ведь могу у него и закукарекать! Нет, не доставлю Касьяну этой радости. Петроний вскроет себе вены, так будет лучше, достойнее».

Утром Федор Иванович, надев полушубок и шапку, отправился опускать письма. По пути постучал в комнату, где жила тетя Поля.

Она приняла письма так, как будто ей вернули взятую взаймы рублевку. Кивнула и сунула их под фартук. «Вот с кем жил рядом — и не знал!» — удивился Федор Иванович.

Он быстро прошел всю Советскую улицу, бросая письма в почтовые ящики. Потом заглянул на почту и сдал три заказных письма. Квитанции тут же порвал. Когда возвращался парком в институтский городок, начал падать легкий снег. Небо было серое, недоброе. Обещало метель.

В городке, идя по тропке, он свернул к ректорскому корпусу — его потянуло к себе движение людей, быстро входящих в подъезд и выходящих на улицу. Он так же быстро взбежал по крыльцу. В вестибюле его встретил большой портрет академика Посошкова, перевязанный на одном углу черной лентой. Портрет стоял на чем-то вроде самодельного мольберта. Склонив красивую голову, академик смотрел вдумчивыми острыми

глазами. Он был в крапчатом галстуке-бабочке. Тут же, на втором мольберте, стояло натянутое на подрамник, написанное красивыми буквами объявление о скоропостижной смерти выдающегося ученого — академика Светозара Алексеевича Посошкова, последовавшей в ночь...

Читая этот текст, Федор Иванович не удивлялся. Он даже удовлетворенно качал головой. «Правильно,— думал он.— Гасят. Все одеялом накрыли. И дымом чтоб не пахло... Если бы я последовал примеру, и меня тоже с прискорбием проводили бы. А так — попрут с треском. И из института, и из науки».

И действительно, в приемной ректора его ждал приказ. После длинного вступления, которое он читать не стал, шла резолютивная часть: «За скрытую активную борьбу против передовой мичуринской науки, за проповедь реакционных идей вейсманизма-морганизма... кандидата биологических наук Дежкина Федора Ивановича отчислить из института с 28 ноября с. г.».

— Подпишите, пожалуйста,— сказала Раечка.

— Нет. Я сначала поговорю с Варичевым.

— Петр Леонидыч сказал, что он вас не примет.

— Посмотрим... — Федор Иванович холодно и мягко взглянул на нее и вышел.

V

В тот же день — двадцать девятого ноября — сразу после чтения приказа в ректорате, жесткого, обрубающего все канаты, Федор Иванович уехал в Москву. Он отвез в свою холостяцкую комнату некоторые вещи, в том числе и те — завернутые в бумагу и перевязанные шпагатом — предметы, что он вынес из дома Посошкова, и чемодан со своими пожитками. Конверт, оставленный в комнате перед дверью, так и лежал на полу, нетронутый, и русый волос был на месте. Перед тем как запереть комнату, бросив конверт на прежнее место у двери, он постоял некоторое время, оглядывая свое безмолвное, подернутое пылью жилище. Он уже привык к институтской комнате для приезжающих, теперь нужно было настраиваться на московский лад. Связь с институтом становилась все тоньше. И чем тоньше вытягивалась эта нить, тем болезненнее чувствовался неминуемый ее обрыв. Причем боль была не от расставания с вывеской института, с его длинным, в шесть слов, на-

званием. Он не мог расстаться с привидением, которое выходило к нему из аудиторий, встречалось в сводчатых коридорах и мелькало между стволами парка.

Оставалось только получить расчет. Слабо шевелилась вдали мысль о будущем месте работы, о неизвестном новом деле. Но среди его документов будет выписка из приказа об увольнении. С такой бумагой вряд ли можно думать о приличном месте по специальности.

Он думал о приличном месте скорее по привычке — достаточных оснований у него не было. А сверх того оказалось, что тридцатого утром, когда Федор Иванович вернулся из Москвы, в ректорате его уже ждала повестка из шестьдесят второго дома. Не приглашение побеседовать по вопросам, связанным с экспертизой, а именно повестка. «Вам надлежит...» — такими словами начиналась она. Ему предлагали явиться первого декабря к десяти часам утра и даже грозили в случае неявки подвергнуть принудительному приводу.

Там же, в ректорате, он получил все необходимые документы и выписку из приказа. Покорно расписался в нескольких местах, взял конверт с повесткой и вышел на улицу совсем чужим для этих мест человеком. Розовый институтский городок со всем его населением медленно плыл мимо него, как большой плот. Люди, обжившие этот плот, не знали и не хотели знать, что думает и что собирается делать одинокий чужой человек, стоящий на незнакомом для них, чуждом и опасном берегу реки.

А человек этот задумал очень серьезную, дерзкую вещь. Он решил не являться завтра в шестьдесят второй дом, а, переночевав здесь в последний раз, утром, затемно, незаметным образом скрыться отсюда, уехать в Москву, захватив с собой все наследство Ивана Ильича, и для начала затеряться в огромном городе. И там, найдя убежище, обдумать дальнейшие шаги. Его натолкнул на эту мысль не тот долг, о котором пишут в газетах и кричат с трибун, а долг настоящий — о котором всегда молчат. Его тренировки в парке, покупка синего рюкзака и лыж и ящик с отделениями для клубней, прислоненный к оконному стеклу,— все это были детали одного четкого плана, а складываться он начал еще летом. Хотя Федор Иванович никогда о нем специально не задумывался. Вот какой вид приобрело, наконец, гнездо, которое птица начала вить еще в июле.

Как только в отношениях Федора Ивановича с судьбой открылась полная ясность, тут же разгладились все сухие резкие черты в его лице, появившиеся в эти дни в ожидании неизвестно откуда летящей беды. В движениях его проглянула беспечность, даже отчасти веселье. Но это все была маскировка — для молодых людей с округлыми лицами, для институтских активистов, возможно. имеющих уже задание не спускать глаз с разоблаченного вейсманиста-морганиста, получившего такую серьезную повестку. Федор Иванович уже видел летом эту молодежь, радующую своих мам, и сегодня его гибкая душа сразу ответила готовностью. Пусть увидят, что дичь ничего не подозревает, мирно пощипывает травку и даже резвится. Выйдя на крыльцо, он, как крыльями, взмахнул полами полуперденчика и как бы слетел на тропку. Сунув руки в карманы и из карманов руководя легкомысленной игрой распахнутого полушубка, захрустел по толченому ледку к своему корпусу. Когда наружная дверь закрылась за ним, припал к щели и смотрел некоторое время. Он издалека чуял того, кто должен был увязаться ему вслед. Но на этот раз не увидев его, заперся у себя, сбросил ботинки и грохнулся на свою койку спать, накрылся полушубком. Открыл глаза, как ему показалось, через полминуты и, подняв руку, с удивлением долго смотрел на циферблат — он проспал четыре часа!

Скоро должен был тронуться от ректорского корпуса похоронный кортеж Федору Ивановичу не хотелось участвовать в этом деле. Гроб окружат неприятные люди — одержавшие победу противники и ругатели Светозара Алексеевича. Сами же, сами гнали человека, всем коллективом загнали в гроб, сами теперь будут и говорить себе: «Вот еще один пример. Такова судьба старомодной борьбы за правду. Вот что ждет инфантильного интеллигента. Не нами сказано: плетью обуха не перешибешь». И остальная публика — с нею тоже лучше бы не встречаться. Люди, повидавшие вокруг себя много всяческих расправ, усмиренные и навсегда решившие делать и говорить только то, что нужно Кассиану Дамиановичу. Всем им Посошков и оставил несколько килограммов своих костей. Они будут не хоронить эти кости, а создавать впечатление — чтобы истинные обстоятельства кончины академика не достигли нежелательных ушей. Лучше бы уж клей варили... Проходя ут-

ром мимо открытых настежь дверей актового зала, Федор Иванович видел украшенную гофрированным кумачом часть гроба — корму той лодки, в которой сегодня торжественно отплывет академик. Стояли цветы в корзинах, венки. На одной из черных лент выпятились вперед бронзовые буквы: «от ректората». Бросив в ту сторону строгий взгляд, Федор Иванович ускорил шаг. Конечно, Светозара Алексеевича там не было.

Он умылся над раковиной. Вытираясь полотенцем, смотрел из-за занавески на улицу. Нет, никто не караулил его. Федор Иванович даже удивился: неужели опыт с бегством и поимкой Ивана Ильича ничему не научил генерала! Он накинул полушубок, надел шапку и вышел все-таки наружу, не спеша зашагал к ректорскому корпусу. Там уже чернела толпа, и над ней высились белые спины трех автобусов.

Как чужой, он прошел сквозь толпу, сдержанно кивая знакомым и получая в ответ еще более сдержанные, отчужденные знаки. Воляпюкский в синей бекеше с голубоватыми смушками и в голубоватой каракулевой шапке пирожком увидел его издалека и поплыл вместе с бекешей в сторону, чтобы не оказаться на пути скандально уволенного скрытого пропагандиста лженауки. На его беду, именно там, куда он бросился спасаться, стоял дядик Борик, похудевший и большеглазый, и уже слегка поднял руку, сдержанно приветствуя Федора Ивановича. Так что Воляпюкский, оглянувшись, увидел, что его преследуют, и, вторично шарахнувшись, скрылся за автобусом — теперь уже бегом. И бекеша его порхала с ним, как экзотическая бабочка-махаон. Проводив его взглядом, Федор Иванович взял протянутую руку дядика Борика. Они молча постояли, глядя друг другу в глаза и чуть заметно кивая, подтверждая общие мысли.

— У меня есть просьба, — сказал Федор Иванович. — Не сможет ли дядик Борик принести мне из моей картошки штук сорок. Ровненьких, с яйцо. Когда хорошо стемнеет...

— В десять?

— Можно и в одиннадцать.

В это время у входа в ректорский корпус студенческий духовой оркестр заиграл медленный траурный марш. Послышались медленные, как скрип сапог, шаги баса, взвилось занозистое сопрано трубы, и на крыль-

це показалась процессия. Деканы и профессора, обнажив белые и лысые головы, несли гроб. Процессия влилась в толпу, и красный гроб поплыл над головами сквозь ранние сумерки к ближайшему автобусу. На его пути оказался все тот же несчастный Вонлярлярский. Стефан Игнатьевич боялся смерти, а тут она сама надвигалась на него. Ему в третий раз пришлось удариться в бегство, и его синяя бекеша, замелькав, влетела в последний — третий — автобус.

— Давай и мы туда, — сказал Борис Николаевич.

Они поднялись в полупустой автобус, и за ними в дверь хлынула, начала тесниться толпа.

— Давайте сюда, — сказал дядик Борик. — Учитель, давайте вы к окну.

Федор Иванович подвинулся на клеенчатом сиденье, давая место Борису Николаевичу. Но дядика Борика вдруг оттеснили, и более ловкий человек в черном пальто, извернувшись, упал на сиденье, слегка придавив Федора Ивановича. Толкаясь, усаживался, недовольно отдувался. Это был полковник Свешников. Округлив щеки, выдул длинный звук: «Ф-ф-ф» — и, глядя только вперед, чуть заметно, рассеянно кивнул Федору Ивановичу. И тот почувствовал, что ему за спину затолкали твердый предмет величиной в кулак. Сунув туда руку, вытащил нечто в тряпичном мешочке. Понял: «Оно!» — и затискал в карман полушубка. Это были клубни «Контумакса» из трех горшков. Напустив на себя рассеянный вид, открыл было рот, чтобы спросить о ягодах.

— Там, там все, — так же рассеянно прогудел Свешников.

И Федор Иванович, слабо кивнув, стал смотреть в окно.

— Ваше положение незавидное, — обронил около него Свешников. Федор Иванович опять слабо кивнул.

— Есть просьба, — сказал он, помолчав.

Свешников не двигался, все так же глядел вперед.

— Нужен адрес бабушки Лены Блажко.

— Ясно, — пробубнил Свешников. Потом после паузы: — Невозможно. Этого адреса не было.

Автобус тронулся. Они долго ехали — сначала полем, потом через город, затем пошли переулки, автобус стало трясти.

— К вам едет датчанин, вы знаете? — негромко буркнул Свешников.

— Знаю, — проговорил Федор Иванович.

— У вас есть время, — сказал полковник. — Вам еще надо будет датчанина встречать. Показывать ему все.

— Почему мне?

— Узнаете. Больше некому, решили поручить вам. А вот когда уедет датчанин...

Федор Иванович прислушался. Полковник говорил очень тихо.

— Пока не встретите, все время ваше. И с ним пока будете — тоже. А потом... — Он умолк. Автобус ехал уже по лесной дороге.

— Что, потом? — спросил Федор Иванович.

— По-моему, ясно...

За окнами автобуса в синих сумерках бежал длинный жиденький забор из планок, а за ним виднелись бесчисленные памятники, бетонные пирамидки с жестяными звездами на концах, поставленные стоймя черные каменные плиты и кресты.

— Приехали, — сказал Свешников. — У вас есть время подумать о наследстве Ивана Ильича. Вы, конечно, не из тех, кого надо в спину толкать... Но и спешить не надо. Датчанин пробудет дней пять.

Автобус остановился. Стукнула, открываясь, дверь.

— У меня повестка, — негромко заметил Федор Иванович. — На завтра.

— Не уклоняйтесь. Наоборот, смелей беседуйте. Все станет яснее, — полковник посмотрел серьезно и шепнул: — Он словоохотлив. Слушайте и мотайте на ус. А датчанин пять дней пробудет. Пять дней...

— А меня не...

— Пока датчанин не уедет... — И еще раз бросив тяжелый, серьезный взгляд, Свешников стал осторожно протискиваться к выходу.

Хрустя сиреневым снегом, в молчании все долго шли, торопились куда-то вперед. Стройность шествия была забыта. Вдали зажелтел песок свежевырытой могилы. Предел всех мечтаний и греховных порывов. Торжество энтропии. Впрочем, торжество ли? Вот если бы Светозар Алексеевич не отклонился от согласованного текста, тогда — да... Тогда было бы торжество...

Гроб стоял на этом желтом холме. Тусклой искрой настойчиво светилось, кричало золотое кольцо на белой руке. Оглянувшись, Федор Иванович увидел сзади, за

автобусами, светло-серую «Победу» с пестрым шахматным пояском, и там, около такси, держась за дверцу, стояла чья-то знакомая тень в широко распахнутой фиолетовой дубленке. «Кондаков! Значит, и она здесь»,— подумал Федор Иванович.

— Товарищи! — послышался вдали глуховатый голос Варичева.— Сегодня мы провожаем в последний путь...

И Федор Иванович, попятившись, проваливаясь по колено в снег, вышел из толпы и остановился позади всех, опустил голову. «Значит, у меня, кроме пяти дней, есть еще два или три,— думал он.— Уйма времени. В чью пользу будет это время?»

— Разногласия, естественные противоречия, присущие всякой живой общности...— донеслось издалека.— Борьба мнений никогда не заслоняла от нас... И не сможет заслонить светлый образ ученого...

«А зачем, собственно, мне дожидаться датчанина? — этот поворот мыслей заставил Федора Ивановича еще ниже опустить голову, нахмуриться.— Ведь он же приедет к Ивану Ильичу, а не ко мне...»

И стал смотреть по сторонам, разглядывая растворенную в сумерках толпу, высматривая в ней черный каракулевый треух полковника.

— Здесь, здесь я,— послышался негромкий голос за его плечом. Михаил Порфирьевич стоял вплотную сзади.— Я забыл тебе сказать... Учти, за тобой наблюдение установлено. Серьезно к этому отнесись...

— Мне-то зачем эти пять дней?

— Некогда объяснять. Тебе поручат показывать датчанину всякие твои... Дождись, дождись... Касьян выпросил тебя на пяток дней. Узнаешь, зачем — сам все решишь. Не показывай, что знаешь. На лыжах, на лыжах катайся...

Федор Иванович кивнул. Слыша за спиной удаляющийся скрип снега, размышлял: «Послезавтра лыжная секция, пойдем опять на Большую Швейцарию. Пойду с ними, как и раньше. Как будто ничего не случилось. Наблюдателя этого попробую увидеть... Что он собой представляет...»

Поздно вечером к нему в комнату для приезжающих постучались. Вошел Борис Николаевич, обсыпанный снегом. Принялся выкладывать на стол из карманов небольшие картофелины, каждая — приятного цвета, как загар на женском лице.

— Снежок хороший валит,— сказал дядик Борик.— Вот вам картошка. Я не спрашиваю, зачем. Раз Учитель приказал... Раз он велел... А с остальной, что делать? Я имею в виду этот сорт... Дядик Борик может ее кушать?

— Остальная пусть лежит в вашей корзине. Может, весной пришлю письмо — вышлете мне посылкой. А если до мая письма не будет — все картофелины до единой — в кипяток. В мундирах варить, не чистить.

— Когда нас покидаете?

— Дней через десять, у меня еще преемника нет. Мне еще преемнику дела надо сдать. Потом уже об отъезде...

— А то у дядика Борика мысль была... Проститься... У него как раз девятого, в следующее воскресенье, день рождения... Гусь будет...

— Обязательно приду, Борис Николаевич. Простимся.

Назавтра, в десять часов, он шел по дугообразному коридору на втором этаже шестьдесят второго дома. Шел и оглядывался — не мог привыкнуть к плавным округлостям этих стен, поворачивающих то в одну сторону, то в другую. Хотя видел их уже не в первый раз. Был он строг и подтянут, «сэр Пэрсн» был застегнут на одну пуговицу, новый темно-малиновый, почти черный галстук был куплен недавно в Москве, на его глубоком, ночном фоне мерцали редко разбросанные далекие кошачьи глаза. Галстук был не затянут, а полураспущен — собственное изобретение его хозяина. Федор Иванович чувствовал, что генерал Ассикритов, в душе ревнивый модник, обязательно и не раз посмотрит на этот галстук и будет на всю жизнь задет свободной и независимой, демократической мягкостью его узла. Он страстно захочет знать секрет, но амбиция не позволит поинтересоваться. Таков он был, Федор Иванович. На этом случае с галстуком мы можем видеть, что душа его иногда шла впереди рассудка и могла заглядывать в такие места, которые не поддаются прямому исследованию ума. И по этому сверхтонкому ходу он слегка уже проник во внутренний конус генерала и даже немного хозяйничал там.

На пропуске был указан номер двери — 432. Федор Иванович нашел эту дверь, постучался и открыл. За дверью оказалась маленькая тусклая комната, отрав-

ленная сильным и кислым — вчерашним — табачным духом. Треть ее занимал грязновато-бледный письменный стол. Из-за него поднялся невысокий, немного грузный мужчина, с усталым, слегка отекшим лицом. На нем был заношенный коричневый костюм. Несвежий сизый галстук свернулся трубкой.

— Садитесь, пожалуйста... Дежкин,— сказал он, взяв у Федора Ивановича пропуск и паспорт. Он долго листал дело в папке из коричневого с розовым прессованного картона. «Цвет женского загара! — осенило Федора Ивановича.— Цвет новой картошки!» Дело было толщиной в палец, несколько страниц были заложены длинными полосками бумаги. «Следователь»,— подумал Федор Иванович. Сняв трубку телефона, следователь сказал в нее несколько негромких слов. Федор Иванович не расслышал их, он сильно волновался. Вытащив из-под папки лист бумаги, следователь пробежал его глазами. «План допроса»,— сообразил Федор Иванович. Освежив в памяти продуманную схему и порядок постановки вопросов, следователь как бы ожил, стал бодрее. Положил лист под дело, соединил обе руки в один трубчатый кулак и стал дуть в эту трубу, при этом постукивая ногтем по зубам, обдумывая первый вопрос.

— Я вас вызвал, как вы, наверно, догадываетесь...

Тут открылась дверь и молча вошла молодая женщина с большим блокнотом и горстью отточенных карандашей в кулачке. Молча села в углу, стала что-то писать. «Стенографистка»,— догадался Федор Иванович.

— Прошу последовательно и откровенно рассказать все, что вам известно о деятельности в вашем институте тайной группы вейсманистов-морганистов и о ее связях с представителями зарубежной реакции.

— Мне ничего об этом не известно.

Следователь сделал знак стенографистке, и карандаш ее побежал по листу блокнота. Посмотрев на Федора Ивановича и увидев, что тот не собирается больше ничего добавить, следователь спросил:

— Каково было ваше участие в этой деятельности?

— Никакой группы я не знаю и, естественно, не участвовал ни в чьей деятельности.

И опять стенографистка по данному ей знаку записала этот ответ.

— Хорошо,— сказал следователь.— Вам известно, что академик Посошков самовольно внес в свой доклад на конгрессе в Швеции сообщение о якобы имеющей место в СССР работе биолога Стригалева по скрещиванию дикого картофеля «Контумакс» с культурным?

— Мне это известно. Работа не якобы, а действительно имеет место.

— Это ваше мнение. А у меня другое. Отвечайте только на поставленный вопрос.

— Мне известно, со слов академика Посошкова, что академик сделал такое сообщение на конгрессе.

— Хорошо. Было ли в действительности произведено такое скрещивание? Как следует подумайте и дайте правильный ответ.

Этот следователь не был расположен пускаться в беседы, как генерал Ассикритов. Он помнил свой план и вел какую-то линию, у которой на конце могло быть опасное острие. Он не видел Федора Ивановича, его задумчивый взгляд следил только за этой линией.

— Скрещивание было произведено. Об этом...

— Не надо лишнего. Вы уже ответили,— следователь посмотрел на стенографистку.— Теперь скажите, откуда вы знаете, что такое скрещивание имело место.

— Об этом я слышал от академика Посошкова и от Стригалева.

— И на этом основании написали статью для научного журнала?

— На этом основании.

— Вы лично ее писали?

— Я лично.

— Не считаете ли вы, что названных вами данных мало для научной статьи?

— Нет, не считаю. Я проверял данные. Я видел растение в разных стадиях развития и ухаживал за ним, делал цитологические исследования. Ци-то-логические,— повторил Федор Иванович для стенографистки.

— Ничего, наши стенографистки привыкли к таким словам,— сказал следователь.— Где вы видели это растение, где ухаживали за ним и где делали исследования?

— Дома у академика Посошкова.

— Много ли лиц было посвящено в эту работу?

— Только мы трое.

— Стригалев присутствовал?

— Да, присутствовал,— на ходу напряженно сочинял Федор Иванович.— Он-то и делал все. Он автор.

— Об авторстве я не спрашивал. Кто делал фотографии?

— Академик Посошков показывал мне готовые. Видимо, заказывал кому-то.

— Кто автор растения, о котором Посошков сообщил на конгрессе?

— Иван Ильич Стригалев,— сказал Федор Иванович, пожав плечами.

— Что это значит?

— Это значит...— Федора Ивановича удивил вопрос, но он взял себя в руки.— Это значит, что Иван Ильич задумал и выполнил это скрещивание.

— Посмотрите, пожалуйста, сюда,— следователь, отогнув закладку, развернул дело и, закрыв чистым листом бумаги половину страницы, придвинул папку к Федору Ивановичу.— Узнаете подпись?

Под машинописным текстом стояла подпись: «И. Стригалев».

— Я никогда не видел подписи Ивана Ильича,— сказал Федор Иванович.

— Читайте,— тихо предложил следователь.— Читайте вслух.

— «Я давно работаю над диким видом „Контумакс“,— прочитал Федор Иванович.— Если бы мне удалось скрестить этот вид с культурным картофелем, это открыло бы широчайшие возможности для селекции. Но до сих пор мне сделать это не удалось».

Последние слова были подчеркнуты красным карандашом.

— Эти показания Стригалев дал, находясь под стражей. Естественно, после этих показаний, будучи в камере, он не работал над своими растениями. Так кто прав — Посошков, сделавший свое сообщение, Дежкин, написавший статью для журнала, или тот, на кого вы ссылаетесь, как на автора?

Федор Иванович молчал. Это была неожиданность, и он уже видел всю версию следователя целиком, как она стояла в его плане. Следователь устроил ему «вилку», как говорят шахматисты. То есть создал такое положение, когда под боем оказываются твои две фигуры, обе сразу, и остается лишь выбирать между двумя потерями. Сказать, что гибрид есть — значит, надо

предъявить ягоды, онн будут тут же приобщены к делу, н завтра генерал преподнесет Касьяну прнятный сюрприз, поручнв ему экспертизу этих ягод. Если же заявнть, что гнбрнд — выдумка, становится очень мрачной цель, н статьн для журнала, н сообщения академика на конгрессе. Зачем писалн н сообщалн всему миру о том, чего нет? Следователь был не дурак. И никакого сходства с генералом. Совсем другой человек.

— Повторить вам вопрос? — прозвучал его спокойный голос, н он вздохнул от усталостн.

— Нет, не надо повторять. Академик Посошков был прав, н прав был Стригалев. Потому что...

— Не надо дробить. Это мы выясним отдельно. Заметьте себе. Значнт, правы были оба,— следователь посмотрел на стенографистку.— А что же Дежкин? Не прав?

— И Дежкин был прав.

Следователь впервые глубоко посмотрел на Федора Ивановича. Его главная версия ломалась. Там что-то не было учтено. Нет, он не растерялся, не кинулся расспрашивать. Облизнув губы, он уставился на лист бумаги н что-то рисовал там. Он все понимал.

— Такой еще вопрос. Был ли предварнтельный разговор между вами и Посошковым...

— Какой разговор? О чем?

— Не торопнтесь. Спешить нам некуда. Я сформулирую вопрос полностью. Был ли у вас с Посошковым предварительный разговор о том, что он сделает свое сообщение на конгрессе?

— О том, что Посошков уехал на конгресс, мне сказал Варичев седьмого ноября во время демонстрации. Впервые.

— На вопрос, на вопрос отвечайте. Варичев мог вам это сказать. А разговор с Посошковым мог, тем не менее, иметь место. Одно другому не мешает.

— Не было такого разговора с Посошковым.

— Откуда же он взял фото?

— Я же говорил: не знаю. Он мне показывал готовые.

— Все четыре?

— Да, все четыре,— Федора Ивановича опять удивнла ненужность вопроса.

— Вы все валнте на Посошкова,— сказал следова-

тель равнодушно.— Не учитываете того, что мы умеем допрашивать и мертвых. Вот прочитайте...— Он отогнул еще одну закладку и развернул папку. Наложив на страницу белый лист, приоткрыл несколько строк.— Узнаете подпись? Поверьте, это подпись вашего академика. Читайте вслух...

Федор Иванович прочитал:

— «Вопрос: откуда вы взяли фото, которые демонстрировали на конгрессе? Ответ: они были, как заведено, приложены к статье ее автором. Вопрос: фотографии, которые были приложены к статье, вот они, в деле, я их показываю вам. Вы увезли в Швецию вторые экземпляры. Где вы их взяли? Ответ: у автора статьи Дежкина Федора Ивановича. Вопрос: все четыре? Ответ: все четыре. Вопрос: говорили ли вы Дежкину, для чего вам нужны эти...»

Тут следователь быстро закрыл папку.

— Дальше можно не читать. Отвечайте: откуда вы взяли фото?

— У академика Посошкова. Я могу это сказать вашему мертвецу на очной ставке.

— Хороший ответ,— следователь наклонил голову и задумался. Потом сделал знак стенографистке и заговорил, как бы диктуя: — Академик Посошков предвидел... даже планировал свою... добровольную кончину. Что видно из его высказываний, которые с определенного времени стали смелыми и даже вызывающими. У меня здесь составлена диаграмма... Раньше он хотел жить, заботился о своем благополучии и высказывался осторожнее. Что из этого вытекает для нас с вами? Что Посошкову не было смысла лгать для того, чтобы облегчить свою участь...

«Ого! — удивился Федор Иванович.— Он тоже подходит к тезису о Гамлете, оцарапанном отравленным оружием. Но совсем с другой стороны!»

И следователь, подумав, подтвердил это:

— Свое уже не интересовало вашего академика. Лгать он мог только для того, чтобы помочь другим. Например, вам. Значит, о фотографиях он говорил правду. Если бы он предвидел вопросы, которые я ставлю вам, он взял бы это на себя, утащил бы с собой в могилу. Но он этих вопросов не предвидел. После сказанного настаиваете ли вы на том, что фотографии он получил не от вас?

— Настаиваю,— сказал Федор Иванович, чувствуя, что его здесь поймали.

— Та-ак,— сказал следователь, закуривая. Он был доволен ходом допроса, удовлетворен. Выпустил облако дыма и задумался, глядя в окно, забранное железной решеткой. Потом, взяв двумя пальцами, вытащил из-под папки свой план, прочитал в нем какой-то пункт, еще одну свою версию.

— Скажите, Дежкин... Что изображено на вышеназванных четырех фото?

Федор Иванович напрягся. Он уже боялся этих невинных вопросов.

— Изображено... На одном фото — дикий «Контумакс». На другом — полиплоид. Это тот же «Контумакс», но с удвоенным числом...

— Не надо, я знаю, что такое полиплоид. Что на третьем фото?

— На третьем — ягоды дикаря и полиплоида. Сопоставляются. На четвертом — ягоды полиплоида сопоставляются с тремя ягодами полученного гибрида. О котором идет речь...

— Остановимся на этих трех ягодах. Что они собой представляют?

— Результат опыления цветков полиплоида пыльцой культурного картофеля.

— У этого гибрида есть какие-нибудь новые свойства?

— Должны быть. То есть, конечно, есть. Это станет полностью ясно, когда полученные семена будут проращены.

— Могли бы вы уже сегодня перечислить свойства гибрида?

— Не все. Некоторые мог бы.

— Кто будет проращивать семена?

— Тот, у кого сейчас в руках ягоды.

— Его имя, адрес...

— Это мне не известно. Распоряжался Посошков.

— Так что же, мы у Посошкова будем спрашивать? Нет людей, значит, нет и ягод. Вы можете с уверенностью сказать, живы ли эти ягоды?

— Я уверен, что живы.

— Уверен или знаю? Между этими понятиями есть разница, вы сами это... проповедуете.

«Он хитер,— подумал Федор Иванович.— И глубок.

Если скажу, что знаю, он тут же спросит, откуда знание». Следователь настойчиво припирал его к стене.

— Уверен, но не знаю,— ответил он.

— Если не знаете, почему же писали статью в журнале?

— Когда писал — знал.

— Вы уверенно говорите о свойствах гибрида. Из чего же вы строите свою уверенность? Стригалев говорит, что гибрида нет. Посошков в могиле. Сами вы не знаете, живы ли ягоды и где они. И вы все еще уверены?

— Уверен. Потому что...

— Не надо, я знаю, что вы скажете. Вы скажете: ягоды получены по правильной методике. Угадал я?

— По единственно правильной.

— Советская наука называет эту методику вейсманистско-морганистской. Выходит, что вы — твердый, убежденный вейсманист-морганист?

— Не совсем так. Это логика незнающего.

— Ну-ну. Послушаем знающего.

— Речь идет не об убеждениях, а о причинной связи. Если поднести пламя к вашей погасшей сигарете, есть основания ожидать, что табак загорится. Если нанести пыльцу культурного картофеля на рыльце этого полиплоида, может наступить оплодотворение, полезное для сельского хозяйства.

— Хорошо,— следователь задумался.— Ваши три ягоды где-то в недоступном месте. Значит, вы еще не исследовали их свойств. Почему же вы разрешили Посошкову подать за рубежом все эти неясности как великое достижение? Только на том основании, что верна методика?

— Во-первых, я не разрешал. А во-вторых, вы неправильно ставите вопрос.

— Этого не надо,— следователь сунул в рот забытую погасшую сигарету, поджег ее и пыхнул дымом.— Гибрида нет! И никогда не было. Скажите это прямо.

— Гибрид был,— спокойно заметил Федор Иванович.

— Вы можете упираться, как хотите, но из ваших же слов явствует, что гибрида нет... Ну, допустим, он есть. Допустим, вы предъявили какие-то ягоды следствию. Допустим! Кто нам скажет, что это за ягоды?

— Эксперт.

— Эксперт скажет, что надо сначала из ягод полу-

чить живые семена и прорастить их. Эксперт скажет: дайте ягоды! Неужели вы думаете, что эксперт, советский ученый, мичуринец, пойдет на поводу у вейсманистско-морганистских толкователей природы, у идеалистов? — следователь посмотрел на стенографистку. Она торопливо писала.

«Идеалисты — ваши мичуринцы»,— хотел сказать Федор Иванович, но удержался.

— Да, я все понимаю,— проговорил он.— Но это не значит...

— Наконец-то. Очень хорошо, что хоть понимаете. Я все-таки доказал вам, что гибрида нет,— следователь. глубоко затянувшись, положил сигарету на спичечный коробок и закрыл дело.— На этом мы сегодня кончим.

Стенографистка тут же вышла. Двое мужчин, не глядя друг на друга, долго молча сидели в прокуренном тусклом кабинете. Потом следователь поднял голову. Думая о чем-то, смотрел некоторое время на Федора Ивановича. И вдруг просиял:

— Какой интересный галстук... Впервые вижу. Как вы его завязываете?

Федор Иванович почувствовал в этих словах критическое любопытство человека с другой планеты, где внимание к галстуку считается суетой.

— Это несложно,— проговорил он смущенно, вынужденный отвечать.—Я не люблю тугие узлы, поэтому запускаю туда палец и слегка... вот так... освобождаю...

— Очень интересно,— сказал следователь, странно смеясь одними глазами.— Тут целая наука!..

— Здесь действительно наука, а не в шутку,—заметил Федор Иванович.— Вы же знаете, папиллярные линии на пальцах... У каждого человека свои... Или форма ушей... Галстук тоже отражает... Какой человек — такой и галстук...

Рука следователя автоматически метнулась расправить свернутую на груди сизую трубку. Движение это было в самом начале пресечено задетой самолюбивой волей. Произошла сложная встреча веселых взглядов. Тут и явилась стенографистка. Положила на стол отпечатанные на машинке страницы. Следователь, забыв повисшую на лице улыбку, стал читать. Потом подвинул листы к Федору Ивановичу. Тот обстоятельно про-

читал свои показания, удивился, что нет ни одной опечатки, и подписал каждую страницу.

После этого следователь вынес стул в коридор и, поставив его у двери, предложил Федору Ивановичу посидеть. Сам же решительно щелкнул замком и, спрятав ключ в карман, с папкой в руке исчез за поворотом дугообразного коридора. Федор Иванович был уверен, что следователь пошел к генералу совещаться. Может быть, даже по вопросу о заключении Дежкина под стражу. Чтобы он не помешал дальнейшему следствию. Но проследить, в какую дверь войдет этот деловой человек, не удалось. В этом и было одно из достоинств дугообразности этих коридоров. И Федор Иванович на миг задумался о странных путях, которые выбирает себе иногда человеческий гений.

Совещание длилось не меньше часу. Потом следователь почти бегом вернулся, уже без папки, сказал: «Пойдемте»,— и они быстро зашагали. Следователь торопился, он был хороший, проворный исполнитель воли строгого начальника. Генерал — тот хоть рассуждал, горячился — потребность была во внутренней опоре для действий. У этого, похоже, опора была в приказе. Он не терпел ни пылкости, ни свободных рассуждений, мешавших доставляющему наслаждение неуклонному логическому движению к цели.

Да, они свернули в дверь номер 446. Не снижая скорости, прошли через светлую приемную, мимо зеленых диванов. Следователь приоткрыл кожаную дверь, спросил: «Можно, товарищ генерал?»,— вдали резко заревел голос Ассикритова: «Да-да-аа!» — и они вошли в просторный зал, который был кабинетом генерала. Ассикритов, чуть склонив синеватую шевелюру, в нервном раздумье вышагивал по розовому ковру. Издалека была особенно заметна его худоба. Пышность его новой гимнастерки и мягких синих галифе была вся укрощена ремнями, манжетами и узкими перехватами на кадыке, в локтях и коленях, тесными дудками блестящих голенищ, их мягкой гармошкой в щиколотках. Все эти узости придавали ему сходство с быстрым, нервным членистоногим, и в этом состояло его особенное изящество.

Следователь неслышно улетел куда-то вдаль и там

сел на диван. Поскольку положение бывшего эксперта стало другим, Ассикритов не пошел ему навстречу здороваться. Федор Иванович тотчас это заметил и, поведя мягкой бровью, остановился посреди ковра. Оглядывал зал. Теперь это была большая лаборатория, в ней сегодня ставился интересный эксперимент. Интерес к его результатам был еще сильнее, чем страх, тихо щекотавший Федора Ивановича.

— Садитесь, Дежкин,— сказал генерал, взглянув на него с пылкой ненавистью, и пошел к своему высокому креслу за столом.

Федор Иванович прошел на свое место и опустился в то кресло, где сидел однажды. Ассикритов уже перекладывал страницы с его показаниями. Потом слегка отодвинул их и с горящей улыбкой задержал взгляд на *подследственном*.

— А ведь он накрыл вас, Дежкин. А? По двум пунктам спокойненько накрыл!

— Можно, товарищ генерал? — послышалось из-за двери.

— Давай! — резко бросил Ассикритов, и два военных, прикрыв за собой дверь, на цыпочках пробежали к дивану, сели около следователя. Четыре глаза, светясь любопытством, уставились на Федора Ивановича.

«Меня считают здесь важной персоной!» — подумал он.

— Дошло до вас, Дежкин? Накрыл он вас. Чувствуете, как тонко?

— Мне понравилось,— сказал Федор Иванович.

Ассикритов сверкнул желтоватыми крепкими зубами:

— Понравилось, говорите? Слышишь, Тимур Егорович? Оценка! Тимур Егорович — наш лучший следователь. У вас еще будут с ним встречи. Он вас всего размотает. Видели, как в Средней Азии шелководы кокон разматывают? Сначала плохо идет. Тогда его парят. Попарят, опять начинают мотать. Чуть задержка — опять парят. Пока не пойдет хорошая нить.

Глаза Федора Ивановича расширились. Двенадцатилетний пионер с красным галстуком, живший в нем до сих пор, оторвав глаза от красивой книжки, глядел в пропасть, постигая новую сторону жизни.

— Не помешаю? — послышалось от двери. Вошел полковник Свешников, одетый в свой военный китель с погонами.

— Давай,— сказал генерал. Свешников, держа руку в кармане, солидным шагом прошел к дивану и сел там, бросил ногу на ногу.

— Ценная черта у Тимура Егоровича — он работает узлами. Агрегатами. В каждом узле у него — своя структура. Вот этот, насчет четырех фотографий. Ведь это надо же, как он незаметно загнал вас в угол! Ничего не подозревающего... Спокойно врущего... Какая верная мысль: решивший умереть не станет врать для самозащиты.

— Он замечательно использовал эту закономерность,— сказал Федор Иванович.— Я еще там отдал должное. Тимур Егорович очень стройно мыслит. Но он не знает ученых. Если решает умереть настоящий ученый, он остается верным не только голосу совести. У него еще есть собственные теоретические установки. Им он тоже не изменит. Даже на одре. Академик лгал вам, Тимур Егорович! Лгал не для самозащиты. У него была такая теоретическая установка, академик называл ее завиральной теорией. Он говорил: во всех неясных случаях жизни надо врать. Хотя бы как попало, но обязательно врать. Только не говорить правду. Чтобы противник не воспользовался вашим неведением. В данном случае он запутал шелк Тимура Егоровича.

Ассикритов вскочил с кресла и пошел колесить по ковру. Колесил и поглядывал своими углями.

— Это не более чем ход с вашей стороны,— послышался от дивана голос следователя.— Хороший ход, но ход. И я вам докажу это. При следующем свидании.

— Не уверен,— Федор Иванович обернулся к нему.— Это будет такая же натяжка. А кроме того... Если бы вы все это доказали... Ну и что? Допустим на минутку, что сделал эти фотографии я. И вручил...

Федор Иванович тут же поймал себя: ему продиктовал эти слова отдаленный голос. Чтоб пылкий, разговорчивый генерал, разогнавшись, пробежал дальше, чем нужно, и нечаянно обронил ценные сведения. Так и получилось, генерал тут же ворвался:

— Хватит, хватит играть, Дежкин! Это не пустячок! Это ключ, ваше любимое слово. Ключ ко всем вашим преступлениям. И он уже у нас. Во-первых,— генерал сунул в лицо Федору Ивановичу загнутый палец.— Вы вынесли за рубеж эту фальшивую сенсацию. Вы еще продержались бы на плаву, если бы сенсация

была настоящая. Слава!.. Если бы слава была для советской науки. Чем и прикрывался Посошков. Но это же фальшивка! Яловая корова ваш гибрид — вот что сказал по этому поводу Касснан Дамнанович! Яловая корова! Во-вторых,— генерал загнул второй палец.— У вас был сговор с Посошковым! Сго-ва-а-ар! Фотографии-то он взял не у кого-нибудь, а у вас! Для чего? На память? А в-третьих, это показывает вашу фактическую принадлежность к подполью. И, стало быть, тот факт, что вы сознательно пытались нанести урон нашей науке не только извне, но и изнутри. Ведь каждый студент из всех, кому вы замутили башку, стоит в плане нашего народного хозяйства. На каждого средства ассигнованы!

Счастливый, он обежал круг и затих за спиной Федора Ивановича. Возникла пауза, начала расти. Федор Иванович чувствовал, что генерал в это время смотрит ему в затылок.

— Вот и девочку эту, Женю Бабич... Неспроста вы ей вопросик на зачете подкинули. И инициатива ваша насчет аспирантуры... И профессора не зря вам сразу дали отпор. В кубло ее хотели! В новое! Так оно и подбирается, кубло. По штучке! Теперь-то, после ключа, это у нас как на ладони. Вы, Дежкин, человек благоразумный — сдавайтесь, складывайте оружие. Дайте нам показания, мы запишем и отпустим вас погулять...

— Не боитесь, что убегу?

— Куда вы убежите? Как убежите? Зачем? Чтобы окончательно стало ясно, что вы враг? Всех ваших друзей, Дежкин, какая-то сволочь предупредила — и никто не бросился в бега. Ждали нас! Советский человек, даже если он совершит преступление, никогда не бежит от правосудия. Доверяет ему. Это, Дежкин, не зависит от вас. Если вы советский. Таким воздухом дышите. С детства! Повторяю, если только вы не враг.

— В общем, конечно, вы правы...— Федор Иванович вовремя подавил в себе возражение, нахохлился.

— А для страховки мы вас — на поводок, на длинный. Чтоб гулять не мешал. Не знаете вы нас, Дежкин. Сдавайтесь. Хватит темнить.

Он вышел из-за кресла и остановился перед Федором Ивановичем. Смотрел на него, как бы любуясь.

— Стригалев у вас бывал? В этой вашей... комнате.

Генерал был мастер стрелять в темноте, то есть за-

давать вопросы наобум. И иногда попадал при этом в точку. Услышав его вопрос, Федор Иванович почувствовал толчок страха. Это сразу же передалось Ассикритову, у него захватило дух от открытия.

— Троллейбус все время ночевал у вас! — торжествующе взревел он.— Мы располагаем точными данными, Дежкин!

Он перехватил лишнего. Федор Иванович осторожно перевел дух. Этого генерал не заметил. Оглянувшись на зрителей, сидевших на диване, он начал свой знаменитый прием, сеанс гипноза, принесший ему славу в этих дугообразных коридорах. Шагнув почти вплотную к Федору Ивановичу, он красиво поднял над ним руку. Чуть повеяло хорошими духами, вином и табаком. Наложив пять твердых пальцев на темя сидевшего перед ним настороженного человека, слегка повернул его голову и зафиксировал в таком положении.

— Наверно, это лишнее,— сказал Федор Иванович и, крепко сжав его запястье, отвел легкую генеральскую руку. Ах, нет, он не сделал этого, не сказал... И жесткие пальцы остались на месте. Федор Иванович только вжался в мягкое кресло. Пламенные взоры Ассикритова встретили задумчивый серо-голубой взгляд ученого, только что открывшего новое явление. Почувствовав себя объектом, генерал отвел свои угли, шагнул назад.

— Что вы сейчас думаете? — заторопил, оглянувшись на диван.— Говорите! Не тяните, говорите сразу!

— Я думаю,— не спеша начал Федор Иванович,— думаю, что в нашем прошлом... В нашем славном прошлом... может оказаться страница, которой лучше бы не было. С точки зрения сегодняшнего дня. И получается, что тот, кто еще тогда сразу все увидел и хотел вырвать эту страницу... А не расхваливал ее из шкурных соображений... или кто не давал вписывать в нее позорящий, безобразный текст... Или хотел хотя бы уравновесить — другой, хорошей страницей... И кого тогда за это... хором осуждали... Сегодня может оказаться, что он опережал свое время, был прогрессивным человеком и патриотом, и с него надо было брать пример... У него было зрение, он видел на десять лет вперед, понимал... И он не боялся поступать так, как требовали интересы будущего. Вот что я думаю, товарищ генерал...

По наступившему глубокому молчанию Федор Иванович понял, что лучше было бы не говорить этих слов. Но все уже было сказано. Генерал оглянулся на диван, сделал глазами знак. Его гипноз дал результат!

— Тяк-тяк, тяа-ак! Высказался! О ком же это вы, господин адвокат? Не о враге ли народа по кличке Троллейбус? Кто правильно поступал? Давайте, говорите сразу!

— Нет, Троллейбус тут ни при чем. Просто отвлеченное рассуждение. Вы же потребовали...

— Так вот. Этот ваш подопечный, я знаю, кто он...— тут генерал загудел сквозь сжатые зубы: — Он должен был ошибаться вместе со всеми. Тогда он был бы наш. От ошибки не застрахованы самые лучшие умы. Тогда если ошибались, то все. Я знаю, о ком вы... Если он тогда не ошибался — значит, не горел общим делом, не мечтал революционной мечтой. Холодный был наблюдатель — потому наши дела и казались ему ошибкой. В лучшем случае! Наши дети, Дежкин, наши дети будут нас славить! Каждый наш шаг! А раз так, мы можем не засорять свои мозги бесплодными... вредными соображениями, которые вы тут... Которые только удерживают руку, когда надо действовать быстро и решительно. Враг не задумывается над тем, что скажут о нем завтра. Ему подавай сегодня! Видите — привезли вредный фильм, вражескую стряпню, отравляли сознание людей.

— Да, вы правы,— сказал Федор Иванович, задумчиво глядя на генерала.— И Кассиан Дамианович подобные мысли развивал...

— Правильно! Это его мысль. В принципе. Только он говорил это в связи с вылазкой вейсманистов-морганистов в журнале. Истину они там искали! В виде гриба! Не всегда истина подлежит защите. Если она стоит у нас на пути... Если я провожу линию высоковольтной передачи, а на пути у меня колосится поле, я пускаю мой трактор по пшенице, по пшенице! А сусликам, которые устроили там норы, это не нравится. Обрезáли вы когда-нибудь яблоню? Если надо убрать выросшую не там, где надо, ветку, думаете вы о том, что скажут потомки? Щелк — одну, щелк другую. Секатором. Полно веток под ногами — а яблоня, красавица, цветет и по ее плодам потомки будут судить о деятельности садовника! В этом жизненность здорового общест-

ва. В том, что любая попытка скрытого врага будет пресечена. Обязательно, неотвратимо, при любых обстоятельствах. В пресечении все! — генерал опять шагнул вперед и навел свои горящие глаза.— Н-ну, а вы что? Не согласны?

— Нет, не в этом жизненность здорового общества. А в том, что обязательно, неотвратимо, при любых обстоятельствах найдется человек, способный не бояться этого вашего секатора. Пресекающая рука не всегда бывает права...

Федор Иванович сам испугался этих слов. Но по выжидающей одеревенелости генерала понял, что не сказал ни слова. Оказывается, загнал весь ком протестующей энергии внутрь! В нем все кричало: «Молчи! С ним нельзя спорить!». И генерал, кажется, услышал этот крик, наклонился, как бы наведя фонарик. Федор Иванович добавил покорности. Еще добавил. И «парашютист» отпустил внимание. Прошелся по ковру в молчании. Короткий смешок сотряс его, и он, словно отряхиваясь, покачал головой, поражаясь, недоумевая, и даже присвистнул.

— Интеллигенция!.. Ни черта же не понимают... А он сидит и то же самое думает про нас! Не-ет, друзья! Мы разбираемся в том деле, которое нам поручено. Понимаем, что такое Вонлярлярский и что такое Дежкин. Вонлярлярский ведь тоже прихрамывает на эту ногу. Почитывает Моргана. Но как читать... Мы тоже с Михаил Порфирьевичем заглядывали в эту галиматью. Нюхнули этого духу... Как чита-ать! У Вонлярлярского есть еще одна хромота. Он из абрикосовых косточек рожицы разные вырезает. В воскресенье пробежится по парку... удерет от инфаркта — и за работу. Разве мы будем ему мешать? Валяй, старайся, дед! Режь, пили свои косточки... И Мендель с Морганом у него на той же полке, с косточками. А вот Дежкин — это что-то новое. Честно скажу, я не все еще в нем понял. Серьезное социальное явление... Зарубежная реакция сразу почуяла... Руку помощи тянет. К-кык они сразу... Как воронье... Покажи нам гибрид, хотим посмотреть! Ну что ж, приезжайте, посмотрите... На этот гибрид. Вот он... Ишь ты, и галстук завязал. Узел, узел какой! Н-ну, комик...

Генерал опять остановился против Федора Ивановича, уставил восхищенные глаза. Рассматривал галстук,

сорочку, пиджак. Наступила самая долгая пауза. И вдруг:

— Тимур Егорович, отдай ему пропуск и паспорт. Пусть идет.

Не веря этой внезапной свободе, Федор Иванович легко шагал, почти бежал по улице, которая всего за три часа стала ему чужой, и чувствовал себя как иностранец. Но это постепенно проходило. «Ну-ну-у-у! — он качал головой.— Черта с два я еще приду к вам. Дожидайтесь. Сыт вашим гипнозом». Он вспомнил слова академика Посошкова о суеверном мистике-генерале, подкрепляющем свои странные речи еще более странными жестами. Да, Светозара Алексеевича можно было понять. «Только у моей черной собачки хвост еще кренделем. В кусты, в кусты! В лес!..»

VI

Этот зов теперь не умолкал. Он громко прозвучал и в воскресенье с утра — из радиоточки, из красного пластмассового ящичка, стоявшего на подоконнике. На лыжи! На лыжи! В этом зове слышались особые интонации, относящиеся только к тому, кто, проснувшись в шесть утра, напряженно обдумывал свой опасный план.

И как только областной диктор еще затемно кончил расписывать прелести солнечного утра и бега по «заснеженному парку», тут же был вынут из шкафа ярко-синий рюкзак, тяжелый от лежащих в нем кирпичей. Федор Иванович выложил на стол все шесть штук, поместил в рюкзак свой застегнутый полушубок и затем водворил на место кирпичи Теперь уже не подсознание руководило им, а расчет, учитывающий многие стороны предприятия. Лыжный вариант был уже утвержден. Оказалось, что нужен именно такой обширный рюкзак. Он удачно подвернулся в свое время. А полушубок попал туда потому, что пора было начинать приучать лыжную секцию к большому объему этого заплечного вместилища. Человеческое любопытство следовало надежно притупить. Федор Иванович затолкал туда же свою телогрейку, брезентовую куртку и сапоги, затянул все ремешки и полюбовался прекрасной формой и компактностью своего рюкзака.

Предстояла, можно сказать, последняя репетиция. Нужно было прогнать весь спектакль со всеми артистами, в костюмах, а для некоторых и в гриме.

Когда к десяти часам Федор Иванович подошел к толпе лыжников, собравшихся около общежития, он сразу заметил, что рюкзаки появились у многих. Идея, которую он подбросил полмесяца назад, не могла не найти последователей.

— Что это ты так нагрузился? — спросил маленький тренер, щупая и поднимая на руке его рюкзак.

— Те же шесть кирпичей,— сказал Федор Иванович.— Это я туда всякого тряпья насовал — чтоб кирпичи по спине не колотили.

— А я вот не догадался,— огорчился тренер.— У меня прямо по спине будут хлопать.

— Могу поделиться,— Федор Иванович тут же поставил свой рюкзак к ногам и развязал его перед всеми. Зрители окружили его. Среди них, должно быть, стоял и заглядывал в его рюкзак тот длинный поводок, на котором генерал отпустил погулять своего подследственного. Федор Иванович грубо выдернул из рюкзака свою брезентовую куртку, протянул ее тренеру.

— Вот хорошо, вот спасибо! — коротыш принялся развязывать свою поклажу.— А у тебя что-нибудь осталось? О-о, у него там ватник!

— Могу еще кому-нибудь...— Федор Иванович вытащил и телогрейку.—Бери, кто что хочет, только кирпичей не дам!

Телогрейка не потребовалась никому. Не бросив в сторону ни одного лишнего взгляда, Федор Иванович деловито затолкал ее обратно в рюкзак. Тренер скомандовал: «Поехали!»— и длинная цепочка лыжников стала вытягиваться по лыжне, набирая скорость. Все шло пока правильно, синий рюкзак уже не привлекал ничьего особого внимания.

Пересекли яркое под солнцем снежное поле — реку с густо насыпанными черными точками рыбаков, пробежали под обоими мостами и пошли на подъем. Надвинулись стройные сосны Большой Швейцарии. Федор Иванович работал руками, следил за дыханием, а мысли бежали сами собой. Какие-то странные мысли, в них не было привычного хода, не было обдумывания, а просто сами собой складывались представления о том, что таило опасность. Видимо, отдаленный голос в

эти очень важные, полные угрозы минуты вышел вперед, чтобы руководить человеком, и сильно потеснил простую и ненадежную механику мышления. В цепи лыжников нет посторонних людей,— негромко отметил этот голос и мгновенно, без слов вложил в душу важный факт. Значит, если длинный поводок уже существует, а он, конечно, существует, и не первый день... Значит, он не штатный, а свой, институтский. Из энергичных добровольцев, которые с давних пор оставались для Федора Ивановича неразрешимой загадкой. И, конечно, поводок появился не без участия Касьяна, вернее, при прямом участии академика... Который перевел своего «сынка» в идеологическую плоскость и указал на него «парашютисту». Видимо, поводок готовенький уже был, он, как и Краснов, скорее всего, не раз уже служил шефу, вместе с альпинистом нащупал для себя верный путь в науку. Его и «задействовали».

«Не тренер ли?» — в который уже раз захватило дух.— Нет! — запротестовал здравый смысл.— Он не биолог. И сигналы от него не поступают. Отдаленный голос молчит. Как же молчит? А это что — не сигнал? — заболело в душе...

Подъем становился отложе, перешел в горизонталь — начинался подступ к самому высокому месту, к голове Швейцарии. Здесь, на ровной лыжне, прибавили скорость и минут через десять быстрого бега остановились. Все вспотели, собрались теснее, горячо дыша, неласково смотрели на ожидавший их новый подъем. Федор Иванович навалился на палки и провис, ища удобную позу — чтоб не болела грудь.

— Вижу, вижу!— сказал тренер.— Наелись? Поворачиваем домой?

Почти все были согласны, что на сегодня хватит, и даже повернули лыжи назад, даже тронулись, считая дело ясным. Но четыре лыжника решили ехать дальше, они давно не были на голове этого взгорья, им хотелось еще раз испытать себя в немного рискованном, захватывающем спуске. Получить на крутизне «головы» разгон и пролететь километров восемь до самой реки. Четыре лыжника тронулись дальше.

Обе группы расстались, все было окончательно определено. И тогда Федор Иванович, повинуясь голосу, который сегодня отчетливо им руководил, сошел с лыжни.

— Я, пожалуй, тоже с ними! — крикнул он. Развернулся и резво, несмотря на боль в груди, побежал догонять четверых.— Хе-хе-хе! Хо-хо! — заулюлюкал, работая палками.— Эй, впереди! Подождите!

И сейчас же за ним засвистели лыжи. Он оглянулся. Бежали двое, оба студенты, старались догнать. И третий отделился от большой группы, работал вовсю плечами, догоняя. Третий был тренер.

— Тогда и я с вами! — весело крикнул он, настигнув.— Прибавляй, надо их догнать!

Получалась задача с тремя неизвестными. Эти три икса бежали за Федором Ивановичем, звеня палками, посвистывая снегом. Шел уже довольно чувствительный подъем, становился все круче. И Федор Иванович отступил с лыжни, пропуская всех троих.

— Ты что? — спросил на ходу тренер.

— Отдохнуть надо,— тяжело дыша, Федор Иванович схватился за бок.— Темп взял не по зубам...

Двое — тренер и студент — побежали дальше. А третий — студент из растениеводов, которого звали Славкой,— остался. Навалился на палки.

— Горит... Там...— отдуваясь, показал на грудь. Был как слепой — так запали глаза, прикрытые веками. Открывал рот и ронял голову с каждым выдохом.

— Ты совсем плох, Слава,— сказал ему участливо Федор Иванович.— Тебе, милок, надо домой. Давай, отдохни чуток и спускайся потихоньку, лыжи сами повезут... А я наверх дуну... догнать ребят...

Он и развернулся было, чтобы броситься наверх, к голове Швейцарии. Этот, жадно хватающий воздух, сейчас же пустится вдогонку. И можно будет записать: поводок обнаружен. Но тут же сработала догадка: будет слишком явно. Студент все поймет и доложит, что его раскрыли. И, главное, что была применена уловка. И тогда генерал с Касьяном примут новые меры. Поэтому Федор Иванович остановил себя. Махнул рукой, словно шапкой ударил оземь.

— Нет, я тоже вниз с тобой. У меня же военная рана. Все еще болит...

И, оттолкнувшись палками, они заскользили вниз. «Небось, имеет разряд»,— подумал Федор Иванович.

Они спустились вниз, пересекли реку, не спеша одолели подъем на Малую Швейцарию. В институтском городке расстались. Федор Иванович устало поднял

палку, беспечно салютуя удаляющемуся Славке, и тот рассеянно, не оглядываясь, повторил это движение.

Было обеденное время. Федор Иванович подъехал к своему крыльцу, не спеша отстегнул лыжи, потопал, обивая снег с ботинок, и вошел в темный коридор. Нащупывая ключом замок в своей двери, задел плотную бумагу, крепко заткнутую в щель. Жадно схватил, отпер дверь и включил электричество. В руке у него был почтовый конверт без марок и печатей, заклеенный и красиво, мелко надписанный: «Федору Ивановичу Дежкину». Все буквы, вырывавшиеся вверх или вниз за пределы строки, были украшены размашистыми завитками. Прорвав конверт, он вытащил плотно сложенные тетрадные листы. Не стал искать начала — читать начал с середины.

«У меня несколько раз менялось к Вам отношение — за то время, что Вы работаете у нас...— бежали мелкие, стройно нанизанные буквы, и над каждой строкой и под нею порхали такие же завитки. Почерк был женский, но Федора Ивановича на миг захватила догадка: не Краснов ли решил ему отписать? — Вы мне казались и тем, кого называли Торквемадой... („Нет, не Краснов",— подумал Федор Иванович.) А еще раньше я была в восхищении от Вашей научной аргументации — я была читательницей Ваших статей. Эти статьи, кстати, очень помогли мне когда-то уверовать в академика Рядно. Потом, когда пришла к пониманию истины в нашем деле, когда мне открылись Мендель и Морган, я поразилась: как такой человек, как Вы, мог не понять простых и таких доступных вещей. Я считала, что Вы еще там, откуда я навсегда вырвалась. Потом мне стало казаться, я даже уверилась, что Вы все давно и отлично понимаете. И тогда я открыла себе: он негодяй, каких свет еще не рождал. Я даже подумывала что-нибудь сделать Вам такое... что в моих силах. Все никак не удавалось. И в то же время я гнала эти мысли, что-то говорило мне: такой человек не может быть тем, за кого я Вас приняла, не подумав. Вернее, подумать-то подумав, даже слишком много, но аппарат для думания был несовершенный. А когда Вас „разоблачили", я поразилась, хотя и должна была этого ожидать. Наконец, все совместилось и стало на свои

места! Тут я увидела приказ о Вашем отчислении. Как плохо мы разбираемся в людях! Давай нам приказ, давай подробное описание всего, чтобы было видно до конца. Ужас! Как же мы будем дальше жить? Мне сразу стало ясно, что Вы должны будете уехать и что в моем распоряжении считанные дни, я ведь собиралась поддержать Вас, сказать Вам что-нибудь хорошее. Наблюдая за Вами, как Вы один бежите в ректорат или из ректората в свою келью для приезжающих, слыша разные толки о Вас среди преподавателей и студентов, я почувствовала, что в этой исключительной обстановке, которая продлится недолго и готовит какую-то страшную развязку, Вам нужен человек, на которого Вы могли бы с уверенностью опереться. Я даже собралась уехать с Вами туда, куда Вы должны будете отправиться. Решила ехать, независимо от Вашего согласия. Если бы все шло иначе и не было бы никаких опасностей, я не стала бы говорить так напрямик и „проявлять инициативу", и предоставила бы нашим отношениям, если им суждено иметь место, „нормально развиваться", потому что в самом этом „нормальном развитии" и есть счастье. При условии, что впереди не дымится обрыв. Но и тогда... Вернее, тогда, если дымится страшный обрыв, этому состоянию и названия нет. Тут я должна быть рядом».

«Зрелая, серьезная женщина!» — подумал Федор Иванович, прервав чтение. Смотрел некоторое время вдаль, сквозь стены.

«Если бы! Но тут все, все ненормально! — стал читать он дальше.— Я же знаю очень многое, что не могу доверить бумаге. И потому я, против всяких нормальностей и приличий, пишу Вам, и прав у меня гораздо больше, чем у онегинской Татьяны...»

«Студентка!» — подумал Федор Иванович и осекся. Он уже знал, чье это письмо. Мелкий почерк, некоторая школьная литературность. Письмо писали долго, оно явно было переписано начисто с черновика.

«Я поняла, что Вы единственный человек, которому я могла бы преданно служить, забыв о себе, и за кем пошла бы на любое испытание. Я могу быть самоотверженной подругой. Счастливейшая та женщина, та, кому достанется такой жребий. Счастлива Хендрикье, которая нашла своего Рембрандта! Не найди она его, разве стала бы она скромной, на все века сияющей из сво-

ей тени Хендрикье! Она заново родилась, встретив его! Но мой жребий, я вижу, совсем не такой. Мне не сиять. У Вас — бой, битва. Вы летите мимо меня, чтобы унестись куда-то вдаль, где мне почти наверняка нет места. Но струя воздуха задела меня, опрокинула. Вы улетите — разве после этой „незапланированной" встречи смогу я быть чьей-нибудь? А каково будет жить, не испытав самоотверженности, и знать, что это счастье ведь существует для кого-то, но не для меня? Поняли теперь, почему я нарушаю правила и пишу это письмо? Мне кажется, что такое чувство, как мое, не может пройти незамеченным с Вашей стороны, я уверена, что Вы догадываетесь, кто автор этого письма».

Он перевернул очередную страницу. «Дорогой Федор Иванович! — прочитал он. — Вам пишет человек, особа, которую Вы видите почти каждый день...»... В письме не было обычной концовки и не было подписи.

— Ну, ла-адно, — сказал он вслух.

Не глядя на розетку, включил электрическую плиту, не глядя, поставил на нее кастрюлю с водой — варить картошку.

Письмо незнакомки, чье имя он знал, хотя и боялся, даже для себя, даже молча, назвать, сейчас же натолкнуло его на одну мысль, и в понедельник рано утром он почти бегом бросился в город, к тому дому, где когда-то они с Леной несколько дней жили счастливыми супругами. Вбежал под арку, во двор. Забыв о лифте, понесся по лестнице к сорок седьмой квартире. И был миг, когда он почувствовал, что Лена — там, дома, ждет его к обеду. После того посещения, когда на лестнице и в квартире его встретили искристые мушиные облачка, он еще не раз ходил сюда. Сначала думал произвести второй обыск и, может быть, найти какие-нибудь адреса. Может быть, где-нибудь осталось фото Лены. Но всего лишь один раз ему удалось попасть в квартиру. Именно тогда в ней и клубилось золотистое облачко мушек. А когда пришел второй раз, желтых печатей на двери уже не было и вместо привычного замка новый хозяин врезал другие, целых два. И никто не отвечал на звонки.

Третий, четвертый этаж... Вот она. Сорок седьмая. Рука дрогнула — чтобы полезть в карман за ключом.

Он подавил это ненужное движение. И остановился. Уставился на новенькую латунную пластинку, привинченную к двери против его глаз. «Л. И. Тюрденев» — была глубоко вырезана на латуни странная фамилия, окруженная затейливым узорным кружевом. Федор Иванович даже тряхнул головой, чтобы проснуться, отбросить легкую паутину оторопи, вдруг опутавшую его. Почему именно здесь и на яркой латуни — такая неслыханная фамилия, как бы специально зачеркивающая прошлое?

Без всякой надежды он нажал кнопку. Дал несколько затяжных звонков, пустил серию коротких.

И вдруг за дверью вдали раздались шаги. Они медленно, неуклонно приближались. Как шаги Командора. Целую минуту Л. И. Тюрденев шел, пока не взялся, наконец, отпирать оба замка, стучать дверной цепочкой. Открыл в конце концов, посмотрел в щель и, увидев корректного серьезного интеллигента в красивом полушубке, открыл пошире.

— Вы хозяин этой квартиры? — спросил Федор Иванович.

— Да,— человек сказал это и чуть повернул голову, наставил ухо, ожидая следующего вопроса. Как будто сидел за письменным столом и принимал посетителя. Он был припорошен пылью служебных кабинетов невысокого ранга.

— Здесь жила моя жена...— проговорил Федор Иванович.

Хозяин квартиры молчал, считал, что фраза не окончена и в ней нет вопроса.

— Она обещала мне писать на этот адрес...

— А кто вы?

— Ее муж, Дежкин Федор Иванович.

— Да. Есть одно письмо. Лежит на окне. Я сейчас.

Он захлопнул дверь, и шаги его медленно удалились. Федор Иванович оперся рукой о стену, расстегнул полушубок. Ритмичными, сотрясающими ударами стучала кровь во всем теле. Вот шаги опять послышались. Они надвигались. Человек открыл дверь уже смелее. Он был в галстуке, но без пиджака. Показал высокое брюшко, которое лишь слегка было опущено в брюки. Приблизил круглое мучнистое лицо и острый, с блеском, нос. Он уже был хозяином положения, проницательно и строго посмотрел. И еще что-то давило во

взгляде — ему хотелось узнать что-нибудь новое к тому, что он уже знал.

— Вот письмо. Уже полмесяца...

Федор Иванович взял конверт, сильно забрызганный известкой, надорвал. Там лежал треугольничек, сложенный из серой соломистой бумаги, той, которая идет на пакеты для сахара и крупы. На треугольничке было написано тупым карандашом: «Пожалуйста!!! Отправьте это письмо!!!» И был адрес и фамилия Федора Ивановича с инициалами. Треугольничек сам развернулся в его дрожащих пальцах...

«Федор Иванович! Феденька мой! Везет меня лиса за темные леса, за Уральские горы. Не знаю, что будет дальше. Реву и одергиваю себя. Не даю. Чтоб не отразилось. У нас ведь будет ребеночек. Так что ты у нас теперь милый папочка, знай. Не бойся, мы выстоим. А тебя никогда больше не будем обижать, будем только любить. Целуем».

Письмо было написано тем же черным тупым карандашом.

— Я хотел бы попросить...— сказал Федор Иванович, чувствуя легкое удушье. Глаза его опять и опять схватывали серую бумагу и вдавленные в нее слова: «Уральские горы... ребеночек... Знай...»

— Пройдите, пожалуйста,— сказал Л. И. Тюрденев, слегка накалясь любопытством, и пропустил его в коридор. Ах, вот почему Командор так медленно шагал. Он шел и не сводил глаз со своей долгожданной новой, совсем пустой квартиры, оклеенной уже новыми темномалиновыми с золотом обоями, квартиры, поблескивающей белилами на дверях и окнах и крепко пахнущей олифой и скипидаром.

— Я хочу попросить...— сказал Федор Иванович и сам с болью почувствовал и усилил свой заискивающий взгляд, покорную позу.— Если еще будут приходить... Не могли бы вы складывать... Пожалуйста... Я могу долго отсутствовать... Могу даже целый год... Я буду так вам...

— А почему не на ваш адрес? — Л. И. Тюрденев начал расти, почуяв власть над другим человеком. Давала о себе знать глубокая, недоступная анализу тайна человеческих житейских взаимоотношений.

— Она не знает... Вам, наверно, известно, откуда это письмо...

— Да, я отчасти информирован. Она из этой группы? Но почему так получилось, что...

— Мы были в ссоре. Меня не было дома...

— Но у вас есть же свой адрес, где вы... Супруга сама могла бы...

— У меня нет адреса. Я напишу вам адрес одного своего друга. Или дам ему ваш...

— Странно как-то... Я не могу взять на себя такое... Извините, именно по той причине... Я не в курсе, как и за что... И почему вы...

Его любопытство уже насытилось. Теперь он все больше тускнел от страха. Мужественно медлил, понимая, что такой страх — это жалкая трусость. Он поднял голову выше, словно выпроваживал просителя из кабинета. И молча надвинулся, вытесняя.

— Убедительно прошу вас, больше не приходите и друзей не присылайте.

— Товарищ... Пожалуйста! — Федор Иванович посмотрел на него со смертной тоской.

— Я же сказал... Я же сказал, это невозможно, — тут он повысил тон. — Писем больше не будет. Простите, мне нужно на работу.

И дверь захлопнулась. И уже плотно закрывшись, продолжала стучать и щелкать цепочкой и замками.

Вечером, скрытый стенами своей комнаты, Федор Иванович начал сборы. Просматривал свой гардероб. Почти все галстуки оставил на дне шкафа. Они были уже не нужны. «Сэра Пэрси» решил взять с собой. Это был ее пиджак. Она его любила. «Мартина идена», поколебавшись, повесил в шкаф. Все сорочки, кроме трех, тоже решил не брать. Можно бы все лишнее отвезти в Москву, но остерегся. Переполошатся, начнут соображать, придумают что-нибудь. Тряпки, хоть и привык к ним, можно бросить. Строго ограниченный набор одежды сложил на столе и накрыл газетой.

Утром во вторник сходил к Тумановой, взял у нее все семена, сложил пакетики в сумку. На всякий случай спросил и у Антонины Прокофьевны, нет ли у нее каких-нибудь Леночкиных адресов. Может, адрес бабушки... В ответ только покачала головой. Ничего у нее не было. Рядом жили, не переписывались. Если надо — приходила.

— И моего она не взяла, дуреха. Могла бы хоть письмишко написать... Надеюсь, это не последний твой визит.

— Конечно! —ответил он легким, беспечным голосом. — У меня еще столько дел. По крайней мере, на полмесяца.

Она уловила неискренность.

— Если ты остолопа моего тогда так забоялся... можешь играть отбой. Больше его здесь ноги не будет. Он в Москве теперь. О чем мечтал...

И жестоко, нервно закурила. А затянувшись хорошенько, закончила:

— Ты ведь туда собрался... Надо же, как судьба не хочет вас разводить! Моего остолопа и тебя. У меня прямо предчувствие: быть, быть продолжению.

В этот день — во вторник — стала на место и последняя, определяющая точка. Часа в четыре позвонила Раечка и с улыбкой в голосе сказала:

— Федор Иванович? Соединяю...

И тут же в трубке раскатился и завибрировал миролюбивый, увещевающий бас Варичева:

— Федор Иванович? Надо бы поговорить...

— У нас, по-моему, все бумаги подписаны. Все решено.

— Не все, дорогой. Только начинается. Приходи, поговорим...

Федору Ивановичу хотелось сказать еще что-нибудь твердое — терять все равно было нечего. Но удержался. Уже понимал: надо учиться у природы молчанию. Твердые слова и жесты — прекрасная пища для хорошего уха. Они служат только обнаружению того, что держишь на самом дне души.

Но и молчание его оказалось красноречивым.

— Федор Иванович, ты, как я понимаю, обиделся... Вылезай скорей из бутылки. Дело общее, касается и тебя, и нас. Может быть, нас в первую очередь. Но и ты там фигурируешь. Так что приходи. Давай, в нерабочее время, после шести. Разговор будет долгий. На лыжах покатайся — и ко мне.

Как и советовал Варичев, он покатался на лыжах — с рюкзаком за спиной дошел до подъема на лысину Большой Швейцарии и спустился обратно. Чужие лыжники обгоняли его, кругом в лесу скрипел и свистел снег. Федор Иванович хотел проверить, существует ли обе-

шанный генералом поводок, но эксперимент не дал результатов.

Вернувшись, он умылся у себя над раковиной, надел «сэра Пэрси» и, завязав галстук, налегке побежал по тропке в ректорский корпус.

Варичев ждал его. Большая картофелина улыбалась всеми своими глазками. Толстые руки спокойно лежали на столе. Не спеша вышел на середину кабинета, обнял Федора Ивановича одной рукой. Повел в интимный уголок — к креслам и столику. Кажется, что-то говорил о лыжах, о хорошей погоде. И сам сходил бы, покатался, да вот...

— Дела! — закричал, приподняв уголок толстой и молодой, закипевшей губы, показав на миг голубые глаза. — Дела, одно другого краше! Так и прут. В очереди стоят, подпирают...

Они сели в два мягких кресла. Варичев явно подбирался к нему, хотел чем-то огорошить. Был похож на огромного мягкого щенка, который припадает то грудью, то щекой к земле, втягивая в игру, предлагая дружбу. Федору Ивановичу даже послышался под столом мягкий стук его тяжелого хвоста. Варичев потягивался, принимал привлекающие позы, манящие к откровенности. Вдруг вскочил и проворно, хоть и колыхаясь, прошел к двери, что-то сказал Раечке. Вернулся на цыпочках к своему креслу.

— Сейчас нам чайку...

Чаек, видимо, уже был согрет — Раечка тут же внесла поднос, поставила на столик между напряженными собеседниками. На подносе что-то блестело, что-то слезилось желтое, кажется, лимон...

Бывший зав проблемной лабораторией, отчисленный из института, а теперь приглашенный к ректору, молчал.

— Скажи, Федор Иваныч, — Варичев набрался, наконец, духу. — У тебя там, в учхозе, есть что-нибудь, что можно было бы показать... Полиплоиды какие... Осталось что-нибудь от Троллейбуса?

— Очень мало.

— Ну как же... Этот же, надеюсь, остался, который ты тогда... при ревизии? «Контумакс»...

— Его-то как раз и нет. Иван Ильич тогда же и унес.

— А про что же Посошков им сообщил?

— Петр Леонидович, они же все попрятали!

— Но ты-то статью свою. На каком-то основании ты ее писал же?

— Я все видел, держал в руках. Смотрел в микроскоп.

— Ну и где это все?

— Ума не приложу...

— Вот черт... Надо как-то решать... Ты должен нам помочь, Федор Иваныч.

— А что?

— Да этот же... Датчанин. Мадсен, что ли. Я думал, это так, думал, пугает нас Посошков. А он приехал. Завтра будет здесь. Он, оказывается, какой-то лауреат. Шишка. Ну, завтра я его беру на себя. Приедет после обеда... Отдых, конечно, полагается. Вечером ужинать будем. Это тоже, считай, сделано. Теленка уже привезли... Заднюю половину. А послезавтра, как хочешь... Кровь из носу... Тебе его брать. А? Возражения есть?

— Не возражения... Он же к Ивану Ильичу...

Тут Варичев упал грудью и щекой на стол и весело затаился, чуть заметно поигрывая всем телом, лукаво придерживая известный ему главный ответ. И опять застучал под столом мягкий хвост.

— Это все твои возражения?

— Но ведь Ивана же Ильича... Нет же его...

— Как это нет? Почему нет? Кто сказал? А ты кто? Ты и есть Иван Ильич!

Федор Иванович мгновенно все понял. Такие вещи ему не надо было повторять. «У них другого и выхода нет»,— это была первая его мысль. Тут же последовала вторая: «Прямо мистика какая-то. Опять я — Иван Ильич. Двойник! Дублер!». И еще одна: «Вот та подлость, тот уровень бессовестности, который мне следовало показать им. Только значительно раньше. И тогда было бы полное доверие. Краснову вот верят...». Тут же скользнула догадка: «Теперь, даже если проявлю этот уровень, не отпустят с поводка. Но пять дней побегать дадут. Свешников прав». И, наконец, пришло еще одно, деловое соображение, тактическая подсказка отдаленного голоса. «Недрогнувшей рукой»,— вспомнил он слова Ивана Ильича. Но слова эти преломились по-другому. Вперед выступил сам принцип — самостоятельно принимать мгновенные ответственные решения.

Его уверенно тащили в битву на небывалых высо-

тах. В страшный, смертный бой. И он уже видел волосатый, неосторожно и сгоряча подставленный бок... И сразу ослабела его напряженная собранность. Даже улыбка чуть наметилась.

— Какой же я Иван Ильич? — сказал он, уже готовый торговаться.

— А что же — я, по-твоему? — Варичев зачуял в нем слабину, усилил веселый нажим.— Кроме тебя некому. *Не Ходеряхина же заставлю притворяться гением!* — он особенно произнес эти слова и уставил голубые глаза, ставшие вдруг почти круглыми. Помолчал.— И выхода нет! Или я должен иностранцу говорить: посадили мы твоего Стригалева. Сидит он и вся его школа. Десять лет получили за свою пропаганду. Но это же ему не скажешь, не поймет. Единственный выход: вот ты. На себя возьмешь роль. Мы с тобой на совете немножко погорячились. Могут, могут быть у ученого свои точки зрения, мысли... Но ты же советский человек, сам понимаешь, этот датчанин растрезвонит же по всему миру...

— Я тебя буду душить, а ты молчи, не хрипи, а то сосед услышит, нехорошо про нас подумает,— Федор Иванович усмехнулся.

— Схема примерно такая... Но ты утрируешь,— и мягкий хвост застучал под столом.

— А Кассиан Дамианович как на это посмотрит?

— Это его идея. Его. Я не такой смелый. Ладно, я вижу, ты хоть и не умер от моего предложения, но все-таки стресс имеется. Я тебя понимаю. Когда он позвонил, я сам потом полбутылки коньяка выпил. В себя приходил. Хочешь цитату? Из Касснана. Он прямых слов не любит. Но намекнул отчетливо. А я ему напрямик: Дежкин не пойдет на такое. Академик отвечает: «Пойдет. Никуда ему не деться. На него уже дело заведено, он это знает. Он надеется, что я заступлюсь. И я заступлюсь,— так он сказал.— Я его вытащу из этой петли. Если он вытащит меня». Давай-ка чайку. Налью тебе...— Варичев поднял чайник и отставил толстый мизинец.— И заварочку покрепче, интеллигенция любит крепкий. Лимон — сам решай. А то еще не угожу. Конфеты вот... Коньяка не хочешь? А то достану... А?

«Надо соглашаться на коньяк,— подумал Федор Иванович.— Так будет больше похоже на капитуляцию».

А Варичев уже бежал тяжелой трусцой, нес бутылку и рюмки. Налил по полной Федору Ивановичу и себе.

— Давай...— чокнулся и влил в себя коньяк. Взял из коробки шоколадку. И Федор Иванович степенно отпил треть рюмки.

Здесь надо сказать, что Федор Иванович был настоящим русским человеком, сыном своих равнин,— и не только по внешности. В нем таился унаследованный от прадедов и подкрепленный недавними событиями и ранами сухой холодок по отношению к иностранцу. Он мог гостеприимно улыбаться, беседуя с беспечным и наивным зарубежным гостем, но все равно оставался лежащим в степи гранитным валуном, из которого смотрели бдительные, осторожные глаза. С иностранцем были связаны воспоминания о бескрайних, ползущих, как тучи, нашествиях, о горящих городах, истоптанных нивах, о девушках, угоняемых в рабство, о надругательствах над дорогими сердцу святынями. Он сам видел совсем недавно горящий Гдов. Город горел весь сразу, целиком. Дальняя родственница Федора Ивановича двенадцати лет была угнана в Германию, а недавно вернулась оттуда взрослой курящей женщиной с перламутровым немецким аккордеоном, висящим на ремне через плечо. С этого времени ему стали неприятны все аккордеоны. Очень нескоро сотрутся эти воспоминания, перешедшие из мысли в душу, ставшие чертой характера. Поэтому он хоть и содрогнулся, услышав предложение Варичева, но все же смог понять *возникшие затруднения,* общие для всех, в том числе и для Касьяна. И Касьян, поручая Варичеву эту щекотливую беседу, понимал, что Федору Ивановичу трудно будет отказаться от миссии. Касьян решил использовать его неподдельный, коренной патриотизм. Он потирал руки, дело было верное... Это все разглядел и Федор Иванович. Он даже покачал головой, отдавая должное великому шахматному таланту академика.

— Значит, окромя меня некому...— бывший завлаб погрузился в загадочные, каменные размышления, позвякивая ложкой в стакане. Эти мысли текли на такой высоте, куда Варичеву было не достать.

— Федор Иваныч, ты хочешь торговаться. Пр-равильно, выставляй свои условия. Не стесняйся, сойдемся!

— Что я ему должен буду говорить?

— Покажешь оранжерею, покажешь прививки. Но так, чтоб он видел, что ты не твердый мичуринец, а такой, какой ты и есть на самом деле. Что ты разбираешься и в колхицине.

— Хорошо. Это все?

— Еще ты ему скажешь... Ты, конечно, назовешься Иваном Ильичом.

Федор Иванович кивнул.

— Он начнет подъезжать. Покажи, мол, гибрид. О котором Посошков на конгрессе... Ты скажешь: гибрида нет. Слышишь? Нет его, это главное. Нет! Да и нельзя сказать иначе — если скажешь, что есть, значит, делай следующий шаг, показывай. А где ты его возьмешь? — Варичев странно посмотрел. — Где он, а? Или, может, где-нибудь есть? Нет же! Выдумка усопшего.

— Придется и о смерти?..

— О смерти ему уже сказали. А о гибриде — тут надо без запинки. Твердо скажешь ему, что нет. Что это целиком на совести покойника. Но в будущем мы надеемся... Есть предпосылки,— так скажешь.

— А скоро он отчалит?

— Отчалит в понедельник. Или во вторник.

— Что он здесь будет делать пять дней?

— Он же хотел с «Контумаксом» повозиться. В микроскоп смотреть на него и все такое, ты лучше знаешь. Может и раньше уехать, когда вникнет в ситуацию. А занять его найдем чем. В театр сходите с ним. Билеты будут.

— Такие вещи всегда выходят наружу,— задумчиво проговорил Федор Иванович.— Это такая лотерея... Что хочешь скрыть, то и вылезает. Попадет в мемуары, там эти штуки всегда — самое притягательное место. Столетиями поддерживающее интерес к тайнам...

— А мы постараемся, чтоб в мемуары попало только после нашей смерти. Через пятьдесят лет это будет интересный анекдот, даже возвышающий участников.

— Непредвиденное бывает... Такая ложь... Такое небывалое, невероятное вранье, оно и само по себе — факт, который очень интересен... Для тех, кто исследует загадки человека. Одно из белых пятен души...

— Согласен. Ты прав. А почему белое пятно? Потому что участники таких сделок сами про себя никогда плохо не писали. А сделки-то бы-ыли. Если разобрать-

ся, копнуть — э-э, Федор Иваныч! Только копнуть не дадут! Так что можешь спокойно грешить.

Говоря все это, Варичев с недоверчивым интересом, пристально смотрел в лицо Федора Ивановича: пойдет или не пойдет этот чистоплюй на сделку? Поиграет, поиграет, а потом шмыг в сторону под самый конец. Чтоб лапки не замарать. И придется заново все городить. У этой картофелины никогда не было такого кривого недоверчивого выражения.

— Задачка, между прочим, несложная,— убеждал он.— Ты, я и Кассиан Дамианович, больше никто не узнает. Могила! Даже Ассикритов не в курсе. А мы трое умеем молчать. Иностранец паспорта у тебя не станет спрашивать...

— В эту лотерею можно выиграть ба-альшой автомобиль,— сказал Федор Иванович.— А вы только что стали членом редколлегии.

— Ты убиваешь меня наповал,— Варичев засмеялся, сотрясаясь.— Ничего не поделаешь, Федор Иванович, придется рисковать. Академик у нас строгий. У него не порезвишься.

— Ему-то ничего не будет. Скажет, инициатива Петра Леонидовича. И исполнение...

— Поживем в опале! Побарахтаемся. Академик потом поднимет из праха. А тебе в твоем положении это будет даже полезно — пострадать. Академик не забывает услуг.

— В оранжерею пойдем, а там кто-нибудь и услышит, как датчанин меня Иваном Ильичом кличет... И как я отзываюсь на это имя... Какую-нибудь мелочь можно прохлопать... Или в театре кто-нибудь...

— Оранжерея будет пустая. И в театре будут созданы условия... В театр можешь и не ходить. Скажешь, заболел.

— В общем... В общем, я могу это сделать,— Федор Иванович прямо посмотрел в лицо Варичева.— Но я сделаю это при одном условии. Вы отмените приказ об отчислении...

— Сегодня же! — толстая рука Варичева прихлопнула на столе это решение.

— ...И издадите другой. Уволите меня по состоянию здоровья. Как инвалида войны. По моему собственному заявлению. Чтоб я мог куда-нибудь поступить.

— А с нами почему не хочешь остаться?

— Хлопотно у вас, Петр Леонидыч. Нагрузки много даете.

— Я серьезно, Федя. Было бы хорошо такого, как ты, иметь... Штатного. Для подобных экстремальных обстоятельств. А условия... Ты бы был доволен...

— Петр Леонидович, в таких делах аккордная оплата выгоднее.

Варичев захохотал, отошел к письменному столу и нажал кнопку звонка. Вбежала Раечка.

— Вот, отстучишь сейчас, Раиса Васильевна, приказ.— Он уже сидел и писал.— И вывесишь на доске. Федору Иванычу сделаешь к утру все выписки, а старые у него заберешь. Федор Иваныч, устроит тебя завтрашнее утро? Напишу тебе еще и характеристику с места работы. Подходящую... Утром Раиса Васильевна тебе отстучит, и я подпишу.

Раечка ушла. Улыбающийся Варичев вернулся к столику.

— Сделка века!— сказал он.— Даже жаль, что нельзя никому рассказать!

«Расскажешь,— подумал Федор Иванович.— Своим всем расскажешь. Хохотать будете».

Еще час или полтора они уточняли частности, и каждый записывал себе, когда и что Федор Иванович будет говорить и делать, и какое при этом должно быть обеспечение со стороны Варичева. Решили, что представление Ивана Ильича Стригалева датчанину состоится завтра в кабинете ректора, часов в пять. Варичев позвонит. И еще одна встреча будет за ужином.

— Наденешь новый халат. Серенькие там есть, тебе принесут,— сказал Варичев.— Как будто с работы забежал, из оранжереи...

— Когда в оранжерею пойдем, там и халаты наденем,— возразил Федор Иванович.— А представляться приду, как сейчас, в пиджаке и галстуке.

— Ты всегда был парень с головой. Вижу, серьезно относишься к ситуации,— сказал Варичев.— Ты все-таки подумай о предложении...

К себе Федор Иванович шел задумчивый. Не замечал довольно крепкого морозца. Надвигались большие, серьезные события. Свешников говорил дело: надо было дождаться датчанина. Вот уже одна победа есть —

документы! Куда бы мог Федор Иванович ткнуться без них?

Он напряженно вникал в то, что ему предстояло совершить, обдумывал те шаги, что уже сделал в нужном направлении. Старался постичь будущее, все последствия, которые наступят. Его поступки всегда тянули за собой целую цепь последствий. Сейчас у него не было выбора, не видел никаких боковых ходов, по которым мог бы уйти в сторону от ответственного шага. Можно было лишь броситься назад, сделать то, к чему его манило малодушие, трогавшее его под коленками. Он мог расширить «сделку века», отказаться от затаенной подкладки, которая была уже готова, даже в деталях. При этом мог и «подумать о предложении», выторговать себе что-то утешительное, гарантированный возврат к какой-то безопасной норме, к покою.

А второй путь, по которому он сейчас и шел, вел куда-то далеко вперед, там, за углами, туманился завтрашний день и громоздились гигантские последствия. Для кого-то, может быть, даже катастрофа. И там уже было не до забот о том, что станется с его маленькой телесной конструкцией, с мягкой куклой, умеющей закрывать глаза. «Посмотрел бы Цвях,— подумал он.— Вот где настоящая железная труба...»

Мысль Федора Ивановича летела свободно и ярко, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Он что-то шептал, глаза его блестели. Такова была его особенность.

И еще одна — счастливая — особенность была у него. Как бы ни складывались дела, стоило ему лечь и решительно приложиться к подушке, как он тут же и терял сознание, будто засыпанный тоннами душистого зерна.

Так что ночному телефонному звонку пришлось долго надрываться, чтобы вытащить Федора Ивановича из-под этой тяжести. Пошатываясь, медленно приходя в себя, он подошел к телефону.

— Крепко спишь,— дунул в трубку тот самый призрак, что так часто витал над ним, издалека наблюдал и распоряжался его судьбой. Дунул и постучал зубами: — Хых-х! Можно подумать, совесть чистая. Как у младенца... Батьку продал, тьфу!.. Продал и спит, кхых-х! И спит!.. — и он громко заплакал в трубку. Но это был его особенный смех.— Наконец-то, Федя, показал

ты мне свои зубы... Ядрышко дал попробовать... Смотри, как заинтересовалась международная реакция... Стоило только советскому человеку оступиться... Так и прилетели! Пфу-х-х!

Наступило телефонное молчание. Призрак медлительно вздыхал, выдерживал длинную паузу — чтобы Федор Иванович почувствовал.

— Что мне с тобой делать — никак не доберу. Ейбо!.. Может, посоветуешь? У меня ж хлопот до стобеса. И в правительство ж вызывают... А тут аполитичный сынок паскудит...

— Кассиан Дамианович... Вы звонили сегодня Варичеву?

— Ну и что? Звонил... Так ты ж врешь все, врешь! Ты ж не как люди. На тебя на самого надо капать индикатором. Фенолфталеином. Покраснеешь ты или посинеешь... И потом надо ж еще подобрать этот индикатор. Уй-юй, ху-ху-ху, это ж такая морока, надо ж его еще подобрать!..

— Я Варичеву дал твердый ответ.

— Зна-аю. И я тебе скажу твердо. Ты лучше не ври, не обещай. А возьми и поставь перед фактом. Что тебе Варичев предлагает — единственный выход. Сделай, что человек просит. Я больше не слушаю твоей красивой похвальбы. Пусть мне о деле доложат. Тогда посмотрю. Если хочешь получить у меня индульгенцию, сделай, что Варичев тебе говорил. Натворил — расхлебывай. Все подлижешь, чтоб блестело,— прощу.

— У меня тоже к вам претензия. Насчет «Майского цветка»...

— О чем ты? Что я автора второго не указал? Ну ж ты и зануда. Это ж была оши-ибка, не моя. Ее давно исправили. Я поднял переписку — там везде в моих заявках значится Стригалев. Сейчас готовится одна публикация — там уже два автора. Я никогда на чужое не кидался. Своего хватает.

— За эту новость, Кассиан Дамианович, я готов любое ваше задание...

— Врет! Ой, врет, все врет! Ему на сцену, а не в науку! Ох, фрухт... Хосподи, почему я его слушаю? Старость, старость, мягкий стал. Почему-то хочется верить. Может, и правда, Федька мой оценил, наконец, обстановку? Обстановка, Федя, серьезная, ты не ошибся. Я бы хотел, чтоб это было с твоей стороны твердо. Это

тебе последний шанс. Сам бог с неба Петра Леонидыча тебе посылает. Бог знает, как проверить человека. Читал Библию? Как он Авраама проверял... Зарежь мне в жертву сынка родного, тогда поверю, что ты меня любишь. Авраам был верен, не то, что ты... Сразу за нож схватился. Во-от, Федя... Сделаешь — батька тебе все забудет, начнем сначала наши отношения. А это будет досадный эпизод.

— Как же мы начнем с вами новую жизнь, когда...

— А так и начнем... От нуля!

— ...когда вы меня уже отдали генералу. Теперь я у него на поводке. Он завтра потянет этот поводок, и я окажусь в санатории, где Троллейбус.

— Что еще за поводок?

— Он сам мне сказал. Он же разговорчивый. Говорит: теперь академик вас официально передал мне. В идеологическую плоскость перевел. Чувствуете, чей это термин? И потом я не знаю, что значит — официально? Может, вы написали ему что-нибудь?

Федор Иванович сказал все это наобум. Как генерал — попробовал стрелять ночью. И попал в точку!

— Пхух-х! — академик забился в силке, захрипел своим длинным смехом. Залились свистульки в его легких, и Федор Иванович увидел его открытый зубастый рот, золотые мосты. Касьян смеялся, кашлял и при этом тянул, обдумывал ответ.

— Фух-х, кхух-х, Федька... С тобой не заскучаешь. Ой, хух-х! Не-е, не заскучаешь, за это я и любил тебя всегда, паскуду. Мы с тобой всегда, как два летчика... Как Маресьев и фашистский ас. Кто первый пузо покажет...

— Непонятный образ, Кассиан Дамианович. Неясно, кто фашистский ас.

— Ладно, не притворяйся, ты все понимаешь. Считай, фост у меня задымился. У меня всю жизнь фост дымится от твоих попаданий, Федя. Но ничего, пока держусь, летаю... Раз ты понял, наконец, что я тебе долблю уже тысячу лет, тут тебе самая пора делать последний вывод,— голос академика помертвел.— Затянулась у тебя юность. Сам же видишь, дурачок... Везде нужны поправки на жизнь. Может, наконец, перестанешь лягаться, пойдешь в упряжке, а? В упряжке твое назначение, а не лягаться. А поводок мы отберем назад у генерала. И овса в моей конюшне хватит...

— Я, Кассиан Дамианович, всегда хорошо ходил в вашей упряжке. Только я иноходец. А вы этого не понимаете. И не цените.

— Хух-х! Какой он мастак красиво говорить... Завтра посмотрю, какой ты иноходец. Варичев доложит...

VII

Назавтра Федор Иванович с утра побежал в ректорский корпус. Захватывало дух от ожидания. Хотелось посмотреть на доску приказов. Еще из коридора увидел: у доски стоял хиленький Вонлярлярский и словно лизал ее в одном месте, вдоль и по диагонали — вчитывался в новый приказ. На узкой полоске бумаги было и напечатано-то всего четыре строчки: «Отменить... Считать уволенным по состоянию здоровья, на основании собственного заявления...» Но Вонлярлярский перечитывал и разглядывал загадочную бумагу, то крутя головой, то вдруг замирая в недоумении. Увидев рядом Федора Ивановича, слегка шарахнулся, но не ударился в бегство, а застыл, напряженно ожидая первых разъясняющих слов со стороны соседа.

— Пока не подадите руку, ничего не скажу,— Федор Иванович улыбнулся и даже тронул ласково его круглую спину.

Но старик не верил ни во что. Узкий листок внушал ужас. От бумажки тянуло гробом, который недавно преследовал его, загнал в автобус. Тянуло белой рукой с золотым кольцом. И потому, сильно дернувшись, Стефан Игнатьевич отвалился в сторону. Только собственная осторожность могла спасти его. Споткнулся и с разведенными руками побрел по коридору, беззащитный, испуганный, как пятилетний ребенок. Федор Иванович с жалостью смотрел ему вслед.

Раечка уже приготовила конверт со всеми документами, он лежал на углу ее стола, на самом виду. Закаленная секретарша делала вид, что все это — в порядке вещей. Федор Иванович долго, внимательно рассматривал все выписки и копии, отпечатанные на хорошей белой бумаге. Подписи и гербовые печати были на месте. И характеристика звучала веско. «Политически выдержан, морально устойчив, пользовался заслуженным авторитетом...» — все нужные слова стояли на своих местах. Было даже такое, очень полезное: «В последнее

время страдал от плохо заживших фронтовых ран...» Спрятав конверт во внутренний карман пиджака и пощупав, как он там лежит, Федор Иванович чуть не подпрыгнул от радости. Подавив ликующую бурю, сказал Раечке, чтоб передала шефу, что Дежкин доволен документами. И ушел, чувствуя, как сквозь радость в нем холодно проясняется его завтрашний день. Документы были слишком хороши, безупречны. Конечно же, Варичев знал, что они пролежат в кармане уволенного завлаба не дольше пяти дней — пока не уедет иностранец. Потом все будет отобрано у него в шестьдесят втором доме, вторые экземпляры можно будет из дела изъять и опять подшить старый приказ, тот, где слышится твердый голос ректора — члена новой редколлегии «Проблем ботаники» и соратника академика Рядно.

Придя домой, Федор Иванович проворно переоделся и с рюкзаком за спиной, взяв лыжи, вышел прокатиться по своему уже привычному маршруту. Большая Швейцария опять была полна лыжных звуков, между соснами мелькали яркие свитеры и куртки.

Чувствуя близкое наступление решающего часа, он впервые поднялся на самую лысину взгорья. Здесь, среди редких сосен, стояла беседка и были полукругом врыты лавки. Можно было сесть и полюбоваться видом на город, на дымы заводских окраин и окрестности. Отдохнув на одной из лавок, он опять вступил в лыжню, оттолкнулся несколько раз, и склон плавно понес его дальше — вниз по незнакомому дальнему плечу Швейцарии. В конце этого десятикилометрового спуска давно ждала беглеца железнодорожная станция Усяты. Надо было обследовать и это плечо. Он правильно сделал. Склон оказался хоть и более отлогим, но здесь было два крутых поворота. Оба выбросили разогнавшегося лыжника в пружинистый сосняк. Так что пришлось повторить эту часть спуска. После второго поворота шла ровная, как натянутая нитка, лыжня, позволяющая хорошо разогнаться и лететь пять километров до самой станции. А слева светилось все то же пространство. Оно звало, предлагая какое-то новое решение, еще один вариант.

На половине спуска Федор Иванович все же остановился над круто падающим, поросшим соснами склоном. Хотелось осмотреть этот провал, на дне которого

между хвоей мелькали все те же грузовики, бегущие по шоссе. Его манил этот провал, воображение его уже разгорелось, он уже искал выхода из трудного положения. Деваться было некуда, и, не удержавшись, он попробовал осторожно проехать по эмалевому снегу. Косо поставив лыжи, вступил на склон, и его потащило между соснами вниз. «Ничего себе!» — подумал он, с трудом увертываясь от летящих на него стволов. И, наконец, на половине склона упал, перевернулся и зарылся в снег. Но, в общем, это было не очень страшно. Он даже повторил многократно и спуск и падение, каждый раз на новом месте. Хотя и не знал, для чего это может ему пригодиться. Что-то звало его еще раз прокатиться с горы. Всю жизнь он будет размышлять над тем, почему он барахтался на этих дурацких склонах. Причем и барахтался ведь не просто — как будто знал, что скоро будет дан старт тому неожиданному последнему спуску, который уже *пойдет в зачет*.

Это занятие увлекло Федора Ивановича, и он прекратил его лишь после того, как к нему присоединились два веселых молодых спортсмена, проезжавшие по верхней лыжне. Посмотрев сверху, ребята спрыгнули с лыжни на склон и, рухнув вниз, заюлили между соснами, как бы показывая Федору Ивановичу, как это делают умелые люди. Тот сразу убедился, что до них ему далеко. Провалился еще ниже, упал, рухнул дальше, почти задевая склон локтем, и, наконец, весь в снегу, выбрался на шоссе. Отряхнулся, снял лыжи и с поднятой рукой пошел навстречу катящим к городу грузовикам. Те двое были уже далеко вверху, где лыжня. Дружелюбно улыбались, когда он садился в кабину грузовика. Помахали ему палками.

А в институтском городке, когда, вскинув лыжи на плечо и надев на концы лыж мокрые варежки, думая о своем, не спеша шел к своему розовеющему вдали корпусу, он как бы сквозь сон услышал позади себя низкое и глухое:

— Федор Иванович...

Его окликнул некто, кого он обогнал, некая особа. Она явно прогуливалась здесь по дорожке, поджидая его. На ней было школьное пальтишко с маленьким стоячим воротничком из серой белки. Черные валеночки,

красные варежки и никакой шапки — она знала красоту своих темных, чуть красноватых волос, охватывающих голову, как две чуть дымящиеся скорлупки. Приподнятая воротничком, торчала толстая короткая коса.

Женя окликнула его, но шагу не прибавила, сохраняя достоинство, ставя ему первую невинную ловушку. И ему пришлось остановиться, подождать, пока она не спеша приблизилась. Даже шагнул к ней.

— Я прямо из ректората,— проговорила она глухим голосом, в котором пели несколько мощных течений, и самое главное — течение преданности.

— Интересно, правда? — спросил он, показывая, что ему кое-что ясно: Женя ходила читать новый приказ и сравнивала его с тем, что висел вчера. Это была уже неосознанная ловушка с его стороны. И Женя охотно ступила туда.

— Ага, интересно,— сказала она, не сводя с него глаз. И вдруг ее качнуло к нему, она порывисто подалась.— Это ужас! Федор Иванович! Что это за приказ? Я его весь ясно прочитала между строк. Не может быть, чтобы вас так, ни с того ни с сего пощадили. Вам нельзя обольщаться... Жалость там и не ночевала. По-моему, предшествовал торг. Я много об этом думала. Почему вы спрятали глаза? Был торг! И вы что-то им уступили. И я знаю, это были не крохи. Скажете, вру? За мелочь они не станут так переписывать уже вывешенный приказ. А крупное вы не уступите. Это невозможно, лучше умереть. Как Светозар Алексеевич. По-моему, вы сделали ход. Идете на риск. Может, даже на смертельный. Я ведь понимаю, Федор Иванович. Тут не до шуток. Вы мне должны поставить честную пятерку за такое гадание.

— Двойка,— сказал Федор Иванович, поднимая на нее незрячий взгляд. Он уже и в ней почуял «поводок».

— Правильно... А я вам за ваш ответ — пять с плюсом.— Она усмехнулась, погибая. И замолчала. Они прошли несколько шагов.— Вы не верите мне... Так и должно быть... Я же вас тогда...

Тут Федор Иванович заметил кое-что. Как-то так получилось само собой, что он оказался впереди Жени, а она шла за ним, отстав на длину лыж. В ее положении каждый шаг был словом. Она испытывала Федора Ивановича, как бы задавала немой вопрос, вверяя решение главного дела ему. Раз и навсегда. А он, идя

впереди, был жесток, не замедлял шага, чтобы дать ей поровняться. И так они оба долго шли в полной неопределенности.

— Вы прошли свое крыльцо,— сказала она тихо, ставя без всякой надежды новую ловушку.

— Я не подумал об этом. Невелика беда,— ответил он.

— Ой...— вздохнула она сзади.— Ох, я столько наделала глупостей. Больших глупостей. Вы угадали, кто писал?

— Чего тут угадывать... Конечно, угадал.

— Что же вы молчите, Федор Иванович...— сказала она, все так же идя сзади.— Надо отвечать.

— Я женат,— сказал он.— У меня ребенок.

— Я понимаю... Я ждала этих слов, догадывалась... Хотя все говорят, что вы холостяк...

И они опять надолго замолчали. Потом сзади опять послышался ее убитый голос:

— Федор Иванович... я ведь не в жены... Я согласна на второстепенное... Только не поймите... Куда я без вас?

— Это невозможно.

— Это возможно! Это возможно! Это невозможно для тех... Кто идет по ровному тротуару. Там невозможно, там закон. А вы — по воздуху, вы летите... Вы же не существуете, как существуем мы все. Вы — не для себя... Вы — сон! И я буду для вас — короткий сон. Вы не почувствуете предательства...

— А вам нельзя вдвойне...

— Кому — мне? Меня нет... Проснусь — и все останется в прошлом.

Федор Иванович оглянулся. Она догнала его. Уже держала за руку. Он смотрел ей в накрашенное лицо. Да, она накрасилась! Были густо начернены брови, слишком жирно, неумело тронуты черной ваксой ресницы. Взглянул — и сразу в его отношении к Жене не стало ни свободы, ни правды. Вместо этого рос какой-то страх, как перед убийством. И начал развертываться, уже выбросил из себя свой дикий медовый запах чертополох, страшно живучий чертополох безответственной дозволенности. Его, изранившись и сорвав, прячут от всех. Здесь опускают глаза даже друг перед другом.

«Красота бесконечно разнообразна,— шептал ему новый голос, которого он никогда не слыхал. — Это

главный багаж жизни. Перед тобой новый, неповторимый случай, он рядом. Потеряешь — уже не найдешь. Будет потерян кусок жизни. Ты можешь сегодня стать вдумчивым исследователем неповторимого. Ты — на границе захватывающего исследования...»

«Если бы это произошло... хотя тебе же ясно, что ничего не произойдет,— это был уже его собственный отдаленный голос.— Но если бы произошло, тебя ждал бы длинный путь. После Леночки Женя стала бы второй. Первой она бы не стала. А что такое вторая? Это та, которая стоит перед третьей. Женя, конечно, стала бы жертвой. Потому что это у нее любовь. Жизнь ее кончилась бы на этом. Как и жизнь той, самой первой. Пошла бы сплошная убыль. Все начало бы тупеть, бледнеть. А вдали, в конце, ждал бы вопрос: а существует ли вообще эта штука, это самое... даже неловко произнести... В общем, эта вещь, которая любит темноту, тайну и иносказание?»

— У нас с вами прямо как в аукционе,— Женя своей неопытной насмешкой попыталась столкнуть его с места.— Вы так долго думаете... Как будто считаете капитал. Я сейчас стукну молотком.

— Стучите,— сказал он.— Женя, решительно стучите, я не покупаю вашу жемчужину.

— Вы меня убиваете, Федор Иванович... Вы меня жестоко... даже на вас не похоже... Убиваете, убиваете!..

И чуть-чуть ускорила шаг. Еще ждала, что он... Но он не стал догонять. Она, медленно отдаляясь, шла впереди. Как бы озябнув, обеими руками словно бы застегивала на груди свое девичье школьное пальтишко.

А он, сам того не замечая, чуть замедлил шаг. Смотрел ей вслед, запоминая на всю жизнь ее оскорбленное движение.

Он долго не мог прийти в себя — все ему казалось, что он идет по снегу, глядя вслед удаляющейся куколке в школьном пальтишке. Надо было повесить мокрую лыжную одежду на батарею, он снял все и, застыв посреди комнаты, уронил весь ворох на пол и не заметил. Лег на койку и, плотно сдвинув брови, лежал так, водил пальцем по лбу.

Потом открыл глаза. Оказывается, пролетело три часа. Спал! Осталось всего полчаса! Брился под кра-

ном, не замечая холодной воды, умывался, приводил себя в порядок к встрече с датчанином. Ничего не обдумывал, у него не было такой привычки. Просто готовился. Приходил в новое настроение.

Около пяти часов зазвонил телефон.

— Это товарищ Стригалев? Иван Ильич?..— Звонила Раечка. Значит, и она была введена в курс. Как легко, игриво она вела свою роль! — Иван Ильич, к нам приехал доктор Мадсен, из Дании. Он хочет вас видеть. Вы можете подойти к нам?.. Он в кабинете Петра Леонидыча. Будете? Пожалуйста, Иван Ильич, вас ждут...

Федор Иванович уже был одет. Он сам бы не узнал себя — у него было острое, суховатое выражение, глаза глядели куда-то вдаль, как будто ничего не замечая вокруг, руки сами находили пуговицу, ручку двери. Постояв на крыльце, как бы перед опасным прыжком, он сбежал по ступеням.

Открыв дверь в приемную ректора, он услышал веселый голос Варичева, доносившийся из-за слегка отошедшей кожаной двери. «Оба там?» — глазами спросил у Раечки.

— Да, да, ждут,— закивала она.— Идите, идите.

И он вошел.

Варичев сидел за своим столом. Его молодые, приплюснутые азиатские губы были радостно раздвинуты, открыв до мокрых десен ряд желтоватых крепких зубов.

— Вот и наш доктор Стригалев! — он встал и протянул руки — одну к Федору Ивановичу, другую — к поднявшемуся из кресла высокому восхищенному золотисто-лысоватому иностранцу в очень больших очках с тончайшей, почти проволочной оправой. Иностранец смотрел на него, как на чудо, и восхищение его росло и распускалось, как утренняя заря.

Федор Иванович слабо улыбнулся, принимая в свою руку длинные пальцы датчанина. Потом он пожал незаметную, как воздух, руку сидевшей на стуле около Мадсена молодой женщины в темном костюме.

— Мадам? — сказал он ей, решив, что она тоже датчанка.

— Я из иностранного отдела,— сказала она.

Бросив на нее задумчивый взгляд, он по-хозяйски сел во второе кресло.

— Я очень рад с вами познакомиться, доктор Стригало́в,— сказал Мадсен на внятном русском языке, из которого был почти исключен мягкий знак. Этот русский язык слегка утратил живость от слишком добротного изучения и зубрежки.— Я приехал в вашу страну специально для того, чтобы увидеться с вами. Простите, ваше имя...

Лицо Федора Ивановича перестало ему подчиняться, он подменил ответ неуверенной улыбкой, и Варичев тут же сказал за него:

— Иван Ильич.

— Иван Ильич, таким я вас себе и представлял... Да, именно таким! И с ямкой на подбородке. Вы даже не можете себе представить, какую сенсацию вызвало у нас сообщение о вашей работе...— за очками иностранца все больше разгорались огни интереса и восхищения.— Это счастье для меня, что я могу здесь сидеть и разговаривать с советским ученым, который внезапно наставил нам всем нос...

— Мне кажется, вы преувеличиваете значение моих работ,— сказал Федор Иванович наконец, собравшись с духом. Варичев молча ему кивнул.

Датчанин не сводил восхищенных глаз с сидевшего против него «доктора Стригалова». Остановил на мгновение взгляд на его галстуке с «демократическим» узлом.

— У нас высоко оценивают ваши работы. Я привез несколько оттисков. Это статьи, где упоминается ваше имя и ваша тонкая работа по дифференцированию родителских хромосом. Авторы сигнировали эти оттиски для вас собственноручно — правильно я употребил это слово?

— Моя давняя, еще студенческая работа...— сказал Федор Иванович.

Это заявление вызвало особенный восторг датчанина.

— Знаю, знаю! Потому я и поверил словам академика Посошкова, которыми он утверждал, что доктор Стригало́в имеет гибрид «Солянум контумакс» и «Солянум туберозум». Это всемирная слава!

— Этого гибрида нет,— безжалостно отрезал Федор Иванович, и никто, глядя на него, не сказал бы, что этот ледяной худощавый человек в спортивном пиджаке борется с самим собой, почти теряет сознание.

— Я ожидал услышать это! — воскликнул датчанин. — Мои коллеги предваряли меня... предупреждали, что у вас всякое научное открытие является государственной тайной. Они говорили мне еще, что академику Посошкову будет узко... туго за разглашение этой тайны. Если я тогда не верил, что имеется гибрид, то теперь, когда я слышал, что его нет, я окончателно поверил, что он есть! Он есть! Вам придется мне доказывать, что его нет. Это будет трудно сделать, господин Стригало́в!

— Его нет,— повторил Федор Иванович и спокойно прихлопнул рукой по подлокотнику.— Заявление академика Посошкова лежит целиком на его совести.

Он взглянул на Варичева, и тот кивнул несколько раз.

— Я знаю академика Посошкова, это честный ученый! Дайте мне иголку, я хочу уколоть себя в это место,— смеясь, сказал Мадсен и, чтобы было ясно, о каком месте идет речь, приподнялся в кресле и сел.— Скажите мне еще раз, где я нахожусь? Вы действително — доктор Стригало́в?

— Нате вам иголку,— тоже смеясь, сказал Федор Иванович и достал иглу из-за борта пиджака, где он держал ее по армейской привычке.— Нате иголку и, пожалуйста, уколите себя. Я — доктор Стригалев, и говорю вам, что гибрида нет. Но работа в этом направлении ведется. Я получил от академика Посошкова ваш подарок...

Тут он вытащил из грудного кармашка флакон с колхицином и поднял его над головой. Глаза Мадсена округлились за очками. Варичев посмотрел на датчанина и удовлетворенно опустил голову.

— Большое вам спасибо за этот колхицин. На днях мы приготовим раствор и попробуем намочить семена.

Иностранец уже ничего не слышал. Держа в пальцах иголку, он, как девушка, не сводил с Федора Ивановича восхищенных, молящихся глаз.

— Я в восторге! Иван Ильич! Позволте проклятому капиталисту сфотографироваться с вами. На память. Камера у меня в чемодане, это сплошь да рядом. Здесь, сзади этого кресла. Мы все сейчас...

Варичев чуть было не вскочил при этом со своего места.

- Нет смысла фотографироваться,— Федор Ивано-

вич поспешно поднял руку, скорее адресуясь к нему.— Если бы у нас был гибрид — тогда другое дело. Увековечивать разочарование... стоит ли?

«Да, я, кажется, действительно интеллигент нового типа»,— подумал он при этом.

— Я мог бы показать вам некоторые свои полиплоиды,— добавил он.— Но этим вас не удивишь...

— Но вы же получили еще полиплоид дикого вида «Контумакс»...

— У меня много полиплоидов, но «Контумакс» меня пока еще не слушается.

Варичев с улыбкой наклонил свою картофельную голову и стал что-то рисовать на столе. Рисовал и иногда показывал то Федору Ивановичу, то датчанину веселый голубой глаз. Молодая женщина из иностранного отдела терпеливо присутствовала при сложной беседе мужчин, думая что-то свое. Судьба свела в одной комнате четырех человек, и все четверо были непостижимо разными. «Наверно, во всем мире не сыщешь четырех других объектов, так глубоко, бесконечно далеких один от другого»,— подумал Федор Иванович.

В восемь вечера, как и было запланировано Варичевым, все четверо опять встретились, теперь в его доме, на той же улице, где был дом академика Посошкова.

— Кассиан Дамианович очень доволен,— сказал Варичев, помогая Федору Ивановичу снимать полуперденчик, обнимая его.— Я звонил ему сейчас. Очень мы с вами выручили старика. Отлегло, говорит, от сердца.

За столом распоряжалась жена Варичева, с золотом и драгоценными камнями на гладких голых руках, в ушах и на налитой шее, и с высокой башней крашеных волос ярко-коричневого цвета. Своей рукой раскладывала всем куски, особенно же старалась подложить побольше иностранцу. Тот с интересом наблюдал это тяжеловесное гостеприимство. Молодая женщина из иностранного отдела сидела рядом с ним и изредка что-то говорила Мадсену на его языке. Федор Иванович, которого посадили против них, старался стойко выдерживать прямые восхищенные взгляды датчанина. А тот затеял игру — специально ловил его взгляд и, поймав, каждый раз, смеясь, говорил:

— Иван Ильич! Мне кажется, мы с вами поладим... Правилно я употребил?

Или:

— Страстно желаю сфотографироваться вместе с Иваном Ильичом Стригалёвым! И с профессором Варичевым!

Его так и тянуло к чемодану, где у него лежала камера.

Основательно выпив, датчанин стал рассказывать о своих встречах в Москве.

— Я хотел иметь беседу с Кассиановичем... с господином академиком Рядно. Он не желал меня принять. Я все-таки добился... О-о, я очень умею добиваться! И он меня принял. Оригинальный человек. Ума палата, правилно я сказал? Я его спрашиваю о «Солянум контумакс». Он отвечает: «Пейте чай». Я ему: «Вы не сказали». Он говорит: «Пейте, пейте чай». Я возражаю: «Я пью уже второй стакан!» Он отвечает: «Пейте еще. Умейте понимать слова». И еще сказал старинное. я записал. Вот: «Могий вместити да вместит». Я так и не понял: что это он говорит? О чае? Потом мы долго молчали, а после молчания он очень долго говорил. Он настаивал, что никакого достижения нет. Сказал: «Это блеф, так у вас называется в Дании? Блеф, сон, шизофрения». Так он формулировал. Он сказал: «Вас вообще, иностранцев, можно водить за нос, как хочешь. За усы водить, как таракана. Академик Посошков и водил вас, как хотел, на вашем конгрессе». Рядом с Кассиановичем сидел его маленький референт, а может быть, телохранитель. Профессор Брузжак. У них, по-моему, сложные отношения. Он незаметно толкал академика во время его рискованных пассажей. А Кассианович начинал на него кричать: «Отстань, шо ты меня толкаешь!»

Мадсен очень точно передал специфическую интонацию академика. Все расхохотались. Датчанин поднял рюмку:

— За здоровье академика Рядно!

Выпили и принялись за еду.

— Академик Посошков говорил совсем по-другому, — сказал Мадсен.

— К сожалению, он умер,— тоном председателя подвел черту Варичев, чтобы закрыть эту тему.

— Но он показывал мне настоящие фотографии! Это был «Солянум контумакс»! Я работал десять лет. Конечно, не совсем приятно, когда другой находит ключ

к замку. Но я обрадовался и поехал! Я поехал поздравить! Иван Ильич, пожалуйста, не ведите меня за усы, как насекомое.

— Нет никакого гибрида,— сказал Федор Иванович.

— Гибрид есть. У меня есть чувство. Наверно, вы не понимаете моего разочарования. Вы же знаете значение для человечества этого нашего с вами объекта. Я вот так показал академику Рядно в его кабинете картофел,— Мадсен при этом взял пальцами кружок жареной картошки и торжественно поднял. Он все время легонько шутил, но чувствовалась в его словах боль. И тревога.— Я говорю академику: у картофеля очень много врагов. Больше чем у мичуринской науки. Я люблю веселье, как и академик Рядно, и я позволил себе этот осторожный выпад. Академик не обиделся. Тогда я сказал: картофел скоро погибиет, если не спасать. Фитофтора, ризоктония, эпиляхна, нематода, вирусы... Победить такое войско врагов и скрыть победу от соратника... На это слово академик долго смеялся. Я знаю, он меня считал еще одним врагом картофеля. Вейсманистом-морганистом. Это ужа-асно! И капиталистом. А я не капиталист и не предпринимател. И я не лью воду на мелницу фашизма. У меня, как у многих датчан, к фашизму, кроме глобалных, есть и личные претензии. И я мог бы вписаться в вашу систему, если бы у вас не любили так одного академика Рядно и не грозили репрессиями тому, кто с ним не согласен.

— У нас никто не грозит тем, кто не согласен с академиком Рядно,— сказал на это Федор Иванович четким голосом.— У нас просто нет таких людей. Нет!

И Варичев чуть заметно показал ему одобряющий голубой глаз.

«Ну, я сегодня отличился»,— думал Федор Иванович, идя домой в одиннадцатом часу. Время от времени он качал и встряхивал головой. Когда он прощался с пьяненьким датчанином, тот ловил его руки и заглядывал в глаза. Как будто расставался навсегда с золотой мечтой. «Не верю!» — твердил он, слабо вырываясь из шутливого полуобъятия Варичева. А тот совсем закрыл глаза — вся картофелина улыбалась, подводя счастливый итог. И Федор Иванович убежал, чувствуя тяжелый стыд.

«Что это такое?— думал он.— Боюсь, что выплывут новые, непредвиденные обстоятельства и мой такой успешный бенефис прервется и будет зафиксирован навсегда на этом этапе? И все станет известным в этом виде... Боюсь таких обстоятельств? Правда, это — Касьяново изобретение, не мое. Или Варичева. Но все равно замарался. Нельзя, чтоб прервалось. Зачем я взялся за это дело? Нужно ли было принимать эту роль? Брать на себя имя человека, обреченного на пожизненные муки только за то, что у него были ум, талант и добрая душа Показывать, что ничего плохого с Иваном Ильичом не случилось, что он процветает и не такой уж талант, чтобы о нем кричать на конгрессах... Нужно ли было это делать?»

Нет, взяться за эту роль было нужно, необходимо. И надо было сделать это именно так, как сделал: недрогнувшей рукой. Иначе изобретательный Касьян придумал бы что-нибудь другое, и Федор Иванович уже прохлаждался бы в шестьдесят втором доме. А он не имеет права садиться в тюрьму. И все «наследство» Касьян прибрал бы к рукам. А на Иване Ильиче и его деле можно было бы ставить крест. Его дело стало бы великим делом академика Рядно.

Так что двойнику Ивана Ильича нужно, нужно было принять это оружие, которое насильно вложил ему в руки Рогатый. Хоть от этого оружия и тянуло противной псиной — теперь эта вонь перешла на Федора Ивановича. Но тут уже было не до этой замечательной вони. Часы были сочтены, приближалось время поражать Рогатого в пах.

И Федор Иванович незаметно для себя ускорил шаг. Он почти бежал, когда новая мысль вдруг, как стена, выросла перед ним, и он остановился. Не перестарался ли он в этой своей роли? Ведь он, похоже, достиг нужного Касьяну результата! Теперь Мадсен возьмет да и уедет сегодня ночью. И даст интервью. Скажет: очень, очень жаль, однако никакого сенсационного гибрида нет. У них это невозможно, отстали. Я, Мадсен, лично в этом убедился. И доктор Стригалев не такая уж яркая личность. Никакого интереса к науке, односложные ответы, типичный сторонник полурелигиозного взгляда... И все время оглядывается на начальство. Получалось, что Федор Иванович именно перестарался. Теперь генералу дадут сигнал, и он подтянет свой пово-

док и сделает то, что ему давно хотелось. А Касьян может спокойно брать у Варичева ключ и идти в комнату для приезжающих, вступать во владение всем собранным там богатством!

«Дожить бы до завтрашнего дня,— подумал Федор Иванович.— Не умереть бы. Не уехал бы Мадсен. Иначе вся эта гора лжи останется горой лжи и на ней можно будет ставить памятник величайшему из лжецов. В назидание потомству».

И еще одна мысль не давала покоя. Впервые пришла еще днем, являлась раза три или четыре, как слабый порыв ветерка, и сразу же опадала, не достигнув фиксирующих глубин сознания. А сейчас это уже был предупреждающий сигнал. Он уже громко звучал, стучался в душу, привыкшую внимать отдаленному голосу. Ведь если не выносить этот сор из избы и нагромождать такую ужасную ложь — это же только видимость избавления! Накапливается целое озеро грязи, как бывает в горах, оно соединится с другой грязью и будет стоять, пока первый же случай не расшевелит легкую плотину. И случай этот может наступить сейчас, ночью. Может опередить все планы двойника Ивана Ильича.

О чем говорят сейчас Мадсен и Варичев? Почему иностранец так смотрел, не сводил глаз? И вот еще: он же хотел сфотографироваться вместе! Рвался к фотоаппарату! Закрепить и увезти к себе невиданный факт! И Федор Иванович уже тогда почувствовал все, хоть и не понял рассудком. Потому и испугался, и уклонился от этого фотографирования...

«Иностранец знает, что я не Иван Ильич...— Федор Иванович даже вспотел от этой наконец оформившейся догадки.— Он знает, знает! Настоящий ученый умеет связывать из мелких фактов цепь, которая ведет к открытию. Не исключено, что и Посошков в беседе с ним обронил что-то, а этот поймал и запомнил, и теперь присоединил к цепи. Мадсен с восхищением наблюдал весь этот невиданный маскарад и делал свои выводы, недалекие от истины».

Этот ужас и дома ломился ему в душу, не давал спать. Пока Федор Иванович не улегся как следует на свою постель. Тут он вдруг потерял сознание — иначе это не назовешь, а когда очнулся, в окна вступало уже осторожное зимнее утро, и отчаянно дребезжал телефон.

— Иван Ильич?— это был Варичев.— Как мы ус-

ловились, доктор Мадсен сегодня отправляется с вами в учхоз. Сейчас придет машина, и мы с доктором едем. Я соскочу у ректората, а доктор подъедет к вам. И вы отправитесь. Сорок минут на сборы. Обедать — ко мне домой.

— Есть! — крикнул Федор Иванович, светлея душой. Все шло, как надо, ничего за ночь не случилось. Тревоги были напрасными. «А день будет мой!» — сказал он себе.

Одетый и причесанный, он пил чай, когда за окном зашумел мотор «Победы». Набросив полушубок, Федор Иванович степенно вышел. Около машины стоял Мадсен, одетый в дубленку такого же цвета, как сорок клубней нового сорта, лежавшие в ящике, прислоненном к окну. На голове у датчанина была черная кроличья шапка, купленная, должно быть, в Москве. Ее уже припорошил падающий отвесно легкий снежок. Держась за открытую заднюю дверцу, датчанин говорил о чем-то с молодой женщиной из иностранного отдела, сидевшей в машине. С той самой, что приехала с ним из Москвы. «Черт»,— подумал Федор Иванович. Вот о ком он забыл. Ведь женщина наверняка получила инструкции от Касьяна.

— Я полагаю, мы вполне можем раздвоиться. Дама поедет, а мы прогуляемся пешком с доктором Стригалóвым,— сказал Мадсен, увидев Федора Ивановича.— Здравствуйте, Иван Ильич, как поживаете? Вы не возражаете, если мы вдвоем с вами немножко пройдемся пешком? Приятный снежок, вы не находите? У нас в Дании принято на работу ходить пешком. Мы не имеем такую роскошь, как государственный автомобил.

Он приподнял шапку, прощаясь с женщиной и шофером, и машина укатила.

— Она едет за билетом в театр,— сказал датчанин.— Я очень люблю смотреть спектакл. Человеческая жизнь — сплошной спектакл. Завтра мы с вами идем в театр...— Они не спеша направлялись по тропе к парку.

— Потом я даю вам и господину Варичеву ответный ужин в ресторане «Заречье». Вы успеете проголодаться после нашего вчерашнего застолья? Я намерен угощать на славу.

— Нас ждет сегодня еще обед. У профессора Варичева.

— О-о,— весело округлил глаза датчанин.— Вы зна-

те, доктор Стригало́в, я у него сегодня ночевал. Я спал на седьмом небе. Как пршнцесса на горошине. А потом мы доедали с профессором вчерашнего теленка. Как два льва — большой н маленькнй. Но даже такие обеды не могут компенсировать мою потерю. Я еще не привык к тому, что не увижу...

— Вы увндите этот гибрид,— сказал Федор Иванович.— Он получен Иваном Ильичом.

После этих слов, сказанных спокойно и четко, наступнло долгое молчание. Был слышен только хруст снега. Они приближалнсь к первым липам парка.

— Я не ослушался? Правнлно я спросил?— подал наконец Мадсен тоже ие очень взволнованный голос. Этот голос отражал сложные вещн. Похоже, Мадсен давно ждал этих слов.

— Вы не ослышалнсь, — подтвердил и мягко поправил его Федор Иванович.

— Понимаю,— сказал датчаннн, и они опять замолчали.

— Я не доктор Стрнгалев,— сказал Федор Иванович, упрямо наклоннв голову и глядя перед собой.

Мадсен остановился.

— Прежде всего, дайте мне пожать руку этого честного неизвестного смелчака, который отважился порвать паутину.— Он замер, сжимая руку Федора Иваиовича, строго смотрел ему в глаза.— Я знал это еще вчера, — сказал ои, не отпуская руки. — В первую же секунду, когда вы вошли. Я идеалист, я верю, что есть великая тайна духовной жизни человека. Вы материалист, вы это отрицаете. Но я сразу все узиал, представьте себе. Чем вы это объясните? Я чуть не закричал. Я мог испортить этот замечательный театр. Несколько часов такого ужасного драматического спектакла, в котором я н сам нграл не последнюю рол. Хороший я артист, как вы предполагаете?

— По каким все-таки призиакам вы все узнали?

— Я сейчас вам преподнесу еще одну вещь. Материалный факт. Но я узнал все до того, как вспомнил об этом факте. Я прежде всего увидел вошедшего очень симпатичного человека. И сразу мие стало известно, что мою душу и вашу соединяет *астралный шнур*. Это сложная мнстнческая вещь, я не буду сейчас... Потому что начнется дискуссня с ортодоксалным атеистом, н вы меня сразу иа лопатки... Повторяю: я смотрел иа во-

шедшего человека с крайней симпатией. Потом я понял также, что вы ужасно страдаете, и мне захотелось помочь вам. Я уже понимал, что вы говорите неправду и страдаете. А в самую последнюю очередь — уже когда господин Варичев сказал: вот наш доктор Стригало́в,— я вспомнил факт, который давно знал и который непонятным образом на десять минут забыл — от моих переживаний. И еле удержался от крика. Ведь с господином старшим лейтенантом Стригало́вым я познакомился еще весной сорок пятого года. В Германии. Я был в маленьком немецком лагере. Не Бухенвалд, но тоже лагерь уничтожения. Филиал.

Тут он остановился, нервными и торопливыми движениями отдернул в сторону галстук, расстегнул сорочку и на морозе показал Федору Ивановичу свою голую грудь — светящееся белое тело худенького интеллигента. На этом молочном фоне была татуировка: длинная строчка, составленная из темно-голубых размытых цифр.

— Так татуируют животных,— Мадсен застыл, позируя, позволяя Федору Ивановичу хорошенько рассмотреть цифры и даже коснуться пальцем теплой груди.— Хорошая мысл, не правда ли? Пришла в немецкую голову... Чтоб было видно, соответствует ли труп списку. Знаменитая немецкая аккуратность. Немецкие точные приборы — самые лучшие в мире.

— Я видел такие вещи,— сказал Федор Иванович.

— Это подлинный документ. Вы должны понять. Я не пролетарий, но я — порядочный человек, который понимает разницу между золотой валютой и человеческой совестью.

Они медленно двинулись дальше, пошли по аллее. Мадсен застегнулся и, передвинув галстук на место, опять заговорил:

— Советские солдаты очень вовремя пришли. Как ветер. А то бы немцы нас всех расстреляли. Это был бы для меня не лучший вариант. Нас было немного, сотни полторы. Очень скорое дело — пах-пах-пах из автомата. А доктор Стригало́в командовал у советских солдат группой... рота называется. Правильно сказал? Он дал мне банку сгущенного молока. Я его благодарил, потому что еще тогда знал некоторые русские слова. А в беседе оказалось, что у нас есть общий, интернациональный, корень — наука. Я ему говорю: генетика! Он отвечает: Мендель! Я радуюсь, кричу: хромосома! Он

остроумный человек, отвечает: полиплоидия! Я кричу: «Солянум»! И вдруг он отвечает: «Контумакс»! Мы целый вечер беседовали. И когда начинали страдать от бедности моего тогдашнего русского словаря, мы переходили на английский. И мы заключили с господином Стригало́вым вечную дружбу. Ради этой дружбы я и принялся изучать русский язык. Ради дружбы и приехал. И уже во вторую очередь — ради гибрида. Когда я узнал на конгрессе, что это сделал доктор Стригало́в, я сразу понял, что это ни в коем случае не блеф и не шизофрения. А когда я услышал от академика Рядно эти слова, я получил двойное подтверждение. Когда такой человек говорит вам ответственную вещь... нужно его слова поворачивать на сто восемьдесят градусов — это будет правда. Я был хорошо подготовлен к знакомству с вами. И я счастлив, что вы этого не знали и сами мне сказали... доброволно. Нет лучше музыки, чем слово, которое говорит честный, добрый смельчак, невзирая на опасность и разделяющий туман. Потому что он не может обманывать. Давайте познакомимся, как вас зовут?

— Этого вам не надо знать. Зовите, как звали, Иваном Ильичом.

— А могу я увидеть того... кого зовут действително Иваном Ильичом?

— Не сможете.

— В таком случае я предполагаю сделать академику Рядно и профессору Варичеву сюрприз. Этот план родился в моей голове сразу, как только профессор Варичев назвал вас Стригало́вым. Я решил наблюдать, как будет развиваться наш мюзикл, и в последней сцене сделать всем длинное лицо. Мы будем считать, что нашей этой беседы не было. Правилно я решил? Я называю вас Иваном Ильичом еще три дня. Потом я заявляю протест против того, что вместо хорошо мне знакомого моего друга старшего лейтенанта Стригало́ва мне представили другого человека. И я буду требовать свидания с доктором Стригало́вым. Вы одобряете?

— Не могу обсуждать это с вами.

— Почему?— удивился датчанин.

Как раз в это время сзади них раздалось звонкое царапанье лыжных палок по снегу, и веселый голос окликнул:

— Федор Иванович!

Мадсен оглянулся, отступил в сторону и стал внимательно наблюдать. К ним подъехал разгоряченный, потный коротышка-тренер.

— Федор Иванович! Как вы завтра?

— А что?

— Подбирается хорошая маленькая компания. Можно сделать прикидку. Возьму секундомер. Посмотрим, что мы за бегуны.

Федор Иванович взглянул на датчанина.

— Доктор Мадсен...

— Пожалуйста! Вы хотите на лыжи? Я буду приветствовать... Федор Иванович,— датчанин посмотрел на обоих.— Я тоже люблю лыжи. Сам я завтра буду гулять. Посмотрю ваш город.

— Решено,— сказал Федор Иванович тренеру. И тот, подняв палку, окинув обоих веселым подмечающим взглядом, унесся на лыжах по аллее.

— В девять!— крикнул на ходу.— Без рюкзаков!

Проводив его взглядом, датчанин с вопросом посмотрел на своего спутника.

— Позволте считать, Федор Иванович, что теперь и я получил подлинное ваше удостоверение личности.

— Только вам следует сейчас же мое имя забыть. И никогда, нигде, ни при какой ситуации не вспоминать.

— Я уже все забыл. Моментально. Но вы... Иван Ильич, имели возможность видеть. Допустим, я даже не знал в лицо доктора Стригалóва. Этот лыжник вас выдал с головой. Опасное занятие водить таракана за усы. Когда я поеду в Москву, я скажу эти слова академику Рядно. Иван Ильич, я наблюдательный человек. Мне кажется, встреча с этим маленьким лыжником принесла вам заботу...

Он угадал. По лицу Федора Ивановича словно провела рукой судьба. Его сотрясало, укладываясь в нем, неожиданное, беспощадное решение. Снег идет! Если будет так валить весь день, надо бечь. Бечь сегодня... Пока валит снег.

— Это наш тренер по лыжам, какая тут может быть забота!— сказал он, вдруг повеселев.

«Да, да. Сегодня, после обеда. Катапультируюсь!..»

— Иван Ильич... Вы мне обещали показать гибрид...

— Да, обещал. Тогда давайте повернем назад. Он у меня дома.

Почти бегом они зашагали к городку. Как заговорщики, стремительно взбежали по каменным ступеням. Федор Иванович отпер свою комнату. Мадсен вошел и стал озираться, задумался.

— Иван Ильич, мне нравится это прибежище... В такой обстановке обман не живет... Вы можете не слушать, это бредни идеалиста. Я вижу, здесь у вас термостат...— он указал на ящик, прислоненный к оконному стеклу.

— Холодильник,— поправил его Федор Иванович.

— Замечательное оборудование,— серьезным тоном сказал датчанин.— Я вижу, здесь два термометра. Это правилно. Теперь я совсем поверил. В науке важно не новое оборудование, а новая идея. А что это такое?..— он взял с подоконника плоскую картонную коробку, о которой Федор Иванович уже забыл.— Это конфеты? О-о, это потрясающая вещь! — Мадсен открыл крышку.— Это театральный грим! — он приумолк, не сводя глаз с коробки.— Вы знаете, есть вещи, которые умеют в нужный момент попадать под руку. Вам приходилось слышать голос вещей? Я себе тоже куплю такую коробку...

— Возьмите ее от меня на память.

— О, я охотно беру, спасибо! Иван Ильич! Какое великое напоминающее значение может иметь подобный сувенир...

— Мне эту коробку тоже подарили. С таким же значением.

— Это должно было произойти. У этой коробки всегда была специалная рол.

— Я бы не отдал ее вам, но у меня назревает особая ситуация, в которой это будет лишняя вещь.

— Вы искажаете действителность. Я полагаю подругому: пришло время мне встретиться с загадочным человеком, носящим имя моего друга, и коробка дождалась своего выхода на сцену.

— Давайте лучше к делу. Вот...— Федор Иванович достал из ящика, прислоненного к окну, клетчатый носок, в котором лежали клубни, переданные Свешниковым.— Это полиплоид. Клубни — это недостаточно убедительно. Надо прорастить, сделать цитологический анализ, сравнить... Нужна неделя работы.

— О, я вижу цвет и расположение глазков. Это «Контумакс»! И это настоящий полиплоид. Этот один

клубень вы во что бы то ни стало подарите мне. Я буду анализировать дома.

Федор Иванович взял клубень из его руки и положил обратно в носок.

— У вас есть фото. Теперь у вас будет еще уверенность — вы видели этот полиплонд.

— Вы меня разочаровали...

— А вот ягоды,— сказал Федор Иванович.— Это тот самый гибрид. Сенсационный.

— Феноменално,— Мадсен держал в пальцах ягоду, осторожно поворачивал.— Почему около него нет охраны?

— Тоже, видите, сухие... Если бы приехали весной или летом, я показал бы вам то, что вырастет из семян.

— Я приеду летом! Но лучше, если вы дадите мне несколько семян.

— Это не принадлежит мне. Я только хранитель.

— Я знаю, у вас все принадлежит государству. Государство знает про этот гибрид?

— Оно ничего об этом не знает.

— Но академик Посошков отчетливо заявил...

— А автор, Иван Ильич Стригалев, тоже отчетливо заявил доктору Мадсену, что гибрида нет. И академик Рядно говорил...

— Я помню, были такие... авторитетные заявления. Тогда я согласен. Гибрида нет. Значит, это фикция. И вы можете безопасно дать мне семена этого подозрителного... даже несуществующего растения. Я буду их проращивать с максимумом внимания. Я торжественно обещаю сохранить приоритет доктора Стригалóва. Я даю вам сейчас расписку.

— Не могу,— Федор Иванович слабо улыбнулся и положил все три ягоды в специальное отделение ящика.— Семена эти — большая ценность, а я, по сравнению с нею, маленький человек. Не имею права распоряжаться.

— Но государство не желает видеть такой картофел! Он получен реакционным методом, враждебным социализму,— Мадсен говорил это серьезным тоном.

— Пойдемте,— Федор Иванович открыл дверь.— Пойдемте, а то нас будут ждать в учхозе.

Когда они вышли наружу под мягко падающий снег, когда уже тронулись к парку, Федор Иванович сказал:

— Доктор Мадсен, государство — общее понятие.

Все, кто у нас ест картошку, всем этот гибрид и принадлежит.

— А кто ест и отказывается от нового сорта. Официально...

— Кто официально отказывается, того завтра не будет.

Они остановились. Два мира стояли лицом к лицу и не понимали друг друга. Федор Иванович был ревнивым критиком своего мира, не то, что Саул или Рядио. И Мадсен был далеко не апологетом своих порядков и, конечно, не Рокфеллером. Даже с интересом поглядывал в нашу сторону. Но ни то, ни это не помогало. Правда, со стороны Федора Ивановича слабый проблеск понимания все-таки был. Он мог бы даже поделиться семенами. Но его студенческие познания из области политической экономии говорили ему, что *там* этот гибрид немедленно станет предметом торговли и даже спекуляции. А с ним, с гибридом, связано столько бессмысленных, дурацких потерь. Бессмысленные потери, которых могло не быть, причиняют особенную боль, и то, что добыто и сохранено такой бессмысленно дорогой ценой, нельзя выбрасывать на прилавок, где идет торг... Да и датчанин не посмел бы шутить, если бы знал все, чего иностранцу ни в коем случае знать нельзя. Так что теоретическая возможность понимания оставалась. Но Мадсен никогда всего не узнает. Не узнает даже от того, с кем его связывает «астральный шнур». Потому что валун, лежащий в степи, не выдает своих тайн. Он может только настороженно смотреть.

VIII

Было три часа. День уже начал мутнеть. Сверху, из грустной мглы, все так же медленно, строго вертикально опускался белый, влажный, отяжелевший пух. Природа подтверждала решение Федора Ивановича. Войдя в свою комнату, он зажег свет, снял полушубок, встряхнул его и, сразу же застегнув на все пуговицы, бросил получившееся вальковатое туловище на постель. Достал из шкафа рюкзак, вывалил из него уже ненужные кирпичи и ногой задвинул их под койку. Потом опустил в рюкзак застегнутый полушубок воротником вниз. Сунул туда обе руки и втянул внутрь толстый воротник, чтобы образовалось теплое меховое дно. Сверху уложил

две сорочки. Движения его были резки и точны. Несмотря на то, что через час его ждала фантастическая дорога, по которой никто на его памяти еще не ходил, несмотря на это, он действовал словно по заученному четкому расписанию, как действуют по тревоге пожарные.

Потом он спохватился и задернул на окне обе занавески. Отнял от стекла холодный ящик с отделениями и поставил его на стол. Тут же был выхвачен со дна шкафа ворох носков, и в каждый носок перешла горсть мелких клубней и бумажка с крупно выведенным латинским названием. Три ягоды гибрида, тетрадь и блокнот с шифрованными записями пошли туда же. Сорок ровненьких клубней нового сорта он завернул в третью сорочку и тоже опустил в рюкзак. При этом Федор Иванович быстро шевелил губами, что-то насмешливо шепча. Можно было бы разобрать слова. Он шептал: «Евгеническая... вейсманистско-морганистская... Какая ты еще? Классово чуждая картошка! Полезай, полезай, врагиня, в рюкзак! Хух-х-х! Хых-х! Лежи, паскуда...»

После этого он снял брюки и принялся зашивать в пояс и в карманы деньги, полученные от академика Посошкова. Он до сих пор их еще не сосчитал. Там было двадцать, а может быть, и сорок тысяч — гигантский капитал. Из потайного кармашка, заколотого булавкой, достал два золотых кольца, надел их по очереди — одно на безымянный палец, другое — на кончик мизинца. Забывшись, долго смотрел на них. Провел рукой по лицу. И опять положил кольца в кармашек и зашил его. После вдумчивого осмотра задних карманов вложил туда все свои документы и письмо Лены. Письмо, написанное тупым карандашом на серой бумаге, перечитал несколько раз, постигая знакомые особенности почерка. Потом вдел в иглу новую нитку. Зашивая карман, вдруг остановился, отложил работу. Погасив свет, подошел к окну, чуть отодвинул край занавески. На улице уже были глубокие зимние сумерки. Снег стал гуще, уже не было видно сараев, бесконечный тяжеловатый занавес все так же медленно опускался.

— Снег... Это хорошо,— шепнул Федор Иванович.— Эт-то хорошо.

Зазвонил телефон. Варичев рокотал в трубке.

— Я тут прилег... после нашего скромного обеда,—

он засмеялся.— Думаю, надо позвонить... Ивану Ильичу... Ты как себя чувствуешь?

— Не очень,— сказал Федор Иванович.— Я, помоему, еще вчера объелся. А сегодня добавил.

— То-то ты водки совсем не пил. И ели оба с доктором как две барышни...

— Пищеварение у меня что-то разладилось. Плохо... Лежу вот... Таблетки принял, может, засну...

— Мне Мадсен говорил, ты утром на лыжах собираешься?

— До обеда собирался, верно. В лечебных целях. А теперь не знаю... Если живот пройдет, попробую. Если нет — буду лежать.

— Ладно, лежи. Это даже хорошо. Завтра позвоню. Нам же вечером в ресторан...

— Я сам позвоню, Петр Леонидович. Отрапортую...

Федор Иванович положил трубку и долго не отрывал руки. Наплывала догадка. Варичев! Пожалуй, вот кто наблюдатель! То-то звонить стал. То он, то Раечка. Дал, наверно, гарантию генералу. Давай, наблюдай. Черта ты увидишь в такой снег...

Когда все было зашито, он сложил «сэра Пэрси» подкладкой наружу и, как пыжом, запечатал всю картошку в рюкзаке. Оставалось много места. Он взял в шкафу покинутого и грустного «мартина идена», сказал: «Не судьба расставаться» — и тоже поместил в рюкзак. Сверху затолкал сапоги, телогрейку и курчавую шапку. Прикрыл все большим конопляным мешком. Тут был свой план: нужные вещи должны лежать сверху. Почему нужные? Федор Иванович уже знал, почему: проворно складывая вещи в рюкзак, он не раз останавливался и замирал. Он видел в живой от опускающегося снега темноте мигание огоньков. Его ждала станция Усяты. Он степенно входил в зал ожидания, входил уже безликим, согнутым под тяжестью большого серого мешка человеком из пригорода, приземистым мужиком в широкой стеганой телогрейке, сапогах и в черной курчавой ушанке...

Опять задребезжал телефон.

«Сволочь, Варичев, теперь не отстанет, наверно, поручил кому-нибудь проверять»,— подумал Федор Иванович, снимая трубку.

— Да-а! — сказал он громко. Трубка молчала. Подержав у уха, он положил ее на аппарат.

Был, наконец, туго затянут и завязан шнур рюкзака, застегнуты все малые ремешки на карманах. В комнате не осталось ничего нужного. Она сразу стала чужой. Только знаки, напоминавшие иксы или песочные часы, нацарапанные на стене и на столе, посматривали на Федора Ивановича как единомышленники. Он взвесил на руке свою поклажу. Получилось легче шести кирпичей. Поставил рюкзак на стол, глянул издали. Форма была прежней, рюкзак не должен был вызывать подозрений.

Шел уже пятый час. Не теряя времени, Федор Иванович натянул брюки и свитер, зашнуровал ботинки. Прежде чем навсегда покинуть эту комнату, где, как в скорлупе, созрела и вышла на свет его позиция по отношению к беспечно распоряжавшемуся в жизни злу, он, не гася света, осторожно вышел в коридор и чуть приоткрыл наружную дверь. На улице все так же отвесно опускался густой снег. Сверху из тьмы текли бесконечные занавесы, их было много, за самым ближним виднелись другие, слегка выделенные желтым светом окон, и по ним проходили волны. Стояла тишина.

Федор Иванович приоткрыл дверь пошире, еще раз посмотрел по сторонам, потом вышел на крыльцо — и тут увидел, вернее, угадал неподалеку от крыльца, за светящимся третьим или четвертым занавесом снега темный столбик. Там неподвижно стоял человек.

Сбежав по ступеням, Федор Иванович гневными шагами проследовал к человеку, который не двинулся с места. Крепко взял его за рукав. Это была Женя. Он молча потащил ее к себе, и она побежала, спотыкаясь, как провинившийся мальчишка. Сколько было счастья в этом ее барахтанье! Бежала, спотыкалась и при этом оправдывалась:

— Я чувствовала, что вы уезжаете... Я должна была...

Он втащил ее в свою комнату и щелкнул ключом.

— Теперь вы останетесь здесь до утра,— сказал четко.

— Я согласна...— она вызывающе посмотрела. Как будто зашипела ему в лицо.

В это время грянул телефон.

— Да-а!— заревел в трубку Федор Иванович.— Да-а!— бешено забился он.— Черт знает, что...— бросил трубку на аппарат и обернулся к Жене — сов-

сем другой, тихий и мягкий.— Что же вы без шапки... Надо отряхнуть волосы... Вот так... Снимайте, снимайте пальто. Вот сюда мы его, пусть сохнет. Да не бойтесь вы меня. Это я врал по телефону. Чтоб подумали, что я страшно злюсь. Звонят все время... И вам надо научиться врать... Если вы всерьез осуществили ваш поворот... В сторону настоящей науки...

— А я уже давно... Это же я сама дала ребятам... ветку оторвать. Мы поспорили... Я уже чувствовала, что правы они, но поспорила. Не хотела сразу сдаваться,— и она хихикнула.— И вообще после этого столько было вранья... Я поклялась Богумиловне забыть свои заблуждения, забыть, что читала у Менделя. И опять высеяла пшеницу под зиму. Ту, что вы видели... В изоляторах...

— Ну вот... Вот мы и вместе. В науке.:. А лишнего ничего нам нельзя.

Она опустила голову. Отвернулась.

— Тем более во сне. Это никак нельзя, то, что вы говорили. Видите, у меня уже рюкзак... Комната уже вся пустая. Ухожу я, ухожу. Навсегда. Сам еще не знаю, куда. Такие тоже сны бывают. Через год вы опомнитесь... Чтобы оставаться тем, кем вы меня считаете, чтобы не оказаться другим... я должен вести себя только так, как веду. Или мне стать профессором Брузжаком? Или Красновым? Нельзя, Женя, не судьба.

Они сидели друг против друга. Женя была умная девочка, все понимала. Повернулась к нему, тяжело взглянула в глаза.

— А если случай особый? Если я все беру на свою ответственность? — тихо спросила она.

— На эту ответственность у вас нет права.

— Не понимаю...

— Нет права. Нечем отвечать. У вас жизнь еще не пошла на второй круг. Вы первого круга еще не закончили.

— Какой еще круг? Не знаю и не хочу...

— И не надо знать. Знание появится само. Тут и начнется второй круг.

Зазвонил телефон. Женя хотела поднять трубку. Он перехватил ее руку, и эта рука, растаяв, доверилась ему. Вместе со взором, с надеждой. Подержав ее на весу, Федор Иванович положил ее на стол и слегка пристукнул сверху осторожным кулаком.

— Вот так. Пусть лежит.

А телефон настойчиво разливался звоном. Федор Иванович снял трубку и, задыхаясь, простонал:

— Ох, неужели нельзя... Неужели нельзя дать заснуть больному человеку? Отстаньте ради бога! — он захныкал.— Ну что же это за...

Уронил трубку, поднял, охая и отдуваясь, не мог никак уложить ее на место. Наконец, попал, как надо...

— Караулят...— сказал, глядя на аппарат.— Поняли теперь, что не судьба?

— А почему же... Зачем тогда я вам... до утра?

— Зачем? Сейчас скажу. Видите — рюкзак. Лыжи. Сейчас я выйду отсюда, и больше меня здесь не увидят. А вы одна тут останетесь сидеть. Где сидите.

— А как же ваш иностранец? — шепнула она.

— Потому меня и караулят, чтоб сидел на месте. Чтоб не сбежал. Этим иностранцем прикрывшись, чтоб не ушел. Сейчас вот уйду, а вы останетесь дежурить тут до утра. Если у вас нет возражений... И будете, как только зазвонит, снимать трубку. И на место класть. Как будто это я здесь сижу и снимаю. Свет не гасите. Это будет ваша мне помощь. До вашего, Женя, появления я ломал голову — как бы оторваться от этих... Не знаю, кто они. А теперь все будет в порядке. И вы можете твердо знать, что вы спасли меня. Освободили. Всю жизнь это буду знать. Не забуду. Сейчас дождемся, пусть позвонят еще...

Они замолчали. Женя взяла его руку.

— До звонка,— шепнула и, наклонившись, приложила щеку к его руке. Закачалась, вдавливаясь в эту руку.— Я вас люблю, Федор Иванович. Я серьезно... Но вам уже не опасно... Я опоздала, опоздала... Вижу все, вы уже давно летите куда-то. У вас глаза блестят. Ждете этого звонка, прислушиваетесь... А ведь если бы не было этого вейсманизма-морганизма... И академика Рядно, и всех этих... обстоятельств... Я могла бы и пропустить вас. И вы бы не летели куда-то, а тихонько преподавали бы что-нибудь. Что-нибудь спокойное. Биология ведь спокойная наука, правда же? А меня интересовал бы какой-нибудь лыжник со спортивным разрядом... Институтский чемпион...

— Почему именно лыжник?

— Это я так... Просто когда я ходила против вашего окна... Как сторож...— она шепнула это чуть слышно

и покачала головой.— Да, как сторож ходила... Они проехали два... а может, три раза. Наши, институтские.

— Сколько их было?

— Не знаю. Четыре или пять...

— Н-да-а. Два нли трн раза... Это мон, Женя, лыжники. Боятся, что уйду. Понимаете, как важно, что вы здесь?

— Все давно, давно поняла, Федор Иванович. Не мешайте мне. Я с вами прощаюсь. Ах, дорогой Федор Иванович... Я была бы такая верная у вас подруга... Не забывайте хоть меня. Все равно вы меня всегда будете помнить и, в конце концов, полюбите. На расстоянии. А на старости лет,— она усмехнулась,— когда у нас с вами пойдет второй круг, я вас найду. Говорят, что самая большая любовь прнходнт с сединами.

Он молчал.

— Вот и молчите. И нн слова. А я буду ждать старости. Вы не можете мне запретить мечтать. Я не сдамся, Федор Ивановнч. Я не могу нажать на своем теле кнопку и перестать мечтать... Стригалев так говорил...

— Вы были там, год назад?..

— Я н Стрнгалева могла полюбнть...— тихо сказала она.— Больше ннкого нет. Кроме одного,— она усмехнулась и шмыгнула носом.

Тут, раня и трепля душу, отчаянно зазвонил телефон.

— Не трогайте, рано,— сказал Федор Иванович.— Я сплю. Он должен меня разбудить.

Потом он снял трубку н заметил прн этом, что рука его мокрая. Как будто в ведро окунул. Взглянул осторожно на Женю. Она задумалась, смотрела вниз. Трубка загадочно молчала, Федор Иванович сказал: «Чш-шорт...» — и положил ее. Через несколько секунд телефон опять зазвонил.

— Слушайте, молодые люди! — заревел Федор Иванович со стоном.— Я сейчас завалю телефон подушкой, и можете играть в вашу детскую игру хоть до утра. Спокойной ночи!

Положив трубку, он осторожно отстранил Женю. Встал, натянул свою вязаную шапочку с пуговкой, надел рюкзак и взял лыжи.

— Женя, теперь все — в ваших руках. Снимайте

трубку не сразу и сейчас же кладите. Вся ваша работа. Прощайте. Ну, теперь я вас поцелую. Как маленькую — в головку. Господи, сколько краски... Это все для меня?

Она кнвнула несколько раз.

— Для вас... Федор Иванович... Это не баловство. Это серьезно. Все для вас.

И повисла на нем. Он поцеловал голову, душистые юные волосы. Усадил ее, вялую, догорающую, на стул и шагнул в корндор. Тихо прнкрыл дверь.

Он был осторожен и не сразу вышел на улицу. Затанвшись у наружной двери, ждал минут двадцать. Вот в его комнате опять зазвонил телефон. Несколько раз подолгу заливался звонок, и затем его жестко обрезало — Женя сняла трубку. Выждала немного, громко дунула в микрофон — это было ее собственное изобретенне — и со стуком бросила трубку на аппарат. «Молодчина,— подумал он.— Преданная подруга».

Вышел на крыльцо, сбежал вниз. В самом темном месте под стеной встал на лыжи, застегнул креплення и тихонько тронулся, свернул за угол дома. Постоял, прислушиваясь.

Было примерно часов семь вечера, но вокруг двигалась и качалась глубокая ночная мгла, и Федору Ивановичу показалось, что он слышит слабый звонкнй фон падающего густого снега. Было прнятно вслушнваться в этот звенящий шорох. В нем для Федора Ивановнча сразу выделились две стороны. Прежде всего: музыка эта мягко гасила все остальные звукн. Прнрода была заодно с Федором Ивановичем. Потому что, тронувшнсь в свой тайный путь, он выполнял ее материнскую волю — уходил от гнавшегося за ннм враждебного природе многоголового безумия. Что и надо делать всегда, если нет сил и средств излечить все эти головы, любящие чужую бессмысленную погибель. Он уходил и уносил от беды то, что составляло основу жизни другого, очень близкого человека, уносил главную его находку, увенчавшую многолетние поиски. И, наконец, он отправлялся искать еще двонх, родных, самых близких. Их скоро должно было стать двое.

А вслед ему смотрели другие преданные глаза, о которых он уже не думал. Ему это легко удалось, потому что он был еще молод, еще не счнтал свои приобретения на этом пути, не помышлял обзавестись вто-

рой жертвой «про запас», как это делал один хорошо знакомый ему поэт.

Ему удался его прыжок, основа которого была подготовлена бессознательно и потому безошибочно. И природа не только прикрывала его бегство, она пела, словно бы одобряя его шаг. Она пела! В эту вторую сторону тихого звукового фона Федор Иванович вник уже позднее, когда ровным ходом летел через черный безлюдный парк, когда спланировал на мутно-белое в ранней ночной тьме необъятное поле реки и летел над ним, не чувствуя лыж. Кругом не было ни души, даже бег грузовиков на шоссе приостановился. И, осторожно переключив регистр на более слышный, певучий шорох, природа щедро награждала им летевшего в ее пространствах человека, совсем не умеющего думать об опасностях, но способного слышать их издалека.

Он пробежал под обоими мостами, стал подниматься на Большую Швейцарию, и вьюга, начинаясь, торопливо заметала за ним тонкий лыжный след. Сберегая силы, он иногда останавливался, чтобы успокоить дыхание, и слушал. Снег все так же валил, и вокруг стояла все та же тихая музыка. В занавесах снега появился розоватый оттенок — их освещало невидимое зарево города. Складки на них уже бежали быстрее, все в одну сторону. Сквозь эти складки были видны стоящие по сторонам сумрачные тени стволов.

Он перевалил через лысину Швейцарии, и его тихо понесло вперед по тормозящему мягкому снегу, к станции Усяты. Где-то на середине этого тихого спуска он остановился. Не для того, чтобы отдохнуть — он услышал что-то. Вроде как показалось. Да, далеко за его спиной пели чьи-то ходкие лыжи, повизгивали концы палок. В точности так, как это было, когда он в первый раз предпринял подъем на Большую Швейцарию. Сейчас это было не его живое воображение, он слышал настоящие звуки. И они быстро приближались. За ним летел легкий отряд молодых разгоряченных лыжников.

Федор Иванович решительно взял влево, еще левее, ничего не видя под ногами. Могучая сила вдруг рванула его вниз, понесла. Присев, стараясь скользить наискось, поперек крутизны, он удачно пролетел половину склона. Потом сбегающее вниз твердое основание ушло

из-под его ног, он ощутил две или три секунды полета в темноте, затем его подтолкнула под ноги опять возникшая крутая твердь, и сейчас же из тьмы выросло что-то черное. Удар в грудь остановил его полет. Голубое электрическое пламя вспыхнуло в сознании и погасло, и Федор Иванович, уронив обе палки, полуобняв корявый черный ствол, вяло соскользнул по нему, к его утонувшему в мягком снегу подножию.

Потом он очнулся. Повернул голову, освобождаясь от тающего на лице снега.

— Славка! Славка!— кричал кто-то наверху.

— Чего остановились?— Федор Иванович узнал голос маленького тренера.— К станции он пошел, к станции! Давай, не стой, ребята! Пошли, пошли!..

«Мальчики, мальчики с плаката,— подумал Федор Иванович, уютно лежа в снегу.— Детки того, который донес на своего товарища Толю. Играют...»

Лыжные звуки наверху улетели к станции Усяты. Федор Иванович попробовал шевельнуться, и острая боль слева проколола грудь и бок. Сразу выступил пот— на лбу и спине.

Удерживая стоны, оберегая ставший странно мягким левый бок, он выбрался из-за толстого ствола. В это время под ним, почти рядом медленно проползла цепь автомобильных фар. Одна за другой, с уступами шла колонна снегоочистительных машин. Три или четыре грузовика со скребками. Отстегнув лыжи, оставив их около ствола, Федор Иванович сполз к шоссе и здесь добрый час возился с рюкзаком. Изогнувшись, чтоб не тревожить левый бок, то и дело ложась отдохнуть, он снял ботинки и надел сапоги. Потом влез в телогрейку, нахлобучил курчавую шапку. Натянул на рюкзак просторный конопляный мешок и завязал его. Превратившись в деловитого, странно согнутого мужика из пригорода, с мешком у ног стал на краю шоссе, ожидая грузовика.

Машины шли нечасто. Первая не остановилась, и Федор Иванович безнадежно посмотрел ей вслед, понимая, однако, что остановить грузовик на таком снегу — хлопотное дело. Вторая машина с тусклыми желтоватыми фарами, поровнявшись с человеком на обочине, начала осторожно тормозить. Скрипя снегом, грузовик прополз на неподвижных колесах метров двадцать и замер. Открылась дверца. Федор Иванович, волоча мешок, собрав всю свою волю, доковылял, морщась и

чуть слышно охая, подал мешок шоферу и влез сам, устроил пахнущую мешковиной иошу на колеиях. А правая рука тут же скользнула под телогрейку, туда, где иыла ставшая мягкой грудь.

— Ты что?— спроснл молодеиький шофер. Лнцо его было освещеио зеленым огоньком, теплившимся средн приборов.

— Не обращай вннмания. Поехали...

— Тебе до Усят?

— Ну, если едешь дальше... Мне бы лучше слезть в Прохорнщах.

Станцня Прохорищи была через сорок километров после Усят.

Шофер ничего не ответнл. Осторожно тронул машину с места, иачал медленный разгои. Заходили щетки, счищая снег со стекол. Завыл вентнлятор печкн. Впереди почти перед самым радиатором возник и повис сняющнй круг, и из него под машину поползла белая дорога.

Онн ехали в молчаиии минут двадцать. Федор Иваиович ежился в своей телогрейке. Ои начал зябиуть. Горячий, почти как пламя, воздух, вылетавший из невидимого сопла и обдувавший его иогн, ие согревал.

— Ты что, заболел?— спросил шофер, посмотрев на его правую руку, которая все еще была под телогрейкой.

— Немиожко есть,— сказал Федор Иваиович, и онн опять замолчали.

Из снежного круга выплыла, иа миг ярко осветнвшись, белая доска с иадписью «Усяты» и, померкнув, улетела за грузовик. Угадывались занесеные сиегом дома, чувствовалась жизнь, ушедшая за теплые стены. На мнг в круг света попал милициоиер с пегой палкой. Нет, он ие остановил машииу. Потом дома кончились. Федор Иваиович глубже осел, закрыл глаза.

— До Прохорищ доедешь?— спросил шофер.

Чериая курчавая шапка пассажира кивиула в ответ, и больше они не обмеиивались словами. Горячая дрема сквозь ледяные ручьи озиоба охватила Федора Ивановича. Боль в боку н груди успокоилась, и он заснул.

— Прохорищи! — вдруг раздался около него громкий мальчишечий голос шофера.

Федор Иванович очиулся. Машина медлеино останавливалась. По обе стороиы шоссе опять угадывались

дома, светились мирные окна. Под пристальным взглядом шофера Федор Иванович вытащил руку из-под телогрейки. Кряхтя от боли, открыл дверцу и вывалился наружу, вместе с мешком. Шофер высунулся, чтоб закрыть дверцу. Задержал взгляд на мужике в телогрейке, будто запоминая. Хлопнул дверцей, газанул, включил передачу, и машина медленно тронулась.

А Федор Иванович присел, подставил спину мешку и, извернувшись, выпрямился. С мешком на спине, тихо постанывая, побрел куда-то. Встречная женщина показала ему направление к станции.

Поезд пришел в Москву рано утром. Медленно втянулся под сводчатую вокзальную крышу. Плотная масса пассажиров вывалилась на платформу, густо потекла к выходу, под большие часы, показывавшие шесть тридцать семь. Там ждали носильщики в фартуках и с бляхами и несколько встречающих, пристально вглядывавшихся в толпу. Может быть, кто-нибудь встречал и Федора Ивановича — это обстоятельство осталось неясным, потому что он покинул вокзал другим путем. Два человека в белых халатах, надетых поверх пальто, и еще один в сером стеганом ватнике, держа над головами свернутые брезентовые носилки, протолкались навстречу общему потоку почти в самый хвост поезда. Подошли к двенадцатому вагону. «Сюда, сюда»,— сказала проводница, и трое, прервав на время движение выходящих пассажиров, осадив их в тамбур, проворно поднялись в вагон, продавились в коридор, в опустевший его конец. Там, на второй полке, лежал без сознания мужик в большой стеганой телогрейке и кирзовых сапогах. Русая, потная голова его лежала на сером конопляном мешке, крупные костлявые руки вцепились в мешковину.

— Этот?— сказал человек в белом.— Давай станови носилки.

— Горячий какой...— сказал второй.— Видишь, как его... В дороге прихватило...

— Давай, давай... Бери под коленки. О-оп!

Больного уложили на носилки. Не открывая глаз, он стал шарить вокруг себя.

— Да вот она, твоя шапка! На голову тебе надеваю...

— Мешок он ищет,— сказал тот, что был в ватнике.

— Вот он, твоя драгоценность! В ногах... Давай, заноси!

Выбрались с носилками из вагона и быстро, почти бегом понесли их куда-то в обратную сторону. По ступенькам сошли с платформы, перешагнули рельсы, пронесли носилки в калитку. Там, во дворе, стояла белая машина с красным крестом. Носилки с больным вкатили на роликах в кузов, человек в ватнике сел за баранку, завел мотор. Врач сел рядом с ним.

Пока ехали привокзальными переулками, больной, не открывая глаз, опять принялся шарить вокруг себя и время от времени пытался даже привстать и негромко, тяжело стонал. Второй человек в белом, ехавший с ним в кузове, понял, в чем дело.

— Да здесь же, здесь твой бесценный клад!

Поставил мешок у изголовья больного и положил его руку на мешковину. Крепкие темные пальцы мужика, ощупав грубую конопляную ткань, успокоились.

А врач, что сидел рядом с шофером, наблюдал все это через овальное окошко.

— Тронь, тронь,— он показал пальцем на мешок.— Потяни...

Второй взялся за конопляную толстую ткань, легонько шевельнул ее. Темные пальцы, лежавшие на мешке, тут же вцепились в мешковину намертво. Даже складки собрались.

— Как интере-есно!— изумился врач.— Без сознания ведь мужик! Не поверят, если рассказать...

ЭПИЛОГ

В июле 1953 года в Москву приехал по каким-то личным делам Борис Николаевич Порай, мой приятель. Мой — значит, автора этой книги. Он жил в другом городе, приезжал в Москву нечасто, и на этот раз, как и всегда, он выкроил из своего отпуска три дня, и мы отправились на рыбалку. Эти наши рыболовные поездки всегда оказывались исполненными особого и неожиданного смысла — об этом специально заботился Борис Николаевич. Как было у нас заведено, поехали мы на новую реку. Задачу подыскать интересное место для рыбалки брал на себя опять-таки мой приятель. Места он выбирал со значением.

Это было первое лето после смерти Сталина. Хотелось поговорить...

Мы сложили в мою «Победу» нужные вещи и припасы и отправились в сторону Калужской области, за город Юхнов. На заднем сиденье расположился наш всегдашний спутник — племянник Бориса Николаевича Павлик — худощавый насмешник с усиками и золотым зубом. Он был слесарем высокой квалификации и, кроме того, специалистом по изготовлению особенно уловистых блесен. Когда-то Борис Николаевич проговорился, и я таким образом узнал, что Павел по его чертежам изготовил однажды машинку, которую установили на некоей калитке вместо ручки, и она пробила руку чрезвычайно опасному негодяю, когда тот сунулся, чтобы украсть плод многолетних трудов одного ученого.

В дороге от нечего делать Павлик иногда окликал с заднего сиденья: «Дядик Борик!» Борис Николаевич, хорошо знавший племянника, все же оборачивался, и тогда Павлик заключал: «Хреновский ты рыбачишка!»

Через два часа мы вкатились в Юхнов, проехали по его главной улице, где на пепелищах уже строились новые, послевоенные дома, миновали этот город и, свернув на боковую дорогу, углубились в пышную, темную зелень калужских лесов. Зеленый занавес раскрылся и закрылся за нами, отсекая нас от мест, населенных людьми. Мы замолчали. Даже Павлик отстал от своего дяди. Целый час, пробиваясь к реке, мы петляли по лесным, размытым дождями и изуродованным войной дорогам. Несколько раз занавес леса раскрывался, и мы въезжали на широкие поляны, где стоял одичалый бурьян в человеческий рост и из него поднимались обгорелые кирпичные трубы стертых с лица земли деревень, когда-то украшавших здешние места. Зайцы выскакивали из-за этих труб и бросались наутек.

— Дудик,— говорил Борис Николаевич (так он называл меня).— Вот еще деревня, вот формы, которые примет жизнь после гибели человечества...

За все время, что мы колесили по этим местам, ища безопасного проезда к реке, мы не встретили ни одного человека. Ни одной живой человеческой тени... Так, пришельцами с другой планеты, в своем неземном бензиновом аппарате мы и вырвались наконец на яркий отлогий берег неширокой, но быстрой, веселой реки. Дядик Борик, выйдя размяться, исчез куда-то. Потом я увидел его вдали, у самой воды. Его длинная фигура была напряжена, по ней проходили волны изумления. Застыв перед каким-то чудом, он звал нас высоко поднятой рукой, которая рисовала в воздухе нервные, повелевающие крючки.

Я подбежал первым и увидел крупного, чуть короче моей руки, голавля, который, лежа на боку, на песке, в мелких волнах речного прибоя, тянул в себя большим ртом пену. Волны, откатываясь, утаскивали его, и тогда, махнув красными плавниками, частью в воде, частью в воздухе, он опять ложился на бок, подгонял себя хвостом, голову его окатывало волной, и сейчас же в пене возникала большая засасывающая воронка.

— Сюда, сюда!— кряхтящим криком звал меня Борис Николаевич уже с другого места, из густого низкого ивняка. — Скорей иди сюда!

Под ивняком, склонившимся над рекой, сквозь чистую воду, как через большую приближающую линзу,

виднелось дно, все вымощенное белым камнем. На этом ярко-белом фоне, колеблющемся от быстрого течения, то тут, то там сверкали словно бы зеркала, ловили вечереющее солнце. И вдруг поперек всей этой яркой белизны и сверкания прошла темная тень: большой лещ, слегка повалившись на бок, сверкнув на миг, отразив солнце, развернулся и, вздрагивая плавниками, пошел к противоположному берегу, погруженному в глубокую тень.

— Дядик Борик! — уже кричал от машины Павлик.— Куда ты положил червей?

— Не скажу,— ответил задумчиво Борис Николаевич.— Успеем со своей цивилизацией. Давай сначала посмотрим на природу. Как она вздохнула без человека. И без его страстей...

Перед нами китайской стеной высился ржаво-глинистый противоположный берег реки, весь погруженный в тень. Он обрывался к воде почти отвесно, обнажая слоистые, чуть ступенчатые тайны здешних недр. Закинув головы, мы долго смотрели на эту стену снизу вверх.

Еще через час мы уже сидели вокруг скатерти с закусками, расстеленной на сухом холме. Были как перовские охотники на привале. Откупоривая бутылку и разливая водку по стопкам, дядик Борик, ставший строгим, то и дело посматривал туда, на тот берег. Мощь высокой стены притягивала нас. Солнце было еще высоко, но уже касалось деревьев, росших там, наверху, над обрывом. Пригубив, мы принялись за бутерброды с крупно нарезанной колбасой. Все так же осторожно, как бы с опаской, посматривали на тот берег.

— Кто из вас, друзья, мне объяснит,— начал дядик Борик рыбацкую беседу.— Почему тот берег такой высокий, а этот, где мы сидим, такой низкий и ровный. Что за явление?

— Проще простого, здесь же пойма,— сказал Павлик.

— Пойма, Паша, это не причина, а следствие. Ладно, вы не занимались этим вопросом. Тот берег высокий — потому что он правый. Земля вращается с запада на восток, понял? Берег постоянно надвигается на реку, вода по инерции ударяет в него и подмывает. Бэра закон слышали? Закон Бэра. А с нашего берега река постоянно отступает, берег из-под нее уходит на восток. Оседает ил, песок. Поэтому здесь остается низина.

Образуется пойма. Такое же явление, как в маятнике Фуко.

— Чей маятник? — спросил Павлик.

— Ешь и помалкивай.

— А все-таки... Дядик Борик...

— Ну что тебе?

— Хреновский ты рыбачишка!

Борис Николаевич, морщась, с сожалением на него посмотрел.

— Не, я серьезно, рыбачишка ты хреновский. У тебя нет реакции. Видишь такую рыбу...

— Ты лучше посиди, посмотри вокруг себя и подумай.

В этот вечер из уважения к природе Борис Николаевич не разрешил разводить костер. Мы легли спать в машине, сдвинув к рулю переднее сиденье и опустив его спинку.

Проснулись мы с Павликом хоть и рано, но Бориса Николаевича все же упустили — в машине его не было. Мы быстро разыскали ящичек с червями и убежали к реке. Нетерпеливо размотав удочки, закинули их там, где был ивняк. Минут через сорок у меня мелко запрыгал, задробил поплавок, и я вытащил растопыренного леща...

Тут меня за плечо тронул неслышно подошедший Борис Николаевич.

— Дудик,— осторожным, выразительным шепотом позвал он. И пальцем поманил.— Успеете на рыбу насмотреться. Окунь, он везде полосатый. Надо на природу смотреть. Она, правда, тоже везде присутствует...

Мы уже шли куда-то, от реки.

— ...Присутствует везде. А проявления у нее индивидуальные. Сейчас увидите кое-что. А мальчишка пусть ловит. Ему еще только тридцать лет...

Приказав Павлику развести костер и сварить уху, он поманил меня дальше властным пальцем. И подтвердил свою волю строгим взглядом. Не проронив ни слова, мы ушли от реки, углубились в плотный яркий кустарник, который рос здесь линией, повторявшей линию берега, и, миновав эти кусты, оказались на ровном, открытом месте с ямами и канавами, поросшими мохом и пучками травы.

— Окопы,— шепнул мой торжественно притихший приятель и присел перед небольшой кочкой, приподняв-

шей мох. Бережно снял с нее зеленый лоскут. Там оказался почерневший, раздавленный временем человеческий череп.

— Видишь, молодой был человек. Зубы все на месте. Ни одной пломбы. А вот его подсумок. Кожа, видишь, цела. И патроны... Вон как их, позеленели... Кружка вот его. И в кружку попало...

Дядик Борик поднял синюю эмалированную кружку, пробитую насквозь пулей. Подержал и положил на место. А я, осмотревшись, нашел то, что осталось от сапог солдата — юфтовые головки. Увидев их, Борис Николаевич помял кожу.

— Видишь, кирза истлела, а головки как новые. Деготь консервирует...

Дядик Борик закрыл череп тем же моховым лоскутом и поднялся, держа серую челюсть, усаженную светлыми крепкими зубами. Мы огляделись. Вокруг, там и сям виднелись такие же моховые кочки. Приподняв мох на одной из них, Борис Николаевич тут же опустил его, еще больше помрачнел.

— То же самое...

Некоторое время мы постояли среди этих кочек. Потом я услышал новый, несмелый голос Бориса Николаевича:

— Дудик...

Он все еще держал в пальцах серую челюсть. Я молчал — знал, что главное сообщение мой давний и глубокий собеседник еще не сделал. Хотя приготовил его уже давно и давно уже ведет меня к чему-то главному.

— Дядик Борик просит у вас извинения за то, что не сказал вам сразу о цели этой поездки. Я считаю, что мысли надо осваивать, непосредственно наблюдая объект. Я уже был здесь однажды.

И он слабо улыбнулся, показав беззубые десны. После этого он повернулся лицом к реке. Вернее, к торжественной ржаво-красной стене противоположного берега, слоистые выступы которой были ярко выделены утренним солнцем.

— Они все были там, на высоком берегу. Выгодная позиция. Всегда стараются захватить высоту. Спокойно, с высоты постреливали в наших. А наши ребятки, Дудик, лежали на равнине. Как на ладони лежали. Хоть и зарылись в землю. Выбирай и бей. Спрашивается, почему же не наши отступили, а немцы? Почему

вот этот солдатик, спрашивается... Почему не убежал? — дядик Борик с уважением и страхом посмотрел на челюсть, которую все еще держал перед собой.— Ведь видел — гибнут кругом ребята. И лес же рядом! Почему не спасти жизнь? Вот у нас в цехе из-за премиальных, из-за десятки черт знает на что способны... А тут жизнь... Ну, конечно, дезертира могут поймать, есть трибунал, расстреляют... Но все равно — три, пять дней поживешь. Пять дней! А могут и не расстрелять Даже не поймать могут. А тут через час... А может, даже через минуту... Ведь он не убежал! Вот он, Дудик... Остался здесь. И другие... А те — прекрасно вооруженные, занимавшие господствующую над плацдармом высоту... вдруг сами снялись... И не побежали, нет, а организованно, осторожненько исчезли. Утром глядь, а тот берег уже оставлен врагом. Смылись, понимаешь...

Дядик Борик уже загорелся своей идеей.

— Умные люди могут сказать: враг отступил, потому что сложилась невыгодная для него ситуация. Хорошо, хорошо, понимаю. Да, да, так оно и было. А из чего эта ситуация складывалась? Ведь до Берлина много рек приходилось переходить, и у многих речек, если и был высокий берег — то с той стороны, с западной. А с нашей — низина. Закон Бэра помогал не нам. А все равно ситуация для них складывалась так, что надо уходить. Погоди, я знаю, что скажешь. Полководцы. Да, да, да. Полководцы сделали свое дело. А кроме? Почему этот солдат не убежал, а послушался полководца и лег здесь, свою молодую жизнъ положил?..

И мы умолкли, глядя на красно-коричневую стену высокого берега, которую все ярче разжигало утреннее солнце.

— Я тебе скажу, Дудик,— Борис Николаевич взял меня под руку.— Это явление не простое. Хотя и не везде так ярко увидишь... Это не просто частность войны. Наоборот, это закономерность... Которая лишь в частности... частным образом проявилась и на войне. А может проявляться и в других обстоятельствах... человеческой жизни. В критических ситуациях. Вот такое я разглядел. Например, возьмите инквизицию...— тут взгляд Бориса Николаевича как бы остановился — дядик Борик переходил к своим выношенным выводам, к железному завершению своей мысли.— Инквизиция всегда била своих врагов и весь простой народ с высо-

кого берега. С высочайшего берега она их клевала, как хотела. Христос, дева Мария, христианство — это ли не позиция! Это ли не высокий берег! Чтобы старуха добровольно несла охапку хвороста к костру, на котором сжигают Яна Гуса, ее ого-го как надо распропагандировать. А что получилось в итоге? Что получилось? Никто же инквизиторов не бил, не преследовал. Ручку им целовали! А все-таки сами, сами вдруг слезли со своего высокого берега и ушли. Вроде как и не было...

— Дядик Бо-орик! — донесся от реки голос Павлика.

— Они чувствовали, с каждым днем сильнее, что они неправы и что они преступники, которым припомнится все. Уже стали недосчитываться своих. Дезертиры у них уже появились. А лежащие в низине все яснее видели свою правоту. И знали, что те, на высоком берегу, уже подумывают об организованном отходе. О том, как сохранить лицо... Прояснение наступало всеобщее. Ясность! Она сидела и в этой голове,— Борис Николаевич посмотрел на серую челюсть, которая лежала на его ладони.— В этом черепе светился вечный огонь правоты! И потому паренек не поднялся и не бросился бежать.

— Дядик Бо-о-о! — послышалось от реки.

— Ну что тебе? — крикнул Борис Николаевич, подняв голову, как орел.

— Хреновский рыбачишка! Ты посмотри, что я поймал!

— А, иди ты...— Борис Николаевич отмахнулся.— Один человек, который заразил меня мыслями... Он открыл, что есть критерии, по которым всегда можно узнавать зло. Про высокий берег он еще не додумался. Он бы уцепился за этот критерий. А инструмент то-очный. Это так и есть, Дудик, подумайте об этом. Тому, кто прав, нет нужды бить себя кулаком в грудь. У него есть простые доказательства. Могу еще один пример... Ох, Дудик, у нас в институте четыре года назад что творилось, какие страсти. Одного ученого убивали сообща. Хорошего человека, мудреца. Образец был доброты, труженик... Вот его... И конечно, с высокого берега били, потому что были неправы. Каждый в своей речи так подводил, что это не наш, что он враг... Отравитель умов... Только и слышно было: марксизм, передовая советская наука, единственно правиль-

ная мичуринская биология, интересы народа... Такие были высоты. Пристроили одного, куда надо, мешал он им. Потом за молодых принялись, кружок накрыли. Хорошие были ребята, прятались от этих, изучали клеточные структуры, настоящую науку. Никого не били, высокий берег не искали. Их тоже, с тех же позиций. Ясен тебе критерий? И еще одного гнать кинулись. Этого сначала не разглядели, думали, свой. А он не свой и не чужой, он ученый. И увидели наконец... Какой поднялся шум! Не знаю, где он сейчас, жив ли. Не его ли косточку держу...

От реки потянуло костром, и мы медленно побрели на этот запах.

— Вот он-то, этот последний, меня и втянул в размышления. Федор Иваныч. Он прав. Страдание, так он говорил, вечно. Пока есть живые люди, пока их не стали делать из пластмассы, будут страдать. Это главный его тезис. Есть живой человек, значит, найдется у кого-то и желание причинить ему боль. Вот это и есть зло. И оно всегда свободно. Никто злу не запрещает. И не может запретить. Кто мне запретит желать жены ближнего, осла его и вола его? Кто запретит желать? Я буду ласково улыбаться и желать, жела-ать! Желаний закон не карает, даже не видит. А исполнить то, что хочу, это мне — пфу! — раз плюнуть. Было бы желание. Тут только вопрос умения... Вот в вопросе умения — тут злу и помогает высота... Дудик, зло всегда норовит вести огонь с высокого берега, с высоты.

Мы вошли в кустарник, отделявший вчерашнее поле боя от берега. Дядик Борик вспомнил что-то и, тронув меня рукой, чтобы я ждал его здесь, затопал рысцой назад. Вскоре вернулся с мягкой, беззубой улыбкой.

— Косточку на место положил. Где была.

Примерно через час мы сидели у костра и по-товарищески хлебали крепкую горячую уху — тремя ложками из одной большой кастрюли. Дядик Борик за едой был неразговорчив и хмур и, отправляя в рот ложку, на миг сердито выкатывал глаза, что говорило о его крайней сосредоточенности.

— Дядик Борик! — сказал ему Павел. И, не дождавшись ответа, добавил: — Хреновский ты рыбачишка. Кто же так, без внимания, ест двойную уху!

Но и тут Борис Николаевич ничего не сказал. Вместо ответа он поднялся и пошел к машине. Взял там

свой черный пиджак, стал шарить во внутренних карманах. Достал наконец какую-то сложенную бумагу и, вернувшись, протянул ее мне.

— Вот вам наглядно... Можете посмотреть, как это происходило.

Под строгим взглядом Бориса Николаевича я развернул лист. Он оказался перечеркнутым своими складками, как оконным переплетом. Там был газетный текст, переснятый на тонкую бумагу каким-то неизвестным для меня способом. «Сорную траву с поля вон!» — кричали черные буквы заголовка. И шел крупно набранный столбец: «Мы, студенты и аспиранты факультета растениеводства, просим ректорат освободить нас от обязательного слушания лекций...»

Тогда я впервые прочитал это страшное коллективное письмо. Не мог оторваться от подписей, выстроившихся под ним двумя стройными колонками.

— А кто эта Шамкова? Вы ее знаете? — спросил я

— Я заметил, вы потемнели лицом. Прямо как ночь... Как только начали читать этот текст. Хочу обратить ваше внимание, подчеркнуть. Эта газетка, как только ее напечатали, совсем иначе воспринималась! Тогда это был нормальный тон. Такие вещи писали иногда даже в экстазе. Весь текст с высокого берега подавался. Во имя счастья человечества. Были такие, что подписывали с радостью! Тот же материал, тот же! — а сегодня читается по-другому. С ним что-то случилось внутри, а? Или с человеком... Что? Вы же сами, Дудик, читали такие тексты пять лет назад с другим чувством! Вы ужаснулись, а должны были узнать фразеологию... Она же порхала когда-то вокруг вас! Где произошла перемена? Ответьте мне! Это же факт — в одну из ночей зло осторожненько, без шума покинуло позиции. Побежало дальше, искать новый высокий бережок...

Я попросил Бориса Николаевича подарить мне этот лист на память. Мой приятель, держа на весу ложку с ухой, сказал:

— Никак не могу, родной. В следующий раз привезу вам такой лист. А этот нужен для дела. Для великой, секретной акции. Которую мне доверила судьба.

В то же лето, но ближе к сентябрю, в московской коммунальной квартире, по-старинному огромной, с

тускло освещенным коленчатым коридором, а если точнее сказать, лишь в одной из четырнадцати комнат этой квартиры — в длинной сорокаметровой комнате с лепным потолком — происходило чествование ее жильца, старого профессора-химика в связи с его семидесятилетием. За длиннейшим столом, составленным из нескольких недоступных взору предметов, оказавшихся под рукой, соединенных досками и закрытых по крайней мере пятью накрахмаленными скатертями, сидели возбужденные гости, в основном, задорные старички. Ближе к концу стола, плотно сбившись, теснились на досках мужчины и женщины помоложе, горящие интересом к не совсем обычной юбилейной беседе. А за спинами сидящих толклась молодежь — младшие научные сотрудники, аспиранты и даже студенты. Несколько нарядных и юных тоненьких девиц, из них две или три в очках, проталкиваясь через толпу гостей, разносили на блюдах и подносах бутерброды с вареной колбасой, селедку в овальных лоточках, посыпанную резаным луком и политую маслом, соленые огурцы и вскрытые консервные банки со щукой в томате. Множество бутылок мерцало вдоль всего стола.

Уже выпили за юбиляра, уже возник ровный шум. В этом шуме, который летал над столом, как туча воробьев, трудно было разобраться. Но даже новому гостю через минуту становилось ясно: здесь чествовали не химика. И сам профессор, хоть он и преподавал органическую химию, лишь на днях защитил докторскую диссертацию по своему предмету. А четыре года назад он был доктором биологических наук, и имя его академик Рядно навсегда внес в кафтановский приказ. Это обстоятельство с некоторого времени почему-то перестали скрывать, а совсем недавно о нем даже стали говорить так, как говорят о подвигах и наградах.

Конечно же, стойкий вейсманист-морганист, удачно пригревшийся на химическом факультете в отдалении от Москвы и никогда не бросавший улыбки в сторону Кассиана Дамиановича, привлекал к себе внимание. Сидя во главе стола, он купался в лучах всеобщей и заслуженной симпатии. И те, кто сидел перед ним за длинным столом, тоже были, в основном, биологами той школы, которую совсем недавно считали разогнанной навсегда.

Беседа шла весело. Она уже разбилась на отдель-

ные очаги, и в каждом было интересно. В одном месте бывший доцент-генетик рассказывал о том, как он укрывался в зоопарке, где друзья поручили ему ухаживать за слонами. В другом — белоголовый и краснолицый доктор биологии, после разгона ставший фармацевтом, тонко давал понять, что в фармакологическом институте он тайно от начальства вырастил добрых два десятка ребят, из которых получатся толковые генетики. Хоть он и пользовался иносказаниями, но, по существу, он сообщал всем о том, что им было выращено «кубло» — и не боялся этого.

— Вчера были выборы,— громко сказал кто-то.— Знаете, кто у нас теперь председатель научного общества? Ким Савельевич Краснов!

— Что еще за Краснов? — спросили сразу несколько человек. Никто не знал этого человека и внимание всех, кто сидел или толпился в длинной комнате, скользнув мимо незнакомого имени, опять разветвилось и осело в разных концах стола.

Вдруг взрыв громкого хохота во главе застолья оборвал все беседы. Один из главных соратников и приятелей юбиляра, франтовато одетый и красивый старикан с пробором — из тех, о ком до самого конца говорят «мужчина», рассказывал про академика Рядно. Имя академика он не упоминал — за четыре года, протекшие после знаменитой сессии академии, все уже прошли специальную школу безопасного разговора.

— Вы же помните, эта яркая звезда начала уверенно закатываться,— рассказчик чувствовал, что он нравится и, тая улыбку, поигрывал головой и корпусом. — Звезда эта уверенно покатилась к горизонту. Конечно, ему помнили конфуз с «Майским цветком» и эту историю с Мадсеном... Он же нарядил своего человека под Ивана Ильича Стригалева, которого до этого успел пристроить... кое-куда. И представил эту подставную липу иностранцу. Какой высший пилотаж, а? А иностранец знал нашего Ивана Ильича еще по войне...

— Там сложнее было дело... — вмешался выцветший и ломкий старческий голос. — Человек, которого нарядили, оказался не свой, тут наш корифей дал маху...

— Да, я тоже слышал об этом...

— ...Этот неизвестный научный сотрудник пожертвовал собой. Воспользовался случаем, чтоб избавить науку от этого хрипуна...

— Да, это так и было. Но я сейчас выделяю только то, что нужно для моей узкой темы Так вот... У моего героя, оказывается, был сильный противник. О чем классик в угаре славы не подумал. Он, оказывается, во время известных чаепитий, не щадя, поливал... помоями своего красноречия... одного человека. Личность которого сегодня я уже не рискну вам назвать.. даже намеком. Высмеивал его познания в сельском хозяйстве, особенно, его увлечение «агрогородами». За что тот даже был слегка высечен. Эта припарка была сделана ему с подачи нашего мичуринца. Дурак, ведь только что опростоволосился с иностранцем. Сиди и зализывай раны. Нет, друзья, он отважный человек!..

Все понимали, о ком шла речь, и все наслаждались этой игрой в коллективную конспирацию, которая в действительности была первым порывом ветра свободы. Хоть и несмел, осторожен был этот ветер, но четыре года назад такая игрушечная маскировка была невозможна.

— Когда умер Иосиф Виссарионович...— продолжал франтоватый приятель юбиляра, — естественно, чаепития прекратились. А обида — вещь стойкая. Мы с вами все это можем подтвердить. Наш любитель проводить заседания ученых в поле, с обязательным сидением участников на земле, — он обидел того, который мечтал об «агрогородах». А между тем акции этого обиженного вдруг стали подниматься. Почти вертикально... Он уже занял, скажем... пятое место в государстве. Обозначились серьезные перспективы. Наш друг мичуринец зачуял это дело. И сунулся к товарищу. К растущему... Со своей улыбкой. Со своим оскалом... Сунулся и назад. Ай-яй-яй! Ручку-то ему не подали! И беседовать не пожелали! И пошли они, солнцем палимы... Через неделю наш византийский император... померкший... снова ткнулся — позвонить. А его даже не соединили. А тут еще учебник ему возвращают. Новый он затеял печатать... Возвращают с замечаниями. И звезда покатилась, покатилась потихоньку. Сик транзит... — ну-ка, студенты, как оно дальше?

— Глориа мунди! — бодро крикнули из толпы несколько голосов.

— Только она в нашем случае если и «транзит», товарищи, то далеко еще не «сик». Совсем иначе.

Это было только легкое пошатывание. Звонок, предупреждение судьбы. А до «сик транзит» еще далековато...

Наступила тишина. Ждали продолжения. А рассказчик не торопился. Налил в узкую — с наперсток — рюмку водки и поставил ее перед собой.

— Я ведь, товарищи, планирую тост. Вот селедочку приготовлю... Теперь можно продолжать. Н-да... Покатилась, значит... Проходит месяц, проходят три месяца... Лицо, которое оскорблено, отправляется в поездку по колхозам. Товарищ на подъеме, он уже на уровне министра, серьезно интересуется сельским хозяйством. Урожайность его интересует, сорта. Только, конечно, не наша схоластическая наука, не генетика. Наши формулы ему ничего не говорят, над мухами он хохочет. Его интересуют быстрые результаты и силы, таящиеся в народе. В одном колхозе он хочет побеседовать со специалистами-практиками. Председатель уступает ему свой кабинет. Он входит, а там наш Диоклетиан... Что? Я ошибся? Наш народный Веспасиан там, в сапогах, в телогреечке... Сладенько переминается. Как это случилось, как пролез — информации у меня нет. Но факт, встреча состоялась. Дверь плотно захлопнулась, а из-за нее крик, крик... И такие, знаете, слышны шлепки... Вроде как император схватил несколько раз по морде... От государственной ручки. И затихло. Сунулись посмотреть — увидели две спины. Беседуют. Добрый час стояла там тишина. Потом дверь распахивается и выходят. В обнимку. Сияют. Хотя рожа у нашего ученого слегка припухла. Товарищ... имен не будем касаться... держит в ручке весы с костяными чашками. А в другой — горсть колосьев. А в двух пальцах отдельно — у него сверхколос. Какой-то необыкновенный, толстый, восьмигранный. Наш гундосый где-то такое чудо раскопал. Встречаются иногда такие аномалии в посевах обыкновенных пшениц. Земледелец знает: высеешь семена из такого колоса — опять пойдут рядовые растения. А вот товарищ этого не знал. Все столпились, смотрят. Очевидец рассказывал. Товарищ кладет на одну чашку этот колос... Торжественно кладет и предлагает присутствующим уравновесить обыкновенными колосьями. Один колос, другой кладут... Третий, четвертый... Только пятый перетянул. «Скорей сорт давай на поля! — кричит товарищ в вос-

торге. — Сколько лет тебе нужно?» — «Четыре года, — обещает самородок.— Через четыре дам пшеницу, превосходящую все мировые сорта по урожайности!» Этим колосом он и усмирил начальство. И задержал ход истории... Все ему тут же забыли, и «Майский цветок», и Ивана Ильича, и датчанина. Пошел у него второй виток. И он, конечно, набросится на этот толстый колос. Примется его «воспитывать условиями бытия». Вот когда он посеет семена из этого колоса, и вступят в действие законы природы... Которых он не понимает и не признает,— вот тогда, наконец! — будет «сик транзит». И тогда начнется для всех нас настоящая работа... Ишь, как все просто! Четыре года и дам сорт! Не надо ждать милости от природы, надо взять! Для них «взять» — это одномоментное действие. Хвать — и милости в руке. Друзья, предлагаю тост — за великие законы природы, для которой не существует ни начальства, ни высоких слов. За их неотвратимость! За их познание!

— Виноват... — юбиляр вдруг тронул ножом стекло и поднялся.— Я целиком и с энтузиазмом поддерживаю этот тост. Но в порядке ведения данного собрания, пока не выпили... В порядке вставки... Мы сегодня как-то забыли о важной вещи. Я просил бы прерваться на минуту и почтить память тех наших выдающихся братьев и товарищей... которых по тем или иным причинам с нами сегодня нет. И благодаря которым в следующем веке будут говорить, что среди бессмертных у нас был не только академик Рядно. Назовем их имена...

Загремели стулья, прокатился шум и тут же вступила тишина. Все стояли.

— Я назову первое имя. Николай Иванович Вавилов...— поникнув, произнес юбиляр.

Потянулась глухая пауза. Потом кто-то внятно проговорил:

— Георгий Дмитриевич Карпеченко...

И сейчас же из дальнего конца донеслось:

— Дмитрий Анатольевич Сабинин...

— Григорий Андреевич Левитский...

— Николай Максимович Тулайков...

Одно за другим целую минуту падали в тишину знакомые имена. Отцы науки, основоположники школ, подвижники лабораторий как бы выступали вперед из вечности и, поклонившись, шагали назад. Потом нап-

ряженные остановки, похожие на пробелы в памяти, стали затягиваться. Люди молчали, боялись пропустить достойное имя. Изредка все же вспоминали, кто-то произносил с уважением знакомое всем слово. Когда в очередной раз замолчали и тишина, овладев пространством, перешла некоторую понятную всем границу, стулья начали греметь. Люди усаживались. Тут-то, когда гости уселись, но разговоры еще не ожили, в конце стола, где плотно сидели на досках молодые, негромкий, поющий женский голос внятно произнес:

— Иван Ильич Стригалев...

И ничего особенного не произошло бы, но сидевший неподалеку от юбиляра старичок, тот самый, у которого был выцветший и ломкий голос, стал всматриваться в дальний конец стола, даже слегка привстал.

— Простите... Я сейчас другие очки... По-моему, я знаю эту женщину... Которая...— он вдруг начал дрожать.— Простите меня... Вы — Анжела Даниловна Шамкова. Как же вы можете,— он затрясся сильнее, и голос его заходил, как колесо, соскочившее с оси.— Как вы, простите меня... которая является одной из первых виновниц гибели этого замечательного человека... Как у вас повернулся ваш язык, сегодня, здесь, на нашем празднике...

— Я пересмотрела...— тихо сказала Шамкова.— Я уже не с ними...

— Пересмотрели!— старик побагровел, вытаращился и стал кашлять.— Но прежде, чем пересмотреть...

— Натан Михайлович...— франтовато одетый, красивый его сосед развел руками и, застыв в такой позе, цепенел, пока Натан Михайлович, смутившись, не прекратил сопротивление.— Стоит ли в нашу замечательную встречу... Вносить интонации, от которых мы... Которых давно не было слышно... Мы давно забыли, как они звучат. Прошлое, утратившее свою остроту, надо ли гальванизировать?

— Но вы же сами сейчас!..— заревел низким басом кто-то в том же конце стола.— Я вас не понимаю, дорогой...

— Победитель, который прав... Что мы правы, это было ясно всегда. А что победители, это, по-моему, хоть и дело будущего, но дело решенное. Победитель — тот, кто прав, добивает врага благоразумием, выдержкой, юмором и добродушием...

— Виноват, виноват... — Натан Михайлович Хейфец, сильно постаревший, опять затрепетал над столом. У него перехватывало голос, но старик решил не сдаваться. — Ведь она... Она!.. будучи ученицей и аспиранткой Ивана Ильича... Этого замечательного чистого человека... Она при мне на собрании... Донесла! Донесла на него! В двадцати шагах от меня! Разоблачила врага — как тогда говорили. Топтала прекрасного ученого... Прямодушного, доброго, мужественного человека. А потом она же, простите меня!— она организовала еще политический донос на него в газете! Вы же, вы, Анжела Даниловна... Ходили по группам, заставляли студентов подписывать эту пакость, которая потом была напечатана!.. Не далее как вчера я наткнулся в библиотеке на этот отвратительный... организованный донос с тридцатью подписями. Знаете, глазам не поверил... Она там, эта газета! Подшита! Анжела Даниловна, там и ваша подпись стоит. На первом, на первом месте. Советую посмотреть, если вы так быстро забываете... Я чуть не задохнулся... Нельзя, товарищи, мешать человеку чувствовать себя преступником и негодяем, если он является таковым. Единственное лекарство...

Все молчали. Никто не решался вмешаться или продолжить этот тяжелый разговор. Или даже взглянуть на Шамкову. А она сидела спокойно и прямо, и своими белыми волосами и красными плоскими серьгами, как и раньше, была похожа на прислушивающуюся курицу. И тем ужаснее и громче поразил всех грохот доски, на которой сидели пять человек, и среди них она. Доска загрохотала, и четыре человека упали на пол — оттого, что пятый, уравновешивавший всех, немного тучный седоватый гигант в белом заграничном костюме с погончиками на плечах и карманах, выпрямившись, порывисто шагнул к выходу. Не оглядываясь на произведенную им катастрофу, трепеща своими погончиками, протолкался к двери и исчез. За ним, оправившись после падения, бросилась и Анжела Шамкова. И все молча смотрели им вслед.

Еще в пятидесятом году доктор наук и ближайший сотрудник академика Рядно — Бруздак добился перевода Шамковой в Москву. Она переехала, не закончив

своих дел с Анной Богумиловной и не став кандидатом наук. В Москве твердая рука Саула Борисовича ввела ее в один из научно-исследовательских институтов, в ту группу ученых, где занимались малознакомой для нее областью науки — физиологией растительной клетки. Бруззжак, рекомендовавший этот переход, сказал, что физиология, уж она-то дело верное, и ее надо изучать. Анжела Даниловна, слушая его, тут же догадалась, что переделка пшениц из яровых в озимые — дело сомнительное. Сразу вспомнилось и письмо, которое одна смелая девочка-студентка написала академику Рядно. Надо было тогда же попробовать этот эксперимент с изоляторами. Проверить...

Так что переделку пшениц пришлось бросить, и новая москвичка-физиолог, надев белый халат, села за микроскоп. Бруззжак не забывал о ее существовании и вскоре нашел ей тему для диссертации. Теперь он гудел ей во время их участившихся свиданий о проблеме холодоустойчивости растений. Анжела хорошо знала его, понимала, что это не сам он придумал — и потому прислушивалась. «Если ты будешь определять устойчивость к холоду летом, она будет мала, — гудел он. — А зимой резко повышается. Почему? Подумай, понаблюдай. Увидишь, что клетки, закаляясь к холоду, меняются. В них обособляется протоплазма. Сейчас же начинай летнюю стадию наблюдений. А зимой закончишь. И в феврале поедешь в Ленинград, там защитишь. Все будет подготовлено, пройдет на высоком уровне».

Анжела Даниловна провела наблюдения, все так и получилось, как говорил Бруззжак. Не во всех, но во многих клетках протоплазма обособлялась. Сердце замерло, она впервые почувствовала холодок открытия. Написала диссертацию, снабдила ее фотографиями, и в начале февраля поехала в Ленинград докладывать свой материал на ученом совете. После ее коротенького доклада встал несколько удивленный доктор по этой специальности, совсем молодой, ровесник Анжелы, и, разведя руки, перед всеми честно признался: «Ни разу не видел обособления протоплазмы, о котором говорит докладчица. Предлагаю соискательнице степени продемонстрировать такое обособление не на фото, а у меня в лаборатории». На следующий день Анжела Даниловна со своей лаборанткой, привезенной из

Москвы, явилась к нему. Отправились в сад и нарезали там веточек, на которых должны были демонстрировать открытие. Анжела сделала бритвой срезы почек, поместила на предметное стекло, подпустила воды. Посмотрела в микроскоп, настроила его и, красиво поведя рукой, уступила место загоревшемуся недоверчивым интересом молодому доктору с засученными рукавами. «Видите, вот клетка. Протоплазма сжата. Между нею и оболочкой — пустое пространство. Вакуоль». И мелькнула мысль: «Этот был бы получше Брузжака». Доктор посмотрел в микроскоп и забарабанил пальцами по столу. «Знаете, что это такое, товарищ Шамкова? Травматический плазмолиз, вот что это! Клетка повреждена при изготовлении среза. Протоплазма в ней свернулась. Белок всегда коагулирует при любых повреждениях. А если посмотреть глубже, куда ваша бритва не достала... Давайте перефокусируем... Вот! Можете убедиться. Неповрежденная протоплазма. Никакого обособления!»

Соискательница ученой степени припала к окуляру — и в который уже раз в жизни Анжелы — душа ее упала. Такую простую, ясную вещь — и она просмотрела! Шляпа! Целый год смотрела и не могла заметить... «А все ты, Саул. Потому что ни ты, ни твои друзья ни черта же не знаете, а суетесь! — шевелились ее губы, беззвучно кляня Брузжака. — А гонору сколько! Доктор! Советник академика!..»

«А чтобы вы убедились, что первая ваша клетка мертвая, — доброжелательно говорил ей настоящий ученый, — вот вам баночка с нейтральротом. Краска в живых клетках занимает только вакуоль. А в мертвых и ядро. Способ отличить живое от мертвого. Общеизвестный... Давайте, подпустим сюда красочки... Так и есть!»

И диссертацию не допустили к защите. При этом все весело смотрели на москвичку. Всесторонне смотрели — она за последние годы еще больше отяжелела книзу, при той же маленькой белой головке. Опасная черта была рядом. Анжела приближалась к ней.

Там же, в Ленинграде, она узнала, что Брузжак завел в университете новую любовь — совсем молоденькую студентку. Каждую неделю приезжает из Москвы — читает лекции, а вечерами увозит ее на мишине. Купил ей колечко с камнем, золотые часы. Бегает около

нее, совсем обезумел. По этому поводу состоялось объяснение, прямо на Невском проспекте. Анжела горько и искренне рыдала — она была так уверена в своем уродце, думала, что такой никому не нужен, даже полюбила. Саул Борисович, холодно глядя ей в лицо, сказал, что надо им расстаться, но что он никогда не оставлял даму, не обеспечив ей условий жизни. Отступное было приличное — место научного сотрудника в московском институте и однокомнатная квартира. И они расстались.

Летом пятьдесят второго года на пляже в Химках на нее обратил внимание не старый еще, статный седоватый гигант. Во время беседы он картинно поворачивал к ней громадные плечи. На пляже он был в японских змеино-пестрых плавках, и Анжела не могла отвести глаз от его загорелого живота, где, несмотря на округлости начинающегося ожирения, еще проглядывали бугорки и ямки мускулатуры. Анжела думала, что это артист кино, но колоссальный человек оказался довольно известным скульптором. «Надо брать, надо брать!» — затопали и закричали девчонки из лаборатории, которым она показала свою находку. Скульптор был простодушен, у него появилось что-то вроде чувства. Весной пятьдесят третьего он дал ей вторые ключи от своей мастерской на окраине Москвы. Эта мастерская была, как дача, окружена садом со стеклянными шарами, а от глухой улочки ее отделял очень высокий непроницаемый забор фисташкового цвета. Над ним виднелись четыре или пять гипсовых голов Сталина — это все были неотправленные заказчикам готовые памятники вождю, они как бы сошлись в одном углу сада и беседовали. Анжела стала бывать у скульптора, как дома, даже затеяла в мастерской переделки. Парень увлекся красивой женщиной в чистейшем белом халате, умеющей рассказывать тонкости из жизни растений. И дело закончилось бы замужеством, если бы Анжеле Даниловне не пришло в голову повести этого тянущегося ко всему новому громадного ребенка на юбилей в дом ученого, если бы не дернуло ее покрасоваться перед могучим и наивным мужчиной, сунуться к ученым в их торжественную панихиду...

Она выбежала из подъезда в тот момент, когда гигант, спасаясь от нее бегством, захлопывал дверцу сво-

ей «Победы». Стартер долго скребся и завывал, а мотор не хотел заводиться. Анжела уже подбежала, уже взялась было за дверцу машины, но тут мотор ожил, взревел, задние шины завизжали, и «Победа» прыгнула вперед и укатила. Остался только запах горелой резины.

Этот и весь следующий день она была неразговорчива, отвечала сотрудникам невпопад, о чем-то напряженно думала. А на третий день, сказав на работе, что она уходит в библиотеку, Анжела Даниловна с непроницаемым лицом вышла на улицу. У нее был читательский билет огромной библиотеки в центре Москвы. Пройдя под ее колоннами, Шамкова медленно поднялась в тот отдел, где хранятся все газеты страны. Порылась в каталоге и заказала подшивку той, знакомой ей маленькой газеты за 1949 год. Через десять минут, получив толстую папку, она ушла в угол зала и там, установив ее на специальный пюпитр, задумчиво села перед ним и стала медленно перелистывать газеты, схваченные металлическим скоросшивателем. «Сорную траву с поля вон!» — вдруг закричали и запрыгали перед нею черные буквы. Хорошенько расправив папку и газеты, она зажала между двумя пальцами лезвие безопасной бритвы и, бегло глянув по сторонам, провела рукой вдоль страницы, по самому ее корню. Страница отвалилась. Как попало сложив ее одной рукой, Анжела Даниловна сунула свой трофей в нижний боковой карман синего жакета, придававшего ей свежий вид. Задумчиво полистала подшивку, потом захлопнула папку и отнесла на тот прилавок, где получала ее. Женщина, которую она из-за скрытого сильного волнения не запомнила, приняла у нее подшивку, но штамп в бумажке, служившей пропуском, не оттиснула.

— Пожалуйста, пройдите вот сюда... — сказал кто-то рядом.

Сама поднялась доска над входом за прилавок, там стоял еще кто-то, тоже женщина. Анжела Даниловна прошла за прилавок, потом ей показали дверь, она вошла в комнату. Ее сопровождали уже три женщины, одна из них была в синей милицейской форме.

— Пожалуйста, выньте из кармана то, что вы вырезали из подшивки. И дайте нам,— раздался чей-то голос.

Рука, как бы парализованная, с трудом согнулась, достала из кармана сложенный листок.

— Зачем вы это сделали?

Анжела Даниловна молчала. Лицо и губы одеревенели, не повиновались ей. Так же, как и рука.

— Опять тот же лист, — сказал кто-то. — Товарищ Шамкова... Посмотрите сюда. Что вы вырезали! Пожалуйста, дайте ваш читательский билет... Анжела Даниловна, посмотрите. Присмотритесь как следует, что вы вырезали...

— Она же ничего не видит... — послышался другой голос.

— Смотрите, вы вырезали не подлинник, а ксерокопию. Не вы первая охотитесь на это. Кто-то до вас уже вырезал настоящую страницу. Еще полгода назад. Заменили копией. Опять вырезали. Снова заменили...

— Поняли, в чем дело? Самое главное, Анжела Даниловна... — говорили как будто разные люди, но голос был один и тот же. — Вы сядьте и успокойтесь. И послушайте спокойно. Самое главное — не мы это вклеиваем. У нас завелся анонимный помощник, специально по этой странице.

— Вы посмотрите сюда, она же не первой свежести! Пронесли в кармане, она потерлась там! Была трижды сложена, потом ее развернули и вклеили. А складки вот, остались — неужели не заметили!

— Мы специально наблюдаем за этой подшивкой. Ищем этого вклеивателя, чтоб посмотреть на человека... И не можем поймать.

— Здесь не простой эгоизм аспиранта, которому лень ходить в библиотеку, хочется иметь материал дома, под рукой, — это они уже говорили между собой. — Здесь действуют с двух сторон какие-то новые силы... Противодействуют... Сколько бы вы ни вырезали, Анжела Даниловна... Все, кто здесь подписался, — всем захочется вырезать... Все равно будет вклеено. И все, кому нужно, придут и прочтут. Мы понимаем ваше положение... Ваша фамилия здесь тоже, по-моему... Да, да, вот... Не позавидуешь...

— Тут дело, конечно, не в штрафе. Поэтому мы не будем составлять акта. Вот я ставлю штамп на вашем листке... Вы свободны. Идите...

И она, так и не увидев тех, кто с нею говорил, пошла, как во сне, балансируя плечами. А три женщи-

ны — две в халатиках, а третья в милицейской форме,— смотрели ей вслед.

— Жалко мне ее,— сказала одна из них.

На улицах и площадях больших городов в разгаре дня всегда движется человеческий поток, и во все времена у него одинаковый вид. И всегда в нем бывают затаены недоступные наблюдению яркие неповторимости, отражающие как бы деятельность судьбы, которая, слишком долго промедлив, вдруг начинает поспешный суд, запоздало наказывая даже мертвых и, конечно, не обходя своим воздаянием живых. Мы ничего не видим, а в этом человеческом потоке скользит по своим путям история...

Июль 1954 года, московский летний день, площадь перед Курским вокзалом. Пришел скорый поезд с юга, и из подземных тоннелей валит на площадь приезжий народ. Все — как сегодня! Все спешат по своим делам. Кто эти двое, что зашли в промежуток между привокзальными ларьками и, повернувшись лицом к каменной стене, быстро уславливаются о чем-то? Вот они расстались, и один — сильно загорелый, с отбеленными южным солнцем вихрами почти бросился бежать. Лицо его словно погружено в нежную кашу из желто-белых от летнего солнца волос, и серо-голубые глаза серьезно посматривают поверх этой каши. Худощавый и быстрый в движениях, он спешит к станции метро. Жарко. Его тонкая светло-серая сорочка расстегнута до середины груди. По голой до локтя коричневой молодой руке, держащей чемодан, бегут и ветвятся, как дельта реки, мощные вены. Это кандидат биологических наук Федор Иванович Дежкин. Вот он уже в коридоре метро. Он совсем не хромает.

А того, с кем он торопливо простился в промежутке между ларьками, мы упустили, он уже далеко. Если бы мы вовремя обратили внимание на этого человека, мы, может быть, сообразили бы, где и каким образом Федору Ивановичу удалось так хорошо скрываться целых четыре года.

Вскоре после смерти Сталина на то заброшенное далеко от железной дороги совхозное картофельное поле, где Федор Иванович с утра до ночи и из года в год высаживал и растил спасенный от Касьяна новый сорт

картошки, стали прилетать радостно-тревожащие слухи о надвигающихся переменах. Рабочие совхоза говорили, будто скоро выпустят из лагерей всех контриков. Будто ожидается грандиозная амнистия. Федор Иванович отчаянно работал, торопился. Весной и осенью в стеганой телогрейке и в сапогах, а летом — в майке с серым пятном соли на спине разбрасывал по полю навоз, боролся с сорняками, махал мотыгой или, проходя вдоль рядов, выдергивал с корнем те кусты, вид которых его не удовлетворял как селекционера. Он выращивал так называемую супер-суперэлиту. Те сорок картофелин, что были привезены сюда в синем рюкзаке, и ту картошку, что была прислана дядиком Бориком, он размножил, и теперь новый сорт занимал целый гектар. И могучие совхозные работницы, помогавшие Федору Ивановичу на этом поле, глядя на отчаянную деятельность их небритого бригадира, похожую на работу трактора, иногда спрашивали: сколько же ему платят на его опытной, зональной, научной и еще какой-то станции за такое бригадирство? Выходило, что в совхозе каждая из них получала больше, чем он. Потом они сообразили, что все дело — в новом сорте. За новый сорт обязательно ведь полагается премия. Вот, оказывается, в чем крылась тайна такого невиданного интереса к работе, такого рвения. Бригадир — парень не промах.

Этим летом он решил показаться в Москве. Назрел один больной вопрос, ждал ответа, а может быть, и рискованных шагов. Федор Иванович при его сложном, связывающем руки положении не имел достаточных сил, чтобы сдвинуть с места важное дело, не включаясь в опасные акции. А дело неожиданно и безнадежно застряло почти в самом конце пути.

Федор Иванович жил и работал в совхозе, взявшем на себя обязанности по договору с опытной станцией, где ему, хоть и бригадиру, показываться было запрещено. Там он лишь числился в некой ведомости и получал свою небольшую зарплату. Был еще ряд сложностей, их кое-как удавалось усмирить благодаря особым секретным отношениям Федора Ивановича с директором станции, который и оформил его у себя, а работать с новым сортом определил в совхоз. Этот мягкий человек был членом партии еще с двадцатого года, за достижения по его потомственной специальнос-

ти — селекции плодовых деревьев — его даже представили к ордену. Если бы стало известно, что в самый разгар борьбы с вейсманистами-морганистами он пригрел на станции одного из них, да к тому же преступника, скрывающегося от правосудия, который и здесь, на совхозной земле, пытается перейти от своей теории к антинаучной практике, директору пришлось бы испить кое-что полной мерой. И притом самое меньшее — дважды. Федор Иванович видел в нем высокопорядочного человека, служащего каким-то своим глубоко скрытым убеждениям. И отчаянно берегся, чтобы его преступное инкогнито случайно не раскрылось и не принесло непоправимого вреда хорошему человеку. Да к тому же семейному.

Этим директором был уже знакомый нам Василий Степанович Цвях. Он и директорство свое согласился принять только потому, что нужно было помочь Федору Ивановичу сохранить «наследство» Ивана Ильича, а кое-что из него и двинуть вперед. Сидя в больничной палате, где беглец, чуя близкую весну и тревожась, ждал, когда срастутся ребра и грудина, оба друга обстоятельно обсудили предстоящие дела. Цвях решил принять директорство, чтоб наладить на станции пошатнувшиеся дела. Поскольку с рабочей силой после войны было туго, он, как полагается, к официальному соглашению приложил устный секретный договор, дававший ему особые права в деле найма рабочих. Острая нужда и хитрость, соединившись, создали ту благоприятную обстановку, которая была нужна.

Изредка навещая Федора Ивановича в совхозе, хозяйственный человек и большой дипломат, Цвях осматривал поле с новым сортом и во время этого осмотра, спокойно беседуя, скрывал в тончайших морщинках лица выражение сдержанной обреченности. Федор Иванович, умеющий видеть такие вещи, понимал, что его друг постоянно держит под наблюдением висящую над ними обоими опасность. Хотя давно уже готов к беде, и, если она грянет, не пошатнется. Василий Степанович уже принял решение, спящая почка на этом старом дереве выкинула росток, и, спокойно теперь ковыляя по картофельным междурядьям, он нес на своей чуть согнутой мужицкой спине эту тяжесть. Иногда, окинув лицо Федора Ивановича особым взглядом — как смотрят на вещь,— он говорил:

— Правнльно делаешь, молодец. Брнться погодн. Только около ушей подправь. Переросло...

Нынешннй сезон с самой ранней весны онн начали, чувствуя реальную и нарастающую тревогу. Небо над ннмн было как бы затянуто тончайшей мглой далекого лесного пожара. Эта мгла возникла еще в прошлом году, в мае. Тогда, в том мае, прншел в поле Василнй Степанович. Прнблнзился к Федору Ивановичу, который во главе своей женской бригады окучнвал молодую картофельную ботву. Отвел брнгаднра в сторону н, не меняясь в лнце, даже доставая при этом сигарету, сообщил:

— Наша с тобой, Федя, конспирацня горнт. И борода твоя не помогла. До Касьяна, правда, еще не дошло. Другой перехватнл, сам хочет реализовать... Спартак Петровнч, мой старый дружок. В сортоиспытанин начальник. Прямо за глотку, Федя, взял. Шантажирует. Пятьдесят процентов участня ему дай.

Это было год назад. Федор Ивановнч тогда только голову опустил. И взгляд у него стал задумчивым, как бы мечта появилась.

А прнлнп к ннм этот Спартак Петрович еще раньше — позапрошлой осенью. Еще тогда начал ннтересоваться — что за сорт. Шутку оброннл на ушко Цвяху: «Ты, Василий Степановнч, хоть бы раз кинул мне авторство, что тебе стонт... Работаешь на вас, чертей, органнзуешь вам все, а толку...» И Цвях пообещал ему, сказал, что сделает авторство. «Ты давай толкай в сортонспытанне, а бумагу мы пришлем»,— так ему сказал. Федора Ивановича он не стал тогда тревожнть, танл заботу в себе. Но Спартак этот всерьез вцепился, н, в конце концов, пришлось все рассказать.

— Я так думал: пусть запустнт в испытание, разошлет приказ по станцням. А мы потом сообразим что-нибудь,— говорил он в памятном прошлогоднем мае, знакомя Федора Ивановича с новым, нерадостным поворотом судьбы.— Все-таки дружба старая, что ни говори. Думал, откуплюсь как-нибудь. А он, видишь, жнть научился, с ннм не повиляешь. И Ивана Ильича, оказывается, хорошо знает. И вся картина ему, как я понял, ясна. Улыбаться все время прнходилось. В ресторан приглашать. А в общем, хоть и ходнли мы с ннм в ресторан, хоть н надрались как свиньи... И адреса станцнй он же нам тогда, ты помнишь, прислал... А вот

им от себя бумагу не спустил. И наша картошечка, которую мы разослали, выходит, была послана зря...

— Мы же целую тонну!..

Долго после этого они молчали на поле. Ничего больше не говорили. Только Цвях, прощаясь, протянул:

— Вот, брат. Какой у нас нынче май... Какое разнообразие предлагает жизнь...

И небо над ними как бы затянулось чуть заметной красноватой дымкой.

В этом — уже пятьдесят четвертом — году, в феврале Василий Степанович опять ездил в Москву и опять встречался со своим дружком. Опять пошли в ресторан.

— Слушай, Спартак... Ты чего же? — спросил он.— Мы же тонну разослали. Знаешь, как трудно новый сорт размножать.

— А я виноват, что ты опережаешь? Приказ же еще не спущен. Она лежала у них, лежала... В общем, съели сотрудники ваш подарок. Видно, хорошая картошка. Эти дамы на станциях понимают вкус!

— Ну ты меня удивил. А чего ж ты приказ не выслал?

— А ты чего? Что обещал?

Вот почему в разгаре этого лета Федор Иванович ринулся в Москву. Он не знал, что его там ждет, но, как и раньше, душа его подобралась, готовая к любой встрече. И брезжило вдали неясное предчувствие. Ничего он еще не знал — что и как будет делать, но некий мускул уже подрагивал в душе: Федор Иванович гневно отвергал мягкую дипломатию Цвяха, старомодную и не дающую нужных результатов.

На ходу зорко оглядев свою улицу и дом, но ни разу не остановившись, он молнией влетел на свой третий этаж — как это делает в лесу барсук, когда на рассвете возвращается в нору. Вошел в длинный, прохладный полутемный коридор, отпер свою дверь и бесшумно закрыл за собой. Воздух в его норе был прозрачен — вся пыль мягко улеглась и спала здесь четыре года — с того времени, как он, выйдя из больницы, в последний раз заглянул сюда. Прозрачная штора светилась в лучах лета.

Пожелтевший конверт лежал на полу у его ног. Федор Иванович достал из него сложенный лист. Русый волос был на месте.

Сосед передал ему пачку писем. Того, что Федор Иванович ждал, в письмах не было. Нет, одно ожидание все-таки сбылось — целых три письма из Комитета госбезопасности. Все были посланы в этом году, недавно. Их отправляли с промежутками в двадцать дней. Короткие приглашения на беседу. «По касающемуся Вас вопросу... позвонить по телефону... тов. Киценко». На конвертах были волнистые и круглые штемпели. «По почте послали»,— определил Федор Иванович. Никакой специальной спешки он не почуял. Это были конверты из обычного делового потока. Правда, то, что произошло с Иваном Ильичом и с ребятами из «кубла»,— все это тоже был деловой поток...

Идти или не идти? Ничего не решив, но сунув на всякий случай в задний карман брюк одно извещение, паспорт и жесткий конверт со справками, он вышел налегке на яркую улицу. Впереди было главное дело. Монета провалилась в щель телефона-автомата. Ответил женский голос.

— Комиссия...

— Мне, пожалуйста, Спартака Петровича.

— Кто спрашивает?

— По поручению Василия Степановича Цвяха.

Трубка долго молчала. Потом вкрался тихий голос, глухой и внимательно-неторопливый:

— Да...

— Спартак Петрович? Я по поручению Василия Степановича.

— Кто вы?

— Его сотрудник. Непосредственно работаю над этим сортом.

— Какой сорт...

— От Василия Степановича.

— Через час можете? Давайте через час...

Точно через час сильная тревога, как бы приподняв от пола, неслышно несла Федора Ивановича по коридору второго этажа — на том уровне, где обычно располагаются обширные кабинеты и приемные начальства. Безлюдье, тишина и ковры — таков был воздух этих мест. Словно весь дом был покинут людьми. Миновав несколько молчаливых дверей с черными табличками, он вошел, наконец, в нужную приемную. Вежливая секретарша, похожая на иностранку, нажала какую-то кнопку, что-то вполголоса сказала в плоский аппарат и

подняла на Федора Ивановича спокойные чистые, эмалевые глаза.

— Спартак Петрович ждет вас.

Этот человек, притаившийся за большим письменным столом, был, несмотря на жару, в гипсово-белом воротничке с зеленым, как перо селезня, галстуком. Черный пиджак висел в стороне на спинке стула. Начальник был слегка распарен. Сзади него на столике стояли две бутылки с лимонадом — полная и початая. Пышные, сильно вьющиеся волосы цвета пакли увенчивали голову Спартака Петровича пружинистым шаром и говорили о телесной крепости. Большой их моток свисал на свекольно-розовый складчатый лоб. Ни одного седого волоса. Здоровье крепкого крестьянина, который никого и ничего не боится. Острый нос. Под ушами — желваки.

Он сидел, широко разложив локти, и с виду был очень занят разбором документов в раскрытой папке.

— Где? Где?— сказал он, не глядя, и протянул к Федору Ивановичу толстую руку, растопырил пальцы, зашевелил ими. А сам листал, листал что-то в папке, горько морщился, обнаруживая недостатки.

Перед Федором Ивановичем сидело желание. И в этом кабинете, оснащенном новейшими приборами, человек, как в библейские времена, желал жены ближнего, осла его и всякого скота его. И при этом маскировал свою первобытную, неспособную меняться, страсть жестами, приобретенными в кабинетах, среди папок. Означающими страшную занятость. Он был как на ладони, и постепенно взгляд Федора Ивановича принял то особенное выражение благосклонного холода, которое хорошо передано Тицианом.

Не дождавшись приглашения, он молча сел в кресло. Пальцы Спартака Петровича опять потянулись к нему.

— Где? С луны ты, штоль, свалился? Бумага где?

— Бумага здесь,— сказал Федор Иванович и, привстав, неторопливо полез в задний карман брюк. При этом не сводил глаз с сидевшего перед ним человека.

— Слушай...— через минуту сказал тот, показав веселые маленькие глаза табачного цвета.— Тебе не кажется, что ты отнимаешь время? У начальства...

— Я думал, вы очень заняты своей папкой.

Федор Иванович, наконец, достал жесткий конверт. Начал шевелить в нем документы. Рука Спартака Петровича опять протянулась к нему, задвигала пальцами.

— Давай скорей, мне надоела эта канитель.

— Я что-то здесь не нахожу...

— Голову мне морочить приехал? — веселые глазки расширились и побелели.

— Все уже сдано вам в позапрошлом году. Если вы о соавторстве, то я не разрешил Василию Степановичу, хотя он настаивал...

— Постойте... Какое соавторство? — холодный и прямой взгляд в упор.

— Василий Степанович еще кого-то хотел... подключить,— Федор Иванович с независимой благосклонностью взглянул на него. И, опустив руку на стол, мягко прихлопнул:— Я не разрешил... И не он должен ставить коньяк вам, — тут он первый раз в жизни сознательно состроил свою приветливую, располагающую улыбку.— А вы должны ставить мне. Если хотите...

— А вы кто?

— Автор.

— Ну и что?

— Вот и все. Никакого соавторства. При такой постановке...

— Что вы мне соавторство какое-то тычете? Высылайте семена и ждите результатов. Все? Можно было и не приезжать...

— Мы уже выслали и полтора года ждем. А там и не приступали. Год потерян.

— Еще подождите. Не вы одни. Высылайте семена...

— Опять съедят!

— Вас это приводит в ужас?

— Этот факт, Спартак Петрович, не может не привести в ужас. Если автор настоящий...

— На то он и автор!

— Если он не соавтор, Спартак Петрович. Куда вам в соавторы, вы же равнодушны к судьбе сорта. Не знаете, как сорт получен.

— А зачем мне знать? Однако что это за разговоры такие?..

— А то, что это чистый формально-генетический картофель. Вейсманистско-морганистский. Слышали такое?

— А что мне твой вейсманистско... как ты его там... Жарить его можно?

— С этим сортом свяжись — значит, и к ответу будь готов. Лучше отступиться, Спартак Петрович.

— С кем-то ты меня путаешь, малый... Товарищ автор. Почему у вас в пропуске написано Дежкин?

— Это моя вторая фамилия. Научные труды я подписываю как Стригалев.

Человек за столом гуще побагровел, глаза у него опять стали белыми. Протянув руку назад, взял бутылку и отпил из нее. Пока пил, белизна в глазах пропала. Поразмыслил и улыбнулся.

— Разве так бывает?

— Лучше отступиться, Спартак Петрович. И чести будет больше. А мы с вами не старики. Еще будут сорта, и мы сможем вернуться... к столу переговоров.

— Знаешь что? Иди к... К своему непосредственному начальству ступай. И балакай с ним. К Цвяху ступай. Ему все это говори, а не мне. И скажи: Спартак Петрович ни шиша не понял из того, что я ему молол. В его кабинете... Пусть Цвях приезжает и расшифрует мне. Надеюсь, он яснее изложит существо вопроса.

— Напрасно, — сказал Федор Иванович, поднимаясь и не сводя с него мягкого наблюдающего взгляда.— Не далее, как через пять дней...

— Что ты пугаешь? — начал подниматься и Спартак Петрович. Когда-то это был крупный человек, той породы, что родится на Волге или на Вологодчине. Но этот второй этаж, письменный стол и витающие вокруг него страсти сократили его рост, согнули, упрятали голову в горб, изуродовали когда-то красивого человека. — Что ты пугаешь? Ну-ка, давай покинь... Во-он дверь.

— Через пять дней, я думаю, вы опомнитесь и пришлете мне копию вашего распоряжения,— сказал Федор Иванович, слегка барабаня пальцами по столу.— Так и напишете: Ивану Ильичу Стригалеву. А в скобках — Ф. И. Дежкину.

Спартак Петрович покачал головой, удивляясь дерзости автора. И быстро взглянул из-под шевелюры. Он странным образом мгновенно переходил от гнева к раздумью.

— Не понимаю, что вы тут мне... Все вам сказано, давайте, покиньте кабинет. И так я... До свидания.

Распоряжение ему! Предсказывай здесь... Не так все будет, как вы хотите, а так, как положено. Идите, товарищ Стригалев... Товарищ Дежкин. Работайте, а не по кабинетам...

«Все,— думал Федор Иванович, летя по безмолвному коридору, не чувствуя пола.— Все. Теперь к Киценке...» То, что подтолкнуло его к этому решению, нельзя было назвать догадкой. Действовало сильно развитое качество, которое вообще не имеет никакого названия. Вариант отдаленного голоса — вот что это было. Что-то прилетело по ветру, что-то всплыло из своих, неведомых самому Федору Ивановичу глубин, где непрерывно происходят контакты с меняющимся миром. И потянуло именно туда, к опасности...

«Иду туда»,— еще тверже прозвучало в нем. И, выйдя на улицу, он сразу стал искать телефонную будку.

— Киценко слушает,— доложил в трубке легкий служебный тенор.

— Это говорит Дежкин. Дежкин Федор Иванович. Которому вы три повестки...

— Дежкин? Сейчас, минуточку... Ах, Де-ежкин! Тот самый Де-ежкин. Та-а-ак... Значит, это вы... Федор Иванович! Где вы пропадали? Вам надо обязательно зайти к нам.

— Я и звоню поэтому. Когда мне?.. Могу даже сейчас,— это Федор Иванович сказал нарочно, чтобы понять, собираются его там задержать или он нужен только для разговора. Он сообразил: если его фамилия стоит на особом контроле и его хотят упрятать, Киценко ответит так: «Что ж, если вам удобно, приходите сейчас». И будет стараться придать словам небрежный тон.

Киценко размышлял.

— Как вы насчет того, чтоб послезавтра? — спросил он, пошелестев бумагами.

— Лучше завтра. Я ведь проездом,— сказал Федор Иванович.

— Что ж... Сейча-ас посмотрим... Ну, давайте завтра. В двенадцать. Устраивает?

И назавтра, вымыв голову и с помощью ножниц слегка осадив небритость на щеках и подбородке, надев

светлые брюки и тонкую сорочку в мелко-моросящую коричневую клеточку, подобранный и строгий, он явился к старинному дому на Кузнецком мосту, к двери, около которой на стене чернела стеклянная дощечка с золотыми буквами — «Бюро пропусков». Место было опасное, причины, по которым он решил показаться здесь, самому были неясны. Поэтому он пришел часа на полтора раньше — чтобы осмотреться. Сначала он, будто прогуливаясь, прошел мимо стеклянной дощечки и, бегло глянув в дверь, открытую по случаю начинающейся июльской жары, увидел там, во мраке, у стены неподвижные человеческие фигуры, сидящие в ряд. Он спустился по Кузнецкому мосту, перешел на другую сторону, не спеша побрел обратно, опять пересек улицу. На этот раз он вошел в дверь и сел у стены на свободный стул. Это было обыкновенное бюро пропусков, только потолки ниже и все помещение теснее, чем в шестьдесят втором доме, где он когда-то бывал. Несколько окошек с дверцами, а в дальней стене — две двери. То в ту, то в другую время от времени входили молчаливые люди из тех, кто сидел у стен. Такие же люди молча выходили оттуда и уже не садились, а прямо шагали к выходу, сквозь полумрак, и исчезали за открытой на улицу дверью, как в светло пылающей топке.

Посмотрев на всю эту таинственную жизнь, Федор Иванович повел бровью, встал и быстро вышел на яркую улицу. Надо было хорошенько подумать. Повернулся и чуть не налетел на Кешу Кондакова. Тот уставился, медленно узнавая.

— Ты жив!.. — Кеша протянул к нему руки, которые сразу приковали внимание своей хилостью. И на лице его было нездоровье, как будто он вышел из больницы. Рыжеватые волосы его, хоть и поднялись, все еще хранили печать лагерной стрижки. Лицо обросло, начало погружаться в рыжий мех. Формирующие ножницы и бритва еще не сделали из этого меха картинку, которой когда-то было лицо Кеши.

— Жив ли я? — спросил Федор Иванович, рассматривая его. — А что?

— Когда тебя выпустили?

— Я не сидел.

Из коротких рукавов Кешиного желтого балахончика свисали исхудалые, постаревшие белые ру-

ки... Федор Иванович не мог отвести от них взгляда.

— Как это ты не сидел? Тебя же арестовали!

— Только собирались. Я сбежал. А ты что тут?..

— Сбежа-а-ал?.. — Помолчав недоверчиво, Кеша спохватился.— Познакомься, моя жена. Деточка, пожми руку дяде. Хороший дядя.

И сразу послушно подошла державшаяся в стороне, худенькая, веснушчатая, лет восемнадцати. Можно было бы сказать и тоненькая, но талии у нее не было. Задевало душу странное строение тела, угловатость движений и готовность к послушанию. У нее была сумочка на длинном ремне через плечо, и она, поддев худые пальцы под этот ремень, качнулась было на одной ноге, играя перед двумя мужчинами. Но тут же, перехватив строгий взгляд поэта, замерла и застенчиво полуотвернула лицо.

— Света,— представилась она, подавая свою красноватую птичью лапку, и быстро стрельнула взглядом на нового знакомого.

Федор Иванович любезно ей улыбнулся и шагнул назад, чтобы ей было удобнее стоять с ним. И сказал ей что-то общее, чего и сам не понял.

— Детка...— вмешался Кеша.— Мы давно не виделись с дядей. Дай нам с дядей поговорить.

Поспешный шаг, второй — и она оказалась на краю тротуара. Соединив пальцы на затылке, откинув худые локти назад, прогнулась и, раскачивая сумочку, медленно пошла, подставив солнцу закрытые глаза.

— Обрати внимание,— Кеша приблизился с волосатой ухмылкой.— Взгляни! Ух-х, какая дрянь! Чувствует, что мы смотрим!

Он уже ревновал!

— Так ты с нею в законе? — спросил Федор Иванович.— Это правда?

— Не веришь?

— Так ведь у тебя же есть...

— Пророк разрешает двенадцать жен.

— Только правоверным.

— А что, правоверные не люди?

— Ладно, без шуток. Ты женился на ней?

— Так я ж тебе это и долблю! Женился. Женился! Еще, хочешь, крикну? Женился!! И прописан у нее. На Таганке...— и, понизив голос, Кеша радостно сообщил:— Уже беременна!

— А Ольга Сергеевна?

— Посуди сам, зачем мне туда? Мальчишка подрос, он уже знает все о гибели отца. А что такое я? Какая у меня роль?

Кеша во все минуты жизни был прав.

— Но раньше... Раньше ты, Кеша, так вопрос не ставил. Под таким углом...

— Угол меняется. Колесо жизни не стоит.

— Нарушаешь закон. Надо было сначала развестись.

— От перестановки слагаемых сумма не меняется. Поеду на днях разводиться.

— Ты же ревновал! Кровать мне навязывал. Скрепки...

— В одну реку дважды не войдешь.

— Уже не страдаешь?

— Как можно не страдать. Они такие сволочи... Страдаю, Федя. Только от другой. Вон... позирует.

— А у той нос теперь остроган с трех сторон?

— Это не от меня зависит.

— По-моему, ты сюда? — Федор Иванович кивнул на открытую дверь.

— Как и ты...

— А тебе зачем?

— Я разве не сказал? Людей же выпускают, закрывают дела...

— Твое еще не закрыто?

— Не мое. Что — мое... Свешникова...

— Ка-а-ак! Он что — сидит?

— О нем ничего не знаю. Может, и лежит.

Оба умолкли.

— Он же биологов ваших всех предупредил,— потемнев, сказал Кондаков.— Разве ты не в курсе? Ах, да, ты не можешь знать... И не только биологов. Жаль, конечно. Зря попал...

— Не зря, Кеша. У него была миссия. Он был великий человек. Даже того, что известно мне... И того хватит.

— Да, да...— Кондаков, еще больше потемнев, стал смотреть в сторону.— Мне больше известно, чем тебе...

— Что?

— В общем, я с себя не снимаю... Он меня... Меня же замели за то стихотворение, про портрет. Генералиссимус, оказывается, не понимал шуток. В одном экзем-

пляре было, черновичок. Его и нашли при обыске. Ну вот. Тут я сразу и загремел. И вдруг меня вызывают. К Михаилу Порфирьевичу. И он при мне эту бумажку сжег. Поднял, чтоб мне видно было, зажигалку чирк. И молча держал, пока до пальцев не дошло. Умел пожалеть поэта. На этом и попал...

— Кто-то продал его.

— Я, Федька, я. Суди, как хочешь. Черт меня потянул за язык. Я же трепло. Никогда мне секретов не доверяй. Как Свешников меня отпустил, я вернулся в камеру и тут же все рассказал ребятам...

Федор Иванович сурово молчал.

— Я ж тебе говорю: суди, как хочешь. Виноват. А сейчас вот третий раз по его делу вызвали. Я так понимаю, Федя, его реабилитировать хотят.

— Поздновато спохватились,— заметил Федор Иванович.

— У нас тогда была очная ставка. Я все выложил, как было. А он и не отрицал, признал все. Деваться же некуда, он и давай рубить генералу правду-матку. Сказал: «Что ты, Коля, нам с ним тут шьешь, так это все че-пу-ха! Стыдно даже слушать. Почему сжег? Ужели и это не понимаешь? Да потому что тебя, Николай, хорошо знаю!» Где он сейчас?.. Разве скажут? Я пробовал подъехать. Молчат...

Кондакову хотелось еще говорить о Свешникове.

— Генерал знаешь, что сказал? «Непонятно мне, Миша. Таким зубрам помог скрыться, и все тебе сходило. А на дурачке погорел». Свешников, конечно, знал, что я не дурачок. Говорит: «Он поэт, понял? По-эт! И много еще хороших стихов напишет». Свешников любил стихи. Заходил ко мне послушать.

Разговор совсем угас. Кондаков хмуро взглянул на часы и, не прощаясь, канул в полумраке бюро пропусков. Хоть и со спины, все равно было заметно: в его туфлях опять сквозили женские линии. Где-то раскопал...

А минут через сорок, погуляв по Кузнецкому мосту, когда решение окончательно дозрело, в бюро пропусков прошел и Федор Иванович. Новой жены Кондакова уже не было около входа — должно быть, Кеша управился со своим делом, и они ушли. Оказалось, что пропуск не нужен — всего несколько шагов, и Федор Иванович, осторожно открыв и закрыв за собой темную

крашеную дверь, увидел в небольшой комнате двоих не старых и почти одинаковых худощавых мужчин в гимнастерках защитного цвета, но без погон. У каждого бесконечные глубины под бровями были наполнены зеленоватой мглой. Из этих теней смотрели их отчаянные светящиеся глаза, привыкшие видеть врага. На столе лежала раскрытая папка — дело Федора Ивановича. Где-то была в свое время поставлена резолюция, приостановившая ход. Но дело жило, как картофелина в хранилище. И вот — пустило хилый, как нитка, росток. Двое, сидевшие за одним столом, листали его перед появлением Федора Ивановича и остановились на этом движении.

Федор Иванович смотрел когда-то заграничный фильм. Герой на машине спасался от погони, несся по шоссе. И вдруг увидел в зеркале — вдали из-за поворота показались два мотоциклиста в касках. Преследователи. Беглец свернул на другое шоссе, и опять они показались... Он еще раз свернул, глянул в зеркало. Преследователи все так же ехали сзади плотной парой. Нависали.

Почему-то они вспомнились именно сейчас. «Зря пришел»,— сжало душу.

— Дежкин,— с прохладной приветливостью сказал тому и другому Федор Иванович.

Ему предложили сесть и долго молча рассматривали его. Как будто хотели подобрать ему одежду по росту. Сравнивали его обросшее лицо с портретом в деле. Потом один весело спросил — это и был Киценко:

— Так где же вы, Федор Иванович, все-таки пропадали четыре года?

— В Сибири, на родине,— солгал Федор Иванович, чтобы проверить, что же они знали о нем.— В Ачинске.

— Работали там, да? — спросил Киценко.

— Конечно. Земля... Картошка...

Киценко посмотрел на соседа и опять начал листать папку.

— Вот это я так и не понял: зачем же вы тогда так сразу и в подполье? В небытие,— поправился он.— Почему не обратиться к начальству? Не все начальство глупое...

— А я и не сразу,— сказал Федор Иванович.— С того и начинал. С обращения. Только начальники ведь не

в ряд сидят, а один над другим. Так что есть и конец, вершина, где сидит один. За ним нет никого — бог, вселенная. И вот я хочу обратиться в конце концов к тому, к одному... А ему тоже черная собака примерещилась. Такая собака есть...

— Да, мы знакомы с этой вашей... аллегорией.

— И этот один тоже кричит: «Бей!». Сверху кричит. Это же закон для всех! А завтра, кто на его место придет, скажет: ошибка, ошибка была. Ошибались. Стоит ли старое ворошить? Хорошо, правда? Я ошибался, я и ворошить не даю. Так что мне прикажете делать в этих условиях? Если я уверен в своей правоте и если вдобавок, знаю, что вы ошибаетесь, преследуя меня. И если у меня есть объективный критерий для этого... Я могу и скрыться, а? Чтоб у вас одним грехом было меньше на душе...

И все они коротко хохотнули, все трое.

— Смело, смело,— сказал Киценко, любуясь Федором Ивановичем.

— За побег из-под стражи... — начал его сосед.

— А я не был под стражей. Только догадывался, что должны... А к тому же у меня было на руках дите, за которое я нес ответственность. Перед народом.

— Рискованная была игра... — заметил сосед Киценко.

— Это была не игра.

— Но риск. Вы довольно смело действовали.

— Риск был равен нулю.

— Что-то новое...

— С того момента, как я узнал, что мною пристально заинтересовались ваши товарищи, риск перестал существовать. Гамлет узнал, что он оцарапан отравленной шпагой. И спешил использовать оставшиеся часы для доброго дела.

— И удалось это Гамлету? — спросил Киценко.

— Сначала думал, что удалось. Но, как оказалось недавно, не до конца. Может и рухнуть.

— Мы к этому вернемся. Скажите вот что... — Киценко тонкими, чуть дрожащими белыми пальцами отвернул страницу, заложенную полоской бумаги.

Федор Иванович заметил эту дрожь, и сразу ему стало трудно дышать.

— Вот такой есть вопрос,— продолжал Киценко, выждав паузу.— Когда вы пустились в бега... Когда вы

сели в этот грузовик... Помните? У вас с собой было оружие. Где вы его взяли и где оно сейчас?

— Рука это была! Моя рука! — не слыша себя, закричал Федор Иванович.— Я ее держал за пазухой. Болело же отчаянно! Держал и посматривал на этого шофера. Боялся его. Как вы сейчас смотрите на меня... И он смотрел. Видно, передалось. И моя рука превратилась в страшный бесшумный пистолет. Вы же, наверно, когда допрашивали этого шофера... Спросили, наверно: было ли у мужика оружие?

Двое по ту сторону стола стесненно, коротко засмеялись.

— Не мы допрашивали,— сказал Киценко.— Но вы нас не убедили.

— Вот же, вот...— теперь Федора Ивановича почему-то охватывало, как тяжелый хмель, незнакомое раздражение, он сдерживался. — Вот же справка! — привстав, он выдернул из заднего кармана брюк жесткий конверт, достал сложенную бумажку. — Из больницы. Читайте, тут все сказано. Про оружие... Два месяца лежал. Ребра поломал, когда кувырком катился от ваших помощников. От добровольцев... Напичкали мозги врагами народа, шпионами и вредителями, схоластами всех мастей...

— Если и есть чья вина, то не нашего учреждения. Академики ваши трусливые напутали.

Оба замолчали, наклонились к бумажке. Рассматривали угловой штамп, дату. Потом посмотрели друг на друга.

— Вы отдаете нам эту справку?— спросил Киценко.

Федор Иванович махнул рукой: берите. В нем горела досада, он рвался высказать им все.

— Говорите, академики... Академики! Неужели стыдно признаться? А вы, чего же вы... Решать научные споры... с помощью вашего карающего меча?

Оба внимательно на него смотрели. С того момента, как они прочитали больничную справку, что-то изменилось в них. Призрак шпионского оружия растаял, и они повеселели.

— Федор Иванович... Мы рекомендуем вам забыть эту главу в вашей жизни... — посоветовал Киценко. — Забудьте! Партия навсегда осудила эти вещи. Решительно отвергла подобные нарушения законности.

— Верните мне сначала жену,— прозвучал в от-

вет тихий, глухой голос с новыми, недобрыми нотками. — Хоть скажите, жива она или нет? Где она?

— Вот так, Федор Иванович... Рекомендуем забыть эту главу,— сказал второй.— И можете побриться.

— Разве вы женаты? — спросил Киценко.

— Моя жена, Елена Владимировна Блажко еще тогда... Со всеми...

— Свидетельство о браке,— сказал Киценко и протянул руку.

— Свидетельства нет.

— Вот так... Мы вам ничего не скажем. Недолго осталось ждать.

«Как же! Забыть главу!» — хотел закричать Федор Иванович, но вдруг вспомнил свою главную задачу. Даже не вспомнил, а просто эта задача совсем без участия мысли усмирила его, и он мгновенно изменился, стал тем задумчивым человеком, который многому научился и держал прямоту высказываний под строжайшим автоматическим контролем. Те двое заметили в нем эту перемену. Молчали. Дали завершиться превращению.

— Вот так, Федор Иванович... — сказал еще раз второй. А Киценко решил открыть новую тему.

— У вас на руках было чужое дите, как вы выразились...

— Да, было. Из него я там, в подполье, как вы говорите... Я вырастил там за это время вот такого юношу... — Федор Иванович достал из конверта и положил на стол подписанное Спартаком Петровичем письмо о приеме заявки на новый сорт. — Это один из лучших сортов в мире. Я бы даже так сказал: это не сорт, а человек. Он еще тогда тяжело болел. Боюсь, что его уже нет. Если так, он стал картошкой и будет своим телом кормить миллионы людей. Вы положите эту справку в те страницы, где показания Ивана Ильича Стригалева. Увидите, как строки нальются кровью...

Федора Ивановича опять клонило закричать, ударить кулаком по столу, и те двое по ту сторону, почувствовав это, подобрались.

— Лишили страну ученого, который давал сорта! Вредительство, между прочим. Чистейшее. Вот что надо было видеть!

— Эмоции, — сказал Киценко, глядя в сторону. — Эмоции.

— А почему в справке нет вашей фамилии? — поинтересовался второй.

— Моя роль тут не так велика. Когда вы его брали, сорт уже был...

— Где?

— У меня на хранении. Он уже чувствовал и передал мне...

— Брали его не мы... — сказал Киценко.

— Ну да, знаю. Ассикритов.

— Ассикритов, между прочим, в отставке.

— То есть, на генеральской пенсин, вы хотите сказать? — поправнл его Федор Ивановнч.

Второй развел руками:

— Генералу не дашь пенсию капитана. Мы хоть на пенсню проводнли. А ваш академик...

— Не в наших стенах изобрели этот вейсманизм-морганизм,— перебил Кнценко.— Вот над чем подумайте хорошенько. — И сразу остановил себя, замолчал.

— Значит, вы... — не смог унять любопытства второй.— Значит, вы кинулись в свои прнключения ради этой картошкн?

— Не совсем. Не совсем. Вас не посещало такое?.. Не было у вас когда-нибудь такого ощущения, что вы внноваты перед человеком... Перед двумя, тремя... Которым вы незаслуженно... Жизнь которых после встречн с вами пресеклась... Не было такого? У меня было. И есть до сих пор.

— А где вы работалн?

Вместе с этнм вопросом, который вырвался сразу у обоих, быстро высунулось и тут же спряталось что-то затаенное, чего Федор Ивановнч нечаянно коснулся. И он понял, что это самое ощущенне было и у ннх. Только оно еще не стало силой, несущей перемены в жизнь.

— Я портнл жнзнь своим... не так. Не по долгу службы,— сказал он.— Просто очень легкомысленно жил. Испортить чужую жизнь легко. Портнть — это как пух. Невесомая вещь. А искупать внну — это дело для многих прямо-такн невозможное. Некоторые даже смеются,— добавил он. Ему показалось, что в глазах второго скользнула неуверенная улыбка. Но он ошнбся. Оба смотрели внимательно и строго.— Ну вот я н поставил себе... Она сама поставнлась, задача. Сделал, правда, маловато...

— Был конкретный человек? — спроснл второй.

— Двое. Первого помог... Отправить... Второго хотел спасти. И не успел. Не сумел...

— Это вы о Стригалеве? Да... Не успели...— задумчиво подтвердил второй, похлопывая пятерней по столу. Это было первое четкое подтверждение судьбы Ивана Ильича.— И вы, значит, ради этого на все пошли?— тихо продолжал второй.— Ведь вы на все пошли, на все!

Глаза у обоих увеличились. Оба притихли. И Федор Иванович молчал.

— Нестандартно поступили...— почти шепотом проговорил Киценко.

— Таких людей... нестандартно поступавших, между прочим, было много,— сказал Федор Иванович.— Если начать считать...

— Да, мы знаем, мы знаем... — второй еще больше затуманился.

— Между прочим, и Михаил Порфирьевич...

— Вы с ним были знакомы? — загорелся Киценко.

— Хотелось бы сказать не «был знаком», а просто — знаком. Слово «был» не оставляет надежды...

Киценко поднял руку, мягко останавливая его.

— Мы были друзья,— продолжал Федор Иванович.— У нас начала складываться такая дружба... Потому что первый раз в жизни я встретил такого... Я ведь что хотел... Я хотел сказать... Даже подчеркнуть... Что такие люди даже в то время были и в вашем учреждении.

— Н-да-а... — сказал второй, сжав губы. И Федор Иванович понял, что думать об этих людях хоть и можно... Да ведь и не запретишь...

— А вот сказок о них не расскажут... — продолжил он мысль.

Никто его не поддержал.

— А я что хотел... Я хотел сказать, что стать таким и сейчас ведь открываются возможности... Не закрыты... Ведь можете вы проявлять интерес не к конкретному своему делу, а к...

— Этот интерес не к конкретному своему делу как раз много и напортил,— сказал второй.— На этом поставлена точка.

— Федор Иванович не договаривает,— засмеялся Киценко заинтересованно.— У вас имеется что-то для нас?

Второй слабо улыбнулся, как бы разрешая продолжать и одновременно оценивая находчивость и тонкость подхода, показанную гостящим у них сегодня оригинальным бесшабашным биологом.

— Я, может, и не явился бы к вам,— сказал Федор Иванович.— Продолжил бы свое небытие... Еще года на два. Если бы не это. Понимаете... Есть такой пруд, тихий... Совсем сначала ничего не видно было, гладь сплошная. Только коряга лежит в воде. Бревно. Вокруг него всякая мелюзга суетится, а оно лежит... А потом бревно открыло сначала один глаз, потом второй... Шевельнулось... И оказалось, что это среднего роста крокодил. Который двинулся прямо ко мне и спокойно так меня за ногу... А жертва связана — держит на руках дите. И крикнуть нельзя, надо молчать. А крокодила не моя нога, а именно дите интересует. И тащит... Могу и телефон дать...

— А точнее нельзя? — второй при этом взглянул на Киценко.

— Я же сказал: его дите интересует. Начальник есть такой, в сортоиспытании. Спартак Петрович. Впился как клещ — давай ему процент участия. Не меньше как пятьдесят процентов. Уже год задерживает. Уже на год сорт опоздал! И все передает через третье лицо...

— Вы это заявляете? Изложите письменно, и там, в бюро пропусков, висит ящик... Туда бросьте...

— Не-ет. Избави бог, не заявляю. Вы слушайте. Он улыбается и ждет, когда я ему в рот заплыву. Будет ждать и год, и два. Вот если бы вы позвонили... Вам ведь эта справка нужна?

— Да, да, конечно... — сказал Киценко.

— И мне же она нужна. Вот если бы вы позвонили и невинным голосом попросили его прислать вам копию. Еще лучше — с подробностями. Когда мы сдали ему сорт Стригалева. В каком положении сейчас... Он же трус! Только хлопни в ладоши — сразу нырнет на самое дно. Шкодливая дрянь...

— Это, к сожалению, не наше дело,— Киценко подобрал губы,— у нас другая задача...

— Это ваше, ваше дело. Послушайте! Почему хорошие люди страдают больше всех? Вот он стоит против всего общества, протягивает свой дар. А общество бьет его по протянутой руке, топчет! Сообща топчут, с

помощью собраний. Так это делается, что и не найдешь виновного. А потом, когда человека уже нет, а дар его оценен, и уже наступила за столом тишина... О которой Пушкин сказал: «Уста жуют...». Хоть бы тут от человека отстали. Так нет же, из числа жующих вылезает соавтор: давайте мне пятьдесят процентов!..

— Не пройдет, Федор Иванович. Не уговорите,— сказал Киценко.

— Неужели нельзя поломать эту закономерность? Ну поломайте хоть сейчас! Сделайте нестандартное усилие! Позвоните этому борову, испугайте его!

— Вот именно — пугать. С этим покончено. Это совершенно не наше дело!

— Понимаю. Когда гнать замечательного ученого, это было ваше!.. Не хочу продолжать. Я забираю у вас справку. Вот. И кладу в карман. Справка вам нужна? Позвоните, он вышлет...

— Ну ладно, давайте номер телефона... — Киценко улыбнулся соседу, махнул рукой: — Действительно, нужна ведь справка. Подловил нас товарищ Дежкин...

В тишине зажужжал диск. Киценко набрал номер, поднял глаза к потолку, стал постукивать карандашом.

— Из Комитета госбезопасности, — сказал он служебным тоном. — Мне, пожалуйста, Спартака Петровича... Пожалуйста... — он оглянулся на обоих своих соседей, придвинувшихся к нему. — Спартак Петрович? Это из Комитета госбезопасности Киценко. Вам сдан для сортоиспытания сорт картофеля. По-моему, год назад. Автор Стригалев... Нет, вы мне скажите, сдан? А вы вспомните, вот передо мной документ за вашей подписью. Сейчас дату скажу... Вспомнили? Не можете вы мне выборочку прислать? Когда сорт сдан. В чем это конкретно выражалось. Да, я это и имею... Какого числа состоялось решение. Чьи резолюции, какого содержания. Как движется дело...

Трубка торопливо завибрировала. Спартак Петрович бился на крючке, что-то горячо втолковывал. Киценко не перебивал его. Кивал. Он прекрасно вел свою роль.

— Простите, Спартак Петрович, я повторю ваши слова. Значит, так. Стригалев, как вы сказали, взят органами. Известный вейсманист-морганист. Это точно? Академик Рядно упоминал на семинаре? Вот-т оно что... А кто же представил этот сорт? Дежкин? Федор

Иванович? Я-асно... Дежкин представил сорт,— повторил Киценко, как будто записывая.— Что скрыли? Ах, факт взятия Стригалева! Дежкин скрыл? Дежкин назвался Стригалевым? Ходит по министерствам как Стригалев! Хорошо, все ясно. Да... Спартак Петрович, это все? Скажите... Да, я понял. Скажите... Я у вас разве *об этом* спрашивал? Вы записали себе то, о чем я вас просил? Пожалуйста, будьте добры, вот это мне подробнейше и напишите. И желательно в пределах двух дней...

Киценко положил трубку.

— Дежкин прав, это крокодил.

— Еще какой! Классического образца! — вставил Федор Иванович.— Два года назад в этой ситуации он стал бы автором сорта, представляете?

— Завтра я еще раз позвоню ему, напомню,— сказал Киценко.

Тут второй взглянул на своего собрата и показал пальцем на часы, что были у Киценко на руке. И сразу оба, спохватившись, захлопнули лежавшее перед ними дело. Похоже, навсегда. Киценко сунул эту папку в нижний ящик стола, достал оттуда другую, потолще, со свисающей лапшой бумажных полосок, заложенных в страницы. Положил ее перед собой. Затем оба взглянули на Федора Ивановича. Они уже успели перестроиться на решение чьей-то другой судьбы.

— Было очень интересно с вами... — торопливо сказал Киценко, этими словами вежливо отсылая Федора Ивановича из кабинета.

— И поучительно... — тем же тоном добавил другой.

Федор Иванович сейчас же встал. На миг те двое и он встретились глазами. Одновременно что-то подумали. «Кто же они такие? — протек на заднем плане вопрос. — Культура молчания. Закоренелая. Он-то разливался рекой, а они ни слова лишнего. Нельзя. Если и можно — все равно нельзя».

Все же они, пожалуй, не из этого ведомства. Он уходил из комнаты, так и не поняв этих людей. Другой мир. Загадка, сон... Но и для них он остался невиданной вещью в себе. Об этом говорило их молчание, в котором тоже бывают оттенки.

— Что касается вашей жены,— проговорил вдруг Киценко, разгадав угрюмость Федора Ивановича.— Никаких данных мы не имеем. И не уполномочены

заниматься розыском. У нас вот стоит очередь, — он положил руку на новую папку, что лежала на столе.

— Вот еще что... — нерешительно заговорил вдруг второй, как бы нарушая тайну. — Вы, наверно, знаете Краснова...

— Смотря какого Краснова... — что-то толкнуло Федора Ивановича произнести эти осторожные слова, вытягивающие из молчаливого человека его секреты.

— Ну, как же! Ваш председатель научного общества. Вы же единогласно избрали его два месяца назад!

Это «единогласио» сказало Федору Ивановичу очень многое. И о нынешнем Краснове, и о тех, кто его выбирал.

— Вас интересуют факты или мнения? — спросил он.

— Факты предпочтительнее.

— Такой есть факт, — сказал Федор Иванович. — На его правой руке имеется рубец. Вот здесь, на самом виду. В виде крестика. Говорят, однажды ночью он полез к Ивану Ильичу Стригалеву на огород, чтоб украсть для академика Рядно ягоду с картофельного куста. А в ягоде был собран весь талант Ивана Ильича и полжизни трудов. Но и вор нашелся соответствующий. Перелез через забор, взялся за ручку калитки — там был еще внутренний дворик. А из ручки вылетело четырехгранное острие и насквозь ему... Такая машинка специально была установлена. Специально для него трудилась бригада. Академик, инженер и слесарь высшего разряда. Кроме того, он же не Краснов...

— Это известно. А вот крестик на руке — это новое. Это интересно...

«Другой мир, другие люди. Какой-то сложный сон...» — думал Федор Иванович, переходя сквозь незримую границу в тихий полумрак ожидальни, в дальнем конце которой, за открытой дверью, все так же пылал ярко разгоревшийся день. После посещения комнаты, оставшейся теперь у него за спиной, после телефонного разговора Киценко со Спартаком Петровичем как-то сами собой мгновенно отодвинулись назад постоянные и болезненные заботы о «наследстве» Ивана Ильича. Ничто уже не грозило этому наследству. Федор Иванович возвратился в тот мир, от которого

успел отвыкнуть, — в мир, где не боятся выходить на улицу, где не охватывают осторожным взглядом все вокруг себя, где не томятся в напряженной готовности к встрече с новым поворотом судьбы.

Он провел рукой по лицу, ощутил мягкость чужого, незнакомого меха на щеках и подумал: «К чему это?». Человек быстро выходил из пятилетнего сна, возвращался... Нет, сон еще витал вокруг него: Леночка еще летела где-то в неведомых завихрениях этого сна. Летела с младенцем на руках, грустно склоненная к нему. Клещи заботы о «наследстве» отпустили Федора Ивановича. И сразу словно прекратилось онемение от замораживающего боль укола. Свежая рана опять не давала шевельнуться, тяжелое внутреннее кровотечение отняло силы. Он опустился на свободный стул у стены. Вдруг вырвался нечаянный резкий вздох: «Леночка...». И не успел еще Федор Иванович понять, в чем дело, как вздох повторился, еще и еще — и он ничего не мог с собой поделать. Слишком долго все это было взаперти. Сжал губы, кулаки, незнакомая судорога искривила губы, что-то стало жечь в носу, подступило к глазам. И как только понял, что это слезы, закрыл глаза, зажмурился плотнее и затих. Перетерпел все. Только еще раз чуть слышно вздохнул.

И как бы перешел в новый невероятный сон. Вдали, за открытой на улицу дверью, ярко горел июльский день, и в этом горне, заслонив его на четверть, показался серый бок автомашины. Проплыл, остановился. Открылась с той стороны дверца, и из машины, изогнувшись, выбрался громоздкий человек в сером костюме с зелеными складками. Сделал один шаг, и складки костюма стали красными. Пока он поспешно, виляя и прогибаясь, обошел вокруг своей машины, складки несколько раз изменяли цвет — становились красными или зелеными. Потом плечистый, грузноватый человек вступил в полумрак ожидальни, и весь костюм стал темно-синим. Игра этих цветовых перемен сковывала внимание, отвлекала. Благодаря этому человек успел проворно пересечь помещение и скрыться за той дверью, откуда сам Федор Иванович только что вышел. И лишь когда дверь закрылась, дошло: ведь это был он! Тот, кого единогласно избрали два месяца назад. Председатель всех, кто был внесен в списки кафтановского приказа, всех уволенных, посаженных, погибших и уцелевших.

Если бы старые клещи не отпустили Федора Ивановича, он не рискнул бы встречаться с Красновым. А если бы встретился, он, может быть, даже улыбнулся бы ему. Но клещи исчезли, *дите* было пристроено. И, мгновенно забыв обо всем, кроме одного, он затих и сжался. Терпеливым мстителем стал ждать.

Неудачным для альпиниста оказалось чье-то решение рекомендовать его на выборную должность, которая на виду у всех. В неудачное время назначили ему явку сюда. Неудачно для него сложился разговор Федора Ивановича с двумя сотрудниками, пересматривавшими дела. Особенно та часть беседы, где упоминали Краснова. И свой яркий костюм спортсмен выбрал крайне неудачно. И совсем не ко времени надел этот кричащий знак своего процветания.

Добрый час стояла вокруг Федора Ивановича тишина. Потом дверь открылась, и Краснов выскочил оттуда с остановившимися глазами, устремленными вдаль. Он автоматически рассчитал: в три быстрых шага пересечет всю область полумрака, где после светлой комнаты был виден только блеск чьих-то глаз. Потом упадет на сиденье машины, включит скорость и умчится. И вздохнет облегченно.

Но он сделал только один шаг. Кто-то с лицом, обросшим шерстью, встал перед ним в полумраке. Невидимая рука скомкала лацкан на его груди.

— Куда бежишь? Постой... — сдавленный знакомый голос отнял у него силы.

— Федор Иванович... — успел он прошептать. В ту же секунду резкий дробящий удар обрушился на его переносицу. И второй... Он повис на своем лацкане, словно поддетый на крюк. Ткань затрещала, и тяжелое тело грохнулось на пол.

Федор Иванович не изучал ни бокса, ни каратэ. Первое его движение, когда он, растопырив пальцы и выпятив губы, словно для поцелуя, остановил Краснова и, схватив за пиджак, встряхнул,— это движение освободило в нем что-то незнакомое, дикое. И положило начало всему остальному. Но когда увидел врага, лежащего на полу с криво надорванным лацканом, с кровью на дрожащей, хнычущей губе — он мгновенно погас. Опустив плечи, остановился, ожидая появления представителей власти. Но от стен, где сидели, поблескивая глазами, безмолвные фигуры, отделилось несколько чело-

век. Схватили его за руки, заломили, начали бессмысленно крутить назад. И сразу пришла вторая волна, более сильная, слепая. Он встряхнулся, люди, повисшие на нем, разлетелись. Вдруг разглядел в полумраке белую с синими цветами фарфоровую вазу, стоявшую на полу. Она звала его. Схватил стеклянно-скользкое тело, поднял над головой — и Краснову пришел бы конец, но тут на Федора Ивановича посыпался весь многолетний запас окурков и пепла, накопившийся в вазе. Как бы увидел себя со стороны, нелепая картина погасила его, в носу запершило, глаза ослепли, забитые пеплом. И он бережно опустил вазу в чьи-то руки. Его решительно взяли под локти и куда-то повели, в какую-то дверь. Усадили на стул. Он услышал всхлипывающий голос Краснова:

— У меня нет никаких претензий...

Потом Федора Ивановича опять повели, теперь на улицу. Усадили в машину рядом с судорожно вздыхающим Красновым. Машина проехала два или три переулка и остановилась. Опять повели куда-то. Это было отделение милиции. Посадили перед крашеным голубым прилавком, за ним около телефона сидел дежурный. Те два милиционера, что привели Федора Ивановича, смеясь, что-то начали вполголоса рассказывать этому важному человеку.

— Я не имею претензий... — слышался голос Краснова.— Никаких претензий не имею...

Долго беседовали о чем-то, звонили по телефону. Спрашивали у Федора Ивановича фамилию и имя, год рождения. Он хотел было объяснить: бил Краснова за то, что тот посадил много людей, в том числе и его жену. Но на Федора Ивановича махнули рукой.

— Знаем. Его ж для того и вызывают... Разобраться, что он там нес на этих людей...

Тут дежурный строго посмотрел на говорившего, и тот сразу умолк. Потом дежурный сказал:

— Краснов, можете идти. Зайдите в уборную, умойтесь.

— Мне бы с товарищем... Поговорить... — тихо попросил спортсмен.

— Иди, иди скорей. Умывайся.

И Краснов, придерживая надорванный лацкан, ушел.

— А то он с тобой поговорит,— добавил дежурный,

когда Краснов вышел. Он сказал это явно для второго задержанного.

Почувствовав его расположение к себе, Федор Иванович тоже попросил разрешения сходить в уборную, промыть глаза.

— Потерпи. Твой друг уйдет, пойдешь ты,— сказал дежурный милиционер.— А то опять кинешься. Вон как распнсал человека.

— Он у этого жену посадил,— негромко проговорнл один нз тех двоих, что привели Федора Ивановича. И покачал головой.— Мало ему, еще поговорить хочет...

— Его не первый раз здесь бьют,— заметил второй милнцнонер.

— Почему-то всегда в наше дежурство,— сказал первый, и оба засмеялись.

— А бьют же как крепко. По-лагерному,— заметил дежурный.— Все реабилитнрованные. Или родственники. А его все вызывают. Он уже привык, сразу на пол падает.

— Симулирует,— бросил второй милиционер, выходя. Потом вернулся.— Ушел. Давайте вы...

Пока Федор Иванович умывался над раковиной, милицнонер присматривал за ним через открытую дверь. Потом проводнл в дежурное помещение.

— Посидите еще. На лавочке, десять минут. И отпустят вас.

— Не десять, а двадцать минут,— требовательно возвысил голос дежурный. — Ты что, не помнишь? Он же догонит!

— Я его больше не трону,— сказал Федор Иванович.

— Почему, бей,— добродушно разрешил дежурный. — Только не на нашей территории.

Через два часа Федор Иванович был уже дома. Брился, собирал чемодан в дорогу. Со старыми делами в Москве было покончено. Его ждало совхозное поле, родной гектар. Под вечер позвонил Цвяху, на его московскую квартиру. Поздравил Василия Степановича с окончанием нх отнимающей силы жизни в небытии. Рассказал все. И, между прочим, о сражении с Красновым.

— Ишь ты, — проговорил Цвях. — И вина не пил... Зря, Федя, драться полез. Нам с тобой нужна тень...

— Она нам больше не нужна. А с Красновым... Я и сам не знал за собой таких способностей.

Василию Степановичу нужно было еще с неделю побыть в Москве. Договорились, что перед отъездом Цвях зайдет на квартиру Федора Ивановича и захватит письма, которые могут прийти. Оба ждали письма от Спартака.

Дней через десять приехавший из Москвы Цвях пришел на совхозное поле. Его друг, теперь чисто выбритый, во главе бригады полол свою мощно и ярко разросшуюся картошку. Директор снял белую тряпичную фуражечку, вытер платком потный лоб, посмотрел, как люди работают.

— Значит, так, — сказал наконец. — До конца работы осталось два часа. Все женское подразделение может идти по домам. Сегодня у бригадира счастливый день, он вас отпускает.

И когда несколько удивленные женщины ушли, Василий Степанович, торжественно помолчав, начал свое сообщение.

— С чего зайду? Даже не знаю. В хронологическом порядке если... А то ты упадешь, если с самого главного... Слушай первое. Вот тебе письмо. Спартака ты, видать, хорошо напугал. Прекратил сопротивление, зараза. Разослал станциям приказ и копию шлет тебе. Как настоящий человек. На бланке пишет, честь по чести. Что они картошку нашу съели, это мы простим. Не будем заводиться. У нас картошка есть, осенью разошлем. Теперь второе...

Они шли по твердой дороге, разделяющей их картофельный массив надвое.

— Второе, Федя, такое будет. Несколько неожиданное, с траурной каймой. Краснов помер... Вчера схоронили.

Оказывается, этого несчастного человека опять вызвали для тягостных объяснений. По какому-то делу, которое нужно было прекратить, чтобы выпустить невиновного человека. В ожидальне бюро пропусков, пока ждал приема, Ким Савельевич почувствовал себя плохо. Онемела половина лица, чужой стала нога. Его увезли в больницу, и там через сутки кончилась его странная жизнь, с самого начала «пущенная наперекосяк», как определил Цвях.

— Противоречие, — задумчиво сказал Василий Степанович.— Бревешков приехал в город, насмотрелся чудес. Рестораны их особенно привлекают. И краше-

ные дамочки с серьгами, с сумочками. Все время хотел получать больше, чем мог произвести. Для такого хотения жизнь выставляет кучу соблазнов. И каждый — под замком. Как погасишь аппетит? Начинает человек искать возможности. Ему же свербит. Обидно и непонятно. Кто по своим талантам может произвести, не понимает своей пользы, потреблять не спешит. Увлекается делом, поесть забывает. А Бревешкову никак лафа не идет. А возможности — ты ж понимаешь, так и лезут в глаза... Тут к услугам и большая дорога, тут и ловкость рук, и гибкость языка. Чего только нет... Такие мысли лезли, Федя. Когда я глядел на этот закономерный гроб.

— Вы видели и гроб?

— Видел, Федя. Видел больше, чем гроб. Там, около гроба, сидела Туманова Антонина Прокофьевна. В своем тарантасе. Руку вот так, вдоль положила и смотрит покойнику в лицо. А законное семейство все сзади топчется...

— Да-а... — протянул Федор Иванович, выгнув бровь и склонив голову набок. И они замолчали ненадолго.

— Картина, скажу тебе, поучительная была. Между прочим, я думал, что она смотрит только на него и ничего больше не видит. А она и меня узрела. Потом уже, когда выносили... Я не поехал с ними... Старушка ее меня перехватила и записочку сует. Вот она. Это тебя касается.

Федор Иванович развернул бумажку. Там было написано карандашом, крупными каракулями:

«Надо найти Федю. Передайте: Леночка нашлась. Пусть приезжает ко мне. В любой день после 25-го...».

Он приехал в этот город в десять часов утра. В полупустом троллейбусе пролетел сквозь погруженное в зелень приземистое Заречье, мимо его домиков и длинных бараков, мимо бесконечного забора, за которым густо дымил огромный завод. Потом увидел в парке веселую вывеску ресторана. Не дав расцвести воспоминаниям, троллейбус влетел на мост, и через открытые окна ворвался ветер широкой реки. После длинного моста начался крутой подъем. Побежали деревья сквера, мелькнула Доска почета. Тут троллейбус свернул на Заводскую улицу, и на остановке Федор Иванович вышел, держа в од-

ной руке небольшой чемодан, а в другой — картину, завернутую в плотную бумагу и перевязанную шпагатом.

Опять под его ногами был знакомый асфальт. Тот же — сорок девятого года. Пять лет и пять зим пролетели так бесследно, что они стали равны звуку шага, сделанного секунду назад. Их как будто и не было. А то, что было, что не следовало ни в коем случае забывать, тоже отодвинулось в область безобидных снов, покрылось особой пылью, затягивающей все неровности вчерашней жизни. Впрочем, не все. Шевельни эту мягкую пыль, и под нею окажется вчерашний предмет повседневного обихода, без которого не могли обойтись. Участник забытых событий, вполне годный к повторному употреблению. И на нем увидишь подозрительный след, который не успели замыть... Потому что и тот блюститель чистоты, который собирался это сделать и не успел, он тоже подчинился великому закону забвения, улетучился куда-то, и его вчерашнее бытие тоже, в свою очередь, надо доказывать. Если кому-нибудь это понадобится...

У Доски почета Федор Иванович не остановился, но все же заметил: фотографии Александра Александровича Жукова на ней не было. Сплошь новые лица. Он свернул в переулок, который кратчайшим путем вел к дому Тумановой. Ноги сами ускорили шаг, и минут через десять он, дыша открытым ртом, уже стоял на третьем этаже перед знакомой белой дверью. Тот же зев, закрытый сеткой, откуда всегда, если нажимали кнопку, доносился поющий ответ Антонины Прокофьевны... Но вот и новое. Федор Иванович вдавил кнопку, еще и еще раз — а за сеткой ни звука, черная тишина. Он постучал, потолкал крепко запертую дверь, еще раз позвонил. Ни звука в ответ. Дверь молчала перед ним. Как будто уже стала археологической древностью. Хранила тайну прошлого. Была немая, словно ее нарисовали на глухой каменной стене.

«Двадцать шестое, двадцать шестое...— думал он, медленно спускаясь по лестнице.— Не завтра, так послезавтра. Не завтра, так послезавтра...»

Медленно шел по переулку, а сердце продолжало тяжело стучать. «Надо зайти, отдать портрет»,— вяло подумал он, и сам не заметил, как оказался уже на Советской улице. Вот эта арка. Дом во дворе стал чужим, там теперь расцветала чужая жизнь. Там жил по сво-

им правилам некто, прибивший на двери латунную пластинку со своей заслуживающей внимания фамилией, погруженной в завитки, как в звон фанфар. А вернее, как в нарезанный лук. Живой, имеющий свои требования к жизни.

— Тюрденев...— прошептал Федор Иванович.

Знакомое рычание дверной пружины встряхнуло его. Он поднялся на четвертый этаж, увидел дверь, обитую черной искусственной кожей, усаженную бронзовыми кнопками. Позвонил. И эта дверь была заколдована и молчала, будто нарисованная на камне. «День закрытых дверей»,— подумал Федор Иванович.

Он прошел всю Советскую улицу, задремавшую от июльского зноя. Перешел по мосту через ручей и нечаянно свернул к зарослям ежевики. Захотелось поздороваться с ними. Родные колючки дремали под зноем, готовые к кровавой схватке с нарушителем покоя. Но их готовность была только для виду: прямо через заросли время проложило широкую, изрытую колеями дорогу, и по ней один за другим ехали измазанные глиной самосвалы. А вдали, над зеленью, поднялись бетонные конструкции, зависли стрелы подъемных кранов. Там шла какая-то стройка, и, как оказалось, краны стояли именно на том месте, где проходила когда-то однобокая улица деревянных строений с домом Ивана Ильича во главе. Все это дерево было снесено, от него не осталось и следов.

Посмотрев на неторопливую работу времени, Федор Иванович повернулся, чтоб идти назад, к мосту, и вдруг хватился: цепи толстых железных труб не было. Они исчезли. На их месте осталась уходящая в даль прогалина, покрытая мелкой порослью ежевики, не желавшей сдаваться.

— Скажите, пожалуйста,— обратился он к проходившему рабочему в тонкой черной спецовке, густо окропленной известью, и в белых от извести сапогах.— Здесь же были трубы. Большого диаметра. Шли вот так...— он показал рукой.

— Никаких труб не было,— сказал рабочий, и Федору Ивановичу показалось, что отвечает судьба, та же, чей голос когда-то вибрировал в трубах в ответ на его несмелое: «Эй...».

— Ну, как же, я видел эту трубу... Наверно, закопали?..

— Я тут уже второй год, не было трубы,— сказал рабочий, не оборачиваясь и не замедляя шага.

«Не было трубы,— повторял мысленно Федор Иванович, шагая по мощеной дороге к темнеющему вдали парку.— Не было трубы!» Он вдруг почувствовал отчетливо, что и та, его личная железная труба, по которой все эти пять лет шел он, ни разу не остановившись и не попятившись, кончилась тоже. И спавшая почка, что дала неожиданный росток, закончила свой цикл роста — это он отчетливо почувствовал. Но так и не вник в сущность ее роста и цветения — слишком серьезно было все, происходившее в этой трубе, не было времени остановиться для самооценки. Пять лет шел по ней рядом с кем-то высоким, тихозадумчивым, не знавшим, что такое смелость, потому что смелость никогда не думает о себе. Пять лет это длилось. Некто рядом с ним умел слушать отдаленный голос и был наделен способностью экономно и точно ответить на внезапный выпад врага. Его существование было позицией. Шел с этим человеком пять лет и ни разу не сказал: «Это я!».

Белые одежды! Он никогда их не видел на себе...

Впрочем, это можно понять. Человеку не дано видеть свои деяния, продиктованные тем, что называют «возвышенными чувствами». Он не знает, что это — ценности, которые можно зафиксировать и предъявить. Вот причина, почему это определение приклеивают, в основном, не по адресу. Как открыл Федор Иванович еще в свои студенческие годы, добро — это страдание. «Сии, облеченные в белые одежды»,— они приходят от великой скорби. А когда страдаешь — тут не до анализа своих качеств. Страдающего не тянет к зеркалу. И поэтому Федора Ивановича осаждали воспоминания, несущие с собой боль. Он видел Ивана Ильича, отхлебывающего из своей бутылочки, или Свешникова, с окровавленным лицом продирающегося сквозь кусты ежевики. Но никогда он не видел около этих людей себя! Свою кровь на лице он не видел, хоть и ломился сквозь ежевику вместе со Свешниковым.

И сейчас, когда росток, рожденный спящей почкой, отцвел и исчез вместе с трубой, Федор Иванович, отметив этот факт, не размышлял долго над ним и не сказал: «Это был я». Его тянула за собой жизнь, она текла дальше.

Жизнь эта сейчас имела вид огромного картофельного поля, рядом с которым Федор Иванович шел по знакомой мощеной дороге. Поле было темно-зеленое, сплошь усыпанное белыми звездочками цветов. Это было то самое совхозное поле. Оно однажды сильно пострадало от июньского заморозка.

Оставив на обочине чемодан и картину, Федор Иванович вошел в зеленое море ботвы, побрел по междурядью. Изменить направление его заставила знакомая форма листьев на кустах. Здесь рос «Майский цветок»! Федор Иванович провел рукой по верхушкам ботвы и почувствовал как бы твердые выступы человеческого лица, гибкость быстрого шага, чей-то взор, устремленный вверх, к незримому проводу. Увидел бутылочку на шнурке... Тут он вдруг наклонился и с яростью выдернул один куст. И зашвырнул к дороге. «Обершлезен»! Как он сюда попал? И еще один такой же куст дразнил его издали, тянул к небу широкие зеленые пятаки, которыми заканчивался каждый лист. Чертыхнувшись, Федор Иванович выхватил его из земли...

— Вы что здесь делаете? — прозвучал за спиной недобрый вопрос.

По междурядью сюда спешил человек в сапогах и синей сатиновой куртке. Загорелый, в очках с тонкой металлической оправой.

— А что вас интересует? — мягко спросил Федор Иванович, поднимая на него глаза.

— Я — агроном совхоза. Что вы здесь делаете?

— По-моему, у вас здесь семенной участок. Вы посадили «Майский цветок»...

— Ну да, посадил. Все-таки кто вам дал право тут самовольничать?

— Знания дали. Наука. Ваша элитная посадка засорена. Ваш кладовщик сыпанул в семена мешок «Обершлезена». Наверно, не хватало по весу. Вот еще... — И Федор Иванович, наклонившись, выдернул куст.

— Постойте... Что это вы распоряжаетесь? Где вы нашли... «Обершлезен»? Это чистосортное поле! Не видите разве цветки?

— Да вот же! Вот у него лист. Пятак на конце, специфический. Вот же, вот он, раздвоен слегка. Ни у одного другого сорта такого нет. Вы прекращайте кипеть, нет причины. И учитесь. Пока вам показывают. Надо все поле пройти и очистить вашу элиту. А то потом нач-

нутся недоборы урожая. Валить будете свою вину на сорт. На автора...

— А вы кто такой?

— Специалист по картофелю. Друг и сотрудник автора.

— Академика Рядно?

— Нет, не академика. Вернетесь в контору, потребуйте, чтоб вам дали сертификат. Там найдете имя автора. Будет две фамилии. Настоящий автор будет там на втором месте. Иван Ильич Стригалев. Академик присвоил было совсем этот сорт...

При этих словах агроном поднял гневное лицо.

— ...А автора пристроил...— продолжал Федор Иванович.— И он погиб там...

— Этого не может быть. Чепуху какую-то... За что его могли?..

— За эту самую картошку. Помните, ругали вейсманистов-морганистов?..

— Так их же и сейчас... Они же ничего путного...

— А это что? Чем поле засажено?

— Так это же все-таки результат трудов нашего народного... Отдавшего все силы служению... Это же титан!

Он был неправ и полон страха. И поэтому начал забираться вверх, все выше. Сразу полез на ту высоту, с которой легче бить лежащего внизу... Федор Иванович благосклонно и холодно посмотрел на агронома.

— Для кого вы это говорите? Если аудиторией считать эту картошку, которая вокруг нас... То она вся против вашего титана.

Этот агроном и помнил, и знал все. Но переменам не верил и не был еще готов к рискованному разговору, даже без свидетелей. В ушах его еще стоял крик на сессии академии, он слышал его по радио. И, глядя на него, Федор Иванович как бы переселился из летнего цветущего мира в мир, где только что закончилась война. Здесь, всего в шестистах километрах от Москвы, еще видны были разбитые танки. Где-то еще стреляли. Еще не разучились бояться. И казалось, что вот-вот из траншеи поднимется с поднятыми руками серый вражеский солдат.

— Вы-то сами кто?— спросил агроном. За его очками мелко поблескивала колючая настороженность.

— Вас фамилия интересует? Дежкин я. Федор Иванович.

— Это тот? Что в здешнем институте?..

— Тот самый.

И они замолчали. Агроном смотрел в сторону.

— Еще вопросы есть? — спросил Федор Иванович, устав молчать. И, не получив ответа, добавил: — Вы все же пройдитесь. По междурядьям. И очистите ваше поле. Вот он, «Обершлезен», я вырву вам. Возьмите этот куст и сравнивайте. Это несложно — различать. Быстро привыкнете.

И пошел, не оглядываясь, к дороге. К своему оставленному там чемодану и к картине. Агроном смотрел ему вслед. Он будет помнить этот день, когда в поле его вдруг посетило привидение. Наговорило немыслимых вещей и исчезло навсегда. Он будет помнить эту встречу всю жизнь, потому что его еще ждал приближающийся мучительный поворот в мыслях.

Институтский городок спал среди июльской пышной зелени. Так же, как и раньше, четко выделялся своей приветливой розовостью. У входа в ту дверь, за которой был знакомый коридор и комната для приезжающих, у самого крыльца, в тени, лежал расплывшийся кабан — двойник прежнего. Хрюкнул, не открывая глаз, и колыхнулся, когда Федор Иванович перешагнул его. Тетя Поля ласково встретила своего бывшего постояльца.

— Давай вот на свою койку, я тебе сейчас постелю свежее. Подушечку получше... Кукишем чтоб стояла. Тут никого не доищешься, все по дачам, да по курортам...

Стелила свежую простыню, взбивала подушку, ставила ее «кукишем»...

Потом они вместе пили чай, за тем же столом, где были нацарапаны знакомые знаки: две линии крест-накрест. Федор Иванович расспрашивал про институтских. Варичева, оказывается, в институте уже нет. Он в Москве, у своего академика. А Вонлярлярские все бегают, муж с женой. На пенсии теперь оба. Богумиловна — эта на месте.

— А что ты тут привез? — спросила наконец тетя Поля о той вещи, на которую все время посматривала.

— Посылка для жены Светозара Алексеевича. Для бывшей. Отдать надо...

— Ну что ж, и отдашь. Здесь они с Андрюшкой. Никуда пока не уехали.

— Я заходил, было заперто.

— Вечерком зайдешь. Днем она со своими бычками...

И часов в семь, когда в день вступила первая слабая желтизна, он опять поднялся в тот дом, где арка, на четвертый этаж. На этот раз дверь ему открыли. Сама Ольга Сергеевна стояла перед ним. В легком сарафане неопределенной окраски — как будто его по белому исчеркали дети синим и черным карандашами. Не такая яркая, как раньше. Хоть и белоголовая, но без сажи вокруг глаз.

— Здравствуйте,— сказал он, входя. И между ними начался молчаливый разговор. Они что-то сказали друг другу своим несколько затянувшимся молчанием, после чего она пригласила его в чистую комнату — в ту, где раньше были на полу бутылки.

— Выпьем чаю? — спросила она.

— Я только что от стола...

— Все равно выпьем.— И пошла на кухню.

Потом что-то ставила на круглый стол и глубоко вздыхала, поджимая губы. Собиралась с духом.

— Я, собственно, пришел только выполнить поручение,— чувствуя все это, сказал Федор Иванович. И поставил на пол к стене картину.

Ольга Сергеевна сразу поняла весь смысл этого поручения.

— Андрюша гуляет. Придет минут через сорок...

Тут слышалось еще ожидание: нет ли поручения и для нее. И Федор Иванович своей неподвижностью дал знать, что он подождет Андрюшу. И что другого поручения нет.

— Мне была передана приличная сумма денег. На общее дело,— начал он после неловкого молчания. И положил на край стола пачку, завернутую в газету.— Я тратил экономно. Тут осталось кое-что.

— Мы не нуждаемся,— искусственно проговорила она, медленно переведя и остановив на нем как бы вращающиеся от негодования глаза. Сразу стало ясно, что ладить с нею Светозару Алексеевичу было трудновато.

— Не берете? Считаю: раз, два, три... Хорошо.— И он положил деньги в карман брюк, который сразу распух.

Она усмехнулась и вышла на кухню. Долго не появлялась. Федор Иванович оглядывал комнату. Ничего старого здесь не осталось. Ничего, напоминающего о поэте. Хотя нет: из-за шкафа смотрела со стены большая афиша с крупными словами: «Иннокентий Кондаков». И Кешин артистический оскал...

— На поэта вашего смотрите? — спросила она, внося алюминиевый чайник.

«Не на моего, а на вашего»,— хотелось бы ответить Федору Ивановичу. Но он сейчас же вспомнил, что на днях Кеша явится сюда разводиться. Поэт уже не принадлежал и ей.

— Ну, и как вы тут живете? — спросил он.

— Да так вот и живем. Второго папку своего ждем не дождемся...

— Какой же он... Даже в качестве второго...— вырвалось у Федора Ивановича.

— А у кого нет недостатков? Поэтов на близком расстоянии рассматривать нельзя. На них можно смотреть только издали,— сказала она, наливая ему чаю.

Она была не то, что Кеша. Ее колесо жизни, похоже, остановилось, и угол не менялся. Она ждала своего поэта.

— Вы же знаете, где сейчас Кондаков? — спросила она.— Его ведь...

— Да, да,— поспешил он ответить.

— В конце концов отпустят. Как думаете? Дождемся? Все-таки законный муж... Ничего ему там не сделается. Он же оптимист!

— Эт-то верно.

— Вот только Андрюша вырос...

— Вопросы задает?

— Хуже. Он молчит. Откуда-то что-то узнает и молчит.

— Этого следовало ожидать. Но у вас преимущество. Он мальчик, ему только...

— Двенадцать,— подсказала она.

— А вы...

— А мне за тридцать... Все равно, дети умеют и взрослых... Им и ответа не нужно...

— Конечно, такая ситуация... Такое положение... Порождает вопросы. Может быть, даже не вопросы, а ясность... Которая не требует слов.

Нечаянно высказав это, Федор Иванович поспешил

отхлебнуть чаю, чувствуя, что он открыл дорогу нелегким объяснениям.

— Вы его ученик, а я — его ученица. Вам это говорит что-нибудь? Я была его ученица! И я портила русские породы скота по методу Рядно. Старинные, выдержанные русские породы. Вот что я делала легкой рукой. С его легкой руки. Вот, кто я была, пока не начало проясняться.

— Вам эту ясность поэт принес?

Она сильно покраснела, как умеют краснеть белые блондинки. Стыд парализовал ее. Но только на секунду.

— Поэт внес другую ясность. Когда в степи умирает кто-нибудь, какая-нибудь несчастная животина... Антилопа. Сразу начинает кружиться хищник. Они там дежурят...

— Это слова академика,— сказал Федор Иванович.— Он говорил...

— Говорил? Мои это слова. Я ему один раз сказала. Говорю: интересно как — хищник летает где-нибудь за тридевять земель и обязательно почует ведь чужую беду...

— Я это пересказал и Кондакову. Он ответил...

— Не говорите, знаю...— она опять покраснела.— Я ему тоже говорила. Прямо в глаза. И он мне ответил, тоже в глаза. Мясо в природе не должно пропадать. Так ужасно брякнул...

— Так это же Кеша!

— Во-от... Был такой момент, подыхать я стала. И с ума съехала. Думаю, не было у меня гиганта, одна фантазия. Я же шла не за силу замуж, а за труд великий, за талант. Я — за образ шла! Образ в человеке держится дольше, чем телесная свежесть. Этим и объясняется, что можно полюбить и старика. Мазепу. Тут главное — прикоснуться хоть к гиганту, Федор Иванович! И вдруг узнаешь, что гиганта не было.

— Гигант все-таки был, Ольга Сергеевна. Но он живой человек, и он вас любил. Это тоже непросто. Видимо, любуясь им как гигантом, вы дарили ему какие-то мгновения, которые парализовали в нем на время... Надо было не любить...

— Попробуй, не полюби...— она усмехнулась.— Вы говорили с ним обо мне?

— Да, у нас был однажды длинный разговор... Он ведь тоже образ любил, вот ведь что. Он же вон там,

против вашего балкона... Нет, этого я вам не скажу. И потом, не слишком ли вы строги к нему? Не он, Ольга Сергеевна, крутил всю эту мясорубку. Он в нее попал...

— Конечно! Если бы он крутил, я и не взглянула бы на него. Но он соучаствовал. В форме процветания.

— Он это делал для вас.

— Так я же сама входила в это его процветание! Как часть комфорта. Я это поняла, и так стало мне...

— И антилопа захромала?..

— Захромала. А хищник тут же и заходил над ней, не имеющей сил. Кругами. Не должно же пропадать... это самое... И вот мы теперь его ждем. Даже с нетерпением...

— Даже так! — Федор Иванович ужаснулся.

— А что? Вы как-то странно сказали это... Пострадал ведь человек. В том же котле. Я хочу сказать, оттуда приходят другими людьми. Не знаю, как получится. Привыкла к нему. Когда такое случается, как с ним, особенно привыкаешь...

— Но гигант был, Ольга Сергеевна.

— Был бы — все пошло бы иначе.

— «Письмо, в котором денег ты просила, я, к сожаленью, еще не получал»... — продекламировал на это Федор Иванович.

Она умолкла, смотрела в чашку, вникая в смысл этих странных слов, и смысл этот уже виднелся ей издали — потому и начала розоветь. Но в руки он еще не шел.

— Ну, и что? — наконец спросила она.

— А то, что вы прикоснулись к гиганту. Вы прикоснулись к нему, как того и хотели. Образ был подлинный, без фальши. Но вы своего гиганта увели от цели. Позволили ему вить гнездо. Небось, вместе. И молодцы, и хорошо. А потом вы разочаровались, не понравился в халате. А он, как освободился от вас, опять стал гигантом! Ну, и принял, конечно, свою судьбу. А мог бы и не принять. Если бы вы сделали твердый выбор. В пользу спаленки с розочками. Или если бы открыли шкаф и показали ему: вот я купила телогрейки стеганые. Тебе и себе. И кирзовые сапоги. Плюнь на розочки, не береги меня, оставайся гигантом. Уедем, не будем портить скот, спасем златоуста от черной лжи... А? Могли бы?

— Утопия, утопия, Федор Иванович! — слишком горячо и весело заявила она.— Все, что я должна была купить и сказать, все это должен делать мужик. Слишком большой груз валите на женщину,— говоря это, она все-таки не глядела на него.

— Может быть, может быть... Но вы сами говорите — Андрюша молчит. Вы же не с гигантом ушли. А со специалистом, который клюет мертвечину. Тут все и открывается. Никогда не развивайте перед Андрюшей ваших аргументов...

Сильно порозовевшая, она смотрела в чашку, вылавливала ложечкой чаинки. Потом поднялась.

— Пойду поищу его.

«Кеша не врал, наверняка приедет. Как бы подготовить ее?» — в который уже раз подумал Федор Иванович.

— Вот если вдруг на вас свалится... неожиданное страдание...— проговорил он задумчиво.— Не знаю, плевать ли мне через левое плечо или не плевать... Если свалится врасплох... Тут у вас все может стать на место. И Андрюша перестанет молчать.

— Пойду поищу...

Мальчик прибежал один. Влетел, оставив открытой дверь с лестницы.

— Здравствуйте...

Он сильно вырос. Был тонкий, белоголовый, как мать. А голова — отца. Широкая в висках и заостренная книзу.

— Ты помнишь меня? — спросил Федор Иванович.— Мы дружили с твоим папой. Он мне поручил передать тебе вот это...

Мальчик тут же развязал шпагат, потащил с картины длинную полосу гремящей бумаги. Показалась работница в красной косынке на фоне красных знамен, чисто и строго посмотрела из своих двадцатых годов. Вывалился и стукнул конверт. Мальчик схватил его. Долго, осторожно разрывал. Вытащил наконец письмо. Бегая глазами, водя головой вправо и влево, начал было читать с обратной стороны. И напряженно следящий за ним Федор Иванович успел охватить мгновенным взглядом слова: «Мальчик мой русоголовенький! Малявочка светлая!..». Тут же отвел глаза, чтобы не вникать дальше в священную тайну. Мальчик шелестел бумагой, принимался снова и снова жадно читать. По-

том принес из другой комнаты белый картонный кошелечек и осторожно вложил туда лист, расправил, проследил, чтоб хорошо там лег.

— Сам сделал?

— Да,— отчетливо ответил мальчик.

— Андрюша...— сказал ему Федор Иванович.— Тебе, наверно, будет важно узнать... Я ведь был товарищем твоего папы. Хочу тебе сказать, что он был хороший человек... Но не все об этом знали. Такое мы переживали время, Андрюшенька... Что хорошего человека могли и не понять... И сразу начинали кричать, кричать, что он очень плохой. И кричали-то от страха, а не потому, что действительно... Привычка такая была. Встречались еще, и довольно часто, и по-настоящему плохие. Требовали, чтобы все были похожи на них. И кто умел притвориться, того называли хорошим. А чтоб быть по-настоящему хорошим... Это значит — делать хорошие дела, а не только говорить о них... Чтоб быть таким, приходилось иногда казаться похожим на плохих. Потому что иначе и дела не сделать было. А кто открыто казался хорошим, того следовало опасаться. Надо было проверять и проверять. Потому что он мог оказаться притворщиком.

— Вы мне как ребенку объясняете,— сказал мальчик без улыбки.— Все равно спасибо. Так понятно все это сказали. Он был вейсманист-морганист, я знаю. А приходилось читать лекции о наследовании благоприобретенных признаков.

— Ты еще яснее сказал,— Федор Иванович удивленно и растерянно улыбнулся.

— Я все это знаю. Я от него получил письмо. Неделю назад. На день рождения.

— По почте?

— Да, по почте.

— Но, я думаю, тебе важно было узнать от того, кто...

— Вы меня не поняли. Вот это мне и важно было. Важнее всего. А все, что там кричали, я давно уже и подробно изучаю... Федор Иванович, у меня же целая папка материалов.

— А в футбол ты играешь?

— А что я сейчас на дворе делал?

— Ну, хорошо, прости... У тебя, в твоей папке, есть газетка вашего института — за сорок девятый год?

— Где Ивана Ильича Стригалева ругают? Конечно, есть!

— Иван Ильич тоже был другом твоего отца. Но тебе бы следовало мне улыбнуться. Я же не знал, что ты так серьезно занимаешься этим. И разговаривал с тобой так, как полагается говорить с мальчиком твоего возраста. Ведь тебе двенадцать?

— Двенадцать.

— А мне тридцать семь. Я по себе судил. В двенадцать я, знаешь, какой был... Я курил в двенадцать. Дрался...— Тут Федор Иванович вспомнил свой главный подвиг, который он совершил в двенадцать. И, замолчав, долго смотрел на стоявшего перед ним мальчика.— Да, Андрюша... В двенадцать я был совсем, совсем другим. И не уверен, что это было хорошо...

Когда он подходил к своему розовому корпусу, солнце уже зашло. Кабан громко хрюкал, визжал и гремел досками в сарае: просил еды. Вышла оттуда с ведром в руке его хозяйка.

— Тетя Поля,— сказал Федор Иванович, подходя к ней.— Мне Светозар Алексеевич передал кое-какие деньги. На дело. Дело это я уже порешил, кое-что из денег осталось. Ольга Сергеевна их не берет. Думаю, у вас есть право на этот остаток.

Тетя Поля посмотрела, сощурив глаза, отдающие строгий приказ.

— Барышня твоя где? Сидить? Вот ей это и сбереги.

В этот вечер он несколько раз звонил Тумановой, и никто не снимал трубку. Утром, решив пройтись по парку, он уже в пути изменил направление и почти бегом понесся к мосту и дальше — к Соцгороду. Оказавшись у двери в квартиру Тумановой, хотел было нажать кнопку и вдруг увидел, что дверь приоткрыта на треть. И даже ведро поставлено — чтобы не закрывалась. Видно, квартиру проветривали. Тронул дверь, и она бесшумно подалась, отошла. Открылась внутренность помещения, сверкнул вдали никелем «тарантас». Он переступил порог и тут услышал волевой крик Тумановой:

— Какого черта!.. Не можешь упереться, как следует? — и сразу ее певучий, полный голос, голос «Сильвы», который звучал когда-то в здешнем театре:— Дергай

же, дергай сильнее... Кому говорю... Тяни же! — Тут прокатилась короткая связка горячих мужских слов, неожиданных в ее устах. Закряхтели обе бабушки. Послышались мягкие стуки тел, катающихся по полу. Там происходило что-то вроде борьбы.

Федор Иванович хотел было осторожно пройти к другой двери. Но оттуда выглянула одна из бабушек — с разбросанными по груди и плечам серыми волосами. Замахала на него, зашикала:

— Уходи, уходи! Быстрей! Через час придешь, не раньше. — И уже когда он был за порогом, когда закрывала за ним дверь, добавила шепотом через щель: — Физкультура у нас!..

А через час, когда, поднявшись сюда, он нажал кнопку звонка, все уже пошло по старой программе, как пять лет назад. Раздался щелчок, и из-за сетки, закрывающей круглый зев, пропел знакомый, неизмененный голос:

— Это ты-и-и? Значит, прилетел, муженек? Ну давай...

Дверь открылась, он прошел между двумя бабушками, похожими на темные кусты с опущенными ветвями, мимо кухни, мимо «тарантаса» и свернул в дальнюю дверь. Там ему пришлось преодолеть невидимый барьер, сильно толкнувший его сначала в грудь, назад. Он увидел смерть, сидевшую в кровати среди подушек. Она держала в зубах свою еще живую, вздрагивающую добычу. И эта жертва ухитрилась улыбнуться и просиять, увидев Федора Ивановича. А смерть даже не взглянула на него, была сосредоточена на своей задаче.

Сон еще длился, а Федор Иванович, всегда готовый к внезапностям, уже взял себя в руки и переключился на новый режим — сразу перестал видеть все лишнее. Но этот переход не обошелся без мгновенного неуправляемого падения, как у самолета, пересекающего сверхзвуковую черту. И Туманова, жадно ловившая эти тонкости в лице Федора Ивановича, тоже на миг жалко искривила крашеный рот. Только на миг. Насмешка над судьбой, вызов природе тут же проступили в живых черных глазах.

— Что, братец? Сдала твоя примадонна? То ли еще будет, Федя...

А рука уже тянулась к сигаретам. Туго, с болью тянулась, захватывала пачку, волокла к себе по подуш-

ке. «Не смей соваться с помощью! — одернул его отдаленный голос.— Пусть все делает сама!»

Другая рука была живее. Она и перехватила пачку, сунула в рот сигарету, поднесла какую-то самодельную зажигалку, висевшую на шнуре. Облака дыма поплыли, как туман над горной страной, и смерть отодвинулась.

— А я? — сказал Федор Иванович.— Я, что ли, не сдал?

— И ты, Федька, сдал,— помогла она ему.

— У нас с тобой, Прокофьевна, общая точка отсчета времени. Для нас изменения не существуют.

— Ну тогда давай пить чай. Мышки! Давайте, родные, угостим Федора Иваныча чаем! Знаю, Федяка, знаю. Тебя не чай интересует. Нашлась твоя жена. В Красноярском крае живет, адрес имеется точный. Почтовый ящик. Завтра к ней и поедешь. Вот, почитай...— она достала из-под подушки пачку писем, перевязанную ниткой.— Читай вслух, я хочу слушать. Я тоже участница.

— «Феденька мой! Если бы ты видел, какая я теперь стала,— начал он читать, и с каждым словом как бы падал в неожиданный провал.— Я теперь такая здоровенная, костлявая баба!..— тут он остановился и стал смотреть вдаль, пережидая сильный прилив тоски. Потом вернулся к письму.— А лицо! Я никогда не ревела, а здесь только и делаю, что реву.— Он опять поднял голову и встретил жгучий, внимательный взгляд Тумановой.— Уложу Федора Федоровича, а он не спит...— „О ком это она?“ — строго остановил его вопрос. —...а он не спит, животик у него не в порядке. Пукает все время. Потом начинает засыпать. Я качаю его...»

— Она его качает! — закричал Федор Иванович.

— Твоего, твоего сына,— сказала Туманова.— Федора Федоровича.

— «Я качаю его и реву, реву потихонечку,— опять стал он читать, угасая.— И теперь у меня на лице прямо проложены русла, по которым текут эти ручьи. Не знаю, пройдут ли они когда-нибудь?..»

Туманова, отставив руку с сигаретой, все так же присматривалась к нему. Не сводя с него изучающих глаз, сказала:

— Рябина слаще, когда ее тронет морозом.

— «Только бы найти тебя,— продолжал он читать.— Если ты жив. Вот уже и заревела опять. Я же знаю, мой Феденька! Голубок мой...» — Тут Федор Иванович опять запнулся.

— Читай все,— приказала Туманова.

— «...голубок мой единственный. Лучшие мои воспоминания ведь о тебе... Знаю, ведь за тобой гнались! Можешь представить, и это дошло сюда. Тут у нас есть люди, которые знают многое...»

— Обманщик ты, оказывается,— сказала Туманова, слегка завидуя и не скрывая этого.— Даже меня, старую, сумел провести. Я-то ему твержу, что девка хорошая, хватать надо, ругаю его. А он уже распорядился!

— «У Федяки нашего уже десять зубов...— прочитал он в другом письме.— Опаздывает немного. А бегает — нет сладу. Отведу его в детский сад — и к себе в прачечную...»

— Она, наверно, там на каком-то положении, на особом,— сказала Туманова.— Наверно, как мать...

— «Если бы ты знал, какие горы белья проходят через мои руки...— читал Федор Иванович.— А вечером уложу Федора Федоровича спать и качаюсь, качаюсь вместе с ним. И реву потихоньку. Мое единственное развлечение здесь. Знаешь, почему я его назвала Федей? Ужели не догадываешься? Он — вылитый ты. И ямка на подбородке — полумесяцем. А улыбается! Если бы ты видел. Лучик, протянутый из рая. Достоевский так говорил про улыбку маленьких деток...»

— Ну, что замолчал? — Туманова окуталась облаком дыма — вся, вместе с подушками.— Давай дальше. Да не стесняйся, реви. Кто не умеет реветь, тот мертвяк...

— «Я многое стала понимать,— читал он новое письмо.— Мы ведь играли тогда в детские игры. Это были, Федя, детские игры, продиктованные твердым пионерским идеализмом. Твердым красным идеализмом, если хочешь знать. И за это такая расплата. Нельзя вовлекать детей в подобные игры. Так как кроме пылких деток, есть еще трезвые погасшие взрослые люди, не знающие жалости. Ну, а если уж нас вовлекли, если мы не погасли, нечего жалеть. Выбрал этот путь — будь готов к расплате. Вот как надо понимать слова „Будь готов". Мы с тобой, Федя, оказались готовы!»

Шли минуты, чай остывал на столике, а он все чи-

тал, читал. Письмо за письмом. Три года приходили письма к Антонине Прокофьевне. Не слишком часто шли, но упорно.

— «Только ограниченные мозги могли состряпать это дело. Не обошлось и без твоей старой знакомой — черной собаки,— читал Федор Иванович.— Памятник надо поставить черной собаке. Как собаке Павлова в Колтушах. Освобожусь — куплю фарфоровую собачку и покрашу в черный цвет. А ты — какой ты молодец! Так мне и не проговорился. И ведь отдаленный голос мне гудел все то, к чему я пришла сегодня. А я еще колебалась!»

— Она сама меня нашла,— заметила Туманова.— Знаешь, как? Через собес. Я же пенсионерка! А там меня, конечно, знают...

— «Вот подрастет Федор Федорович — все ему расскажем,— читал Федор Иванович.— Он уже сейчас многое о тебе знает. Сегодня ему уже пять лет...»

— Поезжай, поезжай,— сказала Туманова.— Их скоро начнут отпускать. Поезжай и забирай свою женку. Ты достоин ее, а она достойна тебя.

Дочитав последнее письмо, он встал.

— Куда так скоро? — спросила Туманова.

— Собираться. Надо ехать.

— Посиди чуток. Посиди, поезд все равно утром. Захватишь вон те два чемодана. Свезешь ей от меня. И карапузу там есть.

И тут Федор Иванович понял, наконец, нечто новое, что он увидел в ее черных свежих волосах. Платиновая веточка ландыша была без бриллиантов.

— Ну, и что? — сказала Антонина Прокофьевна, перехватив его взгляд.— Ну, и разменяла. Ну, и что ж, пусть последние камушки. Кому они нужны? А ветка пусть поживет...— и сильно затянулась сигаретой, махнула вялой рукой на дым.— Вроде до смерти еще далековато. Куда повезешь своих? В Москву? Ты их обоих привози сначала ко мне. Хочу на счастье хоть раз посмотреть. Смотрела я на разных людей, которые казались счастливыми... Еще ни разу не видела настоящего. Видеть настоящее счастье — разве это не жизнь?

Тому, кто помнил академика Рядно по его популярным выступлениям с университетских кафедр и клуб-

ных трибун, вызывавшим в сороковых годах гром оваций, кто помнил этого яркого оратора, умеющего подкрепить нестандартное слово удивляющим публику фокусом вроде платка с землей, Кассиан Дамианович начала шестидесятых годов казался совсем другим человеком. И не в том дело, что он сильно постарел и побелел. Он теперь не рвался в залы к народной и студенческой аудитории. Там теперь было опасно, люди научились задавать трудные вопросы. Даже на заседаниях академии он старался не выступать, хранил молчание. Сидел обычно в первом ряду, и около него справа и слева были пустые кресла: другие академики, помня прошлое, не садились около этого человека.

Обедал он обычно в академической столовой, сидел один за столом, предназначенным для четверых. Никто не хотел составлять ему компанию.

Большую часть своего дневного времени академик, надев чистый серый халат, проводил теперь в своем кабинете среди высушенных растительных диковин, которые, как и раньше, привлекали его своей запечатанной для взора тайной. Но теперь он уже не торопился поразить людей открытием. Помешивая ложечкой в стакане с чаем, где таяла большая таблетка, он размышлял над загадками природы и иногда проводил рукой по лицу и мотал сухой побелевшей головой, не находя ответов. И сотрудники его не знали, чем заняться. Штат постепенно редел. Каждый день старик узнавал о чьей-нибудь измене.

Вокруг чувствовалась пустота. Он, конечно, знал ее происхождение. Некоторое время назад он даже предсказал это для себя. Потому ведь и организовал себе «второй виток». Но и второй виток пришел к своему концу, восьмигранный чудо-колос, к несчастью, не появился в повторных посевах академика. Новый покровитель Кассиана Дамиановича был сильно разочарован, но все же не стал обижать знаменитого ученого, поскольку сам был причастен к красивой, но не сбывшейся мечте. И в академике Рядно он видел такого же пострадавшего романтика. Оставил старика в покое, положив начало дням его одиночества. С этого момента и начался отсчет.

Но с некоторого времени в угасших головешках общего интереса к академику закурился живой дымок. В столовой, где старик всегда обедал, он стал затевать

разговоры, которые вскоре получили название «обеденных лекций» академика Рядно. По-прежнему за его стол никто не садился. Но академик находил по соседству какого-нибудь знакомого и, обратившись к нему, умело вовлекал его в спор. А из спора вырастала и лекция.

Слух об этих лекциях дошел и до Федора Ивановича, который в начале шестидесятых годов был уже доктором наук и заведовал лабораторией в крупном научном учреждении. «Обеденные лекции» грозили войти в моду — так ему показалось. И однажды зимой Федор Иванович пришел в эту столовую и, сев за стол у дальней стены, стал настороженно ждать.

Сначала над столами пролетел шепот: «Касьян, Касьян пришел!». И Федор Иванович через дверь в раздевалку увидел черную шубу с оранжевыми лисами. Она замедленно шевелилась: ее снимали с академика. Потом старик передвинулся к зеркалу, наложил на лоб ладонь и резко повернул ее. Оформив сильно побелевшую челку, академик привел свои шарниры в упорядоченное движение и тронулся в торжественный путь. Цепь мокрых следов от его валенок протянулась через весь зал к одному из ожидавших его вдали пустых столов. «Его стол»,— догадался Федор Иванович. Старик сел в опасной близости от него, прямой и строгий. Стало видно, как он постарел. Обтянув выступы его коричневого лица, кожа перетекла на шею и висела там складками, как у ящера. Рядно отдал краткое распоряжение официантке, которую назвал Клавой, и затем, растопырив сухие пальцы на обеих руках, взаимно пропустил их — гребенка в гребенку. Поставив это напряженное сооружение на стол, громко сказал: «Фух-х...» — и стал осматривать дали просторного зала, выискивая собеседника. Чтоб загорелась перепалка. А за нею чтоб нечаянно вспыхнула и лекция.

— Назар Максимович! — вдруг прозвучал в столовой как бы деревянный рожок.— Не прячься, вижу тебя. Ты ж мой стойкий оппонент. Я тебя сегодня вспомнил. На Ленинградском шоссе.

Назар Максимович не отвечал.

— Там кафе есть,— благодушно продолжал академик.— С витриной. У самого стекла — клетка висит. С канарейками. В клетке гнездо, а в гнезде самочка сидит. На яичках. С улицы видно. Все перья выщипала

на пузичке, голеньким прижалась, яички греет. Маленькое такое, где и жизнь держится. И лапками сучит — переворачивает яички. Ужели только инстинкт? А ты разбей ей яичко — ведь переживать будет. Скажешь, нет? А, Назар?

Назар по-прежнему молчал. Его не было видно.

— А что я еще увидел! Там, на краю гнезда, самец сидит! Красавец! Как запоет, как запоет! Трель — на полчаса. И она сразу сучить перестает, пропадай яички, пропадай инстинкт! Головку — к нему, к самому его зобику... Который так и дрожит от трели. И слушает, слушает! Ты скажешь, бога нет. А я бога тебе и не навязываю. Но ужели так проста жизнь, ужели человек так слеп, что он только себе оставляет право на мысль, на чувство и на творчество? Смотрел я на эту пару, супружескую... И подумал: Назара сюда надо. Пусть посмотрит.

Назар молчал.

— Что больше? — не унимался Кассиан Дамианович.— То, что человек знает о себе и о живой природе? Или то, что составляет, Назар, всю ее, природы, полную программу? Зачем же ты в бутылку лезешь?

Назар молчал. Никак не мог его академик расшевелить.

— Ты посмотри, Назар, когда-нибудь замедленную киносъемку. Ко мне в институт приходи, покажу. Увидишь, как растения обращают внимание друг на друга. Как они загораются чувствами. Молчишь? Нечем тебе крыть, Назар...

К столу академика, между тем, подошла официантка. Поставила перед ним на тарелке двуухую белую чашу с золотистым бульоном и отдельно еще тарелку с гренками. И старик принялся за свой обед. Хлебнул несколько ложек, постучал «кутнями». Федора Ивановича передернуло, и он против воли, морщась, воспроизвел этот звук.

— Не дай тебе бог, Назар, в познании законов жизни переступить границу дозволенного...— громко проговорил академик, думая о чем-то.— Меня молодые считают чудаком. Слышишь, Назар? Академик Рядно — чудак! А я не обижаюсь,— он весело всплакнул.— Каждый серьезный мыслитель кажется чудаком. Почему, ты думаешь, Достоевский «Идиотом» назвал свой роман? Думаешь, он своего князя идиотом считал? Свя-

тым, святым считал. И мудрецом. Потому и назвал. Потому что мудрец и святой, брошенный в общество, кажется там идиотом. Согласен?

— Кассиан Дамианович, ты же знаешь, я с тобой никогда не был согласен, — послышался, наконец, хриплый голос Назара.

— Хто ж тебя знает, когда ты согласен, а когда нет. Ты ж любишь молчать. Правда, кукиш у тебя в кармане всегда шевелился.

— И сейчас я с тобой не согласен. С Достоевским согласен, а с тобой нет.

Весь зал затих, как будто опустел. Назревал захватывающий словесный бой.

— Почему ж ты со мной не согласен, Назар? Можно спросить?

— Спроси, спроси, если хочешь...

— Так почему ж ты не согласен?

— Я не согласен, что ты мудрец. И что святой. А князь, который у Достоевского... Он не загонял в гроб академиков. Не питался чужим несчастьем.

— Ой! Так и знал! Как мне это знакомо! — раздался плач, который был смехом академика. — И ты туда же с дурачками! Поддался пропаганде вейсманистов-морганистов! Господи, как меняется человек! Ты ж был настоящий биолог! Мы ж с тобой...

— Если ты считаешь, что наука — это значит отправлять людей... ты знаешь, куда... Таким биологом я не был.

— Пхух-х! Я сживал! Я отправлял! А они меня не жрали, твои подзащитные? — старик хлебнул ложку бульона. — Смотри, что от меня осталось — одни кости.

— Кости — это ничего не говорит, — нехотя отозвался Назар. — Семь коров тощих съели семерых коров тучных и не стали тучнее. Не стали!

Короткий смешок пробежал по столам.

— Я сживал со света! Это была борьба идей! У моей науки впереди еще ренессанс! Моей науке, Назар, не нужны были жертвы. Она сама себя могла... И поддержать и прокормить. Добытыми фактами.

— А чего ж ты людям заколачивал свою конфетку в рот молотком? — спросил Назар с хриплой усмешкой.

— Смотри какой! Он еще зубастый, оказывается, — проговорил Рядно, как бы любуясь противником. — Треплет старика, как шавку. У меня тоже несколько

зубов во рту держатся. Только для петушиных боев я их не пускаю. Берегу...

И, восхищенно помотав головой, окончательно сосредоточился на бульоне. Федор Иванович уже забыл, что именно этот человек перевел его когда-то в «политическую плоскость», забыл даже, что целое «кубло» получило свое название из этих с трудом натягивающихся на зубы уст. Забыл о приказах министра Кафтанова! Боевое чувство, готовность к неожиданной схватке давно уже оставили Федора Ивановича, вкус мести он не помнил. И все потому, что противник был повержен, и теперь его топтали все, кто хотел. Этот Назар, которого Федор Иванович так и не разглядел, действительно трепал старика сейчас как шавку. И Федор Иванович, оценив выдержку «батьки», уже ставил себя на его место, жалел его. Академик Рядно, этот обиженный богом ущербный разум, восставший против безжалостной судьбы и призвавший на помощь свои два бесспорных дарования — чутье на человеческие слабости и цветистое красноречие — он все еще цеплялся за уплывающие радости жизни.

Должно быть, не чувствуя вкуса бульона, он рассеянно и громко хлебал его и стучал ложкой. Думал о чем-то. В это время четыре человека, закрывавшие Федора Ивановича, встали из-за стола. Открыли его выцветшим степным глазам старика. Глаза эти начали светлеть, засияли.

— О! Вот кого мне не хватало! Этот меня сейчас добьет! Федя, что ты там уединился? Иди ко мне, пообедаем вместе, побалакаем, как в старину.

И Федор Иванович, с болью улыбаясь старику, перешел к нему, подсел поближе.

— А я смотрю: чей это полуперденчик висит, такой знакомый! — радостно гагакал академик.— Вижу, иноходец мой не забыл меня, помнит.

— Это уже не мой полуперденчик,— сказал Федор Иванович.— Чужой чей-то.

— Ладно, ладно, притворяйся. Всего тебя вижу. Здорово, ренегат! — последние слова старик дружески продышал Федору Ивановичу на ухо.

— Здорово, Распутин! — шепнул тот в огромное, обросшее волосами вялое ухо. Но нет — жалость и тоска остановили эти слова. Даже покраснел от одной мысли, что мог их высказать. Прошептал совсем другое:— Кас-

сиан Дамианович... Зачем вы позволяете так себя...

— Постой, Федька... Дай, скажу ему. Назар! Ответил бы ты мне на такое... Думает или нет зажигалка? — он помолчал. — Я не о том товарище, который тут мне про конфетку и про молоток... Я не шуткую. Простая зажигалка, которую в кармане носят... Думает она?

Вокруг раздался смех, но тут же и погас, уступив напряженной тишине. Нет, академик даже в трудные минуты умел подбирать ключи к беспечным, полным любопытства головам. «Интересно бы послушать, что он говорил *там,* во время чаепитий...» — подумал Федор Иванович.

— Конечно, я утрирую... Ты в корень, в корень... Я тебе схему принципиальную. К твоему нигилизму. Все-таки, если отрицать зачаток мысли у зажигалки... Которая есть организованная материя... Тогда и человеку придется отказать в этой способности? Знаком ты с теорией отражения? Зажигалка отражает воздействия? Или мы для нее исключение сделаем? Не хочешь делать исключение? Вижу, не хочешь... Вот и человеческая мысль... Это тоже отражение, только высшая форма...

— Зачем вы...— воспользовался Федор Иванович паузой. — Зачем это все?

Академик отмахнулся. Почувствовал вдохновение, подался весь к Назару, который сидел где-то вдали, за спиной Федора Ивановича.

— Возьми теперь счетно-решающую машину. Она тебе выдает результат своей деятельности. А чувствует она, что она делает? Например, я, кроме того, что я выдаю продукт мышления, еще чувствую. Я бываю доволен продуктом. Или неудовлетворен. Скажем, играю в шашки... Мой мозг выдает комбинацию. Хочешь, попробуем, а? Посажу тебя в калошу, лучше не садись со мной... И при этом я бываю доволен своей выдумкой, потираю руки. То есть процесс настолько далеко зашел, что уже начал действовать в обратном направлении. Вот я тебе гипотезу даю, можешь смеяться. Слушай внимательно. Положи кость, ты ее сосешь машинально.

— Слушаю, слушаю,— сказал нехотя Назар.

— Вот это запомни: счетно-решающее устройство, запрограммированное на игру в шашки, переживает волнение игрока. Во всех механизмах, созданных человеком... Который творит, как и природа... Копирует про-

цессы с природы... В любом механизме, как только он заработает, возникает чувство отношения к этой работе. Пропорционально сложности. Это я тебе твердо... Станок работающий... Когда сломается резец, каждый токарь знает — машина прямо завывает от злости. Только не матерится. Где, спросишь ты, машина волнуется? А там же, где и решает свою задачу. Как и человек. Через сто лет наука даст подтверждение моей галиматье. А сегодня разрешаю всем, кто хочет, надо мной смеяться. А я послушаю.

И, высказав это, сверкнув жестяными глазами, академик принялся нервно разрезать на тарелке уже осторожно подсунутые ему официанткой голубцы.

— Клава, и ему такое подай,— гагакнул ей старик, указав ножом на Федора Ивановича.

«Он маскируется! — горячо зашептал в неведомых глубинах отдаленный голос.— Он не хочет, чтобы его считали убийцей одареннейших людей, работавших на свой народ, украшавших его. Согласен быть чудаком. Потому и об „Идиоте" заговорил. С идиота спрос другой».

— Послушайте теперь меня,— тихо заговорил Федор Иванович. И даже слегка навалился на старика — чтоб никто не слышал. Он чувствовал его искусно скрытое страдание.— Кассиан Дамианович... Ну зачем вы говорите все это? Ведь они все понимают. Это так похоже на одну вещь... И не один ведь я почувствовал сходство... Знаете, что я вспомнил? В связи со сказанным... Был процесс несколько лет назад. В газетах писали. Судили убийцу. Всего-то одного человека на тот свет отправил. Только одного. По-моему, на Севере где-то...

— Ну, и что? — академик посмотрел с угрюмым подозрением.— Я помню этот процесс... Догадываюсь, что дальше скажешь. Договаривай...

— На процессе он всех удивил. Симулировать начал. Сумасшествие. Даже стал на четвереньки, прямо в суде. И даже, понимаете... Даже залаял...

Академик съел кусок голубца и, отпив из стакана минеральной воды, тускло и долго смотрел на Федора Ивановича.

— Я понимаю, что ты это из благих побуждений...— интимно задудел он почти одним как бы посвежевшим носом.— И поэтому тебе, как с-сатане... Который около моей души все время хлопочет... Начал еще, когда спи-

ну мне тер... Думаешь, забыл? Который знает мои мысли... Мог бы, конечно, и не признаваться. Но для полноты мистики, Федька, признаюсь тебе: понял я твой гениальный намек. Даже предвидел. Ждал. Только не утешайся мыслью, что я от этого страдаю. Видишь, сказал тебе это и спокойно кушаю. И ты не страдай. Кушай, что тебе подали. Проснись, дурачок, уже подали тебе. Будем оба кушать — мы ж философы...

И Федор Иванович, не чувствуя своих рук, взял нож и вилку. Автоматически стал «кушать» свой голубец.

— Этого ничего не было, запомни, Федя,— сказал старик, спокойно жуя.— Того, на что ты тут намекекекиваешь. И самого твоего мекеке — тоже не было. И что говорю тебе сейчас, и этого нет. Было бы, если бы попало в мозги людей. Если бы таких людей было много. Чтобы мнение создалось. Чтобы началась его, мнения, самостоятельная жизнь.

— Их много! — закричал шепотом Федор Иванович.

— Эти не считаются, про кого ты. Там мозгов нет. Это кабачковая икра. А если в мозгах нет — считай, что совсем и не было. А что в твоих персональных мозгах застряло, так это я как-нибудь переживу. Я ж привык тебе в глаза смотреть. В твои хитрые, как у енота, сообразительные глазки. Тебе одному все равно не поверят. А потом, я ж тебя знаю. Ты ж интеллихэнт, Федька! Раз сказал мне все это — значит, уже удовлетворился. Дальше не понесешь. Скукота же — ходить от человека к человеку и повторять одно и то же. И люди таких не любят... Распространителей. Не-е, все останется дома...

— Кассиан Дамианович... Почему вы с вашими способностями так свободно мыслить... Почему вы не займетесь настоящей наукой?

— Хых-х!.. Настоящей... А у меня какая? Поддельная?

— Это я вам серьезно... Я бы тогда пошел к вам в сотрудники. Мы бы не теряли время на превращение березы в ольху. Озимой пшеницы в яровую. Овса в овсюг. Потому что знали бы, что возможно, а что — нет.

— Опять же скажу тебе, как сатане. От которого не отвязаться. Только одному тебе спокойно скажу. Белое пятно у меня, Федя, в глазу. То есть, конечно, не в глазу, а ты понимаешь, где. Я не вижу того, что

называют истиной. И терпения у меня нет. Ждать, пока увижу что-нибудь. Всю жизнь ждать! А в науке ж без терпения нельзя. Я, конечно, могу проникать интуицией в глубь вещей. Рождаю гипотезы. Мысль моя не терпит остановки, приземлять не дается, лети-ит, лети-и-ит... Такой у меня талант. Я чистый теоретик. Философ-диалектик. Индукция и дедукция — тут моя стихия. Я ж имел успех! Какой успех!..

Старик замолчал, стал смотреть вдаль. Там, вдали, за стенами столовой, брезжил сорок восьмой год, еще звучали затихающие овации. Потом провел рукой по лицу, просыпаясь.

— Почему и хотел всегда на пару с тобой соединиться... Ты можешь до истины допереть. Упрямый. А я гипотезы бы кидал. У нас бы пошло...

— А кто был бы главным в этой упряжке?

— Во-о! Тут ты весь. Ты иногда проговариваешься! Еще когда про доктора закидывал мне... Мое самолюбие, Федор, никогда не смирится с второстепенным положением. Это нас и развело. Ты же, как и я, сынок... Рожден повелевать. Командовать... Я ж вижу, тебя уже потянуло вверх. Уже тащит. Будешь барахтаться, а оно будет тащить... Не знаю даже, что тебе порекомендовать. Сам видишь, что иногда получается...

И он мягко, но кисловато улыбнулся. И по-крестьянски обильно сплюнул под стол. Как будто ехал на возу с сеном.

— Одного не понимаю,— сказал он, меланхолично растирая валенком плевок. — Их было сколько? Тысячи. А я один. Почему они мне сдались? И еще. Почему я сегодня терплю поражение? Этого никому не понять. Даже тебе, с твоей башкой.

Так, в атмосфере пустоты, притворства и неразрешимых загадок, академик Рядно прожил еще немало лет, набирая возраст и числясь на своих нескольких постах. Похоронил многих противников и повернул на девятый десяток. И эта сложная атмосфера не оставила старика даже тогда, когда среди особенно жаркого лета, постепенно цепенея, он наконец замер навечно.

Это уже произошло, но газеты почему-то не дали некрологов и жизнеописаний выдающегося деятеля науки. Важная весть с запозданием настигла меня во

время сборов в дорогу — предстояла командировка. Случайно прочитал маленькое сообщение в углу замасленного газетного листа, когда заворачивал в него колбасу. Дата говорила, что еще не поздно и можно успеть к торжественной панихиде, которая назначена на двенадцать часов. И, отложив поездку, я помчался в научно-исследовательский институт, где все должно было состояться.

Подходя к институту, еще издали увидел восемь пустых автобусов, стоявших в ряд вдоль здания. Тут же дежурила милицейская автомашина с синим стеклянным стаканчиком на крыше. Два милиционера в белых перчатках прохаживались на солнцепеке перед фронтом автобусов.

«Весь народ в конференц-зале», — пришла догадка, и я заспешил по ступеням к входу, чтобы услышать, запомнить и записать исторические слова, что будут звучать над прахом, а если точнее сказать, — над уходящим в прошлое явлением. Но мне не пришлось даже прикоснуться к дубовым дверям. Обе половинки сами распахнулись, и оттуда вышел, оглядываясь, карлик с широким туловищем, сгорбившийся над красной атласной подушкой с орденами и медалями, которую он нес. Бросил на меня мельком сияющий сахарный взгляд.

За ним показалась процессия, состоявшая всего лишь из пятнадцати или двадцати человек, теснившихся вокруг поднятого над головами длинного предмета, обтянутого гофрированным кумачом. Среди них выделялся грузный великан в слишком свободном костюме цементного цвета. Непокрытая голова его напоминала картофелину с глубоко погруженными глазками, которые и были ртом, глазами и ушами этого человека.

За ними должна была хлынуть тяжелая толпа поклонников академика, сторонников направления в науке, для которых и были заказаны автобусы. Но никто больше не появился, и обе дубовые половинки, помедлив, сами, наконец, сошлись. Подступало что-то вроде беспокойства — такое бывает, когда нечаянно оказываешься свидетелем катастрофы или чьей-нибудь неожиданной гибели...

Маленькая процессия, сойдя на тротуар, переместилась к крайнему автобусу. Там, в задней стенке, распахнулись специальные дверцы, и красный длинный

предмет протолкнули внутрь. И весь кружок людей перетек в этот автобус. Уселись, нахохлились.

Пробежал распорядитель, махнул рукой. Зашумели сразу все восемь автобусов. Один милиционер, медленно и широко ставя ноги, торжественно вышел на середину улицы и поднял пегий жезл. Скрипнули тормоза, улица замерла. Над милицейской машиной замигал в стаканчике синий огонек. На тротуарах остановились любопытные прохожие. Раня душу синими тревожными проблесками, милицейская машина пересекла опустевшую улицу и, развернувшись в обратном направлении, замедлила ход. Сейчас же к ней, описав полукруг, пристроился первый автобус — тот, где сидели несколько человек. За ним остальные семь — пустые и прозрачные — выехали один за другим и двинулись вдоль улицы, набирая скорость, демонстрируя перед людьми искусственные почести тому, кого никто уже не чтил. И еще одна — бледная «Волга», догнав их, замкнула странную колонну.

— Смотрите, Учитель! Смотрите получше! История, история!..— послышался за моей спиной знакомый мужской голос.— Вряд ли когда-нибудь увидите подобное...

— Вряд ли? Ох, дядик Борик...— ответил второй мужчина.— Ох! Бесконечность богата вариантами. Фантазии природы еще не исчерпаны.

Знакомое имя заставило обернуться. Сзади и выше на ступенях стояли трое. Да, среди них был мой давний приятель — Борис Николаевич Порай. Он уже вошел в преклонный возраст, но по-прежнему в нем жил полный юмора наблюдатель. Он долго не замечал меня — все смотрел вслед автобусам, хотя их уже не было видно. И при этом качал головой, чуть заметно поигрывал плечами — сам для себя давал комментарий к происходящему.

Это позволило без помех оглядеть остальных двоих. Там была женщина лет тридцати пяти — из тех, на кого, один раз увидев, хочется опять взглянуть. Что я и сделал против воли. И на чем был застигнут ею и строго наказан движением темной широкой брови. И, как мальчишка, мгновенно опустил глаза. У нее было умное, чуть усталое лицо. Белое льняное платье с розовыми продольными полосками, узко подпоясанное, подчеркивало живые и как бы говорящие узости и полноты ее цветущей фигуры. Слегка повисув, она держа-

лась за локоть мужчины лет сорока — худощавого, плоского, с широким худым лицом и заметным носом. У него были красивые, хорошо тренированные и загорелые руки, широкие в запястьях. Тонкая светло-серая рубашка с подвернутыми рукавами не скрывала его крепкого, сухого сложения. Еще одно сразу запомнилось — данная природой вертикальная черта в нижней части лица. Глубокий желобок, возникший сразу ниже носа, затронув обе губы, заканчивался кривой ямкой на подбородке, которая была тоже вертикальной. Человек этот тоже заметил, что я пристально рассматриваю его, и серьезно взглянул, как бы охраняя тайну.

Но я успел увидеть еще кое-что, очень важное. От этих двоих веяло покоем. Это было впечатление достигнутой мечты. Я видел достаточно благополучных семей, где были любовь, дети и деньги... Смотрел на них, и почему-то никогда не возникало это, так настойчиво заявлявшее о себе, тянущее за душу чувство.

Конечно, это могло быть ошибкой. Но вот как интересно все подтвердилось.

В тот день, когда мы, четверо, стоявшие на каменных ступенях, а с нами и вся притихшая улица, смотрели вслед удаляющейся сказочной процессии пустых автобусов, я был все же замечен дядиком Бориком, и состоялось наше знакомство с Федором Ивановичем и Еленой Владимировной. А через полмесяца последовало и приглашение в гости.

По адресу на бумажке я разыскал новый восьмиэтажный дом из кирпича телесного цвета. На четвертом этаже позвонил. Дверь открыла сама хозяйка в легком платье из голубого ситца с белым горошком. Сделав полупоклон, приглашающий войти и быть в квартире своим, она отступила в сторону, и место ее занял коренастый и жилистый мужичок с желтоватыми сединами. Он показался страшно хитрым.

— Цвях. Василий Степанович,— сказал он, даря основательное каменное рукопожатие, оставившее на моих пальцах бледный след.

Он и дядик Борик, беззубо сиявший над нами, были здесь друзьями семьи.

Быстро пройдя по двум комнатам в сопровождении Федора Ивановича, я увидел много вещей, похожих на экспонаты. В тот первый визит они показались мелочами. Был там, например, деревянный сундучок, сра-

ботанный сельским плотником лет сто назад. Крышка его, треснутая вдоль, грозила развалиться. За стеклом шкафа холодно поблескивал потемневшей латунью микроскоп немецкой работы, созданный в прошлом веке. Его тусклый тубус торчал вертикально, как труба паровоза Стефенсона. Особое внимание привлекала большая настольная лампа. Зеленый фаянсовый абажур поддерживали три голые фарфоровые красавицы, заманчиво бегущие вокруг невидимой центральной оси. На них я, как и полагалось, смотрел дольше всего. Поскольку поблизости не было дам. Позднее, когда раскрылось истинное значение этих вещей, я понял, что наше повышенное внимание, как и наше пренебрежение, могут ничего не стоить. И даже становятся подчас причиной мучительного стыда.

Когда стали усаживаться за стол, взор невольно остановился на стоявшем в центре большом шаровидном чайнике, отлитом из олова и посеребренном. Он качался в подставке, сплетенной из прихотливых оловянных вензелей. Это был чайник бабушки, которую очень чтили в семье. Ей так и не пришлось увидеть правнуков.

А правнуки у нее были. Двое. Младший — мальчик лет тринадцати, опоясанный хозяйским фартуком, принес с кухни овеянный душистым паром тазик с хорошо очищенной картошкой, сваренной со знанием дела. Белые клубни сияли в блестках крахмала. Кто-то за столом сказал, что картошка принесена «с раскипа». Здесь ели ее без масла, слегка присыпая солью. Я и сам заразился за этим столом новой для меня манерой есть картошку.

— Гибрид с «Контумаксом»? — спросил дядик Борик, держа перед собой белый сияющий шар.— Тот самый?

— Тот самый,— сказал старший сын хозяев, студент университета и, видимо, биолог.— Только над ним еще идет работа.

И вдруг пролетел — теперь уже между родителями и детьми — как бы слабый порыв легкого объединяющего ветра. Все четверо знали связывающую их тайну, частица которой дошла уже и до меня через нашего общего друга Бориса Николаевича. Это дуновение задело всех. Мы притихли. Что-то захватило мне дух, и, слегка обезумев, я начал ерзать и оглядываться, а потом даже привстал. Я хотел сказать речь!

Но, опередив меня, уже кашлял и оторопело оглядывался Василий Степанович Цвях.

— Вот так, товарищи,— сказал он, поднимаясь.— У меня есть несколько слов. Над этим блюдом с картошкой. Если общество не возражает...

Взорвавшийся одобрительный шум прибавил ему храбрости.

— Мысль появилась...— продолжал он, почесав щеку и пригладив виски.— Ведь если не выскажешь вовремя, она улетит. Завтра кинусь вспоминать, а ее ищи-свищи...

— Василий Степанович! Мы слушаем! — раздались голоса.

И Цвях сразу умолк, стал медленно наливаться тяжелой энергией.

— Миры летят...— страшным полушепотом вдруг возгласил он и весь подтянулся.— Миры летят. Года летят. Пустая вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, о счастии твердишь — который раз?

Он замолчал, обвел всех строгим взглядом. Никого не видя.

— Я не стану, ребята, цитировать здесь до конца... Только позвольте еще такое...— И он опять подтянулся и уже не страшным, а словно просящим голосом продолжал:— Что счастие? Короткий миг и тесный, забвенье, сон и отдых от забот... Очнешься — вновь безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет...

И осторожной рукой мягко придержал дядика Борика, рванувшегося было продолжить стихотворение.

— Такая вот формула вспомнилась вдруг. Она меня когда-то поразила. Так же оно и есть, казалось бы. Гонишься, схватил... А оно у тебя в руках и погасло. Опять ищи... Красиво поэт сказал. И если попытаемся бросить свет на конкретное... Возьмем Кассиана Дамиановича. Вся ведь жизнь у него была фактически — гонка за счастьем. Почести, господство над умами, власть — все это ему маячило днем и ночью. Непрерывно искал. И вроде как имел. Но не до конца. Призрачное, гасло в руках, хоть и делал вид. Ненатуральный был успех, это я знаю, рядом работал. Притворялись те, над кем он господствовал. Потому что страх. И он это знал! Притворялся, что не знает. А если искреннее преклонение было — тут еще горше. Он же ви-

дел, кто преклоняется — дураки и невежды! Вот когда березовую ветку... Это у него был миг высшего счастья! Короткий миг и тесный! Как он его схватил! И тут же увидел — тускнеет... Уже исчезает, уже аукает за углом. В самом начале пошло гаснуть. Ведь не пионерам же быть арбитрами там, где взрослые еще не нашли ясности. И не этой... учительнице. И он понимал это и притворялся! А впереди же был еще микроскоп! Революционер! Разоблачитель дурн! Так что Блок тут прав на все сто. Но вот где он ошибается. Он берет душу, которая ищет счастья. Которая озабочена своими личными неудачами. Усталая, глухая, все ищет, ищет... Такая и была у Касьяна. Ошибка поэта в том, что счастья искать нельзя. Обреченное дело! Кто ищет, тот, естественно, старается для себя. А это — усилия второго сорта. Счастье таких усилий не любит, обходит. Когда ищут его, как белые грибы. Как искал Касьян. Как ищет один мой дружок, Спартак. Федя знает... А с ним ищет и значительная часть человечества. Спартак мне сказал как-то: мечтаю, говорит, попробовать омара. В ресторане размяк, прилип и признался. Чтоб до омара, ребята, дойти, много всяких вещей надо надкусить и бросить. Надкусит, тут же рожу скорчит и бросает. Теперь на дно океана потянуло, за омаром. Давай его в кипяток. Я лично никогда не ел. Наверно, райская сладость. Но я же знаю, я же знаю — это пока не положил в рот. А дальше у него судьба — как у обыкновенного рака. Как у этой березовой ветки. Что будем искать дальше? Где успокоимся?

Василий Степанович остановился. И вдруг удивил всех новыми стихами:

— Как камень, пущенный из роковой пращи, браздя юдольный свет, покоя ищешь ты. Покоя не ищи. Покоя нет...

Вот каким он оказался. Удивил всех и даже посрамил, потому что никто не знал, чьи это строки.

— Картошечки этой там не было,— сказал он, беря из тазика белое искрящееся яблоко.— Я бы ему предложил. Не было ее. Я Спартаку черного хлеба тогда подал. Пожуй... Не как самолюбивый крестьянин сказал, нет. Это мой отец когда-то целую горсть земли в рот положил и съел. Чтоб землемера интеллигентного удивить. Не-е, я с другим значением. Черный же хлеб создан судьбой. А омар — простая животина. Черный

хлеб — родной брат русского человека. Он — свидетель истории. Горя и счастья. А не омар. Кто воевал и голодал, знает, что черный хлеб вкуснее всего. В нем есть такие оттенки... Тончайшая гармония... Берешь кусок черствого... Понюхаешь... И вспоминаешь чьи-то глаза. Чью-то остывающую руку. И счастлив, что эта травма сидит в тебе. Что ты ее вместил. Ну что бы была у меня за жизнь без этой травмы? А Спартак рожу скорчил, посмотрел — и я сразу тогда понял: этот человек гладкий, он осужден, чтоб гнаться за счастьем. Браздя юдольный свет. И никогда не догнать. Не человек, а вещь. Как и Касьян.

Василий Степанович затих. Взвесил на руке белый теплый шар.

— Картошка... Гибрид! Пища! Это же не минута простого насыщения. Концентрат это. Концентрат пережитого. Вкус мечты. Даже есть не решаешься, как все вспомнишь, что было вокруг нее. И начинаешь понимать слова... Что вложено в это выражение: «Сие есть плоть моя». И никогда это сияние вокруг нее, этот смысл не исчезнет... Какое тут резюме? Вот какое. Мир нам дан такой, какой он есть. Ни прибавить, ни убавить. А счастья в нем нет. Не заблуждайся и не колеси зря в поисках. И не думай, и не мысли. Счастье — в тебе. Когда положишь свою плоть, чтоб напитать ближних... Прольешь кровь, переплывешь моря страданий... Вылезешь на берег еле живой... Тут счастье само тебя найдет, не помышляющего о нем. Будет стелиться перед тобой. И никогда не надоест.

Речь Василия Степановича иссякла. Видно было: во всех его словах есть тонкая связь с теми, кто сидел за столом. Я и сам хотел сказать что-то похожее, только у меня не было фактов, и речь получилась бы туманнее. Василий Степанович высказал все наилучшим образом. Одного только я боялся: что Цвях, закругляясь, сыпанет разъясняющими торжественными словами, укажет точный адрес и будет убита живая тайна, которая не любит аплодисментов и даже намеков на официальные почести.

Но мудрый Василий Степанович не выпустил этих, просившихся наружу, но лишних слов. Он только одно добавил:

— Не всю природу мы покорили! Счастье еще свободно выбирает достойного! Поймать его не пробуй. А

то бы ловцы давно заперли его в сейф, еще тысячу лет назад. И наш Касьян выдавал бы его по своим запискам. Ведь как хорошо, как хорошо устроила великая природа!

Он, ликуя, воздел руки и потряс ими. Потом сел и принялся за картошку. А мы все — за ним. И тазик быстренько опустел. Потому что у этой картошки действительно вкус был необыкновенный.

В. Кардин

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

Дойдя до середины романа Владимира Дудинцева «Белые одежды», наталкиваешься на строчки, от которых делается как-то неуютно. Ты с неподдельным интересом следил за все более напряженными схватками; искренне и восхищенно «болел» за Дежкина и Стригалева; отчетливо видел, кто прав, а кто — наоборот; из своего читательского далека определял меру вины «народного академика» Рядно и его сподвижника Бружака; ты с благодарностью думал о писателе, сумевшем вовлечь тебя, человека, не причастного к биологической науке, в баталии почти сорокалетней давности между приверженцами Лысенко и его противниками, и вдруг — извольте радоваться — схлопотал по физиономии.

В. Дудинцев сделал это, не вдаваясь в подробности, не выясняя отношений. Походя воспроизвел фон, на каком велась странная внутринаучная борьба, вспомнил, какой отзыв получали в прессе, литературе, наконец, у неспециалистов, читавших газеты с сообщениями о победах истинной биологии над многолетними пагубными заблуждениями, книги о переделках озимой пшеницы в яровую и яровой — в озимую, о сосне, породившей ель, о кавказском грабе, породившем лещину. Публика, в том числе и ты, воспринимала фантастические новации с величайшим энтузиазмом.

Вполне естественный порыв заставляет искать себе оправдания: был молод, наивен, абсолютно несведущ.

Но чувствуешь жалкость аргументов. Тем более герой романа Федор Иванович Дежкин, размышляя о возобладавшей «дури», лишает тебя шаткого утешения: такая «дурь» ему была знакома и по другим событиям его жизни, не относящимся к биологии. «Она возникла в массе того недостаточно образованного большинства, которому легко внушить, что оно-то и обладает конечным знанием вещей».

Кому приятно составлять «недостаточно образованное большинство»? Однако подобной «недостаточностью» можно было бы воспользоваться как обстоятельством, смягчающим твою вину. Можно было бы, если бы Федор Иванович, завершая мысль, не подметил, что этой «дури», «этому безумию» суждено было однажды растаять. Толь-

ко не спешите радоваться. Растаяв, они оставили «после себя изломанные судьбы и тщательно скрываемое чувство вины и стыда».

Выходит, какая-то доля ответственности за изломанные судьбы падает и на тебя, и ты тоже принадлежишь к тем, кто тщательно скрывает чувство вины и стыда. Выходит также, что дело не всегда и не только в недостаточности образования. «Другие события», подразумеваемые Дежкиным, оборачивались бедой не по причине малой образованности наблюдающих. Им по-прежнему недоставало знания, однако уже не научного. Недостаток возмещался верой. Слепая вера благоприятствовала чьим-то досадным ошибкам или преступлениям.

В романе «Белые одежды» говорится и о массовых психозах, и об индивидуальных ошибках. Инвективы, обличающие публику, в нем редки. В. Дудинцев не привержен публицистике. Он неотрывно поглощен человеческими судьбами. В большинстве своем это судьбы биологов, генетиков — людей, превыше всего ставящих факт и безупречно точный его анализ. Здесь и проходит линия размежевания. По одну сторону — факт, по другую — вымысел, выдающий себя за факт.

Нет двух учений, двух теорий, нет «драмы идей». У реального академика Лысенко и у вымышленного — Рядно — никакой теории не существовало. Защищая свою монополию, они нуждались как минимум в двух условиях: влиятельной политической поддержке (ради этого Рядно у В. Дудинцева переносил свои «открытия» «в идеологическую плоскость», попутно обещая покончить с продовольственными трудностями) и уничтожении всякой научной мысли. Заручившись покровительством Сталина (потом Хрущева), академики обеспечили свое господство. В середине XX века наука встала перед необходимостью обороняться от агрессивного средневекового мракобесия, выдающего себя за единственно передовое учение в естествознании. Всякий несогласный с ним лишался кафедры, возможности заниматься исследовательской и преподавательской деятельностью (тогдашний министр Кафтанов подписал соответствующий приказ), попадал под подозрение, а то и на казенные харчи. Мы еще только начинаем постигать трагедии тех лет, тех десятилетий. «Тщательно скрываемое чувство вины и стыда» — не лучший помощник в процессе мучительного постижения, когда необходимо до конца разобраться в противоречиях, высветить все углы и закоулки, найти причины. Иначе общество не застраховано от новых бед. Звенья в цепи трагедий связаны между собой (в романе В. Дудинцева не педалируется, но и не упускается из виду родство лысенковщины с ежовщиной: мужество Стригалева перед лицом Рядно еще и потому так высоко, что он уже до войны успел хлебнуть тюремной баланды). И все-таки у каждого звена свои отличия, отражающие противоречия эпохи.

Возможно, какая-то доля случайности есть в том, что почти одновременно появились три произведения, имею-

щие касательство к достопамятной сессии ВАСХНИЛ 1948 года, к гонениям на «морганистов»: повесть Владимира Амлинского «Оправдан будет каждый час...», повесть Даниила Гранина «Зубр» и роман Владимира Дудинцева «Белые одежды». Но и закономерность есть.

В чем же закономерность? Не в том ли, что «дурь», «безумие» разгромов в биологической науке с особой полнотой выразили тенденцию, что здесь более явственно (на это делает упор В. Дудинцев) сказалась борьба взаимоисключающих начал. Перехлесты, «перегибы» конца двадцатых годов, репрессии конца тридцатых, выселение целых народов в пору войны и после нее — все это если и наталкивалось на противодействие, то либо на стихийное, либо на частное, иными словами, было неизменно обречено на провал. Триумф лысенковщины, несмотря на победные фанфары и фейерверки, на поддержку «недостаточно образованного большинства», с самого начала был липовым. Удалось одурачить тысячи, запугать сотни, лишить десятки доступа к научной работе. Но далеко не всех удалось сломить. Коса нашла на камень. Академик Рядно чутким ухом уловил звон от удара, насторожился... Подозрения Рядно дают первотолчок действию «Белых одежд»: в подмосковном институте орудует «подпольное кубло». Студенты, аспиранты обсуждают запрещенные книги по генетике, ставят опыты. Казалось бы, что им, победителям, завладевшим, как будет сказано в конце романа, «высоким берегом», до этих безобидных юнцов? А поди ж ты, нервничают, сигнализируют, апеллируют к соответствующим органам. Впрочем, органы эти не заставляют себя упрашивать, действуют в трогательном содружестве с «народным академиком»...

Федор Иванович прав, когда ставит эту «дурь» в ряд с другими, когда вместе со Стригалевым и Цвяхом вспоминает периоды помутнения общественного рассудка, массового психоза подозрительности. В тридцатые годы вдруг начинали выискивать фашистский знак, будто бы замаскированный в простенькой картинке на спичечном коробке, на обложке школьной тетрадки пытались заметить руку, зловеще протянутую к советскому гербу.

И все-таки попробую частично оправдать тех, кто искрение поверил в посулы лысенковцев, раздутые пропагандой. Вспомним, что всего три года, как кончилась война. Голод же кончился далеко не всюду, и так хотелось, чтобы все наконец наелись досыта. Так хотелось... Этим всеобщим желанием, этой оправданной мечтой большинства воспользовался Лысенко. Как было не поверить академику, создавшему ветвистую пшеницу: один ее колос перевешивал несколько колосьев обыкновенной!

Обделывая свои делишки, лысенковцы не просто обманывали «недостаточно образованное большинство», располагая поддержкой «недостаточно образованного» меньшинства. Они глумились над чаяниями народа.

Эту ложь необходимо исследовать с той же дотошностью, с какой Стригалев, Дежкин исследовали хромосомы. «Недостаточно образованные» будут и впредь, в эпоху атома

и СПИДа, составлять большинство, коль скоро речь зайдет о специальных научных вопросах. Но обманывать большинство, злоупотребляя его неведением,— подлость, граничащая с преступлением. Такое возможно, когда в общественной жизни тревожно смещены нравственные нормы, а за спором на сугубо специальные темы угадываются противоречия и конфликты, быть может, исторического значения.

Федор Дежкин, выполняя поручение Рядно, прибывает инспектировать институт, попавший под подозрение.

В. Дудинцев нетороплив, внимателен к подробностям; в его повествовании даты как верстовые столбы или дорожные указатели. Сколь бы ни увлекал сюжет, надо следить за мелочами, будь то, скажем, одежда человека или походка.

Дело заваривается в сентябре, то есть через месяц после августовской сессии ВАСХНИЛ. Вейсманизм-морганизм громогласно осужден. Остается его добить, покончить с упрямцами, отказавшимися от покаяния, вроде фанатичного профессора Хейфеца, и с более опасными учеными, возможно, продолжающими втихую свои опыты и «совращение» молодых умов. Не всякий, кто признал собственные ошибки и дал обещание перестроиться, пользуется доверием победителей. Академик Посошков публично признавал старые грехи, давал заверения, разогнал половину обеих кафедр генетики и проблемную лабораторию, но все-таки вызывал настороженность: отрекся ли в глубине души от заветов монаха Менделя?

Недостаточно, однако, осудить, заклеймить, принять резолюцию, заручиться поддержкой печати, влиятельных лиц и могущественных инстанций, закрепить свою победу изгнанием неугодных профессоров. Надо подавить неутомимо ищущую мысль.

В. Дудинцев сосредоточен на этическом значении, этических последствиях акции, осуществленной Лысенко. Практические последствия находятся в прямой зависимости от нравственных. В науке, призванной служить сельскому хозяйству, это всего нагляднее. Потому, думается, писатель и предпочел такую именно ситуацию, потому и построил свой роман так, чтобы каждый вовлеченный в события вынужден был до самого донышка проявить свою суть. Никто не отсидится в «болоте». («Болото» тем и привлекательно, тем и мило для многих: в нем можно укромно прожить жизнь, оставаясь ни рыбой ни мясом.)

Академик Рядно свободен от душевных сомнений. Но о подлинной задаче поездки Дежкина высказывается туманно, что-то недоговаривает, утаивает. Ему известно: один из покаявшихся продолжает эксперименты, выращивая новый, высокоустойчивый сорт картофеля. Успех его опытов докажет силу генетики; шумный триумф лысенковцев может завершиться крахом. Страна, недавно закончившая войну, получила бы, правда, отличную картошку. Но это менее всего заботит «народных академиков», закованных в броню из корысти, эгоизма и неве-

жества. Они готовы и далее еще более разорять разоренную войной страну, сбрекая народ на новые жертвы.

Академик Рядно назначил своим эмиссаром Федора Дежкина не потому, что тот вчерашний фронтовик. Академик понимал: фронт не отучил людей думать, тем более что главного своего врага Рядно видел в другом фронтовике — Иване Стригалеве, на которого хитро науськивал Дежкина. Замарав Федора Ивановича ревизией института, где сам ревизор когда-то учился, Рядно рассчитывал получить надежного подручного. Он нуждался в умном, интеллигентном помощнике и, остерегаясь этих качеств, надеялся все же, что Дежкин, замаравшись, поставит свой ум, интеллигентность ему на службу. Разве так не случалось?

Рядно ладил капкан на Стригалева, но, прибегая к содействию Дежкина, надеялся, что тот и сам в него угодит.

Писатель вскрывает тонкую механику ловли человеческих душ.

Едва представив читателям Федора Дежкина, автор, не пытаясь интриговать, открывает главную его тайну: это не ортодоксальный лысенковец, не гомнла сродни Брузжаку, только с более пристойными манерами. Перед нами молодой ученый, на несколько лет оторванный войной от микроскопа и книг. Вчера еще он довольствовался верой, сегодня «иссяк родник веры!». Почему так быстро? И на этот вопрос вскоре последует прямой ответ.

В. Дудинцевым взят момент перепутья, момент колебаний, способных породить внутреннюю раздвоенность. От него автор пойдет и дальше, непредвзято исследуя характер, в чем-то очень определенный, а в чем-то еще только формирующийся.

Если бы Рядно с его приглядчивостью, изощренным нюхом был менее предвзят, он бы ни за какие коврижки не доверил «сыику» щекотливое и ответственное задание, не связал бы с ним свои подловатые надежды.

Победители в биологической дискуссии (если это можно назвать дискуссией) пресытились, слушая покаянные речи и пламенные уверения. Им хватало славы, денег, привилегий. Они не испытывали недостатка в льстецах, угодниках, карьеристах, услужливых соглядатаях. Перед нами пройдет вереница таких типов. Неодинаково освещенных, по-разному проявляющих себя в событиях. Для характеристики Ходеряхина, личности примитивной и недалекой, хватит нескольких мазков, быстролетных эпизодов. «Карликовый самец» Брузжак — тоже не велика загадка. А Краснов, хоть и не ума палата, потребует экскурсов в его не слишком славное прошлое. Генерала госбезопасности Ассикритова, ассикритовских методов ведения дел не раскусить, не узнав его биографии, окружения. Личные качества, должности, прихотливо мотивированные стечения обстоятельств определяют роль каждого из них в романе, следовательно — в судьбах главных действующих лиц, в перипетиях борьбы добра и зла.

Победителям на августовской сессии не хватало пустяка—

умных, знающих адептов. Собственно, с этой трудностью чаще всего и сталкиваются властолюбцы — безотносительно к сфере их деятельности. Они вынуждены прибегать к услугам и тех, кого — будь их воля — согнули бы в бараний рог.

На первых порах Федор Иванович Дежкин сгибанию в бараний рог не подлежит. Но и полагаться на него, утратившего родник веры, опрометчиво.

Впрочем Рядно еще не вполне уверен в этой потере; Дежкин, в свою очередь, не спешит признаваться. Покамест он не слишком скрытен, но уже инстинктивно недоверчив. Далеко не все для себя решил и хочет многое проверить. Цену Брузжаку он знает, а вот академику Рядно — не совсем.

Начинается взаимная проверка с гадательным — на первой стадии — итогом. Она не менее увлекательна, чем события, которые вот-вот развернутся. Развернутся, — Федор Дежкин становится самим собой. Тем, кем он должен стать.

Почему — должен?

Могло случиться и так и эдак. Но было одно происшествие далеких лет, укрытое от многое знавшего «народного академика».

Значение «ударных» эпизодов романа не сводится к непосредственному влиянию на участь человека. Они символичны, в них начатки философии, к которой приходят Дежкин и его единомышленники. К которой их упрямо подводит жизнь.

Школьником Федя Дежкин попал в геологическую экспедицию, искавшую никель. Официально считалось, что ее участники подсчитывают запасы естественной краски — охры. Никель искать не полагалось. «Никелевый бог» утверждал, что в этом районе никеля быть не может. Молодой руководитель экспедиции со «стальными зубами», побывавший, стало быть, в местах не столь отдаленных, напал на следы никеля и, понимая, что такое никель для обороны, ревностно исследовал породу, а в журнал вносил рытье шурфов на охру, поскольку отлично понимал также: «никелевый бог», узнав о своей оплошности, не пожелает в ней признаться и объявит геолога «врагом народа». Как и все «боги», он обладал повышенной подозрительностью, направлял в экспедицию то одну ревизию, то другую.

Ребята были предупреждены, говорили про охру. Лишь Федя Дежкин, не желая поступиться правдой, все выложил и про охру, и про никель. Молодого геолога со «стальными зубами» больше не видели.

Вспоминая о геологе, Федор Дежкин уже в зрелые годы размышляет: «Главная причина — необоснованная уверенность в стопроцентной правоте». Такой уверенностью обладал «никелевый бог». Но для нее не обязательно быть «богом». «Почему старуха на костер под ноги Яну Гусу принесла вязанку хворосту? Потому что была уверена без достаточного основания: Я права, я чиста, а он дружит с сатаной».

Про тибетского монаха и про старушку читатель должен помнить так же твердо, как помнит про них Дежкин. Это, пользуясь терминологией Дежкина, ключ. Ключ к расшифровке его натуры.

Надо привыкнуть и к тому, что герои В. Дудинцева ищут прецеденты в истории, обращаются к Шекспиру и Библии, вспоминают святого Себастьяна и никак не святого Торквемаду. Мода, богоискательство здесь ни при чем, поиски аналогий продиктованы насущной заботой о деле, о чистоте «белых одежд», правильности собственного поведения (дело зависит и от поведения тех, кто к нему причастен). Но личного опыта недостаточно, он не успел отлиться в свод незыблемых нравственных правил, обрести каноническую прочность. Эпизод с геологом можно счесть частным недоразумением. Но такие эпизоды желательно трактовать расширенно, они небезотносительны к происходящему сейчас, на наших глазах. «Страх — это область физиологическая. А трусость — область нравственности...», — замечает Дежкин, беседуя со своим учителем академиком Посошковым.

Подобные афоризмы «обыгрываются» в романе с такой же неукоснительностью, как случай с молодым геологом, как лыжные прогулки Дежкина или крестообразный шрамик на ладони Краснова.

На протяжении всего романа разнообразные происшествия и факты сравниваются с войной. «У нас все война и война». Одни идут в наступление, другие занимают круговую оборону; говорится о «трофейной команде», о «битве», о солдатах, уходящих воевать, о «черном орудийном дуле», о «линии фронта, переднем крае и тыле», о «передовых частях, ведущих наступление», о «поле боя, где действуют танки». И т. д. Ни дать ни взять — корреспонденция из фронтовой газеты или литературно-критическая статья, где непременно «передний край», «огневые налеты», «атаки» и прочая бутафория доходят до абсурда. В современной полемике случается такая «милитаризация» лексики.

В. Дудинцев не видит нужды в дополнительных средствах воздействия. У его батальных уподоблений иная цель — передать единоборство, беспощадностью своей напоминающее фронтовое. В «Эпилоге», где вопреки обыкновению не только распутываются старые узлы, но и завязываются новые, привычное уже сравнение разворачивается, приобретает новый масштаб. Та война, от которой в земле остался человеческий череп, что держит сейчас в руке «дядик Борик», смыкается с войной Стригалева и Дежкина против Рядно. В той войне, как и в этой, противник занимал «высокий берег», то есть более выгодную позицию, позволяющую вести прицельный огонь. Но в этой войне, как и в той, люди, отстаивавшие «низкий берег», не отступили. Они верили в свою правоту, неприятель верил в сокрушающую силу слов: «марксизм, передовая советская наука, единственно правильная мичуринская биология, интересы народа...» Чтобы сокрушить защитников «низкого берега», неприятелю надо было еще и рас-

пропагандировать старушку. Ту, что сквозь века несет хворост к костру, уготованному Яну Гусу.

Аллегории? Как сказать. Стригалев погиб в лагере, кончил самоубийством академик Посошков. Совсем не аллегорические жертвы. И не единственные.

Одна из сюжетных линий романа берет начало в событиях военных лет. Но и она, эта линия, несет символическую нагрузку. Не просто фронтовая случайность, а эпизод, который получит свое непредугадываемое продолжение в мирные годы.

Незадолго до победы часть, где служил Стригалев, освободила из лагеря смерти датского биолога Мадсена. Ученые нашли общий язык, сдружились. Когда Стригалева уже посадили, академик Посошков совершил свой предсмертный подвиг — на Международном конгрессе назвал это имя, сказал о новом сорте. Мадсен приехал в Советский Союз, надеясь увидеть небывалый сорт картофеля, встретиться с его создателем. В поисках выхода из щекотливой ситуации Рядно и его сподвижники предложили Дежкину назваться доктором Стригалевым. Он — единственный, кто мог поддержать разговор с заграничным ученым на должном уровне. Им и в голову не приходило, что когда-то на войне Мадсен и Стригалев встречались, знали друг друга в лицо... Дежкину, по своим соображениям принявшему роль Стригалева, это тоже не приходило в голову. Но, улучив момент, он признался датчанину в обмане, который был тем разгадан с первой минуты.

«Узнавание» — атрибут традиционного романа — у В. Дудинцева по-своему символично. Фронт защитников «низкого берега» располагает резервами, случается, помощь приходит с неожиданной стороны. Она существенна, однако не всегда своевременна. Символы не обязательно влияют на ход вещей. Тайна, открывшаяся Мадсену, не спасет Стригалева и уж наверняка не поможет Дежкину, которого намереваются арестовать и только ждут, когда закончится комедия с датчанином.

В послевоенные годы велись жестокие «бои местного значения» не только в области биологии. Будто кто-то испугался стремительного духовного развития людей, одолевших фашизм, испугался подъема науки, искусства, достойно служивших народу в час беспримерных испытаний. Великую русскую поэтессу объявили «полумонахиней-полублудницей»; великого композитора — «формалистом», оторвавшимся от народа. Истинные таланты сплошь и рядом клеймились как вражеские подголоски со многими вытекающими из этого последствиями.

В романе В. Дудинцева фигурируют люди, атакующие с «высокого берега»; не только «пешки» и «шестерки» вроде Краснова и Ходеряхина. Раскрыты истинная, тщательно скрываемая суть главарей, их повадки, жизненные принципы. Чего стоит хотя бы взвинченный сибарит, изящный, как стрекоза, генерал Ассикритов, умеющий на пустом месте создать дело, втянуть в него елико возможно больше имен и тем блеснуть, доказать свое сыскное

мастерство, соответствие должности и моменту*. Но главное художественное открытие В. Дудинцева — академик Рядно.

Ничего похожего мы, вероятно, не встречали в литературе. Нам прямо-таки не хватало этого «народного академика», и слова праведного гнева зачастую повисали в воздухе, не находя адресата.

Касьян Дамианович Рядно — самородок, личность не мелкая и не ординарная. Игрок, предугадывающий на много ходов вперед развитие партии. Талантливый политикан, поднаторевший в интригах и кляузах. Было время, он щеголял в косоворотке и сапогах. Даже умница Стригалев некогда «купился» на эти сапоги и косоворотку. Несентиментальному Дежкину — бывали минуты — «хотелось расцеловать это старое, смуглое от настоящего полевого загара, доброе лицо». Простонародный говорок Рядно завораживает слушателей, сердечно звучащее «сынок» берет в полон и человека, не жаждущего быть усыновленным. Зло в живой плоти, не лишенное обаяния.

Все это — говорок и сапоги, «сынок» и косоворотка, отцовское радушие и вечные клятвы в любви к народу, земля, «случайно» попавшая в карман, и бедняцкое происхождение, снисходительное похлопывание по плечу интеллигентов и благодушно-покровительственные беседы со студентами — цинично выверенная ложь карьериста, не останавливающегося ни перед чем, готового по чужим костям подниматься наверх, любой ценой удерживать «высокий берег». Ловкач-демагог, он придумал перенести споры между биологами «в идеологическую плоскость» и, соответственно, заручился поддержкой идеологического аппарата. Надо обладать поистине незаурядным дарованием, чтобы заставить государственную машину работать во вред государству, брать в союзники политических лидеров, обделывая дела, в которых никто, кроме него самого и еще нескольких авантюристов, не заинтересован. Разумеется, необходима атмосфера, благоприятствующая проходимцам и невеждам, позарез необходимы старушки с вязанками хвороста.

Рядно сам не забывал позаботиться и об атмосфере, и о старушках. Умел снискать авторитет и у студентов — вчерашних солдат, вернувшихся с фронта. Дежкин горестно в этом убеждается. Касьян Дамианович «не зря начинал свой путь с косоворотки и сапог. Его имя бы-

*В рецензии Г. Мурикова «Дело, которому служишь» («Литературная Россия», 17 апр. 1987 г.) сказано буквально следующее о генерале Ассикритове: он «по-детски увлечен игрой в „раскрытие заговоров" и даже не замечает, что им ловко манипулирует научная мафия». При самом пламенном желании обелить Ассикритова не стоит приписывать ему ребяческую увлеченность участника игры для школьников. Будто карьеру он сделал в детском саду. Упрека в инфантильности и младенческой наивности генерал госбезопасности не заслужил. Даже обидно за него как-то... Рядно и Ассикритов стоят друг друга.

ло свято». На имя Рядно падал отсвет другого святого имени. Его обладатель тоже ходил когда-то в сапогах и предпочитал шинель из грубого солдатского сукна. Святые имена, «боги» наподобие «никелевого», или «биологического», или универсально пригодного для любых наук входили в сознание, отнюдь не просветляя его и наверняка тормозя развитие наук. Но остановить прогресс науки все же не удалось.

В. Дудинцев пишет о цене, какой оплачивается этот прогресс, об одиночках, шедших на смертельный риск, о живучести Кассиана Дамиановича, сравнимой разве что с морозоустойчивостью иных растений. Рядно не из приспособленцев, готовых суетливо подлаживаться к очередной установке. Избранная им роль предполагает своеобразную твердость и последовательность. Маска прирастает к лицу. Иным Рядно не делается, не может сделаться — он дремуче невежествен, его дар не имеет отношения к науке, но позволяет совершить серьезное открытие — методы, ежели их ловко применять, важнее цели. Никакой научной цели Рядно перед собой не ставил, ничего в науке не добился, попытка похитить новый сорт, выращенный Стригалевым, ему не удалась. Однако Рядно умер в своей постели и удостоился последних казенных почестей. Перед траурным кортежем движется милицейская машина с мигающим синим огоньком в стаканчике, за ней — автобус с несколькими провожающими и еще семь *пустых* автобусов. Кортеж «демонстрировал искусственные почести тому, кого никто уже не чтил». А те, кого, все острее сознавая и переживая утрату, начинали чтить, покоились в никому не известных могилах — доктор биологических наук И. И. Стригалев, академик Н. И. Вавилов — жертвы Рядно, Лысенко, Ассикритова.

Имена литературных героев стоят в романе рядом с подлинными. В основе романа действительные факты недавней истории. Настолько недавней, что Рядно менее всего напоминает доисторическое чудовище, его методы ассоциируются не только с давно ушедшим днем. Своими методами он устранял всех неугодных, вожделея славы и власти. Лишь к ним он вечно рвался, лязгая золотыми зубами. Других побуждений не ведал. Средства использовались такие, что Дежкин и Стригалев вынуждены были, обороняясь, сообразовываться с ними.

Мы подходим к ключевой, возможно, проблеме романа; споры вокруг нее предвещало первое же интервью, данное В. Дудинцевым, едва началась публикация «Белых одежд».

Предлагая Дежкину «сыграть» Стригалева, устроители спектакля не догадывались о степени их близости. Они пронюхали о «преступном сговоре», Ассикритов уже разговаривал с Дежкиным, не скрывая угроз. Но как им было постичь родство душ, единство нравственных и научных побуждений, усиленное вдобавок общей опасностью!

Когда от школьника Феди Дежкина требовали сведений о геологе, искавшем никель, ему напомнили: ты пионер

и обязан говорить чистую правду. Правды хотел от Федора Дежкина и академик Рядно, направляя его с инспекцией, предупреждая о «подпольном кубле» и тайных опытах Стригалева, который в институте тоже вроде бы изображает из себя мичуринца.
Правда о Стригалеве могла обернуться для него такой же бедой, какой обернулась когда-то правда о геологе. Попав в институт, Дежкин снова оказывается перед выбором: правда о «кубле» или сокрытие ее?
По законам «пионерской литературы» герой говорит правду и только правду. Иначе никакой он не герой, а пособник врага. Даже колебания на сей счет предосудительны.
Но странное дело: давая Дежкину наставления, Рядно советует ему быть скрытным и хитрым. Иными словами, правду позволительно получать, прибегая к методам, с самого начала не отличающимся чистотой. Нет ли тут — скажем так — этического противоречия? Претензии на односторонние преимущества?
«Пионерская литература» такими вопросами себя не обременяет. По отношению к противнику или к тому, в ком подозревают противника, заранее разрешены любые средства и приемы. Надо войти в доверие, выведать, изобличить. Тогда тебе слава, тебя ставят в пример.
Романом «Белые одежды» В. Дудинцев восстает против «пионерской» философии, достаточно распространенной в литературе для взрослых. Он отнюдь не против правды и не поборник лжи. Но правда, какую выведывают у Феди Дежкина, какую ждет от него Рядно, стократ опаснее лжи. Бывает и такая правда. Значит, ничего не остается, кроме как хорошенько разобраться. Человек, умеющий разбираться, оставаясь самостоятельным и независимым, предпочитающий ясное знание слепой вере, куда полезнее для общества, для оздоровления нравственного климата. Он крайне нуждается в оздоровлении, если правда может принести вред людям, науке, стране.
Иван Ильич Стригалев раньше других приобщился к этой премудрости. По натуре он прям и правдив. Поэтому идет против Лысенко, Рядно, против печально известного тезиса «не ждать милостей от природы, взять их...». «Только природу силой не больно возьмешь. Вот и я. Уступить силе мог бы. Но не уступлю. А убедить — это не в моих силах. И вам пока не удастся убедить...»
Так откровенно рассуждает Стригалев уже после августовской сессии ВАСХНИЛ. Дежкин еще только приближается к подобному уровню понимания происходящего. Нравственный облик Стригалева на него действует не меньше, нежели научные аргументы. Страх давний, еще со времени истории с молодым геологом, заставляет насторожиться. «Опять моя правда заслонила свет хорошему человеку! Неужели повторение!»
С помощью Стригалева, держась его, Дежкин приходит к правде. Она убийственна для Рядно, который скрыл, что однажды сумел воспользоваться созданным Стригалевым сортом картофеля и таким образом укрепил свой

научный авторитет. Стригалев тоже не сразу стал таким, каким его застает Дежкин, и он шел на компромиссы — иначе не дадут работать, расправятся, как с академиком Вавиловым.

Рядно умел опутывать, будто сетями, людей талантливых, но беспомощных, когда доходило до интриг и дележки пирога. Стригалев не чувствовал себя бойцом и не рвался в бой. «Волею судьбы я вышел на передний край», — несколько высокопарно открывается он Дежкину, почувствовав внутреннее его сходство с собой, доверившись ему.

У героев крепнет ощущение, что они снова призваны воевать, и дружба приобретает характер боевого союза. Каждый вступающий в него живет жизнью, где полное доверие возможно только между сообщниками. Когда Елена Блажко этого еще не уразумела, то поплатилась за свою доверчивость, и ее уличили как преступницу — хранит дома мух-дрозофил.

Тревожное чувство «переднего края» подводило к мысли о необходимости таиться, прибегать к хитрости, обману. «Надо на всякий случай все время врать»,— признается в дальнейшем умудренная Елена. Эта идея укореняется в ее душе настолько прочно, что, уже будучи женой Дежкина, она продолжает скрывать от него «кубло» и мечтает о шапке-невидимке, вроде той, в какой Людмила спаслась от Черномора. Но и шапка не выручит. Нужно дезинформировать соглядатаев. Нужна поддержка человека, идущего по краю пропасти, — полковника госбезопасности Свешникова.

Всех этих героев «пионерская литература», не задумываясь, пустила бы по графе «изменники», «агенты мирового империализма». В романе они — безупречные герои, оплачивающие мытарствами, тюрьмой, лагерем, а то и собственной жизнью верность своему делу.

Их цели ни у кого сомнений не вызывают. Но средства, средства-то... Ложь, двуличие...

Проще всего сослаться на прецеденты. Скажем, вспомнить чахоточного народовольца Николая Васильевича Клеточникова, внедрившегося в Третье отделение. Или советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова, действовавшего под видом и в форме немецкого офицера. На войне, как на войне. Стригалев не бросал слова на ветер, упомная про передний край, а В. Дудинцев неспроста прибегает к фронтовой лексике.

Вникая в конкретные обстоятельства, навязанные героям «Белых одежд», принимая их истинные цели — цели ученых, представляющих опальную науку, вряд ли осудишь Дежкина и его единомышленников. Их ложь, поистине, во спасение. Во спасение достойных людей и прекрасного дела. Правда же, добытая соглядатаем, губительна.

Стригалев, Дежкин, Лена — не фанатики, не затворники, не кабинетные небожители — ведут свою научную работу, словно конспиративную деятельность, находясь под постоянной угрозой. Лена прячет мух-дрозофил, как подпольщики прятали листовки, соблюдая величайшую осто-

рожиость, делится своими запасами дрозофил с послаицем из другого города, от другого «кубла». Ухищрения, к каким приходится прибегать, пряча иовый сорт, выводимый Стригалевым, сопоставимы с подготовкой подкопа из сыриой лавки, осуществлениого иекогда сподвижииками Желябова.

Вечное иапряжение иелегальиости, постояииая опасиость могут приглушить иравствеииые проблемы. Слишком велики, запутаииы, остры проблемы конспирации.

Сорт, выращиваемый Стригалевым,— иаучиое открытие мирового класса, достижение, дающее весомые выгоды иашему сельскому хозяйству. Одиако имеиио Стригалев потрясеиио подхватил слова Иоаниа Богослова о белых одеждах: «Сии, облечениые в белые одежды, кто оии и откуда пришли? Оии пришли от великой скорби».

Великая скорбь, дающая право иа белые одежды, предполагает деяиия, а ие эгоистическую заботу о первоздаииой чистоте риз. Это выясияется очень скоро, и Елеиа советует иногда прятать белосиежиые одежды в шкаф или прикрывать их чем-нибудь сверху. Дежкин одобряет ее иеобходимое враиье, предпочитая, одиако, имеиовать его кривдой. Чтобы ие так резало слух.

Невзирая иа все тревоги, оии думают о том, иасколько иравствеииы их поступки. Да, мимикрия, да, полковиик Свешииков презеитует Дежкиину коробочку с гримом. Но где-то совсем рядом и другая опасиость: Леиа боится — не слишком бы преуспеть в искусстве обмаиа. Носящие белые одежды поставлеиы и перед иеобходимостью оправдывать свой обмаи, маскировку. Их оправдывает цель, в корие противоположиая той, что преследуют иосители зла.

«Добро хочет ближиему приятиых переживаиий, а зло, иаоборот, хочет ему страдаиия. Чувствуете? Добро хочет уберечь кого-то от страдаиия, а зло хочет оградить от удовольствия. Добро радуется чужому счастью, зло — чужому страдаиию. Добро страдает от чужого страдаиия, а зло страдает от чужого счастья. Добро стесияется своих побуждеиий, а зло своих. Поэтому добро маскирует себя под иебольшое зло, а зло — под великое добро...»

Едииоборство Стригалева и Рядио рассматривается В. Дудиицевым как известное едииоборство добра и зла. Возиикает тема святого Себастьяиа — иачальиика телохраиителей императора Диоклетиаиа. Император был рьяиым гоиителем христиаи. Полковиик Себастьяи — тайиым христиаииом, ои сумел крестить полторы тысячи придвориых и солдат, за что его привязали к дереву и расстреляли тысячью стрел.

Полковиик Свешииков у Дежкииа ассоциируется с полковииком Себастьяиом.

Для В. Дудиицева война между добром и злом иепрерывиа. Это безусловиый факт. Оиа отливается в разиые формы. Одиако почти всегда каждая сторона пытается ввести противиую в заблуждение. Это тоже относится к фактам безусловиым. Не только для В. Дудиицева.

При таком взгляде борьба Дежкина и Стригалева с Рядно — эпизод в бесконечной цепи войн. На эпизод распространяются общие закономерности войны. Если и не все, то многие.

Мы слишком привыкли — в литературе, в журналистике — к локальным ситуациям, обособленности факта и уж, конечно, к тому, что отрицательное явление признается «нетипичным». Настолько привыкли, что теряемся, тушуемся, когда доходит до причин, истоков, до места события в едва не бесконечном родственном ему ряду. В. Дудинцев отверг эту обособленность, локализацию, отверг продуманно, нарочито и потому, возможно, кое-где и перебрал по части исторических и философских параллелей. Это можно было бы поставить ему в вину, если бы его рассуждения отрывались от реальных условий жизни, от живых людей или искусственно вкладывались в их уста.

Но перед нами люди, каждым движением, порывом подтверждающие свое художественное полнокровие, свою достоверность, свою — на том настаиваю — безупречную нравственность, способность и потребность давать себе отчет в собственных поступках, чутко прислушиваться к моральному отзвуку содеянного. Это не превращает их в созерцателей, не снижает активности. Вынужденная, навязанная ситуацией мимикрия, применение способов, от века присущих злу, — внешнее проявление внутренней непримиримости сражающихся против зла. Сражаясь, они не теряют этических ориентиров.

Себастьян был причислен к лику святых, ибо крестил сотни солдат, придворных и принял мученический венец. Однако в понятие «святой» мы часто вкладываем вполне современный смысл, подразумевая под ним чистоту побуждений, безупречность, высокую самоотверженность поступков. То есть именно то, что отличает Ивана Стригалева, Федора Дежкина, Елену Блажко. Вынужденная ложь Дежкина никогда не оберется во зло людям — он помнит о тибетском монахе. Но как раз это воспоминание ставит предел теории о допустимости средств зла при защите добра. Она не для универсального применения, ибо не каждый в состоянии вечно держать в памяти тибетского монаха...

Сама по себе мимикрия как определение некоего явления — нейтральна. Краснов тоже прибегает к ней, дабы, проникнув в «кубло»,— выдавать и предавать. Это соответствует натуре человека, отказавшегося от отца, готового менять личину столько раз, сколько будет выгодно. Краснов — воплощение, крайняя степень обиходного двуличия, которое мы, борцы с «ложью во спасение», принимаем как нечто само собой разумеющееся, не давая себе труда подумать, куда оно ведет, насколько растлевает.

Не в средствах суть, доказывает В. Дудинцев, изображая героев-интеллигентов в «белых одеждах», но в том, кто пользуется ими. Доказывает, по-моему, убедительно. Хоть и не совсем привычно.

Роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» печатался в «Новом мире» в год XX съезда партии. Самое яркое в романе — Дроздов. Строй мышления, жизненная позиция, реальная власть бюрократа.
Читательский успех — небывалый, первые отклики печати — восторженные. Потом короткая пауза — дроздовы поднялись в контрнаступление.
Силы, якобы отвергавшие роман, брали реванш. «Якобы» — потому что их страшил не столько обличительный пафос романа, сколько настроения, крепнущие после съезда, который осудил культ личности Сталина.
Еще недавно в Дубовом зале Центрального Дома литераторов, где обсуждался роман Дудинцева, называли имена невинно погибших писателей, клялись впредь не допустить такого, воодушевленно пели «Интернационал». Теперь здесь вершилась расправа над романом «Не хлебом единым», над автором. В нервозной атмосфере пожилая писательница кричала про американцев, захватывающих Москву, чтобы сделать Дудинцева городским главой.
Фамилия ее не запомнилась, но слова уцелели в памяти. Вижу — не у меня одного. Вижу один из источников, откуда брал свое добро Владимир Дудинцев, работая над «Белыми одеждами».
Обсуждение завершилось победой врагов романа: редактор «Нового мира» К. Симонов склонил повинную голову — публикация преждевременна, опрометчива, ошибочна.
Федор Дежкин назвал бы это «очередной победой зла». Зло держалось сплоченнее, обладало численным перевесом, давило на все педали, инспирировало устные выступления и статьи в печати, не гнушалось самой низкопробной демагогией. Напуганные XX съездом дроздовы лютовали, страшась правды о себе, опасаясь за свои насиженные места.
Защищавшие роман говорили о гражданской смелости автора, о достоверности характеров, о нашей литературе, нашей жизни. Им не приходило на ум, что не худо было бы согласовать друг с другом свои речи, позаботиться в редакциях о статьях, поддерживающих В. Дудинцева, даже если не все нравится в его книге. Они не видели нужды в беседах с К. Симоновым — пусть бы он почувствовал сплоченную поддержку. Добро было по обыкновению плохо организовано и недостаточно сконцентрировало свои усилия.
Это особенно замечаешь сейчас, прочитав «Белые одежды».
И все-таки победили демагоги и охранители (пора назвать вещи своими именами; не будучи названными, они продолжают существовать в обманном обличье) не полностью. К. Паустовский во всеуслышание предупреждал: Дроздов не единичен, дроздовы среди нас, они узнают друг друга по повадке, словечкам, анекдотцам и образуют мощный слой, держатся зубами за свои привилегии. В. Тендряков вспоминал: с детства его учили, что глав-

ные враги — шпноны да днверсанты. Но нн одного нз них он так н не повстречал. Зато когда попал на фронт, когда лежал с трехлииейкой под свободно летавшимн «мессерамн», подумал о бюрократах: вот кто враг. Е. Евтушенко читал ие опубликованные еще стнхн А. Межнрова:

Мы под Колпино скопом стонм.
Артнллерня бьет по своим...

Нн один писатель, известный в то время нлн прнобретший известность позже, не высказался против романа. Но шумовые эффекты, нстерические стеиания, конъюнктурные статьи содействовали обстановке, в которой В. Дудинцеву стало трудно писать, еще труднее — печататься К нему могут быть отнесены слова, произнесенные в «Белых одеждах» о совсем другом художнике, «знавшем горькие стороны жизнн».
В. Дудинцев остался верен себе, своему пониманию добра н зла, их негасимой борьбы. Пускай в «Белых одеждах» нет персонажа, напоминающего Дроздова. Все равно,— без дроздовых Рядно — ннчто, ноль, они взаимно необходимы друг другу.
Не берусь отгадывать, как н почему В. Дудинцев, юрист по образованию, журналист по профессии, участник Великой Отечественной войны, раненный под Ленинградом, пришел к теме «Белых одежд», какого труда потребовало освоение незнакомого материала. Новый роман писался свыше двадцати ие самых радостных лет, и судьба рукописи оставалась гадательной до момента выхода январского номера «Невы».
Настоящие книги — результат выстраданного, выношенного писательского убеждения в необходимости их людям, в том, что они соответствуют времени, которое, может быть, еще не наступило, но обязательно наступит, н надо его приближать.

Г Гачев

АРСЕНАЛ ДОБРОЙ ВОЛИ

«В поступке — мысли больше, чем в мысли»,— так примерно сказал Владимир Дмитриевич Дудинцев в беседе со мной по поводу его романа «Белые одежды». В развитие чистой мысли пишется философский трактат. С целью исследования поступков — как пучков мыслей — пишется роман. Большой роман есть большой поступок (а бывает, что инкриминируется и в проступок).

Так вышло, что Дудинцев — судьбоносный человек для моего поколения. В сущности, вся творчески сознательная жизнь моя от сих до сих: от романа Дудинцева «Не хлебом единым», 1956 год, и вот через 30 лет еще один рубеж он метит. Тогда мне 27, только начинал. Теперь — 57, пора итожить и оглядываться: как жизнь твоя прошла и как вел себя и что сделал?..

Первый роман Дудинцева вышел на молодом взлете — не только моем, но и общества нашего: пробудились силы и соки весенние, затеплились идеи и замыслы, надежды на преобразование нашего дома жизни в свободно-творческой деятельности каждого... Опьянение романтическое — шампански хмелели от него мозги. Роман Дудинцева выступил катализатором: там изобретатель Лопаткин бьется с бюрократами, те же, используя механизм власти, перекрывают ему все пути, так что он, бескорыстный талантливый человек из народа, оказывается в своей же стране будто лишним человеком, вытолкнут шутиковыми и дроздовыми...

Читатели близко к сердцу приняли судьбу Лопаткина, везде проходили страстные обсуждения. Многие в штыки приняли роман, прибегнув к неожиданному аргументу: мол, это публицистика, не художественно!.. Так забавно было наблюдать, как быстро перестроились дроздовы и шутиковы от идеологии: если раньше они дубинками лупили за «безыдейность», то тут вдруг: не сумел писатель возвести факт действительности в «перл создания» — и вышло «очернение»... «Не всякая правда НАМ нужна!» — и пошли взвешивать аптекарски, какие дозы правды можно вводить читателю.

Тошно и скучно было, когда так вот хитрили с правдой, как в кошки-мышки с нею играли. В последние годы появились такие изощренные мастера забалтывать Слово,

что отвратительна становилась сама гуманитарная область: философия, филология. Души, взыскующие истины, уходили в точные науки, в естествознание.

Словно где-то в глубоководье сотворяли свои произведения Шостакович, Рихтер, Айтматов, Распутин, Астафьев, кинорежиссер Тарковский; культурологи мирового научного уровня: Лихачев, Топоров, Лотман, Иванов В. В., Аверинцев, С. Бочаров...

Ныне, выходя на поверхность, глубоководные рыбины несколько шалеют от перепада давления. Возникают произведения, носящие на себе печать переходности от замкнутого в себе искусства к прямой публицистике: «Пожар», «Печальный детектив», «Плаха»... Это, так сказать, первый эшелон быстрого реагирования.

Но вот еще волна, давно и долго вынашиваемые творения: «Покаяние» Абуладзе, «Исчезновение» Трифонова, «Белые одежды» Дудинцева.

Вообще фигура Дудинцева в литературном процессе нашем несколько странна, чудаковата, как и его любимые персонажи, слегка «чокнутые», как Лопаткин или вот Стригалев и Дежкин. Ни в какую-то он группу-направление литературную не входит. Прямо как в прибауточке: «Жил недвижно, спал, посапывал: силу он в себе накапливал. Ка-ак накопит, ка-ак нальется — цельный год потом дерется»...

Какая-то доморощенность в нем: как кустарь-одиночка, ну, как Кулибин-изобретатель, как Циолковский, что в «стороне» от столбовой-де науки русской; как Платонов и Пришвин в 20—40-е годы. Такой примерно тип деятеля в культуре: натуральное свое хозяйство ведет, и материальное (сам строил с семьей дом на Волге), и духовное: Литературного института при Союзе писателей не кончал и диплома-разрешения на писателя не имеет; юрист по первоначальному образованию. А набрал самолично культуры запасец немалый, что ему верно служит: и в науке, и в технике разбирается, и литература и стихи в крови текут, перечитанные-пережитые-передуманные...

И вот отточенный роман, что пришелся в самую десятку мишени нашего времени. И так он и целил, его сочиняя: с дальним прицелом... Разрывных книг писатель Дудинцев! И это явление воли в борьбе за добро и истину, упорство в актуализации духа: дожать и внедрить! — это поражает в романе «Белые одежды», заставляющем своим примером подсобраться порасклисших в анемии и безнадеге, в унынии и скепсисе.

«Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры,— раздумье такое дано в зачине романа «Белые одежды»,— так и не узнав, кто ты — подлец или герой. А все потому, что твоя жизнь так складывается — не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу где есть только два выхода — вперед или назад. Но может и послать».

Итак: черное и белое — и это не схематизм, а мужество прямого взгляда.

Не мы выбираем время и место родиться и жить — они выбирают нас. Но человек выбирает путь: пролагать и строить его может в опоре на совесть и ум.

Вечная битва добра и зла в той конкретно-исторической форме, какую она обретает в нашей советской действительности, — вот что живописуется и исследуется в романе «Белые одежды». Пространство действия — мирный научный и студенческий городок, где люди трудятся, любятся, беседуют, сходятся-расходятся, рождаются и умирают, — словом, идет нормальная человеческая жизнь. Но все это структурировано и обретает сюжет и динамику своеобразием времени. Август 1948 года. Тогда произошло вмешательство власти в науку: было официально признано как истинное, патриотическое и народное то направление в биологии, которым руководил Трофим Денисович Лысенко (как привлекательно, народно даже для слуха нашего звучат составляющие этого имени: во многом уже этой, бессознательной эстетикой предрасположена была душа общества поверить ему),— и осуждено как вредное, идеологически нам чуждое, а значит, и неистинное, и империалистически-буржуазное, мракобесное и антинародное — то, что «маскировалось» под ученым именем «формальной генетики», где окопались «буржуазно-интеллигентские недобитки», ратующие якобы за чистую экспериментальную науку и чистую теорию, — в то время, как те, «лысенковцы», стыкуют науку с практикой и вот-вот выведут чудесные сорта пшеницы и картофеля, рекордно раздоят наших коров — и установится чаемое изобилие, «по моему хотенью»...

Я не шучу и не иронизирую: чтобы понять фантастический успех лысенковщины и народные симпатии к ней, благодаря чему она не только при Сталине, но и второе дыхание при Хрущеве обрела, надо вглядеться в механизм коллективного бессознательного, понять, как он действует в психике и отдельного человека, и в общественной психологии. Чудо! Народная детски-сказочная утопия о молочных реках и кисельных берегах, и чтобы мне на печи лежать и только руководить, а дубина труда «сама пойдет». А тут эти ученые генетики со своей унылой наследственностью, то есть роковой зависимостью от отцов, предков прошлого, истории, предыдущих трудов-опытов культуры и цивилизации, возделывания многовекового и совершенствования постепенного, нам палки в колеса вставляют и воду на мельницу льют...

Нормальные живые люди, что хотят работать, любить, учиться, познавать, оказываются в противоестественной ситуации какого-то морока и обольщения, что напоминает атмосферу «Мастера и Маргариты». Ну, да, эти два народных академика — Лысенко да Рядно — что фокусники и чудотворцы: из березы — ольху, из граба — орех, из озимой пшеницы — яровую — как компания Воланда орудует посреди нормального быта; и отводят людям глаза на правду, и те перестают видеть то, что на самом деле.

И вот сюжет романа «Белые одежды» можно бы так представить, как если бы правая рука Воланда, верный бес-надёжа из его компании вдруг заболел истиной и «человечиной» и начал бы тихо-тихо отпадать от их камарильи. «Грехопадение» беса=сотворение человека — вот что случается с Федором Ивановичем Дежкиным на поприще романа.

Он прислан академиком Рядно в мирный институтский городок с заданием громить вейсманистов-морганистов, «оздоровить идейно» научную атмосферу и поставить везде «наших людей»... Но свершилось иное. Он становится именно народным заступником — за истину в науке и за честных ученых против идеологических мошенников, что в своих корыстных интересах спекулируют философией диалектического материализма.

«Если переносишь член уравнения с правой стороны на левую, он меняет знак. Что было здесь минусом, там — плюс!» — одна из моделей романа, руководящих поведением героев. Но что же раньше: Добро или Истина в человеке, в становлении личности в нем? Истина — она всё же «проходна», относительна: частичку лишь видит наш ум из безмерности природы и духа. И если Лысенко и Рядно сначала просто ошибаются, заблуждаются, а потом уже и просто сознательно лгут и морочат других, то ведь и честные генетики прямо признают, что мало знают и лишь несколько доказанных на опыте закономерностей уловили — из океана неведомого бытия...

Другое дело — Добро и Зло: они в полной мере и объеме в нас, подвластны и совершимы нами за жизнь и в каждый миг и поступок... И то, что в данной конкретно-исторической ситуации в нашем обществе и в науке борец за добро и совесть одновременно спасает мушек-дрозофил или космическую технику развивает, это все «проходно»; а вот как живет-действует человек: по совести или по подлости? — это главнейшее в его определении и самочувствии. А следовательно, и в качестве жизни. Кажется, все имеет академик Рядно: со Сталиным чаек пьет! Наслаждается тем, как сгибаются перед ним некогда интеллигентные ученые. Ну и зачем это-то иметь? А любви не имеет, мужской дружбы не знает, талантом ученого и художника — обделен. Несчастные!.. И их торжество и радость — это же беда их самих прежде всего. И самая бедность их в том, что не понимают болезни своей и немощи. А хорохорятся, и пляшут на авансцене истории, и кривляются, и речи произносят, и превозносятся — и не видят, что надутые куклы они и гробят других и себя.

Против них как-то само собой, естественно и самочинно (не управляемо и не организуемо), складывается народное подполье, другое общество: людей доброй воли и простой жизни. Это и уборщица Поля, и вдумчивая студентка Женя Бабич, и полковник госбезопасности Свешников, и богемная бывшая актриса Туманова, и поэт-женолюб Иннокентий Кондаков, и простой рабочий Жуков, что мстит доносчику за арестованного сына... Только опираясь на

сей тайный народный сход и мир, чуя симпатию просто людей (а не когда они в социальных и идеологических ролях, хотя и туда душевность проникает и порождает в них «потатчиков»), смог Федор Дежкин спасти и пронести огонь истинной науки. Да, все — люди, когда они человеки. Даже и Рядно сам, когда в баньке парится и «батьку» разыгрывает, актер первоклассный и мужичок изрядный («и по-крестьянски обильно сплюнул под стол. Как будто ехал на возу с сеном» и растер валенком — это в ресторане в Доме ученых, нарочито-театрально),— ну и оставался бы таким — в деревеньке, на месте своем! Зачем в академики попер? Да и виноват ли, коли такая атмосфера сложилась?

Так что же, виноватить исторические условия, установки и идеи? Они тоже зависят от людей: и из прекрасных идей можно сделать адское употребление, и наоборот. Социализм смог обернуться национал-социализмом и геноцидом в Камбодже, а в «Тележке с яблоками» Б. Шоу не демократически избранный президент, а король становится защитником народа...

Ну, а законы? Гражданское общество для того и формировалось в ходе многотысячелетней истории цивилизации, чтобы жизнь, и труд, и ум гражданина не зависели от того, хороший или плохой человек окажется у власти (желательно, конечно, такой механизм учредить, чтоб и не мог таковой ко власти проникнуть, а если проник, то не мог бы ее употребить во зло)... А тут наши персонажи, люди доброй воли, как подпольщики, партизанят в собственной стране: тайно встречаются, делают добро и научные исследования, как заговорщики, не имеют законных форм для действия. Прямо Штирлиц наш Дежкин с тою только разницей, что он резидент добра и истинной науки... у себя на родине! Как же так могло получиться-сложиться? Лысенковщина нанесла такой урон земледелию и животноводству (не говоря уже о духовно-научном и нравственном ущербе), что долго нам еще из этого выкарабкиваться... Показано Дудинцевым в романе, что и органы госбезопасности, когда приступают к дознанию о научных теориях, к арестам ученых непризнанного направления, не только не своим делом занимаются, но становятся именно опасны государству и гражданину. Также и коллектив и его собрание — вместо арены демократии и свободы разнообразных личных понимании — могут становиться могучим прессом подавления, линчем личностей, в частности благодаря искомости непременного единодушия и резолюции.

Когда растерянность в умах и понятиях, гипноз и морок овладевают общественным сознанием, как тут быть, понимать, жить, себя вести? На что опереться?.. Исследованием этого механизма высвобождения доброй воли, и ума, и деяния в экстремальных условиях — мира, не войны! — и занят Дудинцев.

С чего же начинается восстановление личности в человеке? С покаяния, с чувства собственной вины. Своей воз-

любленной «вейсманистке-морганистке» Елене Блажко Федор Дежкин исповедуется в первоначальном нравственном потрясении, что испытал в 13 лет.

Тот опыт был шок для отроческой души, и подобно тому, как в иных людях есть злопамять и месть на всю жизнь (живут сторожами зла в себе), так у него потребность в искуплении и добродеянии все новым и новым людям ненасыщающаяся... Этот психический механизм очищения души символизирован в идее «первородного греха». Наш-то ведь отрок тоже бы, кажется, без вины виноват: не он же в ответе за лицемерие в социуме ко дню его рождения: а тем не менее виноват, ибо в этом воздухе зачат, потом не понял умом, не разобрался в ситуации, а ведь «хомо сапиенс» призван быть! — и позволил злу возобладать над добром. И надо не отбояриваться от вины мира, а принимать ее на себя.

Отсюда дилемма: Добро или Правда? Разрешено себе врать и притворяться во имя добра? Ум на службе Добра... «У нас говорят об относительности добра и зла,— высказывает Федор свое «верую». — Мол, в одном месте это считается злом, а в другом добром. Вчера — зло, сегодня — добро. Энциклопедии, словари, учебники — все так. Но это все далеко, далеко не так. Нельзя говорить «вчера», «сегодня», если о зле и добре. Что провозглашалось вчера как добро, могло быть замаскированным злом. А сегодня с него сорвали маску. Так что и вчера и сегодня это было одно и то же... И вчера и сегодня оно выступало в виде умысла, направленного против другого человека, чтобы причинить ему страдание.

Должно же быть у человека некое обоснование в своем зыблющемся бытии, категорический императив, краеугольный камень, пункт отсчета... Но это благодаруется трудом страдания всей жизни, а не задается легонькой фразочкой или лозунгом, обо что и обжег себе душу на всю жизнь примерный пионер Федя.

И вот еще важнейшее уравнение: субстанция добра — страдание. Когда софист Вонлярлярский в философическом споре отстаивает гедонистическую теорию разумного эгоизма («в добре есть элемент эгоизма. Добрым поступком человек прежде всего удовлетворяет свою потребность в специфическом, остром наслаждении»), Федор Иванович ему возражает: «Не то... Добро — страдание. Иногда трудно переносимое... Потому что добрый порыв чувствуешь главным образом тогда, когда видишь чужое страдание. Или предчувствуешь. И рвешься помочь. А почему рвешься? Да потому, что чужое страдание невыносимо».

Таким образом, страдание как добро — это, в сущности, со-страдание. Но, чтобы его в душе заполучить, надо самому занметь опыт страданий. И потому страдание вообще становится субстанцией добра.

И рефлексия, задумывание (то, над чем, как над «интеллигентщиной» было хорошим тоном потешаться у нас «в мощны годы») есть эхо бытия, отражение его от воспринимающей мембраны, сродство волн, акт сострадания.

«Зло своих намерений не изучает. (Разрядка моя.— Г. Г.). Его интересует тактика. Как достичь цели». Закономерен в эпилоге возвратный ход — в уразумении людском. Когда оставшиеся в живых добрые герои романа варят картошку в мундире и едят, как святыню, лишь с солью, Василий Степанович Цвях, взвесив на руке белый теплый шар, говорит: «Картошка... Гибрид! Пища! Это же не минута простого насыщения. Концентрат это. Концентрат пережитого. Вкус мечты. Даже есть не решаешься, как вспомнишь, что было вокруг нее. И начинаешь понимать слова... Что вложено в это выражение: «Сие есть плоть моя».

Значит, все вещество Бытия, материя и история просквожены страданием духа, а значит, добром: оно абсолютная субстанция (а зло лишь тень... Но это не мысль автора, а Августина. Автор тут жестче и склонен скорее видеть во зле самостоятельную субстанцию).

И тут мы из этики прямым сообщением на поэтику выходим. На взор писателя — все есть притча. Притчами глаголание — не просто «прием», «метафора», но перенос нравственно-духовного качества на веществено-природное, и наоборот. Это некое конгруэнтное совмещение, вплоть до отождествления. Нужно долго вглядываться в бытие и его составляющие, в участников его действа, много страдать самому, чтобы выйти на подобное узнающее сострадание: узнавание себя, нашего, к человечеству и душе имеющего отношение — во всяком жесте природы и походки.

Всякое явление может взвидеться как притча. Писатель В. Дудинцев — мастер создавать некие мифологемы. Их даже можно поименовать-перечислить: «Спящая почка», «Железная труба», «Газон», «Рак», «Черненькая собачка», «Железная дева», «Честный пионер», «Кукушонок», «Песочные часы», «Высокий берег», «Катапультируюсь», «Глазастый валун», «Парашютист» — россыпь их, больших и малых, в романе. Его текст движется, как тире-точка: более или менее нейтральное описание, рассуждение или диалог — и вдруг вздрагиваешь от ядерного места: источник излучения ударил волной — и откат, передохнуть дает.

Зачем нужна и как учиняется мифологема? Это мысленный эксперимент (как и в научных теориях проделывают поезда с часами у Эйнштейна, к примеру). Но и Достоевский любил таковые придумывать ситуации-модели: что если бы ты совершил на Луне гнусное деяние, а теперь на Земле никогда бы никто не узнал про то,—каково б тебе, стыдно ль было? (из «Сна смешного человека»). Или джентльмен, что не хочет в ваш рай и хрустальный дворец (из «Записок из подполья») и т. п. На этих моделях, как на ящике с песком, изучают тактику в военном деле: предполагают ситуации, какие могут свершиться в действительности. И в романе это и буквально так. Сначала проигрывается теоретически ситуация: вот тонет твой враг, ты можешь сам помочь или побежать звать, а он тем временем и потонет... — ваше решение? А затем

действительно тонет в болоте доносчик Краснов. Отец Саши Жукова, работяга, тихонечко подтолкнул его туда, выдернув жердину; кто-то побежал звать-спасать; Федя Дежкин — реально спас этого подлеца и мерзость, а Свешников сказал, что не следовало вмешиваться в пути казнящей судьбы...

Двадцатый век — эпоха великих «географических» открытий в психике людей. С одной стороны, история ставит человека в экстремальные условия, раскалывая его сознание, мотивы, понятия, поведение... С другой стороны, наука и искусство пристальнейше исследуют это потрясенное сознание и устроение, структуру психики, подоны и тайники выворачивая наружу, на свет божий.

Тот же академик Рядно главную сласть имеет не от материальных своих роскошеств (тут он простяк, народен, ему многого не надо — лишь бы в баньке попариться), но от того, что власть имеет унизить души: чтоб перед ним виляли, вываливали себя в дерьме на покаянных собраниях. Чтоб распластались и растлились под катком страха, действующего в массовом психозе.

Таких опытов над индивидуальной и общественной психологией не ставила предшествующая история. Потому и мыслители, художники и писатели нашего века имеют такой объект и задачу, что не имели даже гении прошлого: Бытие обернулось уникальной ипостасью, и надо ее зафиксировать и понять. А через то и шанс дан нам, секретарствуя Бытию, присовокупить нечто к культуре, к самопознанию человека. И это уже добро, это ц е н н о с т ь.

«И счастлив, что эта травма сидит в тебе, что ты ее вместил. Ну что бы была у меня за жизнь без этой травмы?» — итожит главную мысль «Белых одежд» один из героев романа, Цвях, противопоставляя такое понимание ценности бытия (как опыта и страдания, жертвы) погоне за счастьем.

Так что и лысенковщина (историческая и в романе) — ценность (в философском понимании термина): как уникальное событие и опыт, как крестное испытание во добре и зле, научающее более глубокому пониманию устройства души и как пролагать человеку честно свой путь в мире.

Среди моделей-мифологем романа важны «Песочные часы» как образ Бытия. В одном из философических диалогов, что ведутся между Свешниковым и Дежкиным (как между Порфирием Петровичем и Раскольниковым в «Преступлении и наказании»), Свешников спрашивает Федора о песочных часах, и тот отвечает, что это и есть «графическое изображение нашего сознания — как оно относится к окружающему миру. Изображение условное, конечно. Верхний конус, который уходит в бесконечность, все время расширяется, это Вселенная, мир, вмещающий все, за исключением моего индивидуального сознания. Или вашего...

— А нижний конус, который тоже в бесконечность уходит и у которого нет дна, это я.

«Наша внутренняя свобода более защищена, чем внеш-

ияя. Здесь иикто в спииу не ударит. Мысли ие звучат для чужого уха».
Это важиое онтолого-гиосеологическое кредо Федора Дежкиив. Как тело в природе, как тружеиик иа производстве, и как ум в позиании, и как граждании в социуме, я весь — в верхием коиусе: среди общезиачимых закоиов, поиятий, правил. Тут царство иеобходимости. А вот как душа, личиость, дух, «я», свобода воли, различеиие добра и зла, совесть — это все в иижием коиусе. И ои — такая же бескоиечиость. И двадцатый век, чем более расширяет Вселеиную виешиего коиуса (Космос и Социум), тем более реактивио и ускользающе строит свою вселеииую коиус иижиий.
Ну а как же все-таки достать душу и поиять «я»? Та же модель песочиых часов демоистрирует, что оба коиуса сопряжеиы, и волиеиия в одиом отражаются в другом, откликаются, ио тут же переводятся в другие, свои формы и язык.
Существует поиятие: мысль поступка. Волны-импульсы из «я» возвратио отдаются в верхием коиусе — в объективиом мире: в языке поступков. То есть когда всякий шаг, и труд, и дело, и мысль там рассматриваются ие виешие-вещио, ио как личиостиое, ответствеииое волеизъявлеиие... Об этом писал в своей «Философии поступка» выдающийся мыслитель М. М. Бахтии. И мысль — тоже поступок.
Ромаи Дудиицева и строится как диалог мыслей -поступков и поступков-мыслей. То есть рассудочио высказаииая мысль-миеиие уже есть поступок, ио еще малый, еще как бы потеициальиый. А совершаемый поступок есть клубок мыслей, их узел, что и распутывается движеиием сюжета через порождаемые им иовые коллизии и иадобиость в иих иовых поступков.
Поступок есть излияиие иижиего коиуса в верхиий; в ием виутреииий мир человека вступает во виешиий и должеи считаться с иим и соображать(ся) и потому может быть опасеи, даже смертельио, для совершающего. И тут чья возьмет: иравствеииая сила из иижиего коиуса, устойчивость на совесть или давлеиие обстояиий мира сего? Оии могут быть и хорошие, благоприятствующие цеииостям души (но иикогда не совпадают с иими полиостью), ио и злые: здесь надо и выжить, и ие предать духовиую цеииость, которая есть устой личиости и души. И тут возникает проблема политики и тактики существоваиия
Это ромаи про войну: в условиях чрезвычайного положеиия поставлеиы жить люди. Прежде всего сама Природа сопротивляется изиасилованию своих законов лжеиаукой, и дает ей отпор, и подкрепляет своей истииой коицепции честных ученых. «Вся природа за одно с иами»,— говорит профессор геиетики.
Даже и нормальиое общежитие лишеио простых, открытых и честиых, диевиых форм правовой граждаиской жизни, и человек иачииает жить искривлеиио.
Как наверху слово расходится с делом, так и винзу приходится делу расходиться со словом: истиииое дело, нуж-

ное народу, вершить под завесой обмана. Вот это и есть враньё — без кривды, вранье как щит правды.
— В вашем вранье нет кривды...»
В самом деле, когда допытываются, где прячутся партизаны, и требуют говорить честно, правду и только правду, честное слово было бы предательством. Напротив, слово чести требует тут направлять врага по ложному следу или молчать. Такой тактики и вынуждены придерживаться люди истинной науки в своем деле, которое требует долгого времени и возьмет в итоге свое, как природа, как жизнь, как народ и правда.
Разные персонажи в романе — это разные варианты, выборы пути жизни под мороком. Сопоставляя свой выбор с моделью Гамлета, Стригалев так рассуждает: «Гамлет, узнав о своей смертельной ране, перестал быть подданным короля. Он приготовился умереть, но перед этим в отпущенные ему две минуты жизни натворил много дел — разгрузил свою совесть. А у меня такой поворот: мне двух минут мало, ничего не сделаю, потому я должен не умирать, а жить, что бы ни произошло. И двигать дело».
Другой выбор и путь — русский поэт Иннокентий Кондаков: душа широкая, талант озорной, слог еретический, богема, забулдыга, юбку пропустить не может. Ну и что? Живой человек, ну — грешен! Но не подл. И тоже ведь загремел в лагерь, поплатился за язык, что потянул его сочинить стишок про гигантский портрет, вывешиваемый в праздник на доме, застя свет в 32-х окнах...
Еще и Свешников, полковник госбезопасности, давно раскусивший секрет власти, слегка циник, дивящийся честным ученым и в душе восхищающийся ими (как тот, из синедриона, кто тайным христианином стал),— и он вершит погибельный себе поступок правды: чтоб спасти поэта, сжигает его «преступный» стих у себя в кабинете...
По всему по этому видно, что «вранье без кривды» — это не максима, а тактика, временное прикрытие, и все равно когда-то человеку чести выходить на прямую схватку и жертву в абсолютном поступке: идти на свою плаху (о чем одновременный дудинцевскому роман Айтматова). В конце — железная труба, никуда не денешься: ее не миновать, как ни юли, там или — нли!
В достойном человеке действует некий медленно раскручивающийся механизм, что наводит его на верный путь. Так у Гёте: «Подлинный человек и в своем смутном стремлении осознает правильный путь»...
Это «смутное стремленье» действует и в Федоре Дежкине: как некий отдаленный зов-голос-импульс-влечение, что наводит его на следующий шаг прежде даже, чем разобрался, и понял, и сформулировал себе.
Есть и внешне-материальный наводчик на путь — железная труба, как судьба, от коей не уклониться; и духовно-нематериальный путеводитель, что символизируется то в спутнике в белых одеждах, который, как у Данте Вергилий и Беатриче, ведет-хранит; то как отдаленный голос и свет... Это как бы призыв стать самим собой, найти свое истинное «я», выстроить лич-

ность и так совершить (завершить), реализовать смысл своей жизни в подвижничестве свободы на путях судьбы. И, явив нам такое богатое и мощное устроение человека, действующих в нем сил самоопределения, его воинское снаряжение на битву жизни, писатель укрепляет наши души. «Вы даете инструментарий добра»,— сказал автору один читатель. Да, целый арсенал оружий добра — этот роман. А белые одежды души — доспехи в деле правом и бравом.

И так вовремя, так ко двору нам явился роман В. Дудинцева теперь, когда людям нужно много бодрой силы, и ясные глаза, и вера в себя, дабы выправить пути и внутри, в душе своей и понятиях, и снаружи: в переустройстве форм труда и общественной жизни.

Система рычагов и приводных ремней, исполнителей железной воли идеально работает в ситуации ЧП, когда народ целиком сливает с государством свою живую силу, веру и волю, но начинает прокручиваться на холостом ходу в ситуации нормальной мирной жизни и побуждает «делать Ничего» (как остроумно сформулировал такую деятельность эстонский поэт и философ Уко Мазинг). То есть: не «ничего не делать», а именно очень много делать, прямо-таки сгорать на работе, в кабинетах, на заседаниях-собраниях, призывая друг друга ко труду, а в итоге — пшик. «Ничего» — как цель и предмет труда, продукт упорного возделывания. Такая «деятельность» — род «кипенья в действии пустом», что у нас обнаружено еще русской литературой XIX века.

С другой стороны, народ в такой ситуации, перестав чуять себя хозяином жизни, отчуждив свой голос, волю и душу, становится пассивен, малопроизводящ. Кажется, что нужно улучшить-усилить руководство «людьми», но ведь вял-то он и стал, народ, от обращения с ним, как с дитем и недорослем, со стороны государственных педагогов, все за ручку его водящих, удерживая в детском садике гражданского общества или в «людской»...

Задача нынешней полосы — расшевелить инертную массу, что возможно лишь при спонтанной самоорганизации, при пробуждении личности. Нужно, чтоб развился, заработал нижний конус дудинцевских «песочных часов», в котором — личность и душа. В этой ситуации, чтоб завести механизм производства, потребен организм общества и пространство общественной жизни.

Помнить о праве «меньшинства», по-своему думать и делать — ведь оно может оказаться в итоге правым! Малое и редкое надо охранять особо именно потому, что сил в них мало, зато ума может быть больше, чем в иных больших.

Есть два способа править: запрещать и разрешать. Запрет дискретен и ясен: его можно наложить на ограниченное, счетное количество действий, идей, понятий и четко сформулировать, чтобы очевидно было: что́ именно нельзя. Управлять же путем разрешения гораздо хлопотнее: перед разрешающим умом простирается непрерывное и необъятное поле Всебытия, так что смертному человеку,

попавшему в начальство, надо иметь ум божий: быть в состоянии предусмотреть буквально все случаи и формы жизни, возможные возникнуть иные, и присно, и вовеки веков, — что нереально.

Между тем у нас именно такая установка вросла в сознание: что запрещено все, что не разрешено! Тогда как надо, чтобы было априорно разрешено все, что не запрещено, не оговорено специальным запретом. Если ж самовозникнет нечто опасное, то государство в состоянии быстро среагировать и установить запрет на эту частьмалость бытия. Но нельзя ставить все бытие в зависимость от предусмотрения и предвидения отдельных умов.

Вот почему, в частности, я за цензуру — против редактуры в литературе, искусстве и вообще в культуре. При цензуре каждый духовный труженик знает ограниченное число вещей, которые нельзя делать, говорить, публиковать. Тут четкий набор, который можно соблюсти. Редактура же работает методом разрешения и имеет дело с полем живого бытия и сознания, которое, в принципе неопределенно, смутно, — и потому боится всего, что не похоже на то, что уже было (она ведь работает на основе прецедента), и на всякий случай вырезает все кажущееся странным, усматривает подвох в образе, стиле, в порядке слов и — принимается «править». Это имело смысл и было понятно на первых порах советской литературы, когда в нее пошли люди из низов и без первоначального образования, а грамотные спецы помогали доводить их тексты до определенного среднего читабельного уровня. Но теперь, когда все грамотные, существование редактуры не имеет смысла, она расширенно воспроизводит серятину.

В этих размышлениях я никак не уклоняюсь от темы: на эти общественно-гражданские уразумения как раз и наталкивает роман Дудинцева. В нем дан пример и прецедент людям доброй воли и истины делать свое дело по внутреннему импульсу, не испрашивая разрешений, которые и не могут быть даны на неизвестное. Истина и творчество, которые как раз извещают нас впервые о чем-то неведомом, не должны быть поставлены в унизительное для себя положение его испрашивать.

СОДЕРЖАНИЕ

Популярная библиотека

Владимир Дмитриевич Дудинцев

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

Роман

Художник А. И. Юркевич

Заведующая редакцией Н. В. Ганиковская
Редактор И. М. Анисимова
Художественный редактор О. В. Романова
Технический редактор В. М. Скребнева
Корректор О. И. Поливанова

ИБ № 36. Литературно-художественное издание.
Сдано в набор 28.10.87. Подписано в печать 13.01.88. Формат 84x108 1/32. Бумага кн.-журн. 60 г. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 36,12. Усл. кр.-отт. 36,59. Уч.-изд. л. 39,62. Тираж 200000 экз. (1-й завод 1—100000 экз.). Изд. № 27. Заказ № 2997. Цена 5 р.
Издательство «Книжная палата». 103009, Москва, ул. Неждановой, 8/10.
Рязанская областная типография. 390012, Рязань, Новая, 69/12.







